

НАСТАВНИКИ ЛАВКРАФТА

УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ХОРРОРА
В ЛУЧШИХ ПЕРЕВОДАХ
КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Наставники Лавкрафта

Монтегю Родс Джеймс, Фитц-Джеймс О'Брайен, Лафкадио Хирн, Френсис Мэрион Кроуфорд, Артур Мейчен, Натаниель Готорн, Генри Джеймс, Роберт Уильям Чемберс, Эдгар Аллан По, Элджернон Генри Блэквуд, Амброз Бирс, Андрей Борисович Танасейчук

Аннотация
Наставники Лавкрафта: сборник рассказов. Под ред. А. Б. Танасейчука
Вместо предисловия
Амброз Бирс
  Житель Каркосы
  Видения ночи
  Психологическое кораблекрушение
  Обитель мертвецов
  Случай на мосту через Совиный ручей
  Средний палец правой ступни
Элджернон Блэквуд
  Отрубленная кисть

Египетский шершень
Маленький бродяга
Натаниэль Готорн
Честолюбивый гость
Черная вуаль
Генри Джеймс
Поворот винта
Монтегю Родс Джеймс
Школьная история
Фрэнсис Мэрион Кроуфорд
Кричащий череп
Поскольку кровь есть жизнь
Артур Мейчен
Красная рука
Белые люди
Фитц-Джеймс О’Брайен
Что это было?
Алмазная линза
Эдгар Аллан По
Падение дома Эшер
Овальный портрет
Лигейя
Метценгерштейн
Маска Красной смерти
Лафкадио Хирн
Кровавый обряд

История Айоажи
Легенда о Мими-Наши-Гойши
Кимико
И ничего не случилось!
Монахиня в храме Амиды
Роберт Уильям Чемберс
Желтый знак
Случай с мистером Хельмером

Аннотация

Не имеющий аналогов сборник – настоящий подарок для всех подлинных ценителей литературы ужасов. Г. Ф. Лавкрафт, создавая свои загадочные и пугающие миры, зачастую обращался к опыту и идеям других признанных мастеров «страшного рассказа». Он с удовольствием учился у других и никогда не скрывал имен своих учителей. Загадочный Артур Мейчен, пугающий Амброз Бирс, поэтичный Элджернон Блэквуд… настоящие жемчужины жанра, многие из которых несправедливо забыты в наши дни. Российский литературовед и переводчик Андрей Танасейчук составил этот сборник, сопроводив бессмертные произведения подробными комментариями и анализом. Впрочем, с полным на то основанием можно сказать, что такая антология благословлена еще самим Лавкрафтом!

Наставники Лавкрафта: сборник рассказов
Под ред. А. Б. Танасейчука



Иллюстрации Виталия Ильина



Переводчики: Р. А. Танасейчук, А. Б. Танасейчук, Е. Н. Муравьева, Р. В. Гурский, А. И. Агеев, А. В. Немирова, М. А. Таирова, М. А. Энгельгардт, Е. Д. Ильина, С. А. Лорие



© Оформление: ООО «Феникс», 2023
© Составление и статьи об авторах А.Б. Танасейчук
© Иллюстрации: Ильин В., 2023
© Перевод и комментарии: Танасейчук Р. А., Танасейчук А. Б., Муравьева Е. Н., Гурский Р. В., Агеев А. И., Немирова А. В., Таирова М. А.
© В оформлении обложки и титула использованы рисунки В. Ильина, а также И. Иванова и иллюстрации по лицензии Shutterstock.com

Вместо предисловия

В писательской среде разговоры о предшественниках, а тем более прямых учителях, не приветствуются: ценятся личные амбиции, творческая индивидуальность, самобытность и пр. Хотя, разумеется, не найти ни одного художника, у кого таких предшественников нет. Прямо или опосредованно, но у каждого «инженера человеческих душ» таковые обязательно присутствуют, даже если сам он нимало не подозревает об этом. В основе любого искусства — изящная словесность, конечно, не исключение — лежит преемственность: писатель осознанно или исподволь вбирает опыт предшественников, сознательно или нет учится у современников и тех, кто давно окончил земное существование. То, о чем мы говорим, — большая литературоведческая проблема. Ученые «ломают копья», пишут статьи, монографии, защищают диссертации о преемственности, о наставниках (явных и неявных) и наследниках классиков. В случае с Говардом Ф. Лавкрафтом эта проблема отсутствует. И неважно, что тому причиной — характер пи-

сателя, его литературная судьба, статус вечного дилетанта или нечто иное. Лавкрафт с удовольствием учился у других и никогда не скрывал имен своих учителей. Можно обратиться к биографиям писателя. Русскоязычному читателю в этом явно повезло: не нужно «перелопачивать» массу не всегда вразумительных и достойных прочтения текстов, в распоряжении лучшие книги — Спрэга де Кампа[1] и С.Т. Джоши[2]. Если владеете английским — можно почитать его письма, они доступны. Но их — тысячи! Лавкрафт предпочитал эпистолярный способ общения любому иному. Но проще взять в руки небольшую книгу писателя «Ужас и сверхъестественное в литературе» (*Supernatural Horror in Literature*, 1927, 1934) и убедиться в этом.

«Эссе» — так обычно определяют жанр этого произведения. Для этого есть основания. Прежде всего, стиль работы: легкий (но не легковесный!), популярный. И собственный, глубоко оригинальный взгляд на явление. Но в то же время это

---

[1] Примечания: 1

Лавкрафт: биография / Л. Спрэг де Камп; пер. с англ. Д. В. Попов. СПб.: Амфора, 2008.

[2] Примечания: 2

Лавкрафт. Я-провиденс / С. Т. Джоши; пер. с англ. М. Стрепетовой. М.: Эксмо, Fanzon, 2022.

серьезное исследование эволюции «страшного» жанра в мировой литературе — от истоков до современных автору 1930-х гг. Да и текст довольно объемный — больше сотни страниц.

В большой работе — десять разделов; каждый посвящен отдельному аспекту, который представляется Лавкрафту особенно важным. Начинает он с размышлений о природе страха. Можно соглашаться или не соглашаться с трактовкой автора, но первая фраза замечательна: «*В душе человека нет чувства сильнее страха и нет его древнее; природа страха разнообразна, но самый древний и самый сильный страх — это страх перед неведомым*», — она сразу погружает читателя в тему. Затем Лавкрафт обращается к искусству и литературе — сначала к мифологии и Ветхому Завету, очень бегло к ранним — средневековым и ренессансным — сюжетам, наконец к готическому роману, которому посвящает три раздела. Отчетливо видно: автор прекрасно осведомлен о предмете, знает и любит этот жанр; демонстрирует и те связи, что тянутся от Горацио Уолпола, Анны Редклифф, М.Г. Льюиса, Ч. Брауна и других к литературе XIX века. Считать ли упомянутых писателей его учителями? Конечно. Но прямыми — едва ли. Куда важнее связи «готики»,

которые обнаруживает и демонстрирует Лавкрафт, с романтическим романом, прежде всего английским: В. Скотта, Э. Бульвер-Литтона, Мэри Шелли, Эмили Бронте.

Но жанр романа все-таки чужд автору «Ужаса в литературе». Его «вотчина» — короткая проза: рассказ, новелла. Этот жанр он знает досконально. Специальный раздел (под заглавием «Мифические создания в континентальной литературе») посвящает европейской романтической новелле, ее мастерам — прежде всего Э.Т.А. Гофману, Ф. де ла Мотт Фуке, Г. Эверсу, Теофилю Готье, В. де Лиль-Адану. Не обходит вниманием и такие малоизвестные, но, по мнению Лавкрафта, заслуживающие самого пристального внимания любителей жанра фигуры, как немец В. Мейнхольд и француз М. Левель. Учился ли у них писатель? Безусловно. Поскольку он их читал, и читал внимательно, а следовательно — поместил в свою литературную «копилку».

Но главный его учитель — конечно, Эдгар По. В своей книге Лавкрафт посвящает художнику специальный раздел, озаглавленный просто, без затей: «Эдгар Аллан По». И это неслучайно: изыскания американского романтика в области теории и практики жанра — не просто важней-

шая, а главная веха в эволюции «страшного рассказа». «В тридцатые годы XIX столетия мы наблюдаем литературный расцвет, прямо повлиявший не только на историю “потустороннего” рассказа, но и на жанр краткой прозы целиком, — утверждает Лавкрафт. — Зрелому и мыслящему критику трудно отрицать огромную ценность его работ и поразительную мощь его разума, сделавшего По первооткрывателем новых творческих просторов. <…> Именно он первым осознал их потенциал и придал им отточенную форму и систематическое выражение. По сделал то, что до него не удавалось никому… только ему мы обязаны современной литературой ужасов в ее окончательной и совершенной форме»[3]. Более того, «поэт и критик по натуре и высшему призванию, логик и философ по склонности и стилю», он «создал рассказ в его современном виде», причем его «рассказы обладают почти абсолютным совершенством художественной формы, что делает их подлинными маяками в жанре короткой прозы». Оценки эти говорят о значении наследия велико-

[3] Примечания: 3

Здесь и далее по тексту статьи цитируется: Лавкрафт, Говард. Ужас и сверхъестественное в литературе / пер. с англ. А. Сергеевой, Т. Зименковой // Черный человек: американская готика. XX век. М.: АСТ, 2003. С. 485–571.

го американца для Лавкрафта и для становления таланта писателя. «Падение дома Ашеров», «Маска Красной смерти», «Метценгерштейн» — эти новеллы Э. По его ученик считал шедеврами, и мы не могли не включить их в сборник.

Следующая фигура — Натаниэль Готорн. «Гений из Провиденса» не мог не любить его истории и не испытать его влияния. Создатель «новоанглийского нуара» был близок Лавкрафту своим происхождением (Новая Англия): «У него нежная душа — зажатая в тиски пуританства ранней Новой Англии; затуманенная и тоскующая; опечаленная аморальной вселенной и всюду сеющая семена ограниченных мыслей наших предков, прославлявших святой и неизменный закон». Восприятием инфернального Зла: «Зло, будучи очень реальной силой для Готорна, всегда появляется как коварный и стремящийся к победе соперник; а видимый мир становится в его воображении сценой нескончаемой трагедии и скорби, где участвуют невидимые и полуреальные сущности, борющиеся за власть и влияющие на жизнь несчастных смертных, которые составляют суетное, погрязшее в самообмане человечество». И, безусловно, звучащим как рефрен мотивом родового проклятия — та-

ким близким и постоянно повторяющимся у Лавкрафта.

Любимым текстом Готорна у писателя был роман «Дом о семи фронтонах» («знаменитый и сильно написанный — самый законченный и целостный в череде произведений о сверхъестественном»), но он отдавал должное и его рассказам, прежде всего, конечно, фантастическим и страшным, из которых выделял истории «Черная вуаль» и «Честолюбивый гость», помещенные в настоящий сборник.

Готорн «не оставил явно обозначенных литературных последователей», — утверждал Лавкрафт и был прав: во всяком случае, применительно к своему поколению. И сам не был его последователем, потому что «сверхъестественный ужас никогда не являлся главным объектом для Готорна, однако он всем своим существом его чувствовал и не мог не живописать со всей силой своей гениальности».

Среди любимых авторов Лавкрафта находим Фитц-Джеймса О'Брайена, в котором он видел прежде всего талантливого последователя Эдгара А. По. Скорее всего, «затворник из Провиденса» познакомился с его рассказами на страницах журналов Weird Tales и Amazing Stories, в кото-

рых публиковался сам и которые в 1920–30-е гг. открыли множество забытых имен американской фантастики. Вероятно, и истории, его восхитившие — «Что это было?» и «Бриллиантовая линза», — он впервые прочитал именно там. «Ранняя смерть О'Брайена лишила нас многих интереснейших рассказов о страшном и ужасном», — отмечал Лавкрафт; скорее всего, большинство рассказов талантливого писателя были ему неизвестны.

Зато он был отлично знаком с историями Амброза Бирса, который уже тогда, в 1920-е, обладал статусом классика национальной литературы. Хотя автор «Сверхъестественного ужаса» и полагал, что Бирс — писатель «неровный», это совсем не мешало читать и изучать его тексты, вдохновляться образами старшего современника. Более того, можно утверждать, что именно Бирс (разумеется, наряду с Эдгаром По) в наибольшей степени повлиял на становление собственного художественного мира Лавкрафта. Во всяком случае, если речь зайдет об истоках его «ориентализма», то неизбежно вспомнится, что «Каркоса», «мудрец Хали», «озеро Хаснур» (образы, переосмысленные и ставшие частью вселенной Лавкрафта) впервые появились именно в но-

веллах Бирса. Да и сюжеты других «страшных» историй, совершенно лишенных восточного колорита, явно его увлекали. Некоторые из них — «Смерть Хэлпина Фрейзера», «Обитель мертвецов», «Средний палец правой ступни» — он довольно подробно пересказывает в своей книге, еще о нескольких упоминает. Приводит и суждения ученых-литературоведов о нескольких текстах. Это вполне красноречиво говорит, что создатель «Ужаса» изучал наследие мастера, размышлял над его сюжетами. Удивляет то, что Лавкрафт не взял на вооружение поразительную находку Бирса — его знаменитую «концовку-ловушку» (или «сверхразвязку»). Судя по всему, посчитал коммерческой уловкой писателя, публиковавшего рассказы на страницах массовых газет и журналов. Мы не можем согласиться с таким взыскательным судьей и, наряду с упоминаемыми текстами, не включить в сборник главный шедевр Бирса — рассказ «Случай на мосту через Совиный ручей». «Сверхразвязка» — важнейший элемент его композиции.

В отличие от сюжетов Бирса, сочинения другого американского классика — Генри Джеймса — Лавкрафту не нравились. Он находил их излишне многословными, «слишком нежными» и даже

«помпезными». За единственным исключением — повесть «Поворот винта», которую полагал шедевром. «В “Повороте винта”, — утверждал Лавкрафт, — Генри Джеймс создает по-настоящему достоверное ощущение страшной угрозы, рассказывая о двух мертвых слугах, Питере Квинте и гувернантке мисс Джессел, и их зловещей власти над маленькими мальчиком и девочкой, когда-то отданными под их опеку. <…> Здесь присутствует редкая по своей силе постоянно растущая волна страха, и это гарантирует повести особое место в жанре».

Из старших современников-американцев еще по крайней мере двое привлекали особое внимание Лавкрафта. Это Фрэнсис Мэрион Кроуфорд и Роберт Чемберс.

Первый к 1930-м годам был совершенно забыт, но сборник его страшных историй под названием «Блуждающие призраки» (Wandering Ghosts), изданный в 1911 году, вскоре после смерти автора, явно принадлежал к числу любимых книг будущего создателя миров Ктулху — книг, что он читал и перечитывал. О каждом из рассказов сборника он отзывался с восхищением, а новеллу «Верхняя полка» полагал «шедевром в жанре сверхъестественного», «одним из самых потря-

сающих “страшных” рассказов в литературе вообще».

«Очень искренние, хотя и не без привычной для девяностых годов XIX века манерной экстравагантности, ранние сочинения в жанре ужаса Роберта У. Чемберса получили известность вследствие особого подхода, — читаем у Лавкрафта в “Сверхъестественном ужасе”. — “Король в желтом” — серия почти не связанных между собой рассказов, представляющая собой некую чудовищную запретную книгу, внимательное прочтение которой влечет за собой страх, безумие, потустороннюю тоску. В этой серии автор достигает высот поистине космического ужаса…»

В годы, когда обитатель Провиденса писал свою книгу, Чемберс давно переключился на развлекательные романы; Лавкрафт пеняет ему за это и сожалеет об «измене» жанру. Но это не мешает ему восхищаться ранними вещами автора. Кстати, обращает он внимание и на заимствования у Бирса. Похоже на то, что «ориентализм» Лавкрафта зарождался именно таким образом: через Чемберса к Амброзу Бирсу, и уже потом — к собственным сюжетам.

Безусловный интерес в русле размышлений

об учителях «творца Ктулху» представляет и предпоследний, девятый раздел «Сверхъестественного ужаса», озаглавленный «Традиции сверхъестественной литературы на Британских островах». Лавкрафт не просто хорошо, а досконально знает творчество тех, о ком пишет. Но среди множества имен автора настоящих строк прежде всего привлекли слова, сказанные о Лафкадио Хирне: «Лафкадио Хирн — странный, мечущийся, экзотичный — уходит еще дальше от царства действительности и с великолепным искусством чуткого поэта плетет вымыслы, невозможные для автора, привязанного к реальности и мирским удовольствиям. В его “Фантазиях”, написанных в Америке, присутствуют самые впечатляющие вампиры, коих ни у кого больше не встретишь; тогда как его “Кайдан”, созданный в Японии, с беспримерным мастерством и утонченностью запечатлевает волшебные легенды и сказки этой удивительно богатой красками страны». Можно предполагать, что «колдовской язык» Хирна повлиял и на стиль Лавкрафта. Впрочем, это только предположение, но мимо рассказов «американского японца», так очаровавших такого взыскательного читателя, пройти, конечно, невозможно.

Разговор о вероятных учителях и наставниках Лавкрафта нельзя завершить, не обратившись к суждениям о современных ему авторах. Да и раздел, им посвященный, — самый большой в неоднократно упоминавшейся книге о «страшной» литературе. В первой трети XX века «страшная» фантастика, подхватив эстафету от романтиков и викторианцев-неоромантиков, переживает очевидный расцвет. Причин тому много. Здесь и бурное развитие газетно-журнальной литературы, и фантастический прирост читательской аудитории, и (увы, не в последнюю очередь!) снижение общего интеллектуального уровня читателей.

Разумеется, поставщики невзыскательного чтива в орбиту внимания Лавкрафта не попадают. Он прилежный и искушенный читатель, его интересуют самые достойные образцы жанра. Он заявляет: «Лучшие рассказы нашего времени в жанре литературы ужасов, унаследовав все ценное из довольно долго эволюционировавшего жанра, обладают естественностью, убедительностью, высокими художественными качествами, оставляющими далеко позади что-либо написанное в готическом жанре век или более назад». Лавкрафт отмечает, что «за прошедшее время

резко возросли техника, мастерство, опыт, познания в психологии», а «большинство давних работ кажутся наивными и претенциозными, что компенсируется лишь талантом, выходящим за рамки любых ограничений». Современные «повествования о небылицах, изложенные бойким и напыщенным стилем, с ложной мотивацией, когда чуть ли не каждый эпизод фальшив и псевдоромантичен, отошли к более легкому и забавному виду литературы о сверхъестественном» и оказались на «обочине» жанра.

Поэтому Лавкрафт игнорирует массу современных ему авторов, за исключением совсем немногих фигур — прежде всего, А. Мейчена, Э. Блэквуда и М. Р. Джеймса. Менее расположен он к Блэквуду, главными недостатками которого считает «многословность и путаность», склонность к морализаторству и излишне бойкий журналистский стиль; но отмечает, что главные его произведения (прежде всего фантастические новеллы) «достигают классического уровня и пробуждают, как никакие другие, убедительное чувство необъятности загадочных миров и многообразия населяющих сущностей». Куда больший пиетет испытывает Г. Ф. Лавкрафт к М. Р. Джеймсу, который, по его словам, «одарен

почти дьявольской силой вызывать ужас». Но самую высокую оценку, можно сказать — «пальму первенства» в жанре, он дает А. Мейчену. «Из ныне живущих создателей космического ужаса, вознесенного на высочайшую художественную вершину, — утверждает он, — едва ли кто-то может соперничать с Артуром Мейченом», — и посвящает много страниц рассказу о его произведениях, объясняя, как мастер достигает нужного ему эффекта.

Одна из последних фраз сочинения Лавкрафта звучит так: «У нас нет причин полагать, что положение жанра ужаса в художественной литературе как-то изменится. Это узкий, но важный путь человеческого самовыражения, и потому он, как и всегда, будет востребован…» Эти слова написаны без малого сто лет назад, но, видимо, справедливы. Во всяком случае, книга, которую держит в руках читатель, — тому красноречивое подтверждение. Тем более что тексты для нее, по сути, выбраны самим Мастером.

А. Б. Танасейчук

Амброз Бирс



«Бирса надо знать. Его творчество — один из основных этапов развития “страшного” жанра в американской литературе», — писал еще 1930-е годы И.А. Кашкин, один из наиболее авторитетных в нашей стране американистов. Однако знать Бирса совсем непросто. Легенды и домыслы — постоянные и неизбежные спутники американского писателя. Их создавали современники, формировал он сам, с огромным удовольствием придумывали потомки, публикуя статьи, очерки, монографии, сочиняя романы и снимая фильмы — сначала по его произведениям, а затем и о нем самом. Современникам он казался неким анахронизмом, помещенным в условия Соединенных Штатов Америки рубежа XIX–XX вв. Причина заключалась не только в стойком пристрастии к мотивам смерти, мертвецам и духам, привидениям и т. д., но и в эстетике художника, тяготевшего к романтической традиции. Способствовало росту легенд и его таинственное исчезновение на рубеже 1913–14 гг. в охваченной Гражданской войной Мексике, куда он отправился корреспондентом.

Амброз Гвиннет Бирс родился в 1842 году в штате Огайо в семье фермера. Его мать была дочерью священника, отец владел изрядной по

тем временам библиотекой, любил Байрона и был знатоком Шекспира. Будущий писатель был поздним и последним ребенком в семье. Отец и мать были пуританами, и в этом факте скрыто многое. От них писатель унаследовал моральный ригоризм, бескомпромиссность суждений и поступков. Бирс не получил серьезного формального образования. Четыре года в местной школе, семестр в военном училище, куда его устроил дядя, — вот все его «университеты».

Гражданская война Севера и Юга перевернула судьбу молодого человека. Будущий писатель добровольно стал солдатом армии северян. До конца дней Бирс считал военную службу своим настоящим призванием. Он был образцовым солдатом: смелым, дисциплинированным и в то же время инициативным. За годы войны он сделал блестящую карьеру, пройдя путь от рядового до капитана, начальника военно-топографической службы дивизии. Он был неоднократно ранен, и один раз очень тяжело — осколком снаряда в голову. После окончания войны Бирс ушел из армии. Решение оставить службу он принял в Сан-Франциско, куда попал в составе военно-топографической экспедиции. С 1866 года на тридцать с лишним лет Сан-Франциско и Ка-

лифорния становятся постоянным местом его жительства. Здесь началась его литературная деятельность. Бирс начинал как журналист. Подобно Ф. Брет Гарту и М. Твену, он начинал с юмористики. Закономерность этого процесса очевидна, если учитывать параметры и характер культивируемой на Дальнем Западе «необузданной журналистики».

Особой страницей в творческой биографии писателя стал «британский» опыт. Бирс провел в Англии четыре года (1872–1875), там он сложился как юморист и сатирик, там следует искать истоки его пристального интереса к европейским литературным традициям; наконец, там вышли его первые книги. Расцвет литературной деятельности А. Бирса пришелся на конец 1880-х — 1890-е гг. Если до той поры он публиковал по одной, редко по две новеллы в год, то в указанный период его творческая энергия поражает — он пишет рассказы, очерки, философские эссе и статьи, активно работает как сатирик. В этот период появляются его главные книги: «Рассказы военных и штатских» (1891), повести «Монах и дочь палача» (1892) и «Возможно ли это?» (1893). На этих книгах в основном и зиждется репутация Бирса как автора «страшной» прозы.

«Страшный» рассказ или «новелла с привидениями» — вероятно, наиболее органичный, традиционный и в то же время наиболее многоликий жанр в творческом наследии художника. Бирс писал новеллы подобного рода более тридцати лет (первая, «Долина призраков», датирована 1871 годом, последняя — «Чужой» — 1909 г.). Строго говоря, многие из них и не являются «страшными» в чистом виде, скорее их следует числить по ведомству фантастической прозы. К тому же поэтика «ужасного» в новеллах писателя вполне органично сочеталась, например, с той же военной тематикой, нередко включала элементы юмора и сатиры.

Весьма привлекательно объяснить приверженность писателя к оккультному и сверхъестественному традициями региональной литературы. Беллетристика подобного рода действительно была широко распространена в Калифорнии в 1870–1890-е гг. Но, кроме вполне естественной (особенно на раннем этапе творчества) зависимости от местных литературных стереотипов, Бирс сознательно ориентировался на романтическую традицию — как европейскую, так и национальную. Особую роль в его творческом развитии сыгран Эдгар Аллан По, его рассказы,

его эстетическая теория. От великого американского романтика идет приверженность Бирса к категориям сверхъестественного и таинственного, да и само предпочтение жанра новеллы иным литературным жанрам имело тот же источник. Бирс не скрывал, что считает себя учеником и последователем Э. По. Развивая жанр «страшной» новеллы, он продолжил эксперименты своего учителя в области эмоционального воздействия художественного слова — и надо сказать, превзошел его в этом нелегком искусстве, создав новеллу с особым композиционным построением, включающим так называемую двойную развязку, или «концовку-ловушку».

Как бы велико ни было значение Э. По для Бирса, не следует забывать, что их все-таки разделяло полвека. Уже в силу данного обстоятельства на одни и те же вещи они не могли смотреть одинаково. Американский романтик немало страниц посвятил смерти и феномену страха смерти. Для Бирса смерть стала главной и, по сути, единственной темой новеллистического творчества. Но если для «безумного» Эдгара смерть была неким таинством, явлением умозрительным и метафизическим, продуктом воображения и изощренного ума, то для Бирса — участника Граж-

данской войны Севера и Юга и освоения Дальнего Запада — смерть была лишена таинственного ореола, она была обыденностью — жестокой и, к сожалению, неизбежной. «Смерть можно только ненавидеть, — такие слова мы найдем в одной из его новелл. — В ней нет ни живописности, ни мягкости, ни торжественности — мрачная штука, отвратительная, с какой стороны ни посмотри».

А. Б. Танасейчук

Житель Каркосы

«Ведомо: существуют разные виды смерти; есть такие, при которых тело остается видимым, и такие, когда оно исчезает без следа вместе с отлетевшей душой. Последнее обычно скрыто от людских глаз (ибо такова воля Господня!), и тогда, не будучи очевидцами кончины человека, мы говорим, что человек пропал или отправился в дальний путь — так оно и есть. Но иной раз, и тому свидетельств немало, исчезновение происходит на глазах у многих. Есть и еще один род смерти: когда умирает душа, а тело переживает ее на долгие-долгие годы. Достоверно установлено и то, что иногда душа умирает одновременно с телом, но спустя некий срок появляется на земле вновь — обязательно там, где погребено тело».

Я размышлял над словами Хали[4] (упокой, Всевышний, его душу!) и пытался до конца постичь их значение как человек, который, уловив смысл сказанного, спрашивает себя, нет ли в нем иного, тайного смысла.

---

[4] Примечания: 4

Вымышленный мистик-философ, созданный воображением автора (здесь и далее по книге прим. переводчика).

Погруженный в эти мысли, я не замечал, куда бреду, но внезапно порыв холодного ветра хлестнул мне в лицо и вернул к действительности. Оглянувшись кругом, я с удивлением заметил, что нахожусь в месте, совершенно мне не знакомом. Вокруг простиралась открытая безлюдная равнина, поросшая высокой, некошеной сухой травой, которая шуршала и вздыхала под осенним ветром. Что-то тревожное и таинственное было в этих вздохах — во всяком случае, так я это воспринимал. На расстоянии друг от друга высились темные каменные громады с причудливыми очертаниями. Казалось, между ними существует некая тайная связь — словно они, обмениваясь многозначительными и зловещими взглядами, напряженно замерли в ожидании некоего неизбежного и долгожданного события. По сторонам мрачными скелетами торчали иссохшие деревья, будто притаившиеся предводители злобных заговорщиков.

Похоже, время перевалило далеко за полдень, но солнца не было. Я понимал, что воздух вокруг меня сырой и промозглый, но ощущение это шло от ума, а не от органов чувств — ни влаги, ни холода я не ощущал. Над унылым пейзажем, словно проклятие, нависали низкие свинцовые тучи.

Все кругом дышало угрозой, там и тут виделись мне недобрые предзнаменования и вестники злодеяния, приметы обреченности. Ни птиц, ни зверей, ни жуков, ни мошек — ничего живого. Ветер ныл в голых сучьях мертвых деревьев; серая трава, припав к земле, шептала ей свои страшные тайны. Но больше ни один звук, ни одно движение не нарушали мрачного покоя безотрадного пейзажа.

Я видел среди травы множество разрушенных непогодой рукотворных камней. Они растрескались, поросли мхом, наполовину ушли в землю. Некоторые лежали плашмя, другие торчали в стороны, но ни один не стоял прямо. Это были надгробья, но самих могил давно не существовало: от них не осталось ни холмиков, ни впадин — все сровняло время. Где-то чернели каменные глыбы покрупнее — видимо, некогда там была могила, честолюбивый обитатель которой в свое время бросил тщетный вызов забвению. Эти развалины казались очень древними, а следы людского тщеславия, знаки привязанности и благочестия — истертыми, разбитыми и грязными. И вся эта местность была такой пустынной, заброшенной, всеми позабытой, что я невольно представил себя первооткрывателем доистори-

ческого захоронения народа, имени которого не сохранилось.

Погруженный в эти мысли, я совсем забыл обо всех предшествующих событиях и вдруг подумал: «А как я попал сюда?»

После недолгих раздумий я нашел разгадку (весьма меня удручившую) той таинственности, в которую моя фантазия облекла все видимое и слышимое. Я был болен, очень болен. Я вспомнил, как мучила меня жестокая лихорадка и как, по словам моей семьи, в бреду я беспрестанно требовал свободы и свежего воздуха. Родные силой удерживали меня в постели, не давая убежать из дому. Но все-таки я сумел обмануть бдительность врачей и близких — и теперь очутился… Но где же? Мне это было неведомо. Однако было ясно, что зашел я довольно далеко от родного города — древнего и славного города Каркосы.

Ничто не говорило о присутствии здесь людей: не видно было дымов, не слышно ни собачьего лая, ни мычания коров, ни криков играющих детей — ничего, кроме кладбища, окутанного тоской, тайнами и ужасом, созданными моим собственным больным воображением. Неужели снова начинается горячка и никто не придет мне на помощь? А не порождение ли безумия все, что

я вижу кругом? Я закричал, стал звать жену и детей, искал их невидимые руки, пробираясь среди обломков камней по иссохшей, мертвой траве.

Шум позади заставил меня остановиться и обернуться. Ко мне приближался хищный зверь — это была пума.

«Если свалюсь в лихорадке здесь, в этой пустыне, — зверь меня растерзает!» — пронеслось у меня в голове.

Я бросился на нее с громкими воплями. Но животное невозмутимо пробежало мимо на расстоянии вытянутой руки и скрылось за одной из каменных плит. Минуту спустя невдалеке как из-под земли появилась голова человека — он поднимался по склону небольшого холма, вершина которого едва возвышалась над окружающей равниной. Вскоре вся его фигура выросла на фоне серого неба. Полуобнаженное тело прикрывала одежда из шкур. Нечесаные волосы свисали космами, длинная борода свалялась. В одной руке он держал лук и стрелы, в другой нес пылающий факел, за которым тянулся хвост черного дыма. Человек ступал медленно и осторожно, словно боясь провалиться в могилу под высокой травой.

Видение было странным. Оно удивило, но не испугало меня, поэтому, направившись ему на-

перерез, я поприветствовал его:

— Да хранит тебя Всевышний!

Но он продолжал свой путь, не замедляя шагов, — будто и не слышал меня.

— Добрый незнакомец, — продолжал я, — я заблудился, я болен. Прошу тебя, покажи мне дорогу на Каркосу.

Человек прошел мимо. А затем, удаляясь, вдруг загорланил дикую песню — слова мне были непонятны, язык неизвестен. С ветки мертвого дерева зловеще прокричала сова, в отдалении откликнулась другая. Поглядев на небо, я увидел в разрыве облаков Альдебаран и Гиады[5]. Все говорило о том, что наступила ночь: дикая кошка, человек с факелом, сова. Однако я видел их совершенно отчетливо, как днем, я видел даже звезды, хотя вокруг не было ночного мрака! Да, я все видел, но меня не видел и не слышал никто! Что же за ужасные чары меня околдовали?

Я присел у корней высокого дерева и решил обдумать свое положение. Теперь я понял, что безумен, но все же в этом убеждении оставалось место для сомнения. Я не ощущал никаких признаков лихорадки. Напротив — испытывал

---

[5] Примечания: 5

Альдебаран — самая яркая звезда в созвездии Тельца; Гиады — звездное скопление в этом созвездии.

неведомый прежде прилив сил и энергии, некое духовное и физическое возбуждение. Все чувства мои были необычайно обострены: я ощущал плотность воздуха, я слышал тишину.

Обнаженные корни могучего дерева, к стволу которого я прислонился, сжимали в объятьях гранитную плиту; одним концом она уходила под дерево. Таким образом плита была защищена от дождей и ветров, но тем не менее изрядно пострадала. Грани ее стерлись, углы были отбиты, поверхность избороздили глубокие трещины и каверны. Подле плиты на земле блестели чешуйки слюды — следы разрушения. Когда-то плита покрывала могилу, из которой много веков назад проросло дерево. Жадные корни давно опустошили захоронение, а плиту взяли в плен.

Внезапный порыв ветра сдул с нее сухие листья и ветки. Я увидел выпуклую надпись и наклонился, чтобы прочитать ее. Боже правый! Мое имя! Дата моего рождения! И дата моей смерти!

Пурпурный луч восходящего солнца упал на ствол дерева в момент, когда я, охваченный ужасом, вскочил на ноги. На востоке из-за горизонта поднималось солнце. Я стоял между деревом и огромным багровым солнечным диском… На стволе не было моей тени!

Унылый волчий вой встречал утреннюю зарю. Волки сидели на могильных холмах и курганах поодиночке и небольшими стаями; до самого горизонта — повсюду — я видел волков. И тут я понял, что стою на развалинах древнего и славного города Каркосы!

Все это поведал дух некогда почившего Хосейба Аллара Робардина медиуму Бейролесу.

Перевод Андрея Танасейчука

Видения ночи

Уверен, что способность людей видеть сны составляет огромную ценность для литературы. Если бы современное искусство было в состоянии улавливать фантазии, возникающие во снах, описывать их и воплощать, тогда наша литература воистину стала бы выдающейся. Приручённый, этот дар можно было бы развить, — подобно тому, как животные, одомашненные человеком, обретают лучшие качества, чуждые их диким собратьям. Овладев сновидениями, мы удвоим собственное рабочее время и научимся плодотворно трудиться, когда спим. Вспомним строки из поэмы «Кубла-Хан»[6]: «Чертог снов — реальности приток».

Что есть сон? Произвольная и необузданная совокупность воспоминаний — беспорядочная вереница образов, воспринятая однажды бодрствующим сознанием. Это хаотическое воскрешение мертвецов — древних и современных, добрых и злых. Они восстают из своих полураз-

[6] Примечания: 6

«Кубла Хан, или Видение во сне» — поэма английского романтика Сэмюэла Тейлора Кольриджа.

рушенных гробниц, и каждый предстает в своем обыденном обличье. Они спешат вперед, толкаясь и толпясь, чтобы побыстрее предстать пред тем, кто их созвал на Пир. Но он ли их призвал? Нет, не он, — нет у него такой власти. Он от нее отрекся и подчинился чужой воле. Он мертв, и вместе с призраками ему не подняться. Рассудок его покинул, а вместе с ним утрачена и способность удивляться. Чудовищное, неестественное, нелепое — все это просто, правильно и разумно. Смешное не забавляет, невозможное не способно удивить. Сновидец — вот кто истинный поэт, «кипит его воображенье».

Воображение — это просто память. Попробуйте представить то, чего вы никогда не видели, не испытали, не слышали или не читали. Или представьте себе живое существо, лишенное, например, тела, головы, конечностей или хвоста, — это примерно то же самое, что дом без стен и крыши. Бодрствуя, мы распоряжаемся собственной волей и суждениями, мы можем их контролировать и ими управлять, можем извлекать из хранилищ памяти то, что хотим, и исключать — порой, правда, с трудом — то, что не соответствует нашей цели. Но, когда мы спим, нами управляют наши фантазии. Они хаотичны,

причудливо перемешаны, элементы их переплетены — настолько, что кажутся нам чем-то совершенно новым, но на самом деле хорошо нам известны.

Сны не несут нашему воображению ничего нового, кроме новых сочетаний уже известного. То, «из чего сделаны сновидения», аккумулировали наши собственные чувства и сохранили в памяти, — примерно так, как белки собирают впрок орехи. Но по крайней мере одно из человеческих чувств ничего не вносит в мир сновидений — это обоняние. Запах никогда не снится. Зрение, осязание, слух и, вероятно, вкус — все они задействованы в создании наших ночных видений. Но у снов нет носа. Удивительно, как древние поэты, эти проницательные наблюдатели, не обратили внимания на данную особенность бога сновидений. Как, впрочем, и их послушные слуги — древние скульпторы. Возможно, конечно, что последние — достойные всяческих похвал! — трудясь для потомков, рассудили, что время и невзгоды обязательно внесут коррективы и приведут все к общему знаменателю — в соответствии с естеством природы.

Способен ли кто-нибудь связать хаос сновидения в единое целое? Нет. Ни один поэт не

обладает столь искусным даром. Попробуйте описать мелодию Эоловой арфы. Существует род зануд (он хорошо известен), которые, прочитав рассказ, сочиненный подлинным мастером слова, по доброте душевной пытаются — разумеется, для вашего назидания и восхищения — подробно изложить его сюжет собственными словами, полагая, что теперь читать вам его не придется. «При схожих обстоятельствах и условиях» (как гласит международное право) меня, тем не менее, не удастся обвинить в упомянутом преступлении, хотя я и намерен изложить здесь сюжеты некоторых собственных сновидений. Не удастся прежде всего потому, что сновидения мои незнакомы читателю — следовательно, известные «обстоятельства и условия» в данном случае не работают. Стремясь зафиксировать их малую толику, на успех я вовсе не рассчитываю. Слишком мало у меня наберется соли, чтобы сыпать ее на хвост неуловимому Морфею.

* * *

Я шел в сумерках по огромному лесу. Вокруг теснились деревья неведомых пород. Куда и откуда шел, мне было не известно, но подспудно ощущалась необъятность этого леса и было зна-

ние, что я здесь единственное живое существо. Я был одержим каким-то ужасным проклятием за давнее преступление и теперь, перед рассветом, искупление должно свершиться.

Машинально, безо всякой цели, я шел под ветвями гигантских деревьев по узкой тропинке. В конце концов я подошел к ручью. Темный, медлительный поток пересекал мой путь. Это текла кровь. Повернув направо, я пошел вверх по течению и вскоре оказался на небольшой лесной поляне. Она была окутана тусклым, призрачным светом; в центре располагался отверстый колодец из белого мрамора. Кровь плескалась у краев; ручей, вдоль которого я шел, вытекал из него. Все пространство вокруг колодца, радиусом примерно в десять футов[7], было заполнено трупами. Их было множество. Я не считал, но знал, что количество тел важно и имеет непосредственное отношение к моему преступлению. Быть может, они отмечали время в веках — с тех самых пор, как я его совершил. Я понимал важность их числа и знал его, — пересчитывать необходимости не было. Тела были полностью обнажены и располагались симметрично вокруг колодца, расходясь

[7] Примечания: 7
Около трех метров.

от него в стороны, словно спицы колеса. Лежали они все одинаково — ногами от колодца, головами к нему, и головы свисали внутрь через его края. Все тела лежали на спине, с перерезанным горлом, и кровь медленно сочилась из открытых ран. На все это я взирал с равнодушием и знал, что это естественное и неизбежное следствие моего преступления. Но было нечто наполнявшее все мое существо тревогой и даже ужасом: всеобъемлющая, чудовищная пульсация — медленная, равномерная, неизбежная. Я не знаю, каким из чувств я ее воспринимал, каким неведомым путем она прокралась в мое сознание. Но безжалостная неотвратимость гигантского ритма охватывала все кругом и сводила меня с ума. Ему был подчинен и окружающий лес, исполненный безграничной и непримиримой злобы.

Ничего больше из этого сна я не помню. Похоже, охваченный ужасом, который, судя по всему, был вызван затруднением кровообращения, я вскрикнул — и проснулся от звука собственного голоса.

* * *

Сновидение, сюжет которого я собираюсь изложить далее, восходит к годам ранней юности

— тогда мне было не больше шестнадцати. Сейчас я, конечно, гораздо старше, но помню его так ярко и живо, словно не прошло стольких лет с тех пор, когда видение это заставило меня, шестнадцатилетнего, дрожать, съежившись от страха под одеялом.

Я один, и ночь без конца и без края (в своих снах я всегда одинок, и события всегда разворачиваются ночью). Итак, ночь, нигде не видно ни деревьев, ни человеческого жилища, нет ни холмов, ни ручьев. Вся земля покрыта клочками скудной, грубой растительности — черной и жесткой; как всполохи огня, они возникают то тут, то там. Столь же беспорядочно мой путь постоянно преграждают небольшие лужицы, — они скапливаются в мелких впадинах и появляются тоже внезапно. Они теснятся со всех сторон, то исчезая, то появляясь вновь, а над ними проплывают тяжелые темные тучи, и в блестящей черной воде отражается холодный свет звезд на ночном небе. Путь мой лежал на запад — там, низко над горизонтом, под длинной грядой облаков пылало багряное зарево. Оно создавало впечатление непостижимой дали — такое с тех самых пор я научился подмечать на полотнах

Доре[8], где каждое прикосновение руки мастера живописует знамение и проклятие. Продолжая свой путь, вскоре я разглядел на этом зловещем фоне силуэты зубчатых стен и башен. Они увеличивались в размерах с каждой пройденной мною милей, пока наконец не выросли до совершенно немыслимых размеров — хотя строение, которому они принадлежали, я все еще не мог разглядеть полностью. Мне даже казалось, что оно вовсе не приблизилось. Отчаянно и упорно я продвигался по бесплодной равнине, а гигантское сооружение все увеличивалось и увеличивалось в размерах — до тех пор, пока я уже не мог охватить его взглядом, а затем башни заслонили звезды над моей головой. Потом я прошел между колонн циклопической кладки, в которой каждый камень был больше, чем мой отчий дом, и вошел в распахнутые ворота.

Внутри было пыльно и пусто, на всем лежала печать небрежения. Тусклый свет — в сновидениях он существует сам по себе, не подчиняясь законам природы, — вел меня из коридора в коридор, из комнаты в комнату, и все двери распахивались от прикосновения моей руки. Комнаты

[8] Примечания: 8

Поль Гюстав Доре (1832–1883) — французский график, скульптор, живописец.

были огромны. Коридоры оказались еще больше — я так и не добрался до конца ни одного из них. Мои шаги звучали так, как звучат только в покинутых жилищах и в пустых гробницах — странно, глухо, мертво. Много часов я бродил там в одиночестве. Я понимал, что ищу что-то. Но что? Этого я не знал. Наконец там, где, как мне представлялось, должен был находиться угол здания, я отыскал комнату — обычных размеров, с окном, обращенным на запад. Сквозь него я увидел все то же багровое зарево, зловеще нависшее над горизонтом, — зримый предвестник гибельного рока. Я знал, что это пламя вечности. И, глядя на мрачное сияние, я познал ужасную истину. Годы спустя я попытался выразить ее в небольшой стихотворной экстраваганце:

Вселенная умолкла навсегда…
Покинутые, скорбные пределы.
Ни дьяволов, ни ангелов следа,
И мертвый Бог перед престолом белым!

Тусклый свет не в силах был рассеять сумрак, царивший в комнате. Прошло какое-то время, прежде чем в самом дальнем углу я разглядел очертания ложа. С предчувствием беды я прибли-

зился к нему. Я чувствовал, что странствие мое должно закончиться какой-то жуткой кульминацией, но не мог сопротивляться силе, толкавшей меня вперед.

На ложе, частью укрытый, покоился труп человеческого существа. Он лежал на спине, вытянув руки вдоль тела. Я склонился над ним — с отвращением, но без страха — и увидел, что он ужасно разложился. Из-под истончившейся кожи выступали ребра, а сквозь впалый живот были видны очертания позвоночника. Лицо сморщилось и почернело, истлевшие губы в жуткой усмешке обнажали желтые зубы. Но веки не провалились — похоже, глаза избежали общего разложения, — и, когда я наклонился, они раскрылись и уставились на меня пристальным, неподвижным взглядом. Только представьте себе весь мой ужас от этого зрелища! Никакие слова не смогут его описать — ведь эти глаза были моими! Этот осколок исчезнувшей расы — то, что невозможно выразить словом, отвратительный, мерзкий ошметок бренной оболочки, еще длящий свое существование после смерти демонов и ангелов, — это был… я!

Существуют сновидения, которые повторяются постоянно. К ним относится и один мой собствен-

ный сон. Он весьма необычен и потому, мне кажется, способен оправдать появление в этой истории. Опасаюсь, впрочем, что читатель может подумать: царство сна — что угодно, но только не отрадные охотничьи угодья для блуждающей в ночи души. Уверяю: это не так; многим, как и мне, большинство вторжений в мир ночных грез приносят самые приятные впечатления. Воображение возвращается в тело, как пчела в улей, нагруженная добычей, — и та, помогая разуму, превращается в мед и хранится в ячейках памяти, чтобы дарить радость. Но сон, о котором я собираюсь рассказать, имеет двойственный характер: когда я переживаю его непосредственно, он внушает мне ужас. Впрочем, эмоции, которые он мне сообщает, настолько несоразмерны с тем, что его вызывает, что в ретроспективе нелепость сна даже забавляет.

* * *

Я иду по поляне в некой лесистой местности. За опушкой небольшой рощицы видны возделанные поля и дома необычного вида. Похоже, рассвет близок: луна почти полная, на западе, и висит низко; туман фантастически искажает пейзаж, окрашивая ночное светило в кроваво-

красный цвет. Трава у моих ног тяжела от росы, и вся сцена — утро раннего лета — мерцает в призрачном свете луны. Рядом с тропой лошадь. Слышно, как животное щиплет траву. Когда я прохожу мимо, она поднимает голову, пристально смотрит на меня, а затем подходит. Морда у лошади молочно-белая, мягкая и приятная на вид.

Я говорю себе: «У этой лошади нежная душа», — и останавливаюсь, чтобы ее погладить. Она пристально смотрит на меня, потом подвигается ближе и говорит человеческим голосом, человеческими словами. Это меня не удивляет, но я пугаюсь и мгновенно просыпаюсь, возвращаясь в наш мир.

Лошадь всегда разговаривает на моем языке, но я все никак не могу понять, о чем же это она говорит. Думаю, я покидаю страну грез, прежде чем она успевает донести смысл высказывания до меня, — пребывая, несомненно, в таком же смятении от моего исчезновения, как и я от ее обращения ко мне.

Хотел бы я понять смысл ее слов.

Быть может, однажды поутру я их и пойму. Но тогда в наш мир я уже не вернусь.

Перевод Андрея Танасейчука

Психологическое кораблекрушение

Лето 1874 года я провел в Ливерпуле, куда меня забросили дела торгового дома «Бронсон и Джаррет» из Нью-Йорка. Кстати, Уильям Джаррет — это я; мы с Бронсоном были компаньонами. Были, потому что в прошлом году он умер: когда фирма обанкротилась, Бронсон не смог перенести столь жестокого удара судьбы.

Покончив с делами, я почувствовал себя совершенно опустошенным и разбитым и подумал, что длительное морское путешествие пойдет мне на пользу и благотворно отразится на моем здоровье. Поэтому вместо того, чтобы воспользоваться одним из многочисленных чудесных пассажирских пароходов, курсирующих через Атлантику, я решил отправиться в Нью-Йорк на парусном судне. Мне не было нужды размышлять, на каком корабле остановить свой выбор, — прежде я зафрахтовал судно для перевозки разнообразных грузов, закупленных в Англии для фирмы. Так я очутился на «Утренней заре».

Парусник был английским и относился к тому типу судов, на которых пассажиры не могли рассчитывать на особый комфорт. Впрочем, по-

путчиков у меня оказалось всего двое: молодая англичанка и ее служанка — мулатка средних лет.

Помнится, глядя на свою попутчицу, я подумал, что молодая леди едва ли нуждается в том, чтобы ее опекали. Однако вскоре после нашего знакомства она объяснила, что бедная женщина, собственно, не ее служанка. В свое время этой несчастной довелось пережить страшную трагедию: ее хозяева — супруги из Южной Каролины, гостившие в доме отца девушки, — скончались с разницей в один день, и, так как у нее больше никого не было, она осталась в семье англичанки. Данное обстоятельство (само по себе весьма необычное) обязательно запечатлелось бы в моей памяти, даже если бы позднее в одном из разговоров с попутчицей не всплыло, что имя умершего мужчины полностью совпадало с моим: его звали Уильям Джаррет. Мне приходилось слышать, что одна из ветвей нашего рода действительно обосновалась где-то в Южной Каролине, но сверх того мне ничего о них не было известно.

* * *

«Утренняя заря» покинула Ливерпуль 15 июня. Несколько недель небо было безоблачным, све-

жий бриз подгонял наш парусник. Капитан — вероятно, хороший моряк, славный, но недалекий человек, — к счастью, не докучал своим обществом, и наши встречи с ним происходили главным образом за обеденным столом в кают-компании. Мы были предоставлены самим себе, и у меня и юной Жанетт Харфорд (так звали англичанку) было достаточно времени, чтобы хорошо узнать друг друга. По правде сказать, мы почти не расставались.

Будучи человеком аналитического склада ума, я старался понять и определить то странное, необычное чувство, которое разбудила во мне Жанетт — едва уловимое, неясное и в то же время властное влечение, неизменно заставлявшее искать ее общества, — но увы, не находил ему вразумительного объяснения. Единственное, в чем я мог поклясться, — в том, что это была не любовь, а нечто иное. Я старался разобраться в характере охватившего меня чувства и, поскольку был уверен в добром расположении молодой женщины ко мне, решил обратиться к ней за помощью.

Долго я не решался заговорить об этом, но вот однажды вечером (помнится, это было третьего июля) мы расположились в шезлонгах на палубе

и я, несколько вымученно улыбаясь, попросил ее помочь разрешить этот психологический феномен.

Некоторое время она совершенно не реагировала на мои слова: сидела молча, отвернувшись, устремив взгляд в безбрежный океан. Так продолжалось довольно долго, и я уже начал беспокоиться, не слишком ли бестактно и неделикатно веду себя. Затем она медленно повернула голову и пристально поглядела в мои глаза. Невозможно описать, что тогда со мной произошло. Без сомнения, ее взгляд приобрел вдруг магическую силу. Он подчинил, растворил мой разум и наполнил мое сознание видениями и образами столь странными и доселе неведомыми, что я едва ли смогу внятно описать то состояние, в которое впал. Она смотрела не *на*, а *сквозь* меня, будто из необычайной дали, и взгляд ее был словно и не ее взгляд, — он утратил индивидуальное, присущее только ей выражение. Казалось, что на меня глядели глаза всех тех людей, кого я когда-то встречал на своем пути и чьи мимолетные взгляды когда-то ловил. Но только теперь в них было то же странное выражение, что меня поразило у Жанетт. Парусник, небо, океан — все исчезло. Все перестало существовать, кроме безмолвия

лиц, глаз, фигур, заполнивших палубу — сцену в этом необычайном, фантастическом спектакле. А затем… Тьма обрушилась, и словно бездна поглотила меня.

* * *

…Сознание и зрение медленно возвращались. Непроглядный мрак, окружавший меня, постепенно редел, превращаясь в сумеречную дымку, из которой все отчетливее проступали знакомые очертания мачт, палубы, оснастки. Мисс Харфорд лежала в шезлонге, откинувшись. Глаза ее были закрыты, она спала. На ее коленях лежала раскрытая книга, которую она читала на протяжении всего путешествия. Сам не понимая, зачем я делаю это, я протянул руку, взял книгу и посмотрел на заглавие. У меня в руках был экземпляр редкой, весьма любопытной и довольно-таки странной книги — «Размышлений» Деннекера. Один абзац на раскрытой странице был отчеркнут ногтем: «… может случиться с человеком и так, что на какое-то время душа его будет разделена с телесной оболочкой. Подобно тому, как бегущий ручей, пресекая вдруг путь другого, более слабого потока, становится сильнее, так и родственные души, когда пути их пересекаются,

сливаются в общий поток, в то время как тела их следуют предопределенными им путями. Но как происходит это — человеку познать не дано и никому не ведомо».

Смеркалось. Солнце скрылось за линией горизонта. Мисс Харфорд встала. Хотя было не холодно, ее знобило. Не доносилось ни дуновения: стоял мертвый штиль. Небо было безоблачным, но звезды еще не зажглись. Вдруг торопливый топот ног огласил палубу. Капитан, поднявшись снизу из своей каюты, присоединился к первому помощнику, застывшему у барометра. «О Боже!» — расслышал я его восклицание.

Час спустя все было кончено. Парусник, невидимый в темноте и брызгах разбушевавшейся стихии, поглотила морская пучина. Я сжимал в объятьях тело Жанетт Харфорд до тех пор, пока его не вырвал из моих рук водоворот тонущего судна. Сам же я спасся лишь потому, что привязал себя к обломку мачты.

* * *

Я очнулся. Вероятно, меня потревожил свет от лампы, светившей в глаза. Я лежал на койке, в знакомой каюте. Напротив меня на такой же койке сидел мужчина. Он читал книгу. Судя по

некоторому беспорядку в одежде, он собирался лечь спать. Вглядевшись, я узнал своего друга Гордона Дойла. Мы встретились с ним в Ливерпуле в день, когда он собирался отплыть в Америку. Он-то и уговорил меня отправиться вместе на пароходе «Прага». Помедлив минуту, я окликнул его по имени. Не поднимая глаз от книги, он что-то неопределенно пробормотал и перевернул страницу.

— Дойл… — повторил я. — Ее спасли?

Наконец-то он соизволил взглянуть на меня и рассмеялся, словно я его чем-то позабавил. Быть может, он посчитал, что я еще не совсем пришел в себя.

— Ее? Кого вы имеете в виду?

— Жанетт Харфорд!

Теперь пришел черед удивляться ему. Веселые огоньки исчезли из его глаз. Он взглянул на меня в глубоком изумлении, но ничего не сказал.

— Не надо говорить мне тотчас об этом, — попросил я его после паузы. — Ты расскажешь мне… не сейчас… потом. — Мгновение спустя я вновь спросил: — Что это за судно?

Дойл опять недоуменно посмотрел на меня, но теперь в его глазах вновь зажглись веселые искры:

— Вы находитесь на пароходе под названием «Прага». Упомянутое судно следует из Ливерпуля в Нью-Йорк. Увы, из-за поломки машины путешествие несколько затянулось, в море мы уже почти три недели. В данной каюте в настоящее время находятся: пассажир парохода Гордон Дойл, — он наклонил голову, — а также сумасшедший по имени Уильям Джаррет. Оба джентльмена ступили на палубу корабля одновременно, но, боюсь, вскоре совместному плаванию будет положен предел, поскольку у первого из упомянутых зреет возрастающее желание выбросить последнего за борт.

Шутливая тирада моего приятеля поразила меня.

— Следует ли вас понимать таким образом, — проговорил я, поднимаясь с постели, — что я уже три недели нахожусь здесь, на этом пароходе?

— Почти три недели. Сегодня — третье июля.

— Я был болен?

— Чрезвычайно… — усмехнулся он. — Здоров как бык. К тому же не пропустили ни одного свидания за обеденным столом.

— О господи, Дойл! Ничего не могу понять! Ради бога, пожалуйста, будьте серьезней. Разве меня не подобрали с разбитой бурей «Утренней зари»?

Выражение лица моего друга изменилось. Он молча наклонился ко мне и положил ладонь на мое запястье.

Минуту спустя он мягко спросил:

— Скажите, что вам известно о Жанетт Харфорд?

— Нет, сначала вы ответьте мне, что вам о ней известно, — произнес я.

Какое-то время Дойл пристально смотрел мне в глаза, видимо решая, как ему поступить, затем вновь уселся на свою койку.

— Почему бы и нет? Хранить тайну сейчас, вероятно, уже нет смысла. Я собираюсь жениться на Жанетт Харфорд. Мы встретились с ней год назад в Лондоне. Знаете, ее семья, одна из наиболее состоятельных в Девоншире, была против нашего союза, и мы бежали… вернее, бежим. Спасаемся бегством с того самого дня, когда мы с вами вступили на борт этого корабля, а она и ее служанка — на палубу «Утренней зари», покинувшей Ливерпуль вскоре после нас. Опасаясь разоблачения, она не рискнула отправиться вместе со мной. Тогда мы решили, что Жанетт, чтобы избежать возможной слежки и вероятности быть узнанной, должна плыть на парусном судне. Теперь я очень беспокоюсь, что «Утренняя заря»

придет в Нью-Йорк раньше нас, а бедная девочка даже не знает, куда ей идти. Поломка машины чрезвычайно задержала нас в пути.

Затаившись, я лежал на своей койке — так тихо, что едва дышал.

Дойл, похоже, забыл о моем существовании. Его, казалось, нимало не интересовало, слушаю я его или нет, и после короткой паузы он продолжал:

— Между прочим, Харфорд — не ее фамилия. Жанетт — приемная дочь Харфордов. Она была еще совсем маленькой, когда лишилась родителей. Ее мать погибла на охоте — упала с лошади и разбилась. Отец с горя подвинулся рассудком и наложил на себя руки. Никто не хватился ребенка, и через некоторое время Харфорды удочерили ее. Так она и росла в полной уверенности, что она их дочь, а они — ее родители.

— Дойл, а что за книгу вы читаете?

— О, она называется «Размышления» и принадлежит перу некоего Деннекера, — ответил мой друг. — Довольно необычная книга. Жанетт где-то раздобыла два экземпляра и один дала мне. Хотите посмотреть?

Он бросил книгу мне на кровать, и та раскрылась при падении. На одной из страниц был

отмеченный абзац:

«…может случиться с человеком и так, что на какое-то время душа его будет разделена с телесной оболочкой. Подобно тому, как бегущий ручей, пресекая вдруг путь другого, более слабого потока, становится сильнее, так и родственные души, когда пути их пересекаются, сливаются общий поток, в то время как тела их следуют предопределенными им путями. Но как происходит это — человеку познать не дано и никому не ведомо».

— У нее был… гм… у нее весьма своеобразный, сказал бы даже — уникальный читательский вкус… — выдавил я из себя, пытаясь скрыть охватившее меня волнение.

— Пожалуй, вы правы. А теперь, я надеюсь, вы наконец объясните мне, откуда вам известно ее имя и что случилось с кораблем, на котором она плыла.

— Просто… вы говорили о ней во сне, — ответил я.

Неделю спустя «Прага» бросила якорь в нью-йоркской гавани. Но об «Утренней заре» никаких известий не было, и больше никто и никогда о ней ничего не слышал.

Перевод Андрея Танасейчука

Обитель мертвецов

В восточной части штата Кентукки, в двадцати милях от Манчестера на дороге из Буневилля, в 1862 году стоял большой деревянный плантаторский дом, который выглядел лучше большинства окрестных строений. Но уже на следующий год дом этот уничтожил пожар, который, скорее всего, устроили солдаты генерала Джорджа У. Моргана, когда генерал Кирби Смит гнал его части из Камберлендского ущелья до реки Огайо. Перед тем как сгореть, дом четыре или пять лет пустовал. Земля вокруг него поросла ежевикой, изгороди сгнили, бараки для рабов и немногочисленные хозяйственные постройки, запущенные и разграбленные, разрушились. Для негров и бедняков белых, живших поблизости, деревянные заборы и та древесина, которой можно было поживиться в доме, представляла интерес в качестве топлива. Поэтому все, кто мог, беззастенчиво пользовались бесхозным имуществом среди бела дня. Но только среди бела дня. С наступлением сумерек никто, кроме чужаков, не отваживался посещать это место.

У дома была дурная слава — он был известен

как обитель призраков. В реальности злых духов, которых якобы видели, слышали и даже встречали лично, тамошние жители нисколько не сомневались — как, впрочем, верили и тому, что внушал им по воскресеньям странствующий проповедник. Мнение владельца дома на сей счет неизвестно, поскольку он и его семья однажды ночью пропали, а куда — никто не знал. Они оставили все: утварь, одежду, провизию, лошадей в стойлах, коров на пастбище, рабов в бараках; все было как прежде, ничего не переменилось, кроме того, что глава семейства, его жена, их дети — три девочки, мальчик-подросток и грудной младенец — сгинули без следа! Неудивительно, что плантаторский дом, из которого внезапно исчезли семь человек, казался подозрительным.

Вечером в июне 1859 года два жителя Франкфорта — полковник Дж. С. Мак Ардл, адвокат, и судья Майрон Вей (оба состояли в национальной гвардии штата) — ехали верхом из Буневилля в Манчестер по делу, которое не терпело отлагательств. Они очень спешили, потому продолжали свой путь даже когда стемнело и глухие раскаты грома давали знать, что приближается гроза; эта гроза обрушилась на них, когда они подъехали к «Дому привидений».

В свете беспрерывных вспышек молний путники без труда разглядели въезд на плантацию и, миновав ворота, направились к конюшне, где расседлали и оставили своих лошадей. Под проливным дождем они добежали до дома и стали колотить во все двери подряд, но ответа не последовало. Впрочем, гром грохотал с такой силой, что стучи не стучи — услышать было бы сложно. Поэтому они толкнули одну из дверей; она оказалась незапертой. Без церемоний вошли внутрь, затворив за собой дверь, и очутились в полной темноте и тишине. Яркие всполохи молний не проникали ни сквозь щели, ни сквозь окна, — непогоды словно вовсе и не было. У них возникло такое ощущение, будто они оба вмиг ослепли и оглохли, а Мак Ардл впоследствии признавался: когда переступил порог, ему показалось, что его настиг смертельный удар молнии. Продолжение истории поведал сам полковник; его рассказ опубликовали в газете «Адвокат», издаваемой во Франкфорте, 6 августа 1876 года.

«Когда я несколько оправился от ошеломившего нас эффекта внезапной глухоты — переход от грохота бушующей стихии к могильной тишине был поразительным, — моим первым побуждением было вновь открыть дверь, ручку которой

я сжимал одеревеневшими пальцами. Я хотел впустить звуки бури и сполохи молнии в дом, чтобы проверить, не лишился ли я зрения и слуха. Повернув ручку, я распахнул дверь. Она вела в другую комнату!

Эта комната вся была залита неизвестно откуда идущим зеленоватым светом. Я видел все, но не очень отчетливо. Я сказал «все», хотя на самом деле моему взору предстали только голые каменные стены и человеческие трупы. Их было восемь или десять, но, разумеется, тела я не считал. Останки принадлежали людям мужского и женского пола и разного возраста, точнее, разной величины — начиная с маленького тельца грудного малыша. За исключением трупа молодой, как мне почудилось, женщины — она умерла сидя, прислонившись к стене, — все остальные тела лежали на полу. Еще одна женщина, постарше, держала на руках младенца. Она прижимала его к себе. У ног бородатого мужчины лицом вниз лежал подросток. Одежда двоих мертвецов истлела настолько, что тела их были почти обнажены; девушка придерживала рукой край разодранной на груди рубашки. Трупы были в разной степени разложения, лица и тела иссохли. Некоторые уже почти превратились в скелеты.

Я стоял в оцепенении, не в силах сойти с места от охватившего меня ужаса, и продолжал инстинктивно держаться за дверную ручку. Но мое внимание быстро переключилось с чудовищного зрелища — я сосредоточился на мелочах и деталях. Похоже, разум мой из чувства самосохранения таким образом пытался хотя бы немного ослабить невероятное нервное напряжение, выдержать которое иначе я был просто не способен. Среди прочего я хорошо запомнил, что дверь — я по-прежнему держал ее открытой — сделана из склепанных внахлест тяжелых пластин кованого железа. Из торца, вверху и внизу, на одинаковом расстоянии друг от друга, торчали по три мощных стержня. Я повернул ручку — стержни ушли внутрь. Отпустил — они выдвинулись, как замки на пружинах. Изнутри комнаты ручки на двери не было, только сплошная металлическая гладкая поверхность без единого выступа.

На все я смотрел с неподдельным интересом. И сейчас, когда вспоминаю те события, нахожу их достойными удивления. Так и стоял, потрясенный и растерянный, когда судья Вей, о котором я забыл, вдруг оттолкнул меня и решительно ступил за порог.

— Бога ради! — вскричал я. — Не входите! Нуж-

но выбираться из этого жуткого места!

Судья был глух к моим словам. Решительно и бесстрашно — как все южане! — он быстро вошел и встал в центре комнаты. Опустившись на колено перед одним из тел, чтобы рассмотреть получше, он осторожно приподнял почерневшую и высохшую голову. Омерзительное зловоние, распространившись мгновенно, ударило мне в нос, лишая сил. Сознание помутилось, ноги подкосились, я ощутил, что падаю. В попытке сохранить равновесие я схватился за кромку двери, но та, щелкнув, захлопнулась!

Что было дальше — не помню… Провал в памяти.

Я очнулся в Манчестере, в гостинице. Туда на следующий день меня привезли незнакомые мне люди. Без сознания я пробыл шесть недель. Все это время метался в лихорадке и бредил. Мне сказали, что нашли меня в нескольких милях от злополучного дома. Но как я из него выбрался, как прошел несколько миль — мне непонятно. Когда врачи разрешили говорить, я спросил о судье. Мне ответили: «Судья Вей дома, с ним все в порядке». Позже я узнал, что это не так, меня просто хотели успокоить.

Я рассказал обо всем, что видел, но мне ни-

кто не верил — ни единому слову. Но стоит ли тому удивляться? И разве способен хоть кто-то вообразить, какое потрясение я испытал, когда, вернувшись домой два месяца спустя, выяснил, что о судье Вее с той самой ночи никто ничего не слышал? Как я жалею теперь, что дурацкая гордость не дала мне возможности настоять тогда на правдивости приключившейся со мной невероятной истории. Теперь я понимаю, что должен был с самого первого дня после выздоровления повторять ее снова и снова!

Позднее дом обследовали, но комнаты, соответствующей моему описанию, не обнаружили. Меня пытались объявить сумасшедшим. Мне удалось избежать этого, как известно читателям “Адвоката”. С того злополучного дня прошло много лет, но я по-прежнему уверен, что раскопки, на которые у меня нет юридических прав и финансовых возможностей, могли бы пролить свет на загадочное исчезновение моего несчастного друга, а возможно, и прежних обитателей и владельцев злополучного дома — сначала пустовавшего, а потом и вовсе сгоревшего. Но я не отчаиваюсь и продолжаю надеяться, что когда-нибудь смогу раскрыть тайну. Однако меня глубоко огорчают и расстраивают враждебность

и неразумный скептицизм родных и друзей покойного судьи Вея. Именно по этой причине и мои разыскания были отложены на столь длительное время».

Полковник Мак Ардл скончался во Франкфорте три года спустя, 13 декабря 1879 года.

Перевод Андрея Танасейчука

Случай на мосту через Совиный ручей

I

В северной части Алабамы на железнодорожном мосту стоял человек. Он смотрел вниз на потоки воды, бегущие в двадцати футах под ним. Его руки были заведены за спину, запястья стянуты шнуром. Шею крепко охватывала веревка. Она была закреплена на поперечной балке у него над головой, оставшийся конец болтался свободно, почти касаясь его колен. Несколько досок были уложены на шпалы, по которым тянулись стальные рельсы железнодорожного полотна. Доски служили помостом для него и его палачей — двух рядовых федеральной армии, которыми командовал сержант. В мирной жизни последний, вероятнее всего, был помощником шерифа. В некотором отдалении, но на том же временном помосте стоял офицер. Он был в парадной форме капитана армии США и вооружен. На каждом из концов моста стояли часовые. Они замерли с винтовками в положении «на караул», то есть держали их вертикально, против левого плеча, в руке, согнутой под прямым углом парал-

лельно грудной клетке. Поза эта, как известно, искусственна и неудобна и требует от солдата неестественного и напряженного выпрямления корпуса. Судя по всему, в обязанности двух солдат не входило знать, что происходит на мосту, — каждый из них со своей стороны преграждал путь любому, кто попытается подойти к помосту, и только.

За спиной одного из часовых не было видно ни души: рельсы железной дороги на сотню метров по прямой убегали в лес, затем поворачивали и терялись из виду. В той стороне наверняка находилось сторожевое охранение. Другой берег был открытым, но пологий склон упирался в импровизированный частокол из вертикально вкопанных в землю бревен. В нем были пробиты бойницы для стрельбы из ружей и амбразура, оттуда торчал ствол бронзовой пушки. Она была наведена на мост и готова к стрельбе. На полпути между мостом и укреплением, на откосе, расположились зрители, — около роты солдат-пехотинцев вытянулись вдоль берега в линию в положении «вольно»: приклады ружей упирались в землю, стволы наклонены к правому плечу, руки, согнутые в локтях, покоились на ложах. Справа от строя стоял лейтенант. Саблю

он воткнул в землю, руки положил на ее эфес. За исключением тех четверых на середине моста, никто не двигался. Строй солдат был развернут лицом к мосту и словно окаменел — все стояли безмолвно, неподвижно. Часовые застыли, обращенные лицом каждый к противоположному берегу; они казались статуями, элементом архитектуры, а не живыми людьми. Капитан, скрестив на груди руки, стоял молча, наблюдая за работой своих подчиненных и не мешая их действиям. Смерть — особа высокого достоинства. Когда она приходит, известив о своем появлении заранее, ее следует принимать со всеми официальными почестями — и это касается также тех, кто с ней накоротке. Согласно армейскому этикету, безмолвие и неподвижность — символы глубокого почтения.

Человеку, которого собирались повесить, было, вероятно, лет тридцать пять. Судя по внешнему облику, он был штатский — скорее всего, плантатор. У него были правильные черты лица: прямой нос, четкая линия рта и широкий лоб. Длинные, темного цвета волосы были зачесаны за уши и, сбегая вниз, падали на воротник хорошо пошитого дорогого сюртука. Он носил усы и аккуратно подстриженную бородку клинышком,

щеки выбриты; в больших темно-серых глазах читалась доброта, — трудно было ожидать увидеть ее в глазах человека с петлей на шее. Он никак не походил на обычного преступника. Но закон военного времени весьма «либерален» и не скупится на смертные приговоры для людей разного звания, не исключая и джентльменов.

Когда приготовления были закончены, оба солдата сделали по одному шагу в сторону, затем каждый оттащил за собой доску, на которой стоял. Сержант повернулся лицом к капитану и вскинул руку к головному убору, отдавая честь. Сразу после этого он встал за спиной офицера, тот немедленно тоже сделал шаг в сторону. Эти перемещения привели к тому, что сержант и осужденный оказались на противоположных концах доски, покрывавшей три перекладины моста.

Тот конец, на котором стоял штатский, почти доходил до четвертой. Прежде доска удерживалась в состоянии равновесия тяжестью капитана, теперь его заменил сержант. По сигналу, который подаст капитан, тот шагнет в сторону, равновесие нарушится, доска опрокинется — и осужденный повиснет в пролете между двумя перекладинами. Осужденный подумал, что способ, которым его

собираются казнить, прост и эффективен. Ему не завязали глаза и оставили лицо открытым. Мгновение его взгляд задержался на зыбком подножье собственного бытия, затем, блуждая, переместился на бурлящие потоки воды, что бешено неслись у него под ногами. Его внимание привлек кусок бревна: он вращался и подпрыгивал на воде, человек проводил его взглядом вниз по течению… Как медленно он двигался! Какая ленивая река!

Он закрыл глаза и попытался сосредоточить последние мысли на жене и детях. Вода, тронутая золотом восходящего солнца, туман, стелющийся по берегам реки, форт, солдаты, кусок бревна — все это прежде отвлекало его. Но теперь он ощутил новую помеху. Продираясь сквозь его мысли о близких и любимых, перемешивая их, какой-то звук — отчетливый, мерный, металлический, от которого он никак не мог отрешиться и природу которого понять был не в состоянии, — напоминал ему удары кузнечного молота по наковальне. Он недоумевал, что это может быть за звук, откуда он доносится — с близкого расстояния или издалека: он казался бесконечно далеким и поразительно близким одновременно. Удары раздавались через равные промежутки, но были так медленны! — как похоронный звон. Он ждал

каждого удара с нетерпением и — сам не понимая почему — со страхом. Паузы между ударами постепенно удлинялись и мучили его. Чем реже раздавались звуки, тем сильнее и отчетливее становились. Они причиняли боль, будто ножом резали ухо. Он боялся, что не выдержит и закричит. То, что он слышал, было тиканьем его часов.

Он открыл глаза и вновь посмотрел на воду, бегущую внизу под ногами. «Если бы мне только удалось освободить руки, — подумал он, — я сбросил бы петлю и прыгнул в воду. Под водой пули меня не достанут, я быстро доплыву до берега, спрячусь в зарослях, а потом лесом доберусь до дома. Мой дом, слава Богу, по ту сторону фронта; жена и дети еще недосягаемы для захватчиков».

Когда эти мысли, которые здесь приходится излагать словами, скорее сверкнули молнией, нежели сложились в сознании обреченного, капитан кивнул сержанту. Сержант сделал шаг в сторону.

II

Пейтон Фаркуэр был плантатором и принадлежал к старинной и весьма уважаемой семье из Алабамы. Подобно многим другим рабовладельцам, он являлся сторонником отделения южных

штатов и яростным приверженцем делу южан. Обстоятельства, о которых здесь говорить не стоит, сложились таким образом, что он не смог вступить в ряды благородной армии, сражавшейся несчастливо и поверженной под Коринфом. Он томился в бесславной праздности, лишенный возможности реализовать бурлящую в нем энергию в тяжелой солдатской жизни, но искал возможности отличиться. Он верил, что такой случай представится — в военное время он дается любому. А пока делал то, что мог. Не было даже самого малого дела, которым бы он пренебрег, если оно могло пойти на пользу Югу, не нашлось бы предприятия, опасного настолько, чтобы он не мог в нем участвовать, — у этого сугубо гражданского человека было сердце настоящего воина. К тому же он глубоко и искренне уверовал в довольно гнусный принцип, что в любви и на войне все дозволено.

Однажды вечером, когда Фаркуэр сидел с женой на скамье у ворот своей усадьбы, к ним на лошади подъехал солдат в серой униформе и попросил напиться. Миссис Фаркуэр была счастлива услужить ему и решила собственноручно принести воды. Пока она ходила в дом, ее муж приблизился к запыленному всаднику и стал расспрашивать

того о последних новостях с фронта.

— Янки восстанавливают железные дороги, — сказал солдат, — и готовятся к новому наступлению. Сейчас они подошли к мосту через Совиный ручей, починили его и построили форт на северном берегу. Их командующий издал приказ — они его везде расклеили — о том, что любой штатский, уличенный в порче железнодорожного полотна, мостов, туннелей или подвижного состава, будет схвачен и повешен без суда. Я сам читал.

— А скажи, далеко ли до этого самого моста через Совиный ручей? — спросил Фаркуэр.

— Около тридцати миль.

— А на нашем берегу есть охрана?

— Небольшая. Сторожевой пост в полумиле от моста на железной дороге да часовой на самом мосту.

— А если бы некий кандидат в висельники, штатский, сумел пробраться незамеченным мимо поста и справился с часовым, — с улыбкой произнес Фаркуэр, — что бы он смог сделать?

Солдат задумался.

— Я был там с месяц назад, — ответил он, — и видел, что во время паводка к опорам моста с нашего берега прибило много плавника. Сейчас

бревна высохли, мост деревянный — все вспыхнет, как пакля.

Разговор прервался, потому что леди принесла воды и дала солдату напиться. Он искренне поблагодарил ее, кивнул хозяину и ускакал. Через час, когда уже стемнело, он снова миновал плантацию, но теперь в обратном направлении. Это был разведчик — шпион федеральных войск.

III

Падая в пролет моста, Пейтон Фаркуэр потерял сознание, словно умер. Он очнулся — казалось, прошли века — от острой боли, сдавившей горло; за ней последовало удушье. Толчки резкой боли выстреливали от горла и пробегали мучительной волной по всему телу и конечностям, докатываясь до каждой клеточки. Боль мчалась по точно намеченному маршруту и пульсировала с невероятной частотой. Волны боли были похожи на потоки огня, накалявшие все его существо до нестерпимой температуры. Но до головы боль не доходила, — голова гудела от избытка прилившей крови. Эти ощущения не сопровождались мыслями. Та, способная мыслить часть его существа, уже была уничтожена; чувствовать — единственное, на что он был способен, и чувствовать

было пыткой. Он ощущал, что движется. Словно гигантский маятник, он, лишенный материальной субстанции, огненный пульсирующий шар, заключенный в облако света, качался по невообразимой дуге колебаний. Затем внезапно все это кончилось: с пугающей необратимостью свет, в который он был заключен, с громким всплеском взлетел кверху, уши затопил неистовый рев, все его существо обступили холод и мрак. И вот тогда его мозг заработал снова: он понял, что веревка оборвалась и он упал в воду. Но не захлебнулся: петля, стягивающая его шею, не дала воде залить легкие. Смерть через повешение на дне реки! — сама идея показалась ему забавной и нелепой. Он открыл глаза, и его обступил сумрак, только высоко наверху был заметен отблеск света. Но как он был далек, как недосягаем! Он продолжал погружаться, потому что свет становился слабее и слабее, пока не превратился в едва заметное мерцание. Но затем свет стал расти, он прибывал и разгорался, и человек понял, что его выносит к поверхности, — понял с сожалением, потому что теперь ему было хорошо.

«Быть повешенным, а потом еще и утонуть, — подумал он, — через это я уже прошел; но я не хочу, чтобы меня еще и застрелили. Нет, меня

не застрелят, это было бы слишком несправедливо».

Сознание не принимало участия в его действиях, но по острой боли в запястьях он понял, что пытается освободить руки. Он стал внимательно следить за собственными действиями, но его интерес был сродни интересу зрителя в цирке, который отстраненно наблюдает за работой фокусника. Какая поразительная ловкость! Какая удивительная, просто нечеловеческая сила! А какая настойчивость! Браво! Веревка упала, руки освободились и всплыли, — он смутно различал и ту и другую в ширящемся свете. С каким-то новым интересом он наблюдал, как сначала одна, потом вторая вцепились в петлю на шее. Они сорвали ее, со злобой отшвырнули в сторону. Веревка извивалась в воде и походила на плывущего ужа… «Верните ее! Верните ее обратно!» Человеку показалось, что это он крикнул своим рукам, ибо страдания, которые он испытал после того, как петля исчезла, были непереносимы. Шея разрывалась от боли, под черепной коробкой пылал огонь; сердце, до той поры едва бившееся, сделало рывок и подскочило прямо к горлу, словно пытаясь вырваться наружу. Все его тело будто стонало и корчилось в дьявольских

конвульсиях!

Но непокорные руки не слушались его команд. Они били в воде сильными, быстрыми ударами сверху вниз, выталкивая его к поверхности. Он почувствовал, как голова вырвалась из воды, глаза ослепило солнце, грудная клетка судорожно расширилась, и его легкие — почти в агонии — вдруг заполнились воздухом, которого было так много, что человек с воплем исторг его из груди!

Сейчас он полностью владел своими чувствами. Более того, теперь они стали необычайно остры. Вероятно, страшное потрясение, которое он перенес, что-то изменило в устройстве его организма, и теперь человек чувствовал то, что прежде было ему недоступно. Он ощущал рябь воды на лице и слышал звук каждого ее толчка. Он смотрел на прибрежный лес и различал каждое дерево, каждый листок и даже каждую прожилку на нем. Он видел насекомых в лесу — всех, без изъятья: кузнечиков, мух с алмазными блестящими крыльями, серых пауков, прядущих паутину и тянущих нити от ветви к ветви. Он замечал все цвета радуги в каплях росы на миллионах травинок. Жужжание мошкары, плясавшей над водоворотами, шум крыльев стрекоз, удары лап жука-плавунца, похожего на лодку, влекомую

веслами, — все это теперь было для него внятной музыкой. Рыбка скользнула вдоль его глаз, и он расслышал шелест рассекаемой ее телом воды.

Он выплыл на поверхность лицом по течению реки, но в тот же миг видимый мир начал медленно вращаться вокруг него, словно он был центром этого мира. Он видел мост, укрепление, солдат на мосту: капитана, сержанта, двух рядовых — всех своих палачей. На фоне яркого голубого неба их силуэты были отчетливо очерчены. Они кричали и размахивали руками, указывая на него. Капитан выхватил свой револьвер, но не стрелял, остальные были безоружны. Их фигуры казались ему огромными, жесты жуткими, угрожающими и нелепыми.

Внезапно он услышал резкий звук выстрела, и что-то с силой ударило в воду в нескольких дюймах от его головы, обдав лицо брызгами. Снова раздался выстрел, и он увидел одного из часовых, целившегося из ружья, и голубой дымок, вырвавшийся из дула. Человек в воде увидел глаз человека на мосту, смотревший на него сквозь прицел. Он заметил, что глаз был серого цвета, и вспомнил, что серые глаза самые зоркие и что все знаменитые стрелки сероглазы. Он где-то читал об этом. Как бы там ни было, этот стрелок

промахнулся.

Водоворот подхватил Фаркуэра и повернул его. Он снова оказался лицом к противоположному от форта лесистому берегу. Звук голоса, звонкий и отчетливый, раздался позади него: однотонный и певучий, он донесся по воде так отчетливо, что разорвал и заглушил все иные звуки, даже шум журчащей воды в ушах. Хотя он не был солдатом, но посещал военные лагеря достаточно, чтобы понять суровый смысл этого нарочитого, мерного и протяжного напева: лейтенант на берегу решил, что настала пора и ему вмешаться в утренние события. Как холодно и безжалостно, и в то же время ровно и нарочито спокойно — словно он пытался передать свою собранность солдатам, — с точно выверенной размеренностью падали жестокие слова:

— Рота!.. Ружья к бою!.. Готовься!.. Цельсь!.. Огонь!

Фаркуэр нырнул, — нырнул так глубоко, как только смог. Вода взревела в его ушах чудовищным грохотом Ниагарского водопада, однако он услышал приглушенный гром ружейного залпа и, уже всплывая обратно к поверхности, увидел сияющие, сплющенные кусочки, которые, зыбко покачиваясь, медленно опускались в глубину.

Некоторые из них коснулись его лица и рук, на мгновение остановив падение, но затем скользнули вниз. Один застрял между воротником и шеей, стало горячо и неприятно, и он вырвал его оттуда.

Когда, задыхаясь, Фаркуэр вынырнул на поверхность, оказалось, что под водой он пробыл довольно долго; течение унесло его достаточно далеко, спасение теперь было совсем рядом. Солдаты почти закончили перезаряжать ружья; стальные шомпола, выдернутые из стволов, разом блеснули на солнце и, перевернувшись в воздухе, устремились в свои гнезда. Два часовых снова выстрелили — они действовали по собственному почину — и промахнулись.

Несчастный беглец видел все это, оглядываясь через плечо; теперь, удаляясь, он плыл по течению, сильно загребая. Мозг его работал с энергией ничуть не меньшей, нежели его руки и ноги, мысль обрела быстроту молнии.

«Офицер, — размышлял он, — совершил ошибку, во второй раз так он не ошибется. От залпа уклониться так же легко, как от одной пули. Скорее всего, он уже скомандовал стрелять вразнобой. Господи! Помоги мне! От всех пуль мне не увернуться».

Чудовищный водяной столб вздыбился в паре метров и прервал его мысли. Тотчас раздался громкий, стремительный гул, который, слабея, казалось, возвращался по воздуху назад в форт и, замерев, вдруг взорвался сокрушительным взрывом, — вся река содрогнулась от него до самого дна! Поднялась стена воды, накренилась и… рухнула на человека, лишая зрения, слуха и воздуха! В игру вступило орудие. Не успел он прийти в себя от взрыва, как услышал шелест летящего снаряда. Тот летел мимо, и через мгновение в лесу раздался треск и грохот ломающихся веток и стволов деревьев.

«Больше они этого не сделают, — подумал беглец. — В следующий раз в дело пойдет шрапнель. Я должен следить за пушкой. Дым от выстрела меня предупредит. Звук запаздывает и доходит слишком поздно. Пушка хорошая, ее нужно опасаться».

Внезапно его подхватило и закружило, он завертелся, как волчок. Вода, оба берега, лес и деревья, мост в отдалении, форт и солдаты — все перемешалось и расплылось. Предметы напоминали о своем существовании только цветом.

* * *

Вращение горизонтальных цветных полос — вот и все, что он видел. Его затянуло в водоворот и несло вперед с такой скоростью, а вращало с такой неистовой силой, что он испытал сильнейшую тошноту и головокружение. Через несколько мгновений его вышвырнуло на галечный пляж левого — южного — пологого берега, и он очутился за выступом, который скрыл его от врагов. Внезапно прерванное движение, боль в руке, пораненной о камень, привели его в чувство, и он зарыдал от радости. Беглец погружал пальцы в песок и гальку, захватывал пригоршнями и высыпал их на себя. И вслух благословлял их. Камни сияли алмазами, рубинами, изумрудами: ничего прекраснее их не могло быть на свете. Деревья на берегу были гигантскими садовыми растениями; человек с наслаждением вдыхал аромат их цветов. Странный, розоватого оттенка свет струился между стволами, а шум ветра в листве и ветвях звучал, как звук эоловой арфы. Человек уже не испытывал желания продолжать свое бегство, он хотел остаться в этом зачарованном месте, пока его не настигнут.

Визг и треск картечи в ветвях высоко над голо-

вой в прах разнесли его грезы. Канонир, видимо, послал ему прощальный привет, в досаде выстрелив наудачу вдогонку. Беглец вскочил на ноги, взбежал вверх по отлогому берегу и скрылся в лесу.

* * *

Он шел весь день, сверяя свой путь по солнцу. Лес казался бесконечным, нигде не было ни просек, ни даже обычной лесной тропинки. Он и не предполагал, что живет в такой глуши. Было нечто жуткое в этом открытии.

К сумеркам он совсем обессилел, сбил в кровь ноги и умирал от голода. Одна лишь мысль о жене и детях продолжала гнать его вперед. Наконец он выбрался на дорогу, которая, как он полагал, идет в нужном направлении. Она была широкая и прямая, как улица в большом городе, но, судя по всему, никто по ней не ездил. Не было вдоль нее ни полей, ни строений. Ничто не указывало на то, что здесь живут люди, ни разу даже не залаяла собака. Только черные стволы деревьев возвышались по сторонам, образуя отвесную стену, уходя к горизонту и сходясь где-то там, в одной точке, словно линии на перспективном чертеже. Окончательно стемнело, и высыпали

крупные золотые звезды. Странное дело, но, задрав голову, он смотрел вверх и не узнавал ни звезд, ни созвездий. Однако был уверен, что их расположение имеет тайный и зловещий для него смысл. Лес вокруг был полон загадочных звуков, среди которых — раз, другой и снова — он ясно слышал шепот на неизвестном языке.

Шея сильно болела. Он поднял руку, дотронулся до нее и обнаружил, что она чудовищно распухла. Он знал, что там черный круг — след от веревки. Глаза тоже пострадали: они вылезли из глазниц, и теперь он не мог их закрыть. Язык распух от жажды; чтобы как-то уменьшить страдания, человек высунул его на холодный воздух. Но какой мягкой травой поросла эта неезженая дорога, — он уже и не чувствовал ее под ногами!

Все же он уснул на ходу, несмотря на все свои мучения, потому что теперь он увидел совсем другую картину — а может быть, просто очнулся от бреда.

* * *

...Он стоял у ворот собственного дома. Все осталось таким, как он покинул, но все так ярко и красочно в лучах утреннего солнца!

Похоже на то, что он шел всю ночь. Он толкнул

ворота — они раскрылись — и пошел по широкой светлой аллее. Мелькнуло воздушное женское платье — это его жена, свежая, спокойная и желанная, спускается с веранды по ступенькам ему навстречу. На нижней ступеньке она остановилась и ждет его с улыбкой невыразимого счастья на устах, — земное воплощение безупречной грации и благородства. Ах! Как она прекрасна! Он бросился к ней, раскрыв объятья. Он уже почти обнял ее, как вдруг чудовищный удар обрушился сзади на его шею; ослепительный белый свет взорвался с грохотом орудийного выстрела и полыхнул кругом, — а затем лишь мрак и безмолвие!

Пейтон Фаркуэр был мертв. Его тело со сломанной шеей мерно покачивалось из стороны в сторону под стропилами моста через Совиный ручей.

Перевод Андрея Танасейчука

Средний палец правой ступни

I

Всем в округе было хорошо известно, что в заброшенном доме Ментона обитает привидение. Никто из обитателей окрестных ферм, никто из жителей ближнего городка Маршалл, что в миле от упомянутой усадьбы, даже и не думал сомневаться в этом. Нашлось, правда, несколько чокнутых, которые сомневались, но на то они и ненормальные, чтобы сомневаться в вещах очевидных. А доказательства того, что в доме Ментона бродит привидение, имелись: во-первых, тому нашлись беспристрастные свидетели, а во-вторых, сам дом. Конечно, показания очевидцев можно оспаривать, употребляя доводы, которые умы зловредные применяют обычно в спорах против умов простых и открытых, но факты, основательные и убедительные, говорят сами за себя.

Прежде всего, дом Ментона пустовал уже более десяти лет вместе со всеми своими пристройками, постепенно разрушался, приходя в упадок. И обстоятельство это никто не мог игнориро-

вать. Дом стоял на пустынном участке дороги из Маршалла в Хэрристон среди пустоши, некогда бывшей фермерскими угодьями, — там все еще торчат остатки догнивающего забора среди колючих кустов ежевики, укрывшей каменистую и бесплодную землю, давно не тронутую плугом. Сам же дом был в довольно приличном состоянии, хотя порядком отсырел и нуждался в особом внимании стекольщика. Последнее объяснялось главным образом тем, что младшее поколение мужской части населения округи таким оригинальным способом стремилось выразить свое неодобрение жилищам, лишенным жильцов.

Дом был двухэтажный, почти квадратный, с единственной дверью по фасаду и двумя окнами по обе стороны от нее, доверху заколоченными досками. Окна над ними не были защищены, и потому комнаты второго этажа были открыты всем дождям и солнечному свету. Все вокруг дома заросло сорной травой. Несколько некогда тенистых деревьев явно пострадали от напора стихий — они росли, склонившись в одну сторону, словно пытаясь бежать из этого места. То есть, как совершенно справедливо выразился штатный юморист местной газеты, «предположение, что в доме Ментона крепко пошаливают

привидения, напрямую следует из его внешнего вида». Тот факт, что около десяти лет назад мистер Ментон счел необходимым встать однажды ночью с постели и перерезать горло своей жене и двум маленьким ребятишкам, а затем скрыться в неизвестном направлении, несомненно, содействовал распространению мнения, что это место необычайно приспособлено для сверхъестественных явлений.

Однажды летним вечером к этому дому подъехал экипаж. В нем находилось четверо мужчин. Трое не мешкая вышли, и возница стал привязывать лошадей к единственному столбу, оставшемуся от ограды. Четвертый мужчина остался сидеть в экипаже.

— Идемте, — произнес, подходя к нему, один из его спутников. — Это и есть то самое место.

Человек, к которому он обратился, не двинулся с места, но отреагировал такими словами:

— О Господи! — сказал он. — Это ловушка… И мне кажется, что вы в этом участвуете.

— Вполне возможно, — отвечал другой тоном слегка презрительным, вызывающе глядя прямо в глаза собеседнику. — Однако не забывайте, что выбор места, с вашего же согласия, был предоставлен противной стороне. Конечно, если вы

боитесь привидений, то…

— Я ничего не боюсь, — прервал его собеседник и, чертыхаясь, спрыгнул на землю.

Они догнали остальных у двери, которую уже открыли, хотя и пришлось несколько повозиться из-за ржавого замка и петель. Все вошли. Внутри было темно, но тот, кто отпирал входную дверь, достал свечу и спички. Когда огонь разгорелся, стало видно, что они находятся в коридоре. Тот же человек распахнул дверь, что была справа от них. В тусклом свете свечи их взору открылась большая квадратная комната. Пол ее, словно ковер, укрывал густой слой пыли, и он частично глушил шаги. Углы комнаты были завешены паутиной. Паутина свисала с балок потолка, словно обрывки сгнивших кружев; она плавно колебалась в такт движениям воздуха. Комната была угловой и имела два окна, но сквозь них ничего нельзя было разглядеть — только грубую неровную поверхность досок, которыми окна были забиты на расстоянии нескольких сантиметров от стекол. В комнате не было ни камина, ни мебели — ничего, кроме паутины, пыли и четырех человек, явно лишних здесь.

Довольно странно они смотрелись в желтом неровном свете свечи. Среди них один особенно

привлекал внимание — так необычно он выглядел; он явно был сильно взволнован. Это был мужчина средних лет, высокий, крупный, с большой грудной клеткой, широкоплечий. Одного взгляда на его фигуру было достаточно, чтобы заключить, что он обладает недюжинной силой и не преминет при случае ею воспользоваться. Он был гладко выбрит, коротко пострижен, в волосах густо пробивалась седина. У него был низкий лоб, изборожденный морщинами. Над глазами нависали густые черные брови, почти сросшиеся на переносице. Под ними мрачно горели глубоко запавшие глаза неопределенного цвета, слишком маленькие для этого большого человека. В их выражении было что-то отталкивающее, и впечатление это отнюдь не скрашивали жесткий рот и широкая, тяжелая нижняя челюсть. Нос, напротив, был вполне обычный, как и большинство человеческих носов, — да от носа ничего особенного и ожидать-то нельзя! Но общее выражение лица было зловещим, и впечатление это усиливалось неестественной его бледностью — оно казалось совершенно бескровным. Внешность остальных была вполне обычной: они принадлежали к тому распространенному типу людей, встретив которых забываешь, как они

выглядели, едва расставшись с ними. Все они были моложе упомянутого субъекта, который стоял в стороне от них и, очевидно, не испытывал ни малейшей к ним симпатии: он и его спутники избегали смотреть друг на друга.

— Джентльмены, — произнес тот, кто держал в руках ключи и свечу, — я полагаю, все в порядке. Вы готовы, мистер Россер?

Один из молодых людей отделился от группы и поклонился с улыбкой.

— А вы, мистер Гроссмит?

Гигант изобразил на лице гримасу, которую едва ли можно было принять за улыбку, и наклонил голову.

— Будьте любезны, джентльмены, снять верхнее платье.

Довольно быстро в коридор перекочевали шляпы, сюртуки, за ними жилеты и галстуки. Человек со свечой кивнул головой, четвертый спутник — тот, который уговаривал Гроссмита выйти из экипажа, — достал из кармана пальто пару длинных, смертоносного вида ковбойских ножей и вытащил их из кожаных ножен.

— Они совершенно одинаковы, — произнес он, вручая по ножу каждому из противников: теперь любой наблюдатель, даже совершенно

лишенный проницательности, легко мог сделать бесспорный вывод о цели данного мероприятия.

Предстояла дуэль — не на жизнь, а на смерть.

Каждый из ее участников взял нож, внимательно осмотрел его при свете огарка свечи, испробовал надежность лезвия и рукоятки о собственное согнутое колено. После этого секунданты обыскали дуэлянтов, причем каждого обыскивал секундант противника.

— Если вы ничего не имеете против, мистер Гроссмит, — произнес человек, державший свечу, — соблаговолите встать в тот угол.

И он указал на угол комнаты, наиболее удаленный от двери. Перед тем как Гроссмит переместился в отведенный ему угол, секундант простился с ним. Их рукопожатие едва ли можно было назвать сердечным.

Угол, ближний к двери, занял мистер Россер. Его секундант, посовещавшись о чем-то с ним шепотом, оставил его и присоединился к секунданту противника, стоявшему у двери. В этот момент свеча внезапно погасла, и все растворилось во мраке. Отчего погасла свеча? Вероятнее всего, причиной тому стал сквозняк из открытой двери, но, как бы там ни было, эффект получился потрясающий!

— Джентльмены… — раздался голос в темноте. Странно, но в изменившихся обстоятельствах и он звучал совершенно по-другому — так незнакомо. — Джентльмены, вы не должны двигаться до тех пор, пока не услышите, как захлопнется внешняя дверь.

Послышался звук шагов, закрылась внутренняя дверь… Наконец хлопнула и дверь на улицу — это действие сопровождалось таким ударом, что от него содрогнулось все здание.

Некоторое время спустя припозднившийся путник — мальчишка с одной из окрестных ферм — повстречал экипаж, бешено несущийся ему навстречу в сторону Маршалла. Он сказал, что на переднем сиденье располагались двое, а сзади, выпрямившись во весь рост, стоял третий, вцепившийся в плечи седоков. Мальчишке показалось, что они тщетно пытаются освободиться от его рук. Этот третий, в отличие от остальных, был одет во все белое и — в этом мальчишка был уверен — вскочил в экипаж, когда тот проезжал мимо лома с привидениями. Поскольку паренек этот был известен в округе своим опытом в области сверхъестественных явлений, то его слова возымели весомость экспертного заключения. История эта (вкупе с последовавшими на другой

день событиями) вскоре появилась на страницах местной газеты «Вперед» — разумеется, с комментариями и в несколько приукрашенном виде. Содержалось там и примечание, что упомянутым в ней джентльменам предоставляется право использовать страницы газеты для изложения собственной версии ночного приключения. Никто, однако, привилегией этой воспользоваться не поспешил.

II

Предыстория, повлекшая упомянутую «дуэль в темноте», была весьма незамысловата. Однажды вечером трое горожан отдыхали, расположившись в отдаленном углу веранды местной гостиницы. Они курили и оживленно беседовали. О чем? О том, что может возбудить настоящий интерес у трех молодых образованных провинциалов-южан. Их звали Кинг, Санчер и Россер.

Неподалеку от них, вполне в пределах слышимости, находился четвертый мужчина, который не принимал участия в разговоре. Они не были с ним знакомы и знали только то, что он прибыл вечерним дилижансом и в книге для приезжих записался как Роберт Гроссмит. Никто не видел, чтобы он разговаривал с кем-то, кроме портье.

Судя по всему, особое пристрастие незнакомец испытывал лишь к собственной компании, и это позволило репортеру все той же местной газеты заключить, что приезжий был «чрезвычайно привержен дурному обществу». Правда, справедливости ради следует сказать и в защиту незнакомца: едва ли репортер, отличавшийся слишком общительным характером, может объективно судить о человеке, который наделен противоположным свойством, — тем более что незнакомец явно задел его, отказавшись дать интервью.

— Я ненавижу любое уродство в женщине, — говорил Кинг. — И для меня неважно, от природы оно или приобретенное. Более того, я полагаю, что любому физическому недостатку сопутствует, в свою очередь, какой-либо умственный и моральный изъян.

— Из этого следует, — с мрачной серьезностью констатировал Россер, — что некая леди, аморально щеголяющая отсутствием носа, могла бы без труда убедиться, что стать госпожой Кинг — несбыточная для нее затея.

— Конечно, вы можете шутить на эту тему, сколько вам заблагорассудится, — последовал ответ. — Но если серьезно, однажды я расстался

с очаровательной девушкой только потому, что узнал, причем совершенно случайно, что у нее был ампутирован палец на ноге. Да, я поступил жестоко, не спорю, но, если бы я женился на ней, то и сам был бы несчастлив, и сделал бы несчастной ее.

— Ну что же, — с легкой усмешкой произнес Санчер, — выйдя замуж за джентльмена более либеральных взглядов, она отделалась всего лишь перерезанным горлом.

— Ага! Так вы догадались, кого я имел в виду? Да, позднее она вышла замуж за Ментона. Я не знаю, насколько либерален он был в этом вопросе, но не думаю, будто Ментон перерезал супруге горло, обнаружив однажды, что она лишена этого чудесного украшения женщины — среднего пальца правой ступни.

— Эй! Посмотрите-ка на того типа, — внезапно понизив голос, произнес Россер и глазами указал на незнакомца.

Без сомнения, неизвестный жадно прислушивался к разговору.

— Черт побери, какой нахал! — пробормотал Кинг. — Что же нам делать?

— Нет ничего проще, — поднимаясь со своего места, ответил Россер. — Сэр, — продолжал он,

обращаясь теперь уже к незнакомцу. — Я полагаю, будет лучше, если вы перенесете свой стул на противоположный конец веранды. Судя по всему, общество джентльменов — непривычная для вас компания.

Неизвестный вскочил на ноги и двинулся ему навстречу со сжатыми кулаками; лицо его побледнело от гнева. Все встали. Санчер сделал шаг вперед и оказался между противниками.

— Вы поступили опрометчиво и несправедливо, — сказал он, обращаясь к Россеру. — Этот джентльмен не сделал ничего, чем бы мог заслужить такую отповедь.

Однако Россер не взял свои слова обратно. В таком случае, по местным традициям и обычаю времени, ссора могла иметь только один исход.

— Я требую удовлетворения, — сказал незнакомец, немного успокоившись. — Я здесь совсем никого не знаю. Может быть, вы, сэр, — обращаясь к Санчеру, продолжал он, — любезно согласитесь быть моим секундантом?

Санчер принял предложение, но, надо сказать, весьма неохотно, поскольку ни внешность, ни манеры этого человека ему не нравились. Кинг, который в течение всей этой сцены не спускал глаз с лица незнакомца, не проронил ни слова, но

кивком головы подтвердил готовность действовать от имени Россера. Дуэль была назначена на следующий вечер, и с этим главные участники инцидента удалились. Секунданты остались, чтобы договориться об условиях поединка. Впрочем, нам они уже известны: дуэль должна была состояться на ножах в темной комнате. Поединки такого рода некогда были вполне обычным делом на юго-западе нашей страны, и, похоже, обычай этот до конца еще не умер. Нетрудно заметить звериную жестокость местного кодекса чести, допускавшего подобные схватки.

III

Летним погожим днем старый дом Ментона ничем внешне не напоминал здание, в котором обитают привидения. Дом крепко стоял на земле, и весь облик его был земным. Солнечные лучи ласкали его горячо и нежно — видимо, и не подозревая о дурной репутации здания. Трава, зеленевшая на всем пространстве перед фасадом, казалось, росла не в беспорядке, но буйствовала в природном и радостном изобилии, а сорняки расцветали всеми цветами радуги. Причудливо изукрашенные игрой света и тени, наполненные птичьим гомоном, заброшенные

тенистые деревья теперь уже не старались убежать, но благоговейно склоняли свои кроны под солнечными лучами. Даже лишенные стекол окна верхнего этажа приобрели теперь вид довольный и умиротворенный — вероятно, из-за света, наполнившего внутренние покои дома. На каменных стенах солнечные лучи резвились с живым и радостным трепетом, совершенно не совместимым с той серьезностью, которая, как известно, является неотъемлемым атрибутом сверхъестественного.

В таком виде предстал пустующий дом шерифу Адамсу и двум другим мужчинам, приехавшим из Маршалла для того, чтобы осмотреть его. Один из них, по фамилии Бривер, был родным братом покойной миссис Ментон. В силу закона штата по отношению к имуществу, покинутому владельцем, место пребывания которого неизвестно, шериф также исполнял обязанности официального лица, призванного охранять усадьбу Ментона и все его угодья. Его визит был вызван решением суда, куда мистер Бривер подал прошение о введении его в право наследования имуществом покойной сестры. По совершенно случайному совпадению посещение пришлось как раз на следующий день после той ночи, когда

помощник шерифа Кинг открыл дверь этого дома для совершенно иной цели. Нынешний его визит не был добровольным: просто в его обязанность входило сопровождать свое начальство, и в ту минуту он не придумал ничего лучшего, как симулировать полную готовность исполнять приказы.

Небрежно толкнув входную дверь, которая, к его изумлению, оказалась незапертой, шериф вошел внутрь и с удивлением обнаружил на полу в коридоре беспорядочную кучу мужской одежды. В процессе осмотра выяснилось, что она состоит из двух шляп, такого же количества сюртуков, жилетов и галстуков. Все вещи были вполне новыми и годными для ношения, если не считать того, что были перепачканы пылью, в которой лежали. Мистер Бривер был удивлен не меньше шерифа. Что касается чувств мистера Кинга, то, вероятнее всего, они были иного свойства.

Шериф, чрезвычайно заинтригованный новым оборотом дела, открыл дверь из коридора в комнату направо, и все трое вошли внутрь. Судя по всему, комната была пуста, но… нет! Как только глаза их привыкли к сумраку комнаты, в дальнем углу ее они заметили нечто темнеющее на полу. Это была фигура человека — мужчины,

скорчившегося и забившегося в угол.

Что-то в его позе заставило вошедших остановиться, едва они переступили порог. Фигура между тем все отчетливее выступала из мрака. Человек стоял на одном колене, спиной привалившись к стене; голова втянута в плечи; руки подняты к лицу ладонями наружу, пальцы растопырены и скрючены, как когти, голова задрана вверх, шея напряжена, на белом лице застыло выражение непередаваемого ужаса, рот полуоткрыт, глаза вылезли из орбит. Он был мертв, мертв, как камень. За исключением ножа, очевидно выпавшего из его рук и теперь лежащего подле него на полу, иных предметов в комнате не было.

В пыли, густым ковром устилавшей весь пол, виднелись беспорядочные следы ног — возле двери и вдоль примыкающей к ней стены. Параллельно другой стене, мимо заколоченных окон, также тянулся след, наверняка оставленный самим человеком, когда он пробирался в угол. Не рассуждая, совершенно инстинктивно, все трое двинулись к трупу, старательно придерживаясь того же маршрута, что и неизвестный. Шериф дотронулся до одной из откинутых рук мертвеца, но она так окоченела, что казалась сделанной

не из плоти, а из металла. Когда он легонько потянул ее на себя, все тело подалось вперед, ни на йоту не изменив положения своих частей. Бривер, бледный от ужаса, упорно вглядывался в искаженное лицо мертвеца.

— Боже милосердный! — внезапно вскричал он. — Это Ментон!

— Вы правы, — ответил ему Кинг, пытаясь сохранить хладнокровие. — Я знал Ментона. Прежде он носил густую бороду и длинные волосы… но это он.

Он мог бы добавить: «Я узнал его, когда он вызвал на поединок Россера. Я рассказал Россеру и Санчеру. кто он такой, еще до того, как мы завлекли его в эту чудовищную ловушку. Россер выскочил из комнаты следом за нами. Это он, возбужденный, забыл забрать свое платье, и это он несся с нами по дороге в экипаже в одном нижнем белье… И все время, в течение всей этой истории, мы знали, с кем имеем дело, — с мерзким убийцей и законченным трусом!»

Но господин Кинг не сказал ничего. Сейчас он хотел только одного — проникнуть в тайну смерти этого человека. Здесь была тайна, он чувствовал это, — ведь Ментон так и не двинулся с места, ему указанного; положение его тела не

могло сказать определенно, нападал он или защищался; он выронил свое оружие; и наконец, в предсмертной агонии лицо его свела маска ужаса, словно он увидел нечто такое, что убило его. Эти обстоятельства тревожили господина Кинга загадочностью и заставляли напрягать все силы интеллекта в попытке разгадать их.

Он был в глубоком недоумении, взгляд его механически перебегал от предмета к предмету в тщетной попытке отыскать какую-нибудь зацепку, — и вот он увидел нечто такое, что и сейчас, в присутствии других людей и при свете дня, наполнило его душу ужасом. В густой пыли, которая годами оседала на полу, ясно виднелись отпечатки — три параллельные цепочки следов, которые шли от единственной входной двери и пересекали комнату наискосок, обрываясь в метре от мертвого тела. При свете дня было видно, что следы в центре явно принадлежали женщине, а по сторонам, слева и справа, отпечатки были совсем крошечные — следы детских ножек. Они вели только в одну сторону и там обрывались…

Бривер, который, затаив дыхание, разглядывал эти следы, вдруг сделался мертвенно-бледным.

— Посмотрите! Посмотрите сюда! — закричал он, обеими руками указывая на ближайший к

нему след правой ступни женщины, особенно отчетливо отпечатавшийся в пыли. В этом месте она, вероятно, остановилась и некоторое время стояла неподвижно. — Здесь нет среднего пальца… Это Гертруда!

Гертруда — так звали миссис Ментон, сестру господина Бривера.

Перевод Андрея Танасейчука

Элджернон Блэквуд



Элджернон Блэквуд (Algernon Blackwood, 1869–1951) — английский писатель и путешественник, безусловный классик литературы ужасов и жанра «страшного рассказа» первой половины XX века. Он — автор десятка с лишним романов, более двухсот рассказов и повестей, опубликованных в периодике и многочисленных сборниках и антологиях. Всемирную известность принес ему рассказ «Ивы» (The Willows), считающийся одним из лучших произведений жанра художественной мистики. Г.Ф. Лавкрафт видел в Блэквуде своего непосредственного предшественника и восхищался силой его воображения.

Элджернон Генри Блэквуд (таково его полное имя) родился неподалеку от Лондона, в аристократической (хотя и не слишком богатой) семье вдовствующей герцогини (!) Манчестерской и ее второго мужа, сэра Стивенсона Артура Блэквуда, крупного чиновника британского почтового министерства. Интерес к сверхъестественному, как позднее вспоминал сам писатель, пробудил у него школьный учитель, обладавший даром гипноза. В результате юноша решил посвятить себя психиатрии. В Германии, куда Блэквуд попал в возрасте шестнадцати лет, он познакомился с основами индуизма и йоги. Это положило начало

его увлечению теософией. В 21 год Блэквуд окончил Кембриджский университет и отправился путешествовать — сначала в Швейцарию, затем в Канаду, где, вдохновленный идеей «естественной жизни на земле», сначала завел ферму и занялся разведением молочного скота, затем, охладев к затее, странствовал по лесам, охотился. Два года спустя одумался (после ссоры с родителями) и вернулся к «цивилизации» — перебрался в Нью-Йорк, устроился репортером в газету. В 1899 году наконец вернулся на родину и здесь, сблизившись с оккультистами (вступил в мистический «Орден Золотой Зари»), вновь увлекся сверхъестественным. Хотя сочинительством он занимался и прежде (прозой и публицистикой), начиная с этого времени главной темой Блэквуда становится связь мира живых и мира потустороннего; он пишет рассказы о привидениях, метемпсихозе и пр. В 1906 году вышел его первый сборник «"Пустой дом" и другие рассказы о привидениях». За ним последовала серия произведений, главным героем которых был детектив-психолог Джон Сайленс, «медик, наделенный необыкновенными способностями». Успех и известность подвигли Блэквуда к решению посвятить себя литературе. Он переезжает в Швейцарию, где жи-

вет до 1914 года; здесь сочиняет роман «Кентавр» (The Centaur, 1910), который принято считать его самым сильным произведением. К этому же времени относятся путешествия писателя на Кавказ и в Египет, продиктованные все тем же интересом к оккультному. Когда началась Первая мировая война, Блэквуд вернулся на родину и поступил на службу в британскую военную разведку, а по окончании военных действий вернулся к сочинительству и написал еще немало страшных историй.

Пик известности Блэквуда относится к 1930-м годам, когда его позвали на радио и он стал читать свои рассказы о привидениях на Би-би-си. Вполне вероятно, последнее обстоятельство и заставило Г. Ф. Лавкрафта внимательнее присмотреться к прозе Блэквуда, а затем и влюбиться в его творчество.

А. Б. Танасейчук

Отрубленная кисть

Братья Джилмер — старые холостяки, очень живые, но суетливые; к тому же застенчивые, даже робкие. Они чурались посторонних, избегали компаний, но между собой были весьма говорливы и нежно заботливы.

В красиво подстриженной острой бородке-эспаньолке Джона, старшего из них, заметно пробивалась седина; если бы на голове Уильяма остался хоть клок волос, то, вероятно, и там густела бы проседь. Но ничто не мешало им быть элегантными и приятными в общении джентльменами.

Братья Джилмер располагали средствами и жили, ничем себя не ограничивая. Тем более что их запросы были скромны, но на двоих имелась одна общая страсть — они собирали скрипки. Редкие и очень дорогие. В этом смысле оба брата обладали выдающимся чутьем, хотя (как ни странно это звучит) ни тот, ни другой не играли. А потому при покупке редкого инструмента им всякий раз приходилось прибегать к услугам третьих лиц — как правило, музыкантов, притом незаурядных, — чтобы убедиться в достоинствах

приобретения.

Братья в течение многих лет проживали на верхнем этаже огромного доходного дома, где занимали большую комфортабельную квартиру. Единственное, на что они могли попенять в этом доме, — на старика Моргана, приставленного к лифту и исполнявшего одновременно обязанности привратника: он имел дурную привычку после шести часов вечера надевать ночной колпак при ливрее. Это несоответствие в его одеянии глубоко оскорбляло эстетические чувства братьев и их представления о приличиях. В дополнение к этому огорчению, природа наделила «мистера Моргана», как они называли его между собой, круглым, толстым, расплывшимся лицом. И венчало оно такое же круглое туловище на коротеньких ножках. Однако, из уважения к остальным его положительным качествам, в том числе и глубокой привязанности к ним лично, братья пытались примириться с этой столь досадной для них привычкой старика сочетать ливрею с ночным колпаком.

Кроме этой странной привычки, у Моргана была еще одна не менее странная особенность, немало забавлявшая братьев. Морган, когда ему делали какое-нибудь замечание, никогда

не оправдывался и не объяснял причин своей оплошности, а только почти дословно повторял сделанное ему замечание — и тем ограничивался.

— Вода в ванне сегодня утром была нагрета недостаточно, Морган, — замечает ему Джон.

— Вода в ванне сегодня поутру была нагрета недостаточно, сэр!

Или же Уильям, отличавшийся некоторой мелочностью, выговаривает:

— Вчера мне слишком поздно подали мою простоквашу, Морган.

— Вчера вашу простоквашу подали слишком поздно, сэр! — аккуратно повторяет Морган тем же тоном.

Но, так как за этим повтором неизменно следовало исправление оплошности, братья научились довольствоваться таким положением вещей и не требовали от старика никаких разъяснений.

В тот вечер, о котором сейчас пойдет речь, Джон Джилмер возвращался после собрания масонской ложи, членом которой был, и, войдя в лифт, заметил как бы мимоходом:

— Нынче на дворе особенно густой туман.

— Нынче на дворе особенно густой туман, сэр! — повторил Морган.

А на вопрос Джона, не приходил ли кто-нибудь в его отсутствие к брату, Морган доложил, что с час тому назад пришел мистер Хайман и по сию пору еще не ушел.

Хайман, как и братья Джилмер, был большим знатоком скрипок, но кроме того, еще и превосходным музыкантом. В отличие от них, он не ограничивался платонической любовью к редким музыкальным инструментам, а играл на них, и играл виртуозно. Хайман был единственным, кому братья позволяли касаться своих драгоценных скрипок-аристократов со славной родословной. Ему одному дозволялось вынимать ценные инструменты из-под стекла витрин, где они покоились в царственном величии, на мягком шелковом плюше, и извлекать из них божественные звуки. Оба брата, разумеется, содрогались, когда руки Хаймана касались их святынь, но вместе с тем упивались певучими звуками своих дивных инструментов. Эти чарующие звуки, эти нежные голоса скрипок доставляли коллекционерам несказанное наслаждение, а также служили для них доказательством, что они не ошиблись в приобретении; что громадные деньги, уплаченные за инструменты, потрачены не зря.

Со своей стороны, Хайман не особенно скрывал ненависть и презрение к коллекционерам, любителям редких инструментов, которые в их руках были только дорогими безделушками. Странно, но сама атмосфера квартиры, казалось, была пропитана каким-то глухим, скрытым чувством взаимной ненависти и злобы в те часы, когда братья Джилмер с восторгом наслаждались игрой Хаймана, а он упивался дивными звуками, которые извлекал смычок из драгоценных инструментов, принадлежащих ненавистным братьям, а не ему, бедному музыканту.

Хайман всегда приходил к братьям только по приглашению, а это случалось нечасто.

В день визита музыканта братья старались оставаться дома. Каждое посещение Хаймана было для них событием, к которому они готовились заранее, как к священнодействию. Поэтому, услышав от Моргана о приходе Хаймана, Джон Джилмер был очень удивлен, тем более что знал: Хайман концертировал где-то на континенте.

— Так вы говорите, что Хайман еще не ушел? — спросил Джилмер.

— Еще не ушел, сэр, — последовал ответ.

Чтобы скрыть от Моргана недоумение, Джилмер стал по привычке жаловаться на безобразное,

по его мнению, сочетание ночного колпака с ливреей.

— Вам, право, следовало постараться и запомнить, Морган, что этот ваш головной убор совершенно не подходит к ливрее, — сказал Джилмер.

Выражение расплывшегося лица Моргана не поменялось ни малейшим образом, и он машинально повторил последние слова Джона:

— Совершенно не идет к ливрее, сэр!

Но при этом он все-таки снял и повесил на вешалку ненавистный Джилмеру ночной колпак и заменил его на форменную фуражку с галуном, висевшую тут же, на вешалке в лифте.

В этот момент лифт остановился на верхнем этаже. Лестничная площадка отчего-то была не освещена. Да еще Морган неловко дернул канат, сбил с вешалки свой ночной колпак и, пытаясь подхватить его на лету, задел рукавом лампочку в лифте. Все кругом немедленно утонуло во мраке. Джон решил выйти из лифта, не дожидаясь, пока Морган восстановит освещение, но чуть было не упал, споткнувшись о нечто, шмыгнувшее у него между ног и стремительно кинувшееся в лифт. В первую минуту Джилмер подумал, что это ребенок; затем ему показалось, что это мужчина;

но затем он все же пришел к убеждению, что это какое-то животное — его движения были быстры, стремительны и совершено бесшумны.

Инстинктивно отступив назад, желая освободить дорогу, Джилмер впотьмах наткнулся на Моргана, который испуганно вскрикнул. Наступила минута общей растерянности, и в этот момент Джилмер почувствовал, что кабина лифта дрогнула, точно кто-то, вскочив внутрь, тотчас вновь выскочил. Вслед за этим послышался шуршащий звук торопливых шагов — будто кто-то бежал вниз по лестнице в мягких войлочных туфлях или в одних чулках, крадучись, как кошка.

Когда Морган выскочил на площадку и, поправив лампочку, осветил лестницу, а Джилмер восстановил освещение в лифте, нигде никого не было.

— Собака или кошка, или что-нибудь в этом роде, я полагаю… не правда ли? — сказал Джилмер, выходя из лифта и осматривая совершенно пустую лестницу.

— Собака или кошка, сэр, или что-нибудь в этом роде, — эхом отозвался Морган растерянно.

— Лампа на площадке должна была гореть, — строго заметил Джилмер.

Этот странный случай нарушил обычное для

него душевное равновесие; он почувствовал невольное раздражение, досаду и смутное беспокойство.

Так как Морган молчал и, против обыкновения, не повторил сказанной фразы, Джилмер взглянул на него и заметил, что старик не только смущен, но и очень бледен. Когда он наконец заговорил, голос его звучал неуверенно и робко:

— Лампочка на площадке горела, сэр, когда я был здесь в последний раз; я не знаю, кто ее загасил, уверяю вас, сэр!

По тону было понятно, что он говорит правду и недоумевает, кто мог погасить свет на лестничной площадке. Однако Джилмер, которого это обстоятельство изрядно смутило, предпочел промолчать.

Лифт нырнул вниз, точно водолазный колокол, пущенный на дно моря. Джилмер постоял еще минуту на площадке, стараясь разобраться в мыслях и ощущениях, а затем, открыв дверь своим ключом, вошел в квартиру. Оставив в прихожей шляпу и пальто, он проследовал в гостиную, слабо освещенную настольной лампой и затухающим огнем камина.

Декабрьский туман, казалось, проник и сюда, в эту большую комнату, и все предметы в ней будто

тонули в холодной полумгле, отчего и сама комната казалась особенно большой и пустынной.

* * *

В халате и туфлях, Уильям Джилмер сидел в большом глубоком кресле у камина. Увидев брата, он сразу заговорил. При этом в голосе слышалось волнение и странное возбуждение, которое он — это было заметно — силится подавить и скрыть.

— Знаешь, здесь был Хайман, — заявил он, — да ты должен был столкнуться с ним на площадке; он с минуту назад вышел из квартиры.

Джон сказал брату, что никого не видел (и это была правда), но на Уильяма его слова произвели странное впечатление. Джон заметил, что тот напряженно выпрямился в своем кресле, а лицо его сделалось бледнее обыкновенного.

— Странно, — сказал он нервно, — очень странно, что ты его не видел. Вы должны были столкнуться нос к носу на лестничной площадке или в дверях квартиры. — Глаза его беспокойно забегали по комнате; ему, видимо, было не по себе. — Ты совершенно уверен, что никого не видел? Разве Морган успел опустить его раньше, чем ты поднялся наверх? Морган его видел? — то-

ропливо забрасывал Уильям брата вопросами.

— Морган сказал мне, что Хайман еще не ушел; вероятно, он предпочел спуститься по лестнице и наверх лифта не вызывал. Этим, должно быть, и объясняется, что ни я, ни Морган его не видали… — добавил Джон, решив ничего не говорить брату о странном случае в лифте; он видел, что нервы Уильяма и без того напряжены. Но, несмотря на успокоительный тон ответа, Уильям поднялся на ноги. Его бледное лицо приобрело землисто-серый оттенок, будто у мертвеца. Несомненно, он боролся со смертельным страхом, охватившим все его существо. С минуту братья молча смотрели друг на друга, затем Джон заговорил:

— Что случилось, Вилли? — спросил он нарочито спокойно. — Я вижу, что здесь что-то произошло. Скажи мне, в чем дело? Что это так неожиданно привело сюда Хаймана?

Связанные с детства самой нежной братской любовью, Джон и Вилли без слов понимали друг друга. Положительно они ничего не могли утаить один от другого. До сих пор у них никогда не было секретов, но на этот раз младший брат долго не решался ответить на вопрос старшего — может быть, потому что подыскать нужные слова ему

было нелегко.

— Вероятно, Хайман играл на одном из наших инструментов? — спросил Джон.

Вместо ответа Уильям утвердительно кивнул головой и затем вдруг заговорил: быстро, вполголоса, словно опасаясь, что его могут подслушать. При этом он оглянулся через плечо в глубь тонувшей в полумраке гостиной, схватил Джона за руку и привлек его к себе.

— Да, Хайман был здесь; он явился неожиданно, не предупредив о своем посещении; я его не звал, и ты его тоже ведь не звал, иначе ты сказал бы мне об этом, не правда ли?

— Ну конечно, — подтвердил Джон.

— И представь себе, — продолжал Уильям, — я встретил его в коридоре, когда после обеда вышел из столовой и хотел перейти в гостиную. Прислуга убирала со стола, а он вошел без звонка, никем не замеченный; вероятно, дверь на лестницу была открыта, но все же так бесцеремонно войти…

— Он вообще большой оригинал, — заметил Джон, пожав плечами. — Что же дальше? Ты пригласил его в гостиную?

— Ну да… Я предложил ему войти, а он сказал, что пришел, чтобы исполнить одно великолепное произведение Зелинского, которое автор

играл в этот самый день на дневном концерте. И еще он сказал, что Страдивари Зелинского не может с достаточной силой передать всю красоту этой вещи, потому что у него дисканты слишком тонки. Хайман утверждал, что ни один инструмент в мире не передает во всей полноте красоту этой музыки так, как наш маленький Гварнери; он клялся, что это самая совершенная скрипка в мире.

— Ну, и что же это была за вещь? Он ее исполнил? — спросил Джон, в душе которого беспокойство усиливалось по мере того, как росло любопытство. С невольной тревогой он взглянул на стеклянную витрину на резной ореховой этажерке, где обыкновенно хранился Гварнери, и с облегчением увидел, что драгоценный маленький инструмент покоится на своем месте.

— Да, он сыграл ее. И сыграл великолепно. Это была цыганская колыбельная песня; чудесная, певучая, страстная, местами даже бешено страстная импровизация, полная вдохновения, порыва и томления, полная неги и огня. Не понимаю, почему она названа «Колыбельной песней»... И представь себе, Джон, покуда он играл эту вещь, он беспрерывно ходил на цыпочках по комнате, неслышно двигаясь по ковру, точно тень.

А звуки лились, упоительные, чарующие, я бы сказал даже — опьяняющие. Он все время жаловался, что его раздражает свет. Он говорил, что эта вещь сумеречная и для полнейшего эффекта ее следует слушать в полумраке едва освещенной комнаты. Он гасил одну лампочку за другой, пока мы не остались при свете одного только огня в камине. А кроме того, он заставил меня уступить ему еще в одном: он натянул на скрипку какие-то особые привезенные им струны; они были несколько толще, чем наши.

— Дьявольская наглость! — воскликнул Джон, возмущенный тем, что он услышал от брата. — Но играл он все же хорошо, ты говоришь? — добавил он, увидев, что Уильям улыбается.

— Великолепно!.. Несравненно, положительно гениально! — восторженно отозвался брат, почему-то понизив голос чуть не до шепота. — Так он никогда не играл! Сколько огня! Порыва! Бешеной силы урагана и какой-то предательской нежности… А какое стаккато! Знаешь, были ноты поющие, точно звуки флейты или свирели… чистые, мягкие, ласкающие, уносящие в небеса… А какая тональность!.. Боже мой, какая тональность! Если бы ты только мог это слышать… В верхнем регистре звук поразительно

бархатистый, сладостный… Ах, Джон, этот наш маленький Гварнери положительно несравненный инструмент! — Уильям опять на минуту замялся. — И Хайман тоже был от него в восторге… Знаешь, мне кажется, что он готов был бы продать душу свою за эту скрипку!..

Чем дольше Джон слушал брата, тем больше ему становилось не по себе. Он никогда не любил Хаймана, всегда опасался и не доверял ему, а иногда даже будто и боялся. Уже самый нрав его — настойчивый и бесцеремонный — не мог быть приятен таким деликатным, можно сказать, даже робким людям, как братья Джилмер. А кроме того, и самая внешность Хаймана, его темное смуглое лицо, черные, глубоко посаженные глаза, его густые черные волосы и непреклонная воля, ясно выраженная в линии подбородка, — все это, взятое вместе, не привлекало к нему симпатий Джона. Сверх всего, Хайман был еще и суеверен, а Джон от всей души ненавидел суеверия — быть может, потому, что ему никак не удавалось искоренить эту черту в своем собственном характере. Хайман упорно верил в существование некоего флюида, который, по его мнению, составляет неотъемлемую часть человеческой личности, точнее — души. Он был уверен, что этот флюид

может отделяться от человека и под влиянием воли способен не только перемещаться на далекие расстояния, но и материализоваться. Это «астральное тело» могло, по мнению Хаймана, принимать, в зависимости от воли человека, любой образ и любую форму, в том числе и облик животного…

— Жаль, что я не слышал, как он играл, — сказал Джон после продолжительной паузы. — А каким он смычком играл? Тем, наверное, что я разыскал у антиквара месяц тому назад? — спросил Джон. — Мне кажется, это лучший смычок, какой я когда-либо держал в руках, не говоря…

Он не окончил фразы, встревоженный тем, что Вилли вдруг поднялся со своего места: казалось, он искал кого-то глазами в комнате.

— Что такое, Вилли? Тебе что-нибудь послышалось?

Младший Джилмер еще с минуту молча вглядывался в полумрак дальних углов комнаты, а затем сказал странно изменившимся голосом:

— Нет, вероятно, это мне только показалось; очевидно, ничего нет, но… у меня почему-то все время такое чувство, будто мы с тобой не одни… будто нас кто-то подслушивает. Ты не думаешь, Джон, — добавил он, оглядываясь на дверь, — что

там, в прихожей, может быть, кто-то есть? Я хочу, чтобы ты посмотрел.

Джон молча исполнил желание брата. Он медленно направился к двери, отворил ее и зажег в коридоре электричество. Там было пусто. Верхнее платье и шляпы неподвижно висели на вешалке; словом, было все, как всегда, — без изменений.

— Ну конечно, никого! — заявил Джон, затворяя двери. Но свет в коридоре оставил.

Он вернулся на прежнее место у камина и, хотя вслух ничего не сказал, вдруг так же, как и брат, ощутил присутствие кого-то или чего-то постороннего.

— Так каким же он смычком играл, Вилли? — снова спросил Джон.

Хотя он говорил совершенно естественно и спокойно, именно в этот момент им овладело странное, даже жуткое чувство: он понял, что брат хочет сказать ему нечто очень важное, возможно — главное, о чем он до сих пор умолчал. Теперь же хочет сказать и не решается, словно боится кого-то или чего-то.

Невероятным усилием Джон остался сидеть на своем месте. С рассчитанной медлительностью он раскурил сигару, не спуская глаз с лица брата. Уильям сидел перед камином, опустив глаза,

и перебирал пальцами красные кисти своего халата; свет лампы бросал причудливую тень на его лицо. По его выражению Джон понял, что брат хочет сообщить ему нечто необычайное, невероятное, чудовищное.

Чтобы облегчить ему задачу, Джон подошел к Вилли совсем близко, склонился над ним и, приготовившись слушать, сказал ласково:

— Ну что же, старина? — Он постарался придать голосу шутливый тон. — Начинай, я слушаю.

— Видишь ли, — заговорил наконец Вилли, — все было как сейчас; только я не сидел в кресле, а стоял у камина и смотрел в сторону двери; Хайман плавно двигался взад и вперед по ковру, и при свете огня в камине его фигура выделялась причудливым силуэтом на фоне дальней стены комнаты. Он с увлечением играл эту, как он ее называл, «сумеречную вещь», и играл как-то особенно вдохновенно… так, что мне казалось, будто поет не скрипка в его руках, а самая душа его поет, как скрипка. И вдруг я почувствовал, что со мной происходит нечто странное… чего я не мог приписать действию музыки… — добавил он почти скороговоркой, понизив голос.

— В комнате точно стоял туман, — продолжал он, — света было мало, и он струился снизу. Все

это я принимал во внимание, однако свет был недостаточно силен, чтобы дать тень, как ты понимаешь…

— Ты хочешь сказать, что Хайман тебе казался странным… да? — подсказал брату Джон, с нетерпением ожидая услышать самую суть рассказа.

Брат утвердительно кивнул головой.

— Да, вид его изменился до неузнаваемости; он преобразился на моих глазах… превратился в животное… представь себе!

— В… живот… ное? — повторил Джон, почувствовав при этом, что волосы у него на голове зашевелились и встали дыбом.

— Да, я не могу иначе передать тебе того впечатления, — продолжал Уильям шепотом. — Понимаешь, его руки, лицо и все его тело — словом, весь его внешний облик стал иным; движения сделались совершенно беззвучными; я перестал слышать его шаги… Когда рука, державшая смычок, или пальцы левой его руки попадали на минуту в полосу света, я видел ясно, что они были покрыты шерстью, как лапы животного, и пальцы не были разделены и свободны, как у нас… Мне казалось, что он вот-вот выронит скрипку на пол и прыгнет на меня через всю комнату, как пантера или дикая кошка.

— Ну, и что дальше?.. — прошептал Джон.

— Он все время ходил взад и вперед длинными, крадущимися шагами, как в зоологическом саду крупные хищники ходят вдоль решетки своей клетки, когда в них пробуждается желание пищи или свободы, которой они лишены, или иная какая-нибудь сильная страсть…

— Ты хочешь сказать, что он походил на одну из крупных кошек — тигра, барса, ягуара или пантеру? — едва слышно спросил Джон.

— Да, да… и, двигаясь безостановочно вдоль комнаты, он все время незаметно приближался к двери, словно собираясь шмыгнуть в нее и скрыться.

— Со скрипкой! — отчаянным возгласом вырвалось у Джона. — Ты, конечно, помешал этому?

— Да… но не сразу… Клянусь тебе, что я долгое время совершенно не мог сообразить, что мне делать… На меня нашло какое-то оцепенение… Я не мог шевельнуться, у меня пропал голос, и я не мог вымолвить и слова, а тем более крикнуть… Я был точно заколдован…

— Да ты и действительно был заколдован! — подтвердил Джон.

— И по мере того как он ходил, продолжая играть, мне стало казаться, что он делается все

меньше и меньше ростом, и я испугался, что скоро совсем перестану его видеть в полумраке гостиной. С этой мыслью я кинулся к выключателю и зажег свет. В этот момент я увидел, как он пробирается ползком к двери… Он походил одновременно на побитую собаку и на кошку, что подкрадывается к добыче.

— Значит, он играл, стоя на коленях?..

— Нет… но он как-то припал к полу и словно полз. По крайней мере, мне так казалось. Я был так озадачен и до того растерялся, что едва верил своим глазам. Но все же я готов поклясться, что в этот момент он был наполовину меньше своего нормального роста. А когда я наконец довольно резко окликнул его или даже, кажется, выругался — помню ясно, что он сразу поднялся на ноги, выпрямился и стоял передо мной с горящими глазами и лицом белым, как мел. Он весь был в поту, точно стоял жаркий июльский день. Затем, прямо на глазах, он стал расти, постепенно принимая естественный свой вид.

— И в это время он все еще сохранял звериный облик? — спросил Джон.

— Нет, с того момента, как поднялся на ноги, он принял человеческий образ, только был очень мал.

— А что он говорил?

Уильям Джилмер на минуту задумался, затем продолжал:

— Ничего, кажется... Я положительно не помню, чтобы он что-нибудь говорил. Ведь все это произошло в несколько секунд при ярком свете. В первый момент мне было странно видеть его в естественном виде. Прежде чем я успел прийти в себя, он уже вышел в коридор, и я услышал, как за ним затворилась дверь; почти в ту же минуту вошел ты. Помню только, что, увидев Хаймана на полу, я кинулся к нему, выхватил скрипку и держал ее крепко обеими руками до тех пор, пока он не оказался за дверью. Тогда я пошел и положил инструмент на место. Струны еще вибрировали, когда я опустил стекло витрины.

Наступила длинная пауза. Каждый из братьев думал о своем. Наконец Джон произнес:

— Если ты ничего не имеешь против, Вилли, то я, пожалуй, напишу Хайману, что в его услугах мы больше не нуждаемся.

С этим Уильям согласился, но, помедлив минуту, попросил нерешительно:

— Напиши, но только так, чтобы он не обиделся.

И старший Джилмер подумал, что Вилли, по-

жалуй, боится.

— Ну, само собой! Зачем раздражать его резкостью или грубостью; в этом нет никакой необходимости.

На другой день поутру письмо было написано, и, не сказав о том ни слова брату, Джон сам отнес его на квартиру Хайману. Здесь он узнал то, чего смутно опасался: привратник сказал, что мистер Хайман еще не вернулся из заграничной поездки, но письма ему пересылаются аккуратно по оставленному адресу…

Оставив письмо у привратника, Джон Джилмер зашел в страховое общество, где братья страховали свои драгоценные инструменты, и увеличил сумму страховки маленького Гварнери — на случай порчи, пожара, пропажи или иного несчастного происшествия. Затем он заглянул в крупное музыкальное агентство, поддерживавшее постоянное сношение с артистами, исполнителями, певцами и импресарио — словом, с музыкальным миром всех стран. Тут он узнал, что Зелинский в данное время концертирует в Барселоне, в Испании, а спустя несколько дней Джон Джилмер случайно прочитал в одном из музыкальных обзоров в газете, что виртуоз Зелинский исполнял такого-то числа в Мадриде

на дневном концерте превосходную «Цыганскую колыбельную песнь» собственного сочинения. Оказалось, это был тот самый день, когда Вилли слушал эту колыбельную в исполнении Хаймана у себя на квартире!

Но обо всем этом Джон ничего не сказал брату, оберегая его спокойствие.

* * *

Спустя неделю пришло письмо от Хаймана. Это был ответ на письмо Джона. Оно было написано обидным тоном, хотя и не содержало ни одного резкого выражения. Ясно было, что Исидор Хайман раздражен и уязвлен. Он писал, что по возвращении в Англию — приблизительно через месяц — зайдет к ним, чтобы прояснить вопрос. По-видимому, он был уверен, что сумеет убедить братьев возобновить прежние отношения.

Чтобы пресечь такого рода попытки, Джон написал Хайману, что они с братом решили не приобретать больше инструментов и считать свою коллекцию завершенной, а потому у них не возникнет более надобности беспокоить его.

На это письмо уже не последовало никакого ответа, и дело могло казаться исчерпанным. Но Джон Джилмер был уверен в том, что по возвра-

щении в Англию Хайман обязательно зайдет к ним для объяснений, как и обещал. Во избежание нежелательного визита Джон предупредил Моргана, чтобы впредь, когда бы мистер Хайман ни пришел, привратник неизменно говорил ему, что братьев Джилмер нет дома.

— Вероятно, Хайман, после того как побывал у нас, в тот же вечер вновь уехал за границу, — заметил Уильям.

Джон ему не возразил, и разговор о Хаймане более не возобновлялся.

* * *

Как-то — это было в последних числах января — братья Джилмер вернулись поздно вечером с концерта и засиделись дольше обыкновенного в своей гостиной за сигарами и виски, обмениваясь впечатлениями о концерте. Было уже два часа ночи, когда они наконец погасили электричество в коридоре, намереваясь разойтись по своим спальням. На дворе стояла сухая, морозная ночь; луна светила прямо в окно коридора.

Братья пожелали друг другу покойной ночи и отправились в свои комнаты. Их спальни размещались в противоположных концах коридора и разделялись ванной, уборной, столовой и ка-

бинетом.

Спустя полчаса оба спали крепким сном. В квартире царила полнейшая тишина; только с улицы проникал смутный гул ночного города. Луна, медленно опускаясь, достигла уровня труб и заглянула в окна комнат. Вдруг Джон Джилмер проснулся и резко сел на кровати, точно внезапно кем-то разбуженный. В испуге он прислушался и понял, что кто-то ходит там, в одной из комнат между его спальней и спальней брата. Джон не мог объяснить, откуда взялось это чувство страха: никакой кошмар ему не снился, а между тем он был уверен, что страх этот не беспричинен. Он сознавал, что проснулся от присутствия постороннего, и знал, что сейчас какое-то существо неслышно двигается по квартире.

Повторим: по своей натуре Джон Джилмер был человеком робким, и вид грабителя в черной маске с револьвером в руке, вероятно, лишил бы его всякой решимости. Но инстинкт подсказывал ему, что в доме не грабитель, а то мучительное чувство, что он сейчас испытывал, — не обыкновенный физический страх. Он был уверен, что существо, проникшее в квартиру, прошло совсем близко от его кровати, прежде чем направиться в другие комнаты. Вероятно, оно прокралось

затем в комнату Вилли, чтобы убедиться, что и он спит.

Не странно ли, что одного присутствия этого существа в комнате было достаточно, чтобы Джон проснулся в холодном поту с безотчетным ужасом в душе? Мало того, он чувствовал всем своим существом: это нечто недоброе. Мысль о том, что, быть может, в этот момент оно в комнате брата, заставила Джона встать с постели и со всей решимостью, на какую он только был способен, направиться к двери.

Осторожно выглянув в коридор, тонувший во мраке ночи, он стал на цыпочках пробираться вдоль стены. На стене, в качестве украшения, на ковре было развешано старинное оружие, некогда принадлежавшее их отцу. Нащупав рукой кривой ятаган без ножен, Джон крепко вцепился пальцами в рукоятку и, бесшумно сняв его со стены, направился в гостиную, где хранились драгоценные скрипки. Дрожь пробирала его сквозь наскоро накинутый халат; глаза ломило от напряжения, с которым он силился разглядеть хоть что-то впотьмах. Перед закрытой дверью гостиной он с минуту поколебался, не решаясь отворить. Приложив ухо к дверной скважине, прислушался. В комнате слышался легкий, едва

уловимый шорох осторожного движения; и вдруг раздался явственный, хотя и слабый звук струны, точно кто-то дотронулся до нее пальцем, желая попробовать тон.

Решительным движением Джон распахнул дверь и включил свет. Звук струны еще дрожал в воздухе. Джилмер почувствовал, что в момент, когда он переступил порог, здесь что-то происходило. Но едва он вошел, все замерло. Явись секундой раньше, он накрыл бы того, кто здесь хозяйничал. В воздухе словно повис невидимый след неких движений, неслышных, как полет летучей мыши. Джон чувствовал: стоит ему уйти, и здесь точно так же все вновь зашевелится, замечется, и начнется настоящий бесовский шабаш.

Впрочем, нечто в комнате не успело застыть в неподвижной позе; оно двигалось, правда, едва заметно. Под окном, за занавесью из тюля, подле шкафов, в которых хранились скрипки, это нечто шевелилось — кралось, низко припав к полу, осторожно пробираясь к двери. Именно в тот момент, как Джон заметил это, это «что-то» застыло на месте.

У Джилмера на лбу выступил холодный пот, и по спине дрожь пробежала. Он знал, что именно это «нечто» заставило его проснуться и поселило

в душе леденящий страх.

Сжимая рукоять ятагана, он осторожно начал отступать к стене, не спуская глаз с того, что внушало ему ужас. Движения существа не походили на движения человека, скорее напоминали животное. В голове Джона мелькнул сначала образ ящерицы, затем крупного хищника — и наконец, большой змеи. В данный момент существо не двигалось, но в той части комнаты, где оно притаилось за занавесом, царил полумрак. Джилмер решил дополнительно засветить еще и настольную лампу, стоявшую рядом, — но, когда щелкнул кнопкой, загадочное существо рванулось вперед, прямо на него. В этот момент (странно, кажется, даже вспоминать о такой маловажной подробности) Джон подумал о своих босых ногах и страшно испугался при мысли, что это внушающее ужас существо может их коснуться. Он заскочил с ногами на стул и принялся размахивать вокруг себя ятаганом, преграждая таким образом доступ к стулу. С «высоты» своего положения он имел возможность разглядеть две вещи, которых раньше не мог видеть: во-первых, стекло витрины, где хранился Гварнери, было поднято, а сама скрипка лежала на краю полки, словно ее второпях попытались вернуть на место.

А во-вторых, существо не просто двигалось, но постепенно вытягивалось вверх и принимало вертикальное положение. Вернее, почти вертикальное; оно скорее напоминало животное на задних лапах, нежели человека.

Теперь оно быстро, но совершенно беззвучно приближалось к Джилмеру с явным намерением добраться до двери и бежать. Страх и чувство неодолимого отвращения туманили сознание Джона и мешали ему ясно видеть происходящее вокруг. Но все же он достаточно владел собой, чтобы не утратить способности действовать, и в тот момент, когда странное существо приблизилось на дистанцию удара ятаганом, оружие с такой силой просвистело в воздухе, что могло бы снести голову любому — при условии, конечно, что удар достигнет цели. Но бешеные удары не только ни разу не задели врага, но заставили Джилмера потерять равновесие. Он рухнул вместе со стулом на пол, прямо на странное существо, которое упало одновременно с ним. Вместо того, чтобы вскочить на ноги, как сделал Джилмер, оно, напротив, припало к полу, съежилось и приняло облик животного на четвереньках. Падая, Джилмер невольно вскрикнул, но не выпустил из рук оружия и, споткнувшись об опрокинутый

стул, побежал следом за существом в коридор, продолжая размахивать ятаганом направо и налево. Теперь он отчетливо видел в дальнем конце коридора силуэт мечущейся из стороны в сторону большой кошки.

Дверь на лестницу была закрыта. Джон успел-таки нанести несколько жестоких ударов по бегущему существу в тот самый момент, когда оно со всех ног кинулось к выходу, надеясь вырваться наружу… И это ему удалось, к величайшему недоумению Джилмера. Как оно это проделало, он не понял. Только услышал крик — пронзительный и болезненный, — раздавшийся подле него. Да и тот прорвался будто сквозь пелену; Джон не мог понять, кто же, собственно, кричал — существо или он сам.

Оставшись один, он пришел в себя и увидел, что дверь на лестницу приотворена. Каким образом странному существу удалось открыть ее, Джилмер не мог объяснить.

— Как она выскочила? Разве дверь не была закрыта? — раздался рядом голос младшего брата.

Разбуженный криком Джона при падении, Уильям накинул халат, сунул ноги в туфли и выбежал в коридор — в тот самый момент, когда нечто похожее на большую кошку ринулось к

двери.

— Не понимаю! — отозвался Джон. — Я уверен, что дверь была закрыта.

Уильям остался стоять в раздумье перед приоткрытой дверью и почему-то не решался ее запереть. Голос брата заставил его обернуться.

— Поди сюда, Вилли… Посмотри: мне кажется, на клинке кровь… — Голос Джона заметно дрожал, говорил он неуверенно, хотя и старался казаться спокойным и подавить нервную дрожь, вызванную новым открытием.

Уильям зажег электричество в коридоре, подошел к брату и взглянул на клинок.

Без сомнения, на нем были видны следы крови.

— Да… а… я вспоминаю теперь, — сказал Джон, не дождавшись подтверждения брата, — я вспоминаю, что оно вскрикнуло… Я его задел, вероятно. Любопытно… Любопытно узнать, сильно я его… или только слегка?..

— Несомненно, ты его полоснул, — подтвердил младший брат. — Я тоже слышал, как оно взвизгнуло. Надо запереть дверь, — добавил он, направляясь к ней, и вдруг остановился, наклонился и воскликнул: — Джонни, а это что такое?! Вот здесь, на полу?.. Чья-то отрубленная лапа, ес-

ли я не ошибаюсь… и заметь, какие длинные у нее пальцы… точно у человека… Знаешь, я как будто видел такую лапу прежде… помнишь, тогда… в тот вечер… вот такие же были руки у Хаймана… когда он играл… — я тебе говорил… — помнишь?

— Да, да… — Джон утвердительно кивнул, не спуская глаз с отрубленной лапы на полу.

Спустя немного времени Вильям хрипло проговорил:

— Оставим ее здесь; утром прислуга уберет… Пойдем спать; или нет, я все равно теперь не засну. Пойдем лучше к тебе в комнату, я расскажу все, что здесь произошло, и еще кое-что, чего ты еще не знаешь… Ведь Хайман опять приходил за скрипкой!

* * *

На другой день после бессонной ночи братья Джилмер вместе вышли из дому и направились в ту часть города, где жил Хайман.

От привратника они узнали, что мистер Хайман еще не вернулся и что теперь едва ли скоро вернется, потому что всего с полчаса назад пришла телеграмма из Парижа, извещающая, что вчера ночью с мистером Хайманом произошел несчастный случай, вследствие которого он ли-

шился левой руки; теперь он лежит в клинике и едва ли скоро поправится.

Братья переглянулись, и на их лицах отразился безумный ужас.

Едва слышно они поблагодарили привратника и быстрыми шагами удалились.

В этот день ни Джон, ни Уильям не заметили, что Морган снова надел свой излюбленный ночной колпак, хотя и был при ливрее. Они думали только о том, как бы им избавиться от неотвязной, щемящей мысли о Хаймане. Они страстно желали совершенно забыть о нем, забыть о его существовании, и в глубине души каждый про себя желал, чтобы Хайман не поправился.

Перевод Андрея Танасейчука

Египетский шершень

Шершень! В звуках этого слова есть нечто грозящее, злобное, что живо рисует в нашем уме образ нападающей твари. Внутри него точно спрятано жало, — даже иностранец, незнакомый с его значением, может почувствовать это. Шершень всегда зол; он стремительно налетает и жалит; он атакует без причины, целясь в лицо и глаза. И гудение крыльев, подобное звону металла, и яростный полет, и ядовитый укус — все угадывается уже в самом его имени. Оно кажется кроваво-красным, хотя настоящие шершни желтые с черным. Полосатый воздушный тигр — вернее, квинтэссенция тигра! Если он нападет, от него не спасешься.

В Египте и обычные пчелы величиной не уступают крупным английским осам, а уж местный шершень — это просто чудовище. Такой способен перепугать до смерти. Земля Сфинкса и Великих пирамид рождает гигантов, и он под стать любому из них: жуткое насекомое, хуже скорпиона или тарантула. Впервые встретившись с образчиком этой породы, преподобный Джеймс Миллиган понял смысл другого слова, которое

часто использовал в своих красноречивых проповедях, — слова «дьявол».

Как-то апрельским утром, когда тепло стало выманивать насекомых из ночных укрытий, он проснулся в обычное время и по широкому мощенному камнем коридору направился в ванную. За открытыми окнами уже сверкали под солнцем песчаные дюны. Ближе к полудню жара обещала сделаться изнурительной, но в этот ранний час гостиницу насквозь продувал северный ветерок, навевая приятную прохладу. День был воскресный; в половине девятого пастор собирался провести утреннюю службу для постояльцев-англичан. Сквозь тонкие подошвы ярко-желтых арабских туфель он ощущал холод каменных плит у себя под ногами. Он был не слишком юн и не слишком стар, получал неплохое жалованье, более чем достаточное для его нужд (жены и детей у Миллигана не было); врачи рекомендовали ему здешний сухой климат, а жизнь в отеле обходилась дешево. И он был вполне доволен собой — холеный, напыщенный, надутый ханжа, столь же заурядный, как подвальная крыса. Никакие заботы не тревожили его, когда с полотенцем и губкой, душистым мылом и бутылочкой ароматических солей он

благодушно шествовал в ванную через пустой коридор, залитый солнцем. Все было отлично, пока преподобный Джеймс Миллиган не открыл дверь и взгляд его не упал на некий подозрительный темный предмет, висящий на окне.

Но и тут он не испытал поначалу ни беспокойства, ни страха — ничего, кроме понятного любопытства: что за странная штуковина свисает с деревянной рамы напротив него, в шести футах от его орлиного носа? Он шагнул к ней, чтобы рассмотреть поближе, — и замер как вкопанный. Его сердце забилось с частотой, непривычной для столь солидной духовной особы. Губы сложились в немыслимую гримасу.

— Господи! Это еще что? — с трудом выдохнул он.

Нечто пугающее, гнусное, как тайный грех, висело перед его глазами в ярких утренних лучах. Он едва перевел дух.

Секунду-другую он не двигался с места, будто завороженный увиденным. Потом осторожно и очень медленно — крадучись, вернее сказать, — отступил к двери, через которую недавно вошел. Стараясь не шуметь, он пятился на цыпочках. Желтые шлепанцы скользили по полу. Губка упала, покатилась вперед и остановилась прямо

под страшным, но притягательным предметом, на который он смотрел. В дверном проеме, зная, что теперь за спиной безопасное пространство и путь для бегства открыт, он помедлил и вгляделся пристальней. Вся его жизнь сосредоточилась в глазах. Да, перед ним был шершень. Неподвижный и угрожающий, он расположился как раз между Миллиганом и входом в ванную комнату. Сперва пастор только и мог, что полушепотом воскликнуть:

— Боже милостивый! Египетский шершень!

Но будучи, по общему мнению, решительным человеком, он быстро взял себя в руки. Что-что, а владеть собой он умел. Когда прихожане покидали церковь в самом начале службы, ни один мускул на его лице не вздрагивал, выдавая, как это ранит его самолюбие, какая гневная буря бушует у него в сердце. Однако шершень, сидящий у вас на дороге, — дело совсем иное. Миллиган всей кожей чувствовал, что легкая одежда почти не прикрывает его и не спасет от укусов.

Держась поодаль, он тщательно изучал дьявольского гостя. Тот был по-прежнему неподвижен и тих. Удивительно красивое насекомое, что спереди, что сзади. На спине сложены длинные изогнутые крылья с острыми краями — острыми,

как соблазн. В этом грациозном существе была какая-то ядовитая прелесть. Черное туловище лоснилось на солнце, желтые полоски сверкали, как украшения тех обольстительных грешниц, которых он громил в своих проповедях. Ему даже почудилась танцовщица на сцене. Но вдруг это впечатление исчезло, сменившись другим — образом тупой и жестокой силы, созданной, чтобы убивать. Точеное тело, плотное, суженное книзу, привело ему на память орудия, что используются в разрушительных войнах: торпеды, бомбы, снаряды, полные гибельной мощи. И крылья, и страшная голова, и тонкий перехват талии, и блестящие шафранные полосы — все напоминало самые мерзкие из людских изобретений, приукрашенные снаружи, дабы их смертельная суть не бросалась в глаза.

— Тьфу ты! — ругнулся он, устыдившись своей неуемной фантазии. — В конце концов, это всего-навсего шершень. Букашка зловредная, больше ничего!

Второпях он принялся обдумывать план. Хотел использовать вместо оружия полотенце, уже свернул его в комок, но не бросил. Что если он промахнется? Он помнил, что его лодыжки ничем не защищены. И снова он застыл у дверей,

разглядывая черно-желтое чудище с приличного расстояния (когда-нибудь он надеялся вот так же созерцать мир, уйдя на пенсию и поселившись в деревне). Страшное существо не шевелилось. Оно не издавало звуков. Крылья оставались сложенными. Даже черные усики-антенны, слегка утолщенные на концах, ни разу не дрогнули. Но насекомое дышало. Миллиган видел, что оно приподымается и опадает, втягивая и выпуская воздух, как и он сам. У этой «букашки» есть легкие, сердце, прочие органы… У нее есть мозг! Разум, который безостановочно работает, следит за происходящим — и выжидает. В любую секунду, с сердитым гудением и прицельной точностью, шершень может ринуться в атаку. А уж если швырнуть в него полотенцем и промазать, он непременно нападет.

В том крыле гостиницы были и другие жильцы; услышав шаги, Миллиган решил поторопиться. Не пропускать же свою очередь в ванную! Ему было стыдно за собственную трусость, которую он назвал бы более вычурным словом — «малодушие», если б говорил с кафедры. Со всеми предосторожностями он добрался до внутренней дверцы, проскользнув так близко к опасному месту, что его бросило в жар и в холод. Выста-

вил ногу далеко вперед, потянулся за губкой и подобрал ее. Шершень не двигался. Но он знал, что человек только что прошел мимо, и просто выжидал. Все ядовитые насекомые способны на такие уловки. Эта тварь отлично знала, что в ванной комнате кто-то есть, что через несколько минут он выйдет оттуда, и выйдет почти голым.

Оказавшись в крохотной комнатенке, пастор прикрыл дверь — мягко и плавно, чтобы не потревожить врага. Ванна скоро наполнилась, и он погрузился в нее по шею, чувствуя себя в относительной безопасности. Наружное оконце он тоже закрыл, отгородившись от внешнего мира. Влажный пар окутал комнату и затуманил стекло. Целых десять минут Миллиган мог наслаждаться, воображая, что ему ничего не грозит. И все десять минут он вел себя беззаботно, будто никакого риска нет, да и храбрости ему не занимать. Плескался в воде, намыливался, орудовал губкой, шумел сколько душе угодно. Потом вылез из ванны и насухо вытерся. Пар понемногу исчез, оконное стекло очистилось. Теперь накинуть халат, надеть шлепанцы… Все. Пора выходить.

Не найдя предлога, чтобы еще немножко помедлить, он отворил дверь на каких-то полдюйма, выглянул и тут же с громким стуком захлопнул

ее. Он услышал гудение крыльев. Злобная тварь покинула свой насест и жужжала над полом прямо у него на пути. Казалось, отравленные иглы нацелились в него отовсюду — того и гляди вонзятся; его беззащитное тело съежилось от предчувствия боли. Шершень знал, что человек готовится выйти, и подстерегал его. Пастор мигом представил, как жало впивается ему в голые ноги, в спину и шею, щеки, глаза, в лысину на его почтенной клерикальной макушке. Сквозь дверь доносился монотонный зловещий звук: полосатый хищник яростно вращал крыльями. Скользкое жало нетерпеливо двигалось взад-вперед, лапки проворно шевелились. Миллиган видел, как изогнулось перед атакой туловище, разделенное узкой перемычкой. Тьфу! Эта перемычка — она ведь совсем тонкая! Взять бы ему себя в руки хоть ненадолго, и он перебил бы ее надвое одним ударом, отделив тельце насекомого от подающего команды мозга. Но где там — нервы у пастора окончательно сдали.

Мотивы наших поступков, даже вполне достойные с виду, всегда бывают сложней, чем кажутся. А побуждения преподобного Джеймса Миллигана в ту минуту вообще объяснить трудно. По крайней мере, хоть это извинение у него

есть, чтобы как-то оправдать свою последующую выходку. Когда он уже был готов отбросить показную смелость и позвонить слуге-арабу, шаги в коридоре заставили его вновь собраться с духом. Он узнал походку человека, которого «осуждал в сердце своем» (что на языке проповедника значило «презирал и ненавидел»). Пока он тут мешкал, наступила очередь мистера Маллинза принимать ванну. Мистер Маллинз всегда приходил следом за ним в семь тридцать, а сейчас было уже без четверти восемь. И мистер Маллинз был неисправимым горьким пьяницей — проще говоря, забулдыгой.

Новый замысел возник у пастора сразу, точно по наитию, и в ту же минуту начал исполняться. Разумеется, его внушил дьявол. Миллиган даже себе до конца не признавался в том, что задумал. Жестокая, подлая шутка, но до чего соблазнительная… Пастор толкнул дверь и, задрав нос, гордо прошествовал к выходу мимо чудища на полу. За короткое время пути он испытал сотню ужасных ощущений: будто недруг вцепился ему в ногу, повис на халате и жалит спину, будто его угораздило наступить на шершня и он умирает, словно Ахиллес, раненный в пятку. Но все эти страхи были ему нипочем: он предвкушал, как

через пять секунд в ту же самую ловушку угодит ничего не подозревающий Маллинз. Злобное существо гудело за спиной священника и скребло линолеум лапками. Но оно осталось позади. Опасность миновала!

— Доброе утро, мистер Маллинз, — сказал он, сладенько улыбнувшись. — Надеюсь, я не заставил вас ждать?

— Утро доброе! — буркнул в ответ Маллинз, смерил его заносчивым взглядом и прошел мимо. Возможно, он был грешником, но лицемером отнюдь не был и не делал тайны из своей нелюбви к духовенству, потому эти двое и враждовали.

Почти любой, если он не превосходит других настолько, чтобы называться сверхчеловеком, таит в душе что-то низменное. Низкие душевные свойства Миллигана сейчас одержали верх. Он мягко усмехнулся. Он ответил на дерзость Маллинза мирной всепрощающей улыбкой и громко зашаркал шлепанцами в сторону своей спальни. Потом посмотрел через плечо. Вот-вот его обидчик встретится с разъяренным шершнем — египетским шершнем! — и поначалу, чего доброго, его даже не заметит. Может, наступит на него, а может, и нет, — но обязательно потревожит и заставит напасть. Тут все шансы были

на стороне священника. А укус гигантской осы означает смерть.

«Нет! Боже, прости меня!» — пронеслось в голове у Миллигана. Однако его покаянной молитве вторила другая мольба, подсказанная нашим вечным искусителем: «Черт побери, ну пускай эта тварь его ужалит!»

Все произошло очень быстро. Преподобный Джеймс Миллиган задержался у двери, чтобы поглядеть и послушать. Он видел, как Маллинз, гнусный, презренный Маллинз, весело вошел в ванную, но вдруг замер, отпрянул назад и поднял руку, чтобы защитить лицо. Он слышал громкую ругань:

— Это что за чертова пакость? Снова белая горячка, а?

А затем раздался смех — грубый безудержный хохот, полный облегчения:

— Э, да оно настоящее!

Настроение Маллинза так круто поменялось за секунду, что пастор ощутил жгучую досаду и боль в сердце. Он готов был возненавидеть весь род людской.

Едва мистер Маллинз понял, что перед ним не галлюцинация, он без колебаний шагнул вперед. Взмахнул полотенцем и сбил летающий

ужас наземь. Потом остановился и подобрал с полу ядовитую тварь, которую оказалось так легко сшибить одним метким ударом. Держа насекомое в руке, он подошел к окну и бережно выпустил шершня на свободу. Тот улетел, целый и невредимый, а мистер Маллинз — Маллинз, который пил, не жертвовал на церковь, не посещал службы, терпеть не мог священников и кичился этим, — ну словом, этот самый Маллинз без единой царапинки пошел наслаждаться незаслуженным купанием!

Но сперва он заметил, что его враг стоит, наблюдая за ним из коридора через дверной проем, — и все понял. Тем хуже: теперь Маллинз сочинит целую историю, и она разнесется по гостинице.

Впрочем, преподобный Джеймс Миллиган снова доказал, что умеет держать себя в руках. Через полчаса он проводил утреннюю службу, и его благообразное лицо выражало мир и покой. Он стер с него любые внешние признаки досады. Уж таков этот свет, рассуждал он себе в утешение: нечестивые цветут подобно лавру, а праведникам всегда не везет!

Грустная истина, что говорить. Но еще много дней спустя Миллигана выводило из себя нечто иное: презрение, с которым Маллинз указал и

ему, и шершню их надлежащее место. Он великодушно пренебрег ими, а значит, считал себя выше их обоих. И вот что ранило священника больней, чем жало любого шершня в мире: этот забулдыга и правда был выше.

Перевод Екатерины Муравьевой

Маленький бродяга

Он шел из своей холостяцкой квартиры в клуб, немолодой мужчина, слегка сутуловатый, с мягким, но решительным выражением лица, с ясными и смелыми синими глазами; в очертаниях волевого рта было нечто такое, что наводило на мысль о привычной грусти — или о покорности судьбе? Апрель едва начался, сквозь сумерки сеялся мелкий теплый дождик, но в воздухе пахло весной, и на деревьях у тротуара вовсю щебетали птицы. Сердце прохожего отозвалось на эти звуки: год вступил в свою лучшую пору, над лондонскими крышами нежно светилась полоска заката.

Его путь лежал мимо одного из больших портов — морских ворот Лондона; птичий гомон и облака, подцвеченные закатным огнем, соединились у него в душе с образом солнечного побережья. Вестники близкой весны рождали в ней музыку. Но эта музыка осталась немой и не выдала себя ничем, кроме тихого вздоха, настолько тихого, что, если бы мужчина нес в своих сильных руках ребенка, тот ничего бы не услышал. Однако прохожий зашагал быстрее, выпрямился, поднял

глаза, и в них загорелся какой-то новый свет. На мокрых плитах тротуара, где отблески фонарей уже сплетались в тускло-золотую сеть, примерно в дюжине ярдов перед собой он увидел маленького мальчика.

Невесть отчего этот малыш вызвал у него живой интерес. Широкий итонский воротник мальчугана был до неприличия измят, острые фалды курточки смешно топорщились, из-под грязной соломенной шляпы рвались на волю густые светлые кудри, торчащие во все стороны. Было заметно, как трудно ему тащить до отказа набитую сумку, слишком громоздкую и тяжелую, чтобы пройти с такой ношей больше десяти шагов без остановки. Он перекладывал ее из руки в руку, то и дело ставил на землю и отдыхал; при каждом движении она била его по ноге, и штанина высоко задиралась над башмаком. Вся его фигурка прямо-таки взывала к сочувствию.

«Нужно ему помочь, — сказал себе мужчина. — Иначе он опоздает на поезд и не доберется к морю». О том, куда направляется мальчик, ясно говорила пара деревянных весел, неумело и небрежно привязанных к сумке.

Внезапно парнишка (на вид ему было лет десять) стал оглядываться по сторонам, растерянно

и беспокойно, словно ждал чего-то, — то ли надеялся на помощь, то ли искал глазами того, кто должен был его встретить. Похоже, он и дороги толком не знал. Мужчина поспешил догнать его.

«Да, надо выручить юного бродягу», — мысленно повторял он по пути. Он улыбнулся. Была в его характере некая отеческая струнка, готовность опекать и защищать, а этот случай разбередил ее — и разбередил, пожалуй, чересчур сильно. Его улыбка сменилась добродушным смехом, когда он остановился над сумкой: она опять отдыхала на тротуаре, а ее владелец по-прежнему вертел головой туда-сюда. Но услышав шаги, он обернулся, и пара больших синих глаз уставилась в лицо незнакомцу радостно и смело, без малейших признаков смущения.

— Вот это здорово, сэр! — простодушно выпалил он, прежде чем мужчина успел заговорить. — Ужас до чего кстати! А я где только не искал, но мне и в голову не пришло посмотреть назад.

Прохожий, стоя рядом с ним в молчаливом изумлении, пропустил последнюю фразу мимо ушей. Дружелюбный взгляд мальчишки был так доверчив, голос звучал так искренне, что мужчину захлестнул прилив нежности, как будто он встретил своего маленького сына. Разом ожили

полузабытые чувства, мысли вернулись в прошлое, минуя двенадцать бесплодно потраченных лет… складки возле рта стали глубже, но ласковый свет в глазах — еще ярче.

— Великовата она для тебя, мой мальчик, — сказал он, с веселым смешком очнувшись от раздумий. — Вернее, ты для нее слишком мал, а? Ну, куда теперь? На станцию, надо полагать?

Он нагнулся к сумке и хотел уже взяться за ручки, предварительно затолкав глубже под ремни кое-как примотанные весла, но вдруг ощутил, что слова мальчика вызвали у него боль.

Что за боль? Откуда она взялась? Что ему до этого бродяжки, ненароком встреченного на лондонской мостовой? В считаные секунды — после того, как он наклонился, и прежде, чем его пальцы коснулись ремней, — ему стало понятно, в чем дело, и немного смешно. Очень уж он расчувствовался! Сухое обращение «сэр» противоречило нежному, открытому взгляду ребенка. Так можно обращаться к учителю или школьному наставнику; из-за этого слова мужчина показался себе стариком. Не таких слов он ждал — да чего там, страстно желал, почти твердо надеялся услышать. Он был до того взволнован, что, подхватив сумку за ремни, даже не разобрал ответа на свой

вопрос. Впрочем, неважно. Все равно надо идти к вокзалу: мальчик наверняка едет на взморье провести там пасхальные праздники, и семья дожидается его в билетной кассе. Заранее напрягая мускулы, мужчина оторвал сумку от земли.

— Большущее вам спасибо, сэр! — сказал мальчик. Он следил за ним с ухмылкой озорного школьника, словно это была шутка, и в то же время выглядел довольным — жалкий уличный оборванец, с которым наконец поступили «по-честному». Ведь и правда, таскать такие тяжести — работа не для детей. Но, хотя он опять произнес «сэр», что-то в его тоне выдавало уверенность: именно этого человека он имел право просить о помощи — и этот человек, один из всех, вправе и должен помочь ему. Как будто иначе и быть не могло.

Мужчину шатнуло, он едва устоял на ногах. Он перестарался — сделал чересчур сильный рывок, потому что сумка казалась тяжелой. А она была невесомой, легкой как перышко, точно склеена из китайской шелковой бумаги. Это во всех смыслах выбило его из равновесия. Ноги подкосились, мысли пошли вразброд.

— Ну ей-же богу! — воскликнул мальчик, отплясывая — руки в карманах — какой-то за-

мысловатый танец рядом с ним. — Огромное вам спасибо. А смешно получилось, верно?

На этот раз досадное слово не прозвучало, но прохожему было уже не до слов. Туман плыл перед его глазами, фонари мерцали слабо и где-то далеко, морось в воздухе стала гуще. Он еще слышал, как привольно щебечут птицы, видел золотую полоску на краю неба, а весь прочий мир для него потускнел. Странные грезы сгустились, как облако. Мечты и реальность менялись местами, точно играя в прятки. Прошлое казалось совсем недавним, воспоминания, одетые огнем, толпились перед его внутренним взглядом и на миг заслонили все, что было вокруг. После двенадцати впустую прожитых лет ему вновь пришли на ум строки Россетти, в безупречной красоте которых таится боль:

Тот Час, что мог настать и не настал,
Что иссушил бесплодным ожиданьем
Сердца двоих…

Новая вспышка — и сонет «Мертворожденная любовь» зазвучал в его сознании целиком. «В глазах не меркнет память о любви…» Строчки стихов мешались с другими, сиюминутными

мыслями. Этот мальчик! Какие нелепые усилия он делал, чтобы нести до смешного легкую сумку! И почему он вызывает острую, почти мучительную нежность? Неужели это переодетая девочка? Радостное лицо, невинная доверчивая улыбка, мелодичный голос, милые синие глаза — но чего-то недоставало, что-то важное было упущено. Вот только что? И кто этот беззаботный юнец? Старший пристально разглядывал младшего, пока они шли рядом. Его сердце изнывало, несказанно томилось робким, безнадежным, удивительным чувством. Мальчик глазел по сторонам и не замечал, что за ним следят; не замечал, конечно, и того, что его спутник сбивается с шагу и с трудом переводит дыхание.

Но тревога мужчины росла. Лицо ребенка напомнило ему многих других детей, мальчиков и девочек, которых он любил, с которыми когда-то играл, — его Приемных Детей, как он называл их про себя. Мальчуган придвинулся ближе и взял его за руку. Они были уже недалеко от станции. Дыхание хрупкой, беззащитной и беспомощной, невыразимо трогательной маленькой жизни коснулось его лица.

Тут у него с языка сорвалось:

— Послушай… Эта твоя сумка — она же ничего

не весит!

Мальчишка рассмеялся, беспечно и от всей души. Он поднял глаза на прохожего:

— Знаете, что в ней? Сказать вам? — И шепотом добавил: — Если хотите, я скажу.

Но тот внезапно испугался и не посмел спросить.

— Оберточная бумага, наверное, — предположил он шутливо, — или птичьи яйца. Грабишь гнезда несчастных жаворонков?

Паренек хлопнул обеими ладонями по руке, которая поддерживала его. Сделал один-два быстрых танцующих шага и замер на месте, так что его спутнику пришлось остановиться. Поднялся на цыпочки, чтобы шептать прямо в ухо собеседнику, и улыбнулся открытой, искренней, довольной улыбкой.

— Мое будущее, — шепнул он. Прохожий похолодел как лед.

Они вошли в просторное помещение вокзала. Последние отблески дневного света угасали снаружи, кругом волновалась толпа суетливых пассажиров. Мужчина опустил сумку на пол. Пару секунд мальчик торопливо озирался, потом опять просиял улыбкой и поднял на своего спутника синие глаза:

— Она в зале ожидания, как обычно. Пойду приведу ее, хотя она и так знает, что вы здесь.

Встав на носки, он положил руки на плечи мужчине и подставил лицо:

— Поцелуйте меня, отец. Я мигом вернусь.

— Ты… ты маленький бродяга! — произнес тот дрогнувшим, каким-то чужим голосом. Потом широко развел руки — и увидел пустоту перед собой.

Он повернулся и медленно побрел прочь. В клуб не пошел, возвратился домой и там в сотый раз перечитал письмо — за двенадцать лет чернила немного выцвели, — письмо, в котором она ответила ему «да» двумя неделями раньше, чем ее забрала смерть.

Перевод Романа Гурского



Натаниэль Готорн



Натаниэль Готорн (1804–1864) хорошо известен российскому читателю, его начали переводить на русский еще при жизни (с 1853 года); творчеством американского писателя восхищались Гончаров, Толстой, Достоевский. Не забыт он и в наши дни. Хотя Готорн до сих пор так и не удостоился собрания сочинений на русском языке, его книги регулярно переиздаются — прежде всего романы «Алая буква» и «Дом о семи фронтонах». Новеллам «повезло» меньше, хотя именно с малого жанра, со сборника «Дважды рассказанные истории», началась известность Готорна. Эта книга стала важным импульсом к размышлениям Эдгара А. По о природе новеллистического жанра, привела, в конце концов, к выработке уникальной теории «единства впечатления» американского романтика.

Подробнее с биографией Готорна любой желающий может познакомиться в сети Интернет — сведений о жизни писателя там предостаточно. Напомним только основные вехи. Родился в 1804 году в городе Сейлем, Массачусетс. Учился в Боуден-колледже, где подружился с Франклином Пирсом, будущим президентом США. Знакомство это сыграло важную роль в судьбе писателя, обеспечив в будущем завидную дипломатическую

должность (в 1853–1861 гг. он исполнял обязанности консула в британском Ливерпуле). Сочинять начал вскоре после окончания колледжа, первый роман («Фэншо», 1828) считал неудачным, никогда при жизни его не переиздавал и до 1850 года (до публикации знаменитой «Алой буквы») писал только рассказы. Впрочем, времени на сочинительство было совсем немного: семейная жизнь заставила искать средства к существованию, и несколько лет он трудился инспектором на таможне.

Важнейшую роль в выборе тем и сюжетов играло новоанглийское происхождение. Судя по всему, Готорна изрядно тяготило родство с жестокими пуританами Массачусетса (его прадед председательствовал на знаменитом антиколдовском процессе в Сейлеме), и с самых ранних произведений заметное место в его прозе занимала тема вины за старые грехи, в том числе грехи предков. Явно не случайно тема грехов — тайных и явных, прошлых и настоящих — звучит в прозе Готорна почти постоянно не только в романах, но и в рассказах.

Выход в свет романа «Алая буква» положил конец финансовым трудностям, дал возможность оставить службу и всецело отдаться творчеству.

Большую часть своих произведений писатель создал в последние 14 лет жизни. Но лучшие рассказы родились все-таки в 1830–40-е гг. Большинство из них объединены в сборники: «Дважды рассказанные истории» (1837, 1842), «Мхи старой усадьбы» (1846) и «Снегурочка и другие дважды рассказанные истории» (1851). Любимые рассказы Г. Лавкрафта — «Честолюбивый гость» и «Черная вуаль священника» — были написаны соответственно в 1835 и 1836 гг. Они входят в состав сборника «Дважды рассказанные истории».

А. Б. Танасейчук

Честолюбивый гость

Одним сентябрьским вечером семья собралась вокруг очага, в котором были сложены горкой и сучья, выловленные из горных потоков, и сухие сосновые шишки, и обломки стволов огромных деревьев, свалившихся в пропасть. От сильной тяги гудела дымовая труба, широкие языки пламени озаряли всю комнату. Лица отца и матери выражали удовлетворенность жизнью; дети смеялись; старшая дочь являла собою образ счастья в семнадцать лет, а бабушка, сидевшая с вязаньем в самом теплом уголке, — тот же образ на старости лет. Они сумели найти «цветок, души отраду»[9] в краю более унылом, чем любая другая местность Новой Англии. Эта семья обосновалась на перевале Нотч в Белых горах, где ветер не утихает год напролет, а зима безжалостно холодна и испытывает на их домике всю свою еще не растраченную злобу, прежде чем сойдет

---

[9] Примечания: 9

В оригинале — “herb, heart’s-ease”. Цитата из пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта». Подразумевается heart’s-ease — народное английское название лугового цветка, фиалки трехцветной. Использовалось в стихотворениях, в частности у Кристины Розетти, как метафора душевного покоя и умудренности, приходящей с возрастом.

в долину реки Сако. Холодное место выбрали они и опасное: над головами у них нависала гора столь крутая, что камни то и дело срывались с ее склонов, пугая людей по ночам своим грохотом.

Дочь только что произнесла какую-то незамысловатую шутку, развеселив всю семью, когда ветер, пролетев через Нотч, словно замер на миг перед их домом, чтобы постучать в дверь, жалобно завывая, а потом умчался дальше, в долину. На мгновение настроение семьи омрачилось, хотя звуки эти были им привычны. Но тут же они вновь приободрились, заметив, что дверная задвижка поднимается: значит, прибыл некий странник, чьи шаги заглушил тоскливый шквал, предвестник его прихода, рыдавший у двери и со стоном умчавшийся прочь.

Хотя эти люди и жили так обособленно, они ежедневно поддерживали связь с внешним миром. Романтический перевал Нотч — это жизненно важная артерия, благодаря которой ровно бьется пульс внутренней торговли между штатом Мэн с одной стороны и Зелеными горами и побережьем залива Св. Лаврентия — с другой. Почтовые кареты всегда останавливались у этого домика. Пешеход, чей единственный спутник — посох, присаживался здесь перекинуться парой

слов с хозяевами, чтобы чувство одиночества не одолело его прежде, чем он минует ущелье или доберется до первого жилого дома в долине. Здесь же и погонщик стад, по дороге на рынок в Портленде, находил себе ночлег; если был он холост, то мог, отложив на часок отход ко сну, украдкой поцеловать деву гор на прощанье. Это был один из тех старинных приютов, где путешественник платит только за кров и пищу, зато находит бесценные дары — уют и радушие. Вот почему, заслышав шаги между наружной и внутренней дверьми, все семейство встало — и бабушка, и дети, — как будто готовясь приветствовать кого-то близкого, как бы связанного с ними судьбою.

Дверь открылась, вошел молодой человек. На лице его застыло меланхоличное, почти унылое выражение, как у всякого, кто держит путь по диким, суровым местам в одиночку, в темноте, но оно посветлело, как только он почувствовал дружелюбное тепло этих людей. Сердце его потянулось к ним — от старушки, вытершей стул для него своим передником, до малыша, протянувшего ручки ему навстречу. Одного взгляда и улыбки хватило, чтобы между пришельцем и старшей дочерью установилась невинная симпатия.

— Ах, огонь — это замечательно! — воскликнул

он. — Особенно в таком приятном кругу. Я совсем закоченел… Нотч нынче словно большими кузнечными мехами продувает, всю дорогу от Бартлета жуткие порывы били мне в лицо.

— Вы, значит, направляетесь в Вермонт? — спросил хозяин дома, помогая гостю снять с плеч легкий ранец.

— Да, в Берлингтон, а потом дальше, — ответил юноша. — Я рассчитывал сегодня к вечеру добраться до усадьбы Итена Кроуфорда; но пешим ходом такую дорогу быстро не пройдешь. Это не беда! Как увидел я этот славный огонек и ваши жизнерадостные лица, показалось мне, что вы нарочно разожгли его, поджидая меня. Ну что же, сяду-ка я рядом с вами и буду как дома!

Прямодушный незнакомец подвинул стул к огню, но тут снаружи послышалось нечто вроде тяжелой поступи, словно великан мчался по крутому склону горы длинными скачками и, миновав домик, рухнул на обрыв напротив. Вся семья затаила дыхание, так как они знали, что это за звук, а гость инстинктивно почуял неладное.

— Старуха гора швырнула в нас камнем, чтоб о ней не забывали, — сказал хозяин, переведя дух. — Она иногда покачивает головой и грозится сойти вниз; но мы ее давние соседи и в целом

неплохо ладим. К тому же, коли она всерьез надумает спуститься, у нас есть надежное укрытие неподалеку.

Теперь представим себе, что пришелец уже справился с поданной ему на ужин порцией жаркого из медвежатины; благодаря природному обаянию, он обрел доброе расположение всей семьи, и они беседовали так непринужденно, будто и он был сложен из той же горной породы. Гордый, но чувствительный юноша бывал высокомерен и замкнут в обществе богатых и именитых, но охотно склонял голову, входя в скромную хижину, и вел себя как брат или сын у очага бедняков. Под кровом обитателей Нотча он нашел тепло, простые чувства и трезвый разум, свойственный людям Новой Англии; он ощутил поэзию естественного роста: они обретали знания и способность мыслить, сами того не замечая, среди пиков и пропастей горы и даже у порога своего романтического и опасного обиталища. Юноша много странствовал, всегда в одиночку; по сути, вся его жизнь была долгим одиноким странствием, ибо, повинуясь своей возвышенной и скрытной натуре, он неизменно держался в стороне от тех, кто мог бы стать его спутниками. У здешней семьи, при всем добро-

душии и гостеприимстве, тоже было сознание внутреннего единства и отгороженности от окружающего мира — ведь в каждом домашнем кругу должно оставаться святилище, куда не могут проникнуть посторонние. Однако этим вечером какое-то пророческое чувство побудило утонченного и образованного юношу раскрыть душу перед простыми горцами и вызвало у них ответную симпатию и доверие. Иначе и быть не могло. Разве родство судеб — не более прочная связь, чем родство кровное?

Характер молодого человека определяло скрытое в глубине души честолюбие, возвышенное и туманное. Он согласился бы прожить скромно и незаметно, лишь бы не быть забытым после кончины. Жгучее желание переросло в надежду, а долго лелеемая надежда — в уверенность, что в конце концов лучи славы озарят пройденный им безвестный путь, пусть даже сам он уже сойдет с него. Когда взгляд потомков проникнет сквозь мглу его нынешнего состояния, ставшего прошлым, они обнаружат яркое сияние оставленных им следов, и оно будет разгораться по мере того, как будет угасать низменная слава других; и мир признает, какая одаренная личность прошла от колыбели до могилы, никем не замеченная.

— Пока что, — воскликнул гость раскрасневшись, и глаза его светились энтузиазмом, — пока я еще ничего не достиг. Исчезни я завтра с лица земли, никто не узнает обо мне больше, чем вы: безымянный юнец пришел на закате из долины Сако, вечером открыл вам свое сердце, а на восходе отправился в путь по Нотчу, и больше его не видели. Ни единая душа не захочет спросить: «Кто он? Куда ушел скиталец?» Но я не могу умереть раньше, нежели исполню свое предназначение. Тогда пусть приходит Смерть! Мой памятник будет уже воздвигнут!

Эти туманные мечтания сочетались с таким потоком искренних эмоций, что семья сумела понять чувства молодого человека, хоть они и отличались сильно от их собственных. Со свойственным ему чутьем смешного он вдруг устыдился своих пылких речей, которых не сумел сдержать.

— Вы смеетесь надо мной, — сказал он, взяв за руку старшую дочь, и сам рассмеялся. — Мои амбиции кажутся вам бессмысленными, как если бы я намеревался замерзнуть насмерть на вершине горы Вашингтон лишь затем, чтобы люди могли поглазеть на меня из окрестных долин. Конечно, это был бы достойный пьедестал для

статуи человека!

— Уж лучше сидеть здесь у огня, — ответила девушка, краснея, — в уюте и покое, хоть бы даже никто про нас и не знал.

— Думается мне, — сказал отец, поразмыслив, — слова юноши естественны; будь я настроен, как он, то и чувствовал бы то же самое. Вот как странно, жена: от разговора этого в голове моей стали крутиться мысли о разных вещах, которым уж точно никогда не сбыться.

— А вдруг да сбудутся, — возразила жена. — Думает ли муж, что будет делать, когда овдовеет?

— Нет, нет! — с мягким упреком запротестовал он. — Когда я думаю о твоей смерти, Эстер, то думаю и о своей. Нет, я просто подумал, что хорошо бы нам обзавестись славной фермой где-нибудь близ Бартлета, Бетлехема, или Литлтона, или любого другого городка в округе Белых гор, лишь бы там ничего не падало нам на головы. Я бы хотел жить дружно с соседями, и чтобы они меня звали сквайром и направили в Главный суд штата на один срок или два; простой, честный человек может там сделать не меньше добра, чем заправский юрист. А когда бы я стал уже совсем стариком, а ты — старушкой, чтобы нам не разлучаться надолго, я умер бы счастливым в

своей постели, а вы бы все плакали вокруг меня. Могильная плита из песчаника подойдет мне ничуть не хуже мраморной, и пусть на ней напишут только мои имя и возраст, да какую-нибудь строчку из гимна, да пару слов, чтобы люди знали, что жил я честно и умер как христианин…

— Вот видите! — воскликнул незнакомец. — Желать памятника — в нашей природе, будь то песчаник либо мрамор, обелиск из гранита либо славная память в человечестве.

— Странная у нас нынче выходит беседа, — сказала жена со слезами на глазах. — Говорят, это не к добру — пускаться в этакие мечтания… Вы детей-то послушайте!

Все прислушались. Младших детей уже давно уложили спать в другой комнате, но дверь осталась приоткрытой, и можно было услышать, как они оживленно переговариваются. Как будто заразившись от старших, они соперничали друг с другом, выражая дикие выдумки и детские фантазии о том, что они будут делать, когда станут взрослыми мужчинами и женщинами. Наконец младший мальчик, отвернувшись от братьев и сестер, обратился к матери.

— Мне чего-то так хочется, матушка! — заныл он. — Чтобы ты, и батюшка, и бабуля, и мы все,

и гость тоже, прямо сразу собрались и поехали попить водички из Флумы!

Как было не рассмеяться этому предложению дитяти: покинуть теплую постель и круг веселого огня, чтобы тащиться по Нотчу к глубокой и узкой расщелине, где скачет по камням Флума — горный ручей. Едва мальчик договорил, как по дороге застучали колеса, и у двери остановился фургон. В нем, судя по звукам, двое или трое мужчин, бодрости ради, нестройным хором выводили песню, и обрывки ее подхватывало эхо среди скал, пока певцы колебались, продолжить ли им путь или заночевать.

— Отец, — сказала девушка, — они зовут тебя!

Однако доброму человеку не показалось, что они и впрямь его звали, да и не хотелось выказать себя слишком жадным до заработка, зазывая проезжих в дом. Поэтому он замешкался и не поспешил к двери; послышался щелчок бича, и путники двинулись дальше по Нотчу, по-прежнему распевая и смеясь, хотя гора отвечала на их серенады и смешки мрачным ворчанием.

— Да что же вы, матушка! — огорчился ребенок. — Они ведь могли подвезти нас до самой Флумы…

Взрослые снова посмеялись над упрямым фан-

тазером. Но какое-то легкое облачко затенило душу дочери; она с тоскою поглядела в огонь и не удержалась от вздоха, хотя и попыталась это скрыть. Вздрогнув и залившись румянцем, она украдкой взглянула на сидевших вокруг очага, будто застеснялась своего душевного движения. Гость спросил, о чем она задумалась.

— Ни о чем, — ответила она с грустной улыбкой. — Мне просто стало как-то одиноко на минутку.

— О, я умею чувствовать, что у людей на сердце, — полушутливо сказал он. — Позволите раскрыть ваши секреты? Видите ли, мне известно, отчего юная девушка вздрагивает у теплого очага и жалуется на одиночество, сидя рядом со своей матушкой. Могу ли я облечь эти чувства в слова?

— Если их можно облечь словами, то это уже не будут чувства девушки, — ответила горная нимфа, смеясь, но пряча от него глаза.

Сказанного между ними никто не слышал. Быть может, в их сердцах дало ростки семя любви, такой чистой, что она могла бы расцвести в Раю, ибо на земле ей созреть не дано; женщины преклоняются перед теми, кто одарен таким тихим достоинством; а гордая, созерцательная, но доб-

рая душа чаще всего увлекается такой простотой. Он созерцал счастливую грусть, и светлые тени, и робкие стремления девичьей природы; пока они негромко разговаривали, голос ветра, пролетавшего сквозь Нотч, зазвучал глуше и мрачнее. Казалось, как выразился пришелец, словно духи завели хорал — воображение напомнило ему, что индейцы в былые времена считали эти горы обиталищем духов бури, вершины и ущелья были для них священным краем. Заунывный гул доносился с дороги, как будто по ней двигалась похоронная процессия. Чтобы развеять мрачный настрой, семья стала подкладывать в очаг сосновые ветки, пока не затрещала сухая хвоя, и языки пламени снова озарили картину покоя и скромного счастья. Свет нежно окутывал их, ласкал их всех. Личики детей, глядящих издали, из кроватки, и крепкая фигура отца, и лицо матери, воплощение покорности и заботы, тут же витающий в облаках юноша, и расцветающая девушка, и добрая старушка в самом теплом уголке, с неизменным вязанием. Но вот она оторвала взгляд от работы и, не прерывая движения спиц, заговорила:

— У стариков свои понятия, у молодых — свои. Вы тут всякого желали да мечтали, то одно у вас

на уме, то другое; вот и у меня голова кругом пошла. Как по-вашему, чего может желать старая женщина, ежели ей остается каких-нибудь один-два шага до могилы? Дети, это будет меня мучить днем и ночью, пока не скажу вам!

— Что же это, матушка? — разом спросили муж и жена.

И старушка, напустив на себя таинственный вид, отчего кружок придвинулся поближе к огню, поведала им, что несколько лет назад она запаслась нарядом для похорон: красивый саван из отбеленного полотна, чепчик с муслиновой оборкой и прочие вещи лучшего качества, каких ей не доводилось носить с самого дня свадьбы. Но сейчас ей отчего-то вспомнилось старинное поверье. В ее молодые годы поговаривали, будто бы любой беспорядок в одеянии тела, смятая оборка или криво надетый чепчик, заставят покойника в гробу поднять из праха свои хладные руки и поправить это. Одна мысль об этом расстраивала ее нервы.

— Не говори так, бабушка! — воскликнула девушка, содрогнувшись.

— Так вот, — продолжала старушка очень серьезно, хотя и со странной улыбкой, как бы смеясь над собственной причудой, — я хочу, чтобы

кто-то из вас, дети мои, — когда ваша матушка будет обряжена и уложена в гроб, — я хочу, чтобы кто-то из вас подержал зеркало над моим лицом. Кто знает, вдруг я смогу взглянуть и проверить, все ли в порядке?

— Старые и молодые, мы все мечтаем о гробницах и монументах, — пробормотал юный пришелец. — Интересно, что чувствуют моряки, когда их корабль тонет и они все вместе будут вот-вот безвестно погребены в океане — гробнице просторной и безымянной?

На мгновение жутковатая идея старушки так удручила слушателей, что возникший в ночи звук, крепнущий, как рев внезапного шквала, стал нарастать и сделался глубоким и страшным раньше, чем обреченные люди осознали это. Дом со всем, что в нем было, затрясся; казалось, содрогнулись основания земли, как будто тот ужасный грохот был призывом труб Страшного суда. Молодые и старые испуганно переглянулись, на миг застыли, онемевшие, потрясенные, не в силах шевельнуться. Потом единый крик вырвался разом из всех уст:

— Обвал! Обвал!

Самыми простыми словами можно изложить суть, но не дать почувствовать весь невыразимый

ужас этой катастрофы. Люди выскочили из дома и спрятались в укрытии, которое считали надежным, — предвидя возможность такой беды, они давно уже устроили нечто вроде каменного навеса. Увы! Вышло так, что они покинули надежный кров и оказались прямо на пути разрушения. Целый склон горы обрушился, как губительный водопад. Но, немного не дойдя до дома, камнепад разделился на два потока; в доме даже оконные стекла не дрогнули, но обвал покрыл всю окрестность, завалил дорогу и уничтожил все живое в своем жутком движении. Задолго до того, как гром великого Обвала затих среди дальних гор, смертельная агония жертв завершилась, и они обрели покой. Их тела не были найдены.

На следующее утро жители долины заметили дымок, вьющийся из трубы хижины на склоне горы. В очаге еще тлел огонь, вокруг него стояли стулья, как будто обитатели дома просто вышли посмотреть на последствия Обвала и вскоре вернутся, чтобы поблагодарить Всевышнего за чудесное избавление. От всех членов семьи остались их личные вещи, над которыми знавшие их пролили слезу о каждом. Кто не слышал о них? История разошлась повсюду и навсегда останется легендой в этих горах. Поэты воспели их судьбу.

Некоторые детали привели кое-кого к выводу, что в ту ужасную ночь в хижине находился посторонний, разделивший несчастье с хозяевами. Другие считали, что для такого предположения нет достаточных оснований. Горе юноше с возвышенной душой, мечтавшему о земном бессмертии! Его имя и личность совершенно неизвестны; его предыстория, его образ жизни, планы — все это осталось навеки неразрешимой тайной, само его существование и смерть равно сомнительны! Чья агония в тот последний миг была самой мучительной?

Перевод Алины Немировой

Примечания переводчика

«Честолюбивый гость», как и многие другие рассказы Готорна, имеет точную географическую привязку и основан на конкретном факте местной истории. Начнем с географии.

Место непосредственного действия и почти все упоминаемые в рассказе объекты находятся на территории северо-восточных штатов США: Нью-Гэмпшир, Мэн и Вермонт. Белые горы — часть горной системы Аппалачи. Нотч (от англ. “notch” — «желоб, прорезь, выемка») — горный

проход, перевал между двумя хребтами Белых гор, область которых описывают как «дикий край, негостеприимный и порою смертельно опасный». И в наши дни она считается наиболее труднодоступным местом в Новой Англии. Гора Вашингтон (1917 м), так и не послужившая постаментом безвестному страннику, — самая высокая гора северо-востока США и место самых сильных ветров на поверхности Земли. В 1934 г. на ее вершине метеорологи зафиксировали скорость ветра 372 км/ч, остававшуюся рекордной вплоть до 1996 г.

Зеленые горы — хребет, протянувшийся на 400 км с юга на север в штате Вермонт, доходит до границы с Канадой.

Река Сако (длина 219 км) протекает по северо-восточной части штата Нью-Гэмпшир и юго-западным областям штата Мэн. Она орошает леса и пахотные земли к юго-западу от Портленда и впадает в Атлантический океан.

Река Св. Лаврентия вытекает из озера Онтарио в северо-восточном направлении и соединяет Великие озера с северной Атлантикой.

Город Портленд, основанный в 1623 г., — ныне самый большой город штата Мэн, центр морских грузоперевозок и рыбной ловли.

Берлингтон (штат Вермонт) возник в 1763 г. как сельскохозяйственное поселение, быстро развился благодаря транзитной торговле.

Как видим, перевал Нотч, известный в наши дни как Кроуфорд Нотч, глубокая долина в сердце Белых гор, будучи соединительным звеном в сети важных торговых путей, мог привлекать поселенцев, несмотря на природные опасности. Одним из таких храбрецов стал Абель Кроуфорд. Он перебрался сюда с семьей из Вермонта в 1790 г., сразу после завершения Войны за независимость (в США), и поселился сперва близ северной оконечности ущелья, а потом продвинулся вглубь на 19 км к югу. Здесь он построил гостиницу, Кроуфорд Хауз, где в 1792 г. родился его сын, Итан Кроуфорд. Именно он был хозяином гостиницы в то время, и именно туда не дошел, на свое несчастье, романтический персонаж Готорна.

Несколько поколений Кроуфордов трудились, чтобы улучшить условия для проходящих через перевал. В Белых горах и вокруг них их имя было хорошо известно, и ущелье стали называть Кроуфорд Нотч.

Названия, упомянутые в разговоре персонажей о желаниях, — это отдельная тема. Автор, очевидно, хотел подчеркнуть и контраст конкретных,

приземленных мечтаний «счастливых горцев» с туманной риторикой гостя, и их полную несбыточность: все три города, перечисленные отцом семейства, очень далеки от Белых гор. Литлтон, с его сухим и теплым климатом, — в штате Колорадо; Бартлет, станция на большом почтовом тракте, — в Теннесси; Бетлехем, где в 1747 г. впервые в США нарядили елки на Рождество, — в восточной Пенсильвании.

Желание ребенка «посмотреть на Флуму» также несбыточно, хотя сам объект и находится сравнительно недалеко. Флума (Flume) — узкая (от 3,6 до 6 м), 240 м в длину, расщелина в Белых горах; между крутыми гранитными стенами (21–27 м) по дну несется бурный поток. Место остается труднодоступным и в наше время. Обнаружила его случайно в 1808 г. некая Джесс Гернси, 93 лет от роду (!), выбирая место для рыбалки. Вскоре люди стали приходить туда, чтобы полюбоваться на чудо природы. В то время между стенками расщелины висел огромный (3 х 3,6 м) яйцевидный валун. В 1883 г. затяжной ливень вызвал оползень, и валун упал. Идея повидать Флуму темной и ветреной сентябрьской ночью, конечно же, была нелепой.

Случай, положенный Готорном в основу рас-

сказа, произошел в 1826 г., за 9 лет до написания.

На перевале Нотч проживал Сэмюэл Уилли с женой, пятью детьми и двумя работниками. Оползень, случившийся в горах неподалеку, вынудил семью срочно покинуть свой дом на Нотче и наскоро соорудить убежище в более безопасном, на их взгляд, месте. К сожалению, они попали в ловушку — на следующую ночь второй, катастрофический обвал обрушился прямо на них. Прибывшая наутро спасательная партия отчаянно пыталась отыскать семью. Тела родителей, двоих детей и работников нашли, остальные трое детей пропали бесследно.

Сравнив сухие факты с текстом, можно понять, какими приемами писатель сумел превратить простой, хотя и трагический случай в аллегорию непрочности человеческого бытия с философским подтекстом. Трагедия на перевале Нотч не могла не вызвать у современников мысли о беззащитности человека перед лицом могущественных и непредсказуемых сил природы. Известный американский художник Томас Коул (1801–1848) создал пейзаж долины и гор, окружающих Нотч, выразив средствами живописи те же чувства.

Черная вуаль

Пономарь стоял на крыльце Милфордского молитвенного дома, усердно дергая за веревку колокола. Деревенские старики, сутулясь, брели по улице. Румяные детишки весело вышагивали рядом с родителями или шествовали нарочито важно, осознавая, что их воскресные наряды требуют вести себя с особым достоинством. Принаряженные холостяки искоса поглядывали на хорошеньких девиц, и им казалось, что в субботнее утро те выглядят намного прелестнее, чем в будни. Когда большинство народа просочилось в двери, пономарь принялся посматривать на двери дома преподобного мистера Хупера. Выход священника был для него сигналом к прекращению звона. И вот пастор вышел — и пономарь вскричал в изумлении:

— А что это у нашего доброго пастыря Хупера с лицом?

Все, кто услышал этот возглас, тотчас обернулись и узрели знакомую фигуру: это несомненно был Хупер, который неспешным шагом, в задумчивости, приближался к дому собраний. И все они разом вздрогнули, удивившись сильнее, чем

если бы вдруг некий неизвестный священник явился вытряхнуть пыль из подушек на кафедре мистера Хупера.

— Вы уверены, что это — наш пастор? — робко спросил у пономаря Гудмен Грей.

— Да, разумеется, это добрый наш мистер Хупер, — ответил пономарь. — Его должен был сменить пастор Шатт из Уэстбери, но он вчера прислал записку с извинением, что не сможет быть, — ему нужно провести погребальную службу.

Стороннему наблюдателю столь сильное удивление показалось бы, пожалуй, необоснованным. Хупер, хорошо воспитанный джентльмен около тридцати лет от роду, хотя все еще не женатый, был одет с приличествующей духовной особе опрятностью, как будто заботливая жена накрахмалила ему воротничок и выбила скопившуюся за неделю пыль из складок его воскресного костюма. Лишь одна деталь нарушала привычный облик Хупера. Вокруг лба его была повязана и свисала на лицо черная вуаль. Складки ее спускались так низко, что колебались от его дыхания. При ближайшем рассмотрении оказалось, что вуаль состоит из сложенного вдвое полотнища крепа, которое полностью скрывало черты лица

пастора, за исключением рта и подбородка, но, по-видимому, не мешало видеть — хотя все предметы, как одушевленные, так и неодушевленные, должно быть, казались ему затемненными. Окутанный этим мрачным покровом, добрый мистер Хупер продвигался вперед тихо и медленно, слегка сгорбившись и глядя себе под ноги, как свойственно людям, погруженным в размышления. Впрочем, это не помешало ему приветствовать кивком головы тех прихожан, которые все еще стояли на ступенях крыльца. Однако они были так потрясены этим зрелищем, что позабыли ответить.

— Право слово, мне чудится, будто под вуалью у нашего доброго пастора нет лица, — пробормотал пономарь.

— Не нравится мне это, — откликнулась одна из старух, споткнувшись на пороге здания. — Он всего лишь спрятал свое лицо, а сделался каким-то чудовищем!

— Пастор сошел с ума! — воскликнул Гудмен Грей, переступив порог следом за ним.

Таинственное явление уже обсуждали шепотом в зале, когда Хупер вошел. Собравшиеся волновались. Мало кто смог удержаться от того, чтобы не повернуть голову к двери; многие повскаки-

вали, а несколько мальчиков вскарабкались на скамьи и спрыгнули обратно на пол с ужасным шумом. Поднялся общий ропот, шуршали юбки женщин, шаркали башмаки мужчин, не было той почтительной тишины, с которой надлежит встречать духовного наставника. Тем не менее Хупер, казалось, и не заметил смятения, охватившего паству. Он вошел почти бесшумно и двинулся по проходу между скамьями, склоняя голову направо и налево. Дойдя до старейшего из прихожан, седоволосого прадедушки, которому было отведено особое кресло посредине прохода, Хупер низко поклонился. Странно было видеть, как медленно доходило изменение во внешности пастора до этого почтенного старца. Он осознал причину волнения окружающих, по-видимому, лишь когда Хупер, взойдя по ступенькам, занял свое место на кафедре, лицом к лицу с людьми — если не считать черной вуали. Это таинственное покрывало так и не было снято. Оно мерно колыхалось от дыхания пастора, когда тот выпевал псалом; оно затемняло страницы священной книги, когда он читал из Писания, а когда, вскинув голову, приступил к молитве, складки ткани плотно легли на его лицо. Неужели он хотел таким образом укрыться от того страшного созда-

ния, о коем говорил?

Этот простой кусок крепа так сильно действовал на нервы, что нескольким наиболее чувствительным женщинам пришлось покинуть дом молитвы. Хотя, возможно, священнику было столь же страшно смотреть на бледные лица паствы, как им — на его черную вуаль.

Мистер Хупер пользовался репутацией хорошего проповедника; но он был не из тех, кто мечет громы и молнии. Он предпочитал обращать своих подопечных к небесам мягкими, убедительными словами, а не загонять их туда бичом слова Божьего. Проповедь, произнесенная им в тот раз, по стилю и манере речи ничем не отличалась от всего, что он прежде произносил с кафедры. И все же было нечто такое то ли в чувстве, пронизывавшем его речь, то ли в воображении слушателей, отчего проповедь оказала на паству намного более глубокое впечатление, чем все ранее исходившее из уст пастора. В ней сильнее, чем обычно, сквозила тихая меланхолия, свойственная темпераменту Хупера. Темой он избрал скрытые грехи — те печальные тайны, которыми мы не делимся даже с теми, кто дороже всех нашему сердцу. Мы всегда готовы спрятать их и от собственной совести, забывая,

что Всеведущий разглядит их. Слова пастора были тихи, но обладали пронзительной силой. Каждый из собравшихся, будь то невинная девушка или ожесточенный жизнью мужчина, чувствовал, что проповедник словно прокрался к ним в душу под прикрытием своей жуткой вуали и там обнаружил залежи греховности в делах или мыслях. Многие прижимали стиснутые руки к груди. В том, что говорил Хупер, не было ничего ужасного, во всяком случае угрожающего; и все же, когда в его печальном голосе слышалась дрожь, слушатели содрогались. Благоговейному страху сопутствовало непривычное воодушевление. Люди так остро воспринимали перемену, случившуюся с их пастырем, что порадовались бы неожиданному порыву ветра, который мог приподнять завесу, — и они не удивились бы, увидев под ней лицо незнакомца, хотя очертания фигуры, жесты и голос несомненно принадлежали Хуперу.

По окончании службы люди заторопились к выходу с неприличной поспешностью. Им не терпелось поделиться долго сдерживаемыми чувствами; к тому же, как только черная вуаль перестала маячить у них перед глазами, им сразу становилось легче. Одни собрались в тесные

кружки, сблизив головы и тихонько перешептываясь; другие поодиночке расходились по домам, молча, в задумчивости. Кое-кто громко судачил и осквернял день субботний нарочито громким смехом. Находились и умники, которые покачивали головами, намекая, что уже проникли в тайну. Одному или двум решительно казалось, что никакой тайны тут нет: просто мистер Хупер слишком много читает по ночам при свечах, и у него наконец заболели глаза. Вскоре после того, как паства покинула дом собраний, следом вышел и пастырь. Обращаясь своим закутанным лицом то к одной кучке народу, то к другой, Хупер оказал надлежащий почет седоголовым, приветствовал людей зрелого возраста достойно и доброжелательно, как пристало другу и духовному руководителю; молодежи он давал почувствовать и свою строгость, и доброту. Малым детям он возлагал руки на головы, благословляя их. Он всегда так поступал по субботним дням; но сегодня ответом на его учтивость были только недоуменные и испуганные взгляды. Никто, в отличие от прежних дней, не оспаривал честь проводить пастора до дома. Старый сквайр Сондерс, видимо, по слабости памяти забыл пригласить Хупера к своему столу, чтобы добрый

священник благословил пищу. А между тем это приглашение неукоснительно поступало почти каждое воскресенье с того дня, как Хупер здесь появился.

Итак, он сразу возвратился к себе домой, и люди, издали следившие за ним, видели, как он оглянулся, прежде чем закрыть за собою дверь. По губам его из-под черной вуали, как мгновенная вспышка света, промелькнула печальная улыбка, и он скрылся в доме.

— До чего странно, — сказала супруга доктора, — ведь это обычная черная вуаль, многие женщины носят такую на шляпках. А на лице мистера Хупера она выглядит просто ужасно!

— Надо полагать, у Хупера не все в порядке с рассудком, — заметил ее муж, единственный врач в селении. — Однако страннее всего тот эффект, который производит эта причуда даже на такого трезвомыслящего человека, как я. Закрывая только верхнюю часть лица пастора, вуаль воздействует на всю его фигуру и придает ему сходство с призраком с головы до ног. Разве ты этого не чувствуешь?

— Весьма даже чувствую, — ответствовала леди, — и я бы не согласилась остаться с ним наедине ни за какие сокровища мира. Не удивлюсь,

если он забоится оставаться наедине сам с собой!

— С людьми такое иногда случается, — отозвался доктор.

К полуденной службе обстоятельства не изменились. После нее должно было состояться погребение недавно умершей молодой леди, о чем и возвестил колокол. Родные и друзья собрались в доме, просто знакомые столпились у входа, толкуя о добродетелях покойной, но всякие разговоры смолкли, когда появился Хупер, по-прежнему под черной вуалью. В данном случае эта эмблема печали была вполне уместна. Священник вошел в помещение, где положили тело, и склонился над гробом, чтобы проститься со своей прихожанкой, оставившей сей мир. Когда он наклонился, вуаль свесилась вниз, так что несчастная девушка, не будь глаза ее сомкнуты навеки, могла бы увидеть его лицо. И Хупер поспешно подхватил вуаль и поправил ее складки. Неужели он и впрямь испугался взгляда покойницы? Одна из присутствовавших при этой встрече живого с мертвой не постеснялась утверждать, будто бы в момент, когда черты пастора открылись, тело едва заметно содрогнулось, отчего сместились складки савана и оборки муслинового чепца, хотя лицо сохраняло мертвенное

спокойствие. Правда, свидетельницей сего чуда оказалась лишь одна суеверная старушка. От гроба Хупер перешел в комнату, где собрались скорбящие родные, а затем вышел на площадку лестницы, чтобы произнести прощальную речь. Она была нежной, трогательной, печальной — и все же столько в ней было надежды на небесное блаженство, что даже самым скорбным звукам его голоса словно вторили нежные переливы арф, поющих под пальцами мертвых. Слушающих охватила дрожь, хотя они лишь смутно улавливали смысл его призыва; он же молился о том, чтобы они, да и он сам, и весь род людской были готовы, как, по его убеждению, была готова эта юная дева, к тому суровому часу, когда сорваны будут покровы с их лиц. Затем явились носильщики, поднатужившись, взялись за гроб, и процессия потянулась следом за покойницей, наводя печаль на всю улицу, а мистер Хупер под своей черной вуалью шел позади всех.

— Почему ты все время оглядываешься? — спросил один из участников процессии свою спутницу.

— Мне почудилось, — ответила та, — что наш пастор идет рука об руку с духом девушки.

— И мне тоже, в ту же минуту, — признался

другой.

А вечером того же дня состоялась свадьба самой красивой пары во всем Милфорде. Несмотря на природную склонность к меланхолии, Хупер в подобных случаях проявлял мирную веселость, глядя на праздничные утехи с понимающей улыбкой. Ликование более бурное он бы отверг. Именно это его качество привлекало людей больше всего. Гости, сошедшиеся на свадьбу, ожидали прибытия пастора с нетерпением, надеясь, что непонятный страх, внушаемый им в течение дня, теперь развеется. Увы, надежда не сбылась. Первым, что бросилось всем в глаза, как только мистер Хупер вошел, была все та же жуткая черная вуаль, которая добавляла траура похоронам, но на свадьбе смотрелась как зловещее предзнаменование. Гостям сразу же показалось, что из-под черного крепа выплыло облако мглы и затмило сияние свечей. Брачующиеся подошли к священнику. Но пальцы невесты, лежавшие в дрожащей ладони жениха, были холодны, а личико мертвенно бледно. За ее спиною зашептались о том, что девушка, похороненная несколькими часами ранее, восстала из гроба, чтобы обвенчаться. Вряд ли бывало другое венчание столь же унылое, как в тот памятный вечер, когда звон колокола

возвестил о совершении брака. По окончании обряда Хупер поднял бокал вина, желая счастья молодым в том духе приятной шутливости, который должен был прояснить лица гостей, как веселые отблески огня, разведенного в камине. Но когда пастор поднес бокал к губам, черная вуаль отразилась в стекле, и, увидев, как это выглядит, он проникся тем же ужасом, который испытывали все окружающие. Он содрогнулся всем телом, губы его побелели, нетронутое вино пролилось на ковер. Хупер бросился вон из дома, во тьму. Ибо Ночь уже накинула на землю свою черную вуаль.

На следующий день по всему Милфорду не судачили ни о чем, кроме черной вуали пастора Хупера. Этот предмет, а также тайна, которую он скрывал, обеспечил тему для всестороннего обсуждения приятелям, встретившимся на улице, и кумушкам, выглядывающим из окон. Трактирщик преподносил эту историю посетителям как главную новость дня. Дети болтали о ней по дороге в школу. Один изобретательный чертенок вздумал закрыть лицо старым черным платком, чтобы напугать однокашников, но при этом и сам перепугался до полусмерти от собственной шалости.

Примечательно, что ни один из хлопотунов и записных нахалов прихода не осмелился прямо спросить у Хупера, зачем он так себя ведет. До сих пор у него не было недостатка в советчиках по малейшему поводу, и обычно он прислушивался к их мнениям. Он вряд ли ошибался в своих суждениях, но обладал настолько острым недоверием к себе самому, что даже самая легкая критика заставляла его видеть в рядовом проступке преступление. Прихожанам эта его простительная слабость была отлично известна. И все же ни единому человеку в округе не пришло в голову сделать пастору дружеское внушение по поводу черной вуали. Всех останавливал страх — его не выражали открыто, но и скрыть полностью не могли, а потому каждый перекладывал ответственность на другого, пока наконец не надумали направить к мистеру Хуперу делегацию духовенства, чтобы поговорили с ним об этой тайне, прежде чем та переросла в скандал.

Однако посольство потерпело сокрушительную неудачу. Священник принял коллег вежливо, по-дружески, но, когда все расселись, он умолк, переложив на плечи посетителей бремя начала тяжелого разговора. Причина визита ясна была и без объяснений. Черная вуаль все еще обви-

вала лоб Хупера и скрывала все черты, кроме его мягких губ. Изредка можно было заметить, как они складывались в слабую меланхолическую улыбку. Однако присутствующие могли бы утверждать, что этот лоскут крепа заслоняет от них сердце несчастного, являя собою символ той устрашающей тайны, что отделила его от людей. Если бы он сбросил вуаль, с ним заговорили бы прямо. Иначе не получалось. Посему они просидели долгое время в смятении душевном, безмолвствуя и пытаясь уклониться от пристального взгляда Хупера, который они ощущали, хотя видеть не могли. В конце концов удрученная делегация удалилась ни с чем и, вернувшись к своим избирателям, объявила, что дело слишком сложное, разобраться в нем мог бы разве что совет представителей многих церквей, а то и всеобщий синод созвать потребуется.

Во всем селении лишь одна особа не поддалась тому жуткому чувству, которое черная вуаль наводила на остальных жителей. Когда церковники вернулись, не добыв никакого объяснения, и не осмелились даже потребовать его, эта особа со всем свойственным ей тихим упорством решила разогнать то темное облако, что сгущалось вокруг мистера Хупера, час от часу становясь все

мрачнее.

Ее звали Элизабет; она была помолвлена с пастором, готовилась вскоре стать его женой и потому считала себя вправе узнать, что скрывает черная вуаль. Как только пастор пришел навестить ее, она приступила к разговору просто и прямо, что облегчило ситуацию для них обоих. Усадив гостя в кресло, она села напротив и пристально рассмотрела пресловутую вуаль, но не увидела ничего такого, что могло бы навеять тот жуткий мрак, который столь сильно пугал толпу; это была всего лишь сложенная вдвое полоска крепа, свисающая со лба на щеки, — она позволяла видеть рот Хупера и слегка колыхалась от его дыхания.

— Нет, — громко сказала она и улыбнулась, — ничего нет ужасного в этом куске крепа, хотя он и скрывает лицо, на которое я всегда смотрю с удовольствием. Давайте же, мой добрый друг, разгоним тучи и вернем солнце на небо. Сперва снимите эту вашу вуаль, а потом поведайте мне, зачем вы ее надели.

Хупер слабо улыбнулся.

— Настанет однажды час, — сказал он, — когда всем нам придется сбросить вуали. Я прошу вас не сердиться, мой милый друг, если я буду носить

этот покров из крепа до того момента.

— Ваши слова также таинственны, — ответствовала юная леди. — Снимите покров хотя бы с них, по меньшей мере.

— Я постараюсь, Элизабет, — сказал он, — насколько это допускает данный мною обет. Знайте же, что эта вуаль есть знак и символ, и я обязан носить ее вечно, на свету и в темноте, в одиночестве и пред лицом толпы, при незнакомцах и при близких друзьях. Ни единому смертному не дозволено увидеть меня без вуали. Эта мрачная завеса должна отделить меня от мира. Даже вы, Элизабет, никогда не заглянете за нее!

— Какое же несчастье так удручило вас, — серьезно спросила девушка, — что вы решили навеки затмить таким способом свой взор?

— Все знают, что это знак траура, — ответил Хупер, — а у меня, как, полагаю, у большинства смертных, есть достаточно причин для скорби, чтобы обозначить их черной вуалью.

— А если мир не поверит, что это есть выражение общей невинной скорби? — не отступала Элизабет. — Вас любят и уважают, но люди не могут не подумать, что вы прячете лицо из-за какого-то тайного греха. Шепчутся уже. Ради святости вашего сана, прошу вас, устраните повод

для скандала!

Щеки ее заалели, когда она намекнула на характер слухов, которые уже широко разошлись по селению. Но обычная мягкость не оставила Хупера. Он даже улыбнулся еще раз — той самой улыбкой, которая всегда казалась светлым бликом, отблеском света, мерцающего из-под вуали.

— Если я испытываю скорбь, это уже достаточная причина, — просто ответил он. — Но если я тем самым скрываю тайный грех, кому из смертных не потребовалось бы сделать то же самое?

И дальше он продолжал с тихим, но непреодолимым упорством сопротивляться ее уговорам. Наконец Элизабет умолкла и задумалась. Возможно, она изыскивала новые способы, чтобы избавить своего суженого от столь мрачной фантазии, каковая, если у нее не имелось иного смысла, могла быть признаком душевного заболевания. Характер у девушки был потверже, чем у Хупера, и все-таки слезы покатились по ее лицу. Но через мгновение новое чувство вытеснило печаль из сердца Элизабет; черный покров притянул ее взгляд, и будто сумерки внезапно окутали девушку: она ощутила наконец ужас, навеваемый вуалью. Она вскочила и, дрожа, приблизилась к пастору.

— А-а, теперь и вас проняло, верно? — удрученно сказал он.

Она не ответила, но прикрыла глаза ладонью и повернулась, чтобы выйти из комнаты. Он бросился к ней и схватил за руку.

— Будьте терпеливы со мною, Элизабет! — отчаянно вскричал он. — Не покидайте меня, хотя эта вуаль и должна остаться между нами, пока мы пребываем в земной юдоли. Будьте со мною, и там, в иной жизни, не будет никакого покрова на лице моем, никакой тьмы между нашими душами! Эта вуаль — лишь для бренного мира, не для вечности! О! Вы не знаете, как я одинок и как мне страшно пребывать в одиночестве под моей черной вуалью. Не покидайте меня навсегда в этой тьме отверженности!

— Поднимите вуаль хотя бы единожды и посмотрите мне в лицо, — попросила она.

— Ни за что! Это невозможно! — ответил Хупер.

— Тогда прощайте! — сказала Элизабет.

Она высвободила свою руку из его пальцев и медленно пошла прочь; у двери она остановилась, чтобы еще раз взглянуть на него, и содрогнулась, почувствовав, что почти проникла в тайну черной вуали. Хупер страдал; но даже и

в тот момент он улыбнулся, подумав, что лишь вещественная преграда отделила его от счастья, хотя те ужасы, которые она скрывала, погрузили бы во тьму и самую нежную любовь.

С тех пор никто больше не пытался снять с мистера Хупера вуаль или напрямую добиться правды о той тайне, которую она, по общему мнению, скрывала. Люди, претендовавшие на то, что стоят выше простонародных предрассудков, считали вуаль эксцентрической причудой, какие зачастую позволяют себе в целом разумные, рассудительные личности, что делает их лишь внешне похожими на безумцев. Но в глазах толпы Хупер необратимо сделался пугалом, букой. Ему не удавалось пройти спокойно по улице, ибо не мог он не замечать, как добрые и робкие сворачивают в сторону, чтобы не столкнуться с ним, а другие выхваляются тем, как смело пошли ему навстречу. Подобные дерзкие выходки вынудили пастора отказаться от привычки прогуливаться на закате дня по кладбищу. Стоило ему только в задумчивости остановиться у ворот, как тотчас из-за могильных камней высовывались головы зевак, чтобы поглазеть на его черную вуаль. Они же пустили в оборот сказочку о том, что Хупера прогнали с кладбища взгляды покойников. Глубо-

чайшее горе причиняли его доброму сердцу дети, которые бросали самые веселые свои забавы и разбегались, лишь завидев издали его приближение. Инстинктивный испуг малышей сильнее, чем что-либо другое, заставлял его чувствовать, какой сверхъестественной жутью пропитана черная ткань его вуали. Надо заметить, что пастор и сам испытывал великое отвращение к своей вуали. Прихожане это хорошо знали: он старался не проходить мимо зеркал и даже остерегался пить из водоемов, на гладкой поверхности которых могла отразиться его внешность, — ибо всякий раз это потрясало его до глубины души. Наблюдения такого рода придавали правдоподобие домыслам, что совесть Хупера терзает память о некоем совершенном им преступлении, слишком ужасном, чтобы признаться в нем прямо или скрыть его полностью, и потому несчастный ограничивается этим темным намеком. Так получалось, что черная вуаль набрасывала тень на белый день, не позволяя различить, где горе, а где грех, и завеса подозрений окутывала бедного священника, не пропуская ни единого лучика любви или сочувствия. Поговаривали, будто некий призрак и враг рода человеческого заключили с ним союз. Терпя муки душевные и

страдая от неприязни окружающих, он постоянно жил в потемках, блуждая на ощупь в лабиринтах собственной души; переплет темных нитей одевал для него в траур весь мир. Даже своенравный ветер, как утверждали люди, соблюдал мрачную тайну и не осмеливался сорвать вуаль. Но добрый пастор Хупер по-прежнему печально улыбался, видя вокруг себя бледные лица суетной толпы.

Впрочем, нет худа без добра! Черная вуаль напрочь испортила жизнь Хупера, но она же пошла на пользу его священническому служению. Благодаря этому таинственному символу — ибо иной очевидной причины не было — он обрел невероятную власть над теми душами, которые терзались своими грехами. Те, кого ему удавалось наставить на путь истинный, глядя на него, всегда испытывали то же смятение, что вызывали у них собственные проступки. Они утверждали, конечно в иносказательном смысле, что, прежде чем он привел их к свету божественному, они находились вместе с ним под черной вуалью. Наводимый ею мрак и в самом деле позволял пастырю сочувствовать всем темным страстям. Умирающие грешники взывали к мистеру Хуперу и не желали испускать последний вздох, пока его не будет рядом. И все же каждого из них

пробирала дрожь, когда священник склонялся, чтобы прошептать слова утешения; им страшно было видеть скрытое тканью лицо так близко от своего. Таков был ужас, веявший от черной вуали даже в момент, когда Смерть срывает все покровы! Порою люди приходили издалека, чтобы побывать в церкви на его службе с единственным праздным желанием поглазеть на его фигуру, раз уж на лицо смотреть запрещено. Но многие уходили домой преображенными! В те дни, когда краем нашим управлял губернатор Белчер, Хупера как-то назначили провести службу на церемонии избрания. Он предстал со своею вуалью перед высоким начальством, советниками и представителями общин, и произвел на них столь глубокое впечатление, что все законодательные акты того года отличались благочестием и суровостью, напоминающими о временах наших предков.

В таких трудах Хупер провел долгую жизнь. Все его поведение, все поступки были безупречны, но облако темных подозрений вокруг него так и не развеялось; он был добрым и любящим, но его не любили и смутно боялись. Он существовал осторонь от людей; здоровые и счастливые его чурались, но те, кого настигала смертельная тоска,

сразу призывали его на помощь. Год за годом уходил в небытие, припорошив белым снегом голову пастора над траурной полосой вуали, и малопомалу он прославился по всем церквям Новой Англии. Его звали теперь отец Хупер. Почти все те прихожане, которые были взрослыми, когда он прибыл в Милфорд, один за другим отправились на покой во главе похоронных процессий; на его службы в церковь приходило много людей, но на кладбище за церковью их было гораздо больше. Долгие дни трудов миновали, настал поздний вечер; пришел час отдохнуть и отцу Хуперу.

Свечи в комнате, где умирал старый священник, были прикрыты экраном, и в их неярком свете он мог различить несколько лиц. Родственников у него уже не осталось. Но здесь был врач — серьезный, как приличествовало в данных обстоятельствах, однако невозмутимый, — который знал, что не сможет спасти пациента, и стремился лишь облегчить его боль. Здесь же были и дьяконы, и другие клирики выдающегося благочестия. Присутствовал и преподобный мистер Кларк, из соседнего Уэстбери, молодой и рьяный богослов, который примчался верхом, чтобы успеть помолиться у ложа умирающего собрата. И наконец, здесь была сиделка. Не на-

емная служительница смерти, нет; но та, чья тихая любовь втайне сберегалась все эти годы в одиночестве, неподвластная холодному веянию старости, и не угасла бы даже в ее смертный час. Не кто иная, как Элизабет! В этом окружении покоилась на подушке седая голова доброго отца Хупера, неизменно обвитая черной вуалью, закрывающей лицо. Он дышал слабо, с трудом, и тонкая ткань едва колыхалась. Целую жизнь этот лоскут крепа заслонял ему весь мир; он отделил его от радостей дружбы и от любви женщины, он заключал его в печальнейшей из тюрем — в его собственной душе; и в этот час он все еще скрывал его лицо, отчего затемненная комната казалась еще темнее, и даже сияние вечности не пробилось бы сквозь эту завесу.

В предыдущие дни сознание старика было затуманено, он не мог отличить прошлое от настоящего, все смешалось в его мыслях, а порой они уносились вперед, к неизвестности, ожидающей его по ту сторону жизни. Случались и приступы лихорадочного бреда, когда он метался из стороны в сторону, растрачивая те немногие силы, что еще у него оставались. И все же ни судорожные припадки, ни самые необузданные фантомы, создаваемые его разумом, уже не спо-

собным удержать ни одну трезвую мысль, не заставили его отказаться от упорного желания сохранить вуаль на лице. Но на случай, если бы потрясенная душа его оплошала, рядом находилась преданная женщина, которая, будь в этом нужда, зажмурившись, вновь прикрыла бы старческое лицо, виденное ею в последний раз в расцвете молодости. Наконец одолеваемый смертью старик затих, исчерпав все силы своего тела и духа. Пульс его был едва уловим, дыхание становилось все слабее, и долгие, глубокие, неровные вздохи предвещали скорый отлет его души.

Священник из Уэстбери приблизился к его постели.

— Почтенный отец Хупер, — сказал он, — миг вашего освобождения близок. Готовы ли вы к снятию завесы, что отделяет скоротечное время от вечности?

Отец Хупер ответил сперва простым движением головы; затем, осознав, по-видимому, что этот слабый кивок могут понять неправильно, с трудом, еле слышно проговорил:

— Да. Усталая душа моя терпеливо ждет, когда завеса будет снята.

— Так пристало ли, — продолжил преподобный мистер Кларк, — человеку, столь преданному

молитве, подавшему пастве безупречный пример, человеку святому и в деяниях, и в помыслах, насколько могут судить смертные… пристало ли одному из отцов церкви оставить после себя тень, которая может зачернить жизнь столь чистую? Молю вас, достопочтенный брат мой, не допустите подобной ошибки! Доставьте нам радость, дайте увидеть ваш облик, когда вы воспарите к ждущей вас награде. Прежде чем вечность раскроется перед вами, позвольте мне снять черную вуаль с вашего лица!

С этими словами преподобный Кларк нагнулся, чтобы обнажить тайну, скрывавшуюся долгие годы. Но отец Хупер внезапно обрел силы, что потрясло всех присутствующих: выпростав обе руки из-под одеяла, он крепко ухватился за свою вуаль, полный решимости сопротивляться, если пастор из Уэстбери вздумает бороться с умирающим.

— Ни за что! — вскричал старый священник. — На земле — никогда!

— Скрытный старик! — воскликнул испуганный пастор. — С каким же ужасным преступлением на душе отправляешься ты на высший суд?

Дыхание отца Хупера участилось; воздух клокотал у него в горле; но, протянув вперед руки могучим усилием, он сумел удержать уходящую

жизнь на те несколько минут, что он хотел говорить. Он даже приподнялся в постели и сел; он дрожал, ощущая прикосновение смерти, а черная вуаль, особо жуткая в этот последний миг, тяжело легла ему на лицо, будто пропитанная всеми ужасами прожитой жизни. И все же слабая, печальная улыбка, столь часто мелькавшая из-под складок, снова появилась на губах отца Хупера, как лучик света во мгле.

— Почему вы тревожитесь за меня одного? — вскричал он, обведя взглядом из-под вуали круг бледных лиц. — Тревожьтесь также и за каждого из вас. Неужто мужчины избегали меня, и женщины не выказывали жалости, и дети разбегались с воплями только из-за этой черной вуали? Что, кроме тайны, смутно обозначенной ею, могло сделать этот кусок ткани столь ужасным? Если в сем мире друг открывает своему другу сокровеннейшие помыслы своего сердца, если любящий мужчина до конца доверяет любимой женщине; если люди правы, считая возможным скрывать от взора Создателя свои грехи, накапливая их отвратительными грудами в глубинах души, тогда назовите меня чудовищем, во имя символа, в тени коего я жил, и умрите! Я озираюсь сейчас вокруг себя. И что же? На каждом, каждом лице

вижу я черную вуаль!

Слушавшие его отшатнулись друг от друга в испуге, а отец Хупер упал на подушки уже мертвым, но с прежней улыбкой на устах. Снять вуаль никто не решился; с нею уложили его в гроб и так, под вуалью, снесли на кладбище.

Много раз прорастали и увядали травы на его могиле, надгробный камень оброс мхом, и лицо доброго пастыря Хупера обратилось в прах; но и доселе становится страшно при мысли, что истлело оно под Черной Вуалью!

Перевод Алины Немировой



Генри Джеймс



Генри Джеймс (1843–1916) — признанный классик мировой литературы. Немногие из современников смогли оценить удивительный дар по достоинству — статус классика ему присвоили потомки. Он был настоящим мастером психологической прозы, виртуозным стилистом и смелым экспериментатором, разрабатывал новые повествовательные приемы, вполне органично усвоенные затем изящной словесностью XX века. Многие (и справедливо!) считают писателя предтечей модернизма. За полвека литературного творчества он написал два десятка романов, больше сотни рассказов и повестей, полтора десятка пьес. И это не считая массы статей и эссе, путевых заметок, авторских предисловий, писем. «Генеральная» тема творчества — культурный диссонанс Старого и Нового Света. Он исследовал его с поразительной и изощренной настойчивостью: в произведениях Джеймса непосредственные и наивные американцы раз за разом сталкиваются с коварством и интеллектуальным превосходством Европы и неизменно терпят поражение. Разумеется, в этом было много личного: американец по рождению, он ощущал себя чужеродным в «грубой» и практичной Америке и потому выбрал Старый Свет, где прожил

большую часть жизни и написал большую часть своих произведений.

Генри Джеймс родился в Нью-Йорке, в семье религиозного философа Генри Джеймса-старшего. Тот унаследовал значительное состояние, а потому сумел дать детям превосходное образование (кстати, старший брат писателя — знаменитый психолог и философ Уильям Джеймс). Генри Джеймс-младший учился в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Женеве, окончил Гарвардский университет. В последнем он изучал право, но пришел к решению не связывать себя этой профессией юриста, а заняться литературой. Писать рассказы и печататься он начал еще в студенческие годы, а первый роман («Родерик Хадсон») опубликовал в 1876 году. Тогда же к нему пришло решение покинуть США и обосноваться в Англии. Более двадцати лет прожил в Лондоне, в 1898 году приобрел загородный дом — Лэм-Хаус в городке Рай в графстве Суссекс. Здесь были написаны его поздние произведения, в том числе знаменитая повесть «Поворот винта» (1898), которая считается одним из шедевров литературы о сверхъестественном. Разумеется, Г.Ф. Лавкрафт не мог пройти мимо этого текста и с восторгом отзывался о нем в своем эссе «Ужас и сверхъесте-

ственное в литературе», числил писателя среди своих учителей.

А. Б. Танасейчук

Поворот винта

Мы слушали рассказ затаив дыхание, однако кроме тривиального замечания, что он страшен, как и положено странной истории, рассказываемой у камина в старом доме в канун Рождества, я не помню, чтобы кто-то его комментировал, пока не было сказано, что это пока единственный случай, когда видение явилось ребенку. Могу уточнить, что случай имел место в таком же старом доме, как тот, где мы собрались; призрак, ужасный на вид, явился маленькому мальчику, который спал в комнате рядом с матерью и, в диком испуге, разбудил ее; прежде чем ей удалось успокоить сына и уговорить вернуться в постель, она сама была поражена тем же видением, которое его потрясло.

Именно это сообщение побудило Дугласа — не сразу, но позже вечером — кое-что добавить, и это привело к интересным последствиям, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Кто-то начал рассказывать не слишком складную историю, и я видел, что мой друг не слушает. Из этого я сделал вывод, что он сам собирается поведать нечто, и нам следует лишь подождать. Полного рассказа

мы, правда, дождались лишь спустя два дня; но в тот вечер, когда мы уже собрались расходиться, он высказал то, что было у него на уме.

— Касательно явления призрака, по описанию миссис Гриффин, или как там его называть, маленькому мальчику я вполне согласен, что это случай специфический. Но мне известно, что это не первая история в том же очаровательном духе, с участием ребенка. Если наличие дитяти усиливает эффект, так сказать, на оборот винта, что скажете насчет двоих детей?

— Конечно же, — воскликнул кто-то, — мы скажем, что это взвинчивает нас на два оборота! И мы хотим услышать про них.

Как сейчас вижу Дугласа, стоящего перед камином, к которому он повернулся спиной, держа руки в карманах и глядя сверху вниз на собеседника.

— Никто, кроме меня, до сих пор даже не слышал о них. История слишком жуткая.

Естественно, тут же раздались голоса, утверждающие, что подобные истории чрезвычайно ценны, и наш друг, умело подготовив таким образом свой триумф, обвел взглядом всю компанию и добавил:

— Нечто из ряда вон выходящее. Все прочее,

что мне известно, до этого не дотягивает.

Помню, я спросил: «Потому что страшно?» Он, кажется, ответил, что там все не так просто, но он затрудняется дать точную характеристику. Прикрыв глаза ладонью, он страдальчески поморщился.

— Потому что ужасное — ужасает!

— О, как изящно! — воскликнула одна из женщин.

Дуглас не обратил на нее внимания; он смотрел на меня так, будто видел на моем месте предмет своего рассказа.

— Вообще-то там сверхъестественные уродство, жуть и боль.

— Отлично, — сказал я, — теперь садись и начинай.

Он повернулся к огню, пнул ногой поленце, уставился на него и потом снова обернулся к нам.

— Не могу начать. Мне придется послать за кое-чем в город.

Раздался единодушный стон публики, посыпались упреки; выждав с озабоченным видом, Дуглас объяснил:

— Эта история существует в письменном виде. Лежит в запертом ящике, ее не доставали много

лет. Я могу написать своему камердинеру и переслать ключ; он пришлет сюда пакет, как только найдет рукопись.

Похоже, он предложил это специально для меня — чуть ли не взывал к моей срочной помощи. Он, понимаете ли, разбил толстый слой льда, наросший за много зим; у него были причины так долго хранить молчание. Других отсрочка огорчила, но меня его щепетильность очаровала. Я уговорил его отправить письмо с первым же почтальоном и согласовать с нами время слушания; затем я спросил, было ли это переживание его личным. На это он ответил сразу:

— О нет, слава богу, нет!

— А запись? Это ты зафиксировал историю?

— Нет, только впечатление. Я зафиксировал его здесь, — он похлопал себя по сердцу. — И не потерял.

— Значит, эта рукопись?..

— Старая бумага, выцветшие чернила и прекраснейший почерк. — Дуглас снова повернулся к огню. — Женский. Она умерла двадцать лет назад. Перед смертью прислала мне эти листки.

Теперь все слушали внимательно, и, конечно же, нашелся желающий подшутить или хотя бы сразу сделать выводы. Но, хотя Дуглас воспринял

эти намеки без улыбки, он и раздражения тоже не выказал.

— Это была прелестная особа, но на десять лет старше меня. Она была гувернанткой моей сестры, — сказал он тихо. — Более приятной женщины на этом посту я не встречал; да она была достойна любого другого. Давно это было, а тот эпизод — еще гораздо раньше. Я учился в Тринити-колледже и познакомился с нею дома, когда приехал летом после второго курса. Я тогда долго пробыл — лето выдалось чудесное; и в ее свободные часы мы иногда прогуливались по саду и беседовали, и я дивился тому, какая она умная и милая. О да, не ухмыляйтесь: она мне очень нравилась, и мне до сего дня приятно думать, что и я ей нравился тоже. Иначе она ничего бы не рассказала мне. До того она никому не рассказывала. И не в том дело, что она так утверждала, а в том, что я ей верил. Я не сомневался, все было очевидно. О таких вещах легко судить, когда слышишь.

— И все потому, что история была столь страшной?

— О таких вещах легко судить, — повторил он, не сводя с меня глаз. — Тебе будет легко.

— Понимаю, — я тоже смотрел на него в упор. —

Она была влюблена.

Тут он впервые рассмеялся.

— Ты и впрямь сообразителен. Да, она была влюблена. То есть, раньше была. Это раскрылось… Не могло не раскрыться, когда она рассказала. Я понял, и она увидела, что я понял; но мы об этом не заговорили. Я помню, когда и где это произошло — в уголке лужайки, в тени больших буков, долгим, жарким летним днем. Неподходящая декорация для страшных историй, но… Ох!

Он оставил наконец камин в покое и погрузился в свое кресло.

— Ты получишь пакет утром в четверг? — спросил я.

— Думаю, не раньше второго срока доставки почты.

— Ну хорошо. Значит, после обеда…

— Вы все хотите встретиться со мной здесь? — Он снова оглядел собравшихся. — Никто не уедет? — В его тоне сквозила натуральная надежда.

— Все остаются!

— Я! И я тоже! — восклицали леди, которые только что назначали время своего отъезда. Однако миссис Гриффин заявила, что нуждается в некоторых разъяснениях.

— Кого же она любила?

Я позволил себе ответить:

— Из истории это станет ясно.

— О, как не терпится ее услышать!

— Из истории это ясно не станет, — поправил Дуглас, — во всяком случае не в буквальном, вульгарном смысле.

— Очень жаль. Мне без этих подробностей бывает трудно понять.

— Неужели вы не скажете, Дуглас? — спросил кто-то еще.

— Да… Завтра, — он снова вскочил на ноги. — Сейчас я должен лечь спать. Спокойной ночи!

Быстро схватив подсвечник, он вышел, оставив нас в некотором недоумении. С нашего конца большого, обшитого темным деревом зала было слышно, как он поднимается по лестнице; и тогда миссис Гриффин произнесла:

— Ну, если я и не знаю, в кого она была влюблена, в кого он — понятно.

— Она была на десять лет старше, — напомнил ее муж.

— Raison de plus[10] — в таком возрасте! Но так долго скрывать — это красиво!

---

[10] Примечания: 10
Тем более (франц.).

— Сорок лет! — вставил Гриффин.

— И наконец — эта откровенность!

— Эта откровенность, — возразил я, — станет огромным событием вечером в четверг.

Все согласились со мной и, в предвкушении, мы потеряли интерес ко всему прочему. Предыдущая история была неполной, рассчитанной на продолжение, но на сегодня все уже было рассказано; и мы, «рукопожавшись», как выразился кто-то, и снабдившись свечами, разошлись по спальням.

На следующий день я узнал, что письмо со вложенным ключом отправилось с утренней почтой в лондонскую квартиру Дугласа; вскоре об этом стало известно всем, но, несмотря на это — или, пожалуй, именно из-за этого, — мы его не тормошили, пока не отобедали, и настал тот вечерний час, который лучше всего подходил для тех эмоций, которые мы надеялись испытать. Тут он сделался общительным, всем на радость, и даже объяснил почему. Мы услышали это от него в том же уголке зала перед камином, где накануне высказывали наши тихие восторги.

Выяснилось, что для лучшего понимания текста, который он обещал прочесть, необходим краткий пролог. (Здесь позвольте мне четко сказать, чтобы больше к этому вопросу не воз-

вращаться, что ниже я привожу точную копию текста, снятую мною гораздо позже. Бедный Дуглас, когда почувствовал приближение своего смертного часа, вручил мне ту самую рукопись, которую получил тогда на третий день, а на четвертый, на том же месте, начал читать нашему притихшему кружку, доставив нам неизмеримое впечатление.)

Леди, которые говорили, что не уедут, все-таки, слава небесам, уехали: ведь их ждали в других местах; уезжая, они страдали, по их словам, от неутоленного любопытства, которое Дуглас уже успел в нас разжечь. Но в результате оставшаяся у очага публика лишь стала отборной, более сплоченной, и всех нас объединили острые переживания.

Дуглас сразу же зацепил нас, заявив, что письменное повествование начиналось не с того момента, когда история началась. Поэтому нам следовало узнать, что его давняя приятельница, будучи младшей из нескольких дочерей бедного деревенского викария, в возрасте двадцати лет, готовая приступить к службе в классной комнате, прибыла в Лондон, трепеща в ожидании личной встречи с человеком, с которым уже кратко общалась письменно по поводу данного им в газете

объявления о найме. Он обитал на Харли-стрит [11]; дом впечатлил девушку своими размерами и солидностью, а когда она предстала перед возможным работодателем, ожидая его решения, он оказался настоящим джентльменом, холостяком в самом расцвете лет, — такой фигуры негде было увидеть трепещущей, встревоженной девушке из гэмпширского викарата, разве что во сне или в старинном романе. Вы легко можете представить его себе; этот тип, к счастью, не вымирает. Он был красив, самоуверен, и любезен, и небрежен, и весел, и добр. Он неизбежно должен был потрясти девушку своей галантностью и великолепием, но больше всего ее увлекло то, что наем на службу он оформил в виде просьбы об одолжении, об услуге, которую он принял бы с благодарностью. На этой основе окрепло и мужество, впоследствии проявленное ею. Она осознавала, что джентльмен богат и опасно экстравагантен, но, видя его в

[11] Примечания: 11

Харли-стрит (Harley Street) — улица в Лондоне, названная по имени аристократа Эдварда Харли, владевшего этим участком города до 1715 г. В XIX веке получила известность благодаря множеству обосновавшихся на ней специалистов различных областей медицины. Часто упоминается в детективной литературе. Однако наплыв медиков на Харли-стрит начался лишь во второй половине века, около 1860 г., а до того там проживали преимущественно богатые господа, в том числе многие знаменитые политики и ученые, так что наниматель нашей учительницы — несомненно весьма высокопоставленная особа.

ореоле модной одежды, красоты, дорогостоящих привычек и обворожительных манер, не стала задумываться. У него был собственный особняк в городе, набитый сувенирами путешествий и трофеями охоты; но он хотел, чтобы она немедленно отправилась в его загородный дом, старинную фамильную усадьбу в Эссексе.

Выяснилось, что недавно этот господин стал опекуном маленьких племянника и племянницы, после смерти их родителей в Индии, — детей младшего брата, военного, которого он потерял два года назад. Так странно сложились обстоятельства: для него, неженатого, не имеющего ни нужного опыта, ни капли терпения, эти дети стали тяжелым бременем. Много было хлопот, и он, несомненно, допустил ряд ошибок, но ему ужасно жаль бедных птенчиков и он сделал все, что смог; в частности, отправил их в тот дом, ведь им, конечно же, нужен свежий воздух, и обеспечил их, с самого начала, наилучшим уходом, расставшись ради этого с собственными слугами; сам он при первой же возможности приезжает навестить их и узнать, как идут дела.

Большое неудобство заключалось в том, что у детей практически не было других родственников, а у дядюшки дела отнимали все время. Он

записал на их имя поместье Блай, в здоровой и безопасной местности, и поставил во главе их маленького хозяйства превосходную женщину, бывшую горничную его матери, миссис Гроуз, которая непременно его гостье понравится. Она теперь назначена экономкой, но ее права не простираются выше первого этажа[12]; она только временно присматривает за девочкой, к которой, по счастью, не имея собственных детей, душевно привязана. В доме много прислуги, но, разумеется, юной леди в чине гувернантки будет принадлежать верховная власть. Во время каникул ей нужно будет также присматривать за мальчиком, который вернется из школы, — он, верно, маловат для учения, но что еще можно было придумать? Каникулы скоро начнутся, и он

---

[12] Примечания: 12

Место действия новеллы — классическая английская усадьба со всеми характерными элементами: двухэтажный особняк с башнями «под старину», намекающими на древность рода владельцев, с лужайкой и террасой, на которую выходят окна нижних, парадных комнат; спальни на втором этаже, обширный парк, имитирующий «дикую природу». Автор подчеркивает социальную дистанцию между героиней и ее учениками, упоминая скромное жилище викария в отдаленном по тем временам графстве Гэмпшир на юго-востоке Англии (около 130 км от столицы), на побережье Ла-Манша, в сравнении с фамильной усадьбой в Эссексе — благоустроенном графстве, которое в наши дни уже граничит на юго-западе с Большим Лондоном. (Еще один контраст!) Уже в 1856 г. территорию Эссекса соединила с Лондоном железная дорога. Поскольку нашей героине пришлось трястись в почтовой карете, время действия рассказа можно отнести к 1840–50 гг.

Для богатых усадеб того времени требовалось большое количество обслуживающего персонала, которым руководила экономка, согласно викторианской иерархии занимавшая промежуточную позицию между прислугой и господами. Но в ее подчинении находились только служебные помещения (кухня и пр.) на первом этаже — на втором этаже, в личных покоях господ, ее власть кончалась.

приедет со дня на день. Поначалу обоими детьми занималась молодая леди, весьма респектабельная особа, она справлялась с ними отлично, но, увы, мы ее потеряли. Ее смерть была весьма некстати, и у него не осталось иного выбора, как отправить малыша Майлса в школу. С тех пор миссис Гроуз делала для Флоры все, что в ее силах, касательно манер и прочего; еще в доме имелись кухарка, горничные, молочница, старый пони, старый конюх и старый садовник, все вполне респектабельные.

Когда Дуглас дошел до этого момента, кто-то спросил:

— А отчего умерла предыдущая гувернантка, при всей ее респектабельности?

— Это будет объяснено далее. Я не хочу забегать вперед, — сразу ответил наш друг.

— Простите, мне показалось, вы именно это и делаете.

— На месте новой кандидатки, — вставил я, — я бы захотел узнать, не связана ли служба там…

— С опасностью для жизни? — договорил за меня Дуглас. — Она захотела — и узнала. Завтра вы услышите, что она узнала. В тот момент ей, конечно, стало слегка неуютно. Она была молодая, неопытная, нервная, а картину ей нарисовали

сложную: серьезные обязанности, узкий круг общения и полное одиночество. Она заколебалась и попросила пару дней, чтобы все обдумать и посоветоваться. Но предложенное жалованье основательно превосходило ее скромные мерки, и при второй встрече она, осознав все сложности, согласилась.

Тут Дуглас сделал паузу, и я решил воспользоваться этим, ради интереса компании, чтобы высказать догадку:

— Мораль сей истории, конечно, такова, что великолепный молодой господин соблазнил девушку, и она поддалась.

Дуглас встал и, как вчера вечером, подошел к огню, подтолкнул ногой поленце и постоял с минуту спиною к нам.

— Она виделась с ним лишь дважды.

— Да, но в этом-то и красота ее чувства.

К некоторому моему удивлению, Дуглас вдруг обернулся ко мне.

— В этом и была красота. Приходили и другие кандидатки, которые не поддались. Джентльмен честно рассказал ей о своем затруднении — для нескольких соискательниц условия оказались неприемлемыми. Они попросту пугались. Картина выглядела скучной, странной… и особенно

отпугивало главное условие.

— Какое же?

— Гувернантка не должна была беспокоить нанимателя — никогда и ничем: ни обращаться к нему с вопросами, ни жаловаться, ни писать о чем-либо; все вопросы решать самостоятельно, получать деньги от его поверенного, заниматься делом и оставить его в покое. Она пообещала исполнить это условие и потом рассказала мне, что он, избавившись от бремени, обрадованный, взял ее за руку, благодаря за самоотверженность, и на мгновение она почувствовала себя вознагражденной.

— Неужели то была вся ее награда? — спросила одна из дам.

— Они больше не виделись.

— О! — сказала леди; и это был единственный толковый комментарий к услышанному, потому что наш друг немедленно покинул компанию, и только следующим вечером, усевшись в самое удобное кресло в уголке у камина, он раскрыл выцветшую красную обложку тонкого старомодного альбома с золотым обрезом. Вообще-то чтение заняло несколько вечеров, но именно в первый та же леди снова спросила:

— Как вы это назвали?

— Никак.

— О, а я могу назвать! — вставил я. Но Дуглас, не обратив на меня внимания, начал читать, четким выговором как бы вторя на слух красоте авторского почерка.

I

Первые дни запомнились мне как череда правильных и ошибочных порывов, взлетов и падений, будто на качелях. После того, как я пошла навстречу просьбе нанимателя, я провела в городе пару очень нехороших дней; меня снова одолевали сомнения, я чувствовала, что совершила ошибку. В таком состоянии духа я оставалась на протяжении долгих часов тряски и качки в почтовой карете, которая доставила меня до остановки, куда обещали выслать за мной экипаж из поместья. И я действительно нашла, ближе к вечеру июньского дня, удобную коляску, дожидавшуюся меня. Поездка в этот час прекрасного дня по местности, украшенной всеми прелестями лета, словно дружески приветствующей меня, возобновила запас бодрости в моей душе, и, когда мы въехали на усадебную аллею, новое впечатление послужило мне мерилом того, насколько запас этот успел иссякнуть. Думаю, я

ожидала или даже опасалась увидеть нечто столь меланхолическое, что открывшаяся мне картина оказалась приятной неожиданностью.

Я помню, как меня порадовал широкий, светлый фасад дома, его раскрытые окна со свежими занавесками и служанки, глядящие из них; помню газон с яркими цветами, и хруст гравия под колесами, и сомкнутые кроны деревьев, над которыми кружили с карканьем грачи на фоне золотого неба. От пейзажа веяло величием, коего лишен был мой скудный родной дом. И тотчас в дверях появилась учтивая особа, держащая за руку маленькую девочку, и приветствовала меня почтительным книксеном, словно хозяйку дома или знатную гостью. На Харли-стрит мне было дано гораздо более ограниченное представление об усадьбе, и я восприняла это, помнится, как дополнительный штрих к портрету истинного джентльмена: мой работодатель подумал о том, как я обрадуюсь, получив больше, чем он обещал.

Настроение мое не падало целые сутки, ибо знакомство с ученицей в первые же часы после приезда наполнило меня ликованием. Девочка, стоявшая рядом с миссис Гроуз, оказалась таким очаровательным созданием, что я сразу же поня-

ла, как мне повезло. Красивее ребенка мне видеть не приходилось, и я позже удивлялась, почему опекун не рассказал о ней больше. Спала я в ту ночь мало — возбуждение было слишком велико, и это также меня удивило; сюрпризы усилили ощущение щедрости, с которой меня тут принимали. Просторная, импозантная комната, одна из лучших в доме, большая парадная кровать (почти королевское ложе, на мой взгляд), пышные фасонные драпировки, высокие зеркала, в которых я впервые смогла увидеть себя с головы до ног, — все это, как и многое другое, придавало моей простой службе ореол чрезвычайности.

В частности, с первого же момента меня смущала необходимость завязать с миссис Гроуз определенные отношения; об этом я, признаться, думала довольно уныло в дороге, сидя в карете. И единственным, что могло бы заставить меня насторожиться снова в те первые часы, было поведение экономки: она была слишком довольна моим приездом, эта дородная, простая, обыкновенная, опрятная и здоровая женщина. Не прошло и получаса, как я убедилась, что она, несомненно, так довольна, что старается не выказать этого слишком откровенно. Уже тогда я немного удивилась, зачем бы ей скрывать свою радость, и,

если бы пустилась в размышления и подозрения, могла бы почувствовать себя неловко.

Но мне отрадно было думать, что присутствие такого серафического создания, как моя светлая девочка, исключает любые неловкости и сомнения; именно образ ее ангельской красоты, вероятно, и был главной причиной беспокойства, заставившего меня несколько раз вставать до рассвета и бродить по комнате, пытаясь освоиться с ситуацией и представить, что будет дальше; я следила из раскрытого окна за слабыми проблесками летней зари, разглядывала доступные взгляду части дома и прислушивалась в тающем сумраке к щебету первых проснувшихся птиц; один или два раза мне почудились звуки не природные, не вне дома, а внутри. В какой-то момент я почти с уверенностью различила отдаленный и слабый детский плач; потом снова, и я уже сознательно напрягала слух, когда по коридору мимо моей двери прошелестели легкие шаги. Но все это могло быть и игрой воображения, так неотчетливо, что не стоило задумываться, и лишь в свете — или, скорее, во мгле — других, последующих событий эти детали теперь вспомнились мне.

Наблюдать за Флорой, учить, «формировать» ее значило, без сомнения, закладывать основы

счастливой и полезной жизни. Мы договорились с правительницей первого этажа, что впредь девочка будет при мне и ночью, и ее белую кроватку уже перенесли в мою комнату. Я намеревалась взять на себя всю заботу о ней, и в ту первую ночь Флора в последний раз осталась с миссис Гроуз потому, что мы сочли нужным дать ей время привыкнуть ко мне и побороть естественную робость. Робость была ей свойственна, однако это дитя, самым удивительным образом, храбро и откровенно признавало свой недостаток, без малейшего смущения, с глубокой и тихой безмятежностью, и в самом деле напоминая Рафаэлевых святых младенцев. Об этом ее свойстве девочке можно было говорить, напоминать — и я уверилась, что вскоре мы поладим. Миссис Гроуз понравилась мне отчасти потому, что я видела, с каким удовольствием она замечает знаки моего восхищения и любования, когда мы садились ужинать при четырех высоких свечах, а между ними весело поглядывала на нас моя ученица, на высоком стульчике и в фартучке, запивая хлеб молоком. Были, разумеется, темы, которые мы могли выразить при Флоре не словами, а только выразительными и восхищенными взглядами либо косвенными, туманными намеками. Мы не

должны льстить детям.

— А ваш мальчик? Он на нее похож? Он тоже такой замечательный?

— О, мисс, очень замечательный. Если вам эта по душе… — она застыла с тарелкой в руке и бросила сияющий взгляд на малышку, которая посматривала то на нее, то на меня, и ее небесно-голубые спокойные глазки не выражали ничего, что могло бы смутить нас.

— Итак — если я?..

— То вас точно восхитит юный джентльмен!

— Знаете, я думаю, что для того сюда и приехала — чтобы восхищаться. Боюсь только, — вдруг почему-то добавила я, — что я вообще легко увлекаюсь. Уж как я восхитилась в Лондоне!

— На Харли-стрит? — Я до сих пор помню выражение широкого лица Гроуз при этих словах.

— На Харли-стрит!

— Ну, мисс, вы не первая — да и последней не будете.

— О, я не претендую на звание единственной, — мне удалось рассмеяться. — Так или иначе, мой второй ученик, насколько я поняла, приедет завтра?

— Нет, мисс, в пятницу. Он приедет, как и вы, почтовой каретой, с сопровождающим, а на оста-

новке его встретит наш экипаж.

Я тут же высказалась в том духе, что будет и правильно, и приятно, и по-дружески, если мы с его сестричкой встретим мальчика на остановке общественного транспорта; эта идея так восхитила Гроуз, что я стала относиться к ее манере речи как к утешительному обещанию — искреннему, слава небесам! — что мы по всем вопросам будем с нею едины. О, она была рада моему приезду!

Мое состояние на следующий день нельзя было, по-моему, считать прямой реакцией на чрезмерные восторги накануне; скорее всего, то была некоторая озабоченность, вызванная лучшим пониманием обстоятельств новой жизни по мере того, как я осознавала их, изучала, рассматривала. Они имели, скажем так, объем и массу, к которым я не была готова и, поставленная перед столь сложной задачей, немножко испугалась, но также и немножко загордилась. Вести уроки в таком возбуждении было немыслимо, и я решила, что прежде всего мне следует всеми доступными способами завоевать доверие девочки, дать ей узнать меня. Поэтому я провела свой первый день с нею на свежем воздухе; мы условились, к ее великому удовлетворению, что она, и только она, покажет мне дом. Флора повела меня шаг за

шагом, из комнаты в комнату, от одного секрета к другому, раскрывая их в забавном, приятном стиле детской болтовни; в итоге, спустя полчаса, мы стали задушевными друзьями.

Меня поразило, что девочка столь малого возраста в этом кратком походе вела себя уверенно и храбро в пустых помещениях и сумрачных коридорах, на винтовой лестнице, где мне пришлось приостановиться, и даже на вершине старинной квадратной башни с зубцами, где голова моя пошла кругом; щебет Флоры, как утренняя песенка птички, ее желание рассказывать больше, чем расспрашивать, — все звенело в моей душе и вело дальше.

После отъезда из Блая я больше там не бывала, полагаю, что, став старше и набравшись знаний, я бы теперь сочла усадьбу гораздо более скромной. Но пока моя маленькая проводница с золотыми локонами, в голубом платьице, приплясывая, огибала углы и топотала по коридорам, я видела романтический замок, обитель феи роз, воплощение идеалов молодости, расцвеченное всеми красками, взятыми из новелл и сказок. Может, я и впрямь задремала, размечталась над книгой? Нет, этот дом был явью — большой, уродливый, старинный, но удобный дом, с сохранившейся

частью строения еще более древнего, наполовину снесенного, наполовину жилого, в котором мое представление о реальности затерялось, словно кучка пассажиров на большом дрейфующем корабле. А я, как ни странно, была у руля!

II

Эти мысли пришли мне на ум два дня спустя, когда мы с Флорой ехали встречать «маленького джентльмена»; а все потому, что вечером второго дня кое-что сильно встревожило меня. Я уже упоминала, что первый день меня обнадежил; но затем мне довелось ощутить острое беспокойство. В тот вечер почту принесли поздно, и там было письмо для меня от работодателя, правда, всего несколько слов, со вложенным конвертом, адресованным ему самому, с нетронутой печатью. «Я вижу, что это письмо от директора школы, а он ужасный зануда. Прочтите это, пожалуйста, узнайте, что ему нужно; однако не забудьте, что докладывать мне вы не должны. Ни слова. Я отсутствую!» Сломать печать оказалось нелегким делом, такая она была большая, и я долго с ней возилась; наконец я унесла запечатанный конверт к себе и снова занялась им перед отходом ко сну. Лучше было бы оставить его до

утра, потому что из-за него я провела и вторую ночь без сна. Наутро, не зная, как быть, я долго мучилась, но наконец, не найдя ничего лучшего, решила обратиться хотя бы к миссис Гроуз.

— Ребенка отправили вон из школы. Что это значит?

Она коротко взглянула на меня, потом постаралась отвести глаза, как будто демонстрируя равнодушие.

— Но разве они не разъезжаются все?..

— Их отправляют по домам, да. Но только на каникулы. А Майлсу велено не возвращаться.

Видя, что я наблюдаю за нею, она покраснела.

— Они его не хотят брать?

— Категорически отказываются.

Она снова взглянула на меня, и я увидела в ее глазах непролитые слезы.

— Что же он натворил?

Я заколебалась, потом сочла правильным просто отдать ей письмо; однако эффект вышел неожиданный: экономка не взяла конверт и, заложив руки за спину, грустно вздохнула.

— Эти штуки не для меня, мисс.

Моя советчица не умела читать! Я постаралась загладить свою ошибку как смогла и, уже развернув письмо, чтобы прочесть вслух, замялась,

снова сложила и спрятала в карман.

— Мальчик действительно плохой?

— А что пишут джентльмены? — Слезы еще блестели на глазах Гроуз.

— Они не вдаются в подробности. Просто выражают сожаление, что принять его не могут. Это может означать только одно, — Гроуз слушала, не проявляя эмоций; она воздержалась от вопроса, что это может означать, но ее присутствие само по себе помогло мне думать, и я, собравшись с силами, сумела найти правильные слова, — что он вредит остальным ученикам.

— Мастер Майлс! — она внезапно, со свойственной простым людям быстротой, вспыхнула. — Он-то вредит?

В ее словах было столько искренней веры, что я, еще не увидев ребенка, желая подавить собственные опасения, охотно поверила в абсурдность такого обвинения. Чтобы поддержать нашу дружбу, я подхватила с иронической интонацией:

— Его бедненьким, маленьким, невинным сотоварищам!

— Это просто ужасно, — вскричала миссис Гроуз, — говорить такие жестокие слова! Подумайте, ему едва исполнилось десять лет!

— Да, да, это невероятно.

Экономка явно была благодарна мне за согласие с нею.

— Вы сперва увидьте его, мисс, а потом попробуйте поверить! — Мне тут же захотелось увидеть мальчика; любопытство возникло и в ближайшие часы усилилось почти до болезненности. Я догадалась, что Гроуз поняла, в какое состояние меня повергла, потому что она добавила утешительно: — Это все равно что поверить в такое про маленькую леди, храни ее бог… да взгляните на нее!

Я обернулась и увидела Флору, которую десятью минутами раньше усадила в классной комнате, выдав ей лист белой бумаги, карандаш и пропись с красивыми «круглыми О»; теперь она стояла у открытой двери. На ее личике выражалось сильное нежелание исполнять скучный урок, но смотрела она на меня таким ясным детским взглядом, словно показывала, что лишь ради любви ко мне готова признать необходимость слушаться моих указаний. Не нужно было лучшего доказательства правоты сравнения миссис Гроуз, и я, обняв свою ученицу, стала целовать ее, скрывая слезы раскаяния.

Тем не менее, до конца того дня я искала способы восстановить близость с экономкой, особенно

к вечеру, когда мне стало казаться, что она меня избегает. Помню, что столкнулась с нею на лестнице; мы вместе сошли вниз, и там я удержала ее, положив ей руку на плечо.

— То, что вы сказали мне днем… это было заявление, что мальчик при вас никогда не вел себя плохо. Я правильно понимаю?

Гроуз вскинула голову; видимо, к этому времени она заняла, и очень честно, определенную позицию.

— Ох, никогда при мне… За это не ручаюсь!

Я снова расстроилась.

— Значит, что-то все-таки бывало?

— Да, мисс, слава богу, бывало!

Подумав, я ее поняла.

— Вы имеете в виду, что мальчик, который никогда…

— Для меня — не мальчик!

— Вам нравится, когда они шалят? — я сжала ее плечо сильнее и, не дожидаясь ответа, искренне призналась: — Мне тоже! Но не до такой степени, чтобы дошло до осквернения…

— Осквернения?..

Мое книжное слово озадачило ее, и я пояснила:

— До испорченности.

Она уставилась на меня, осваиваясь с сутью моих слов; потом издала странный смешок.

— Вы боитесь, что он испортит вас?

Это было сказано с таким тонким юмором, что я рассмеялась тоже, хотя это и было, конечно, глупо, но обиду за насмешку я отложила на потом.

Однако на следующий день, незадолго до отъезда, я добилась успеха в другом вопросе.

— Что представляла собою моя предшественница?

— Прежняя гувернантка? Она тоже была молодая и красивая, почти такая же молодая и почти такая же красивая, как вы, мисс.

— Ах, раз так, надеюсь, юность и красота помогли ей! — помнится, вырвалось у меня. — Он, похоже, предпочитает молодых и красивых!

— О да, — согласилась Гроуз, — ему все такие люди нравились! — Она вдруг смутилась и поправилась: — Ну, то есть, такой уж у него вкус, у хозяина.

— Но о ком же вы говорили сначала? — удивилась я.

— Ну, о нем, — она казалась спокойной, но покраснела.

— О хозяине?

— Да о ком же еще?

Было совершенно очевидно, что никого другого она не могла иметь в виду; я сразу же отбросила мимолетное впечатление, что экономка случайно сказала больше, чем хотела, и просто поинтересовалась:

— А она замечала что-либо в поведении мальчика?

— Что-нибудь нехорошее? Она мне ничего не говорила.

Я почувствовала укол совести, но превозмогла его.

— Как она работала? Была ли заботлива, чему уделяла особое внимание?

— Кое-чему — да. — Миссис Гроуз, видимо, старалась судить по совести.

— Но не всему?

— Ну, мисс, ее уж нет, — сказала экономка, снова подумав. — Не хочу языком трепать.

— Вполне понимаю ваши чувства, — поспешила откликнуться я, но решила, что эта уступка не мешает мне продолжить: — Она умерла здесь?

— Нет, она сперва уехала.

Не знаю, почему лаконичный ответ Гроуз показался мне двусмысленным.

— Уехала, чтобы умереть? — Гроуз упорно смотрела в окно, однако я чувствовала, что, вероятно,

имею право узнать, каких действий наниматель ожидал от молодых особ, направляемых им в Блай. — Она заболела, вы об этом? И уехала домой?

— Она здесь не болела, во всяком случае, ничего такого не замечали. В конце года собралась домой, сказала — ненадолго, на праздники. Она доказывала, что по контракту это ей положено. У нас тогда работала одна нянька, которая тут оставалась, хорошая девушка и умная; вот она-то и ходила за детьми, пока той не было. Но молодая леди так и не вернулась, и как раз когда я ждала ее приезда, хозяин сообщил, что она умерла.

— Но от чего? — спросила я, подумав.

— Он не объяснил! Ну, простите, мисс, — сказала Гроуз, — мне нужно идти работать.

III

Хотя она и повернулась, таким образом, спиною ко мне, эта грубая отговорка, к счастью, если учесть справедливость моих опасений, не могла помешать усилению нашего взаимного уважения. После того, как я привезла домой маленького Майлса, мы еще ближе сошлись на почве моего изумления, моих взбудораженных эмоций: таким чудовищным казалось мне тогда

то, что кто-то мог подвергнуть интердикту дитя, представшее передо мною.

Я немного опоздала на встречу, и мальчик стоял у дверей гостиницы, где его высадили из кареты, тоскливо поглядывая по сторонам; и при первом же взгляде я не только оценила его внешность, — я почувствовала его душу, восприняла сияющий ореол свежести, то же благоухание чистоты, которое ощутила при первом знакомстве с его сестренкой. Он был невероятно красив, и миссис Гроуз оказалась права: в его присутствии исчезали любые чувства, кроме страстной нежности. Что прямо тогда заставило меня принять его в свое сердце, было божественное свойство, коего в такой степени никогда больше я не встречала ни в одном ребенке — не поддающееся описанию выражение существа, не знающего в мире ничего, кроме любви. Его назвали злым, но он весь был — нежность и невинность, и к моменту, когда мы вернулись в Блай, я пришла в состояние замешательства, если не сказать негодования, из-за смысла мерзкого письма, запертого в ящике моего стола. Как только мне удалось улучить минутку, чтобы переговорить с Гроуз наедине, я сообщила ее, что письмо это — нелепица. Она сразу поняла меня.

— Вы имеете в виду, что жестокое обвинение?..

— Лживо насквозь. Моя дорогая, вы только взгляните на него!

Она улыбнулась, видя, что я прониклась обаянием мальчика.

— Поверьте, мисс, я только это и делаю! — И тут же добавила: — Что же вы теперь скажете?

— В ответ на письмо? — Это я уже решила: — Ничего.

— А его дяде?

— Ничего, — я была категорична.

— А самому мальчику?

— Ничего! — я была удивительно тверда.

Экономка крепко растерла свой рот краем передника.

— Ну, ежели так, я вся ваша. Мы это переживем.

— Мы это переживем! — подхватила я с жаром, протянув к ней руку, как бы давая обет. Она сделала то же самое, потом свободной рукой снова потеребила свой передник.

— Вы не рассердитесь, мисс, если я себе позволю…

— Поцеловать меня? Нет!

Я обняла это доброе создание, мы обнялись, как сестры, и укрепились в нашем негодовании.

Так шли наши дела в течение некоторого времени — времени столь насыщенного, что, вспоминая ныне те дни, мне нужно очень постараться, чтобы сделать прошлое немного отчетливее. Больше всего меня изумляет мое тогдашнее отношение к ситуации. Я взялась, с помощью подруги, замять дело; я была, несомненно, во власти какого-то очарования, скрывавшего от меня объем необходимых усилий, а также их отдаленные и сложные последствия. Страстное увлечение и жалость держали меня на высокой волне. Невежество, смятение и, быть может, самообман… Я считала, что мне не будет трудно воспитывать мальчика, чье знакомство с миром только начиналось.

Уже не могу вспомнить сейчас, какой план касательно окончания каникул и возобновления занятий я предложила Майлсу. В теории все мы понимали тем волшебным летом, что уроки ему мне следует давать; но теперь я думаю, что уроки, целыми неделями, получала я сама. Первое, чему я научилась и чего никто не преподавал в моей прежней узкой, душной жизни, было умение развлекать и даже самой развлекаться, не задумываясь о завтрашнем дне. По сути, тогда я впервые познала, что такое простор, и воздух,

и свобода; я внимала музыке лета и постигала тайны природы. А еще я размышляла, и размышления мои были сладостными.

О, это была ловушка — никем не подстроенная, но глубокая — для моего воображения, моей утонченности, быть может, и для тщеславия; для тех струн моей души, которые легче всего возбуждались. Проще всего будет сказать, что я утратила бдительность. Дети доставляли мне так мало хлопот — они были чрезвычайно кроткими. Порой я все-таки раздумывала, хоть и весьма туманно, бессвязно, о том, как жесткое будущее (будущее всегда жестко!) возьмет их в оборот и сколько причинит боли. Они были в цвету здоровья и счастья; и все же меня не оставляло ощущение, что я отвечаю за двух юных отпрысков знатного дома, принцев крови, для благополучия которых необходимы замкнутость и защита. В моей фантазии единственным возможным будущим для них представлялся романтический, истинно королевский, расширенный вариант сада и парка. Разумеется, весьма возможно, что, после всего внезапно ворвавшегося в эту идиллию, предшествующее время обрело в памяти облик совершенного покоя — той тишины, под покровом которой что-то зреет или прячется. Перемена

была подобна прыжку зверя из засады.

В первые недели дни были длинными; часто, в самую приятную пору, они дарили мне то, что я называла «мой час», — час, когда время чаепития и отхода ко сну для моих воспитанников пришло и миновало, и у меня еще оставался короткий промежуток до ухода в свою спальню, чтобы побыть одной. Как ни приятно мне было общество жителей усадьбы, этот час дня я любила больше всего, особенно когда свет дневной угасал, или, я бы сказала, день медлил уходить, и птицы еще перекликались, укладываясь спать в кронах старых деревьев, и небо розовело; тогда я могла прогуляться, наслаждаясь красотой и достоинством парка, как если бы стала его владелицей, что было и забавно, и лестно. В такие моменты мне нравилось чувствовать, что мой покой заслужен, и иногда думать о том, что моя сдержанность, спокойный здравый смысл и прочие высокие качества доставляют удовольствие — если он вообще обо мне вспоминал! — человеку, на чью настоятельную просьбу я поддалась. Я делала то, на что он серьезно надеялся и напрямую предписывал мне, и в конечном счете мне это удавалось, что приносило бóльшую радость, чем я ожидала. Смею сказать, короче, что я воображала себя вы-

дающейся женщиной и тешилась мыслью, что однажды люди это признают. Да, для того, чтобы противостоять особенным событиям, которые вскоре начались, точно требовалось быть особенной личностью.

Это произошло внезапно, во время моего предвечернего отдыха; детей уложили в постель, и я вышла пройтись. Одна из мыслей, посещавших меня при прогулках — я не стану уклоняться от истины, — была, собственно, мечтой: как было бы чудесно, словно в волшебной истории, неожиданно встретить кое-кого. Кое-кто, наверно, появится вон там, на повороте тропинки, он остановится передо мной, улыбнется и похвалит. Я не просила ничего большего — только чтобы он знал; и не было другого способа удостовериться, что он знает, как увидеть его красивое лицо, почувствовать добрый взгляд. И вот я увидела его… то есть лицо…

В первый раз это случилось под конец долгого июньского дня. Я вышла из рощи и резко остановилась, взглянув на дом. Что же заставило меня застыть на месте, потрясенную сильнее, чем от любого видения? То, что воображаемая картина в мгновение ока стала реальностью! Он стоял передо мною на самом деле — но высоко вверху, над

газоном, на крыше башни, куда малютка Флора привела меня в первое утро нашего знакомства. Башня была одной из двух — квадратные, неуклюжие, с зубцами поверху, эти строения мало отличались одно от другого, на мой взгляд, но их по какой-то причине именовали «старой» и «новой». Они примыкали к противоположным торцам дома и, видимо, относились к тому разряду архитектурных нелепиц, существование которых оправдывается в какой-то мере тем, что они все-таки не нарушают ансамбль, на особую высоту не претендуют, а их пряничная древность напоминала о периоде романтического возрождения, уже ставшем почтенной стариной. Мне башни нравились, они входили в мои фантазии, потому что их вид шел нам всем на пользу, особенно когда они проглядывали сквозь сумерки, превращая дом в величественную крепость; и все же фигуре, столь часто видевшейся мне, как-то неуместно было стоять на такой высоте.

Вид этой фигуры в прозрачных сумерках вызвал у меня, помнится, два острых всплеска эмоций: шок от первого удивления, а потом — от второго. Второе было реакцией на болезненное осознание первой ошибки: человек, представший перед моими глазами, не был тем, кого я

поспешно вообразила. Обман зрения, потрясший меня, был таков, что спустя столько лет я и не надеюсь дать живое представление о нем. Обнаружить незнакомого мужчину в уединенном месте — допустимый повод для испуга молодой женщины, выросшей в узком кругу; а тот, кто смотрел на меня сверху, как я убедилась через несколько секунд, не имел ничего общего ни с кем-либо из моих прежних знакомых, ни с образом, занимавшим мое воображение. Я не видала его на Харли-стрит и нигде вообще.

Более того, самым странным образом, самим фактом своего появления он мгновенно превратил окрестности дома в безлюдную пустыню. Я утверждаю это сейчас с такой определенностью, как никогда прежде, и ощущения того момента возвращаются. Казалось, пока я осознавала то, что могла осознать, все вокруг было поражено смертью. Я и сейчас слышу ту глухую тишину, в которой утонули все вечерние звуки. Грачи уже не каркали в золотом небе, и милый закатный час на мгновение онемел. Других изменений природа не претерпела, разве что я обрела странную остроту зрения. Небо оставалось золотым, воздух — прозрачным, и человек, смотревший на меня сквозь зубцы башни, был виден отчетливо,

как картина в раме. С чрезвычайной быстротой я перебрала в уме все предположения, кем он мог быть и кем не мог. Мы стояли друг напротив друга, разделенные расстоянием, достаточно долго, чтобы я напряженно задумалась над разгадкой и почувствовала, не имея возможности заговорить, удивление, которое вскоре еще усилилось.

Важнейший, или один из важнейших вопросов, как я впоследствии узнала, касательно некоторых явлений, — это вопрос их длительности. Что до моего случая, думайте что хотите об этом, но мне хватило времени перебрать дюжину возможных объяснений, из которых ни одно я не смогла признать лучшим, и допустить, что в доме находится — прежде всего, как долго? — особа, о присутствии коей я не была осведомлена. Явление еще длилось, когда я кое-как сообразила, что мой служебный долг не допускает ни наличия таких особ, ни такой неосведомленности. Оно длилось, и визитер — помнится, в его поведении не было скованности, а отсутствие на нем шляпы намекало на некоторую фамильярность, — казалось, не сходя со своего места, заставлял меня не шевелиться именно тем, что я пыталась найти ответы, вызванные его присутствием, тем, что наблюдала за ним в гаснущем свете дня.

Мы находились слишком далеко друг от друга, чтобы переговариваться, но, подойди я ближе, некий взаимный вызов, нарушающий тишину, стал бы закономерным результатом прямого обмена взглядами. Он стоял на наружном углу башни, не примыкавшем к дому, выпрямившись в рост, как мне показалось, и опираясь руками на выступ стены. Я видела его так же ясно, как буквы, которые вывожу сейчас на этой странице; спустя минуту он медленно, словно усиливая театральность эффекта, переменил позицию — прошел, не спуская с меня жесткого взгляда, к противоположному углу площадки. Да, я очень остро чувствовала, что, перемещаясь, он неотрывно глядел на меня, и я даже сейчас вижу, как его рука в движении касалась одного зубца парапета за другим. На том углу он остановился, но ненадолго, повернулся и ушел, но даже повернувшись, он каким-то образом удерживал меня. Он повернулся и ушел; это было все, что я узнала.

IV

Нельзя сказать, что я осталась подождать продолжения, — я просто приросла к месту от потрясения. Неужели в Блае есть «секрет» — что-

то вроде тайн Удольфо[13] или душевнобольной неупоминаемый родственник, которого скрытно держат под замком? Не могу указать, как долго я размышляла над этим вопросом или как долго оставалась, под воздействием любопытства и страха, на месте столкновения; помню лишь, что вернулась домой, когда было уже совсем темно. Видимо, в промежутке возбуждение овладело мною и погнало прочь, так как, двигаясь кругами, я прошла, должно быть, около трех миль; но впереди меня ожидали потрясения куда более сильные, и этот случай, своего рода заря тревоги, по сравнению с ними не превышал уровня обычного человеческого волнения. По сути, самым необычным в тот вечер — при всей необычности последующих событий — оказался момент, когда я, войдя в холл, обнаружила там миссис Гроуз.

Эта картина встает предо мной со всеми подробностями, как будто я только что вошла: просторный белый зал с панелями, ярко освещенный лампами, с портретами на стенах и красным

---

[13] Примечания: 13

«Удольфские тайны» — один из известнейших романов Анны Радклиф (Ann Radcliffe, 1764–1823), создательницы «готического» жанра, написанный в 1794 г., главная героиня которого попадает в мрачную атмосферу зловещего Удольфского замка, и борьба с темными силами зла становится смыслом ее жизни. Однако тамошние привидения значительно романтичнее, чем безнравственные лакей и гувернантка.

ковром, и добрый, удивленный взгляд моей подруги, восклицающей, что она беспокоилась обо мне. И стоило мне увидеть ее, почувствовать ее простую сердечность, услышать вздох облегчения при моем появлении, как я мгновенно поняла, что она не знает ничего относящегося к инциденту, о котором я собиралась рассказать. Я не предвидела, что утешительное лицо экономки заставит меня передумать, и мерой важности того, что мне довелось увидеть, стало мое нежелание говорить об этом. Пожалуй, ничто во всей этой истории не кажется мне столь странным, как то, что настоящий страх пришел ко мне, так сказать, вместе с инстинктивным стремлением пощадить мою соратницу. Поэтому тут же на месте, посреди уютного холла, под ее взглядом, по причинам, кои тогда не могла бы выразить словами, я приняла решение молчать, придумала объяснение для моей задержки, потом, сославшись на красоту ночи, на обильную росу и промокшие ноги, поспешно удалилась в свою комнату.

Здесь началась иная жизнь; здесь, на протяжении многих дней, жизнь приобретала все более странный оттенок. Изо дня в день случались часы — а то и минуты, даже если я была занята де-

лом, — когда мне требовалось закрыться у себя и подумать. Не то чтобы я нервничала больше, чем могла себе позволить, скорее сильно боялась начать нервничать; ибо истина, с которой мне было необходимо ужиться, простая и ясная, заключалась в том, что я не могла никоим образом понять, кто был тот пришелец, который столь необъяснимо и все же, как мне казалось, лично затронул меня. Не потребовалось много времени, чтобы без открытых расспросов, не привлекая ничьего внимания, убедиться в отсутствии какого-либо домашнего секрета. От перенесенного шока все чувства мои, видимо, обострились; спустя три дня, просто благодаря большей внимательности, я убедилась, что не была объектом ни происков прислуги, ни чьей-либо «игры». Окружающие меня люди не знали ничего особенного. Мне удалось найти лишь одно здравое объяснение: кто-то позволил себе довольно грубую выходку. Именно затем, чтобы снова и снова убеждать себя в этом, я пряталась в своей комнате и запирала дверь. Все мы подверглись вторжению: какой-нибудь бессовестный путешественник, любитель старинных зданий, проник в усадьбу незамеченным, полюбовался видом с самой выгодной точки зрения и тем же путем прокрался обратно. То, что он так

упорно глазел на меня, было лишь проявлением его дерзости. В конце концов, хорошо было уже то, что мы его уж точно больше не увидим.

Я признаю, что в этих попытках разобраться в загадке самостоятельно не было ничего хорошего, но для меня куда больше значила моя прекрасная работа. Работой была просто жизнь с Майлсом и Флорой, и она нравилась мне особенно потому, что ею я могла спастись от тревог. Мои скромные обязанности стали источником постоянной радости, и я то и дело вспоминала с удивлением свои пустые страхи, свое предубеждение против предполагаемой серой прозы моей службы. Здесь, как выяснилось, не потребовалась долгая кропотливая подготовка, и серой прозе не было места, так почему бы не наслаждаться работой, ежедневно являвшей мне красоту? Мне открылась вся романтика детской и поэзия классной комнаты.

Конечно, это не значит, что мы изучали только художественные произведения и стихи; просто иначе я никак не могу выразить тот интерес, который вызывали у меня ученики. Трудно это описать, но дело в том, что я не только растила их: я постоянно делала новые открытия — что для гувернантки истинное чудо, призываю коллег

засвидетельствовать это! Правда, одна область оставалась недоступной для открытий, — глубокая тьма по-прежнему покрывала вопрос о поведении мальчика в школе.

Я уже упоминала, что мне удалось быстро научиться воспринимать эту тайну без душевной боли. Пожалуй, будет ближе к истине сказать, что ребенок сам прояснил ее, не произнеся ни слова. Он доказал всю абсурдность обвинений. Вывод, к которому я пришла, был окрашен истинным цветом его невинности: такому тонкому и честному существу было не место в узком, мерзком, нечистом школьном мирке, и он поплатился за это. Поразмыслив, я поняла, что подобные различия, разница в качествах, неизбежно вызывают со стороны большинства — включая глупых, убогих учителей — жажду расправы.

Эти дети отличались кротостью (это был их единственный недостаток, и он не портил Майлса), которая делала их… как бы это лучше выразить?…почти безликими и, конечно, совсем ненаказуемыми. Они походили на херувимов из известного анекдота, которых — в моральном аспекте, в любом случае — невозможно было

ударить в спину![14] Помнится, имея дело с Майлсом, я порой чувствовала, что у него как будто не было никакой предыстории. Мы понимаем, что у маленького ребенка история недлинная, но в характере этого прекрасного мальчика было столько чуткой и счастливой беззаботности, сколько я не видела ни у одного ребенка его лет, и для него как будто каждый новый день был первым. Он не знал, что такое страдание. Для меня это стало прямым доказательством того, что на самом деле его никто не наказывал. Если бы он был злым, зло «въелось» бы в его душу и я распознала бы это по отражению — нашла бы следы. Но я не нашла ничего такого, и Майлса следовало считать ангелом. Он никогда не заговаривал о школе, не упоминал ни товарищей, ни учителей; я же со своей стороны не желала поднимать эту неприятную тему. Конечно, я была околдована, и удивительно, что даже в то время я это отлично сознавала. Но я примирилась с этим; такая жизнь служила противоядием от всех душевных бед, а

[14] Примечания: 14

На какой именно анекдот намекает автор, установить не удалось; не исключено, что он вымышлен. Херувим — упоминаемое в Библии крылатое небесное существо, принадлежащее ко второму ангельскому чину. Их по христианской традиции изображают в виде головы с четырьмя крыльями, соответственно, ударить его в спину (отсутствующую) было бы невозможно. На основании этого факта переводчику пришлось построить свою «реконструкцию».

у меня таких бед было немало. В те дни я получала тревожные письма из дому, где дела шли неважно. Но разве рядом с моими детьми что-то могло меня смутить? Этот вопрос я задавала себе в редкие часы уединения. Я была ослеплена их прелестью.

Однажды в воскресенье дождь лил как из ведра несколько часов подряд, и о походе в церковь не могло быть и речи; поэтому ближе к концу дня я договорилась с миссис Гроуз, что, если вечером погода станет получше, мы вдвоем сходим на вечернюю службу. К счастью, дождь прекратился, и я приготовилась к прогулке: если пройти через парк и дальше по хорошей дороге до деревни, это заняло бы двадцать минут. Спускаясь по лестнице в холл, где меня ждала моя спутница, я вспомнила о паре перчаток, которые нуждались в небольшой починке, каковую я и произвела публично, хотя, возможно, и не педагогично, когда сидела с детьми за чаем — по воскресеньям, в виде исключения, его подавали в том холодном, чисто прибранном храме красного дерева и бронзы, который именовали «столовой для взрослых». Там перчатки и остались, и я вернулась за ними. День выдался пасмурный, но послеполуденный свет еще не угас, и, ступив на порог комнаты, я

разглядела не только искомый предмет на стуле у широкого окна, но и человека по другую сторону закрытой оконной рамы, смотрящего внутрь.

Одного шага хватило; войдя в комнату, я мгновенно узнала видение. Человек, смотрящий внутрь, был тот самый, что уже являлся мне. Итак, он появился снова и был виден — не скажу отчетливее, ибо это было невозможно, — но гораздо ближе; это был новый шаг в нашем общении, и это зрелище заставило меня затаить дыхание и похолодеть. Он был виден, как и в прошлый раз, до пояса, так как окно столовой, хотя она и располагалась на первом этаже, не доходило до террасы, где он стоял. Лицо его почти касалось стекла, но, как ни странно, лучше видя его, я лишь осознала, насколько четким был его образ прежде. Спустя несколько секунд он скрылся, но я поняла, что он успел увидеть и узнать меня; и мне показалось, будто я глядела на него долгие годы и знала его всегда. Впрочем, на этот раз случилось кое-что, чего не было тогда; его взгляд сквозь стекло был устремлен на мое лицо, такой же глубокий и тяжелый, но на мгновение он отвернулся, и я заметила, что он посмотрел на несколько предметов в комнате, один за другим. Тотчас потрясение мое усилилось оттого, что я

поняла: не ко мне он приходил сюда. Он приходил к кому-то другому.

Вспышка понимания — понимания, вызванного ужасом, — произвела на меня чрезвычайное воздействие: в моей душе внезапно завибрировали струны долга и отваги. Я говорю «отваги», потому что, без сомнения, зашла уже очень далеко. Выскочив из комнаты, я добежала до входной двери, молнией вылетела на аллею, обошла, не мешкая, террасу и, завернув за угол, осмотрелась. Но смотреть было не на что — посетитель исчез. Я остановилась, едва не упала, чувствуя истинное облегчение, но продолжала осматриваться окрест — давая незнакомцу время появиться вновь. Время, говорю я, но сколько оно длилось? Сейчас я не могу судить о длительности этих событий. Видимо, способность к измерению оставила меня тогда: они не могли длиться столько, сколько мне казалось. Терраса и все вокруг нее: газон и сад за ним, доступная взгляду часть парка — все было абсолютно пустынно. Я видела заросли кустарника и высокие деревья, но я помню, как твердо была уверена, что он за ними не прячется. Он мог там быть, мог не быть; но раз я его не вижу, значит, его нет. За это соображение я уцепилась; затем, вместо того, чтобы вернуться тем

же путем, я по наитию подошла к окну столовой, смутно понимая, что должна постоять там, где находился пришелец.

Так я и сделала: приложила лицо к раме и посмотрела, как он, внутрь комнаты. Будто нарочно, для полного сходства, из холла в столовую вошла Гроуз, как я до того. Это позволило мне представить, что перед тем происходило со мной. Она увидела меня, как я — пришельца; она застыла на месте, как я; от меня ей как бы передалась часть пережитого шока. Она побледнела, и я спросила себя, была ли я так же бледна. Она коротко взглянула и отступила, повторяя мой путь, и я поняла, что она сейчас выйдет из дому, обогнет его, и мы встретимся здесь. Я осталась на месте и, поджидая ее, думала о разных вещах. Но только об одном я здесь упомяну. Меня удивило, почему она тоже испугалась.

V

О, экономка дала мне ответ, как только, обогнув угол, появилась передо мной.

— Ради всего святого, что случилось? — Она теперь раскраснелась и запыхалась. Я промолчала, пока она не подошла поближе.

— Со мной? — наверно, мне удалось изобразить

удивление. — А что, видно?

— Вы побелели, как полотно. Ужасно выглядите.

Я задумалась; я могла без стеснения использовать эти слова, чтобы разрушить ее неведение. Необходимость уважать стеснительность Гроуз упала без шороха с моих плеч, и если я на мгновение заколебалась, то вовсе не оттого, что хотела отступить. Я протянула руку, и экономка взяла ее; я держала крепко, мне нравилось ощущать близость к ней. В робко растущем удивлении Гроуз я нашла некоторую поддержку.

— Вы пришли, чтобы идти со мною в церковь, я понимаю, но пойти не смогу.

— С вами что-то случилось?

— Да, и вам следует это узнать. Я выглядела странно?

— Через окно? Просто страшно!

— Неудивительно, — сказала я, — меня сильно испугали.

По лицу Гроуз было ясно видно, что она пугаться не желает, и все же она слишком хорошо помнила свое место, чтобы не разделить со мною любую явную неприятность. О да, само собой подразумевалось, что она должна!

— То, что вы увидели из столовой минуту на-

зад, — это последствие испуга. А то, что видела я — чуть раньше, — было гораздо хуже.

— Что же это такое? — рука экономки дернулась.

— Крайне странный человек. Он глядел в окно.

— Что за человек?

— Не имею ни малейшего понятия.

Миссис Гроуз без толку огляделась.

— Куда же он делся?

— Я и этого не знаю.

— А раньше вы его видали?

— Да, один раз. На старой башне.

Она смогла лишь пристальнее поглядеть на меня.

— Вы хотите сказать, что это посторонний?

— О, именно так!

— И вы мне ничего не сказали?

— Нет. У меня были причины. Но теперь, когда вы сами догадались…

Этот выпад Гроуз выдержала с округлившимися глазами.

— Да я не догадывалась! — сказала она простодушно. — Куда мне, ежели вы представления не имеете?

— Ни малейшего.

— Вы его видели только на башне?

— И вот только что на этом месте.

— Что же он делал-то на башне? — Гроуз снова огляделась.

— Просто стоял и смотрел на меня сверху.

Экономка на минутку задумалась.

— Это был джентльмен?

— Нет, — мне задумываться не нужно было. Она уставилась на меня, удивленная еще сильнее. — Нет.

— Значит, никто из наших? Никто из деревенских?

— Никто, никто. Вам я не говорила, но сама проверила.

Она вздохнула с облегчением, и это было, как ни странно, к лучшему. Правда, это было еще не все.

— Но ежели он не джентльмен…

— То что он собой представляет? Он — кошмар.

— Кошмар?

— Он… Господи, помоги мне, я не знаю, что это!

Гроуз огляделась в третий раз, всматриваясь в туманную дымку, затем, собравшись с духом, резко переменила тему:

— Нам пора уже быть в церкви.

— О, я не в состоянии сейчас идти в церковь!

— Разве это не пойдет вам на пользу?

— Это не пойдет на пользу им! — Я кивком указала на дом.

— Вы о детях?

— Я не могу сейчас их оставить.

— Вы боитесь?..

— Я боюсь его, — откровенно призналась я.

Широкое лицо Гроуз впервые отразило отдаленные проблески угрызений совести; я как-то уловила, что у нее забрезжила мысль, не внушенная ранее мною и потому пока неясная мне. Сейчас я припоминаю, что сразу надумала выведать у нее это что-то, видимо связанное с ее явным желанием узнать побольше.

— Когда это было… на башне?

— Примерно в середине месяца. И в тот же час.

— Было уже почти темно, — пробормотала Гроуз.

— О нет, отнюдь. Я видела его так же ясно, как вас.

— Но как же он попал туда?

— И как оттуда вышел? — засмеялась я. — У меня не было возможности спросить у него! А сегодня вечером, как видите, он не сумел пройти внутрь.

— Он только подглядывает?

— Надеюсь, что этим и ограничится! — Я отняла свою руку, и экономка слегка отодвинулась. Я немного выждала и произнесла: — Вы идите в церковь. До свиданья. Я должна посторожить.

Она медленно обернулась ко мне.

— Вы за них боитесь?

Мы обменялись еще одним долгим взглядом.

— А вы нет?

Вместо ответа она подошла к окну и на минуту прильнула лицом к стеклу.

— Вы сейчас видите то, что мог видеть он, — заметила я.

Она не пошевелилась.

— Как долго он простоял здесь?

— Пока я не вышла, чтобы встретиться с ним.

Гроуз наконец обернулась, и выражение ее лица стало иным.

— А я бы не смогла выйти…

— Да и я бы тоже! — снова засмеялась я. — Но вышла. Ведь это мой долг.

— И мой также, — ответила она и добавила: — На кого он похож?

— Я была бы рада рассказать вам, но… Но он не похож ни на кого.

— Ни на кого? — отозвалась она.

— Он не носит шляпы, — видя по лицу Гро-

уз, что уже одна эта деталь, видимо, знакомой картины, заставила ее насторожиться, я стала добавлять мазок за мазком. — У него рыжие волосы, ярко-рыжие и курчавые, лицо бледное, удлиненное, с прямыми, правильными чертами, и маленькие, скорее забавные, бакенбарды, тоже рыжие. Брови у него более темные, выгнутые дугой и кажутся очень подвижными. Взгляд острый, странный, ужасный; но глаза, насколько я помню, небольшие и как бы застывшие. Рот широкий, губы тонкие, и он гладко выбрит, если не считать бакенбард. Вообще мне показалось, что он похож на актера.

— На актера! — вот уж на кого в тот момент миссис Гроуз была не похожа совсем.

— Я актеров не видала, но они, наверно, таковы. Он высокий, подвижный, осанистый, — продолжала я, — но не джентльмен, нет-нет, никак!

Лицо моей соратницы бледнело по мере того, как я все это выкладывала, глаза округлялись все сильнее, и даже рот приоткрылся.

— Джентльмен? — ахнула она недоуменно, сбитая с толку. — Он — джентльмен?

— Вы, кажется, с ним знакомы?

Она явно пыталась как-то сдержаться.

— А он действительно красивый?

— Весьма! — воскликнула я, поняв, как можно ей помочь.

— А одежда?..

— С чужого плеча. Приличная, но шито не на него.

У экономки вырвался сдавленный утвердительный стон:

— Это вещи хозяина!

— Итак, вы все-таки его знаете?

Она замялась лишь на миг.

— Квинт! — выкрикнула она.

— Кто такой Квинт?

— Питер Квинт — личный слуга хозяина, камердинером был, когда он здесь жил!

— Когда хозяин жил здесь?

Все еще едва дыша, но стараясь мне угодить, она наконец выразилась точнее:

— Он шляп никогда не носил, зато… ну, понимаете, в гардеробе недосчитались нескольких жилетов. Они оба были здесь, в прошлом году. Потом хозяин уехал, а Квинт остался один.

Чуточку помолчав, я уточнила:

— Один?

— Один с нами, — затем другим, глухим тоном она добавила: — На хозяйстве.

— И что же с ним стало?

Она медлила с ответом так долго, что это меня заинтриговало еще сильнее.

— Его тут уже нет тоже, — выговорила она наконец.

— Куда-то уехал?

Лицо ее приняло неописуемое выражение.

— Бог знает куда! Он умер.

— Умер? — я почти выкрикнула это слово.

Гроуз постаралась выпрямиться, придала своей позе уверенность, чтобы соответствовать раскрываемой тайне.

— Да. Мистер Квинт умер.

VI

Конечно, кроме этого случая потребовалось еще время на то, чтобы мы обе освоились с условиями, в которых нам нужно было теперь как-то жить, — с моей ужасной склонностью к впечатлениям того рода, с ярким примером которых я столкнулась, и со знанием моей соратницы об этой склонности, знанием, состоящим из равных долей ужаса и сочувствия. Происшествие на целый час повергло меня в прострацию, но позже тем вечером мы обе, вместо посещения церковной службы, провели свою службу, мессу слез и клятв, молитв и обетов, завершившую ряд

взаимных сомнений и обещаний, высказанных, как только мы вдвоем укрылись в классной комнате и заперли дверь, чтобы разобраться с бедой. В результате разбирательства было решено попросту свести ситуацию до наименее жесткого уровня — элементарного недоразумения. Гроуз сама не видела ничего, ни тени от тени, и никто в доме кроме самой гувернантки не ведал о трудном положении гувернантки; однако экономка признала, не отрицая напрямую мое здравомыслие, правдивость моего рассказа и в конце концов одарила меня такой нежностью, слитой с ужасом, таким признанием моих более чем сомнительных прав, что это навсегда осталось в моей памяти как прекраснейшее проявление человеческого милосердия.

Итак, в ту ночь мы уговорились, что попробуем сообща поддержать порядок; и хотя Гроуз не вошла в число свидетелей, я не могла с уверенностью судить, мне или ей досталась самая тяжкая часть бремени. Я думаю, что в тот час, да и впоследствии, я знала, что смогу обеспечить безопасность моих учеников; но мне потребовалось время, чтобы полностью убедиться, на что готова пойти моя честная союзница ради выполнения такого сомнительного договора. Я была странной

напарницей для нее, как и она для меня; но, прослеживая пройденный нами путь, я вижу, какую прочную общую опору мы должны были найти в единственной идее, которая, если повезет, могла упрочить наш союз. Именно эта идея позволила мне, так сказать, сдвинуться с места и выйти из камеры моего ужаса. Выйдя во двор, я хотя бы смогла глотнуть свежего воздуха, и там Гроуз могла присоединиться ко мне. Прекрасно помню доныне, каким образом я обрела силу, прежде чем мы расстались на ночь. Перед тем мы снова и снова перебирали подробности моего видения.

— Он искал кого-то другого, вы говорите — не вас?

— Он искал маленького Майлса, — моя проницательность теперь стала беспредельной. — Вот кого он высматривал.

— Откуда вы знаете?

— Знаю, знаю, знаю! — мое возбуждение нарастало. — Да и вы знаете, моя дорогая!

Она этого не отрицала, но я чувствовала, что мне нужно от нее кое-что еще. И она после паузы продолжила:

— А что будет, если он увидит?

— Малыш Майлс? Именно этого он и хочет!

Она вдруг снова ужасно перепугалась.

— Дитя?

— Боже упаси! Этот тип. Он хочет показаться им.

Представить себе такое было ужасно, и все же я ухитрилась как-то сдержаться; и пока мы там совещались, мне пришлось то и дело доказывать свою силу воли на практике. Я была абсолютно уверена, что мне предстоит снова столкнуться с тем же видением, но что-то подсказывало: храбро намереваясь стать единственным объектом этого эксперимента, воспринимая, призывая, преодолевая все это, я послужу искупительной жертвой ради спокойствия моих подопечных, и не только детей. Но оградить их от зла и непременно спасти было важнее всего. Под конец нашего ночного разговора, помнится, я сказала миссис Гроуз:

— Странным кажется мне, что мои ученики никогда не упоминали…

Я умолкла, задумавшись, а она сурово поглядела на меня.

— О том, что он был здесь и как они проводили время с ним?

— Как они проводили время с ним, его имя, его присутствие, какие-то истории, что угодно.

— О, маленькая леди не помнит. Она ничего не слышала и не знала.

«Даже об обстоятельствах его смерти?» — подумала я, но вслух сказала только:

— Пожалуй, что и не могла знать. Но Майлс должен помнить, Майлс должен знать.

— Ах, не трогайте его! — вырвалось у Гроуз.

Я вернула ей такой же твердый взгляд и подумала: «Не нужно бояться».

— Это действительно странно.

— То, что мальчик о нем не вспоминает?

— Ни разу, ни единого намека. И вы говорите, что они были «большими друзьями»?

— О, это не было взаимно! — Гроуз почеркнула интонацией последнее слово. — Это Квинт воображал так. Ему нравилось играть с Майлсом, понимаете… портить его. — Она помолчала и добавила: — Квинт уж слишком вольничал.

Я вспомнила лицо видения — такое лицо! — и меня передернуло от отвращения.

— Вольничал с моим мальчиком?

— Со всеми подряд!

Я воздержалась на время от анализа этого факта, но вспомнила, что он затрагивал и других обитателей нашего дома: полдесятка мужчин и женщин, членов нашей маленькой колонии. Однако для нашего расследования было весьма кстати то, что на памяти всех обитателей на

счету нашего милого дома не имелось ни одной страшной легенды, никаких кухонных пересудов. Ни злых прозвищ, ни недоброй славы, а Гроуз, скорее всего, желала только прильнуть ко мне и подрожать в тишине.

Все же под конец я решила испытать ее. Уже настала полночь, и экономка уже взялась за ручку двери, чтобы покинуть классную комнату.

— Погодите, я хочу уточнить, это очень важно: как по-вашему, он был определенно и общепризнанно дурным человеком?

— Ну уж, не общепризнанно. Я точно знала, а вот хозяин — нет.

— И вы ему не рассказали?

— Понимаете, он не очень-то любил разные сплетни, а уж жалобы вообще ненавидел. Все такое его ужасно сердило, и если люди были хороши для него…

— То об остальном он заботиться не желал?

Мнение экономки вполне согласовывалось с моими впечатлениями: этот джентльмен был ценителем покоя, и, вероятно, дела людей, входивших в его окружение, тоже мало его интересовали. Тем не менее я сочла нужным нажать на собеседницу.

— Поверьте, я на вашем месте непременно

рассказала бы!

— Признаю, я была неправа, — она прочувствовала различие между нами. — Но, если честно, я боялась.

— Боялись чего?

— Того, что мог сделать этот тип. Квинт был такой умный… такой дошлый.

Я восприняла эту подробность спокойно лишь с виду.

— Больше вы ничего не боялись? Например, его воздействия на?..

— Его воздействия? — переспросила она тревожно, ожидая продолжения.

— На наших дорогих невинных крошек. А ведь вы отвечали за них.

— Нет, не я! — она резко шагнула ко мне от двери. — Хозяин доверял ему и оставил его здесь из-за того, что тот вроде бы занедужил и деревенский воздух ему-де полезен. Так что рассказывать обо всем должен был он. Да, — с вызовом бросила она, — даже о них.

— Этот субъект — о детях? — я едва смогла подавить стон. — И вы с этим мирились!

— Нет. Не могла — и сейчас не могу!

И бедняжка разрыдалась.

Со следующего дня, как я уже упоминала, мы

установили неусыпное наблюдение за детьми; но как часто и с какой страстью мы возвращались к тому же предмету в течение недели! Хотя той воскресной ночью мы обсудили многое, меня не оставляло ощущение, особенно в первые часы после разговора — вы можете догадаться, спала ли я тогда, — что экономка чего-то недосказала мне. Я от нее ничего не скрыла, но Гроуз о чем-то промолчала. Уже к утру я не сомневалась, что недостаток откровенности тут ни при чем, просто страхов с обеих сторон скопилось слишком много.

Сейчас, ретроспективно, мне кажется, что ко времени, когда утреннее солнце поднялось высоко, я, размышляя без устали, определила почти все те смыслы случившегося, которые проявились при дальнейших и более тяжелых событиях. Прежде всего меня обеспокоила мрачная фигура человека — живого, о мертвом пока думать не стоило! — пробывшего без отлучки в Блае несколько месяцев, а это был огромный срок. Предел этому злу был положен лишь одним зимним утром, когда некий труженик, выйдя на работу ранним утром, нашел застывшее тело Питера Квинта посреди дороги близ выхода из деревни; причиной несчастья, во всяком случае

по первому впечатлению, стала рана на голове: такую рану он мог бы получить — и действительно получил, как потом выяснилось, — из-за того, что, выйдя из паба в темноте, сбился с пути, поскользнулся и упал с обледенелого откоса, под которым и лежал. Скользкий лед, неверный поворот в ночной темноте и в подпитии объяснили многое, и в конце концов, после расследования и бесконечных пересудов, были признаны единственным объяснением; однако в жизни Квинта были разные дела, странные и опасные обстоятельства, тайные нарушения и больше пороков, чем можно было подозревать, и все это давало основания для совсем иных выводов.

Не знаю, удастся ли мне подобрать слова, чтобы правдиво описать тогдашнее мое состояние; но я была способна испытывать радость оттого, что ситуация требовала от меня высокого героизма. Теперь я понимала, для какой прекрасной и трудной службы была призвана и какое величие ждет меня, когда выяснится — о, в нужный момент! — что я сумела справиться там, где многие другие девушки, возможно, потерпели неудачу. Сильно помогло мне то, что (признаюсь, оглядываясь назад, я готова рукоплескать самой себе!) я воспринимала свою службу так просто и

серьезно. Меня поставили охранять и защищать маленьких осиротевших людей, которым не было равных в мире по прелести, чья беззащитность внезапно стала столь очевидной и вызывала глубокую, постоянную боль в преданном сердце. По сути, мы все вместе были отрезаны от мира; опасность сплотила нас. У них не было никого, кроме меня, а у меня… да, были они. Коротко говоря, это был великолепный шанс. И этот шанс явился мне в образе весьма материальном. Я стала заслоном перед детьми. Чем больше увижу я, тем меньше достанется им. Я начала следить за ними в состоянии глухой тревоги, скрывавшей возбуждение, которое могло бы, продлись оно дольше, перерасти в род безумия. На мой нынешний взгляд, спасло меня то, что взвешенное состояние внезапно переменилось. Вместо неопределенной тревоги явились жуткие доказательства. Доказательства, говорю я, да — с того момента, когда я реально вступила в бой.

Момент этот наступил в послеполуденный час, который мы с моей младшей ученицей провели вдвоем в парке. Майлса мы оставили дома, на диванчике с красными подушками в глубокой оконной нише; он хотел дочитать книжку, и я не собиралась препятствовать такому похваль-

ному желанию подростка, чьим единственным недостатком была излишняя непоседливость. Его сестра, напротив, просилась погулять, и мы ходили с полчаса, подыскивая тенистое место, ибо солнце стояло еще высоко и день выдался весьма жарким. На прогулке я в который раз поразилась, как девочка, подобно ее брату, умеет оставить меня в покое, не оставляя меня, и составлять мне компанию, не вертясь под ногами. Это свойство обоих детей было очаровательно. Они никогда не бывали ни назойливыми, ни вялыми. Пристальное внимание не требовалось: я просто смотрела, как отлично они развлекаются без меня. Они как будто усердно готовили спектакль и приглашали меня активно восхищаться. Я входила в мир их воображения — им незачем было опираться на мое; мое время расходовалось, лишь когда нужно было изобразить по ходу игры какую-нибудь замечательную личность или вещь; благодаря моему старшинству и статусу это занятие было для меня приятной и достойной синекурой. Не помню, что я тогда изображала — что-то очень важное и очень тихое, — но Флора сильно увлеклась игрой. Мы расположились на краю озера, а поскольку я недавно начала преподавать детям географию, озеро было наречено Азовским

морем.

Такова была обстановка, когда я внезапно ощутила, что по другую сторону «Азовского моря» у нас есть заинтересованный зритель. Каким способом я обрела это знание? Ничего страннее этого откровения не бывало, если не считать еще более странного другого, вскоре явившегося. Я сидела с каким-то рукодельем — роль позволяла мне сидеть — на старой каменной скамье с видом на водоем; и в этой позиции я начала воспринимать с уверенностью, хотя и не видя, присутствие третьего лица в отдалении. Старые деревья и густые заросли кустарника давали обширную и приятную тень, но ее пронизывали яркие блики жаркого дневного света. Все вокруг было однозначно, ни в чем нельзя было усомниться, по меньшей мере в моем убеждении, крепнущем с минуты на минуту, что я увижу прямо перед собой за озером, как только направлю туда взгляд.

Глаза мои в тот момент были обращены к шитью, которым я занималась, и даже сейчас я ощущаю свою судорожную попытку не поднимать голову, пока я достаточно успокоюсь, чтобы сообразить, что мне делать. В пределах видимости имелся чужеродный объект, в правомерности присутствия которого я немедленно, страстно

усомнилась. Помню, что я перебрала в уме все вероятные варианты, учитывая такие вполне естественные возможности, как, например, приход одного из наших служащих, или курьера, почтальона, мальчика-посыльного из деревенской лавки. Хотя я все еще ничего не видела, это рассуждение практически не повлияло на мою убежденность, что характер и поведение пришельца выдают в нем известного мне гостя. Мне уже казалось вполне естественным, что видимые вещи могут быть абсолютно иными, нежели они должны быть.

В том, что новое явление тождественно предыдущим, я уверилась, как только стрелки на маленьких часиках моей отваги дошли до нужной минуты; тем временем, сделав усилие ненамного меньшее, я перевела взгляд на Флору, которая находилась ярдах в десяти от меня. При мысли о том, заметит ли видение девочка, сердце мое замерло на миг от сомнений и ужаса; и я, затаив дыхание, ожидала, когда она вскрикнет или подаст какой-либо иной знак интереса или испуга, и я пойму…

Я ждала, но ничего не произошло; затем в первую очередь я осознала — и это было, пожалуй, страшнее всего, о чем я должна рассказать, — что

за последние минуты не слышала от девочки ни звука; и во вторую — что за те же минуты Флора повернулась спиною к воде. В такой позе я застала ее, когда наконец посмотрела, с твердым убеждением, что за нами обеими прямо сейчас следят. Малышка только что подобрала с земли обломок дощечки с небольшой дырочкой, и это, очевидно, навело ее на мысль, воткнув палочку в качестве мачты, соорудить лодочку. Когда я взглянула на нее, она увлеченно и усердно пыталась соединить эти детали. Понимание того, что она делала, так подбодрило меня, что через несколько секунд я почувствовала себя готовой на большее. Тогда я повернулась — и стала лицом к тому лицу, которое должна была увидеть.

VII

Я разыскала миссис Гроуз, как только смогла освободиться; как я пережила время до встречи, не могу вразумительно объяснить. Но свой хриплый вскрик, когда я бросилась к ней, я словно слышу и сейчас:

— Они знают… это чудовищно, они знают, знают!

— И что же это они могут?.. — экономка обняла меня, но в голосе ее слышалось недоумение.

— Да все, что мы знаем, — и лишь богу ведомо, что еще кроме этого! — Она отпустила меня, и я описала инцидент, впервые полностью осознав его сама. — Два часа назад, в саду, — я едва могла ворочать языком. — Флора видела!

Гроуз восприняла новость как удар под ложечку.

— Малышка сама вам сказала? — прошептала она.

— Ни слова, в том-то и ужас. Не выдала! Ребенок восьми лет, такой ребенок!

Потрясение мое я пока не могла выразить словами.

Гроуз, конечно, только и смогла, что еще шире раскрыть рот.

— Откуда же вы узнали?

— Я там была… видела собственными глазами: девочка была полностью в курсе дела.

— В курсе того, что он явился?

— Не он, а она, — я понимала, что произвожу странное впечатление, было заметно, что моя соратница очень медленно осваивается с новостью. — На этот раз — другая особа; но от ее фигуры безошибочно веет такой же жутью и злом: женщина в черном, бледная и страшная… с тем же выражением, и с таким лицом!.. по ту

сторону озера. Я там сидела с малышкой, все было тихо, и тут она явилась.

— Но как явилась — и откуда?

— Откуда все они являются! Она просто возникла и стояла там — но не так близко.

— И не подошла ближе?

— Знаете, если судить по эффекту и ощущениям, то она все равно что стояла рядом, как вы!

По странному побуждению моя добрая экономка отступила на шаг.

— Вам эта особа совсем незнакома?

— Совсем. Но дитя ее знает. И вы знаете, — тут я высказала то, что успела надумать. — Это моя предшественница — та, которая умерла.

— Мисс Джессель?

— Мисс Джессель. Вы мне не верите? — с нажимом спросила я.

— Как вы можете утверждать? — Очень расстроенная, она покачала головой.

Состояние моих нервов никуда не годилось, и я сорвалась.

— А вы спросите у Флоры — она не сомневается! — Тут же я пожалела о сказанном и поправилась: — Нет, бога ради, не надо! Она скажет, что ничего не было… она солжет!

— Ах, да как же вы можете? — Гроуз не была

настолько потрясена, чтобы не протестовать.

— Потому что ясно вижу. Флора не хочет, чтобы я знала.

— Только затем, чтобы вас не тревожить.

— Нет, нет — там глубоко, глубоко! Чем больше я вникаю в это дело, тем глубже вижу, и чем глубже вижу, тем сильнее боюсь. Но я не знаю, что упускаю из виду — и чего еще не боюсь!

— То есть вы боитесь снова ту особу увидеть? — спросила Гроуз, пытаясь понять меня.

— О нет! Теперь-то это не страшно! — Мне пришлось объяснить. — Боюсь не увидеть.

Экономка по-прежнему туго соображала.

— Я вас не понимаю.

— Да просто дитя может заняться видением — и дитя несомненно займется, не давая знать мне.

Возможность такого поворота на миг сокрушила миссис Гроуз, но, понимая, каким силам мы открыли бы путь, сдавшись хоть на пядь, она сумела взять себя в руки.

— Боже милостивый, нам нужно не терять голову! И вообще, если Флора не беспокоится… — Гроуз даже неуклюже попыталась пошутить, — может, ей это нравится!

— Если нравится такое — она негодница, а не ребенок!

— Разве это не доказывает ее блаженную невинность? — рискнула предположить экономка.

Этим она на минуту почти убедила меня.

— О, за это мы должны ухватиться — и так держаться! Если это не доказывает правоту ваших слов, тогда я не знаю, что и думать! Ибо та женщина страшнее страшного!

Гроуз постояла, глядя себе под ноги, потом взглянула на меня:

— Расскажите, как вы узнали?

— Значит, вы допускаете, что это — та самая особа? — воскликнула я.

— Расскажите, как вы узнали, — просто повторила упрямица.

— Очень обыкновенно — глядя на нее! По ее внешнему виду.

— Так по-вашему, она вела себя непристойно?

— Господи, ничуть — я бы такого не потерпела. Она даже не глянула на меня. Она смотрела только на девочку.

— Как смотрела? — допытывалась Гроуз.

— Ах, взгляд ее был ужасен!

Она уставилась на меня, словно хотела найти сходство.

— Смотрела неприветливо?

— Да нет же. Боже упаси нас, гораздо хуже. В ее

взгляде была решимость… неописуемая. Что-то вроде яростного намерения.

— Намерения? — экономка побледнела.

— Схватить девочку.

Гроуз, не сводя с меня глаз, содрогнулась, отошла к окну и выглянула наружу.

— Именно это Флора знает, — договорила я.

— Та особа была в черном, вы говорили? — спросила она, снова повернувшись ко мне.

— В трауре. Платье бедное, чуть ли не оборванное. Но сама… да, исключительно красива. — Теперь я увидела, что довела наконец, шаг за шагом, жертву моих откровений до некоторого понимания, ибо она явно задумалась. — О, красива весьма и весьма, — продолжала я, — прямо чудо. Но от нее веет скверной.

Гроуз медленно подошла ко мне.

— Мисс Джессель… была скверной, — она взяла мою руку в свои и крепко сжала, как бы предупреждая приступ тревоги из-за того, что сейчас скажет. — Они оба были скверные.

Теперь мы снова могли рассуждать вдвоем, и благодаря этому я увидела всю картину в целом.

— Я оценила всю тактичность вашего умолчания, но теперь пришло время откровенности; вы обязаны все рассказать мне, — Гроуз вроде

бы согласилась, но хранила молчание; поэтому я добавила: — Я должна узнать здесь и сейчас. Как умерла гувернантка? Ну же, говорите, между ними что-то было?

— Было все что угодно.

— Несмотря на различие?..

— Ох, и ранг не тот, и воспитание… — печально призналась она. — Мисс Джессель была леди.

— Да, — подумав, согласилась я. — Она была леди.

— А он-то ужас до чего низко, — сказала Гроуз.

Я почувствовала, что моей собеседнице будет неприятно, если я стану дальше рассуждать о месте слуг на общественной лестнице; но ничто не мешало мне принять ее собственную мерку уровня падения моей предшественницы. Эти сведения можно было использовать, и я это сделала тем охотнее, что они завершали мое представление о покойном «личном» слуге нашего нанимателя — умного, благообразного человека — наглом, самоуверенном, испорченном, порочном.

— Этот парень был как пес, — миссис Гроуз, видимо, сочла, что в данном случае стоит уточнить оттенки. — В жизни не встречала ему подобного. Творил что хотел.

— И с нею?

— С ними всеми.

Можно было подумать, что мисс Джессель предстала перед моей приятельницей как будто воочию. Казалось, я уловила в ее глазах отражение той же фигуры, которую видела у озера; и я высказалась решительно:

— Должно быть, она хотела того же самого!

Судя по лицу Гроуз, так оно и было, но сказала она иное:

— Бедняжка… она заплатила за это!

— Значит, вы знаете, отчего она умерла? — спросила я.

— Нет, ничего не знаю и знать не желала, и довольна, что не узнала; но возблагодарила небеса за то, что для нее все это закончилось!

— И все-таки у вас было свое мнение насчет…

— Истинной причины ее отъезда? Ну, не без того. Она не могла остаться. Вы подумайте, каково бы ей, гувернантке, здесь пришлось! И позже я об этом раздумывала, и до сих пор. И разные ужасы воображаю.

— Мои еще ужаснее, — ответила я и невольно выдала ей то, что меня угнетало — сознание жалкого провала. Это вызвало у Гроуз прилив сочувствия, и моя способность сопротивляться рухнула от нового прикосновения ее доброты.

Как и в первый раз, я зарыдала, отчего и она заплакала, и на ее материнской груди я излила поток своих жалоб.

— У меня не получается! — всхлипывала я в отчаянии. — Я не спасаю их, не защищаю! Все гораздо хуже, чем я мнила: они погибли!

VIII

Мои жалобы имели под собой достаточно оснований: в деле, которое я изложила миссис Гроуз, были скрытые глубины и повороты, а у меня не хватало решимости исследовать их; поэтому, когда потрясающие осложнения снова свели нас, мы стали едины во мнении, что наш долг — сопротивляться сверхъестественным фантазиям. Нам следовало удержать в порядке свои головы, если не удастся удержать что-то еще; это была трудная задача, если учесть, что усомниться в приобретенном нами невероятном опыте было сложно.

Поздно ночью, когда весь дом уснул, мы еще раз поговорили с экономкой в моей комнате, и мне удалось привести ее к убеждению, что я видела именно то, что видела. Чтобы она прочно усвоила суть дела, мне потребовалось лишь спросить, каким образом я смогла, если все это «сочини-

ла», обрисовать внешность обеих явившихся мне фигур с такими подробностями, с личными приметами, что Гроуз мгновенно их узнала по описанию и назвала имена. Она, конечно, хотела бы — и ее не стоит в том винить! — предать забвению всю эту историю; и я быстро убедила ее, что мой личный интерес внезапно резко изменился: я буду искать способ выбраться из ловушки. Я удовлетворила ее, сказав, что повторные явления — а в том, что они повторятся, мы не сомневались, — вероятно, выработают у меня привычку к опасности и что уже сейчас опасность, грозящая мне лично, стала самой меньшей из моих забот. Трудно было перенести только вновь возникшие подозрения; но и эту тяжесть мне облегчили немного во второй половине того дня.

Днем, после взрыва эмоций, я, конечно же, вернулась к ученикам, ведь верным средством от тревоги служило их очарование, которое я уже научилась культивировать, и оно пока меня ни разу не подводило. Иными словами, я погрузилась в особую атмосферу общения с Флорой, и вдруг выяснилось — это было почти как роскошь! — что она улавливает признаки боли и тотчас приступает к исцелению. Внимательно взглянув на меня, она заявила, что мое лицо «пла-

кало». Я полагала, что стерла все уродливые следы слез, но сейчас, одаренная непостижимым милосердием девочки, я буквально возликовала, что следы еще заметны. Глядеть в лазурную глубину детских глаз и считать, что их нежность — это уловка взрослого лукавства, значило поддаться цинизму, и я предпочла отказаться от предубеждения и подавить, насколько возможно, свое волнение. Это не только соответствовало моему душевному желанию — позже, в ночные часы, я смогла, повторяя доводы снова и снова, убедить Гроуз, что если слышать их голоса, чувствовать биение их сердец, прикосновение их свежих щечек к своему лицу, то невозможно признать за ними что-либо, кроме слабости и красоты.

Чтобы разобраться с этим предметом раз и навсегда, мне пришлось заново перечислить все тонкие приемы, которые позволили мне днем у озера совершить чудо самообладания. К сожалению, я была вынуждена заново рассмотреть достоверность самого момента и установить, каким же образом ко мне пришло понимание того факта, что непостижимая связь, замеченная тогда мною, была для обеих сторон делом привычным. Сожалела я также и о том, что пришлось заново, с трудом, рассказывать, почему я,

будучи введена в обман, не усомнилась, что девочка видела «гостью» так же ясно, как я — саму Гроуз, что она хотела, видя ее, заставить меня думать, что не видит; и как, в то же время, она сумела, не подавая виду, догадаться, что и я вижу! Сожаление вызывала и необходимость снова доказывать значимость тех действий, которыми Флора пыталась отвлечь мое внимание: заметно усилившаяся подвижность, показная увлеченность игрой, пение, бессмысленная болтовня и даже приглашение затеять шумную игру.

Однако если бы я захотела доказать, что ничего особенного не случилось, и не произвела этот пересмотр, то пропустила бы два-три утешительных момента, еще доступных для меня. Например, я бы не смогла клятвенно уверить мою подругу, что сумела (а это было явно к лучшему) хотя бы себя не выдать. И если бы не решимость припереть соратницу к стене, то мне в голову бы не пришло, под нажимом душевной нужды или отчаяния разума — уж не знаю, какие слова подобрать, — устраивать дополнительное расследование. Мало-помалу Гроуз, под моим натиском, поведала многое; но некая ее уклончивость то и дело задевала мое сознание, словно крыло летучей мыши; и я помню, как сонная тишина в доме,

наше бдение и концентрация опасности помогли мне понять, как важно сделать последний рывок и полностью раскрыть занавес.

— Я не верю, что все так ужасно, — помнится, сказала я, — давайте определенно заявим, моя дорогая: не верю. Но если бы верила, учтите, что я должна кое-что потребовать от вас, прямо сейчас, не щадя вас более — о, нисколько, ни чуточки! Скажите, что вы имели в виду, когда, перед приездом Майлса, мы обе расстроились из-за письма директора школы, и вы сказали, по моему настоянию, что мальчик был «злым» не всегда? За те недели, что я сама провела рядом с ним и так внимательно наблюдала, он вообще не был таким; он был безмятежным маленьким чудом добра и любви. Соответственно, вы могли сказать подобное лишь в порядке исключения. Так вот, что это за исключение и из каких личных наблюдений вы его извлекли?

Я произвела ужасно строгий допрос, но ситуация не допускала легкомыслия, и, так или иначе, еще до того, как предвестие рассвета заставило нас расстаться, я получила желаемый ответ. То, о чем умалчивала экономка, оказалось весьма важно. Выяснилось, ни больше ни меньше, что на протяжении нескольких месяцев Квинт и

мальчик постоянно общались. В пользу миссис Гроуз говорила ее храбрая попытка покритиковать неуместность этой ситуации; она намекала на неприличие такой тесной дружбы и даже позволила себе откровенно заявить об этом мисс Джессель. Мисс Джессель, как ни странно, потребовала, чтобы та не лезла не в свое дело, после чего добрая женщина рискнула обратиться напрямую к маленькому Майлсу. Под моим нажимом она упомянула, что сказала ему, как ей хотелось бы, чтобы юный джентльмен не забывал о разнице положений.

Я, конечно, настояла на уточнении.

— Вы напомнили ему, что Квинт — всего лишь простой слуга?

— А то как же! Но вот ответ его был плох.

— И что он сделал? — спросила я после паузы. — Пересказал ваши слова Квинту?

— Нет. Вот как раз этого не сделал, — ей снова удалось меня впечатлить. Но она еще добавила: — Во всяком случае, я уверена, что не сделал. Так он еще и отрицал некоторые случаи.

— Что за случаи?

— Когда они оставались вдвоем, как если бы Квинт был его наставником, и очень важным, а с маленькой леди занималась только мисс

Джессель. То бишь Майлс с тем типом уходил гулять и проводил с ним целые часы.

— Выходит, что он увильнул от правды — сказал, что этого не было? — Ответ был мне так ясен, что я добавила: — Понимаю. Он солгал.

— Ох ты! — пробормотала миссис Гроуз. Видимо, это ей не показалось важным, судя по следующему замечанию: — Видите ли, ведь мисс Джессель не возражала. Она этого Майлсу не запрещала.

— А он сослался на это в свое оправдание?

— Нет, — неохотно произнесла она, — Майлс об этом ничего не говорил.

— Не упоминал о гувернантке в связи с Квинтом?

Гроуз заметно покраснела, поняв, к чему я клоню.

— Ну, не высказывал он ничего. Отрицал, — и она повторила: — он отрицал.

Господи, как же мне пришлось нажать на нее!

— Значит, вам стало ясно, что ребенок знал, что происходило между этими двумя негодниками?

— Не знаю, — простонала бедняжка. — Не знаю!

— Да знаете вы все, дорогая моя. Просто вам недостает моей ужасной храбрости, и вы умал-

чиваете, из робости, скромности и деликатности, даже о том, что в прошлом, когда вам приходилось, без моей помощи, молча терпеть, мучило вас больше всего. Но я вытащу это наружу! Что-то в поведении мальчика дало вам понять, что он покрывал и оберегал их связь.

— Ох, он не смог препятствовать…

— Тому, что вы, осмелюсь утверждать, узнали правду? Но, боже мой, — я разгорячилась от новой мысли, — что же они должны были сделать, чтобы до такой степени преуспеть с ним?!

— Ах, да ведь нынче все уже наладилось! — печально заметила Гроуз.

— Меня уже не удивляет, что вы так странно себя повели, — не унималась я, — когда узнали от меня про то письмо из школы!

— Не думаю, что вела себя страннее вашего! — парировала она простодушно. — И если он так худо поступал раньше, как же он может быть таким ангелом сейчас?

— И в самом деле… да и творил ли что-то плохое в школе! Как же, как это понять? Знаете что, сделаем так, — сказала я, совсем измучившись, — оставьте это на мой суд, но я что-то скажу лишь через несколько дней. Только оставьте это на мой суд! — я сорвалась на крик, и Гроуз уставилась на

меня. — Есть направления, в которых я пока не должна двигаться.

Тем временем я обдумала ее упоминание о том, что мальчик иногда очень кстати для нас проговаривался.

— Если вы, упрекая Майлса, назвали Квинта низким слугой, позвольте угадать: он сказал вам, что вы такая же? — По лицу экономки было видно, что я попала в цель. — И вы простили ему?

— А вы бы не простили?

— О да! — Почему-то это нам обеим показалось забавным, и среди ночной тишины раздался наш смех. Потом я продолжила: — В любом случае, пока Майлс общался с мужчиной…

— Мисс Флора оставалась с женщиной. Это устраивало их всех!

Это в некотором смысле устраивало и меня тоже, ибо я чувствовала, что стою перед дверью, скрывающей особые ужасы, и старалась запретить себе заглядывать за нее. Но теперь я узнала достаточно и сумела остановиться вовремя; поэтому здесь я не пролью больше света на этот предмет и ограничусь передачей моих последних реплик.

— То, что мальчик лгал и был дерзок, признаюсь, не настолько впечатляющие образцы

естественного поведения человека, какие я ожидала получить от вас. И все же их хватит, чтобы мне быть начеку еще больше, чем прежде.

Рассказ Гроуз о разговоре с мальчиком заставил меня задуматься — хватило ли бы моей нежности, чтобы простить его? И тут же мне стало стыдно, потому что лицо моей подруги выражало безграничное прощение. Это выяснилось, когда, уже подойдя к двери классной комнаты, она спросила:

— Но вы же не обвиняете его, правда?..

— В том, что он скрывает от меня свои отношения с кем-то? Ах, запомните, что я не стану обвинять никого, пока нет новых сведений. Я просто должна подождать.

С этим она вышла и направилась по другому коридору в свою комнату. Я закрыла за нею дверь.

IX

Я ждала и ждала, а дни проходили, и мое напряжение ослабевало. Новых инцидентов не было, и, проводя время с утра до вечера в общении с учениками, я довольно скоро почувствовала, что болезненные фантазии и даже неприятные воспоминания тускнеют, будто буквы, стертые с доски губкой. Я упоминала уже о том, что могла

активно культивировать в душе преклонение перед удивительной детской прелестью, и вы можете легко представить себе, что я не пренебрегала этим источником, какие бы камни ни таились на его дне. Трудно выразить всю странность этой попытки бороться с открывшимися фактами; но она, конечно, была бы гораздо более мучительной, не будь столь успешной. Я часто удивлялась тому, как мои маленькие подопечные могли догадываться, что я думаю о них; и то, что эти странные мысли делали общение с ними еще более интересным, отнюдь не помогало мне скрывать их от детей. Я содрогалась от боязни, как бы они не заметили этот мой огромный интерес. Мысленно я часто представляла себе самое худшее развитие событий и приходила к выводу, что в любом случае даже пятнышко на их невинности — при всей их безупречности и предсказуемости — становилось еще одним доводом в пользу риска. Бывали моменты, когда я, повинуясь непреодолимому импульсу, обнимала детей и прижимала к своему сердцу. Поддавшись такому порыву, я говорила себе: «Что они об этом подумают? Не выдаю ли я себя?» Я могла бы легко запутаться в печальных, диких зарослях подобных мыслей; но реальным итогом тех мирных

часов, которыми мне удавалось еще наслаждаться, был вывод, что непосредственный шарм моих маленьких воспитанников был маскировкой, действенной даже при подозрении, что они притворяются. Иными словами, я сообразила: если дети что-либо усмотрели в проявлении моих горячих эмоций, то ведь и я, помнится, подумывала, не странно ли заметное усиление их показной ласковости.

Дети в ту пору проявляли чрезмерную и неестественную любовь ко мне; правда, если подумать, это могло быть и просто их чувствительной реакцией на непрестанные танцы взрослых вокруг них и ласку. Почести, обильно воздаваемые мне, признаться, успокаивали мои нервы, и я ни разу не смогла, так сказать, поймать детей на обмане. Они никогда прежде, пожалуй, не старались сделать так много приятного для их бедной защитницы; и дело тут даже не в том, что они усваивали уроки все лучше и лучше, что, естественно, радовало меня больше всего. Брат и сестра развлекали, забавляли меня, устраивали сюрпризы; читали отрывки из книг, рассказыва-

ли истории, разыгрывали шарады[15], налетали на меня в костюмах животных или исторических персонажей, но более всего они восхищали меня, представляя «пьесы», которые тайком разучивали и могли часами декламировать наизусть. Не следует доискиваться причин — даже если бы я взялась за это сейчас — тех особых личных наблюдений, корректируемых еще более личным восприятием, которые заставляли меня тогда сокращать часы их занятий. С самого начала дети проявили способности ко всем предметам, общую предрасположенность к учению, которая обеспечила им замечательные успехи. Они принимали от меня задания так, словно любили их, и совершали, ради столь щедрого дара, без принуждения, маленькие чудеса запоминания. Они выскакивали из-за угла не только в виде тигров или римлян, они изображали современников Шекспира, астрономов, мореходов. Случай был до того необычный, что, видимо, это и определило мое решение, которое я и поныне затрудняюсь

[15] Примечания: 15

Шарады — одна из разновидностей салонных игр, словесный аналог ребуса — картинки, в которых слово, подлежащее отгадыванию, разделяется на несколько составных частей, каждая из которых является самостоятельным словом. Затем эти части шифруют в виде загадки, часто стихотворной. Более сложная форма шарад — театрализованная пантомима — была любимым развлечением взрослых и детей в культурных семьях того времени.

объяснить иначе: я имею в виду свое неестественно отрицательное отношение к отправке Майлса в другую школу. Помню, что я постановила на время не поднимать этот вопрос и удовлетворилась этим потому, что мальчик выказывал ежедневно поразительные признаки ума. Он был слишком умен, чтобы неумелая гувернантка, дочь пастора, позволила себе его испортить; и самой странной, если не самой яркой нитью в моей тогдашней умственной вышивке было впечатление, которое я не осмелилась додумать до конца, что он находился под чьим-то влиянием, служившим огромным стимулом в его детской интеллектуальной жизни.

Впрочем, решить, что такой мальчик может пока обойтись без школы, было нетрудно, а вот как такого мальчика мог «выгнать» директор школы, оставалось тайной. Должна добавить, что, находясь почти постоянно в обществе учеников — а я старалась их надолго не оставлять, — я не смогла пройти по каким-либо следам далеко. Мы жили в ореоле музыки, любви, успехов и любительских спектаклей. Музыкальный слух у обоих детей был отличный, но старший особенно отличался способностью схватывать и повторять. Пианино в классной комнате служило орудием против

любых мрачных фантазий; а когда это не получалось, были еще посиделки в разных уголках, когда они по очереди, в самом веселом настроении, выбегали, чтобы «войти» обратно в новом образе. У меня самой были братья, и для меня не тайна, что маленьким девочкам бывает присуще рабское преклонение перед маленькими мальчиками. Но вот нашелся же в мире мальчик, способный так трепетно относиться к существу другого пола, меньшему по возрасту и уму! Дети были необыкновенно дружны, и сказать, что они никогда не ссорились, не ябедничали — значит воздать лишь сухую хвалу их милоте. Правда, порой, более сухим взглядом, я замечала следы каких-то недоразумений между ними: тогда один из них старался привлечь мое внимание, а другой куда-то прятался. В любой дипломатии, я полагаю, есть своя наивная сторона; но если мои ученики и злоупотребляли моей добротой, то проявляли минимальную грубость. Затем, после недолгого затишья, грубость проявилась в совсем ином аспекте.

Вижу, что сильно затягиваю повествование; но я должна сделать рывок. Продолжая рассказ о мерзостях Блая, я не только бросаю вызов самому великодушному доверию — это меня мало

беспокоит, — но, что гораздо хуже, воскрешаю пережитые страдания; придется мне снова пройти тот путь до конца.

Час, после которого, как я теперь вижу, покой сменился сплошными мучениями, настал внезапно; но я уже дошла до середины, и пройти к выходу самым прямым путем можно лишь двигаясь вперед. Однажды вечером, без каких-либо примет или предвестий, я ощутила то же холодное дуновение, что и в ночь моего приезда; но тогда оно было более легким и, как я уже упоминала, не осталось бы, вероятно, в памяти, если бы не волнения следующих дней. Я еще не легла, читала при паре свечей. В Блае была целая комната, набитая старыми книгами, романами, в том числе прошлого века; были там сочинения с определенно подпорченной репутацией, но отнюдь не редкие экземпляры, свезенные в этот заброшенный дом, и я, с неудержимым любопытством молодости, увлеклась ими.

В тот вечер я сидела, помнится, с «Амелией»

Филдинга в руках, и меня не тянуло в сон[16]. Почему-то я была твердо убеждена, что уже очень поздно, и притом не хотела взглянуть на часы. Кроме того, я помню, что белый складчатый, по моде тех дней, полог над изголовьем кроватки Флоры надежно оберегал ее детский сон, — это я обязательно проверяла по вечерам. Одним словом, хотя книга меня глубоко заинтересовала, ее очарование внезапно рассеялось, и я, перевернув страницу, уставилась на дверь комнаты. С минуту я прислушивалась, вспоминая то смутное ощущение первой ночи, что по дому движется нечто непонятное, и еще заметила, что легкий ветерок из открытых створок окна слегка шевелил опущенную до середины штору. Затем, с видимым хладнокровием, которое могло бы показаться кому-то восхитительным, если б там было кому восхищаться, я отложила книгу, встала, взяв свечу, быстро вышла из комнаты и, бесшумно закрыв дверь снаружи, заперла ее на ключ.

Моя свеча едва рассеивала темноту. Не знаю,

---

[16] Примечания: 16

Под «прошлым веком» здесь, естественно, подразумевается век 18-й; «Амелия» (“Amelia”) — бытописательский роман английского прозаика Генри Филдинга, впервые опубликованный в 1751 году. Ничего возмутительного в аспекте морали роман не содержит, но для женщины с викторианским воспитанием реализм этой книги мог показаться излишним.

что придавало мне решимость, что вело, но я пошла прямо по коридору, высоко подняв свечу, пока не разглядела впереди большое окно у поворота главной лестницы. В этот момент стремительно произошли три события. Они были фактически одновременны, но я уловила их в последовательности, как три вспышки. Свеча, ярко разгоревшись, вдруг погасла, и я поняла, что все разгляжу и без нее: за окном ночной мрак уже уступал рассвету. Потом я увидела какую-то фигуру на ступеньках. Тут мне потребовались считаные секунды, чтобы приготовиться к третьей встрече с Квинтом. Призрак уже достиг площадки на полпути наверх и оказался совсем рядом с окном, где увидел меня, замер и уставился тем же жестким взглядом, каким смотрел с башни и из сада. Он узнал меня, как и я его; и так, в холодном, слабом полумраке, где поблескивали лишь стекла и полированный дуб перил, мы смотрели друг на друга с равным упорством. В тот раз он казался абсолютно живым — отвратительный, опасный пришелец. Однако не это было чудом из чудес; я бы назвала чудом то обстоятельство, что страх начисто покинул меня и я была готова помериться с ним силами.

Когда этот необыкновенный момент миновал,

мне досталось немало тревог, но ужас, слава богу, ушел навсегда. И он понял это — что стало мне ясно в мгновение ока. Я почувствовала, в яростном приливе уверенности, что, продержавшись еще минуту, смогу не считаться с ним — хотя бы на время; и всю эту долгую минуту призрак выглядел словно живой, мерзкий человек, мерзкий именно потому, что он и был таким человеком: я как будто столкнулась в одиночку, глубокой ночью, в спящем доме, с каким-то врагом, авантюристом, преступником. Именно мертвая тишина, сопровождавшая наш долгий обмен взглядами, придавала ужасу, и без того очень сильному, оттенок сверхъестественного. Если бы я встретила в такое время и в таком месте убийцу, то все-таки могла бы с ним заговорить. Что-то произошло бы между нами в реальности, по меньшей мере, я и, и он хотя бы пошевелились. А тогда время растянулось; еще чуть-чуть — и я усомнилась бы в собственном существовании. То, что за этим последовало, не могу выразить иначе, как сравнив тишину — которая в определенном смысле была проявлением моей силы — с некой материей, поглотившей фигуру пришельца; в тишине смотрела я, как он поворачивается и уходит, как мог бы уйти при жизни тот низкий негодяй, заслы-

шав зов хозяина, а я гляжу тому в прямую спину, которую никакой горб не изуродовал бы сильнее, пока он спускается по ступенькам и исчезает во тьме за поворотом лестницы.

X

Я постояла немного на верхней площадке, пока не осознала, что незваный гость, уходя, в самом деле ушел, и тогда вернулась в свою комнату. При свете оставленной мною свечи я сразу же увидела, что кроватка Флоры пуста; и тут ужас, которому я пятью минутами ранее давала отпор, снова сразил меня. Едва дыша, я бросилась к кроватке, где оставила ее спящей: стеганое шелковое одеяльце откинуто, простыни смяты, а белый полог задернут, чтобы скрыть это; но мои шаги, к моему невыразимому облегчению, вызвали ответный звук: колыхнулась оконная штора, и малютка выпрыгнула из-за нее на пол. Она стояла, не спеша укрыться, в короткой ночной сорочке. Голые розовые ножки, золото локонов, насупленное личико… Никогда не приходилось мне так остро чувствовать потерю преимущества (только что чудом приобретенного), как в ту минуту, когда она напустилась на меня с упреками:

— Вы нехорошая! Где вы пропадали?

Вместо того чтобы сделать ей выговор за шалость, я вынуждена была оправдываться и объяснять. Она же, в свою очередь, объяснила, с милым простодушием, с легкостью, будто неожиданно проснулась, заметила мое отсутствие в комнате и вскочила посмотреть, что со мной. От счастья, что девочка нашлась, я вдруг — и лишь ненадолго — почувствовала слабость в ногах и опустилась в кресло; а она тут же подбежала, взобралась ко мне на колени, ожидая, что я ее обниму, и пламя свечи озарило ее чудесное личико, еще румяное от сна. На мгновение я закрыла глаза, сознательно уклоняясь от избытка красоты, от сияния голубых глазок.

— Так ты меня высматривала в окне? — спросила я. — Ты думала, что я вышла погулять?

— Ну, знаете, я думала, что там кто-то гуляет, — не моргнув, улыбнулась она. О, как внимательно взглянула я на нее!

— И ты кого-нибудь увидела?

— Ах, не-е-т! — как бы с милой детской непоследовательностью огорченно протянула она.

В тот момент, при сильно натянутых нервах, я полностью уверилась, что она лжет; я снова закрыла глаза, но теперь меня ослепили вспышки мыслей о разных способах выхода из ситуации.

Один показался мне настолько соблазнительным, что в попытке устоять я судорожно, крепко сжала девочку, но она, на удивление, не вскрикнула, не выказала испуга. Почему бы не нажать на нее сию минуту и сразу все узнать? Бросить ей правду прямо в миловидное, сияющее личико? «Пойми же, ты знаешь, что делаешь, и уже почти убедилась, что я тебя проверяю; так почему бы тебе не признаться во всем откровенно, чтобы мы вместе могли как-то ужиться с этим и, быть может, как ни странна вся эта история, выяснить, что нам делать и что она означает?» Увы, это намерение я сразу отбросила; а ведь если бы поддалась ему, то избавила бы саму себя… от чего, вы дальше узнаете. Вместо этого я избрала бесполезный, промежуточный путь: поднялась с кресла, подошла к кроватке и спросила:

— Зачем ты задернула полог, чтобы мне показалось, что ты тут лежишь?

Флора явно задумалась и ответила с божественной улыбкой:

— Затем, что мне не нравится вас пугать!

— Но если бы я, как ты полагала, действительно вышла в сад?..

Она не позволила себя озадачить; взглянула на пламя свечи, как если бы в моем вопросе

не было ничего важного или во всяком случае личного, вроде мы обсуждали книжку Марсет[17] или «сколько будет девятью девять», и ответила вполне адекватно:

— Да ведь вы знаете, милая мисс, что можете всегда вернуться, и даже должны!

Вскоре она улеглась в постель, а мне пришлось, сидя рядом, долго держать ее за руку, чтобы доказать, что я признаю необходимость своего возвращения.

Можете себе представить, во что с тех пор превратились мои ночи. Я досиживала без сна уж не скажу насколько допоздна; выбирая моменты, когда девочка несомненно спала, я крадучись покидала комнату и бесшумно проходила по коридору, добираясь даже до того места, где в последний раз встретила Квинта. Однако я больше не видела его там; пожалуй, здесь нужно заметить, что он вообще больше не являлся мне в доме. На лестнице, впрочем, со мной чуть не приключилась другая встреча. Однажды, поглядев вниз с верхней площадки, я заметила женщину, сидевшую на одной из нижних ступенек ко мне

---

[17] Примечания: 17

Джейн Марсет (Marcet, 1769–1858) — английская писательница, знаменитая в свое время тем, что создала новый жанр научно-популярных книг по разным отраслям науки.

спиной; он сидела ссутулившись и пряча голову в руках, в позе глубокого горя. Но в следующее мгновение она исчезла, не оглянувшись на меня. Все-таки я поняла, какое ужасное лицо увидела бы, и задумалась — окажись я ниже ее на лестнице, хватило бы у меня хладнокровия, чтобы подняться выше, как при встрече с Квинтом?

Ну, что касается нервов, то поводов для волнения хватало. На одиннадцатый день после встречи с призрачным джентльменом — я теперь считала дни — мне выпала такая тревога, которая губительно напомнила о том случае и, в силу полной неожиданности, вызвала у меня острейший шок. К вечеру усталость, накопившаяся из-за ночных бдений, впервые за то время заставила меня лечь в обычный час. Я заснула мгновенно и, как выяснилось позднее, спала до часу ночи; но, проснувшись, я резко села в постели, словно разбуженная прикосновением чьей-то руки. Ложась, я оставила горящий светильник, но теперь он погас, и я сразу почувствовала, что его погасила Флора. Я вскочила и прямиком, в темноте, подбежала к ее кроватке, — она была пуста. Взглянув на окно, я поняла, в чем дело, и зажженная спичка помогла дополнить картину.

Девочка опять поднялась, на этот раз погасив

свечку, и втиснулась между рамой и шторой; то ли наблюдая за чем-то в ночи, то ли ожидая отклика, она глядела в окно, опершись о подоконник, — рама открывалась наружу. Сегодня малышка увидела то, чего, на радость мне, не смогла увидеть в прошлый раз; меня убедила в этом сосредоточенность Флоры: ее не отвлекла ни вспышка спички, ни мои поспешные поиски тапочек и шали. Чувствуя себя защищенной в укромном уголке, увлеченная, она явно отрешилась от всего прочего. Ей способствовала безмятежная полная луна, и я, учтя это, быстро приняла решение. К девочке явился тот же призрак, что был у озера, и если тогда они пообщаться не могли, то сейчас это у них получилось. Я поставила себе задачу: не беспокоя Флору, добраться по коридору до какого-нибудь окна в той же части дома. Я подошла к двери — она не услышала; я вышла, закрыла за собой дверь и прислушалась, но из комнаты не донеслось ни звука. Стоя в коридоре, я бросила взгляд на дверь комнаты ее брата, в десяти шагах, и меня вновь настиг тот же упомянутый ранее странный и неописуемый соблазн. Не войти ли мне туда, прямо к его окну? Что если я, рискнув открыть ошеломленному мальчику, зачем пришла, смо-

гу зацепить последнюю часть тайны длинным крючком своей храбрости?

Эта идея подвигла меня подойти к порогу Майлса, но там я остановилась. Я напряженно прислушалась, раздумывая, что может там происходить: пуста ли его постель, глядит ли он также тайком в ночь из окна. Беззвучно, быстротечно минули мгновения, и мой порыв угас. В спальне было тихо; мальчик мог быть ни в чем не повинен; риск был ужасен — и я отступила. В саду маячила фигура той, которая рыскала, желая быть увиденной, той, с кем была связана Флора; но эта гостья не касалась моего мальчика.

Я снова заколебалась, но ненадолго и по другой причине: нужно было найти место. В Блае имелись пустые комнаты, оставалось лишь выбрать подходящую. Мне пришло в голову, что стоит спуститься этажом ниже; там, в торце здания, в старой башне, о которой я упоминала, располагалась — достаточно высоко над садом — парадная спальня. Большая, квадратная, роскошно обставленная, из-за своих размеров она была неудобна, и, хотя миссис Гроуз содержала ее в образцовом порядке, там годами никто не жил. Мне эта комната нравилась, я часто бывала в ней и знала, что где стоит; пришлось немного

постоять, свыкаясь с нежилым холодком и сумраком, но потом я уверенно прошла к окну и осторожно отомкнула одну ставню, стараясь не шуметь. Затем беззвучно отодвинула занавеску и, прижавшись лицом к стеклу, могла убедиться, поскольку снаружи было гораздо светлее, чем внутри, что выбрала правильную точку обзора. И тут я увидела кое-что еще. Благодаря лунному свету ночь была исключительно прозрачной и не скрыла от меня фигуру человека на лужайке, уменьшенную расстоянием; некто стоял там неподвижно, словно околдованный, глядя вверх в моем направлении, но не прямо на меня, а куда-то выше. Очевидно, там, на башне, стоял кто-то еще; но человек на лужайке оказался отнюдь не тем, кого я представляла и так спешила встретить. Мне стало дурно, когда я разглядела, что там стоит бедняжка Майлс.

XI

Поговорить с Гроуз мне удалось только под конец следующего дня: необходимость следить за учениками затрудняла общение с нею, тем более что мы обе понимали, как важно не возбудить ни у слуг, ни у детей никаких подозрений насчет того, что происходит тайная суета или что мы об-

суждаем какие-то секреты. Мне достаточно было взглянуть на гладкое, свежее лицо экономки, чтобы убедиться в ее надежности. Она была не из тех, кто способен разболтать ужасные откровения. Я была уверена в ее полном ко мне доверии: иначе, право, не знаю, что стало бы со мною, потому что справиться с таким делом одна я не смогла бы.

Однако Гроуз могла бы послужить великолепным монументом благословенного качества — отсутствия воображения, и, не видя в наших маленьких подопечных ничего, кроме красоты, дружелюбия, счастливых характеров и ума, она не имела доступа к источнику моих треволнений. Если бы она обнаружила, что дети ушиблены или избиты, то, несомненно, выясняя причины, достаточно измучилась бы и осунулась, под стать им; однако при нынешнем положении дел я чувствовала, что, наблюдая за детьми, экономка, с ее сложенными на груди полными белыми руками и привычным спокойствием во всем облике, поблагодарит господа за милость, если, даже в случае порчи, в детях останется что-то, чему она сможет служить. Полеты фантазии были ей не свойственны, ее сознание было подобно ровному пламени камина, и, пока время шло без новых явных происшествий, я уже начала понимать,

как у нее развивается убеждение, что, в конечном счете, наши малыши могут уж как-нибудь постоять за себя, и потому она отнеслась с величайшей заботой к печальному состоянию их наставницы. Для меня это стало здравым упрощением: сохранять на людях спокойное лицо я могла, но следить еще и за лицом Гроуз в этих условиях было бы уже чересчур.

Мы вынуждены были встретиться на террасе; лето шло к концу, и полуденное солнце уже не палило, а приятно грело; мы сели рядом, так, чтобы можно было видеть, где дети, и позвать их в случае чего, — они прогуливались невдалеке от нас туда-сюда, ведя себя наилучшим образом. Они медленно, в ногу, прохаживались по лужайке внизу, и мальчик, обняв сестру за плечи, читал ей что-то вслух из книги сказок. Миссис Гроуз поглядывала на них с несомненным спокойствием; потом, сделав со скрипом умственное усилие, поддавшись укорам совести, обратилась ко мне, ожидая, что я покажу ей всю изнанку нашего ковра событий.

Мне пришлось нагрузить ее жуткими вещами, но, как ни странно, признавая мое превосходство — и образование, и должность, — экономка терпеливо перенесла причиняемую мной боль.

Она так усвоила мои открытия, что, предложи я сварить ведьминское зелье, пообещав, что это поможет, она тут же принесла бы мне большую чистую кастрюлю. Такое настроение возникло у нее к тому времени, когда я дошла в рассказе о предыдущей ночи до слов Майлса. Увидев его в тот чудовищный час, почти на том же месте, где он находился сейчас, я не забыла, что поднимать тревогу ни в коем случае нельзя, и потому не окликнула Майлса из окна, а вышла, чтобы увести его домой. Я дала понять экономке, что даже и не надеюсь внятно передать, при всем ее нынешнем сочувствии, мой восторг от того, с какой живостью мальчик ответил на мой четко сформулированный вопрос, когда мы вернулись в дом. Как только я появилась в лунном свете на террасе, он сразу пошел мне навстречу; я взяла его за руку и, не говоря ни слова, провела сквозь тени, по лестнице, где недавно Квинт так нетерпеливо дожидался его, по вестибюлю, где я тогда вслушивалась и дрожала, и наконец доставила в брошенную им комнату.

На ходу мы оба не издали ни звука, а я пыталась угадать — о, как пыталась! — какое приемлемое и не слишком вычурное объяснение он сейчас подыскивает, напрягая свой детский ум. Я, разу-

меется, готовилась отплатить ему за выдумку, и на этот раз, ожидая его открытого замешательства, ощущала близость своего торжества. Ловушка для неуловимого была расставлена! Мальчик больше не сможет играть в невинность; и какой же черт подскажет ему, как выкрутиться? И все же горячая пульсация этого вопроса сочеталась с унылой мыслью о том, как же выкрутиться мне самой. Теперь мне, как никогда прежде, ясен был весь риск прямого изложения мерзких фактов. Помню, какая слабость охватила меня, когда мы вошли в маленькую спаленку с несмятой постелью и окном, в которое вливался такой поток лунного света, что зажигать спичку не понадобилось; я опустилась, почти упала на край кровати, — так поразила меня вдруг догадка, что мальчик знает, как на самом деле он меня «подловил». Он мог творить все что вздумается, применяя свой недюжинный ум, пока я буду придерживаться известной традиции, согласно которой людям, занимающимся воспитанием молодежи, следует воздерживаться от страхов и предрассудков, как от преступления. Он и впрямь «подловил» меня, использовав мое положение; ибо кто бы отпустил мне этот грех, кто позволил бы уйти безнаказанно, если я первая нарушу

наше идеальное общение, внеся в него столь гадкий элемент, пусть даже едва заметной дрожью разоблачения? Нет, нет! Бесполезной была бы попытка объяснить миссис Гроуз (равно как и сейчас — вам), почему в минуты нашего краткого, жесткого столкновения в темноте я восхитилась мальчиком. Конечно же, я постаралась быть доброй и милостивой; никогда, никогда еще я не опускала руки на его плечи с такой нежностью, но потом, сидя на краешке кровати, крепко держала его под огнем своих вопросов. Ничего другого мне не оставалось, кроме как хотя бы формально расспросить.

— Сейчас ты должен мне все рассказать — и только правду. Зачем ты вышел из дому? Что ты там делал?

До сих пор ясно вижу его чудесную улыбку, блеск его красивых глаз и зубок в полутьме.

— Если я скажу, вы поймете?

Сердце мое отчаянно забилось. Скажет ли он? Слов у меня не нашлось, и я смогла ответить лишь неопределенным кивком и гримасой. Майлс был сама кротость, и пока я кивала, раз и другой, был еще больше похож на юного сказочного принца, чем всегда. Но именно этот светлый облик доставил мне временное облегчение. Мог ли он так

сиять, готовясь открыться мне?

— Ну, — сказал он наконец, — я вышел нарочно, чтобы вы могли сделать это.

— Что сделать?

— Сделать что-то новое. Подумать обо мне… плохо!

Никогда не забуду, как весело и ласково он произнес это слово, как потом склонился ко мне и поцеловал. На этом все и кончилось. Обняв его, я невероятным усилием воли сдержала плач. Он представил свой поступок именно в том свете, который исключал проникновение вглубь; нужно было как-то дать ему понять, что я этим удовлетворена, и лишь ради этого, оглядев комнату, я заговорила о другом:

— Значит, ты вообще не раздевался?

— Вообще! — Он еще пуще засиял в сумраке. — Я сидел и читал.

— И когда же ты вышел?

— В полночь. Уж быть плохим, так совсем!

— Да-да, понимаю — это чудесно. Но почему ты был уверен, что я узнаю?

— А я договорился с Флорой! — У него на все был готов ответ! — Она должна была встать и выглянуть в окно.

— Она так и сделала.

Это я угодила в ловушку!

— Вот, она потревожила вас, и вы захотели узнать, куда она смотрит, поглядели — и увидели.

— А ты тем временем, — отпарировала я, — рисковал схватить простуду в ночной прохладе!

Он буквально расцвел от гордости за свою выходку и не стал спорить.

— Я же не мог никак иначе стать совсем плохим!

Мы снова обнялись, на чем инцидент и расследование и закончились, а я признала, что мальчик обладал большими запасами благонравия, которые он сумел использовать ради своего розыгрыша.

XII

Снова скажу: при утреннем свете полученное мною впечатление стало казаться недоступным для передачи миссис Гроуз, хотя я и подкрепила его, упомянув другую реплику Майлса, произнесенную перед тем, как мы расстались.

— Какие-то полдесятка слов, — сказала я ей, — но эти слова проясняют всю ситуацию. «Думаю, вы знаете, что я мог бы сделать!» Он хотел тем самым подчеркнуть, какой он хороший. Он-то

досконально знает, что «мог бы» сделать. Видимо, чем-то таким он и отличился в школе.

— Господи, да вы изменились! — воскликнула моя подруга.

— Я не меняюсь, я просто выясняю факты. Все четверо, можете не сомневаться, регулярно встречаются. Будь вы рядом с любым из детей в любую из недавних ночей, вы все ясно поняли бы. Чем дольше я наблюдала и выжидала, тем яснее становилось, что при отсутствии других доказательств ничто не указывает на общение с призраками лучше, чем систематическое умолчание обоих детей. Ни разу не упоминали они своих старых друзей, даже случайно не обмолвились; точно так же Майлс не упоминал о своем изгнании. О да, мы с вами можем сидеть тут и смотреть на них, а они будут забавляться, обманывая нас, сколько им заблагорассудится; вот прямо сейчас, притворяясь, будто увлечены сказкой, они увлечены видением оживших мертвецов. Майлс не читает сестре, — уверенно сказала я. — Они беседуют о тех… они обсуждают ужасные вещи! Знаю, я выгляжу безумицей, сама удивляюсь, что это не так. Если бы вы видели то же, что и я, мигом лишились бы рассудка, но я только стала прозорливее и смогла заметить кое-что другое.

Такая прозорливость, наверно, казалась ужасной, но очаровательные объекты моих наблюдений, слаженно двигаясь туда-сюда, дали моей соратнице некую точку опоры; я почувствовала, что Гроуз старается на ней удержаться, потому что, не реагируя на мои страстные речи, не сводила глаз с детей.

— И что же это за другое?

— Это те же самые вещи, которые мне нравились, восхищали — и все же, в глубине души, как я лишь теперь понимаю, озадачивали и тревожили меня. Их неземная красота, их абсолютно сверхчеловеческая прелесть. Все это — игра, это система и жульничество!

— Чье? Этих милых малышей?..

— Для вас они все еще прелестные крошки? Да, как ни безумно это звучит!

Рассуждая вслух, я вдруг смогла уловить все связи и объединить разрозненные фрагменты в цельную картину.

— Они не были хорошими — они просто были не здесь. С ними было легко жить, потому что у них есть своя, отдельная жизнь. Они не мои, не наши. Они принадлежат нежити!

— Квинту и той женщине?

— Квинту и той женщине. И те хотят их за-

брать.

О, как же внимательно вгляделась теперь бедняжка Гроуз в гуляющих детей!

— Но зачем им это?

— Затем, что им дорого все то зло, которое эти двое вложили в души детей, пока были живы. И возвращаются они затем, чтобы еще крепче ухватить добычу, продолжить свои демонические труды.

— Батюшки! — прошептала экономка. Это простонародное восклицание означало, что мои доказательства приняты — она поняла, что случилось раньше, в темные дни, — а те дни были даже хуже нынешних! Не могло быть лучшего оправдания для меня, чем ее согласие с моим представлением о том, до каких глубин низости могла дойти наша парочка подлецов. Опыт и память, очевидно, заставили Гроуз признать:

— Они точно были негодниками! Но что же они могут сделать теперь?

— Что сделать? — вскрикнула я так громко, что Майлс и Флора на минутку остановились и издали поглядели на нас. — Разве мало делают они сейчас? — добавила я, понизив голос, а дети кивнули нам, улыбнулись и, послав нам воздушные поцелуи, возобновили демонстративную

прогулку. Понаблюдав за ними, я договорила: — Они могут уничтожить детей!

Теперь уж моя соратница повернулась ко мне, и невысказанный вопрос в ее глазах заставил меня уточнить:

— Они пока не знают, как это сделать, но очень стараются. Они показываются как бы вдали и вверху, в странных местах, на высоте — на крыше башни или дома, с наружной стороны окон, на дальнем краю водоемов; но в этом кроется их общий умысел — все четверо стремятся сократить расстояние и преодолеть препятствия; и успех искусителей — лишь вопрос времени. Им нужно только и впредь внушать детям тягу к опасности.

— Чтобы приманить деток?

— И чтобы те погибли, пытаясь дотянуться до них! — Миссис Гроуз медленно поднялась со скамьи, и я успокоительно добавила: — Если, конечно, мы им не помешаем!

Стоя передо мной (я по-прежнему сидела), экономка явно пыталась найти решение. Ее взгляд блуждал где-то вдалеке,

— Этому должен помешать их дядя. Он должен забрать деток отсюда.

— И кто же предложит ему заняться этим?

Обернувшись, она одарила меня глупой идеей:

— Вы, мисс.

— Написать ему, что его дом отравлен злом, а его маленькие племянник и племянница обезумели?

— Но если так и есть, мисс?

— И если я тоже не в своем уме, это вы подразумеваете? Он будет в восторге, получив такое известие от гувернантки, которой было настрого велено его не беспокоить!

Гроуз опять задумалась, следя взглядом за детьми.

— Да, беспокойства он не терпит. Наверно, поэтому…

— Негодяи так долго водили его за нос? Несомненно, хотя это было возможно лишь при крайнем его равнодушии. Так или иначе, я не злодейка и не намерена обманывать его.

Вместо ответа моя подруга снова села рядом со мной и сжала мою руку.

— Тогда убедите его приехать к вам!

— Ко мне? — я уставилась на нее, внезапно испугавшись, что она может натворить. — Хозяина?

— Ему следует прибыть сюда — он должен помочь.

Я вскочила и, наверно, показалась ей еще более странной, чем всегда.

— Вы считаете, что я могу послать ему приглашение?

Судя по выражению ее лица, она поняла свою ошибку. Женщина, даже недалекая, всегда поймет другую женщину, и ей представилось то же, что и мне: его насмешки, его шуточки, его презрение ко мне за то, что нарушила свой самоотверженный обет и прибегла к тонким уловкам, чтобы привлечь его внимание к моим жалким прелестям. Гроуз не знала, никто не знал, как я гордилась тем, что служу ему и не нарушаю условий; однако она учла, я думаю, всю серьезность моего предупреждения.

— Если вы настолько потеряете голову, что напишете хозяину вместо меня…

— Да, мисс? — испуганно пролепетала она.

— Я немедленно брошу и его, и вас.

Было нетрудно присоединиться к детям, но общаться с ними становилось задачей все более сложной, препятствия множились и требовали от меня чрезмерных усилий. Так продолжалось в течение месяца; в нашей песне возникали новые ноты, и одна из них звучала все пронзительнее — нота иронического умолчания со стороны уче-

ников. Я была уверена тогда, да и сейчас, что это не было игрой моего инфернального воображения: по разным признакам я замечала, что дети в курсе моего затруднительного положения, и это надолго сделало несносным мое существование.

Дело было не в том, что они лукавили, издевались или устраивали вульгарные выходки — эта опасность им не грозила; с другой стороны, объем неназываемого и неприкасаемого разрастался, заслоняя все остальное, и такое обширное умолчание нельзя было бы успешно поддерживать без некоего молчаливого соглашения. Получалось так, что мы то и дело внезапно натыкались на камни, требовавшие остановиться и свернуть с дорожки, ведущей в тупик, и, переглянувшись, мы закрывали, стараясь не хлопать — хотя хлопок обычно выходил громче, чем нам хотелось бы, — теми дверями, которые неосторожно приоткрыли.

Все дороги ведут в Рим, и порой нас поражало то, что почти любые темы урока или беседы обходили запретную территорию. Запретной территорией было все, что касалось возвращения умерших вообще и, в частности, сохранения воспоминаний о друзьях, которых потеряли маленькие дети. Бывали дни, когда я могла бы

поклясться, что кто-то из них, украдкой подтолкнув другого локтем, говорил: «Она думает, что у нее сегодня получится, — но она не сможет!»

«Получиться» должно было, например, косвенное упоминание о леди, которая готовила их к занятиям со мной. У детей развилось милое пристрастие — я бы сказала, неутолимый аппетит — к историям из моей жизни, которыми я угощала их снова и снова; они познакомились со всеми событиями, происшествиями, приключениями моими, моих братьев и сестер, нашей собакой и кошкой, со многими эксцентрическими причудами моего отца; я поведала им об обстановке и обустройстве нашего дома, о пересудах деревенских старух. Тем для болтовни имелось достаточно, если расходовать их по одной и, интуитивно предугадав опасность, быстро обходить острые углы. Дети умели искусно задевать струны моей фантазии и памяти; когда я впоследствии обдумывала эти случаи, они, как, пожалуй, ничто другое, явно подтверждали мои подозрения, что за мною украдкой следят. Так или иначе, только о моей жизни, моем прошлом, моих друзьях мы могли беседовать свободно, и такое состояние дел приводило к тому, что иногда дети, без всякой связи с предыдущим разговором, принимались

вспоминать уже слышанное. Меня вдруг просили повторить еще раз знаменитую остроту некой Гуди Гослинг или подробнее рассказать о том, какой умный пони был у викария.

XIII

Из-за таких вот и некоторых других коллизий в сложившихся обстоятельствах то, что я называю своими затруднениями, особенно обострилось. Дни, правда, проходили без новых встреч с призраками, и это, казалось, должно было бы как-то успокоить мои нервы. После того краткого столкновения на верхней площадке при втором ночном свидании с женщиной, сидевшей внизу, я не видела ни в доме, ни вне его ничего такого, чего лучше бы не видеть. Много вокруг было углов, за которыми я ожидала наткнуться на Квинта, и много ситуаций, довольно мрачных, могли бы способствовать явлению мисс Джессель.

Лето подошло к концу и прошло; осень окутала Блай и лишила нас многих источников света. Под серым небом усадьба, с ее увядшими гирляндами, оголенными рощами и россыпью мертвых листьев, напоминала театральный зал после спектакля, со смятыми афишками на полу. Не сразу ощутила я, что прозрачность воздуха,

звонкость звуков и тишина создают впечатление неуловимого сходства с той средой, в которой я впервые увидела Квинта июньским вечером, под открытым небом, и позже, когда после того, как он заглянул в окно, напрасно искала его в кругу кустарника. Я распознавала знаки, знамения, я различала время и место. Но места пустовали, детей никто не навещал, и я спокойно продолжала поиск; если можно назвать спокойной молодую женщину, чья чувствительность удивительным образом не уменьшилась, а обострилась.

Рассказывая Гроуз о той мерзкой сцене с Флорой у озера, я привела ее в недоумение, сказав, что потеря этого качества сильнее огорчит меня, чем усиление. Так я выразила владевшее мною тогда горячее чувство: видели дети что-либо или нет (ведь это еще не было точно доказано), я предпочитала, безопасности ради, остаться во всеоружии. Я была готова узнать худшее из того, что удалось бы выяснить. На тот момент худшим было сознание, что глаза мои могут быть запечатаны, когда их глаза широко открыты. И вот теперь я убедилась, что так оно и есть, и с моей стороны было бы кощунством не возблагодарить Господа за такое достижение. Увы, тут имелась одна сложность: я возблагодарила бы его всей ду-

шой, если бы не столь же сильная убежденность в скрытности моих учеников.

Как могу я ныне восстановить этапы развития моей странной одержимости? Порою, находясь рядом с детьми, я могла бы поклясться, что буквально в моем присутствии, но вне моего восприятия, им наносили визиты те, кого они знали и приветствовали. В таких случаях лишь то, что мое вмешательство может причинить им больше вреда, чем вмешательство призраков, удерживало меня от взрыва эмоций. «Они здесь, здесь, вы, маленькие плуты, — хотелось мне закричать, — вы не сможете отрицать это сейчас!» Но маленькие плуты отрицали это, наращивая объем общительности и нежности, в кристально чистой глубине которой лишь изредка, подобно рыбке в ручье, проблескивало насмешливое сознание своего превосходства.

Сказать по правде, потрясение проникло в мою душу глубже, чем я полагала, в ту ночь, когда, ожидая обнаружить под звездами Квинта или мисс Джессель, увидела мальчика, чей покой охраняла, а он тотчас, там же на месте, обратил ко мне тот милый взгляд, прежде обращенный вверх, с которым играл отвратительный призрак Квинта, прячась на башне.

Что касается страха, то это мое открытие испугало меня сильнее, чем все прочие, но именно благодаря напряжению нервов я смогла сделать дальнейшие выводы. Порой они изводили меня настолько, что я, улучив момент, запиралась у себя и проговаривала вслух те соображения, которые могли привести к окончательному ответу, испытывая одновременно и невероятное облегчение, и новый приступ отчаяния. Я рассматривала задачу и так и этак, металась по своей комнате, но всегда срывалась и начинала выкрикивать имена этих чудовищ. Едва они слетали с моих губ, я говорила себе, что должна каким-то образом связать их с чем-то бесчестным, если уж мне придется, произнося эти имена, совершить неслыханное для любой классной комнаты нарушение негласного правила деликатности. Потом я говорила: «У детей хватает воспитанности, чтобы молчать, а ты, пользуясь таким доверием, имеешь наглость говорить!» И я чувствовала, что краснею от стыда, и закрывала лицо руками. После этих тайных сцен я пускалась в безудержную болтовню, благополучно поддерживая разговор, пока не наступало мгновение колдовской, ощутимой тишины, — не знаю, как иначе это назвать — странный, головокружительный подъем (или

спуск? — я подыскиваю слова!) к тишине, к замиранию жизни, независимо от того, какой шум мы в тот момент производили; я различала его сквозь вспышки веселости, ускоренный темп декламации или ударные аккорды пианино. Это означало, что те, чужие, появились здесь. Хотя они не были «тихими ангелами», по французской поговорке, они «пролетали», заставляя меня дрожать от страха, что их юные жертвы услышат новое послание из ада или увидят еще более яркие образы, чем те, которые те сочли достаточными для меня.

Труднее всего было избавиться от жестокой мысли, что, сколько бы ни видела я, Майлс и Флора видели больше — что-то ужасное и непредсказуемое, — из-за того, что жуткое общение началось уже давно. Такие мгновения, естественно, ненадолго оставляли на поверхности холодок, который мы чувствовали, но красноречиво скрывали; после нескольких повторений мы все трое так замечательно наловчились, что почти автоматически отмечали окончание инцидента одними и теми же движениями. Поразительно, что дети всякий раз не забывали поцеловать меня, как бы невзначай, по привычке, и обязательно кто-то из них задавал драгоценный

вопрос, спасавший нас от многих осложнений. «Ну когда же он приедет? Как вы думаете, мы должны ему написать?» — мы выяснили опытным путем, что эти вопросы как нельзя лучше устраняли возникшую неловкость. «Он» — это, конечно же, был их дядюшка с Харли-стрит; мы усердно разрабатывали теорию, что он вот-вот прибудет и присоединится к нашему кружку.

Невозможно было меньше поощрить развитие подобной доктрины, чем этот господин, но если бы не она, мы лишили бы друг друга возможности разыгрывать самые изящные из наших сценок. Дядя им никогда не писал — назовите это эгоизмом, но это входило в программу его лестного доверия ко мне; ибо один из способов, какими мужчина платит наивысшую дань уважения к женщине, — это радостное соблюдение им священного закона собственного комфорта; и я считала, что соблюдаю данный мною обет не обращаться к нему, когда давала воспитанникам понять, что их письма — просто милые литературные опусы, слишком удачные, чтобы отправлять их почтой; я собирала эти письма — они хранятся у меня доныне. Сочетание этого правила с тем, как меня дурачили предположением, что дядюшка вот-вот навестит нас,

усиливало сатирический эффект ситуации. Можно было догадаться, что дети знали, насколько эти разговоры — больше, чем почти все прочее — неприятны для меня. Однако, оглядываясь в прошлое, я считаю наиболее удивительным тот факт, что, несмотря на мое душевное напряжение и торжество детей, терпение мне ни разу не изменило. Воистину, думаю я сейчас, велико было их обаяние, если я в те дни не возненавидела их! Могло ли все-таки прорваться мое отчаяние, если бы облегчение задержалось? Вопрос напрасный, ибо облегчение вскоре настало. Правда, облегчение это было подобно щелчку лопнувшей струны или прорыву грозы после душного дня. Но по меньшей мере это была перемена, и она настала внезапно.

XIV

Однажды воскресным утром, по дороге в церковь, Майлс шагал рядом со мной, а его сестра — впереди, ближе к миссис Гроуз, но в поле моего зрения. День выдался ясный, бодрящий, первый такой после дней непогоды; ночью подморозило, и под ярким осенним небом, в прохладном воздухе колокольный звон звучал почти весело. Странно, что именно в тот момент я неожидан-

но и очень кстати задумалась над тем, почему мои воспитанники так послушны. Почему они никогда не возмущались моим неумолимым, постоянным присутствием? До меня как-то дошло, что я, по сути, пришпилила мальчика к своей шали и, с учетом того, как детьми руководили до моего приезда, мои приемы могли показаться мерами против возможного бунта. Я была вроде тюремщика, предупреждающего разные неожиданности и побеги. Но на самом деле это — я имею в виду их великолепную покорность — было лишь частью особой, отвратительной системы. Ради воскресенья мальчик надел костюм, сшитый портным его дяди, который, пользуясь полной свободой, умел творить красивые жилеты и понимал, что идет к лицу такому красивому ребенку; и теперь право Майлса на независимость, обусловленное его полом и статусом, стало так очевидно, что, вздумай он потребовать свободы, я не могла бы ничего возразить. Революция казалась неизбежной, но почему-то лишь в тот час я впервые задумалась над тем, как должна буду поступить, когда она случится. Я говорю о «революции», потому что теперь фраза, произнесенная им, представляется мне звонком к подъему занавеса перед последним актом ужасной драмы,

ускорившим наступление катаклизма.

— Послушайте, дорогая мисс, — сказал он с очаровательной улыбкой, — не знаете ли вы, будьте любезны, когда же я вообще-то вернусь в школу?

В письменном виде фраза выглядит вполне безобидно, а уж на слух, произнесенная нежным, звонким голоском, беззаботно, она создавала у любого слушателя, но особенно у его вечной гувернантки, впечатление, будто он осыпает вас розами. В его интонациях было нечто, непременно «цеплявшее» людей, и меня он в тот раз зацепил так крепко, что я замерла на месте, словно одно из деревьев парка вдруг упало поперек дороги. Наши отношения мгновенно изменились, и он отлично понял, что я это уловила, хотя и не стал ни на йоту менее искренним и очаровательным, чем обычно. Я чувствовала, что, не найдя сразу нужного ответа, уже позволила ему обрести некое преимущество. Я все мешкала, подбирая слова, и у него было достаточно времени, чтобы продолжить, после минутной паузы, с той же обаятельной, но не убедительной улыбкой:

— Вы же знаете, дорогая мисс, что значит для юноши постоянно быть в обществе леди!..

«Дорогая мисс» — так он всегда меня называл, и ничто не могло точнее выразить тот оттенок

чувства, который я старалась внушить ученикам, как это ласково-фамильярное обращение, такое простое и вместе с тем уважительное.

Но как же осторожно мне самой теперь нужно было выбирать выражения! Чтобы выиграть время, я делано рассмеялась, но по красивому лицу мальчика, следившего за мной, поняла, как уродливо и нелепо я выгляжу.

— И к тому же всегда с одной и той же леди? — отпарировала я.

Он не побледнел, не сморгнул. Все тайное становилось явным между нами.

— Ах, конечно, эта леди приятная, «идеальная»; но я же все-таки юноша, вы разве не понимаете? Это… ну, в общем, я расту.

— Да, ты растешь, — я еще сохраняла доброжелательный тон. О, но какой же беспомощной я себя чувствовала!

До сего дня я не разрешила эту тягостную загадку: откуда мальчик мог узнать о моем состоянии и сыграть на этом?

— И вы же не можете сказать, что я не был ужасно хорошим, правда?

Я положила руку ему на плечо; хотя нам следовало бы идти дальше, я пока была не в силах сдвинуться с места.

— Нет, такого я сказать не могу, Майлс.

— Кроме той ночи, вы помните!..

— Той ночи? — Я не смогла глянуть на него так же прямо, как он — на меня.

— Ну, когда я ушел… вышел из дому.

— Ах, да. Но я забыла, зачем ты это сделал.

— Забыли? — упрекнул он меня с милой детской непосредственностью. — А я хотел показать вам, что сумею!

— О да, ты сумел.

— И еще сумею!

Я наконец почувствовала, что, возможно, мне удастся сохранить здравый рассудок.

— Конечно. Но ты этого не сделаешь.

— Нет уж, не то же самое снова. То была просто чепуха.

— Чепуха, — сказала я. — Но нам нужно идти дальше.

Мы зашагали дальше, и мальчик держал меня за руку.

— Так когда же я вернусь?

— Был ли ты счастлив в школе? — спросила я с весьма озабоченным видом.

— О, я достаточно счастлив где угодно! — не раздумывая ответил он.

— Ну, если так, — протянула я, — если ты и

здесь так же счастлив…

— Ах, но здесь не все есть! Конечно, вы знаете много всего…

— Ты намекаешь, что узнал уже почти столько же? — рискнула я спросить, пользуясь паузой.

— Я бы хотел знать вдвое больше! — честно признался Майлс. — Но не только в этом дело.

— Тогда в чем же?

— Ну… я хотел бы увидеть больше жизни.

— Да-да, понимаю.

Мы уже приблизились к церкви; люди, в том числе несколько служащих из Блая, сходились к ней с разных сторон и толпились у входа, ожидая, когда мы войдем. Я ускорила шаги; мне хотелось войти в церковь раньше, чем прозвучит следующий ответ; я нетерпеливо ждала начала службы — тогда целый час он не сможет нарушить молчание; меня манили относительный сумрак нашей скамьи и почти духовная поддержка подушечки, на которую я смогу преклонить колени. Я словно бежала наперегонки со смятением, в которое мальчик готовился повергнуть меня, но он успел первым, раньше, чем мы достигли церковных ворот:

— Я хочу быть среди равных мне!

Я рванулась было вперед и чуть не упала.

— Равных тебе не так уж много, Майлс! — засмеялась я. — Разве что милая малышка Флора!

— Вы в самом деле сравниваете меня с девчонкой-малолеткой?

Слабость одолевала меня.

— Значит, ты не любишь нашу милую Флору?

— Если бы я не любил… и вы тоже… если бы я не!.. — повторил он, как бы разбегаясь перед прыжком, но осекся на полуслове, а когда мы прошли в ворота, так сжал мою руку, что пришлось снова остановиться. Миссис Гроуз и Флора уже вошли в церковь, другие прихожане последовали за ними, и мы на несколько минут остались одни среди старых могил, стоя на дорожке, ведущей от ворот, рядом с низким, похожим на стол надгробием.

— Итак, если бы ты не?..

Я ждала, а он смотрел на могильные плиты.

— Ну, вы сами знаете! — ответил он, не пошевельнувшись, и вдруг выдал такое, что я рухнула на каменную плиту, словно вдруг вздумала отдохнуть. — Мой дядя думает так же, как и вы?

— Откуда тебе знать, что я думаю? — помедлив, спросила я.

— Ну, конечно, я не знаю; мне странно, что вы об этом никогда не говорите. Но мне хотелось бы

услышать, знает ли он?

— Знает что, Майлс?

— Ну, что тут у нас происходит….

Я сразу сообразила, что невозможно ответить на этот вопрос, не пожертвовав частично покоем моего работодателя. Но мне представилось, что мы все, в Блае, принесли уже достаточно жертв, чтобы теперь стесняться.

— Твоего дядю это вряд ли сильно заботит.

Майлс взглянул на меня.

— Значит, вы не думаете, что его можно заставить озаботиться?

— Каким образом?

— Понятно каким, пусть приедет сюда.

— Но кто сможет вызвать его?

— Я смогу! — сказал мальчик с удивительной живостью и нажимом. Он окинул меня столь же уверенным взглядом, а потом сам вошел в церковь.

XV

Все было практически решено в тот момент, когда я позволила мальчику уйти одному. Дав волю чувствам, я потерпела поражение, достойное жалости, но, понимая это, не находила сил оправиться. Я просто сидела на надгробии и

вдумывалась в слова моего маленького дружка, постигая всю полноту их значений; наконец я все поняла и заодно придумала, как объяснить свое отсутствие на богослужении: мне якобы стало стыдно за свое опоздание перед учениками и остальной паствой. Суть всего сказанного заключалась в том, что Майлсу удалось добиться от меня некоего признания, доказательством важности которого стали для него мои неуклюжие отговорки. Он выяснил, что я чего-то сильно боюсь и что он, вероятно, сможет воспользоваться моим страхом для собственных целей, получив большую свободу. Главный мой страх был связан с необходимостью решить мучительный вопрос о причинах его отчисления из школы, ибо это была одна из сторон другого вопроса — об ужасах, кроющихся за ними. Если бы опекун детей явился, чтобы обсудить со мной эти дела, такое решение, по сути, мне бы следовало приветствовать; но выдержать боль, неминуемую при вскрытии мерзких тайн, у меня не хватало духу, и я просто мешкала и жила в бездействии изо дня в день. К моему великому смятению, я признавала полную правоту мальчика; в его положении он мог сказать мне: «Либо вы выясняете с дядей тайну перерыва в моих занятиях, либо не ждите, что я и

дальше буду вести рядом с вами жизнь, настолько неестественную для мальчиков». А для меня, неравнодушной к судьбе данного конкретного мальчика, неестественным казалось наличие у него какого-то умысла и плана, так неожиданно проявившегося.

Именно это так сильно ушибло меня, это помешало мне войти. Я ходила вокруг церкви, сомневаясь, спотыкаясь; я понимала, что отношения с Майлсом испорчены уже непоправимо. Склеить ничего нельзя было, и лишь огромным усилием воли я заставила бы себя сесть рядом с ним на скамью: он непременно взял бы меня за руку, прижался и заставил просидеть час в тесном, молчаливом контакте, вспоминая наш разговор. Впервые со дня его приезда я хотела отстраниться от него. Остановившись под высоким восточным окном и прислушиваясь к звукам богослужения, я ощутила такой порыв к бегству, что поддалась бы ему немедленно, если бы хоть немного расслабилась. Я так легко могла бы положить конец своим тревогам, просто уехав прочь. У меня имелся шанс: некому было остановить меня, я могла все бросить, повернуться спиной и отступить. Нужно было только поспешить вернуться в дом, чтобы наскоро собраться, — почти

все слуги сидели сейчас в церкви, никто бы меня не увидел. Одним словом, никто не осудил бы меня, соверши я этот отчаянный побег. Я успела бы уехать, ведь меня ждали только к обеду! До обеда остается еще пара часов, а когда они пройдут — я отчетливо представила себе эту картину, — мои маленькие ученики разыграют сценку невинного удивления по поводу моего отсутствия.

«Что же вы сделали, нехорошая, злая? Почему, скажите, вы так огорчили нас, и мы отвлеклись от проповеди, понимаете? Как же вы нас бросили прямо у входа?» Я не выдержала бы ни подобных вопросов, ни их лживо-любящих взглядов; между тем именно это и должно было произойти, и я так явственно представила себе эту сцену, что наконец решилась уехать.

Для начала я ушла прочь от церкви; выйдя из ворот, я проделала весь знакомый путь через парк, глубоко задумавшись. Подойдя к дому, я уже полагала, что решение принято и нужно бежать. Воскресная тишина царила и вокруг дома, и внутри, все мне благоприятствовало. Я ни с кем не столкнулась, если уйти быстро, то не будет ни сцен, ни шума. Однако мне следовало очень поторопиться, тем более что нужно было еще решить сложный вопрос с экипажем.

Трудности и препятствия так обступили меня, что, войдя в холл, я опустилась на ступеньку у подножия лестницы, буквально упала, и тут же с отвращением вскочила — мне вспомнилось, что именно на этом месте больше месяца назад, во тьме ночи, отягощенной злом, я видела призрак самой ужасной из женщин. Это помогло мне распрямиться; я поднялась наверх и, озабоченная, зашла в классную комнату, чтобы забрать кое-какие нужные личные вещи. Но стоило мне отворить дверь, как пелена мгновенно спала с моих глаз. То, что я увидела, пробудило во мне способность к сопротивлению.

За моим столом, в ясном свете полудня, я увидела фигуру, которую, не будь у меня уже опыта, я приняла бы с первого взгляда за горничную, оставленную приглядеть за домом — словно она, пользуясь редким случаем отсутствия надзора, а также столом в классной комнате, моими перьями, чернилами и бумагой, предприняла непростое дело — сочинение письма своему ухажеру. Непростой была ее поза: локти опирались на стол, а ладони, жестом явной усталости, поддерживали голову; но тут же я заметила, что мое появление почему-то не заставило ее пошевелиться. И как только у меня мелькнула догадка,

женщина встала, и я опознала ее по тому, что она по-прежнему не слышала меня. Она стояла с выражением бесконечной меланхолии, неописуемого безразличия и отчужденности, шагах в десяти от меня — моя ужасная предшественница. Обесчещенная и трагичная, она помедлила, как бы давая себя рассмотреть и запомнить, но сдвинулась с места, и вот страшное видение исчезло. Темная как полночь в своем черном платье, изможденная и прекрасная, воплощение невыразимого горя, она смотрела на меня достаточно долго, чтобы я поняла: у нее не меньше прав сидеть за этим столом, чем у меня.

Мгновения тянулись, и мне вдруг стало холодно от мысли, что на самом деле это я здесь незваная гостья. Но, как вспышка яростного протеста, у меня вырвался крик: «Вы гадкая, жалкая женщина!» — и звук моего голоса унесся в открытую дверь и, пролетев по длинному коридору, угас в пустом доме. Она взглянула на меня, будто услышала, но этим и закончилось. В следующую минуту в комнате не осталось ничего, кроме солнечного света и ощущения, что я должна остаться.

XVI

Я была совершенно уверена, что мои ученики по возвращении сыграют сценку, но пришлось с огорчением отметить, что о моем отсутствии они не упомянули. Вместо того, чтобы весело упрекнуть и приласкать меня, они и словом не обмолвились насчет причиненного им ущерба и на время оставили меня в покое, дав возможность изучить странное выражение на лице Гроуз, которая тоже ничего не сказала. Я пришла к выводу, что дети чем-то подкупили ее, вынудив молчать; молчание это я собиралась взломать, как только мы окажемся с ней наедине. Случай представился незадолго до вечернего чаепития: улучив пять минут, я застала экономку в ее комнате, опрятно убранной и нарядной, где пахло свежеиспеченным хлебом; она сидела в полумраке у камина, с виду спокойная, но невеселая. Я и сейчас вижу ее такой — вижу самый лучший из ее образов: сидя на стуле с прямой спинкой, она смотрит в огонь посреди сумеречной, чистенькой комнаты, в «замкнутом» состоянии — ящики закрыты, заперты на ключ, а отдых не приносит отрады.

— О да, они попросили меня ничего не говорить; и чтобы сделать им приятное, пока мы

были там, я, конечно, пообещала. Но что же с вами случилось?

— Я хотела только прогуляться вместе с вами, а потом вернуться, — сказала я. — Нужно было встретиться с друзьями.

— У вас здесь есть друзья? — удивилась она.

— О да, есть парочка! — засмеялась я. — Но дети как-то объяснили свою просьбу?

— Не упоминать о том, что вы нас оставили? Да, они сказали, что вам так будет лучше. Вам стало лучше?

— Нет, мне стало хуже! — Взглянув на меня, Гроуз приуныла, но я продолжала: — А почему мне так будет лучше, сказали?

— Нет. Мастер Майлс сказал только: «Мы должны делать только то, что ей нравится!»

— Жаль, что на деле это не так. А что сказала Флора?

— Мисс Флора так добра. «Конечно, конечно!» Ну и я сказала то же самое.

— Вы все так добры… — ответила я, подумав. — Прямо так и слышу ваши голоса. Но тем не менее между Майлсом и мной все теперь кончено.

— Кончено? — моя соратница округлила глаза. — Но что, мисс?

— Все вообще. Это неважно. Но я приняла ре-

шение. Я вернулась домой, моя дорогая, чтобы побеседовать с мисс Джессель.

К этому времени у меня сложилась привычка держать Гроуз в руках в прямом смысле слова, прежде чем затрагивать эту тему; и сейчас мне удалось поддержать ее — она только моргнула, храбро приняв услышанное.

— Побеседовать! Значит, она заговорила?

— По сути, да. Я нашла ее в классной комнате.

— И что она сказала? — Я словно слышу сейчас голос доброй женщины и вижу ее откровенную оторопь.

— Что терпит муки!

— То есть как, — пробормотала она, сообразив, что я имею в виду, — муки… падших?

— Падших. Проклятых. И она жаждет, чтобы кто-то разделил с ней… — тут я сама осеклась, ужаснувшись.

Но моя подруга, лишенная воображения, потребовала уточнить:

— Разделил… что?

— Она хочет забрать Флору.

Услышав это, миссис Гроуз могла бы свалиться на пол, если бы я заранее не приготовилась. Я удержала ее, дав понять, что я всегда начеку.

— Однако, как я уже сказала, это неважно.

— Потому как вы уже решили? Но что?

— Все решила.

— И что по-вашему будет «все»?

— Да просто позвать сюда их дядю.

— О мисс, сжальтесь над ними! — вырвалось у экономки.

— Ах, я сделаю, сделаю это! Не вижу иного выхода. А с Майлсом вот что: он думает, что я побоюсь обеспокоить джентльмена, и видит, какую выгоду может из этого извлечь, но я покажу ему, что он ошибается. Да-да, его дядя услышит от меня немедленно (и раньше, чем сам мальчик, если понадобится), почему меня нельзя упрекнуть в нежелании подыскивать новую школу…

— И почему же, мисс? — нетерпеливо спросила Гроуз.

— Да по все той же причине.

Причин к тому времени накопилось уже так много, что моей бедной подруге немудрено было запутаться.

— Но… эээ… по которой?

— Вспомните о письме из его прежней школы.

— Вы покажете его хозяину?

— Мне следовало сделать это сразу же.

— О нет! — запротестовала миссис Гроуз.

— Я прямо заявлю ему, — продолжала я неумо-

лимо, — что затрудняюсь заниматься этим вопросом относительно ребенка, который был исключен…

— А нам до сих пор неизвестно, за что! — вставила миссис Гроуз.

— За зловредность. А за что еще — если он такой умный, красивый, само совершенство? Разве он глуп? Неряшлив? Чем-то болен? Или груб? Он безупречен — так что остается лишь это; и в этом кроется ключ ко всей ситуации. В конечном счете, — добавила я, — вина лежит на их дяде. Как он мог оставить детей на произвол подобных людей!

— Да он на самом-то деле тех двоих и не знал вовсе. — Гроуз сильно побледнела. — Виновата я.

— О, вы не должны пострадать.

— Дети пострадать не должны! — горячо возразила она. Мы молча переглянулись.

— Что мне следует сообщить ему?

— Ничего не следует. Я сама сообщу.

— Вы намерены написать?.. — Я вспомнила, что экономка неграмотна, и осеклась. — Как же вы справляетесь?

— К бейлифу[18] обращаюсь, говорю, что надо.

---

[18] Примечания: 18

Бейлиф — должностное лицо в английской деревне или большом поместье, нечто среднее между полицейским сержантом и старостой.

Он пишет.

— И вы готовы поведать ему нашу историю?

Вопрос прозвучал более саркастично, чем мне хотелось, и оказал на Гроуз сокрушительное воздействие. Слезы вновь заблестели в ее глазах.

— Ах, мисс, напишите уж вы!

— Обязательно, сегодня же вечером, — ответила я наконец, и на этом мы расстались.

XVII

Вечером я дошла до того, что приготовилась начать. Погода снова испортилась, задул резкий ветер, и я долго сидела под лампой в своей комнате, рядом с мирно спящей Флорой, перед чистым листом бумаги, прислушиваясь к тому, как дождь хлещет по окнам и дребезжат стекла под порывами бури. Наконец я встала и вышла, взяв с собой свечу; пройдя по коридору, я остановилась у двери Майлса и прислушалась. Неукротимая одержимость заставила меня ловить любые признаки его бодрствования, и вот я уловила звук — но не тот, которого ожидала.

— Эй, вы там! — звонко позвал мальчик. — Заходите!

Веселый голосок во мраке! Я вошла со свечой и обнаружила его в постели, ничуть не сонного, но

весьма благодушного.

— Ну, и зачем вы не спите? — спросил он так любезно, что будь тут миссис Гроуз, она напрасно искала бы доказательства правоты моих подозрений.

Я подошла к кровати и подняла свечу повыше.

— Как ты узнал, что я здесь?

— Запросто, я вас услышал. Вы вообразили, будто ходите бесшумно? Да вы топочете, как эскадрон кавалерии! — задорно рассмеялся он.

— Так ты не спал?

— Я лежу и думаю.

Я намеренно поставила свечу поближе к нему, присела на край кровати, а он по-дружески протянул ко мне руку.

— О чем же ты думаешь?

— Ах, да о чем же еще, как не о вас, дорогая мисс?

— О, моей гордости льстит такое внимание, но без этого можно и обойтись! Я бы предпочла видеть тебя спящим.

— Знаете, я думаю про наши странные дела.

Я отметила про себя, что его маленькая твердая рука холодна.

— Какие странные дела, Майлс?

— Ну, как вы меня воспитываете. И все прочее!

У меня перехватило дыхание, и даже в мерцающем свете моей свечки можно было разглядеть, как он улыбнулся мне, не поднимаясь с подушки.

— Прочее — что это?

— О, вы знаете, знаете!

На мгновение я лишилась дара речи, хотя чувствовала, держа Майлса за руку и не сводя с него глаз, что в моем молчании — знак согласия с его вызовом и что в целом мире реальности, наверно, не было ничего столь фантастического, как эта связь между нами.

— Ты несомненно вернешься в школу, — сказала я, — если именно это тебя тревожит. Но не в прежнюю — мы должны найти другую, лучшую. Скажи, как я могла узнать, что тебе этого хочется, если ты ничего не говорил, никогда ни слова?

Он внимательно слушал, его чистое лицо, обрамленное гладкой белизной, казалось умоляющим, как бывает у печальных пациентов детских больниц; и, заметив это сходство, я бы отдала все, чем владела на земле, чтобы на самом деле стать сиделкой или сестрой милосердия и помочь исцелить его. Но и в своем положении я, быть может, помогу!

— Ты знаешь, что никогда не вспоминал о

школе, той, прежней, даже не обмолвился о ней при мне?

— Неужели?

Мне показалось, что он удивился, но улыбался все так же ласково. Видимо, он тянул время, выжидал, рассчитывал на подсказку. Но не от меня он ждал помощи — а от той, которую я встретила днем!

Что-то в его тоне и выражении лица стиснуло мое сердце такой болью, какой я еще не испытывала; невыразимо трогателен он был, пытаясь усилием своего маленького мозга выбраться из ловушки и найти в себе силы убедительно сыграть, под напором действующих на него чар, роль невинности.

— Точно, ни разу с того часа, когда ты приехал. Я не слышала от тебя ни слова об учителях, о товарищах, ни единой истории о том, что случалось с тобою в школе. Никогда, мой маленький Майлс, никогда не дал ты мне ни малейшего намека на то, что могло случиться там. Представь же теперь, в каких потемках я блуждаю. До того, как ты раскрыл свои мысли этим утром, с первого часа нашего знакомства и доныне, ты вообще ни звука не проронил о том, как жил раньше. Мне казалось, что ты вполне доволен настоящим.

Чрезвычайно странно получилось: будучи твердо убеждена, что Майлс развит не по летам (или, можно сказать, отравлен влиянием, которое я не осмеливалась назвать прямо), я воспринимала его как взрослого, почти равного мне интеллектом, хотя и улавливала слабо заметные признаки его душевного разлада.

— Я думала, ты доволен тем, как живешь здесь.

Меня поразило, что он лишь слегка покраснел. Да еще соизволил томно покачать головой, словно слегка устал, как выздоравливающий больной.

— Ничуть, ничуть. Я хочу уехать.

— Тебе надоел Блай?

— О нет, Блай мне нравится.

— В чем же тогда?..

— Ах, вы ведь знаете, чего хотят мальчики!

Поскольку я знала об этом явно меньше, чем Майлс, пришлось временно поменять тему.

— Ты хотел бы пожить у дяди?

Он снова, с милой иронической гримаской, помотал головой по подушке.

— Ах, вы не можете выпутаться таким образом!

Я помолчала и на этот раз, кажется, покраснела сама.

— Мой дорогой, я и не хочу выпутываться!

— Хоть бы и так, все равно не сможете. Никак, никак! — Не поднимаясь, он уставился на меня своими чудесными глазами. — Дядя должен приехать сюда, и вы с ним должны все уладить.

— Если мы этим займемся, — резко ответила я, — можешь быть уверен, что тебя отправят очень далеко.

— Да разве вы не понимаете, что я этого-то и добиваюсь? Вам придется рассказать ему… Про то, как вы забросили это дело. Много-много всего рассказать!

Он разволновался, и это помогло мне перейти в наступление.

— А ты, Майлс, не расскажешь ли тоже кое-что? Дядя будет расспрашивать тебя!

Он не дрогнул.

— Весьма возможно. Но о чем?

— О том, чего ты никогда не рассказывал мне. Ему нужно будет решить, что с тобой делать. Он не может послать тебя обратно…

— О, я и не рвусь обратно! — перебил он. — Мне нужно новое поле.

Он сказал это с восхитительным спокойствием, с безукоризненной веселостью; и, несомненно, эти интонации раскрыли передо мной пронзи-

тельную, недетскую трагедию ребенка, ожидающего, при всей его браваде, возвращения, спустя три месяца, туда, где его ждет новое бесчестие. Я содрогнулась, чувствуя, что не смогу этого перенести, и отступила. Я склонилась к нему, во власти нежности и сочувствия, и обняла его.

— Майлс, дорогой мой маленький Майлс!

Мое лицо почти касалось его щеки, и он, позволив поцеловать себя, спросил добродушно:

— И что вам угодно, почтенная леди?

— Ты ничего не хочешь мне сказать? Совсем ничего?

Он немного отвернулся к стенке, поднял одну руку и стал рассматривать, как часто делают больные дети.

— Я уже сказал вам… сегодня утром.

О, как мне было жаль его!

— Значит, ты просто хочешь, чтобы я тебя не беспокоила?

Он оглянулся на меня, как бы благодаря за понимание; потом произнес мягко:

— Оставить меня в покое.

В этом ответе было своеобразное достоинство, и я, отпустив его, медленно поднялась, но не ушла. Видит бог, я никогда не хотела мучить Майлса, но чувствовала, что просто уйти сейчас, повер-

нувшись к нему спиной, значит бросить, а еще точнее, потерять его.

— Я уже начала письмо к твоему дяде.

— Так нужно дописать его! — сказал он.

Я выждала минуту.

— Что случилось раньше?

— Раньше чего? — он снова уставился на меня.

— Перед тем, как ты вернулся. И до того, как уехал оттуда.

Он помолчал, но глаз с меня не сводил.

— Что случилось?

В этих словах мне послышалось, впервые за все время, слабое колебание пробудившейся совести; я упала на колени у кровати, снова надеясь овладеть им.

— Майлс, маленький Майлс, если бы ты знал, как я хочу помочь тебе! Только этого хочу, ничего кроме этого, я скорее умру, чем причиню тебе боль или вред, я не дала бы и волоску упасть с твоей головы. Дорогой мой Майлс, — о, я не беспокоилась тогда, что захожу слишком далеко, — я хочу лишь, чтобы ты помог мне спасти тебя!

Но я тотчас поняла, что слишком поторопилась. Ответ на мой призыв пришел мгновенно, но ответ не словесный: мощный порыв ветра ворвался в комнату, неся дыхание ледяного холода, стены

дрогнули, как будто яростный шквал выбил раму. Мальчик громко, пронзительно вскрикнул, и хотя я стояла рядом, среди рева и грохота не могла различить, был ли то вопль ликования или ужаса. Я вскочила на ноги и обнаружила, что вокруг темно. Мы молчали, пока я оглядывалась; мне удалось рассмотреть, что занавески задернуты, как были, и окно закрыто. Тогда я воскликнула:

— Странно, свеча погасла!

— Это я задул ее, дорогая! — сказал Майлс.

XVIII

На следующий день, после уроков, миссис Гроуз выкроила минутку, чтобы тихо спросить у меня: «Вы написали, мисс?»

— Да, написала.

Но я не уточнила, что письмо, запечатанное и снабженное адресом, все еще лежит у меня в кармане. Можно было не торопиться с отправкой до того, как наш посыльный пойдет в деревню. А утро у нас выдалось блестящим, просто образцовым, благодаря моим ученикам. Выглядело это так, словно они старались загладить наши недавние нелады. Они совершали головоломные чудеса с арифметикой, выходя даже за пределы моих собственных скромных знаний, и устраива-

ли географические и исторические шутки в еще более приподнятом настроении, чем обычно. Конечно, по поведению Майлса было заметно, что он желает показать, как легко может свергнуть меня. Этот ребенок запомнился мне в атмосфере такой красоты и страданий, какую словами не передать; в малейшем его поступке, во всех повадках чувствовался особый характер; для невооруженного глаза — сама искренность и свобода, но ни одно маленькое материальное существо не было более хитроумным, более экстравагантным маленьким джентльменом. Мой глаз был вооружен, но мне приходилось постоянно остерегаться, чтобы не впасть в восхищенное созерцание; воздерживаться от косвенных взглядов и унылых вздохов, сопровождавших беспрестанные попытки вникнуть в загадку или отрешиться от нее, — попытки понять, что плохого должен был сделать такой юный джентльмен, чтобы заслужить такое наказание. Предположим, темные призраки, с которыми я встречалась, сумели отяготить его воображение идеями разнообразного зла; но мучительная жажда справедливости заставляла меня выяснить, могли ли эти идеи когда-либо воплотиться в действие.

В любом случае он никогда не был более ис-

тинным джентльменом, чем в тот ужасный день, когда, после раннего обеда, пришел ко мне и спросил, может ли поиграть для меня полчасика. Давид, готовясь играть перед Саулом, и тот не мог бы лучше воспользоваться оказией[19]. Это была воистину очаровательная демонстрация такта, великодушия, как если бы он сказал прямо: «Настоящие рыцари, про которых мы так любим читать, никогда не злоупотребляют своими преимуществами. Я теперь знаю, что вы имели в виду: чтобы самой обрести покой и досуг, вы перестанете беспокоиться и шпионить за мною, не будете держать меня на привязи рядом с собой, позволите мне уходить и приходить, когда захочу. Ну вот, вы видите, я и 'пришел', но не ухожу! Для этого у меня будет много времени. На самом деле мне хорошо с вами, и я хочу доказать, что проявлял строптивость из принципа». Легко представить, что я не отвергла его призыв, и мы отправились вдвоем, рука в руке, в классную комнату. Он сел за наше старое пианино и играл

[19] Примечания: 19

Давида, героя Ветхого Завета (1-я книга Царств), позвали играть перед царем Саулом, страдавшим душевным расстройством. «…Давид, взяв гусли, играл, — и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него». В нашем случае ситуация обратная: музыкальная одаренность мальчика поддерживается демоническими силами и служит темному делу.

превосходно, как никогда раньше; если кто-то тут заметит, что ему лучше было бы гонять футбольный мяч, я скажу лишь, что полностью с этим согласна. Ибо под влиянием его музыки я потеряла счет времени, а потом вдруг очнулась со странным ощущением, будто буквально заснула на посту. Дело было после обеда, я сидела у камина в классной комнате, но на самом деле не спала, гораздо хуже — я забыла. Где все это время находилась Флора? Когда я спросила об этом у Майлса, он сыграл еще несколько тактов, а потом сказал только: «Да откуда мне знать, дорогая мисс?» и залился счастливым смехом, перешедшим, как бы в качестве вокального сопровождения, в бессвязную, причудливую песню.

Я сразу прошла в свою комнату, но его сестры там не было; прежде чем спуститься на первый этаж, я заглянула в несколько других помещений. Поскольку девочки не было и там, она наверняка где-то гуляла с миссис Гроуз, и я, успокаивая себя этой гипотезой, пошла искать экономку. Я нашла ее на том же месте, что вчера, но на мой торопливый вопрос она ответила пустым, испуганным взглядом. Она полагала, что после еды я увела обоих детей; она была вправе так думать, ибо никогда прежде я не выпускала девочку из поля

моего зрения, не обеспечив присмотр. Конечно, Флора могла зайти навестить горничных, потому мы наскоро договорились начать поиски, не поднимая шума. Но спустя десять минут, когда мы, как уговаривались, встретились в холле, каждая из нас доложила, что осторожные расспросы ни к чему не привели. В холле, где нас никто не видел, мы обменялись безмолвными знаками тревоги, и я почувствовала, с каким острым интересом подруга теперь возвращает мне те знаки, которые я с самого начала подавала ей.

— Она наверху, — сказала экономка, — в одной из комнат, где вы не искали.

— Нет, она где-то далеко, — уже не сомневалась я. — Она вышла из дому.

— Без шляпки? — Глаза Гроуз изумленно округлились.

Я, естественно, тоже изобразила удивление.

— А разве та женщина носит шляпку?

— Флора с ней?

— Флора с ней! — заявила я. — Мы должны их найти.

Я положила руку Гроуз на плечо, но она, осваиваясь с ситуацией, поначалу не смогла сдвинуться с места, хотя и поддалась беспокойству.

— И где же мастер Майлс?

— О, он с Квинтом. Они в классной комнате.

— О боже, мисс!

Думаю, что мой вид и, соответственно, тон выражали спокойную уверенность, ранее немыслимую.

— Их трюк удался, — пояснила я, — они успешно осуществили свой план. Он нашел самый чудесный способ отвлечь меня, а она тем временем улизнула.

— Чудесный? — недоуменно переспросила Гроуз.

— Ну, скорее инфернальный! — ответила я почти радостно. — Он позаботился и о себе. Но идемте же!

Экономка беспомощно глянула в сторону верхнего этажа.

— Вы оставите мальчика?..

— Надолго с Квинтом? Да! Мне теперь все равно.

В такие моменты она всегда хваталась за мою руку, это помогло ей устоять и на этот раз. Но мое внезапное равнодушие взволновало ее, и она воскликнула:

— Это из-за письма?

Вместо ответа я быстро нащупала письмо в кармане, вытащила, показала ей и, чувствуя,

что освобождаюсь, положила на большой стол в холле.

— Льюк заберет его, — сказала я, вернувшись к Гроуз. Потом подошла к входной двери, открыла ее и переступила порог.

Моя соратница еще колебалась: буря, бушевавшая ночью и ранним утром, улеглась, но день выдался сырой и пасмурный. Я уже спустилась на подъездную дорожку, а она все стояла в дверях.

— Вы ничего не наденете?

— Одеваться, когда девочка одеться забыла? Я не могу терять время, — воскликнула я, — а если вы так выйти не можете, я вас оставлю. Попробуйте пока побывать наверху.

— Там, где они?

О, этого бедняжка не выдержала и поспешно присоединилась ко мне!

XIX

Мы направились напрямик к озеру, как называли в Блае этот водоем, и, по-моему, правильно называли, хотя, вероятно, он был менее примечателен, чем представлялось мне, не бывавшей в путешествиях. Я была мало знакома с водоемами, и пруд в Блае впечатлял меня своими размерами и волнением, особенно в тех редких случаях, когда

я соглашалась, под защитой учеников, рискнуть поплавать по нему в старой лодке-плоскодонке, которую держали на причале специально для нас. Этот причал находился в полумиле от дома, но интуиция подсказывала мне, что Флора может быть где угодно, только не вблизи от дома. Она не стала бы так хитрить ради мелкой шалости, и после того великого приключения у пруда, при котором я присутствовала, мне удалось во время прогулок выяснить, в какой части его она хотела бывать чаще. Поэтому я уверенно вела миссис Гроуз в том направлении, и когда она сообразила, куда мы идем, то вдруг заартачилась, видимо, снова сбитая с толку.

— Вы идете к воде, мисс? Думаете, она вошла?..

— Возможно, однако там всюду, видимо, неглубоко. Но более вероятно, я считаю, что она в том месте, откуда мы с нею однажды видели то, о чем я вам рассказывала.

— Когда она притворялась, что не видит?

— Да, проявив потрясающее самообладание. Я всегда была уверена, что она хочет прийти туда одна. И вот брат устроил это для нее.

Миссис Гроуз не двигалась с места.

— Вы полагаете, дети действительно говорят о них?

— Я больше чем уверена! Они говорят о таких вещах, что мы с вами обмерли бы от ужаса, услышав их.

— И если девочка там… Тогда и мисс Джессель тоже?

— Вне сомнения. Вы сами увидите.

— Ох, спасибо! — воскликнула экономка, но она будто вросла в землю, и я пошла прочь, оставив ее. Однако к моменту, когда я достигла озера, она почти догнала меня; видимо, какие бы беды, по ее разумению, ни угрожали мне, она поняла, что для нее составить мне компанию — наименьшая опасность.

Наконец перед нами открылась водная гладь. Вздохнув с облегчением, Гроуз убедилась, что девочки в воде нет. Однако Флоры не было видно ни на ближнем берегу, где я когда-то пережила потрясение, наблюдая за ней, ни на дальнем, который весь, за исключением полоски около двадцати ярдов, порос густой растительностью до самой кромки воды. Озеро, продолговатое по форме, было длинное, но очень узкое, и, если не видеть его оконечностей, можно было принять его за неширокую реку. Мы оглядели все пустынное пространство, и тогда я заметила по глазам моей подруги, о чем она подумала, и ответила,

отрицательно помотав головой.

— Нет-нет, погодите! Она забрала лодку!

Гроуз глянула на пустой причал и снова осмотрела озеро.

— Тогда где же она?

— То, что мы ее не видим, — самое надежное доказательство. Флора воспользовалась лодкой, чтобы переправиться, а потом как-то ее спрятала.

— Она же дитя! Как ей было справиться одной?

— Она сейчас не одна, и в такие моменты она не дитя, а старая, старая женщина.

Это мое странное утверждение вызвало у миссис Гроуз, как обычно, очередной приступ покорности; я тем временем тщательно рассмотрела всю видимую часть береговой линии пруда и сообразила, что лодка отлично могла поместиться в одной из маленьких бухточек, замаскированных с нашей стороны изгибом берега, а с другой — группами деревьев, растущих у воды.

— Но если лодка там, куда же она-то подевалась? — встревоженно спросила моя спутница.

— Это нам и следует выяснить. — И я пошла дальше.

— Обойдем все озеро?

— Именно так, хоть это и далеко. У нас это

займет всего минут десять, но для ребенка расстояние значительное, почему она и не пошла пешком, а предпочла двинуться прямиком по воде.

— Батюшки! — снова вскричала моя подруга; улавливать логику моих рассуждений было свыше ее сил. И все же она тащилась следом за мною по сильно изрытому участку, по извилистой тропинке, заросшей травою; это был непростой, утомительный процесс, и когда мы прошли половину пути, я остановилась, чтобы дать ей перевести дух. Я поддерживала Гроуз, благодарная за содействие, уверяя, что она может оказать мне серьезную помощь; это придавало свежие силы нам обеим, и еще через несколько минут мы добрались до точки, откуда увидели лодку там, где я и предполагала.

Лодку намеренно спрятали поглубже и привязали к стойке ограды, которая в этом месте доходила до кромки воды, что облегчало высадку. Поглядев на пару коротких, тяжелых весел, вынутых из уключин, я подумала, что маленькая девочка могла справиться с ними лишь чудом; но к этому часу я уже долго жила среди чудес и слишком много волновалась по более необычным поводам. В ограде была калитка; пройдя

через нее, мы вскоре оказались на открытом пространстве. И тут мы обе разом вскрикнули: «Вот она!»

Флора стояла невдалеке от нас на траве, улыбаясь, как будто отмечая завершение своего спектакля. Потом вдруг наклонилась и вырвала — так, словно за этим и пришла — большой, уродливый пучок увядшего папоротника. Я мгновенно догадалась, что она недавно вышла из рощи. Флора ждала, пока мы подойдем, сама не сделав ни шага, а наше приближение (я это осознавала) отличалось поразительной торжественностью. Девочка улыбалась и улыбалась, и наконец мы сошлись; но все это происходило в тишине, отчетливо зловещей.

Миссис Гроуз первой очнулась от колдовских чар: она упала на колени и, прижав дитя к груди, так и застыла, обнимая нежное, податливое тельце. Пока длился этот немой акт обожания, я могла лишь наблюдать со стороны, и особо внимательно, так как Флора смотрела на меня поверх плеча доброй женщины. Лицо ее было теперь серьезно, сияние угасло; но от этого я еще сильнее позавидовала простоте Гроуз. Однако ничего больше за эти минуты не случилось, только Флора уронила наземь свой дурацкий пучок папоротника.

По сути, мы тем самым сказали друг другу, что придумывать предлоги уже бесполезно. Когда Гроуз наконец поднялась на ноги, она взяла девочку за руку, и так они стояли передо мной, и нашу особую сдержанность подчеркивал взгляд экономки, откровенно говоривший: «Пусть меня хоть повесят, я буду молчать!»

Молчание нарушила Флора, уставившаяся на меня с простодушным изумлением. Ее поразил наш непривычный вид.

— Ой, а где же ваши шляпки?

— Там же, где и твоя, милочка! — быстро отпарировала я.

Обычная веселость уже возвратилась к ней, и мой ответ, видимо, удовлетворил ее.

— А где Майлс? — добавила она.

Этот простой и дерзкий вопрос окончательно добил меня; три слова вылетели, как клинок из ножен, и от этого толчка чаша, уже полная до краев, которую долгими неделями держала я высоко, пролилась, и я поняла, прежде чем заговорила, что настал потоп.

— Я скажу тебе, если ты скажешь мне… — собственный голос я слышала, словно чужой, он задрожал, и я умолкла.

— Ладно, а что?

Тревожное ожидание миссис Гроуз бросалось в глаза, но было уже поздно, и я произнесла ласково:

— Будь добра сказать, душенька, где мисс Джессель?

XX

Как и после нашего с Майлсом разговора на кладбище, все сразу переменилось. Многое я давно поняла из того факта, что имя той особы никогда не упоминалось между нами, но сейчас, когда оно прозвучало, прорыв завесы молчания, судя по быстрому, сердитому и испуганному взгляду девочки, был подобен разбитому вдребезги стеклу. Мой натиск тотчас исторг у миссис Гроуз предупредительный вопль, словно она пыталась остановить удар, и за этим криком испуганного или даже раненого существа, спустя несколько секунд, раздался мой собственный стон. Я схватила свою спутницу за руку.

— Она здесь, здесь!

Мисс Джессель стояла на противоположном берегу, так же, как и в прошлый раз, и, как ни странно, это меня поначалу обрадовало: я получила доказательство! Она явилась, и это оправдывало меня; она была видна, а значит, меня нельзя

было назвать ни жестокой, ни безумной. Она предстала и перед бедной перепуганной Гроуз, но явилась она ради Флоры; и из всех моих тогдашних чудовищных впечатлений не было, пожалуй, момента столь необычайного, как тот, когда я сознательно послала ей, бледному и ненасытному демону, мысленную благодарность, почему-то уверенная, что она уловит ее и поймет.

Она стояла во весь рост на том месте, откуда мы с подругой недавно ушли, и каждый дюйм этого расстояния был пронзен ее злобой, ее темным желанием. Яркость видения и острота чувств сохранялись лишь доли минуты, но я успела заметить оцепенение Гроуз и взгляд, направленный туда, куда я указала — неоспоримый признак того, что и она увидела наконец, — и тогда я перевела взгляд на девочку. Реакция Флоры стала для меня, честно сказать, гораздо более потрясающим откровением, чем я ожидала. Она вряд ли выказала бы свое огорчение, но могла хотя бы просто взволноваться. Выслеженная нами, она была начеку и постаралась бы подавить всякие проявления своих чувств; но при первом же взгляде меня постигла болезненная неожиданность.

Я ужаснулась, увидев, что на розовом личике не дрогнул ни один мускул, Флора даже не притво-

рилась, что смотрит в указанную мною сторону на чудо, но повернулась ко мне с выражением жесткой, суровой серьезности, абсолютно новым, невиданным; казалось, она изучает, обвиняет, судит меня. Это был удар, превративший девочку в видение, способное испугать меня до дрожи. И я дрогнула, хотя в тот момент моя уверенность, что Флора все отлично видит, была крепка как никогда, и, стремясь защититься, я яростно призвала ее в свидетели.

— Ах ты, маленькая злосчастная лгунья, она здесь — здесь, здесь, и ты видишь ее не хуже, чем меня!

Незадолго до того я сказала Гроуз, что в такие моменты Флора — не дитя, а старая-старая женщина, и разительное подтверждение этому она дала теперь: ее ответом стал взгляд, лишенный снисхождения, согласия, все более глубокое, а потом вдруг застывшее выражение порицания. Насколько я могу судить сейчас, эта реакция устрашила меня тогда больше, чем все остальное, хотя одновременно я заметила, что и с миссис Гроуз творится неладное, и мне следовало бы уделить ей внимание. Моей пожилой спутнице, правда, долго молчать не удалось, и она, с красным от негодования лицом, выкрикнула громко

и возмущенно:

— Что за поворот, мисс! Это же ужасно! Где и что вы такое тут видите?

Мне сразу стало ясно, что с ней, так как мерзкий призрак виднелся, неколебимо и бесстрашно, на том же месте, пока она говорила. Он стоял уже минуту и не исчез, когда я, схватив экономку за плечи, чуть ли не подтолкнула ее носом в ту сторону и указала направление рукой.

— Вы не видите ее, как мы видим? Вы намекаете, что и сейчас… сейчас — нет? Она же отчетлива, как большой костер! Да поглядите же, дражайшая моя женщина, поглядите!

Она честно поглядела, как и я, и издала глубокий вздох, в котором смешались отрицание, отвращение, сочувствие: она была и довольна, что не видит, и сожалела об этом, — даже тогда меня это тронуло; я чувствовала, что она с готовностью поддержала бы меня, если бы могла. А в поддержке я очень нуждалась; то, что глаза Гроуз были безнадежно запечатаны, лишило мои доказательства опоры и тяжело ударило по моей позиции. Все рушилось, и я видела, чуяла натиск моей жуткой предшественницы, знающей о моем поражении, и в первую очередь осознавала, как с этого момента надлежит мне относиться к

поразительному настроению малютки Флоры. А миссис Гроуз немедленно и страстно подкрепила это настроение, подчеркнув мое чувство крушения странным личным торжеством: она принялась утешать девочку.

— Ее здесь нет, маленькая леди, — говорила она задыхаясь, — и никто здесь не появлялся… и вы ничего такого никогда не видите, милочка моя! Как могла бы бедняжка мисс Джессель… ведь бедная мисс Джессель умерла и похоронена? Мы это знаем, верно, душенька? — сбивчиво заклинала она ребенка. — Это все просто ошибка, волнение и шутка… и мы сейчас скоренько пойдем домой!

Девочка отозвалась на это странно быстрым возвращением к пристойности, и они с Гроуз снова стали как бы единым целым, мучительно противопоставленным мне. Флора, крепко вцепившись в платье нашей общей подруги, упорно сохраняла маску осуждения, и даже в ту минуту я молила Господа о прощении за то, что ее несравненная детская красота в моих глазах внезапно исказилась, почти исчезла. Я уже говорила выше: девочка не казалась, она буквально стала жесткой до омерзения; она превратилась в заурядное, почти уродливое существо.

— Я не знаю, о чем вы говорите. Мне никто не яв-

лялся. Я ничего не видела. И никогда раньше. Вы жестокая. Вы мне не нравитесь! — Высказавшись так, словно она была вульгарной нахалкой-девчонкой с улицы, она теснее прижалась к миссис Гроуз и спрятала в ее юбках свое ужасное личико. Стоя так, она испустила почти яростный вопль: — Заберите меня, заберите меня отсюда… о, заберите меня от нее!

— От меня? — ахнула я.

— От вас, от вас! — кричала она.

Гроуз глянула на меня в смятении, я же могла лишь вновь обратиться к фигуре на дальнем берегу озера, которая застыла недвижно, как будто напряженно вслушиваясь издали в наши голоса; когда я рассчитывала использовать ее, она выглядела не так отчетливо, как сейчас, созерцая мое крушение. Несчастное дитя говорило так, словно колючие слова пришли к ней из какого-то внешнего источника, и я, в полном отчаянии, готовая смириться, только грустно покачала головой.

— Если бы у меня когда-либо были сомнения, то они рассеялись бы ныне. Я пыталась ужиться с отвратительной правдой, и теперь она обрушилась на меня. Понятно, почему я потеряла тебя: я вмешалась, и ты нашла, под ее диктовку, — я снова оглянулась на нашу инфернальную сви-

детельницу, — легкий и действенный способ встретиться с нею. Я старалась изо всех сил, но потеряла тебя. Прощай.

Обратившись к миссис Гроуз, я приказала ей, почти не сдерживая ярости: «Идите же, идите!» — и она удалилась тем же путем, которым мы пришли, спеша, как могла, в бесконечной скорби, в немой привязанности к девочке, но, несмотря на свою слепоту, явно убежденная в том, что случилось некое несчастье и что-то рухнуло.

О том, что я делала, оставшись одна, у меня не сохранилось связных воспоминаний. Помню лишь, что спустя, наверно, четверть часа ощутила запах травы, жесткость почвы, пронзительную сырость и холод — и поняла, что, видимо, в беспамятстве горя бросилась наземь. Должно быть, я лежала там и плакала долго, ибо, подняв голову, увидела, что день почти на исходе. Я поднялась, окинула взглядом сквозь сумеречную дымку серую гладь пруда и его пустынную, призрачную кромку и отправилась восвояси, тем же унылым и трудным путем. Дойдя до калитки в ограде, я с удивлением обнаружила, что лодки нет, и задумалась о том, как великолепно Флора справилась с ситуацией. Ту ночь, по молчаливому (и можно было бы сказать — счастливому, не звучи это сло-

во так гротескно) соглашению, девочка провела у миссис Гроуз. Вернувшись домой, я не видела их обеих, зато — неоднозначная компенсация — видела много Майлса. Видела его так много — иначе не скажешь, — как никогда ранее.

Изо всех вечеров, проведенных мною в Блае, только этот был таким зловещим; но он же, вопреки глубокой бездне ужаса, открывшейся у меня под ногами, в ускользающей реальности, был полон необычайно сладкой грусти. По возвращении домой я и не подумала искать мальчика; я сразу же прошла в свою комнату, чтобы переодеться и наглядно убедиться в разрыве с Флорой. Ее маленькие вещички были уже убраны. Позже, когда я сидела у камина в классной комнате, горничная подала мне чай, но я не пожелала расспросить ее относительно моего ученика. Он добился свободы — ну и пусть пользуется ею сколько хочет! И он воспользовался — по меньшей мере отчасти, — чтобы прийти ко мне около восьми часов и молча сесть рядом. Когда чайный прибор унесли, я задула свечи и придвинула кресло ближе к огню: меня донимал смертельный холод, казалось, что я никогда не согреюсь. Итак, он появился, когда я сидела в полумраке, погруженная в свои мысли. Постоял у двери, как бы разглядывая меня; потом,

будто решившись разделить со мной раздумье, подошел к камину и опустился в кресло с другой стороны. Мы хранили молчание, но я чувствовала, что ему хотелось быть со мной.

XXI

Незадолго до рассвета нового дня ко мне в комнату вошла миссис Гроуз; она разбудила меня с дурными вестями. Флору сильно лихорадило, видимо, она заболела; ночь прошла крайне неспокойно, девочку терзали страхи, но причиной их была отнюдь не прежняя ее гувернантка, а нынешняя. Она страдала не из-за возможного появления на сцене мисс Джессель — нет, она откровенно и страстно противилась моему появлению. Разумеется, я быстро встала с постели, мне нужно было о многом расспросить подругу, которая явно препоясала чресла свои[20], чтобы прийти ко мне. Это стало ясно, как только я спросила, считает ли она, в отличие от меня, поведение девочки искренним.

---

[20] Примечания: 20

Ироническая аллюзия на евангельский призыв «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи» (Евангелие от Луки). «Препоясать чресла» значит «укрепить на бедрах пояс с оружием, готовясь к походу или к бою». Переносный смысл выражения: приготовиться к тяжелому испытанию, набраться мужества.

— Она упорствует в отрицании того, что видела вчера или в другое время?

Экономке я причинила своим вопросом истинные мучения.

— Ах, мисс, не такое это дело, чтобы нажимать на нее! Но должна сказать, что и нажимать-то не нужно. Она из-за этого стала старой, вся целиком старой.

— О, эту картинку я и отсюда отлично увижу. Она возмущена, словно какая-нибудь высокопоставленная особа, что ее правдивость и, следовательно, ее респектабельность подвергаются сомнению. «Мисс Джессель на самом деле — она!» Ах, уж она-то «респектабельна», эта девчонка! То, как она вела себя вчера, произвело на меня, поверьте, исключительно странное впечатление; ничего подобного прежде не было. Я точно проникла в ее тайну! Она со мной никогда теперь не заговорит.

Это мерзкое и темное дело заставило Гроуз умолкнуть, но потом она согласилась со мной, и за ее откровенностью, я не сомневалась, стояло что-то еще.

— Думаю, мисс, она и впрямь не заговорит. Очень важные у нее манеры стали!

— И эти манеры, — подытожила я, — сейчас

являются главной причиной ее состояния!

О да, судя по лицу экономки, манеры и многое другое кроме них!

— Она спрашивает у меня каждые три минуты, не кажется ли мне, что вы идете.

— Понятно… — я, со своей стороны, могла бы сказать больше, но воздержалась. — А сказала ли она вам со вчерашнего дня что-нибудь про мисс Джессель, хоть слово, кроме уверений, что не водится с подобным злом?

— Ни словечка, мисс. И еще — да вы, конечно, знаете, — там, у озера, я от нее услыхала, что никто туда не являлся, во всяком случае, вчера.

— Само собой! И, естественно, вы ей до сих пор верите.

— Я ей не перечу. А что еще я могу поделать?

— Да ничего вообще! Вы имеете дело с чрезвычайно умной малышкой. Они… то есть парочка их друзей… усилили их природные способности — это был благодатный материал для опытов! Флора теперь огорчена, но она доведет свою задачу до конца.

— Да, мисс; но до какого конца?

— Ну как же — пожаловаться на меня дяде. Она представит ему меня как самое мерзкое существо!

Я поморщилась, предлагая Гроуз представить себе эту сцену; судя по ее лицу, она на минуту ясно увидела их вдвоем.

— И ведь он такого хорошего мнения о вас!

— Мне сейчас пришло в голову, что он выбрал странный способ доказать мне это! — засмеялась я. — Но это неважно. Понятно, что Флора хочет избавиться от меня.

— Чтобы никогда больше не увидеться с вами, — храбро поддакнула моя соратница.

— Значит, вы пришли сейчас ко мне, чтобы ускорить расставание? — спросила я, но не дала ей времени ответить. — У меня есть лучшая идея, и я хорошо ее обдумала. Мой отъезд может показаться правильным предложением, и в воскресенье я была ужасно близка к этому. Однако так не годится. Уехать должны вы. Вы должны увезти Флору.

— Но куда же, куда? — недоумевала она.

— Прочь отсюда. Прочь от них. Прочь — что, может быть, даже важнее — от меня. Прямиком к ее дяде.

— А там что — только жаловаться на вас?

— Нет, не «только»! Вы также доставите мне средство исцеления.

Гроуз все еще не понимала.

— И какое же у вас есть средство?

— Прежде всего, ваша верность. И верность Майлса.

Она глянула на меня в упор.

— Вы думаете, он не захочет?..

— Навредить мне, если выпадет шанс? Да, я смею так думать. Однако в любом случае я хочу попробовать. Увезите его сестру как можно скорее и оставьте меня наедине с ним.

Я сама удивлялась, что мои душевные силы еще не исчерпались, и потому слегка встревожилась, поскольку моя соратница, несмотря на мой пример, продолжала колебаться.

— Тут есть, конечно, один важный момент, — добавила я, — дети не должны видеться, хотя бы и на пару секунд, пока она здесь. — Я полагала, что Флору держат под замком с момента, когда Гроуз привела ее домой, но вдруг испугалась, как бы не было поздно. — Неужели они уже встретились?

Экономка вся зарделась.

— Ах, мисс, я не настолько глупа! Мне приходилось оставлять ее три или четыре раза, но оставлять под присмотром горничных, а сейчас она, правда, одна, но надежно заперта. И все-таки… ну… не слишком ли вы уверены в нашем маленьком джентльмене?

— Я не уверена ни в ком, кроме вас. Но со вчерашнего вечера у меня зародилась новая надежда. Мне кажется, что мальчик захотел предоставить мне удобный случай. Да, я верю! Бедный, восхитительный, маленький негодник! Он хочет говорить. Вчера он просидел рядом со мной, при свете камина, в молчании, два часа, как будто дожидаясь видения.

Миссис Гроуз упорно глядела в окно на серый, пасмурный пейзаж.

— И оно явилось?

— Нет, хотя я ждала и ждала. Признаюсь, ничего не было, но он так и не нарушил молчания, и даже когда я поцеловала его и пожелала спокойной ночи, не поинтересовался, что происходит с его сестрой и почему она отсутствует. Так или иначе, если девочка увидится с дядей, я не могу допустить, чтобы он увиделся с ее братом, не дав мальчику — поскольку дела зашли уже так далеко — еще немного времени.

Я перестала понимать, почему нерешительность так овладела моей подругой.

— Дать время — это по-вашему сколько?

— Скажем, день или два — этого хватит. Тогда он окажется на моей стороне, вы же понимаете, как это важно? Если ничего не изменится

— значит, я проиграю, вот и все, а вы, в худшем случае, поможете мне тем, что по прибытии в город сделаете все, что сочтете возможным. — Она непостижимо мешкала с ответом, но тут я догадалась добавить: — Впрочем, вы, может быть, вовсе не хотите ехать?

Это наконец помогло; ее лицо прояснилось, и она протянула ко мне руку, словно присягая.

— Я поеду… Поеду. Утречком и поеду!

Я старалась быть справедливой.

— Если вы захотите еще подождать, тогда я позабочусь о том, чтобы она меня не видела.

— Нет-нет, ей сам дом вредит. Она должна уехать. — Гроуз бросила на меня тяжелый взгляд и договорила: — Вы правильно придумали, мисс. Я сама…

— Что?

— Не могу тут оставаться.

В ее тоне мне почудились новые возможности.

— Вы подразумеваете, что со вчерашнего дня что-то увидели?

Она с достоинством покачала головой.

— Я слышала! Это дитя говорит ужасные вещи! Ох! — Гроуз вздохнула с трагическим облегчением. — Честное слово, мисс, она наговорила такого!..

Но тут моя подруга осеклась, рухнула на диван и внезапно разрыдалась, дав волю своему горю, как и прежде в подобных случаях. Я же отреагировала по-другому, воскликнув: «О, слава богу!»

Слезы Гроуз иссякли, она вскочила со стоном.

— Вы говорите «слава богу»?

— Потому что это подтверждает мои подозрения!

— Воистину так, мисс!

Лучшего признания и желать было нельзя, но я все-таки засомневалась.

— Она настолько ужасна?

Экономка замялась, подбирая слова, и пробормотала:

— Ужасно неприлично выражается.

— И обо мне?

— И о вас, мисс… вам, наверно, надо знать. Для юной леди это немыслимо просто; ума не приложу, где она могла набраться…

— Непристойных выражений касательно меня? А вот я знаю! — вставила я и засмеялась весьма многозначительно.

Правда, моя подруга стала еще серьезнее.

— Ну, наверно, мне следовало тоже знать, потому как я кое-что слышала и раньше! Но это невыносимо… — бедняжка отвернулась, и ее

взгляд упал на туалетный столик, где лежали мои часы. — Мне пора идти.

Однако я ее удержала.

— Ах, если для вас это невыносимо…

— Вы хотите сказать — как я смогу оставаться при ней? Да как раз из-за этого смогу: ее нужно увезти. Подальше отсюда, подальше от них…

— Она может измениться? Освободиться? — я схватила Гроуз за руку почти радостно. — Вы верите в такой поворот?

Положение, описанное ее простыми словами, подчеркнутое выражением лица, не требовало дальнейших разысканий, и она высказалась прямо, как никогда ранее.

— Верю!

Да, это было радостно, и мы по-прежнему стояли плечом к плечу: я могла заняться своей задачей, будучи уверена, что обо всем прочем беспокоиться не нужно. Я обрела поддержку вначале, когда нуждалась в доверии, и теперь, под гнетом несчастья, поддержка эта сохранилась; если подруга ответила на мою честность, я буду в ответе за все остальное. Уже прощаясь, я все-таки немного встревожилась.

— Нужно учесть еще один момент, я лишь сейчас вспомнила. Мое письмо, с упоминанием

неприятностей, доедет до города раньше вас.

— Значит, несмотря на вчерашнее, вы верите…

Мне вдруг стало ясно, как долго она говорила обиняками и как наконец устала от этого.

— Ваше письмо туда не попадет. Его не отправили.

— Куда же оно делось?

— Бог знает куда! Мастер Майлс…

— Вы думаете, он взял его? — ахнула я.

Она помедлила, но преодолела себя.

— Вчера, когда мы с мисс Флорой вернулись, я увидела, что письма нет на том месте, где вы его положили. Позже вечером я смогла расспросить Льюка, и он заявил, что письма не замечал и не трогал.

Мы обменялись изучающими взглядами, и тут Гроуз вспыхнула, воскликнув почти ликующе:

— Теперь вы видите!

— Да, я понимаю: если Майлс взял письмо, он, вероятно, прочитал его и уничтожил.

— И больше ничего?

— Я понимаю, — сказала я, грустно улыбнувшись, — что на этот раз ваши глаза раскрыты шире, чем мои.

Так и было, но она все еще стеснялась признать это.

— Я теперь сообразила, что он творил в школе, — она как-то странно тряхнула головой, словно стряхивая иллюзии. — Он воровал!

Я задумалась, пытаясь рассуждать здраво.

— Ну что же… это возможно.

Она, кажется, удивилась моему неожиданному спокойствию.

— Он воровал письма!

Она не могла знать причину моего спокойствия, впрочем, довольно простую; и я попробовала объяснить.

— Пожалуй, в школе эти кражи имели для него больше смысла, чем здесь! Записка, которую я вчера положила на стол, во всяком случае, не даст ему почти никаких преимуществ — в ней не было ничего, кроме просьбы о встрече; сейчас ему должно быть очень стыдно, что он зашел так далеко ради такой безделицы, и вчера вечером, видимо, хотел признаться.

Мне казалось, что теперь я наконец во всем разобралась, увидела всю картину.

— Уезжайте, оставьте нас, — я уже стояла у двери, поторапливая Гроуз. — Я договорюсь с ним. Он пойдет мне навстречу, он сознается. Если сознается — он спасен. А если он будет спасен, тогда…

— Тогда спасены и вы? — Милая женщина по-

целовала меня, и мы расстались. — Я спасу вас и без него! — воскликнула она, уходя.

XXII

И вот она ушла, и я немедленно затосковала по ней, ибо теперь настал и в самом деле самый трудный час. Рассчитывая, что я смогу сделать, оставшись наедине с Майлсом, я быстро осознала, что получу по меньшей мере возможность измерить глубину ситуации. Не было за все время моего пребывания в Блае часа, столь отягощенного предчувствиями, как тот, когда я, спустившись в холл, узнала, что экипаж с миссис Гроуз и моей младшей ученицей уже выехал за ворота усадьбы. Теперь я стою, сказала я себе, лицом к лицу со стихиями, и до конца дня, борясь со своей слабостью, вела себя с людьми чрезвычайно сурово.

Обстановка в доме стала более напряженной, чем ранее; впервые я заметила в поведении служащих смятение, вызванное кризисом. Случившееся, естественно, не укрылось от людей; мы могли бы дать какие-то объяснения, но этого было мало, если учесть внезапность отъезда экономки. Горничные и лакеи выглядели рассеянными; от этого нервы мои натягивались все туже, пока я не почувствовала, что нужно перевести ситуацию

в иное русло. Одним словом, я уподобилась тому кормчему, который, схватившись за руль, сумел избежать крушения; смею сказать, что мне удалось справиться с задачей, лишь сделавшись в то утро очень высокомерной и очень сухой. Я охотно вспомнила о своих многообразных обязанностях и дала знать об этом прислуге; в общем, оставшись в одиночестве, я проявила незаурядную твердость. В таком настроении я за час или два обошла весь дом, имея, без сомнения, вид полной готовности к любым атакам. Так, с ноющим сердцем, устроила я парад на благо всем, кого это могло касаться.

Казалось, что особой, которой это касается меньше всего, вплоть до обеда был малыш Майлс. В своих скитаниях по дому я не встретила его, но это делало лишь более очевидной перемену в наших отношениях, случившуюся после того, как накануне днем он своей игрой на пианино задержал меня, обманул и одурачил, действуя в интересах Флоры. О том, что каверза вышла наружу, явно свидетельствовали заключение и быстрый отъезд девочки, а сама перемена сказалась в том, что мы прервали регулярные занятия в классной комнате. Утром, спускаясь в холл, я отворила дверь в спальню Майлса, но он уже

куда-то исчез, и мне сказали, что он завтракал в присутствии двух горничных с миссис Гроуз и сестрой. Затем он сказал, что пойдет прогуляться; ничто, на мой взгляд, не могло яснее выразить его откровенное понимание резкого изменения моего статуса. Рамки нового положения ему еще предстояло определить, но так или иначе было некое утешение — особенно для меня — в том, что можно было перестать притворяться.

Раз уж столько тайного всплыло на поверхность, вряд ли я преувеличу, если скажу, что самым разительным открытием была абсурдность продолжения наших занятий. На самом деле мне уже давно было нечему его учить. Теперь стало ясно, что мальчик замечал те мелкие уловки, посредством которых я пыталась избавиться от непосильного состязания с ним на поле его истинных способностей, — замечал и молчаливо принимал, заботясь о моем достоинстве больше, чем я сама. В любом случае, он отныне обрел свободу; я не собиралась как-либо посягать на нее; я дала ему это понять уже прошлым вечером, когда, сидя с ним в классной комнате, не обмолвилась ни словом на эту тему, не бросила ни вызова, ни намека. С того момента меня сильно увлекли другие идеи. Но стоило ему наконец

появиться, как я уяснила себе всю сложность их реализации, всю концентрацию проблем, воплощенную в образе чудесного ребенка, на который случившееся, по видимости, не набросило никакой тени, не поставило пятна.

Чтобы подчеркнуть для прислуги свое высокое положение, я велела накрывать стол для меня и мальчика «внизу», как у нас говорили, то есть в парадной столовой, и потому ожидала его там, среди помпезной роскоши, напротив того окна, сквозь которое, в то первое страшное воскресенье, с помощью Гроуз увидела — не скажу свет, это не то слово — проблеск истины. И сейчас я ощутила заново, уже в который раз, насколько мое равновесие зависит от жесткости моей воли, от способности закрыть глаза как можно плотнее и не видеть, что мои намерения, увы, направлены против законов природы. Я могла добиться успеха, только подчинив «природу», взяв ее под опеку и относясь к чудовищному вторжению как к попытке задать ей новое направление — конечно, необычное, да и неприятное, но требующее, в конечном счете, для красоты фасада, лишь еще одного оборота винта обычной человеческой добродетели.

Тем не менее ни одна попытка не могла бы

потребовать больше такта, чем мой замысел получить доступ ко всей природе. Как могла бы я хоть чуть-чуть коснуться этой темы, не ссылаясь на прошедшие события? Как, с другой стороны, сослаться на них, не погружаясь снова в мерзкую тьму? Спустя некоторое время ответ нашелся, и правильность его подтвердилась тем, что я обрела остроту зрения, позволившую мне неопровержимо разглядеть редкое качество моего маленького товарища.

Получилось так, словно он сумел, даже в нынешних обстоятельствах, найти деликатный способ — как не раз это делал на уроках — облегчить мне задачу. Разве не развеивал тьму этот факт, озаривший пустыню нашего одиночества небывалым ранее сиянием? Благоприятный случай, драгоценный случай настал, и разве не было бы нелепо, имея дело с таким одаренным ребенком, отказываться от помощи, которой можно было добиться от блестящего ума? Зачем был ему дан разум, если не для спасения? А для того, чтобы дотянуться до его разума, можно ли рискнуть, коснуться его характера? Вышло так, будто он буквально указал мне путь. Мы сидели в столовой вдвоем; жареную баранину уже подали, и я отпустила слуг. Прежде чем сесть, Майлс по-

стоял, держа руки в карманах и глядя на баранью ногу, как будто хотел ее юмористически оценить. Но произнес он вот что:

— Скажите, дорогая мисс, она действительно очень ужасно больна?

— Малышка Флора? Нет, не очень, и ей скоро станет лучше. В Лондоне у нее все пройдет. Климат Блая ей больше не подходит. Иди садись и берись за еду.

Он живо послушался, взял себе порцию мяса, осторожно доставил тарелку на свое место и, усевшись, продолжил:

— Отчего же климат Блая вдруг стал для нее таким ужасно неподходящим?

— Не так уж и «вдруг», как ты думаешь. Мы давно замечали, что она заболевает.

— Если так, почему же ее не увезли раньше?

— Раньше чего?

— Раньше, чем она совсем разболеется и не сможет уехать.

— Она не совсем разболелась, — ответ у меня был уже готов. — Но если бы мы оставили Флору здесь, ей стало бы совсем худо. Мы спохватились как раз вовремя. В поездке зловредное влияние развеется, — о, я выражалась высокопарно! — и она придет в себя.

— Понятно, — Майлс, учитывая обстановку, не выходил за рамки приличий. Он приступил к обеду с теми очаровательными «застольными манерами», которые с первого дня знакомства избавили меня от неприятного ритуала уговаривания. Если его и выгнали из школы, то не за неряшливость при приеме пищи. В тот день он был безупречен, как всегда; но, несомненно, более задумчив. Он явно пытался принять на веру больше вещей, чем мог воспринять сам, без помощи; и, поняв это, не нарушал мирного молчания. Отобедали мы быстро — я напрасно старалась съесть хоть кусочек и вызвала служанку, чтобы сразу убрала со стола. Майлс тем временем стоял, снова держа руки в карманах, спиной ко мне, стоял и смотрел в широкое окно, через которое я когда-то получила заряд тревоги. Пока горничная находилась в комнате, мы молчали. По какой-то причудливой ассоциации я подумала, что мы похожи на молодоженов, которые во время свадебного путешествия сидят в гостинице и стесняются в присутствии официанта. Мальчик обернулся ко мне, лишь когда горничная ушла.

— Итак, мы остались одни!

XXIII

— О, более или менее, — улыбка моя, наверно, получилась бледной. — Не абсолютно. Но желать этого не следует!

— Да, я думаю, не следует. Конечно же, тут есть и другие люди.

— Есть и другие — действительно другие, — согласилась я.

— Ну, даже если они тут есть, — парировал мальчик, неподвижно стоя передо мной и по-прежнему держа руки в карманах, — на них не нужно обращать много внимания, верно?

Я выдержала этот удар, но чувствовала себя истощенной.

— Это зависит от того, что по-твоему значит «много»!

— Да… — он, кажется, готов был согласиться, — от этого зависит все!

Однако затем Майлс снова поглядел в окно и сделал несколько шагов к нему, неровных, нервных и нерешительных. Прислонившись лбом к стеклу, он застыл, созерцая знакомые мне нестриженые кусты и унылые образы ноября.

Использовав обычную хитрость «мне нужно работать», я присела с рукодельем на диван. Это

всегда успокаивало меня в те мучительные моменты, когда я осознавала, что дети посвящены в некую тайну, которая от меня закрыта на замок, и по привычке готовилась к худшему. Но напряженная спина мальчика вдруг произвела на меня особое впечатление: казалось, что замок открылся. За считаные минуты это впечатление окрепло и стало таким острым, что теперь мне казалось, будто это перед ним замкнулась дверь. Переплет большого окна стал рамой, в которую была как бы заключена картина его неудачи. Замкнут ли он внутри картины или вне ее, я определить не могла. Он был восхитителен, но не безмятежен, и я ощутила прилив надежды. Неужели он пытается разглядеть за окном нечто призрачное, чего уже не может увидеть? И не случилась ли такая осечка с ним впервые за все время? Да-да, впервые: а ведь это прекрасное знамение! Он встревожился, хотя и держал себя в руках; он был встревожен с самого утра, и понадобился весь его странный гений, чтобы скрыть это за обычным блеском застольных манер. Когда наконец он вновь обратился ко мне, я была почти уверена, что гений потерпел крах.

— Ну, я думаю, это хорошо, что климат Блая не вреден мне!

— За последние сутки, надеюсь, ты сумел лучше ознакомиться с усадьбой, чем раньше, — храбро продолжала я, — и, наверно, тебе это понравилось.

— О да, я ходил далеко-далеко, на многие мили кругом. Никогда еще не знал такой свободы.

Мне оставалось только поддерживать разговор в заданном им тоне:

— И как, тебе понравилось?

Майлс слушал, улыбаясь; потом обронил два слова: «А вам?» — ухитрившись вложить в них максимум пренебрежения. Я не сразу нашлась, что ответить, но он добавил, как бы сознавая, что должен как-то смягчить свою дерзость.

— Вы это переживаете так мило, я просто очарован! Мы-то, конечно, остались тут вместе, но основная часть одиночества досталась вам. Впрочем, — небрежно бросил он, — я надеюсь, что вас это не слишком огорчает!

— Иметь дело с тобой? — уточнила я. — Дорогое дитя, отчего бы мне огорчаться? Хотя я не буду навязываться тебе в компанию, ведь ты стоишь гораздо выше меня, но общение с тобою доставляет мне удовольствие. Иначе зачем бы мне здесь оставаться?

Майлс поглядел на меня внимательнее, серьез-

нее, и никогда не был он так красив, как в тот момент.

— Вы остались только из-за этого?

— Конечно. Я осталась как твой друг, ты меня очень интересуешь, и я тут побуду, пока не удастся найти что-то более подходящее для тебя. Ничего удивительного в этом нет. — Голос мой дрогнул, и я не смогла с ним справиться. — Помнишь ли ты, как я пришла и сидела на краю твоей кровати в ночь, когда была буря, и сказала, что ради тебя готова сделать все на свете?

— Да, да! — Он нервничал все заметнее, и ему тоже приходилось следить за своим тоном; но ему это удавалось лучше, чем мне: вопреки своей серьезности, он засмеялся, притворяясь, будто мы просто по-дружески шутим. — Только вам это нужно было, чтобы я что-то сделал для вас!

— Верно, это отчасти так и было, — согласилась я. — Но ты же знаешь, что ничего не сделал.

— О да, — признался он с поверхностной легкостью, — вы хотели, чтобы я вам что-то рассказал.

— Именно. Прямо и открыто. О том, что было у тебя на уме.

— Ага, значит, вы остались все-таки ради этого?

Говорил он весело, но я улавливала едва разли-

чимую дрожь горячей обиды; но выразить свои чувства при этих слабых признаках его сдачи не возьмусь. Было так, словно сбылась моя заветная мечта, а я чувствую лишь удивление.

— Ну что ж, я тоже могу открыть свою душу: да, такова была моя цель.

Он замолчал надолго, и я предположила, что он готовится опровергнуть ту идею, которой было обусловлено мое желание; но сказал он наконец иное:

— Вы хотите здесь… и сейчас?

— Самое подходящее место и время.

Он обеспокоенно огляделся, и я уловила первый симптом приближающегося страха — редчайший и такой необычный! Он как будто внезапно испугался меня, и это, пожалуй, можно было считать наилучшим результатом. Но при всем моем напряжении я напрасно пыталась стать суровой — и сама удивилась, как мягко, почти смешно прозвучал мой вопрос:

— Тебе так хочется снова выйти наружу?

— Ужасно!

Он героически улыбнулся, и это проявление мужества в ребенке было тем более трогательно, что он покраснел от боли. Он взялся за свою шапку, которую снял перед едой, и стал мять ее с таким

видом, что я, почти достигнув желанной гавани, ужаснулась тому, что делала. Мое милосердие получалось каким-то извращенным: каким бы способом я ни добилась победы, это все равно был бы акт насилия, ведь я обрушивала бремя проступков и вины на маленькое беззащитное существо, которое поначалу открыло передо мной возможности прекрасного общения! Разве это не низость — создавать для такой замечательной личности атмосферу отчуждения и неловкости? Я полагаю, что оцениваю сейчас нашу ситуацию с той ясностью, которая тогда была недоступна мне, и словно вижу наши несчастные глаза, уже освещенные искрами предчувствия грядущей беды. Мы ходили кругами, мучаясь страхами и уколами совести, подобно борцам, не смеющим сойтись в схватке. Но каждый из нас боялся за другого! Так нам удалось еще немного продлить ожидание и оставаться невредимыми.

— Я все расскажу вам, — сказал Майлс, — то есть все, что вы захотите. Вы останетесь со мной, и нам обоим будет хорошо, и я хочу рассказать, хочу! Но не сейчас.

— Почему не сейчас?

Моя настойчивость вынудила его снова отвернуться к окну, и в наступившей тишине можно

было бы услышать падение иголки. Потом Майлс снова подошел ко мне с видом человека, которого где-то снаружи ждет некто, требующий внимания.

— Мне нужно увидеться с Льюком.

Раньше я не доводила его до столь вульгарной лжи, и мне стало стыдно в той же мере. Но, как ни мерзка была эта ложь, для меня она открыла истину. Я задумчиво закончила ряд петель своего вязанья.

— Ну что же, иди к Льюку, я помню о твоих обещаниях и подожду. Однако в обмен на это будь добр перед уходом выполнить гораздо меньшую мою просьбу.

Видимо, считая, что он достиг немалого успеха, мальчик позволил себе немного поторговаться.

— Гораздо меньшую?

— Да, это всего лишь маленькая часть целого. Скажи мне… — о, я была так занята работой и говорила так небрежно! — не ты ли вчера днем, в холле… знаешь, там есть стол… не ты ли взял оттуда мое письмо?

XXIV

Я сосредоточилась на реакции мальчика, но в какой-то миг мое внимание было резко рас-

колото — иного слова не подберу. Это был удар, сперва заставивший меня только вскочить и, не задумываясь, обнять ребенка, прижать к себе; чтобы не упасть, мне пришлось прислониться к первому попавшемуся предмету мебели, но чисто интуитивно я развернула Майлса спиной к окну. А там предстало перед нами в полный рост видение, с которым я уже имела дело здесь: Питер Квинт стоял снаружи, как часовой у стен тюрьмы. Потом он приблизился к окну, прижал бледное лицо к стеклу и пронзил комнату пылающим взглядом проклятого.

Решение я приняла мгновенно; эти слова лишь приблизительно передают состояние, в которое меня ввергло жуткое зрелище. Но я уверена, что ни к одной женщине после такого потрясения не вернулась бы так быстро способность действовать. Именно присутствие ужасного призрака дало мне понять, что я должна, видя то, что вижу, стоя к нему лицом, уберечь мальчика от контакта. Вдохновение свыше — иначе не скажешь — подсказало мне, что усилием воли, с помощью провидения, я смогу это сделать. Я как бы вступила в борьбу за спасение человеческой души от демона, и когда я искреннее порадовалась этой возможности, то ощутила, как бьется эта душа в

моих дрожащих руках, рядом со мною, и увидела, как проступают прозрачные росинки пота на милом детском лбу. Лицо мальчика, прижавшегося щекой ко мне, было столь же бледно, как и физиономия за стеклом, и вдруг я услышала звуки, не слабые, но как бы идущие издалека, и мне показалось, будто на меня повеяло чудесным ароматом.

— Да… я взял его.

Со стоном радости я обняла его еще крепче, прижала к груди; я ощутила внезапную дрожь детского тела и лихорадочный ритм биения сердца, не сводя глаз с твари за окном. Фигура пошевелилась и сдвинулась с места. Если ранее я сравнила призрака с тюремщиком, теперь его медленное кружение больше напоминало о крадущемся, спугнутом звере. Однако мужество мое так возросло, что мне пришлось сдерживаться, чтобы скрыть душевное пламя. Между тем бледное лицо вновь замаячило за окном, негодяй явно вознамерился выждать и понаблюдать. Уже уверенная и в том, что могу теперь принять вызов, и в полном неведении ребенка, я смогла продолжить разговор:

— Зачем ты его взял?

— Посмотреть, что вы сказали обо мне.

— Ты вскрыл письмо?

— Да, вскрыл.

Я немного отстранилась от Майлса и убедилась, что насмешка исчезла из его взгляда — таково было сокрушительное действие смущения. Настоящим чудом было то, что, благодаря моему успеху, его чувства наконец закрылись для призраков и их общение прервалось: он знал, что видение где-то близко, но не знал какое и не подозревал, что я тоже способна их видеть и все знаю. И стоило ли сожалеть о пережитых волнениях, когда, обратившись к окну, я увидела, что воздух за ним чист, а значит — благодаря моим стараниям — источник влияния подавлен? Там было пусто. Я чувствовала, что победила и мне следует непременно довести дело до конца. Не скрывая своего ликования, я воскликнула:

— И ничего не нашел!

— Ничего, — он печально, задумчиво покачал головой.

— Ничего, ничего! — я почти кричала от радости.

— Ничего, ничего, — грустно повторил он.

Я поцеловала его влажный лоб.

— А что ты с ним сделал?

— Я его сжег.

— Сжег? — Нужно было спросить сейчас или никогда. — Не этим ли ты занимался в школе?

— В школе?

О, как он встревожился!

— Ты брал письма? Или другие вещи?

— Другие вещи? — Казалось, он думает теперь о чем-то отдаленном, что проявляется лишь под натиском нынешней тревоги. И все-таки проявилось: — Что же я, воровал?

Я почувствовала, что краснею до корней волос, но не знала, чему больше дивиться: тому ли, что я задала джентльмену такой вопрос, или тому, что он допускает такую возможность: это показывало всю меру его мирского падения.

— Именно из-за этого ты не мог вернуться?

— Вы знали, что мне не разрешили вернуться? — только это его и удивило, к моему огорчению.

— Я знаю все.

— Все? — Он одарил меня долгим и очень странным взглядом.

— Все. Так скажи, ты?.. — Повторить то слово я не смогла. Но Майлс ответил просто:

— Нет. Я не воровал.

По моему лицу он, очевидно, понял, что я ему полностью поверила; нежность переполняла

меня, и все же руки мои встряхнули его, как бы в поисках ответа: если все свелось к пустякам, зачем было мучить меня молчанием все эти месяцы?

— Чем же ты все-таки провинился?

Болезненно поморщившись, он стал глядеть на потолок комнаты и несколько раз вздохнул, словно ему не хватало воздуха. Он как будто опустился на дно моря и оттуда глядел на слабое зеленое свечение над головой.

— Ну… я говорил разное.

— Только это?

— Они решили, что этого достаточно!

— Чтобы тебя изгнать?

Никогда те, кого «выставляют вон», не давали такие скупые объяснения случившегося, как эта юная персона! Он как будто взвешивал мой вопрос, но как-то рассеянно и почти беспомощно.

— Ну, наверно, нельзя было такое говорить.

— Но кому ты говорил эти плохие слова?

— Я не знаю! — Он явно пытался вспомнить, но не смог — прошлое выпало у него из памяти.

Майлс слабо улыбнулся мне; отчаяние овладело им, поражение его было столь полным, что мне следовало на этом остановиться. Но я была одержима, ослеплена победой, хотя даже в тот

момент эффект того самого успеха, который должен был больше приблизить его ко мне, уже стал причиной еще большего отдаления.

— Ты говорил эти слова всем? — спросила я.

— Нет. Только тем, кто… — Он снова болезненно потряс головой. — Не помню я, как их звали.

— Их было так много?

— Нет… всего несколько. Те, которые мне нравились.

Те, которые ему нравились? Вместо большей ясности я угодила в потемки, и через минуту мое сочувствие к ребенку переросло в страшную тревогу: а вдруг он невиновен? То было мгновение ужаса, сокрушительного и бездонного, ибо если он действительно невиновен, то что можно сказать обо мне?

Парализованная на эту минуту одной только мыслью об этом, я слегка отпустила Майлса, и он с глубоким вздохом снова отвернулся от меня и посмотрел в окно; но там было пусто, и я не воспретила ему смотреть, понимая, что удерживать его больше незачем.

— И они стали повторять то, что ты сказал? — спросила я скрепя сердце.

Он вскоре отошел от меня, все еще тяжело дыша и снова показывая, хотя уже без гнева, что

считает себя заключенным против своей воли. И опять он посмотрел в окно, как раньше, на картину пасмурного дня, как будто от того, что прежде его поддерживало, не осталось ничего, кроме невыразимой тревоги. И тем не менее он ответил:

— О да, они, наверно, их повторили… Тем, кто им нравился.

Все это было не так значительно, как я ожидала; но нужно было двигаться дальше.

— И все это дошло?..

— До учителей? О да! — просто ответил он. — Но я не знал, что они рассказали.

— Учителя? Они не сделали этого — они ничего не рассказали. Поэтому я расспрашиваю тебя.

Его прекрасное, раскрасневшееся от лихорадки лицо вновь обратилось ко мне.

— Да, это было очень дурно.

— Что дурно?

— То, что я, кажется, иногда говорил. И писать домой — тоже.

Трудно выразить потрясающий пафос противоречия между тем, что было сказано и кто сказал; знаю лишь, что у меня вырвалось:

— Глупости и нонсенс! — это прозвучало добродушно, но потом мой голос посуровел. — Так что

же такое ты говорил?

Это была суровость судьи или палача; но мальчик вновь отстранился, и это заставило меня, одним прыжком, с неудержимым воплем, броситься к нему. Ибо там, за стеклом, снова проявлялось, как бы для того, чтобы обесценить признание и помешать ответить, мерзкое видение виновника наших бедствий — бледный лик проклятого. От утраты победы и возобновления битвы у меня все поплыло перед глазами, и дикий прыжок лишь выдал меня. Я успела заметить, что мальчик понял, в чем дело; осознав, что он догадался лишь сейчас и по-прежнему ничего не видел в окне, я решила использовать свой порыв, чтобы превратить предельное горе Майлса в доказательство его освобождения.

— Никогда больше! Хватит, хватит! — вскричала я, глядя на призрака и пытаясь обнять мальчика.

— Это она тут? — ахнул Майлс, заметив направление моего взгляда. Это неожиданное «она» потрясло меня, и я твердила, задыхаясь: «Мисс Джессель, мисс Джессель!», пока он, во внезапном приливе ярости, не оттолкнул меня со всей силы.

Ошеломленная, я поняла, что его предполо-

жение — как бы отклик на то, что мы сделали с Флорой, но это побудило меня показать ему, что ситуация лучше, нежели он думает.

— Это не мисс Джессель! Но оно за окном — прямо перед нами. Оно там, трусливое чудовище, в последний раз!

Майлс мотнул головой, как собака, потерявшая след, потом дернулся, как бы стремясь к воздуху и свету, и в слепой ярости, в отчаянии, тщетно шаря глазами вокруг и не находя призрака, чье подавляющее присутствие, как я ощущала, распространялось по комнате словно запах яда, набросился на меня:

— Это он?

Я была полна такой решимости выяснить все до конца, что вооружилась ледяной холодностью, чтобы нажать на Майлса.

— Кого ты называешь «он»?

— Питера Квинта… а вы чертовка! — Лицо мальчика снова конвульсивно дернулось, взгляд метался по комнате. — Где?

До сих пор слышу я эти слова — имя, как знак сломленного сопротивления, и его оценку моей преданности.

— Зачем он тебе теперь, мой милый? Он уже неважен, отныне и впредь! — Потом я обрати-

лась к твари: — Я тебя чую, — но он потерял тебя навеки!

Потом, чтобы показать Майлсу, что было мною сделано, я сказала:

— Вон там, смотри!

Но он уже сам круто повернулся, пристально вгляделся снова — и не увидел ничего, кроме тихого дня. Потеря, которой я так усердно добивалась, так гордилась, стала для него ударом. Он вскрикнул, как человек, падающий в бездну, и я, подхватив его, возможно, остановила это падение. Да, я схватила его, удержала, — можете представить себе, с какой страстью; но в следующее мгновение я осознала, что именно держу. Мы были одни среди тихого дня, но сердечко Майлса, не выдержав потери, остановилось.

Перевод Алины Немировой

Комментарии переводчика

Новелла «Поворот винта» (“The Turn of the Screw”), написанная в 1898 г., считается лучшим образцом жанра «хоррор» и до сих пор вызывает споры среди литературоведов. Каждое поколение критиков пытается дать свою интерпретацию новеллы, ссылаясь на теории от психоанализа

до марксизма, но сходятся они лишь в том, что это произведение неоднозначное. Невозможно даже с уверенностью утверждать, что призраки не являются порождениями возбужденного воображения гувернантки. Видимо, эта неоднозначность намеренно создавалась автором. Джеймс Генри употребил для этого богатые средства стилистики и даже синтаксиса английского языка, доводя текст порой до полной невразумительности. (В переводе эти особенности неизбежно отчасти сглаживаются.) Повествование строится на ряде контрастов: бросается в глаза чередование больших абзацев со сложными фразами и длинными словами и диалогов с кратчайшими репликами, с обилием многоточий; контрастны образы сверхчувствительной и экзальтированной гувернантки (чье имя даже не упоминается) и туповатой, косноязычной экономки; контрастно сопоставление внешней красоты и добропорядочности обитателей усадьбы и отягощенной злом атмосферы внутри их замкнутого мирка и т. д.

Ощущение недосказанности усиливается тем, что первая главка-прелюдия не дополняется традиционным эпилогом. Для современных читателей может также показаться неясным то,

что без объяснения понимали англичане конца 19-го века: причины психологических мучений героини и те цели, ради которых она подвергала испытаниям и детей, и саму себя — все это коренится в еще незыблемых тогда устоях ханжеской викторианской морали, согласно которой детей «высших классов» надлежало растить в полном отрыве от всего «низменного», вытравливать открытое проявление всех естественных человеческих чувств и заменять их механическим соблюдением затверженного кодекса условностей. В частности, для «леди» с самых юных лет считалось глубоко неприличным повышать голос, открыто плакать, сердиться и т. п. Все, что относится не только к взаимоотношениям полов, но и вообще к частям тела «ниже пояса» (включая одежду), считалось сферой абсолютно запретной для произнесения вслух. Научить детей называть вещи своими именами и проявлять при них любовные отношения — значило способствовать их падению, погубить их, ни больше ни меньше.

Хотя викторианская эпоха давно отошла в прошлое, новелла не утратила своей популярности. С 1950 по 2020 г. ее неоднократно адаптировали для сцены (в том числе оперной), создавали сценарии для кинофильмов и сериалов.



Монтегю Родс Джеймс


Memento, pulvis es
et in pulverem
reverteris
Si tu veneris ad me,
ego veniam ad te
Si tu veneris
ad me
ego veniam
ad te

Истории о привидениях — одна из давних английских литературных традиций. Короткую прозу подобного рода сочиняли и Ч. Диккенс, и Генри Джеймс, не говоря об английских неоромантиках — Р. Л. Стивенсоне, Г.Р. Хаггарде, Р. Киплинге, Дж. Конраде и, конечно же, А. Конан Дойле. Однако при его очевидной популярности «рассказ с привидениями» все-таки был жанром маргинальным. Почти никто из британских писателей не сделал его своей основной «специальностью». Никто, за исключением М.Р. Джеймса, одного из «малых классиков» английской литературы начала XX века.

Придумыванию страшных историй Джеймс посвятил более сорока лет своей жизни. Надо сказать, что он не был профессиональным сочинителем и (как и Г. Ф. Лавкрафт) навсегда остался дилетантом, любителем. Сочинение для него было прежде всего увлечением, но «дилетантом» он оказался блестящим, которому ведомы тончайшие нюансы жанра.

Монтегю Родс Джеймс (Montague Rhodes James, 1862–1936) родился в религиозной и добропорядочной семье. Его отец был священником и надеялся, что сын пойдет по стопам родителя. Но тот закончил Кембриджский университет,

увлекся наукой и стал преподавателем. Хотя связи с религией он никогда не порывал и даже стал одним из наиболее известных толкователей Священного Писания своего времени, его увлекал скорее филологический и лингвистический, нежели теологический аспект великого памятника. Жизнь М. Джеймса была небогата внешними событиями и почти целиком связана с университетом, в иерархии которого он последовательно занимал почти все ступени — был тьютором (наставником), лектором, профессором, деканом, вице-президентом университета. Он был медиевистом — изучал Средние века: историю, культуру, исследовал архивы, занимался палеографией и лингвистикой. У него никогда не было семьи. Университет, наука, сочинительство — вот подлинный смысл и единственное наполнение его жизни.

Детские впечатления стали отправной точкой в формировании писателя и его будущих литературных интересов и предпочтений. Отец Джеймса был настоятелем храма, викарием. Церкви, кладбища, старинные надгробья, загадочные склепы и скульптуры, древние книги и надписи, латынь — все это должно было поражать и будить юное воображение. И даже если

судить, основываясь исключительно на текстах его рассказов, впечатления эти были чрезвычайно глубоки.

Как литератор Джеймс в основном шел от викторианской традиции, которой питались и Диккенс, и Стивенсон, и Конан Дойл, и Киплинг. По-иному и быть не могло — он формировался викторианской эпохой. Но его рассказы о привидениях весьма отличны от писаний упомянутых авторов, хотя бы уже потому, что писателя интересует сам феномен непознаваемого, воплощенный в привидении, а вовсе не головокружительные приключения героя. У Джеймса тайна так и остается тайной, читателю так никто и не объясняет, что именно произошло. «Есть многое на свете», — цитируя «Гамлета» Шекспира, в одной из новелл устами своего героя говорит писатель. Эта фраза нечто большее, нежели цитата из классика. Она имеет ключевое значение. Произошло — и это главное. Финал остается «открытым». В этом смысле Джеймс ближе к традиции, представленной Э. Дансени, Дж. Ш. Ле Фаню, а затем и Г. Лавкрафтом, также в значительной степени имевшей викторианские корни.

Но, указывая на очевидные викторианские истоки М. Джеймса-литератора, не следует забы-

вать и о более ранней традиции Г. Уолпола, А. Радклифф, М. Г. Льюиса. XVIII век присутствует в большинстве рассказов писателя, создает атмосферу, полноправно вторгается в повествование. Это проявляется не только в том, что писатель вообще явно неравнодушен к восемнадцатому веку — действие многих его рассказов развивается в эту эпоху, — но и в том, что «готика» восемнадцатого столетия во многом определяет стилистику и колорит его короткой прозы. Тайники, загадочные послания и надписи, таинственные совпадения, «оживающие» скульптуры, картины и древние фолианты, и, конечно же, привидения — типичные «персонажи» рассказов Джеймса. Важным сюжетообразующим компонентом новеллы являются и элементы эпистолярного жанра, широко используемые писателем. В то же время неизменной составляющей поэтики его «страшного» рассказа является и ирония. Но ее источником не могла быть «готическая» традиция. У иронии Джеймса следует искать иные корни.

Во-первых, есть все основания предположить, что одним из источников иронии писателя могла быть сама эпоха. Не следует забывать, что Джеймс писал и творил в самом конце XIX — в первой трети XX века. Современный писателю читатель

уже не мог всерьез принять тех «правил игры», которые воспринимались как вполне естественные на исходе XVIII — в начале XIX века.

Во-вторых, вполне логичным будет предположение, что ирония в прозе писателя может иметь и романтические корни. Этому не противоречит жанровый ареал, разрабатываемый Джеймсом — «страшный» рассказ, «рассказ с привидениями», «мистическая новелла» и т. д., — то есть именно тот спектр жанровых модификаций новеллы, который усиленно и повсеместно, независимо от национальной принадлежности, разрабатывался романтиками. В пользу этого предположения говорит и та особенность, которую сообщает новелле фигура рассказчика. Надо сказать, что в большинстве новелл Джеймса нет деления на автора и рассказчика. Первый обычно «сливается» со вторым, образуя единое целое. Пользуясь этим приемом, писатель стремится завоевать доверие читателя, столь необходимое в произведении подобного рода. Но у «совмещения» есть и иная функция. Рассказчик не только окрашивает в ироничные тона события, о которых повествует, но с иронией смотрит и на себя, как бы извиняясь перед читателем и призывая не судить строго за то, что он верит в привидения, загробную

жизнь, переселение душ и т. д. Таким образом, двойственность отношения автора к излагаемым событиям, характерные ирония и самоирония указывают на еще один источник традиции, в русле которой он развивался, — традиции романтической.

Важной характерной особенностью прозы писателя является национальный колорит. Англия, англичане, «английское», где и когда бы ни происходило действие рассказа — существенный элемент его поэтики. Но «английскость» Джеймса, помимо естественной «генетической» ее заданности, имела все-таки и литературный источник. При несомненном множестве составляющих этого источника нетрудно заметить, что особое место в нем принадлежит Шекспиру. Шекспировские мотивы пронизывают рассказы Джеймса. Его герои цитируют Шекспира, посещают шекспировские места, а некоторые из них дышат одним воздухом и сосуществуют с великим британцем на рубеже шестнадцатого — семнадцатого столетий. Даже Скандинавия — единственная, кроме Англии, страна, где живут и сталкиваются с необъяснимым герои Джеймса, — неизменно ограничена Данией гамлетовских времен с неизбежным Эльсинором и привидени-

ями в королевском замке. И, если мы вспомним о Шекспире и об отношении писателя к знаменитому соотечественнику, то романтизация края принца Датского и его героев литератором, который никогда не покидал Британских островов, не покажется неожиданной и непонятной. Большую роль в формировании и развитии писателя, безусловно, должны были сыграть и его научные интересы: увлечение Средними веками и работа со средневековыми манускриптами, где ведьмы, мертвецы и привидения были столь же органичны и естественны, как и в рассказах Джеймса.

Творческое наследие Джеймса невелико. Писал он медленно, много и тщательно работая над текстом, и публиковался нечасто. Первые его новеллы появились в периодических изданиях в конце XIX века. Первая книга — в начале двадцатого. Всего было издано пять сборников — «Рассказы антиквария о привидениях» в 1904 г., «Новые рассказы антиквария о привидениях» в 1911 г., «Кривая тень и другие рассказы» в 1919 г., «Предупреждение любопытствующим» в 1925 г. и «Рассказы М. Р. Джеймса о привидениях» в 1931 году. Лавкрафт читал эти книги, и они ему нравились.

А. Б. Танасейчук

Школьная история

Двое мужчин, сидя в курительной комнате, вспоминали о славных школьных днях.

— А в нашей школе, — произнес А., — на лестнице любой желающий мог рассмотреть след ноги привидения. На что он был похож? Да ничего особенного. Всего лишь отпечаток подошвы ботинка. Если мне не изменяет память, носок у ботинка был квадратный. А лестница каменная. Но вот о самом привидении никакой истории я никогда не слышал. Если задуматься, это довольно странно, не так ли? Я удивляюсь, почему никому и в голову не пришло сочинить какую-нибудь легенду об этом призраке.

— Никогда нельзя знать наверняка. У мальчишек всегда куча историй. Кстати, вот тебе и тема для исследования — «Школьный фольклор».

— Действительно. Хотя материал довольно скудный. Мне кажется, если заняться изучением историй, которые рассказывают мальчишки друг другу в интернатах, то в конце концов окажется, что их источник всегда один и тот же — литература, книги. Просто в них все преувеличено, искажено.

— В наше время с этим проблем нет. Полным-полно журналов с рассказами о привидениях.

— Да, конечно. Но в мое время ничего подобного не было. Дай я подумаю… Нет, кое-что я все-таки помню. Во-первых, историю о доме с таинственной комнатой, в которой многие хотели переночевать. И неизменно каждого из смельчаков находили утром: съежившись, он сидел в самом дальнем углу комнаты. Он только и успевал произнести: «Я видел…» — и немедленно испускал дух.

— А… Тот самый дом на Беркли Сквер?

— Скорее всего, он и есть. Потом была история о человеке, который ночью услышал шум в коридоре, открыл дверь и увидел, что некто ползет к нему на четвереньках. У этого «некто» один глаз выпал из глазницы и болтался на щеке. Или… дай-ка вспомнить… Вот! Комната, в которой нашли мертвеца. Тот лежал в своей кровати с отметиной от лошадиной подковы на лбу. И на полу было полно следов лошадиных подков. А почему? Черт его знает! Еще была история о леди. Войдя в спальню, она закрыла за собой дверь на ключ и вдруг слышит — с кровати из-под балдахина доносится тоненький голосок: «Ну вот, теперь мы остались вдвоем на всю ночь». И ника-

кая из этих историй не имеет ни объяснения, ни продолжения. И я не удивлюсь, если узнаю, что их рассказывают до сих пор.

— Думаю, рассказывают. И наверняка с продолжением, почерпнутым в каком-нибудь малопочтенном журнале. А ты сам, я полагаю, никогда не слышал о настоящем школьном привидении? Наверняка не приходилось. И никто не слыхал, я многих об этом расспрашивал.

— Ты говоришь так, будто сам что-то знаешь.

— Да нет, точно мне ничего не известно. Но одно событие я помню. Это случилось тридцать с лишним лет назад. Тогда я учился в одной уважаемой частной школе. Но вот объяснения тому, что произошло, у меня нет и до сих пор.

Школа, о которой я говорю, расположена недалеко от Лондона. Она помещалась в большом старинном доме — огромном, сложенном из белого камня, окруженном красивым парком. В нем росли высокие кедры и древние вязы, такие и сейчас в изобилии растут в старинных поместьях по берегам Темзы. В парке были еще и площадки для игр, три или четыре — там мы обычно играли. Мне кажется, что это было довольно симпатичное место. Но это я сейчас так думаю, — едва ли мальчишкам придет в голову, что школа, в которой

они учатся, может представлять что-то стоящее.

Я попал в школу в конце сентября. Скорее всего, это был 1871 год. Нас, мальчишек, тогда приехало много, но сблизился я только с одним. Он был шотландцем, родом с высокогорья. Буду называть его Маклеод. Не стану тратить время, рассказывая о нем. Главное, что мы крепко подружились. Нельзя сказать, что он сильно выделялся среди других. Книги читать он не очень любил, играми не увлекался тоже. Но я чувствовал себя с ним легко и свободно.

Наша школа была довольно большой: одних только учеников никогда не бывало меньше 120, а обычно больше. Соответственно, много было и учителей, и они довольно часто менялись.

Однажды, это был мой третий или четвертый семестр в школе, в нашем классе появился новый учитель. Его звали Сэмпсон. Высокий, дородный, с бледным лицом, он носил черную бороду. Он нам понравился. Он много путешествовал и во время пеших прогулок нередко удивлял нас своими рассказами. Помню это потому, что между нами всегда возникало некое соперничество за право идти рядом с ним. Еще помню… О боже! Только сейчас вспомнил! А прежде и не вспоминал!.. У него был талисман — на цепочке для

часов… Однажды он привлек мое внимание, и учитель дал мне его рассмотреть. Полагаю, это была старинная золотая византийская монета. На лицевой ее стороне было изображение какого-то императора, оборотная почти начисто стерта. На ней Сэмпсон — абсолютно варварски — начертал собственные инициалы: «Дж. В. С.» и дату — «24 июля 1865 года». Да, сейчас я вот еще что вспомнил: он сказал, что подобрал ее в Константинополе. Размером она была с флорин или чуть-чуть меньше.

И вот какое произошло первое непонятное событие. Сэмпсон вел у нас латынь. У него была своя преподавательская метода — может быть, даже очень удачная, не знаю, — он заставлял нас сочинять предложения. Мы придумывали их сами, чтобы правила, которые мы учили, крепче застревали в наших головах. Конечно, в этом был определенный риск: всегда найдется придурок, способный сочинить какую-нибудь гадость; сам знаешь, в любой школе такие встречаются. Но Сэмпсон неукоснительно требовал соблюдения дисциплины, и мы слушались его. В тот раз он объяснял нам, как выразить на латыни понятие «помнящий», и попросил каждого сочинить предложение с глагольной формой “memini” —

«я помню». Конечно, большинство придумало нечто вполне банальное, например «Я помню своего отца», «Он помнит книгу» или подобную чепуху. Мне кажется, большинство как раз и написали “memino librum meum” — «помню свою книгу». Но Маклеод сочинял что-то посложнее. Все уже завершили свою работу и ждали, когда можно будет заняться чем-нибудь другим. Кто-то, поторапливая, двинул его ногой под партой, а я, поскольку сидел рядом, толкнул его локтем и прошептал, чтобы поспешил. Но он не обращал внимания. Я заглянул в его листок, но там не было ни слова. Тогда я пихнул его локтем еще раз, уже посильнее, и сказал ему сердито, что он всех задерживает. На этот раз он отреагировал. Но как-то странно — будто он находился в забытьи, а теперь очнулся, быстро нацарапал пару строк на листе и показал всем остальным. Поскольку он закончил свое задание последним, то сначала Сэмпсон разобрал предложения, написанные другими учениками, особо отметив тех, кто начертал “memini scimus patri meo” — «мы помним свою родину». В это время пробило двенадцать часов, но Маклеоду пришлось подождать, пока учитель разберет его предложение. Мне не оставалось ничего другого, как выйти и ждать его у

дверей класса. Когда наконец он вышел, я понял: что-то случилось.

— Ну как? — спросил я.

— Да ничего, — сказал мой друг, — но думаю, что Сэмпсону почему-то очень не понравилось то, что я написал.

— И что же ты написал? Чепуху какую-нибудь, да?

— Да нет, не думаю, — ответил он, — по-моему, все было написано правильно. Первое слово: “Memento” — здесь ошибки нет, далее следует генитив, а полностью фраза звучит “memento putei inter quator taxos”.

— Ну точно — белиберда какая-то! — сказал я. — Зачем ты это написал? Что это означает?

— Самое смешное, я совсем не уверен, что понимаю ее. Фраза сама пришла в голову, я только записал ее. Но мне кажется, я знаю, что она означает, потому что перед тем, как я записал ее, некий мысленный образ стоял перед моими глазами… Я думаю, сие означает «помни колодец между четырьмя…» — слушай, как называются такие деревья с очень темной, почти черной корой и красными ягодами?

— Ну, не знаю… может быть, рябина?

— Никогда не слышал, — ответил Маклеод, —

нет. Сейчас сам вспомню… Тис… Да, точно, «между четырьмя тисами».

— Ну, а что Сэмпсон сказал?

— Он странно себя повел. Когда прочитал, то вскочил на ноги, быстро подошел к камину и замер подле. Он стоял так долго и не говорил ни слова, потом повернулся ко мне и спросил: «Ну и как это, по-твоему, переводится?»

Я ответил, только не мог вспомнить, как называется это дурацкое дерево. Потом он спросил, отчего я написал это предложение. Я что-то придумал, но не помню точно что. После моего ответа он сменил тему и спросил, давно ли я здесь, где живут мои родители и еще что-то тому подобное. А потом я ушел, но Сэмпсон был явно сильно напуган.

Не помню точно, но, по-моему, больше на эту тему мы с Маклеодом не говорили. На следующий день Маклеод слег в постель с простудой, и прошло больше недели, пока он снова появился на занятиях. Минул еще месяц, но ничего особенного не произошло. Действительно ли мистер Сэмпсон был сильно напуган, или Маклеоду это просто показалось — во всяком случае, виду он не подавал. Это сейчас я понимаю, что и тогда наверняка можно было заметить в той истории

что-то странное, но где об этом догадаться детям, а мы были просто мальчишками.

А затем произошло еще одно событие вроде того, о котором я тебе рассказал. Мы много раз сочиняли примеры на грамматику, и Сэмпсон никогда не сердился на нас, если мы делали ошибки. Но вот однажды, когда мы проходили весьма скучную тему под названием «Условные предложения», он дал нам задание придумать по одному условному предложению с согласованием будущего времени. Мы придумали, не знаю правильно или нет — кто как смог, и сдали листочки. Сэмпсон стал их проверять. Но вдруг внезапно вскочил с места, выкрикнул что-то нечленораздельное и выскочил за дверь. Ошеломленные, минуту или две мы сидели неподвижно, а потом — я знал, что поступаю нехорошо, — я и еще кто-то встали и подошли к его столу. Конечно, я был уверен, что кто-то из нас написал какую-нибудь гадость, и учитель побежал жаловаться. Но я заметил, что выбежал он с пустыми руками — все бумаги остались на столе, как и лежали. Ну так вот, верхний листок был исписан красными чернилами, которыми нам, кстати, пользоваться запрещалось, и почерк был совершенно незнакомый. В нашем классе так никто не писал. И точно,

все посмотрели, и Маклеод в том числе, и поклялись, что не писали. Тогда я решил пересчитать листы: их оказалось семнадцать. В нашем же классе было шестнадцать учеников. Этот листок я забрал себе, и знаешь, он, по-моему, до сих пор у меня сохранился. Ты наверняка хочешь узнать, что там было написано. Должен тебе сказать: ничего особенного. Вполне безобидное предложение. Во всяком случае, не страшное.

“Si tu veneris ad me, ego veniam ad te”, — вот что там было написано. Если я не ошибаюсь, перевести это можно так: «Если ты не придешь ко мне, тогда я сам приду к тебе».

— Ты можешь показать мне этот листок? — прервал рассказ слушатель.

— Могу. Но вот что странно. Когда вечером того же дня я достал листок из бюро, он был совершенно чист — словно на нем никто и не писал, — ни следов чернил, ни отпечатка пера. Только моя пометка на полях: я оставил отметину ногтем. С тех пор я и храню этот листок. Несколько раз я предпринимал попытки проверить, не сделана ли была надпись симпатическими чернилами, но судя по всему, нет.

Ну, хватит об этом. Через полчаса Сэмпсон вернулся, сказал, что неважно себя чувствует, и

отпустил нас. Сам же с опаской подошел к своему столу и бросил осторожный взгляд на верхний лист… Думаю, в тот момент он решил, что ему все это лишь померещилось. Он нас ни о чем не спросил.

Оставшиеся полдня мы отдыхали, а на следующий день Сэмпсон появился на занятиях, как будто ничего и не случилось. А ночью произошло третье и последнее событие моей истории.

Мы — Маклеод и я — спали в общей спальне в правом крыле главного здания школы. Спальня Сэмпсона тоже находилась в главном здании, но на втором этаже. Было полнолуние, и луна светила очень ярко. Где-то между часом ночи и двумя — точно не скажу — кто-то меня разбудил. Это был Маклеод. И он пребывал в сильнейшем возбуждении.

— Вставай, — шептал он. — Вставай! В окно к Сэмпсону лезет вор!

Как только я проснулся и был в состоянии говорить, я предложил:

— Ну так давай всех разбудим и позовем…

— Нет, нет, — сказал он. — Лучше не шуми. Пойдем и посмотрим.

Я, конечно, встал, выглянул в окно, и, конечно, там никого не было. Я очень рассердился, мне

так хотелось обозвать Маклеода каким-нибудь прозвищем пообиднее, но — и сам не знаю почему — я этого не сделал. Что-то здесь было не то, нечто такое мне почудилось, с чем я ни за что не хотел бы встретиться в одиночку, и был рад, что мой друг рядом со мной.

Мы еще долго смотрели из окна, пока я наконец не отважился спросить Маклеода, что же он все-таки видел и слышал.

— Я абсолютно ничего не слышал, — сказал он. — Но когда я проснулся, то обнаружил, что стою вот здесь, у раскрытого окна, и выглядываю наружу. Я увидел там человека. Он примостился на карнизе окна спальни Сэмпсона и заглядывал внутрь. Я подумал, что он лезет в спальню к учителю.

— Что за человек? — спросил я Маклеода. — Опиши его.

Видимо, воспоминание об этом ему было так неприятно, что его даже передернуло.

— Не знаю, — произнес он, — но должен сказать тебе одну вещь: он был страшно, чертовски худ и… выглядел так, словно вымок насквозь, и… — Он оглянулся кругом и зашептал едва слышно, словно боялся собственного голоса: — Знаешь, по-моему, он был не живой…

Мы еще долго шептались, пока наконец не пошли спать. К счастью, никто, кроме нас, так и не проснулся. В конце концов мы, кажется, даже заснули, но с утра ходили совсем сонные.

На следующий день мистер Сэмпсон исчез, и его никак не могли найти. Думаю, что с той поры никто не видел его и ничего о нем не слышал. Сейчас, размышляя о происшедшем, самым странным мне кажется, что ни я, ни Маклеод ничего никому не рассказали о том ночном событии. Конечно, нам и не задавали никаких вопросов, но даже если стали бы расспрашивать, едва ли мы могли что-либо ответить — мы были просто не в состоянии обсуждать то, что случилось.

— Вот и вся история, — произнес рассказчик. — И, мне кажется, единственная. По крайней мере, другой о привидении в школе мне слышать не доводилось.

Однако у этой истории есть продолжение, и, хотя оно может показаться вполне тривиальным, я считаю своим долгом изложить его. Упомянутый рассказ слышал не только я, были и другие слушатели. И вот однажды, было это тем же летом или следующим, один из них отдыхал в некоем частном владении у своего приятеля в Ирландии.

Однажды вечером они сидели в курительной комнате и от нечего делать перебирали сувениры и разные занятные вещицы, которых у хозяина коттеджа было великое множество. Неожиданно он извлек маленькую коробочку.

— А теперь, — произнес он, — скажи, что ты думаешь об этой штуковине. Ведь ты, я знаю, разбираешься в старинных вещах.

Его друг открыл коробочку и достал оттуда тонкую золотую цепочку. К цепочке был прикреплен какой-то предмет. Его собеседник взглянул на предмет и, чтобы рассмотреть его получше, достал очки.

— А как она к тебе попала? — спросил он.

— История довольно необычная, — таков был ответ. — Ты, наверно, помнишь ту тисовую рощу, что окружена зарослями кустарника? Год или два назад мы решили очистить тамошний колодец, который прежде использовался, а потом был заброшен. И знаешь, что мы в нем нашли?

— Думаю, вы нашли там труп, — сказал гость, и по голосу было заметно, что он нервничал.

— Совершенно верно. Скажу больше: мы нашли два трупа.

— О господи! Два? Да как же они туда попали? Вы смогли это выяснить? А эта штука была при

них?

— Да. Ее нашли в лохмотьях одежды одного из них. Паршивое дело, что бы ни было его причиной. Один труп крепко обнимал руками тело другого. Долго они там пролежали — лет тридцать, а то и больше. Сам понимаешь, колодец мы сразу же засыпали. Ты можешь разобрать, что нацарапано на этой золотой монете?

— Думаю, смогу, — сказал гость, поднося монету к свету. Прочитать надпись не составляло труда. — Если мне не изменяют глаза, «Дж. В. С., 24 июля 1865 года».

Перевод Андрея Танасейчука



Фрэнсис Мэрион Кроуфорд



К сожалению, М. Кроуфорд малоизвестен современному российскому читателю, но, безусловно, достоин иной судьбы: его истории — важный и яркий этап в развитии англоязычной «страшной» прозы.

Фрэнсис Мэрион Кроуфорд (Francis Marion Crawford, 1854–1909) — американский писатель, но… только по факту гражданства. В Америке он провел лишь небольшую часть жизни. Родом из Италии, воспитывался в Англии, учился сначала в Кембридже, а затем в Гейдельберге и Риме.

М. Кроуфорд родился в «художественной» семье: его отцом был известный американский скульптор Томас Кроуфорд, тетей приходилась американская поэтесса Джулия Хоу, старшей сестрой — писательница Мэри Кроуфорд Фрейзер (она же «миссис Хью Фрейзер»). В университете юноша увлекся Востоком, в 1879 году отправился в Индию, где изучал санскрит и сотрудничал в местных англоязычных газетах. Вернувшись в 1881 году в Америку, в течение года продолжал изучать санскрит в Гарварде, жил в Бостоне в доме своей тети Джулии и мечтал… об оперной карьере — у него был хороший баритон. Но надежде не суждено было сбыться, и тогда он принял решение посвятить себя литературе. Первые

две книги (издателя для них нашел дядя) были посвящены Индии и принесли успех. Уверовав в свою «звезду», переехал в Италию и взялся за сочинительство профессионально: ничем иным он уже более не занимался. Италия и литература составляли смысл и содержание жизни Кроуфорда до конца дней.

В 1884 году после женитьбы на Элизабет Бердан, дочери знаменитого генерала Хайрема Бердана (читатель, вероятно, помнит легендарную «берданку»), он окончательно укоренился на итальянской земле, обзавелся виллой в Сорренто и вплотную взялся за литературное творчество. Любовь к южному древнему краю наполняет многие его сюжеты, писатель досконально знает реалии, историю, людей, их нравы. Он сочинял прежде всего романы, энергия его была поразительна: ежегодно «выдавал на-гора» по две, а то и по три книги, в основном исторических. Писал пьесы. Рассказы о сверхъестественном, которые Кроуфорд сочинял время от времени, вовсе не были его излюбленным жанром, но он умел мастерски выстроить интригу и не столько пугал читателя, сколько заставлял его верить в то, о чем рассказывал. Его лучшие страшные новеллы — «Верхняя койка» (1885), «Ибо кровь

есть жизнь» (1905), «Мертвая улыбка» (1899) и «Кричащий череп» (1908), — безусловно, принадлежат к классике жанра. Г. Ф. Лавкрафт был не единственным, кто восхищался ими.

А. Б. Танасейчук

Кричащий череп

Я часто слышал, как он кричит. Нет, я вовсе не неврастеник, не страдаю от чрезмерно развитого воображения и никогда не верил в призраков — если, конечно, не считать призраком эту штуковину. Что бы это ни было, оно ненавидит меня почти так же, как ненавидело Люка Пратта. И оно кричит на меня.

На вашем месте никогда бы не стал рассказывать скверные истории о неординарных способах умерщвления людей. А что если тот, кто сидит за столом и слушает вас, устал от своих родных и близких? Я всегда винил себя за смерть миссис Пратт и считаю, что в каком-то смысле был к ней причастен, хотя Богу известно: я не желал ей ничего, кроме долгой и счастливой жизни. Как знать, не расскажи я ту историю, быть может, и она была бы еще жива. Надо полагать, что эта штука кричит на меня именно поэтому.

Миссис Пратт была хорошенькой женщиной, обладала мягким нравом и приятным нежным голосом. Но однажды я услышал ее пронзительный крик: когда она подумала, что ее маленького сына убило выстрелом из револьвера — тот вы-

стрелил, хотя все были уверены, что оружие не было заряжено. Так вот, это был точно такой же крик, с характерным усилением дрожи в конце. Вы ведь понимаете, о чем я? Такое ни с чем не спутаешь.

Признаться честно, для меня стало открытием, что доктор и его жена были не в самых хороших отношениях. Даже при мне они время от времени пререкались, и я часто замечал, как краснела и закусывала губу крохотная миссис Пратт, пытаясь не потерять самообладание, в то время как Люк становился мрачным и сыпал оскорблениями. Такое поведение было присуще ему с самого раннего детства, как я помню, и позднее — в школе. Знаете, он же мой кузен. Именно поэтому я был вхож в их дом. После его смерти и после того, как убили его сына Чарли в Южной Африке, никаких родственников не осталось… Да, это имение совсем небольшое. Как раз такое, что подошло старому моряку как я, который ударился в садоводство.

Мы всегда живее припоминаем чужие ошибки, нежели чьи-то умные мысли, не так ли? Я очень часто замечал эту особенность человеческой натуры. Однажды вечером я ужинал с Праттами. Именно тогда и рассказал им историю, которая

имела такие последствия… На улице стояла промозглая ноябрьская ночь, море жалобно стонало. Тсс! Если вы замрете, то и сейчас услышите его.

Вы слышите морской прилив? Мрачный звук, не правда ли? Иногда, приблизительно в это время года… Эй! А вот и он! Но не пугайтесь, приятель. Он вас не съест. В конце концов, это всего лишь неприятный звук! Но я рад, что вы услышали его, так как всегда найдутся те, кто подумает, что это ветер, или мое воображение, или еще бог весть что. Полагаю, что сегодня ночью вы уже не услышите звука прилива, ибо он редко случается больше одного раза. Да, все верно. Подкиньте в камин еще дров, а себе в стакан подлейте того разбавленного пойла, что вы так любите. Помните старого Блауклота, плотника с того немецкого корабля, что подобрал нас, когда *Клонтарф* пошел ко дну? Той ночью мы удачно легли в дрейф под завывающий ветер; земли не видать на пять сотен миль вокруг, а наш корабль вздымался и падал на волнах с постоянством часового механизма. «Бидди-грубиян гребет к берегу в эту ночь!» — возопил старый Блауклот, отправляясь на вахту, помните? Теперь, когда я окончательно выбрался на сушу, я часто вспоминаю это.

Да, именно такая ночь, как сегодня, и стояла,

когда я на время оказался дома, ожидая момента, чтобы вывести Олимпию в ее первое плавание — помните, как раз после этого первого рейса она установила рекорд, — но это было уже давно. Шел девяносто второй год, самое начало ноября.

Погода была ненастной, Пратт находился не в лучшем расположении духа, а ужин оказался скверным — на самом деле скверным, что усугубляло общее положение; холод же только ухудшал обстановку. Бедная маленькая миссис была очень расстроена, а потому, чтобы хоть как-то исправить впечатление от блюда из сырой репы с недоваренной бараниной, распорядилась, чтобы приготовили гренки по-уэльски[21]. У Пратта, видимо, был непростой день. Вполне возможно, что ему не удалось спасти одного из своих пациентов. Как бы то ни было, он выглядел очень раздраженным.

«Моя жена пытается отравить меня, понимаешь! — сказал он. — Однажды она преуспеет в этом». Нельзя было не заметить, как обидели эти слова супругу. Я нарочно рассмеялся, пытаясь свести все к шутке, и сказал, что миссис Пратт слишком умна, чтобы избавиться от мужа таким

[21] Примечания: 21

Гренки по-уэльски — гренки с расплавленным сыром (здесь и далее прим. переводчика).

примитивным способом. А затем, поддерживая заданный тон, принялся рассказывать про японские фокусы со стеклом, конским волосом и все тому подобное.

Пратт был врачом и знал о подобных вещах гораздо больше, чем я. Но это только подогрело мой пыл, и я рассказал историю об одной женщине из Ирландии, которая успела расправиться с тремя мужьями, прежде чем кто-то заподозрил, что смерть их была насильственной.

Вы никогда не слышали эту историю? Четвертому мужу каким-то образом удалось справиться со сном, и он поймал злодейку. Преступницу повесили. Как она провернула все это? Подмешивала снотворное в пищу или напитки, а затем при помощи роговидной трубки заливала в уши жертвам расплавленный свинец, пока те крепко спали… Нет, это просто ветер свистит. Он снова заворачивает к югу. Я знаю это по звуку. Кроме того, несмотря на время года (когда, собственно, все и произошло), ветер редко меняет свое направление чаще, чем однажды за вечер. Так вот, на дворе стоял ноябрь, когда несчастная миссис Пратт скоропостижно умерла в своей кровати — вскоре после того, как я ужинал у них. Хорошо припоминаю дату: находясь в Нью-Йорке, я по-

лучил весть с борта парохода, который следовал за *Олимпией*, а она совершала свое первое плавание. В том году вы были на *Леофрике*, не так ли? Да, я помню. Как же быстро мы с вами стареем. Почти полвека минуло с тех пор, как мы были стажерами на *Клонтарфе*. Вы, наверное, никогда не забудете старого Блауклота! «Бидди-грубиян гребет к берегу в эту ночь!» Ха-ха, дьявол! Подлейте себе еще, у вас там одна вода. Это старинный Хюльсткамп[22], который я нашел в погребе, когда этот дом перешел ко мне. Я привез его в подарок Люку из Амстердама двадцать пять лет назад. А он к нему ни разу не притронулся. Теперь, должно быть, сожалеет об этом, бедолага.

На чем я остановился? Ну, да. Я уже рассказал вам, что миссис Пратт скончалась скоропостижно — это так. Мне думается, что Люку было здесь одиноко… Время от времени я приходил проведать его, и он выглядел измотанным и нервным, говоря, что практика тягостна, но в то же время отмел идею насчет помощника. Годы шли, сына убили в Южной Африке, на бурской войне. После этого у Пратта появились странности. Было нечто в нем такое, что-то не от мира сего, если угодно.

---

[22] Примечания: 22
Нидерландский ликер.

До самого конца он держал свои чувства в себе. Он никогда не выдавал тревоги, когда ошибался в диагнозе. Но, видимо, случалось — ошибался и очень переживал по этому поводу. Мне казалось, это отражалось на его внешности…

Люк был рыжеволосым мужчиной с бледным лицом, даже в молодости он не был крепким. В зрелом возрасте его кожа приняла песочно-серый оттенок. После смерти сына он все худел и худел — так, что вскоре его голова больше напоминала череп с плотно натянутым на него пергаментом. Глаза горели каким-то особым блеском, и с годами он становился все неприятнее.

У него все еще была собака, которую так любила покойная супруга — животное раньше всегда следовало за ней по пятам. Это был бульдог — пес с самым милейшим характером на свете; правда, он имел обыкновение зацеплять свою верхнюю губу об один из клыков, а это могло напугать кого угодно — по крайней мере тех, кто не был знаком с ним. Иногда по вечерам Пратт и Бамбл — так звали псину, — бывало, сидели, уставившись друг на друга, думая о былых временах, как мне это видится… При жизни жена Люка сидела в том же кресле, где сейчас расположились вы. Это всегда было ее место, а там, где сижу я, — место

доктора. Бамбл забирался наверх по специально сделанной для него подножке. Дело в том, что он уже тогда был старым и толстым и не мог прыгать слишком высоко, а зубы его стали ломкими. Бамбл неотрывно смотрел на Люка, а Люк, в свою очередь, пристально глядел на собаку. Лицо его в такой момент особенно походило на неподвижный череп с двумя угольками на месте глаз. Так могло пройти минут пять или даже меньше, как вдруг животное пробивала неуемная дрожь, а затем Бамбл издавал вой, словно его подстрелили; далее пес вываливался из удобного кресла и рысью удалялся, — обыкновенно в свое привычное убежище под буфетом. Так и лежал там, то и дело издавая странные звуки.

Принимая во внимание внешний вид Пратта в те последние месяцы, ничего удивительного в этом не было, знаете ли. Я не неврастеник и не страдаю от чрезмерно развитого воображения, но вполне допускаю, что его вид мог довести до истерики не только чувствительную женщину — настолько голова доктора походила на затянутый в пергамент череп.

За день до Рождества я пришел к Люку. Мой корабль стоял на приколе в доке, и у меня еще было три недели выходных. Не увидев Бамбла,

я безо всякого умысла небрежно заметил, что старая собака, должно быть, умерла.

«Да», — ответил Пратт. Я уловил в его голосе странную интонацию еще до того, как он продолжил после небольшой паузы: «Я убил его. Я более не мог этого вынести».

Я спросил Люка, чего он не мог вынести, хотя ответ мне был известен.

«Он имел привычку сидеть в ее кресле, сверкая своими глазами в мою сторону, а затем этот вой… — Люк вздрогнул. — Он совсем не мучился, бедный старый Бамбл…» Он продолжил говорить в спешке, как будто думал, что я могу заподозрить его в жестокости: «Я растворил дионин[23] в его миске с водой, чтобы он крепко уснул, а затем ввел хлороформ — постепенно, так, чтобы он не ощутил удушья, пускай и во сне. С тех пор стало намного тише».

Мне было интересно, что он хотел сказать этим, ибо слова слетали с его губ так, словно Люк не мог удержать их в себе. Теперь я понял. Он подразумевал, что после того, как собаки не стало, он слышал те звуки реже. Возможно, вначале он думал, что это старый Бамбл воет на луну во

---

[23] Примечания: 23

Дионин — обезболивающее, снотворное и отхаркивающее средство, значительно менее токсичное, чем другие производные морфина.

дворе, хотя это совсем не то, не правда ли? Кроме того, Люк не знал, что я уже их слышал. Как бы то ни было, это всего лишь звуки, а они никогда еще никому не причиняли вреда. Но Люк был гораздо впечатлительнее меня. Сомнений быть не может: есть в этом месте нечто такое, чего я не могу понять. Но, когда я не понимаю, как устроены вещи, я называю это явлением и совсем не считаю, что оно непременно ведет к гибели. А Люк полагал именно так. Несомненно, все понять невозможно, об этом известно любому, кто ходил в море. Мы, например, бывало, рассуждали о природе приливных волн и не могли объяснить это природное явление. Сейчас мы объясняем их, называя подводными землетрясениями, прибегая еще к куче теорий, каждая из которых, стоит заметить, вполне может разъяснить, почему они — землетрясения — возникают. Когда-то я сам встретился с такими волнами, и тогда чернильница со стола в моей каюте полетела прямо к потолку. То же самое произошло с капитаном Леки — я полагаю, вы читали об этом в его «Морской ряби». Очень хорошо. Если бы такого рода вещи случились на берегу, в этой комнате например, нервный человек заговорил бы о духах, левитации и еще о десятках разных вещей, кото-

рые ничего не значат. И это вместо того, чтобы просто принять это как «явление», которому нет объяснений. Такова моя точка зрения о том звуке, понимаете?

Но где доказательства, что Люк убил свою жену? Никому не стал бы говорить об этом, кроме вас. В конце концов, это могло быть простым совпадением, что бедная миссис Пратт неожиданно умерла в своей постели через несколько дней после того, как я рассказал ту историю за ужином. Она ведь была не единственной, кто умер таким образом. Люк посоветовался с врачом из ближайшего прихода, и они пришли к выводу, что супруга умерла от некой проблемы с сердцем. Почему бы и нет? Такое происходит достаточно часто.

Правда, был еще половник… Я никому никогда об этом не рассказывал, но я нашел его в шкафу в их спальне. Это был, кстати, новый и небольшой половничек, изготовленный из белой жести, не касавшийся огня более чем раз или два; и был на дне того половника расплавленный и застывший свинец, серого цвета, с характерным шлаком на поверхности оплавленного металла. Но это ничего не доказывает. Сельский врач, как правило, мастеровитый человек, который самостоятельно

обеспечивает себя всем необходимым, и поэтому у Люка могла быть дюжина причин для того, чтобы расплавить небольшое количество свинца в половнике. Например, он увлекался рыбной ловлей, поэтому, вполне возможно, изготовил грузило и установил на ночь удочку с приманкой; а может быть, грузило потребовалось для маятника часов, стоящих в зале, или чего-то еще в этом духе. Но все равно, когда я нашел половник, меня охватило чувство сомнения, поскольку это выглядело очень похоже на то, что я описывал обоим Праттам, рассказывая ту историю. Понимаете? Увиденное так неприятно подействовало на меня, что я выкинул прочь обнаруженный предмет; сейчас он, должно быть, покоится в миле от косы на дне морском, где непременно проржавеет так, что никто не признает, если когда-нибудь его и выбросит приливом на берег.

Видите ли, Люк, должно быть, купил черпачок в деревне какое-то время назад, ибо тот же продавец и сегодня торгует точно такой же утварью. Я полагаю, их используют в кулинарии. Как бы то ни было, совершенно ни к чему, чтобы какая-нибудь любопытная горничная нашла эту вещицу, лежащую без дела, с застывшими остатками свинца внутри, и начала гадать, что это такое,

или, что еще хуже, разыскала бы и расспросила ту самую служанку (она вышла замуж за сына водопроводчика и обитала в той же деревне), которая слышала историю, что я рассказал тем вечером за ужином. Она, возможно, запомнила ее хорошо.

Вы понимаете меня, не так ли? Теперь, раз уж Люк Пратт мертв, похоронен и мирно покоится подле своей супруги, под надгробным камнем честного человека, мне не следует сотрясать воздух, чтобы не навредить его светлой памяти. Оба — супруг и супруга, а также их сын мертвы. Достаточно хлопот было с кончиной самого Люка.

«Почему?» — спросите вы. Однажды утром его нашли мертвым на пляже. Коронер провел следствие. Были обнаружены некие отметины на горле, но никаких следов ограбления. «Смерть наступила от воздействия рук или зубов неизвестного человека или животного», — гласил вердикт. Половина коллегии склонялась к мысли, что это была большая собака. Она повалила Люка на землю и задушила, проломив трахею, хотя кожа в районе горла не была прокушена. Никто не знал, когда он ушел из дома и где был в то время. Доктора обнаружили лежащим на спине неподалеку от отметки высокого прилива. Рядом

лежала старая картонная коробка для шляп, принадлежавшая его жене. Коробка была открыта. Крышка лежала подле. Должно быть, в этой коробке он нес домой череп — тот выкатился из нее и лежал у головы мертвеца. Врачи, видно, любят собирать подобные вещи. То был замечательный череп: небольшого размера, правильной формы, исключительно белый и с прекрасными зубами. Ну, или точнее будет сказать, что верхняя челюсть была с идеальными зубами, а вот нижней вовсе не было, когда я впервые увидел его.

Да, я обнаружил его здесь, когда приехал. Понимаете, череп был идеально белый и отполированный. Такие штуки часто хранят под стеклянным колпаком. Хозяева дома не знали, откуда он взялся. Не знали и что с ним следует делать, поэтому поместили обратно в коробку для шляпок и водрузили на полку шкафа в спальне. Конечно же, они показали мне череп, когда я вступил во владение домом. Меня также сводили вниз на пляж, чтобы показать, где обнаружили Люка. Старый рыбак описал, каким образом лежал и покойник, и череп подле него. Однако не смог объяснить, как череп закатился вверх по отлогому песчаному берегу и оказался рядом с головой Люка, вместо того чтобы сползти

вниз, ближе к ногам покойника. Тогда мне это не показалось особенно странным, но затем я часто размышлял: там действительно достаточно крутой наклон. Если желаете, я отведу вас завтра туда — я соорудил нечто вроде памятника из камней на том самом месте.

Когда Люк упал или его опрокинули — никому доподлинно не известно, как оно было на самом деле, — коробка ударилась о песок, отчего крышка слетела, череп вылетел наружу и должен был покатиться вниз по склону. Но этого не произошло. Черепушка лежала совсем близко к голове Люка — буквально лицом к лицу — и почти касалась ее. Как я уже сказал, это не поразило меня своей странностью, когда я слушал старика. Но позднее я не переставая думал об этом: вновь и вновь, до тех пор, пока полная картина увиденного не стала представать передо мной, когда я закрывал глаза. И тогда я спрашивал себя: «Ну почему эта чертовщина поползла вверх, а не скатилась вниз? Почему она остановилась не где-нибудь, а напротив головы Люка, вместо того чтобы остановиться, например, в метре от него?»

Вы, естественно, захотите узнать, к какому же выводу я пришел, не так ли? В любом случае, я не смог придумать ничего такого, что помогло

бы объяснить, как череп покатился наверх. Но спустя некоторое время мне пришло в голову нечто такое, что заставило меня чувствовать себя совершенно некомфортно.

Право, я не имею в виду ничего сверхъестественного! Возможно, здесь замешаны потусторонние силы, а быть может, нет. Если даже так, то я не склонен верить, что духи могут серьезно навредить живым людям, разве что напугать их. Что касается меня, то я охотнее столкнусь с любым призраком, чем с туманом в канале, когда он наполнен кораблями. Нет уж, увольте! Меня беспокоила всего-навсего нелепая мысль. И я не могу сказать ни как она зародилась, ни как развивалась, пока не превратилась в уверенность.

Однажды вечером, сидя за скучной книгой и покуривая трубку, я думал о Люке и его несчастной супруге, как вдруг мне в голову пришла мысль о том, что, возможно, череп принадлежит миссис Пратт. С тех пор я так и не сумел отделаться от этой мысли. Вы мне скажете, что в этом нет здравого смысла, как нет и сомнений, что миссис Пратт была похоронена согласно христианским традициям и сейчас мирно покоится на кладбище при церкви, где ее тело предали земле. И уж совсем чудовищно полагать, что муж сохранил

для себя череп миссис Пратт и держал его в коробке для шляпок в своей спальне. Тем не менее, наперекор рассудку, здравому смыслу и вероятности, я убежден, что Люк поступил именно так. Врачам присущи всяческие чудачества, от которых людей вроде вас и меня бросает в дрожь, ибо эти вещи кажутся недопустимыми, не поддаются логике и разуму.

Далее. Видите ли, если это и правда был череп миссис Пратт (ах, несчастная женщина!), то объяснить его наличие у Люка можно только тем, что именно он и убил ее… Причем тем способом, который описывается в истории о женщине, убивавшей своих мужей. Он, конечно, мог опасаться, что однажды проведут экспертизу и его выведут на чистую воду. Понимаете, ведь это тоже упоминалось в моей истории; это на самом деле произошло примерно пятьдесят или шестьдесят лет назад. Выкопали три черепа; в каждом из них нашли маленькие кусочки свинца. Собственно, это и привело к тому, что убийцу повесили. Я уверен, Люк помнил об этом. И мне даже не хочется знать, что он сделал, когда это всплыло у него в памяти. Мне всегда претили всякого рода ужасы, и я не могу себе представить, чтобы вы придерживались обратного взгляда, не так ли?

Нет. Если бы это было так, то, возможно, вы смогли бы дополнить историю.

Все это, должно быть, выглядело зловеще, правда? Ужасно, но мне все видится так отчетливо, как, скорее всего, оно и произошло на самом деле. Думается, Люк отделил голову за ночь до погребения, уже после того, как крышка гроба была закрыта, а прислуга спала. Готов биться об заклад: забрав голову, он что-то подложил вместо нее и накрыл саваном, чтобы все выглядело как прежде. Как вы считаете, что он положил под кусок полотна?

Не удивлюсь, если вы поймаете меня на слове и упрекнете за то, что говорю. Ведь сначала я заявил: не желаю знать, что произошло, и ненавижу думать об ужасах; а теперь описываю все так, словно видел это собственными глазами. Я уверен, что на место головы убийца положил сумку с рукоделием. Я хорошо помню эту сумку, поскольку миссис Пратт доставала ее каждый вечер. Она сделана из коричневого флиса, эта сумка… а по размеру походила на… Вы и сами, должно быть, уже поняли. Ну вот, я опять за старое! Вы, возможно, посмеетесь надо мной, но вы не живете здесь в полном одиночестве, где все и произошло… Да и не рассказывали Люку

эту историю про расплавленный свинец. Я не подвержен панике, но должен сказать, что временами начинаю понимать, почему некоторые люди поддаются ей. Когда я один, то заново проживаю все это — во сне и наяву, а когда та штука кричит… Честно говоря, мне этот звук нравится еще меньше вашего, хотя я и должен бы уже привыкнуть к нему.

Мне не следует нервничать. Я ходил на кораблях, населенных духами. Одним из них был «Матрос на мачте», и две трети команды умерли от западной лихорадки в течение десяти дней после того, как мы бросили якорь. Но со мной все было в порядке — и тогда, и после. Мне тоже довелось полюбоваться на безобразные зрелища — так же, как и вам, и вообще каждому из нас. Но ничто не будоражило мое сознание так, как это.

Понимаете ли, я пытался избавиться от этой штуковины, но ей это сильно не по душе. Она хочет быть на своем месте — в шляпной коробке миссис Пратт, в шкафу, в ее спальне. В другом месте она находиться не желает. Откуда мне это известно? Я пытался! Вы же не думаете, что я ничего не предпринимал, не так ли? Пока череп находится на «своем» месте, он порой кричит… И в основном именно в это время года. Но, если я

выношу его из дома, он неистовствует всю ночь. Тогда никто из слуг не остается здесь ночевать. И без того меня часто покидали, и тогда мне приходилось справляться своими силами по полмесяца кряду. Нынче никто из деревни не остался бы и на одну ночь под этой крышей. Продать дом или передать его в другие руки — все бесполезно. А старухи в округе говорят: я плохо кончу, если здесь останусь.

Но я не боюсь. Вас забавляет сама идея, что кто-то может всерьез относиться к подобному вздору? Вполне вероятно. Это совершенно очевидный вздор, согласен с вами. Разве я не сказал вам, когда вы вскочили с места и начали пугливо озираться, готовясь увидеть призрака за спиной, что это всего-навсего шум?

Возможно, я полностью ошибаюсь насчет черепа. Сам я, по крайней мере, стараюсь придерживаться этой мысли… когда могу. Это может быть просто добротный экземпляр, который Люк где-то раздобыл. А то, что перекатывается внутри, стоит только слегка его встряхнуть, — не более чем галька, или кусочки глины, или бог знает что еще. Ведь у черепа, пролежавшего долгое время в земле, естественно, может быть внутри нечто, производящее подобный звук, не так ли?

Я никогда не пробовал вытащить, что бы там ни скрывалось. Есть опасение, что там может оказаться свинец, понимаете ли? А если так, то я предпочту остаться в неведении, ибо лучше уж до конца не быть уверенным. Если же и в самом деле там находится свинец, это означает, что я причастен к преступлению… Ровно в той мере, как если бы я собственноручно умертвил несчастную. Любому это покажется очевидным, думается мне. А пока мне ничего доподлинно не известно, я нахожу утешение в том, что говорю: это курьезный вздор; миссис Пратт умерла естественной смертью, а Люк заимел белоснежный череп, когда еще учился в Лондоне. Мне бы следовало покинуть этот дом… если бы я был уверен в достаточной степени. Как бы там ни было, спать в комнате, где стоит зловещий шкаф, мне не стоит и пытаться.

Вы спросите, почему бы мне не забросить череп в пруд. О, пожалуйста, не называйте это «адским пугалом» — оно не любит, когда его обзывают.

Вот — опять! О боже, ну и вопль! А я говорил вам! Вы что-то бледны, друг мой. Набейте свою трубку, подвиньте стул ближе к огню и выпейте еще. Старый добрый джин еще никому не навредил. Я видел, как один голландец с Явы поутру

осушил полбутылки Хюльсткампа, не моргнув и глазом. Сам я не пью, потому что спиртное плохо уживается с моим ревматизмом. Вы не мучаетесь ревматическими болями, поэтому вам спиртное не навредит. Кроме того, на дворе промозглая ночь. Ветер вновь завывает и скоро сменится на юго-западный; вы слышите скрежет окон? Морская волна, должно быть, тоже изменила свое направление, следуя за печальными стонами.

Мы бы, скорее всего, не услышали это опять, если бы вы не сказали то, что сказали. Я более чем уверен. Ну, если вы считаете это всего-навсего совпадением, ваше право. Но я предпочту, чтобы вы больше не обзывали эту штуковину, если не возражаете. Может статься, бедная маленькая женщина слышит, и, возможно, это ее расстраивает, разве не так? Привидения? Вздор! Нельзя назвать привидением то, что можно взять в руки и осмотреть при свете дня и что начинает дребезжать, стоит его только потрясти, не так ли? И это нечто такое, что слышит и понимает; нет никаких сомнений.

Я попытался спать в лучшей из имеющихся спален, когда только перебрался в дом, потому что это самая удобная комната. Но пришлось отказаться от затеи. То была их комната. В ней

стоит большая кровать, на которой умерла бедная миссис. Там же, в нише, располагается шкаф — у изголовья, слева. Внутри шкафа, в коробке для шляпок, и хранится череп. Я провел в той комнате всего две недели после своего приезда, а затем решил перебраться в маленькую комнатушку внизу — ту, что рядом с операционной. В ней когда-то отдыхал Люк, ожидая среди ночи вызова к очередному пациенту.

Мне всегда хорошо спалось на суше. Восемь часов — вот моя порция: с одиннадцати до семи, когда я ночую в одиночестве; с двенадцати до восьми, если у меня задерживаются друзья. Но я просто не мог сомкнуть глаз после трех часов утра в той самой спальне, точнее — просыпался в четверть четвертого: я засек время до минут при помощи своих старых карманных часов. Они по-прежнему идут правильно, и стрелки на них всегда показывали три часа семнадцать минут, когда я просыпался в той самой спальне. Мне интересно, не в это ли время умерла миссис Пратт?

Нет! Это не то, что вы слышали раньше. Если бы такой вопль повторялся постоянно, я бы не смог выдержать и двух ночей. Вначале было так: стон, тяжелое дыхание в течение нескольких секунд в шкафу… — я уверен, что при обычных

обстоятельствах подобное меня никогда бы не разбудило. Полагаю, мы схожи в этом, как и все, кто бывал в море. Естественные звуки нам вовсе не досаждают: ни грохот корабля с зарифленными парусами, который швыряет в десятибалльный шторм, ни стоны бимсов под напором ветра. Но когда графитовый карандаш срывается с места и начинает кататься и дребезжать в ящике стола в твоей каюте, то сон оставляет тебя в ту же минуту. Я говорю это, чтобы… Да вы и так прекрасно понимаете, о чем я. Так вот, шум в шкафу был едва ли громче, чем стук карандаша, но он будил меня моментально.

Я бы сказал, эти звуки были… словно чье-то пробуждение. Самому мне понятно, что я имею в виду, но очень сложно объяснить, чтобы сказанное не показалось вздором. Конечно, невозможно именно «услышать» чье-то «пробуждение»; в лучшем случае вам удастся уловить порывистое дыхание полуоткрытого рта со стиснутыми зубами, как почти неразличимый звук паруса, который дернулся сколь неожиданно, столь и незначительно. Вот что это было.

Вы знаете, что человек, стоящий у руля, чувствует, как поведет себя парусное судно, за две или три секунды, прежде чем что-то происходит.

Наездники говорят то же самое о лошадях, что менее странно, ибо лошадь — живое существо со своими собственными чувствами; лишь поэты да те, кто не ходил по морям, рассуждают о корабле, как о живом организме, и все такое в этом духе. И я каким-то образом всегда чувствовал, что судно — не просто паровая установка или парусник для перемещения грузов. В открытом море оно подобно точному прибору, который служит средством связи между природой и человеком, и особенно это относится к человеку за штурвалом, если корабль управляется вручную. Судно получает сигналы напрямую от ветра и моря, приливов и течений и посылает их в руки человека, подобно тому, как радиотелеграф шлет прерывистые пульсирующие токи в пространство, а их затем получают в форме сообщения.

Вы видите, к чему я клоню; я почувствовал, как что-то «пробудилось» в шкафу, и ощутил это так живо, что услышал… хотя, возможно, там и слышать было нечего. Но тот самый звук внезапно разбудил меня. Я действительно услышал какой-то шум. Приглушенный, он шел из коробки — словно откуда-то издалека, как из телефона при междугородней связи. И все же я знал, что это внутри шкафа — у изголовья моей кровати. В

тот момент мои волосы не встали дыбом, а кровь не заледенела, нет. Я всего лишь был возмущен, так как меня разбудил посторонний шум — вроде того, что производил дребезжащий карандаш в ящике моего стола в каюте на борту судна. Я постарался найти объяснение происходящему и предположил, что шкаф неким образом связан с внешней средой: видимо, поток воздуха, проходя сквозь него, стонет, издавая нечто вроде хриплого визга. Я зажег спичку и посмотрел на часы — было семнадцать минут четвертого. Затем я перевернулся и лег на правый бок — на свое здоровое ухо. Знаете ли, я изрядно глух на левое. Причина в том, что подростком я ударился ухом о воду, ныряя с фор-марса-рея. Глупо получилось, но последствия вполне устраивают меня, когда я хочу поспать, не обращая внимания на шум вокруг.

Так было в первую ночь, и то же самое повторялось затем вновь несколько раз, но не постоянно, хотя всегда в одно и то же время, с точностью до секунды. Возможно, иногда я спал на своем здоровом ухе, но иногда — нет. Я тщательно осмотрел шкаф: ни ветер, ни что-то другое не могло проникнуть внутрь, так как дверные стойки были подогнаны плотно (вероятно, чтобы защититься

от попадания моли). Миссис Пратт, должно быть, хранила в шкафу свою зимнюю одежду — запах камфары и скипидара тому свидетельство.

Примерно через две недели я решил: хватит с меня этих звуков. До сих пор я говорил себе: глупо сдаться и вынести череп из комнаты. Вещи всегда выглядят по-другому при свете дня, не так ли? Но голос становился громче — я полагаю, можно назвать это «голосом», — и в одну из ночей он прорвался даже сквозь глухоту моего левого уха. Я же всегда знал, что, когда мое правое ухо прижато к подушке, мне не слышен даже рев флотского горна в тумане. Но я действительно услышал звук, который заставил меня потерять самообладание, если не сказать — страшно напугал, ибо порой эти два состояния различаются между собой очень незначительно. Тогда я чиркнул спичкой и вскочил, открыл шкаф, схватил коробку для шляп и швырнул ее из окна так далеко, как только смог.

Вот когда мои волосы действительно встали дыбом! Эта штука визжала в воздухе, словно снаряд от двенадцатидюймовой пушки. Коробка приземлилась на другой стороне дороги. Ночь была угольно-черной, и я не видел самого падения, но знаю, что коробка опустилась за пределами

дороги. Окно расположено непосредственно над парадной дверью, откуда примерно пятнадцать ярдов до забора, а сама дорога шириной в десять ярдов. За ней раскинулась массивная живая изгородь, вдоль которой тянется луг, окружающий дом священника.

Более я не спал той ночью. Примерно через полчаса после того, как я вышвырнул шляпную коробку, снаружи вдруг раздался пронзительный крик — вроде того, что уже случился этой ночью, но гораздо сильнее, более отчаянный, если позволите. Возможно, это был лишь плод моего воображения, но я мог поклясться, что крики подбирались все ближе и ближе. Я закурил трубку, походил немного взад-вперед, а потом схватил книгу и принялся читать. Однако можете казнить меня, но я не вспомню не только о чем читал, но и что это была за книга, поскольку ночную тишину то и дело разрезал пронзительный вопль, от которого покойник бы перевернулся в гробу.

Незадолго до рассвета кто-то постучал в дверь. С чем-то иным стук я спутать не мог. Открыв окно, я посмотрел вниз. Тогда я решил, что кому-то, кто не знал, что в дом Люка въехал новый человек, потребовался врач. После тех ужасных звуков услышать обычный стук в дверь было настоящим

облегчением.

Сверху входную дверь невозможно увидеть из-за карниза, нависающего над крыльцом. Стук раздался вновь, и я крикнул, спрашивая, кто там, но ответа не последовало, а стук повторился. Я снова отозвался и прокричал, что врач больше здесь не живет. Опять не последовало никакого ответа, но мне пришло в голову, что это может быть какой-то старый крестьянин, который к тому же совершенно глух. Итак, я взял свечу и направился вниз, чтобы открыть дверь. Честное слово, в тот момент я не думал о той штуковине и почти забыл недавние вопли. Я спустился вниз, будучи убежден, что найду кого-нибудь снаружи, на пороге, с неким сообщением. Я установил свечу на столе в прихожей, дабы ветер не задул пламя, когда я открою дверь. Пока я возился, пытаясь отодвинуть старомодный засов, стук раздался вновь. Это был негромкий, подозрительно глухой звук. Я хорошо это помню, но в тот миг, конечно, думал, что стучит человек, который хочет попасть внутрь.

Оказалось, что это не так. Когда я открыл дверь вовнутрь, стоя немного сбоку, чтобы сразу увидеть того, кто мог стучать, снаружи никого не было. В тот же миг нечто перекатилось через

порог и остановилось рядом с моей ногой.

Я отпрянул, ощутив прикосновение, даже не посмотрев под ноги, ибо знал наперед, что это такое. Не могу сказать вам, почему знал. Все происходящее казалось иррациональным. И я до сих пор уверен, что перебросил ту штуковину через дорогу. Широкое окно, доходящее до пола, позволило мне размахнуться как следует, прежде чем совершить бросок (когда я вышел ранним утром на поиски, то обнаружил коробку за густой живой изгородью).

Вы можете подумать, что коробка раскрылась и череп вылетел наружу; но это невозможно, ибо никому не под силу швырнуть пустую картонку так далеко. Об этом и речь не идет; с таким же успехом можно попытаться запустить на двадцать пять ярдов мяч, скомканный из бумаги, или лопнувшее птичье яйцо.

Возвращаюсь к тому, что произошло: я захлопнул дверь и закрыл ее на засов, аккуратно поднял череп и поместил его на столике рядом со свечой. Движения мои были механическими: так человек, находящийся в опасности, инстинктивно, не обдумывая, совершает правильные действия, или наоборот — делает все неправильно. Это может показаться странным, но я убежден: я опа-

сался, что кто-то может прийти и увидеть меня вот так — стоящим у порога, с черепом, который лежит немного на боку у моих ног и таращит на меня одну из своих пустых глазниц, словно намеревается обвинить в чем-то. Свет и тени от свечи играли в глазных дуплах, когда череп стоял на столе, и казалось, будто он мне подмигивает. Затем совершенно неожиданно свеча погасла, хотя дверь была заперта и не ощущалось ни малейшего сквозняка. Мне пришлось извести по меньшей мере полдюжины спичек, прежде чем свеча вновь загорелась.

Неожиданно я опустился на пол и сел, сам не осознавая почему. Вероятно, мне было страшно, но, возможно, вы согласитесь: большого позора в том, чтобы испугаться при данных обстоятельствах, не было. Эта штука вернулась в дом, и она явно хотела забраться наверх, обратно в свой шкаф. Некоторое время я сидел неподвижно, глазея на череп, пока мне не стало очень холодно. Тогда я взял его, отнес наверх и вернул на прежнее место. Помню, когда я его нес, то приговаривал и обещал, что найду и верну его коробку для шляпок с наступлением утра.

Вы хотите знать, остался ли я в комнате до рассвета или ушел? Не ушел, но оставил свечу гореть,

а сам сидел, курил трубку и читал — вероятнее всего, от испуга. Это был явный и непреодолимый страх, который не стоит называть трусостью, так как это не то же самое. Я не смог бы уснуть в одной комнате с этой штукой, которая лежала в шкафу; должно быть, я был напуган до смерти, хотя не считаю себя трусливее других. Да будь оно все проклято, приятель, но череп пересек дорогу сам по себе, взобрался на крыльцо да еще и постучался, чтобы его впустили.

Когда наступил рассвет, я надел сапоги и вышел, чтобы найти картонную коробку. Мне пришлось проделать кружный путь до ворот около главной дороги, пока наконец я не нашел, что искал, — коробка была открыта и свисала с другой стороны живой изгороди. Бечевкой она зацепилась за ветки, крышка свалилась и теперь лежала на земле. Это означает, что коробка не была открыта — по крайней мере до той поры, когда приземлилась за изгородью; а раз она не раскрылась, как только вылетела из моей руки, тогда то, что находилось внутри, перелетело через дорогу вместе с ней.

Так вот. Я отнес коробку наверх, положил в нее череп и запер дверцу шкафа. Когда служанка принесла мне завтрак, она сказала, что ей жаль,

но она должна уйти, и потеря зарплаты за месяц ее не волновала. Я взглянул — цвет ее лица был смесью зеленого, желтого и белого. Я сделал вид, что удивился, и спросил, в чем дело. Но в этом не было смысла, так как она лишь повернулась в мою сторону и прямо спросила, есть ли у меня намерение оставаться в доме с привидениями, и если да, то сколько я смогу продержаться. Хотя она замечала мою временами приходящую глухоту, тем не менее не верила, что мне под силу спать под эти ночные вопли. Еще женщина поинтересовалась, зачем я копошился в доме, открывал и закрывал входную дверь между тремя и четырьмя часами ночи. Я не нашел, что на это ответить, раз уж она меня слышала. Служанка ушла, и я остался один. Позже утром я отправился в деревню и нашел женщину, которая была готова приходить и делать любую имевшуюся работу по дому и готовить еду — при условии, что сможет уходить домой каждую ночь. Что касается меня, то я в тот же день перебрался вниз и с тех пор никогда не пытался спать в лучшей спальне дома. По прошествии некоторого времени я заполучил пару шотландских слуг среднего возраста из Лондона и долгое время ни в чем не нуждался. Я начал с того, что рассказал им о

доме: мол, он расположен в очень незащищенном месте, поэтому ветер гуляет и свистит здесь частенько в осенне-зимнюю пору, что принесло жилищу дурную славу в деревне, ибо корнуэльцы склонны к суевериям и сказкам о привидениях. Две закаленные жизнью рыжеволосые сестры изобразили подобие улыбки и с большим презрением сообщили, что невысокого мнения о байках про какие-то южные привидения: ведь они, умудренные опытом службы в двух английских домах с призраками, наслушались множества разных историй. К тому же слыхали они и о «мальчике в сером» — того не считают особой редкостью в Форфаршире[24], у них на родине.

Сестрицы составляли мне компанию несколько месяцев; пока они оставались в доме, у нас были покой и тишина. Та из сестер, которая служила поварихой, по-прежнему здесь, в деревне: она вышла замуж за местного могильщика, который работает в моем саду. Вот так здесь все и происходит. Деревушка маленькая, могильщику приходится находить применение своим навыкам в различных сферах. Например, помимо тяжелой физической работы, он неплохо разбирается в

[24] Примечания: 24

Форфар — город в Шотландии, административный центр области Ангус, до 1928 года носившей название Форфаршир, от англ.: Forfarshire.

цветах — во всяком случае, достаточно, чтобы помогать мне управляться с ними. Хоть я люблю заниматься этим делом, но моя спина давно уже не гнется как следует. Он трезвый, немногословный человек, который не вмешивается не в свои дела, и он был вдовцом, когда я приехал сюда. Его зовут Трэхерн, Джеймс Трэхерн. Сестры-шотландки так и не признались, что с домом что-то неладное, но с наступлением ноября оповестили меня о своем переезде. И основание придумали: мол, ближайший католический приход слишком далеко отсюда, а посещать местную церковь они, разумеется, не могут. Однако с наступлением весны младшая из сестер вернулась, и приходский священник выдал ее замуж за Джеймса Трэхерна. С той поры шотландская девушка уже не брезговала тем, чтобы слушать проповеди в местной церкви. Я вполне удовлетворен, если у нее все ладно! Супруги живут в маленьком домике, который стоит спиной к церковному погосту.

Полагаю, вам интересно, какое это имеет отношение к тому, о чем я говорил. Понимаете, я по большей части обретаюсь в лютом одиночестве; так что, когда старый друг приходит проведать меня, я болтаю без умолку — просто чтобы слышать свой собственный голос. Однако в данном

случае действительно существует взаимосвязь между всем этим. Именно Джеймс Трэхерн был человеком, который похоронил несчастную миссис Пратт, а после и ее мужа, в соседних могилах, что находятся недалеко от его домика. Это и есть та самая взаимосвязь в моем сознании, видите. Все достаточно просто. Он что-то знает; я совершенно убежден в этом, хотя он такой молчаливый плут.

Да, нынче по ночам я остаюсь дома один, ибо миссис Трэхерн, выполнив всю работу, уходит, а когда меня навещают друзья, жена могильщика подает и убирает со стола. Супруг встречает миссис Трэхерн каждый вечер зимой, а летом, когда вокруг солнечно и светло, она отправляется домой самостоятельно. Она человек не боязливый, но теперь уже менее уверена, что в Англии нет привидений, достойных внимания шотландской женщины. Разве не забавно мнение, что Шотландия имеет монополию на все сверхъестественное? Я бы назвал это странным видом национальной гордости, вы согласитесь?

Посмотрите, как красиво горит огонь! Когда коряги, выброшенные морем на берег, подсыхают и наконец принимаются гореть, это бесподобно. О, да их тут полно! Как бы грустно это ни было, но

здесь по-прежнему великое множество обломков затонувших кораблей. Это одинокий пустынный берег, и вы можете собрать здесь столько дерева, сколько вам под силу унести. Периодически Трэхерн и я одалживаем тележку и загружаем ее, идя вдоль прибрежной полосы. Я ненавижу огонь, который дает уголь, особенно когда могу заполучить древесину. Горящее полено создает ощущение компании, даже если это кусок палубной балки или отпиленный брус. Пропитанные солью, они производят на свет чудные искры. Видите, как они взвиваются, подобно японским петардам! Честное слово, в компании старого друга, пылающего камина и трубки можно забыть обо всем, что происходит в верхней части дома, особенно теперь, когда ветер немного стих. Однако это временное затишье, и оно сменится штормом под утро.

Вы желали бы увидеть череп? У меня нет возражений относительно этого. Нет никаких причин, почему вам нельзя взглянуть на него. Уверяю, никогда прежде вы не видели более совершенный череп, за исключением того лишь, что в нижней челюсти отсутствуют два передних зуба.

Ах да, я же еще не рассказал вам про челюсть… Трэхерн нашел ее в саду прошлой весной, когда

выкапывал ямки, чтобы подготовить грядки для спаржи. Обычно мы выкапываем лунки глубиной в шесть или восемь футов для ее посадки. Да-да, я определенно забыл поведать вам об этом. Он копал вертикально вниз, точно так же, как обычно роет могилу. Если вы хотите получить хорошую грядку для спаржи, то я вам настоятельно советую воспользоваться услугами могильщика. Эти ребята обладают замечательными способностями для такого рода работы.

Трэхерн уже успел опуститься на глубину около трех футов, когда врезался в пласт гашеной извести на одной из сторон выкопанной им ямы. Он заметил, что грунт здесь более рыхлый, хотя говорил, что в течение ряда лет его покой никто не нарушал. Предполагаю, он подумал, что залежавшаяся известь может навредить росту спаржи, поэтому выломал известняк и выбросил его на поверхность. Он сказал, что сделать это оказалось непросто, так как куски были довольно крупными. Имея привычку применять грубую силу в работе, Трэхерн лопатой расколол комья, лежавшие около траншеи. Внезапно что-то вылетело из недр одного куска — это была нижняя челюсть. Мой садовник считает, что, должно быть, выбил каким-то образом из нее два перед-

них зуба, когда выковыривал известняк, но нигде их не увидел. Как вы, возможно, уже представили, могильщик наделен значительным опытом в подобного рода вещах, и он сразу высказал предположение, что челюсть принадлежала молодой женщине, и все зубы были на месте, когда она отошла в мир иной. Он принес показать мне ту самую челюсть и спросил, хочу ли я оставить ее у себя. «Если нет, — сказал он, — то я бросил бы эту часть черепа в следующую могилу, что сделаю на церковном погосте». Ибо, как он предположил, это была челюсть христианина, и ей следовало устроить порядочные похороны, где бы ни была остальная часть тела усопшего. Я же рассказал ему про то, что доктора частенько погружают кости в окись кальция, когда хотят как следует отбелить их, и что, полагаю, доктор Пратт тоже устроил в саду небольшую яму с известью как раз для подобных целей и, наверное, забыл в ней эту челюстную кость. Трэхерн посмотрел на меня с невозмутимым спокойствием.

«Думаю, она подошла бы к тому черепу, что лежит в шкафу наверху, сэр, — сказал он. — Может быть, доктор Пратт опускал череп в известь, чтобы почистить его, или еще для чего, но когда он вытаскивал его, то просто забыл про нижнюю

челюсть и оставил ее там. К извести прилипли человеческие волосы, сэр».

Я решил, что так оно и было на самом деле — в точности, как сказал Трэхерн. Но если он ничего не подозревал, то с какой стати предположил, что челюсть может подойти черепу? К тому же она и правда подошла. Это как раз доказательство того, что знает садовник больше, чем желает сказать. Допускаете ли вы, что он проверил это? Или, возможно, когда он закапывал Люка в той же усыпальнице…

Ну, да будет мне, нет смысла повторять это раз за разом, не так ли? Я сказал, что положил бы челюсть поближе к черепу, поэтому отнес ее наверх и приладил на законное место. Нет ни малейших сомнений в том, что эти две части принадлежали друг другу, и теперь они вместе.

Трэхерн что-то знает. Некоторое время назад мы обсуждали необходимость оштукатурить кухню, и он вспомнил, что этого так и не сделали — ровно с той самой недели, когда умерла миссис Пратт. Он не сказал, что, должно быть, каменщик оставил после себя немного извести, но он думал так; а также, что это была та самая известь, которую он нашел в грядке для спаржи. Ему многое известно. Трэхерн один из тех безмолвных плу-

тов, которые способны сообразить, что к чему. К тому же та могила расположена очень близко к его домику. А еще — я не видел никого, кто работал бы с лопатой проворнее, чем это делает он. Если бы он хотел докопаться до правды, то мог это сделать, и никто бы никогда не знал больше него, не реши он рассказать, что ему известно. В такой тихой деревеньке, как наша, люди не отправляются на церковный погост, чтобы провести там ночь и посмотреть, не копошится ли где одинокий могильщик между десятью вечера и рассветом.

О чем ужасно думать, так это о размышлениях Люка, если он в самом деле совершил все это; о его невозмутимой уверенности в том, что никто не сможет вывести его на чистую воду; ну, а более всего — о его хладнокровии, поскольку оно должно было быть поистине выдающимся. Я порой думаю, что достаточно скверно жить в доме, где все это произошло, если так все и было в действительности. И постоянно использую оговорки, вы замечаете, во имя памяти о нем и немного ради самого себя тоже.

Я скоро поднимусь наверх и принесу коробку. Позвольте мне зажечь мою трубку; нет никакой спешки! Мы поужинали рано, и сейчас лишь

половина десятого вечера. Я никогда не отпускаю друга спать раньше двенадцати часов и без трех опустошенных стаканов — вы можете выпить еще сколько угодно порций, но не пейте меньше трех, во имя нашей старой дружбы.

Ветер снова крепчает, вы слышите? То было лишь временное затишье, и впереди нас ждет скверная ночь.

Знаете, я аж немного вздрогнул, когда узнал о том, что челюсть подходит черепу идеально. Меня самого не так легко напугать, но я видел, как некоторые люди начинали совершать резкие движения, а их дыхание резко учащалось, когда они, например, думали, что находятся одни в помещении, но, внезапно повернувшись, обнаруживали вдруг кого-то в непосредственной близости. Никто не может назвать это страхом. Вы не стали бы, не так ли? Нет. Ну, просто, когда я установил челюсть на место, у основания черепа, его зубы незамедлительно сомкнулись на моем пальце. Было точно такое ощущение, как будто он сильно укусил меня, и я, признаюсь, отпрянул еще до того, как понял, что прижимаю челюсть к черепу своей рукой. Я вас заверяю, что мое состояние в тот момент было вовсе не испугом или волнением. Было светлое время суток, стоял пре-

красный день, и солнечный свет заливал лучшую спальню в доме. Нервничать было бы нелепо, то было лишь мимолетное — явно ошибочное — впечатление, но оно действительно заставило меня почувствовать себя странно. Оно побудило задуматься о странном вердикте коронера, вынесенном на основании судебно-медицинской экспертизы касательно смерти Люка: «…от рук или зубов некоего человека или неизвестного животного». Ведь с того самого времени, как я это услышал, сожалею, что не увидел те отметины на его горле; правда, в то время нижняя челюсть еще не была обнаружена.

Я не раз замечал, что человек способен совершать безумные поступки, сам того не осознавая. Однажды я увидел, как матрос, уцепившись одной рукой за потрепанный тентовый штертик, отклонившись назад за борт и напирая всем весом своего тела, просто пилил стопорку ножом, что был в его свободной руке. Тогда я бросился, обхватил его руками за туловище и втащил на палубу. Мы шли в открытом океане, делая двадцать узлов. Он не имел ни малейшего представления о том, что делал в тот момент. Точно так же, как и я, когда умудрился прищемить палец зубами той штуки. Я чувствую это и сейчас. Это было

точно так, как если бы череп был живым и пытался укусить меня. Он бы так и сделал, если б мог, потому что я знаю, что он ненавидит меня, бедняга! Вы полагаете, то, что дребезжит внутри, на самом деле является кусочком свинца? Итак, через мгновение я принесу коробку, и в случае, если оно, что бы там ни было, выпадет вам в руки, то вам решать, что это. Ежели это будет всего лишь комок земли или галька, то я успокоюсь и, полагаю, мне больше не будет нужды когда-либо думать о черепе; однако почему-то я не мог до сих пор заставить себя вытряхнуть эту твердую субстанцию. Сама мысль о том, что это может оказаться свинцом, заставляет чувствовать себя чрезвычайно неуютно, хотя я убежден, что вскоре все выяснится. Я, конечно же, узнаю. Уверен, что Трэхерн знает давно, но он ведь молчаливый плут.

Я сейчас пойду, поднимусь наверх и принесу коробку. Что? Хотите пойти со мной? Ха-ха! Вы и вправду думаете, что я боюсь коробки для шляпок и того шума? Глупости!

Черт подери эту свечу, она никак не загорится! Эта дурацкая штука словно понимает, для чего она нам сейчас понадобилась! Вы только поглядите — уже третья спичка! Они достаточно

быстро разжигают мою трубку. Вот, вы видите? Это новенький коробок, который я только что достал из жестяного ящика, где храню запас, чтобы уберечь от сырости. Ах, вы думаете, фитиль мог отсыреть, да? Тогда зажгу эту противную свечу от огня в камине. Во всяком случае, так она точно не потухнет. Да, видите, теперь она плюется и немного шипит, но по крайней мере будет гореть. Дело в том, что свечи здесь не очень хорошие. Я не знаю, откуда их привозят, но порой они горят слабо, этаким зеленоватым пламенем, выплевывающим крошечные искорки, и мне часто досаждает то, что они тухнут сами по себе — ни с того ни с сего. Что ж, ничего не поделаешь, ибо электричество в нашу деревню еще долго не проведут. Свеча действительно горит достаточно плохо, разве нет?

Вы считаете, что мне лучше передать вам свечу, а самому взять светильник, вы этого хотите? Мне не нравится носить с собой светильники, это правда. Я ни разу в жизни их не ронял, но всегда боялся, что сделаю это; а если так случится… это ведь чрезвычайно опасно. Кроме того, я уже успел привыкнуть к этим жалким свечам.

Кстати, можете допить вино, пока я поднимаюсь за черепом, ибо я не намерен отпускать вас

спать, пока вы не опустошите по крайней мере три стакана. Вам не придется идти наверх, так как я постелил в старом рабочем кабинете, рядом с операционной, где нынче обитаю сам. На самом деле, я более не предлагаю никому из друзей спать наверху. Последний, кому довелось там ночевать, был Крэкенторп, и он сказал, что ему не удалось сомкнуть глаз всю ночь. Вы помните старину Крэка, не так ли? Он остался на службе, и недавно его произвели в адмиралы. Да, я уже ухожу — только бы свеча не потухла. Я просто не мог не спросить, помните ли вы Крэкенторпа. Если бы нам кто-то тогда сказал, что мелкий тощий придурок, каким он раньше был, окажется самым успешным из всей нашей компании, мы бы долго смеялись над подобной фантазией, разве нет? Правда, нас с вами тоже нельзя назвать неудачниками. Ну, все-все, я отправляюсь. Я не собираюсь давать вам повода думать, что все это время откладывал поход за коробкой своими разговорами! Как будто там есть чего опасаться! Если бы я боялся, мне бы тогда стоило сказать вам это совершенно прямо и попросить подняться наверх вместе со мной…

Вот эта коробка. Я нес ее очень осторожно, так, чтобы не потревожить череп-беднягу! Пони-

маете, если бы я подверг его тряске, то нижняя челюсть могла снова отсоединиться, а я уверен, что черепу бы это не понравилось. Да, свеча потухла, когда я спускался, но виной тому сквозняк из оконных щелей на лестнице. Вы что-то слышали? Да, это был очередной вопль. Вы говорите, что я выгляжу бледным? Это все пустяки. Просто мое сердце немного капризничает иногда, а я еще и слишком торопливо поднялся наверх. Вообще-то, это одна из причин, почему я предпочитаю жить на первом этаже.

Откуда бы ни взялся тот вопль, он явился не из черепа, потому что я держал коробку в руках, когда услышал шум, а вот теперь он здесь, с нами; таким образом, мы убедительно доказали, что вопли производятся на свет чем-то другим. Я не сомневаюсь, что однажды я выясню источник этих звуков. Это, конечно же, какая-нибудь щель в стене, или трещина в дымоходе, или же зазор в оконной раме. Подобным образом заканчиваются все истории о призраках в реальной жизни. Вы знаете, я несказанно рад, что мне пришло в голову отправиться наверх и принести вам на показ череп, так как тот вопль, что мы услышали, сводит на нет весь этот вздор. Только подумать, я, должно быть, стал настолько слаб рассудком, что

представил себе, будто несчастный череп мог на самом деле вопить, как живое существо!

Сейчас я открою коробку, мы вынем его наружу и хорошенько рассмотрим при ярком свете. Довольно-таки ужасно осознавать, не так ли, что несчастная женщина имела обыкновение сидеть в том кресле, где сейчас сидите вы, вечер за вечером, при таком же свете. Но в то же время… Все! Я буду считать, что все это чушь от начала и до конца и что это всего лишь старый череп, которым владел Люк, будучи студентом; возможно, положив экспонат в известь, чтобы придать ему белизну, он затем не смог найти нижнюю челюсть.

Понимаете ли, после того, как я приладил челюсть на место и закрыл коробку, я поставил сургучную печать поверх стягивавшей ее бечевки, а также подписал крышку. Старая выцветшая этикетка с именем миссис Пратт от продавца дамских шляп была на своем месте с того времени, когда покупка была отправлена. Так как на этикетке было место, я написал с краю в углу: «Череп, принадлежавший ныне покойному Люку Пратту, дипломированному врачу». Я не совсем понимаю, почему написал это. Разве только это было сделано с целью объяснить, как эта вещь

оказалась у меня во владении. Не могу удержаться от того, чтобы порой не поразмышлять, какой была шляпа, присланная в этой коробке. Какого цвета она была, как вы думаете? Была ли это пестрая весенняя шляпка с коротенькими перышками и красивыми отделочными лентами? Странно, что именно эта коробка должна хранить голову, которая носила убранство, — возможно. Хотя нет, мы решили считать, что этот череп из больницы в Лондоне, где Люк проводил много времени. Гораздо лучше видеть все в таком свете, не так ли? Связи между черепом и несчастной миссис Пратт не более, чем было в моей истории между свинцом и…

О боже! Возьмите лампу — не дайте ей потухнуть, если это в ваших силах, — а я прикрою окно! Да! Ну и буря! Вот она и началась! Как я и говорил вам! Ничего страшного — есть свет от камина. Мне удалось закрыть окно — шпингалет был опущен лишь наполовину. Коробку — что? сдуло со стола? Куда, черт побери, она подевалась? Ну вот! Это окно больше не распахнется, так как я задвинул засов. Надежный механизм этот старинный шпингалет, ничто с ним не сравнится. Теперь найдите коробку из-под шляпки, пока я вожусь со светильником. К черту эти паршивые спички!

Точно, скрученный кусочек бумаги для разжигания трубки подойдет лучше — он должен быстро приняться в огне камина. Я как-то не подумал об этом. Спасибо. Ну, вот теперь все хорошо! Так, а где коробка? Вы ее нашли? Ну, положите обратно на стол, мы ее откроем.

Впервые я столкнулся с тем, что ветер так запросто распахнул то окно настежь; но причина, видимо, моя небрежность, когда я в последний раз закрывал его. Да, я, конечно же, услышал крик. Показалось, что сперва он обогнул дом, прежде чем ворвался в окно. Это доказывает, что все время это был лишь ветер и ничего более, не так ли? Когда же ветер был ни при чем, в игру вступала моя фантазия. Я всегда слыл человеком с богатым воображением: наверное, я был таким всегда, хотя и не догадывался о том. С годами к нам приходит лучшее понимание самих себя, вы знаете?

В порядке исключения, выпью-ка я глоток неразбавленного Хюльсткампа, раз вы тоже, я гляжу, наполняете свой стакан. Тот внезапный порыв влажного ветра остудил меня, а с моей склонностью к ревматическим болям я очень боюсь переохлаждения, ибо кажется, что простуда пристает к моим суставам на всю зиму, стоит ей

только проникнуть внутрь.

Честное слово, это отличный напиток! Я закурю новую трубку. Здесь снова стало уютно. И мы откроем коробку. Я так рад, что мы услышали тот последний вопль вместе, когда череп находился здесь, на столе, между нами, ибо эта штуковина никак не может быть одновременно в двух местах, а шум, несомненно, пришел извне, как и полагается шуму, производимому ветром. И это вполне естественно, когда все открыто и гуляют сквозняки. Конечно же, это был лишь ветер. Что же еще?

Гляньте, пожалуйста! Прежде чем мы с вами откроем коробку, я хочу, чтобы вы убедились, что печать не сорвана. Вы возьмете мои очки? Ах, у вас есть свои. Хорошо. Вы видите, что печать цела и невредима, и на ней можно без труда прочесть одно изречение. «Тихий и нежный», — это стихотворение, и далее оно продолжается словами: «Западный ветер, повей…», а затем: «И возврати издалека милого к нам поскорей…»[25] и все такое прочее. Вот она, печать, висит на моей цепочке для часов уже более сорока лет. Моя бедняжка-жена подарила ее, когда я был еще женихом, и с

---

[25] Примечания: 25

А. Теннисон «Колыбельная», перевод с англ. Г. Кружкова.

тех пор я пользуюсь только ею. Эти слова так характерны для моей супруги — она всегда любила Теннисона.

Нет смысла разрезать бечевку. Она прикреплена к коробке, поэтому я попросту разломаю сургуч и развяжу узел, а после того, как мы закончим, я снова запечатаю коробку. Видите ли, мне доставляет удовлетворение понимать, что здесь череп находится в безопасности, и никто не может вытащить его оттуда. Я не то чтобы подозреваю Трэхерна… Просто я всегда чувствовал, что ему известно гораздо больше, чем он говорит.

Вы видите, как у меня все получилось сделать, не разрезая бечевку, хотя, когда я закреплял ее, не мог представить, что придется открывать эту картонку вновь. Крышка открывается довольно легко. Ну, вот! Теперь смотрите!

Что?! Внутри ничего нет?! Коробка пуста! О нет, он исчез, череп пропал!

Да нет, со мной все в порядке. Я просто пытаюсь собраться с мыслями. Все это так странно. Я решительно убежден, что череп был внутри, когда я поставил печать на коробку прошлой весной. Я просто не мог себе представить подобное: это совершенно невозможно. Если бы я периодически мертвецки напивался, тогда можно допустить,

что в таком состоянии совершил какую-то нелепую ошибку. Но я не выпивоха и никогда им не был. Пинта пива за ужином да глоток рома перед сном — самое большее, что я выпивал в былые времена. Однако я считаю, что мы, оставаясь полными трезвенниками, получаем ревматизм и подагру! Тем не менее там была моя печать, а теперь мы имеем пустую коробку для шляпок. Этот факт вполне очевиден.

Мне это все совсем не нравится, скажу я вам. Это неправильно. По моему мнению, что-то здесь нечисто. Но только не надо говорить со мной о сверхъестественных проявлениях, ибо я в них не верю, нисколько! Должно быть, кто-то справился с печатью и украл череп. Иногда в летнее время я выхожу в сад, чтобы поработать, а часы с цепочкой оставляю на столике. Трэхерн, должно быть, взял и воспользовался тогда печатью, поскольку был совершенно уверен, что я не вернусь обратно в дом по меньшей мере в течение часа.

Если же это не дело рук Трэхерна, то… О, только не говорите, что эта штуковина смогла выбраться наружу сама! Ну, а если и так, то она должна быть где-то в доме, затаилась и ждет в каком-нибудь укромном уголке. Тогда мы можем наткнуться на нее в любом месте, правда? А она будет ждать нас,

просто ждать в темноте. А потом как закричит на меня! Она завизжит на меня, когда я наткнусь на нее, потому что, говорю же вам, она меня ненавидит!

Коробка для шляпок совершенно пуста. Это не снится ни одному из нас. Вот смотрите, я переворачиваю ее вверх дном…

Что это было? Что-то вывалилось, как только я перевернул коробку. Оно на полу, подле ваших ног. Я знаю, там что-то есть, и мы должны найти это. Помогите мне отыскать, ну же! Вы нашли? Ради всего святого, дайте же мне, скорее!

Это свинец! Я догадался, когда услышал, как он упал. Благодаря легкому глухому стуку, который он произвел, приземлившись на коврик перед камином, я знал, что это не может быть что-то иное. Все-таки это был свинец… Значит, Люк сделал это.

Я чувствую себя несколько взволнованным, не то чтобы я нервничаю, понимаете, но сильно взволнован — это точно. Любой другой человек так бы себя и ощущал, думается мне. При всем при том нельзя это отнести к страху перед той штуковиной, ибо я же поднялся наверх и принес ее сюда.

По крайней мере, я полагал, что нес ее сюда, а

это равноценно. И, черт возьми! Вместо того, чтобы поддаваться этому бессмысленному бреду, я снова отнесу коробку наверх и положу обратно на законное место. Дело не в этом. А в уверенности, что маленькая несчастная женщина прекратила свое существование подобным образом по моей вине, потому что я был тем, кто рассказал историю про злодейку, умерщвлявшую своих мужей при помощи свинца. Вот что наводит на меня ужас. Я все же надеялся, что мне никогда не придется полностью уверовать в это, но теперь сомнений нет. Вы только посмотрите!

Взгляните на тот маленький кусок свинца, какой он бесформенный. Только представьте, что он натворил! Разве вас от этого не бросает в дрожь? Скорее всего, он дал ей какое-то снотворное, но наверняка она пережила мгновение ужасного страдания. Представьте себе расплавленный свинец, залитый вам прямо в голову. Задумайтесь об этом. Она была мертва прежде, чем могла закричать, но только подумайте о том, как… О! Ну вот, опять! Это просто снаружи. Лишь снаружи. Я знаю, что вой идет с улицы, но я не могу выкинуть это из головы! Ой-ой!

Вы думали, что я упал в обморок? Хотелось бы… Тогда бы этот вой прекратился. Конечно, легко го-

ворить, что это лишь посторонний шум и что звук еще никому не приносил вреда, но посмотрите на себя — вы бледны, словно туман. Нужно сделать лишь одну вещь, если мы надеемся уснуть сегодня ночью. Мы должны найти череп, положить его обратно в коробку из-под шляпок и запереть в шкафу наверху, где он предпочитает пребывать. Я не понимаю, как он выбрался наружу, но он хочет вернуться. Вот почему сегодня ночью воет так страшно — так плохо, как сейчас, не было никогда… никогда с тех пор, как я впервые…

Закопать его в землю? Да, мы можем так поступить, если сумеем найти, даже если на это у нас уйдет вся ночь. Мы зароем его на глубину шести футов и утрамбуем землю над ним так, чтобы уж больше он никогда не выбрался наружу, а если он будет вопить, то мы вряд ли это услышим, ибо он будет глубоко под землей. Живее, мы возьмем фонарь и поищем его. Он не может быть далеко; я уверен, что он где-то снаружи — тот вопль проникал в дом, когда я закрывал окно.

Да, вы совершенно правы. Я схожу с ума… мне надо взять себя в руки. Не заговаривайте со мной в течение одной или двух минут; я просто посижу абсолютно неподвижно с закрытыми глазами и повторю для себя кое-что, в чем я уверен. Это

самый лучший способ прийти в себя.

«Сложить высоту, широту и полярное расстояние, разделить на два и отнять высоту от полученной полусуммы; затем найти сумму логарифма секанса широты, косеканса полярного расстояния, косинуса полусуммы и синуса полусуммы минус высота», — вот, вспомнил! Так что не говорите, что я потерял рассудок, ибо моя память в полном порядке, разве не так?

Конечно, вы можете сказать, что это механическая память и что мы никогда не забываем то, что выучили, будучи еще мальчишками, если использовали эти знания почти каждый день на протяжении всей жизни. Но в этом вся суть и есть. Когда человек сходит с ума, тогда именно машинальная часть его рассудка приходит в негодность, и это уже не исправить; ему кажется, что он помнит то, чего на самом деле никогда не происходило, или он видит вещи, которые не связаны с реальностью, или же слышит звуки, когда вокруг стоит гробовая тишина. Это не то, что происходит с нами обоими, не так ли?

Пойдемте! Мы возьмем фонарь и обойдем дом. Дождя нет, лишь дует сильный ветер. Фонарь находится в прихожей, в шкафу под лестницей. Я всегда храню его в отрегулированном состоянии

на случай непредвиденной аварии.

Что? Нет смысла искать эту штуковину? Я не понимаю, как вы можете говорить такое. Вот обсуждать то, чтобы зарыть череп, конечно же, было абсурдом, потому что он не хочет быть погребенным. Он желает вернуться назад в свою коробку для шляпок и чтобы его отнесли наверх, бедолагу! Я знаю, что Трэхерн вытащил его, а затем заново поставил печать. Может быть, он отнес его на погост, и, возможно, он имел лишь благие намерения. Я полагаю, он думал, что череп перестанет вопить, если будет аккуратно уложен в освященную землю рядом с тем местом, где ему подобает находиться. Но тот воротился обратно в дом. Да, вот так-то. Трэхерн — добрый малый и до некоторой степени набожный, я думаю. Разве его действия не выглядят естественно, разумно и благонамеренно? Он предположил, что череп кричал оттого, что не был похоронен благопристойно — вместе со всеми останками. Но он оказался не прав. Откуда ему знать, что череп орет на меня, потому что ненавидит, так как это моя вина, что внутри него оказался тот маленький кусочек свинца?

Вы считаете, не стоит искать череп? Бессмыслица какая-то! Говорю же вам: он хочет, чтобы

его нашли… Прислушайтесь! Что там такое стучит? Вы слышите это? «Тук-тук-тук» — три раза, а затем пауза, и снова — «тук-тук-тук». Какой-то глухой звук, так ведь?

Он вернулся домой. Я слышал этот стук и раньше. Он хочет войти и оказаться наверху, в шкафу, в своей коробке. Он у входной двери.

Вы составите мне компанию? Мы пойдем и впустим его в дом. Да, я признаюсь, что не хочу идти в одиночку и открывать дверь. Эта штуковина перекатится через порог и остановится у моих ног, как это было в прошлый раз, а потом еще и свет потухнет. Я немало потрясен после обнаружения того кусочка свинца, к тому же мое сердце не совсем в порядке — возможно, слишком много крепкого табака. Кроме того, я вполне готов признаться, что сегодня я немного не в себе, как никогда прежде.

Так-то! Не отставайте! Я прихвачу коробку с собой, чтобы не возвращаться. Вы слышите стук? Это не похоже ни на какой из стуков, которые я когда-либо слышал. Подержите эту дверь открытой. Тогда я смогу найти фонарь под лестницей, благодаря свету из этой комнаты, не вынося свечу в прихожую, — она все равно бы потухла здесь.

Эта штуковина знает, что мы близко. Прислу-

шайтесь! Черепу не терпится попасть внутрь. Что бы вы ни делали, не закрывайте дверь, пока я не подготовлю фонарь. Опять возникнет привычная трудность со спичками, я полагаю… Нет! Удалось зажечь с первого раза, клянусь! Я же говорю вам: череп хочет попасть внутрь, поэтому сейчас все получается. Порядок, закрывайте дверь, пожалуйста. Теперь подойдите и подержите фонарь, ибо снаружи так сильно дует, что мне придется использовать обе руки. Да, правильно, держите его пониже. Вам все еще слышен стук? Что ж, начнем! Я приоткрою дверь совсем немного и придержу ее ногой у основания. Ну-ка!

Хватайте череп! Это ветер перебросил его через порог и теперь катит по полу — ветер, и только. Снаружи настоящий ураган, скажу я вам! Вы взяли его? Коробка для шляпок стоит на столике. Одну минуту, я лишь запру дверь на засов. Ну вот!

Почему вы бросили его в коробку так небрежно? Это ему, знаете ли, не нравится.

Что вы сказали? Укусил вас за руку? Что за вздор, приятель! Вы попросту допустили ту же оплошность, что и я. Вы сжали челюсти рукой и прищемили себя сами. Дайте-ка посмотреть. Надеюсь, вы не хотите сказать, что ощутимо

пострадали? Боже милостивый, вы, должно быть, сдавили очень сильно, так как кожа у вас определенно изодрана. Перед тем как отправиться спать, я дам вам карболовый раствор. Говорят, что полученная от зуба мертвеца рана может долго не заживать и доставить уйму хлопот.

Подойдите ко мне, дайте взглянуть на него при свече. Я принесу коробку из-под шляпки. Не беспокойтесь о фонаре, пусть он продолжает гореть в прихожей, так как вскоре пригодится, когда я отправлюсь наверх. Да, захлопните дверь, если вам угодно. Комната станет уютной и более освещенной. Ваш палец все еще кровоточит? Ах, я вам тут же принесу карболового раствора, но прежде дайте мне взглянуть на череп.

Брр! На верхней челюсти видна капля крови. На одном из клыков. Выглядит ужасно, не так ли? Когда я увидел, как он катится по полу прихожей, руки почти перестали слушаться меня, и я почувствовал, как подкашиваются ноги. Лишь мгновение спустя я понял — это был сильный ветер, что гнал череп по гладким доскам паркета. Вы же не станете осуждать меня? Думаю, что не станете! Ведь мы выросли вместе и успели повидать кое-что. Пожалуй, хорошо, что мы можем признаться друг другу в том, что оба ощутили

звериный страх, когда череп скользнул по полу в дом. Ничего удивительного, что вы прищемили себе палец, поднимая эту штуковину, раз даже я на нервах. Заметьте, я средь бела дня и под яркими лучами солнца допустил такую же оплошность.

Странно, что челюсти прилегают друг к другу так плотно, не правда ли? Я полагаю, тут дело в сырости, иначе они не смыкались бы словно тиски. Я стер каплю крови, — это выглядит устрашающе. Не бойтесь, я не собираюсь пытаться разомкнуть челюсти! Я вовсе не буду дурачиться с беднягой, а лишь заново скреплю коробку печатью; мы отнесем ее наверх и уберем туда, где череп желает находиться. Будьте добры, принесите сургуч. Он на письменном столе у окна. Благодарю вас. Могу вас заверить, что более без внимания свою печать не оставлю, чтобы ею вновь не воспользовался Трэхерн. Вы хотите объяснений? Я не берусь судить явления природы. Но если вы желаете думать, что Трэхерн спрятал череп где-то в кустах, а штормовой ветер подхватил и погнал его в сторону дома и заколотил им о входную дверь, как будто тот хотел попасть внутрь, — ваши предположения не являются чем-то невозможным, и я вполне готов с ними

согласиться.

Вот, видите? Вы можете поклясться, что на самом деле наблюдали, как я запечатал коробку, — на случай, если нечто подобное произойдет вновь. Сургуч крепит бечевку к крышке, и ее уже нельзя отнять от коробки, даже палец невозможно просунуть. Вы, должно быть, вполне удовлетворены этим обстоятельством, не так ли? Конечно. Кроме того, мне следует запереть шкаф и впредь носить ключ в кармане.

Теперь мы можем взять фонарь и подняться наверх. Знаете что? Я очень склонен согласиться с вашим предположением, что ветер пригнал череп к дому. Итак, я пойду впереди, так как мне хорошо знакомы эти ступени, а вы держите фонарь поближе к моим ногам, пока мы поднимаемся. Как сильно воет и свистит ветер! Вы почувствовали песок под вашими сапогами на полу, когда мы проходили через прихожую?

Да-да, эта дверь ведет в лучшую спальню. Держите фонарь прямо, пожалуйста. Встаньте вот сюда, у изголовья кровати. Я оставил шкаф открытым, когда забирал коробку. Удивительно, что едва уловимый запах женского гардероба витает в старом стенном шкафу уже долгие годы. Вот та самая полка. Итак, вы заметили, как я

поставил туда коробку, а теперь вы видите, как я повернул ключ и положил его к себе в карман. Дело сделано!

Доброй ночи. Вам достаточно удобно здесь? Это трудно назвать комнатой, но я смею утверждать, что здесь вы уснете сегодня ночью гораздо легче и спать будете лучше, чем наверху. Если вам понадобится что-либо, просто крикните, — нас отделяет лишь оштукатуренная перегородка. Почему-то с этой стороны дома ветер значительно слабее. Джин на столе, на случай, если вы захотите пропустить стаканчик на ночь. Нет? Ну, как вам будет угодно. Еще раз желаю доброй ночи, и пусть во сне к вам не придет кричащий череп, если это только возможно.

Следующая заметка, датированная 23 ноября 1906 года, появилась в газете «Пенраддон Ньюз»:

Загадочная смерть отставного капитана

Жители деревни Тредкомб весьма встревожены таинственной смертью капитана Чарльза Брэддока, в связи с чем циркулируют всевозможные невероятные истории относительно обстоятельств его гибели, которые, безусловно, кажутся трудно объяснимыми. Отставной капитан, который в свое время успешно управлял самыми большими и быстрыми лайнерами,

принадлежавшими одной из основных трансатлантических судоходных компаний, был найден мертвым во вторник утром в собственной постели, в своем доме, расположенном в четверти мили от деревни. Обследование, тут же проведенное местным практикующим врачом, раскрыло страшные обстоятельства его гибели. Скончавшийся был укушен за горло человеком, совершившим нападение, с такой поразительной силой, что оказалась раздавленной трахея. Это и стало причиной смерти. Следы от зубов обеих челюстей на коже были так отчетливо видны, что их можно было сосчитать. Очевидно, что виновный в совершении преступления лишен двух нижних резцов. Мы выражаем надежду, что эта характерная черта поможет установить личность убийцы, который, вероятно, является опасным маньяком в бегах. Говорят, что покойный, несмотря на свои шестьдесят пять с лишним лет, был бодрым мужчиной значительной физической силы, однако примечательно, что никаких следов борьбы в комнате выявлено не было. Не установлено также, как убийца проник в дом. Особое указание было направлено во все психиатрические больницы Соединенного Королевства, но на текущий момент никакой

информации относительно побега кого-либо из опасных пациентов не поступало.

Коллегия присяжных при коронере вынесла довольно необычный вердикт о том, что смерть капитана Брэддока наступила «от воздействия рук или зубов неизвестного человека». Согласно имеющимся сообщениям, местный хирург в частном порядке выразил убеждение, что маньяком является особа женского пола. Подобную точку зрения он приводит из-за малого размера челюстей, следы которых, благодаря отметинам от зубов, видны отчетливо. Вся история окутана тайной. Капитан Брэддок был вдовцом и жил один. Детей после себя он не оставил.

ОТ АВТОРА

Исследователи преданий о призраках и домах с приведениями найдут обоснование вышеизложенному рассказу в легендах о черепе, который и по сей день хранится в фермерском доме, именуемом Беттискомб Мэнор, в деревушке Беттискомб, расположенной на побережье в западной части графства Дорсет.

Перевод Романа Танасейчука

Поскольку кровь есть жизнь

Мы ужинали на закате, расположившись на отрытой площадке на вершине старой башни цитадели. Устроились мы там не случайно: в разгар жаркого лета здесь всегда прохладнее, к тому же в дальнем ее углу установлен очаг. Согласитесь, находиться рядом с кухней куда удобнее, чем таскать блюда вниз по лестнице — местами разбитой и выщербленной от времени. Крепость эта одна из тех, что император Карл V выстроил на западном побережье Калабрии в начале шестнадцатого столетия — для защиты берегов от пиратов-берберов в ту пору, когда Франциск I объединился с неверными против Императора и Святой Церкви. Большинство из укреплений давно превратились в руины, но башня, что принадлежит мне, — одна из немногих еще уцелевших и к тому же самая большая. Я приобрел ее десять лет назад. Как это мне удалось и почему с тех пор каждый год изрядную часть времени я провожу в ее стенах, к повествованию нашему не относится.

Цитадель эта расположена в одной из самых уединенных местностей южной Италии, на

самом краю причудливо изогнутой скалистой гряды, образующей небольшую, но совершенно безопасную естественную гавань на южной оконечности залива Поликастро, чуть севернее мыса Скали, где, согласно местному преданию, родился Иуда Искариот. Она одиноко высится на этой изогнутой каменной шпоре — почти на десяток километров в округе не найдется обитаемого дома.

Когда я отправляюсь туда, меня обычно сопровождают двое матросов, один из которых, кстати, прекрасно готовит. В мое отсутствие всем в цитадели распоряжается персонаж, сильно смахивающий на гнома. Прежде он подвизался в каменоломне — добывал камень, но уж много лет тому назад прибился ко мне.

В летнем моем уединении меня нередко навещает мой друг. Он — художник. По происхождению скандинав, но в силу обстоятельств — космополит.

Мы ужинали на закате. Это было красиво: солнечный свет постепенно тускнел, временами вдруг вспыхивая и раскрашивая густым фиолетом горную цепь, обрамляющую залив на востоке, все выше громоздившую скалы к югу. Было еще жарко, потому мы перебрались в угол площадки,

обращенный к побережью, ожидая, когда вечерний бриз потянет прохладой с ближних холмов. Свет небес окончательно погас, сумерки сгустились, и только желтая полоса света от лампы пробивалась из приоткрытой двери в кухню, где слуги гремели посудой.

Затем над гребнем мыса внезапно взошла луна, и сумрак разом рассеялся: блеск ночного светила разом залил нашу площадку, высветил каждый камень скалистой гряды, травяной склон недальнего холма, скользнул ниже, озарив пространство всего берега до недвижной глади черной воды.

Мой друг закурил трубку и сел, устремив взгляд в какую-то точку на склоне холма. Я знал, куда он смотрит, но не был уверен, что он способен разглядеть там что-то. Я-то хорошо знал, что там. Гость долго смотрел так, и стало понятно, что увиденное его заинтересовало. Но прошло довольно много времени, прежде чем он заговорил. Будучи художником, он доверял своим глазам, как лев уверен в своей силе, а олень — в быстроте собственных ног. Разумеется, его не может не смутить, если то, что он видит, не согласуется с тем, что он должен увидеть.

— Странно, — произнес он наконец. — Вы видите вон тот маленький холмик? Возле обломка

скалы… сюда, к нам ближе?

— Да, — ответил я, вполне догадываясь о том, что последует дальше.

— Очень походит на могилу, — заметил Хольгер.

— Совершенно верно. Очень похоже на могилу.

— Именно так, — продолжал мой друг, не отрывая глаз. — Но что за странность! Я вижу тело; и оно *лежит на* могильном холме! — Он сделал ударение на предлоге. — Разумеется, — продолжал Хольгер, склонив голову сначала в одну сторону, а потом в другую, как это могут делать только художники, — может быть, это свет так падает. Впрочем, возможно, это и не могильный холм вовсе. А если это могила, в таком случае тело должно быть внутри. Никак не снаружи. А может, виноват лунный свет — он такой обманчивый. Вы-то сами видите?

— Конечно, и вполне отчетливо. Более того, в лунном свете особенно хорошо видно — вижу постоянно.

— Похоже, зрелище это не сильно вас занимает, — произнес Хольгер.

— Как раз напротив — очень интересует, хотя вижу постоянно. Кстати, вы недалеки от истины.

Этот холмик — действительно могила.

— Быть не может! — воскликнул Хольгер недоверчиво. — Подозреваю: сейчас вы скажете мне, что на самом деле там лежит тело!

— Нет. Это не так. Я знаю точно: не поленился, специально спустился вниз, сходил и посмотрел.

— Так что же там такое? — спросил Хольгер.

— Ничего.

— То есть вы полагаете, это эффект игры света?

— Может быть. Но есть в том нечто необъяснимое: нет никакой разницы — восходит луна или заходит, светит ярко или тускло. И где она: на востоке или на западе. Но, когда луна в небе, — контуры тела на могиле всегда различимы.

Хольгер кончиком ножа поправил табак в трубке, а затем прижал его большим пальцем — табак разгорелся. Друг пыхнул дымом и встал со стула.

— Если вы не возражаете, — произнес он, — прогуляюсь-ка я вниз да посмотрю, что там и как.

Он оставил меня, пересек площадку и скрылся в темном провале лестницы. Я остался на месте и сидел, глядя вниз, — до тех пор, пока он не покинул цитадель. Хольгер вышел на залитое ярким лунным светом открытое пространство, затянул старую датскую песню и прямиком двинулся к загадочному холмику.

Когда до места оставалось шагов десять, Хольгер ненадолго остановился, сделал два шага вперед, потом три или четыре назад, затем остановился снова. Я знал, что это означает: он добрался до того места, где Нечто перестает быть видимым. Где, как сказал бы мой друг-художник, световой эффект меняется.

Потом он пошел вперед и не останавливался, пока не достиг холмика. Я по-прежнему видел Нечто. Но теперь оно уже не лежало, как прежде, а приподнялось на колени, обняло Хольгера и смотрело ему в глаза. В этот момент холодный ветер пахнул мне в лицо и шевельнул волосы. Это был всего лишь бриз, обычный вечерний бриз, но мне почудилось дыхание иного мира.

А Нечто между тем, казалось, пытается вытянуться во весь свой рост, оно карабкалось вверх по Хольгеру, используя его как опору в своем восхождении. Тот же словно застыл и стоял неподвижно, повернув голову в сторону башни. Знаю, на фоне луны силуэт ее смотрится особенно живописно.

— Возвращайтесь! — крикнул я. — Не стойте там всю ночь!

Мне показалось, он отходил от холма с трудом — словно что-то ему мешало. И я знал, что

мешало. Я видел, как руки Нечто обвивали его талию, удерживая его, но оно не могло оторваться от могилы. Хольгер медленно отступал, а за ним тянулся шлейф тумана — белый и тонкий. Я увидел, как мой друг вздрогнул и поежился, словно от холода. И в тот самый момент до меня донесся крик боли. Он был негромкий, но отчетливый. Видимо, это вскрикнула горная сова — они гнездятся в скалах… И тут кольцо тумана, что окружало Хольгера, рассеялось, подобралось и заскользило к могиле, а потом распласталось на холмике, как и прежде, приняв очертания человеческой фигуры.

Вновь порыв холодного ветра пошевелил мне волосы, но на этот раз я почувствовал ледяной ужас, от которого по спине пробежала дрожь. Очень хорошо помню, как однажды спустился туда один — таким же лунным вечером; приблизившись, я ничего не увидел. И точно так же, как Хольгер, я подошел вплотную к могильному холму и остановился. Хорошо помню, как повернул назад, и тут же у меня возникло убеждение, что там что-то есть — стоит только обернуться, чтобы убедиться в этом. Я вспомнил это сильное искушение — оглянуться, но, будучи человеком здравомыслящим, поборол его. Но, как и

у Хольгера, моей реакцией был озноб — меня передернуло.

И вот теперь я понял, что такие же руки — сотканные из белесого тумана — точно так же обнимали и меня. Осознав это, я содрогнулся, а еще вспомнил, что крик ночной совы я тоже тогда слышал. Так значит, это кричала не сова, а оно — Нечто.

Я снова набил трубку и наполнил бокал терпким южным вином. Не прошло минуты, как Хольгер вновь сидел напротив меня.

— Конечно, там ничего нет, — сказал он, — но все же как-то жутко. Знаете, когда я возвращался, я был уверен, что там — за мной — есть нечто… Я хотел обернуться и посмотреть… Больших сил мне стоило не делать этого.

Он коротко рассмеялся, выбил пепел из трубки и налил себе вина. Повисла пауза. Мы молчали. Луна поднималась все выше. Мы оба смотрели на Нечто, распластавшееся на могильном холме.

— Можно сочинить историю. Вам стоит подумать об этом, — произнес Хольгер после долгой паузы.

— Она существует, — ответил я, — если спать не хочется, могу ее рассказать.

— Рассказывайте, — ответил Хольгер. Он любил

слушать истории.

* * *

Старый Аларио умирал в деревне за горой. Не сомневаюсь — вы его помните. Говорили, что он нажил состояние, сбывая фальшивые камушки из Южной Америки, а тюрьмы избежал только потому, что смылся тотчас, как афера была раскрыта. Как все люди подобного сорта, обзаведясь деньгами, он тут же взялся расширять и надстраивать свой дом. А поскольку каменщиков в окрестностях не найти, он выписал двоих из Паолы. Это была еще та парочка — два негодяя совершенно зловещего вида: один — неаполитанец без глаза, а второй и того хуже — сицилиец со шрамом шириной в добрый дюйм[26] через всю левую щеку. Я частенько их видел, когда по воскресеньям они рыбачили у скал.

Когда Аларио свалила лихорадка и он умер, каменщики еще работали. Жили они в его доме, поскольку стол и кров были оговорены в качестве части оплаты за труд. Жены у Аларио не было — она давно умерла, остался только сын. Его звали Анжело, и характером он совсем не походил на

---

[26] Примечания: 26
Один дюйм равен 2,51 см.

своего пройдоху-отца. В невесты ему была назначена дочка местного деревенского богатея. И, что удивительно, хотя союз этот спланировали родители, говорят, молодые люди любили друг друга.

Кстати сказать, вся деревня любила Анжело, но пуще других — одно дикое, но очень симпатичное создание по имени Кристина — по виду совершенная цыганка. По крайней мере, никого более цыганистого я видел. У нее были ярко-алые губы, черные, как ночь, глаза; грациозна, как гончая; но остра на язык, как сам дьявол. Однако Анжело совсем не обращал на нее внимания. Думаю, что при иных обстоятельствах он не стал бы глядеть на каких-то других девушек, кроме назначенной ему отцом в жены милой толстушки. Но те приняли оборот, который нельзя назвать ни естественным, ни нормальным.

Существовал некий пастух, красивый и статный парень. Он обретался в недальних отсюда холмах близ Маратеа. Так вот, он был влюблен в Кристину, а та, похоже, совсем никаких чувств к нему не испытывала. У девушки не имелось постоянных средств к существованию, но особой она была работящей и никаких трудов не чуралась, а потому за миску бобов с куском хлеба да за возможность не ночевать под открытым

небом готова была отправиться куда угодно. Но особую радость она испытывала, когда удавалось сыскать работу поближе к дому отца Анжело.

В деревне не было собственного врача, поэтому, обнаружив умирающего Аларио, за врачом в Скали соседи отправили Кристину. Случилось это изрядно пополудни, потому что старый скряга отказывался от помощи до тех пор, пока не потерял речь. Кристина отправилась в путь, но состояние больного резко ухудшилось, и к одру призвали священника. Тот прочитал отходную молитву, а потом заявил, что, по его мнению, старик помер. И ушел из дома.

Вы же знаете этих людей. Страх смерти у них в крови. Пока священник читал свою молитву, комната была полна народу. Едва последние слова слетели с его губ, там уже никого не было. Да и опять же, ночь уже наступила. Так что скоро и все шаги стихли во тьме улицы.

Анжело, как я уже говорил, тогда отсутствовал; Кристина еще не вернулась; служанка, что ухаживала за больным хозяином, была женщина простая, а потому ушла вместе с остальными. И потому у тела никого не было. Оно осталось лежать, освещаемое неверным светом мерцающей масляной лампы.

Однако не прошло и пяти минут, как в комнату заглянули двое и, помешкав, опасливо подошли к кровати. То были упомянутый прежде одноглазый неаполитанец и его товарищ-сицилиец. Они знали, что им нужно. В одно мгновение разбойники вытянули из-под кровати окованный железом сундук — небольшой, но тяжелый. И задолго до того, как кто-либо решился зайти к мертвецу в комнату, растворились во тьме, не только убравшись из дома, но покинув немедленно и деревню. Сделать это было нетрудно, поскольку дом Аларио стоял на отшибе, рядом с ущельем. По ущелью проходила тропинка, что вела вниз к берегу, и ею редко кто пользовался. Поэтому воры просто вышли через заднюю дверь и перебрались через окружавшую двор каменную стену. Они почти не рисковали — едва ли в такую пору на тропе мог оказаться запоздалый поселянин. Никого там и не было. Так что все прошло без происшествий. Кроме сундука, они несли кирку и лопату.

Понятно, рассказывая историю, я только строю предположения — ведь свидетелей-то не было, но думаю, что происходило все именно таким образом. Воры пронесли сундук через ущелье, намереваясь закопать где-нибудь на берегу, а потом

вернуться за ним на лодке, чтобы забрать. Вполне возможно, сначала они собирались зарыть его прямо в песке, у моря — копать там легко, сделать все можно быстро и безопасно. Но затем, видимо, сообразили, что в сундуке могут быть и бумажные банкноты, которые пострадают от влаги — ведь вернуться за сундуком они, возможно, смогут не сразу. А потому стали копать яму рядом с тем валуном — да-да, как раз там, где сейчас холмик.

Кристина доктора в Скали не застала — его вызвали куда-то в долину, в какое-то местечко на полпути к Сан-Доменико. Если бы она нашла его, то вместе с ним поехала бы на муле по верхней дороге — по ней добираться удобнее, хотя значительно дольше. Но Кристина возвращалась одна, а потому выбрала короткий путь — через скалы, по тропинке, что проходит метрах в пятнадцати над холмиком и огибает вон тот уступ.

Те двое как раз копали яму, когда девушка проходила мимо и, разумеется, услышала их. Совсем не в ее характере было пройти, не разузнав, что здесь творится. Она была абсолютно лишена страха, к тому же знала, что временами рыбаки высаживаются на этот берег, когда им нужен камень для якоря или сушняк для костра.

Ночь была темная, и Кристина, возможно, по-

дошла слишком близко, прежде чем увидела, чем занимаются мужчины. Конечно, она их узнала, да и они признали ее и сразу поняли, что теперь в ее власти. Чтобы обезопасить себя, они могли сделать только одно и… сделали это. Они ударили ее по голове, вырыли яму поглубже и закопали тело вместе с окованным железом сундуком.

Должно быть, они сознавали, что единственный шанс избежать подозрения — побыстрее покончить с делом и вернуться в деревню, пока их отсутствия не заметили. Это им удалось: тотчас же они поспешили обратно и уже полчаса спустя мирно беседовали со стариком столяром, который мастерил гроб для старого Аларио. Он был приятелем обоих — работал вместе с ними на ремонте хозяйского дома.

Насколько мне известно, только два человека знали, где Аларио хранит свои сокровища: Анжело и та самая старая служанка, о которой я уже упоминал. Анжело отсутствовал, кражу обнаружила женщина.

Довольно легко понять, почему никто не знал, где хранились деньги. Старик всегда закрывал дверь своей комнаты на замок, когда уходил, а ключ никому не доверял — носил с собой. И никогда не дозволял служанке убирать комна-

ту — даже когда был рядом. В то же время вся деревня знала, что денежки у него водятся, и каменщики вполне могли узнать, где он их прячет, забравшись, например, через окно, когда он отсутствовал. Если бы старик не потерял сознание, то до последнего вздоха трясся бы над своим богатством. Верная служанка забыла о его существовании, когда, охваченная страхом смерти, вместе с другими убежала из комнаты. Двадцати минут не прошло, как она вернулась назад с двумя отвратительного вида старухами — в деревне их всегда звали, если следовало подготовить усопшего к погребению. Даже тогда не сразу осмелилась она приблизиться к одру покойника. Но затем сделала вид, будто что-то уронила, опустилась на колени и заглянула под кровать. Стены комнаты сияли свежей побелкой. Потому женщине хватило одного беглого взгляда, чтобы понять — сундук исчез. Днем и даже вечером он был еще на месте — это она знала точно. А теперь исчез. Значит, его украли совсем недавно, — когда она вместе с другими вышла из комнаты.

В деревне карабинеров не было. Не имелось даже деревенского сторожа, поскольку органы самоуправления в ней отсутствовали. Их и сейчас там нет. Считалось, видимо, что за селением

должны надзирать власти Скали — каким-то таинственным способом: путь оттуда составляет часа два, не меньше.

Потому женщина, прожившая всю жизнь в деревне, и помыслить не могла, что за помощью надо обращаться к властям. Она просто ударилась в истерику и побежала по деревне, оглашая сгустившуюся тьму истошными воплями: «Ограбили! Хозяйский дом ограбили!» Люди выглядывали наружу, но прийти ей на помощь никто не спешил. Более того, большинство принялось судачить, что деньги она сама украла. И вот крики донеслись до дома, где жила невеста Анжело и ее отец. Тот собрал всех домочадцев (у каждого из них имелся собственный интерес к делу, ведь они собирались принять в семью сына того, кого ограбили) и провозгласил, что, по его мнению, сундук утащили те самые два странствующих каменщика, которые жили в доме. И, решив взяться за поиски, сам их и возглавил.

Начались они в доме покойного Аларио, а закончились в мастерской плотника: там и обнаружились оба вора. Они мирно сидели и попивали вино с хозяином при свете масляной лампы рядом с недоделанным гробом. Прибывшие немедленно обвинили их в преступлении

и пригрозили, что сейчас же схватят и запрут в погребе — до той поры, пока из Скали не прибудут карабинеры. Преступники молча переглянулись, опрокинули лампу, ухватились за стоявший между ними гроб и, пользуясь им как тараном, ринулись во тьме на своих противников. Мгновение — и злодеи исчезли из виду.

На этом первая часть истории заканчивается. Сокровища исчезли. Попытки разыскать их успеха не имели. Люди решили, что ворам удалось скрыться вместе с добычей. Старого Аларио похоронили. Когда наконец Анжело вернулся, оказалось, что денег у него нет даже для того, чтобы оплатить тризну.

Стоит ли говорить, что, утратив благосостояние, он потерял и невесту. В этих краях браки зиждутся на строгих деловых принципах, и если в назначенный срок оговоренная сумма не отдана родителям невесты, то и свадьбы не будет. Несчастному Анжело все это было хорошо известно. Земли у него не было. А кроме денег, которые его родитель вывез из Южной Америки и которые теперь исчезли, имелся только недостроенный дом, неизрасходованные строительные материалы и долги. Перед Анжело маячила нищета, а та милая толстушка, что должна была стать его

женой, только надменно вздернула носик, когда они случайно повстречались.

Что касается Кристины, то хватились ее лишь через несколько дней, когда кто-то вдруг вспомнил, что ее посылали за доктором в Скали. В принципе, она нередко исчезала, — это случалось тогда, когда девушка нанималась на работу на какую-нибудь отдаленную ферму. Но она всегда возвращалась. А теперь не вернулась. И люди подумали: цыганка была в сговоре с преступниками и убежала вместе с ними.

* * *

Я замолчал и осушил свой бокал.

— Должен сказать, — заметил Хольгер, вновь взявшись набивать трубку, — такого рода вещи случаются повсеместно. А все потому, что в убийстве, как и во внезапной и необъяснимой смерти, есть некое очарование. Своеобразный шарм, если хотите. Тем более когда это случается в такой романтической стране, как эта. События, которые в иной обстановке можно назвать отвратительными, здесь приобретают особый драматизм и таинственность. Потому что это Италия, а мы живем в цитадели, которую выстроил Карл V для защиты от самых настоящих пиратов-берберов.

— Что-то такое в этом, действительно, есть, — согласился я.

Вообще-то, Хольгер очень романтичный малый, но всегда стремится объяснить, что и почему он чувствует.

— Полагаю, тело бедной девушки все-таки обнаружили. Вместе с сундуком, — произнес он после паузы.

— Если вам и в самом деле интересно, — отвечал я, — могу рассказать историю до конца.

К тому времени луна поднялась выше, и силуэт на фоне холма стал виден еще отчетливее, чем прежде.

* * *

Очень скоро деревня вновь погрузилась в привычную спячку. Никто не скучал об Аларио. Хотя он и был родом из этих мест, но считался чуть ли не чужаком — слишком долго прожил вдали, в Южной Америке. Анжело жил в недостроенном жилище. Старая служанка ушла, потому что платить ей было нечем. Впрочем, изредка она навещала дом, чтобы постирать юноше белье. Видимо, в память о прежних днях. После смерти отца, кроме дома, молодой человек унаследовал еще небольшой клочок земли на некотором

удалении от деревни. Пытался его возделывать, но без особого энтузиазма, поскольку знал, что налоги за дом и за землю внести не сможет, а потому имущество будет конфисковано государством. Если прежде им не завладеет кредитор, который ссудил покойного отца строительными материалами: обратно взять их он отказался.

Анжело чувствовал себя глубоко несчастным. Пока отец был жив и богат, каждая девушка в деревне была влюблена в него. Но теперь все переменилось. Как приятно, когда тебя уважают, тобой восхищаются, когда тебя наперебой приглашают зайти и выпить вина (особенно те, у кого в семье дочь на выданье). И как тяжко, когда тебя не замечают, а то и смеются вслед — потому что грабители лишили тебя богатства. Юноша жил один и в одиночестве готовил себе скудную еду. Уныние и меланхолия охватывали его все сильнее и сильнее.

Когда дневные труды заканчивались и спускались сумерки, Анжело вместо того, чтобы проводить время со сверстниками, уходил за деревню и в одиночестве бродил по пустошам — до тех пор, пока не наступала ночь. Тогда он возвращался домой и, не зажигая лампы (при его бедности масло приходилось экономить),

ложился спать.

Но в часы этих одиноких странствий начали являться молодому человеку странные видения — словно грезы наяву. Порой, присев где-нибудь на пне или поваленном дереве — там, где тропинка, петляя, стремится вниз в ущелье, — он, без сомнения, видел женщину. Она, босая, бесшумно появлялась из-за груды камней и шла к нему навстречу, потом в десятке метров от него останавливалась под сенью кроны большого каштана и манила его к себе, не говоря при этом ни слова. Хотя ее лицо и фигура были в тени, он знал, что губы у нее алые и, приоткрытые в улыбке, обнажают два маленьких прелестных острых зубика. Он прежде почувствовал, а не увидел это, и знал, что это Кристина, и ведомо ему было, что она мертва. А еще он совсем не боялся — ведь знал, что это сон. Вот если бы это случалось наяву, тогда следовало опасаться.

Когда бы в сумерках Анжело ни подходил к тропинке, ведущей в ущелье, женщина уже ожидала его. И очень скоро ему стало казаться, что с каждой встречей расстояние между ними — понемногу, но день ото дня — сокращается. Во всяком случае, поначалу он различал только ярко-алый рот женщины; потом уже и черты

ее бледного лица сделались отчетливо видны; а затем и глаза — были они глубоки и смотрели требовательно и жадно.

Как раз глаза его и притягивали. Мало-помалу Анжело свыкся с мыслью, что однажды не сможет встать и просто уйти домой, а пойдет вслед за видением — туда, откуда оно возникло, — вниз, в ущелье. А она уже была все ближе. Щеки у женщины не были бледными, — во всяком случае, они не выглядели так, как у покойника. Но были впалыми, как у человека, страдающего от голода. И глаза горели голодным, неутоленным огнем. Они пожирали юношу, проникали в душу и подчиняли — близились и близились, и вот… вошли в него и подчинили совершенно. Едва ли он мог сказать, каким было ее дыхание: горячим как пламя или холодным как лед; вспыхивали его губы от прикосновений ее алых губ — или их сводило от холода; что происходило от касаний ее рук — пузырились ожоги или сводило запястья от мороза. Он даже не мог сказать точно, спал ли он или бодрствовал, а она — живой была или все-таки мертвой… Но одно он знал точно: она любила его — единственное существо из всех, сущих и несущих, земных или призрачных. И он не мог противостоять ее чарам.

Когда в ту ночь луна взошла над горизонтом, призрачная тень над тем холмом уже была не одна…

Утро было холодным. Анжело очнулся на рассвете. Он продрог до костей: все в нем заледенело, казалось, даже кровь замерзла в жилах, да и все тело покрывала роса. Он открыл глаза: небо едва посерело, и еще различимы были звезды. Юноша был так слаб, и так медленно билось у него сердце, словно после обморока. Медленно повернул голову, которая покоилась на холмике, как на подушке, — но рядом никого не было. Внезапно его охватил ужас — неведомый и непонятный; он вскочил на ноги и побежал прочь, вверх из ущелья, и ни разу не остановился — даже не обернулся — до тех пор, пока не оказался у дверей собственного дома на окраине деревни.

В тот день за работу он взялся в унынии. Часы тянулись медленно, и солнце еле ползло по небосклону, пока наконец не коснулось моря и не утонуло в нем, а островерхие утесы Маратеа на востоке не обагрились кровью заката. Анжело взвалил на плечо свою тяжелую мотыгу и ушел с поля. Он чувствовал сейчас себя лучше, чем утром, когда приступил к работе, и дал себе зарок, что отправится прямо домой. К ущелью не

пойдет, а приготовит себе плотный ужин, потом ляжет в постель и проведет в ней всю ночь, как и надлежит поступать доброму христианину. На этот раз призрак с ледяным дыханием и алыми губами не совратит его и не будут терзать видения, полные ужаса и восторга…

Он отправился к деревне. С полчаса минуло, как зашло солнце. Церковный колокол разнесся эхом по окрестностям, извещая всех добрых людей, что дела дневные завершены. В этот момент Анжело обнаружил, что находится у развилки тропы. Здесь она разделялась: левая — в гору — вела к деревне, правая — вниз — в ущелье. Там густая крона каштана затеняла путь, и тропка терялась в этой тени. Здесь он на минуту замешкался, стянул потрепанную шляпу с головы и посмотрел на море, стремительно темневшее на западе; губы его беззвучно шевелились, привычно шепча вечернюю молитву. Бормотание было едва слышно, а смысл слов не достигал сознания: Анжело едва ли осознавал, что говорит, до тех пор, пока не произнес громко и отчетливо: «Кристина»! Вместе с этим решимость и воля внезапно покинули юношу, а реальность вдруг странным образом исчезла — он погрузился в транс и, словно лунатик, совершенно не сознавая, что делает,

двинулся вниз по тропинке в сгущающуюся тьму. А Кристина скользила подле него и шептала ему на ухо странные, но такие сладостные слова… Случись ему вдруг очнуться, он, конечно, совершенно не понял бы их значения, но сейчас они казались исполненными чудесного смысла — ничего прекраснее он никогда не слышал! А еще она целовала его, но целовала не в губы… Он чувствовал на шее ее острые поцелуи: они жалили горло, и он знал, что уста ее алы… Безумный сон простерся над сумраком, тьмой, лунным светом и всем великолепием летней ночи.

А на рассвете он очнулся все на том же холмике — едва живой… то приходя в сознание, то теряя его, истекая кровью и все же страстно желая новых прикосновений тех же алых губ… А затем опять пришел страх, и юноша снова впал в ту же безотчетную панику, что и накануне. Его охватил невыразимый смертельный ужас — защита, что стоит, оберегая на нас на границе мира, которого мы не знаем и познать который нам не дано; но его мы ощущаем, когда ледяная дрожь пронзает нас до костей, а волосы шевелятся от прикосновения призрачной длани. И вновь Анжело скатился со своего ночного ложа и опрометью бросился прочь — вверх по тропинке из ущелья, к

деревне. Но теперь шаг его был еще менее верен, чем прежде, и он задыхался, шатаясь от слабости. А еще его мучила ужасная жажда; потому, едва достигнув прозрачного ручья, что струился у подножья холмов на полпути к селению, он опустился на колени, окунул лицо и руки в воду и принялся, захлебываясь, пить — то была жажда человека, что всю ночь пролежал на поле боя, истекая кровью.

Теперь она держала его крепко. Он не мог спастись от нее. И каждый вечер, в сумерках, безвольно шел к ней. Тщетно он пытался избрать другую дорогу домой — ту, что идет подальше от ущелья. Напрасно каждое утро клялся себе, что пойдет прямо в деревню и без остановки минует проклятое место. Все было зря: едва солнце тонуло в море, а живительная прохлада опускалась на уставшую землю, его ноги сами сворачивали на прежний путь, а она уже ждала его в тени каштанов, и все происходило так же, как и накануне: она впивалась своими поцелуями в его белую шею и, обвив рукой, влекла его вниз. А кровь убывала, и чем меньше ее оставалось в жилах юноши, тем голоднее становилась она и день ото дня ненасытнее делалась ее жажда…

С каждой новой зарей все труднее был путь

наверх, все тяжелее давались дневные труды, а мотыга, казалось, была неподъемной, и Анжело едва справлялся с нею. Теперь он вообще ни с кем не общался и даже не разговаривал. Земляки решили, что парень «сохнет от любви», и определили предмет страданий — ту самую девушку, с которой он должен был обвенчаться, пока не потерял наследство. Но обстоятельство это рождало в них не сочувствие, а только насмешку: не в чести у деревенских романтические бредни.

Как раз в то самое время Антонио, который присматривал за цитаделью, вернулся от родственников, что жили подле Салерно. Он долго отсутствовал, а потому пропустил смерть Аларио и то, что последовало затем. Разумеется, ничего о происходившем он не знал. Впоследствии он рассказывал мне, что вернулся к вечеру, заперся в башне, сразу же взялся за готовку, а потом отправился спать, потому что очень устал с дороги. Но после полуночи вдруг проснулся. Как раз луна всходила над холмами. Он посмотрел туда и увидел тот самый холмик, а на нем нечто такое, после чего не смог уже сомкнуть глаз до утра. Когда солнце встало, он направился в ту сторону, но на холмике ничего не увидел, кроме камней, лежащих в беспорядке, да истоптанного песка.

Впрочем, близко к холмику он не подходил, а прямиком двинулся к деревне, к дому старого священника.

— Святой отец, — сказал Антонио, — нечто ужасное я углядел нынче ночью. Я видел, как мертвец пьет кровь у живого человека. И как мертвец оживал от этой крови.

— Расскажи мне подробно, что ты видел, — попросил священник в ответ.

Антонио сообщил обо всем подробно. И в завершение добавил:

— Святой отец, возьмите с собой Святую Библию да захватите святой воды. Я приду на закате, и мы вместе отправимся туда. Если отсутствием аппетита вы не страдаете, то мы успеем еще подкрепиться — ведь нам придется подождать. Я все подготовлю.

— Я пойду с вами, — отвечал священник, — поскольку читал в старых книгах об этих непонятных созданиях, которые не живы и не мертвы. Они лежат в своих могилах нетленные и встают из них ночью, чтобы напитаться кровью живых, черпая в них силы.

Антонио читать не умел, но был рад, что священник понимает, о чем идет речь: должно быть, книги подскажут ему, какой способ избрать, что-

бы навсегда избавиться от этой нежити.

Итак, Антонио вернулся к своим трудам, которые, по правде сказать, если он, конечно, не удил рыбу в заливе, состояли в том, что мужчина просто сидел, укрывшись от солнца в тени цитадели.

Но на этот раз все было по-другому: в течение дня он дважды наведывался к тому холмику, ходил вокруг, смотрел, нет ли там какой дыры, через которую нежить влезает и вылезает, но ничего не находил. Когда солнце начало клониться к закату и похолодало, Антонио направился к священнику. С собой у него была корзина. В нее положили бутыль со святой водой, чашу, кропило и другие предметы, необходимые святому отцу. Затем двинулись в крепость и пробыли там, пока не сгустились сумерки. Все это время, не отрываясь, мужчины смотрели туда, на холмик.

И вот что они увидели: ночь еще не наступила, когда в густеющем сумраке показались две фигуры. Мужчина — он едва переставлял, точнее, волочил ноги; и женщина, которая, словно обвивая, всем телом льнула к нему. Ее голова лежала на плече юноши, а губы впивались в его шею.

Об этом мне рассказал сам священник. А еще о том, что зубы у него стучали от страха и, чтобы

не упасть, он схватил Антонио за руку.

Но… видение возникло и через мгновение пропало, растаяв в густой тени. Тогда Антонио достал кожаную фляжку со спиртным (он держал ее для особых случаев) и сделал такой глоток, который и старика превратит в юношу. Потом помог священнику облачиться в епитрахиль и дал ему сосуд со святой водой, взял фонарь, кирку и лопату. Они направились туда, где предстояло свершить то, что следовало. Антонио потом вспоминал, что ром не слишком помог ему: колени так и дрожали. Да и святой отец запинался, бормоча свою латынь.

Когда смельчаки оказались неподалеку от места и остановились, мерцающий свет фонаря выхватил из темноты бледное лицо Анжело — он был без сознания, будто спал: голова запрокинута, шея открыта, и тонкая струйка крови стекала за воротник… А у горла — другое лицо… Фонарь осветил и его. Потревоженное светом, оно повернулось, и на них глянули два совершенно мертвых незрячих глаза из глубоких впадин… В отличие от глаз, рот был живым — ярко-алые губы двигались, язык облизывал зубы, на которых пузырилась кровь…

Тогда священник, простой добрый старик,

крепко зажмурился, окропил себя святой водой и принялся за молитву. Голос его возвысился, почти перешел в крик, но он не умолкал. Антонио, который тоже был не робкого десятка, одной рукой высоко подняв кирку, а в другой держа фонарь, бросился вперед, едва ли даже задумываясь о последствиях того, что делает… Тотчас, как позднее он утверждал, они услышали женский крик, и нежить исчезла…

Анжело лежал неподвижно. Он был без сознания, на горле — рана, а лоб покрыт предсмертной испариной.

Мужчины подняли его, полумертвого, и перенесли в сторону от холма. Затем Антонио взялся за работу, и священник помогал ему. Они вырыли глубокую яму. Наконец Антонио остановился, взял фонарь и наклонился посмотреть: он был готов увидеть что угодно…

Прежде у Антонио волосы были густого каштанового оттенка, седина едва только тронула виски… Но месяца не прошло с того дня — он поседел как лунь. А ведь в юности был горняком, и, знаете ли, эти люди привыкли ко всякому. Какие только несчастья с ними не случались, чего они только не повидали!.. Но он явно никогда не видел ничего подобного тому, что видел

этой ночью: создания, что было ни живым, ни мертвым — нежитью, что не принадлежала ни надземному, ни подземному миру.

Антонио взял с собой еще кое-что, чего священник не видел. Он изготовил эту штуку ближе к вечеру — остро заточенный кол из коряги, прибитой волнами к берегу. С ним и с фонарем в руках смельчак и спустился в могилу. Не думаю, что найдется на земле сила, способная заставить его рассказать о том, что происходило дальше; а старый священник был слишком напуган, чтобы заглянуть внутрь. Он говорил, что слышал дыхание Антонио: тот дышал «ну прямо что твой дикий зверь». И шум — как будто он с кем-то борется: таким же сильным, как и он; потом — сильные удары. А затем такой звук, словно что-то с силой протыкает плоть, раздвигая и ломая кости; и следом — дикий женский крик! Но это был вопль не живого существа, а нежити, погребенной много дней назад.

Несчастный старик только и смог, что упасть на колени и, возвысив голос, чуть не крича, читать свои молитвы, призывая к изгнанию дьявола. А потом, когда смолкли ужасные звуки, из могилы вылетел сундук, окованный железом. Он покатился по земле и камням и остановился прямо

у ног святого отца. Через мгновение и Антонио оказался тут же. Лицо его было белее мела. Не мешкая ни секунды, в лихорадочной спешке он схватил лопату и принялся забрасывать яму песком и галькой, не переводя духа до тех пор, пока она не заполнилась наполовину. А еще священник говорил, что вся одежда Антонио и его руки были густо перемазаны свежей кровью.

* * *

На этом я закончил свое повествование.

Хольгер молча допил вино и откинулся в кресле.

— Так значит, Анжело вернул то, что ему принадлежало, — сундук с наследством, — сказал он. — Женился он на той пухленькой чванливой особе, с которой был обручен?

— Нет. То, что с ним случилось, внушило ему ужас перед женщинами. Он уехал в Южную Америку, и больше о нем никто ничего не слышал.

— А тело этого несчастного создания, Кристины, там, полагаю, и находится, — сказал мой друг. — Надеюсь, она мертва?

Я тоже на это надеюсь. Но, мертво это существо или нет, мне не хотелось бы его увидеть — даже при ярком свете дня. Антонио поседел после того,

как встретился с ним. Да и стал совсем другим, нежели был прежде.

Перевод Андрея Танасейчука

Артур Мейчен



К сожалению, Артур Мейчен (Arthur Machen, 1863–1947), таланту которого Г. Ф. Лавкрафт посвятил немало добрых слов в эссе «О сверхъестественном ужасе в литературе», известен в России мало. В 2000-е на русском языке вышли несколько сборников прозы писателя, но небольшим тиражом и быстро исчезли из продажи. По сути, единственная доступная сейчас нашим соотечественникам книга Мейчена издана совсем недавно[27]. Увы, нет и специальных работ, посвященных писателю (если не считать малодоступной статьи-предисловия в сборнике 2006 года)[28]. Правда, существует весьма подробная биография Мейчена, написанная Джоном Госвортом. И она переведена на русский! Но издана в «самиздате», тиражом в… 50 экземпляров[29]. Поэтому основные вехи творческого пути этого художника осветить стоит.

Настоящее имя писателя — Артур Ллевеллин

---

[27] Примечания: 27

Мейчен А. Великий бог Пан: повести, рассказы. СПб.: Азбука, 2020. 416 с.

[28] Примечания: 28

Нестеров А., Стефанов Ю. Алхимическая тинктура Артура Мейчена / Артур Мей-чен. Сад Аваллона. М.: Энигма, 2006. С. 7–56.

[29] Примечания: 29

Гаусворт Д. Жизнь Артура Мейчена / пер. с англ. А. Сорочана. Б.м.: оПУС М, 2019.600 с. (Эта книга есть у автора настоящих строк, но в библиотеках ее нет, даже профессионалам она недоступна).

Джонс. Подданный Великобритании, он считал себя прежде всего валлийцем и всячески это подчеркивал. Расцвет творчества пришелся на рубеж XIX–XX вв. Наиболее известен произведениями фантастической направленности и историями о сверхъестественном. Самый знаменитый текст — повесть «Великий бог Пан» — считается классикой «страшной» литературы; Стивен Кинг называл сочинение «возможно, лучшим рассказом в жанре ужасов на английском языке».

Будущий писатель родился в семье провинциального священника в местечке Карлеон, в Уэльсе, здесь же прошли и его детские годы. Тяжелые материальные условия были вечной проблемой для писателя, с которой он был вынужден бороться практически всю свою жизнь. Из-за недостатка средств он не смог окончить школу и вынужден был довольствоваться бессистемным домашним самообразованием. У отца была богатая библиотека, мальчик читал запоем. Чтобы сын все-таки получил образование, отец будущего литератора изменил фамилию Артура на Мейчен — фамилию его бабушки по материнской линии. За это бабушка дала согласие оплатить обучение внука. В 1880-м Мейчен пробовал поступить в Королевский медицинский колледж в Лондоне,

но потерпел неудачу. Литературной деятельностью начинает заниматься с 1881 года, сначала как переводчик, — его первой публикацией стал перевод «Гептамерона» Маргариты Наваррской, чуть позже выходят мемуары Казановы, другие произведения. В 1884–1889 гг. Мейчен работает в издательствах не только переводчиком, но и рецензентом и редактором. В это же время он приобретает в литературной среде репутацию знатока редких книг и рукописей. В 1887 году женится на учительнице музыки Эмили Хогг, у которой было немало друзей-литераторов. Примерно тогда же умирает отец писателя, оставив ему небольшое, но достаточное наследство, что позволяет заняться литературной работой. Супруга знакомит мужа с писателем-мистиком и знатоком оккультизма Артуром Уэйтом, ставшим его близким другом; появляются и другие ценные литературные знакомства.

Очевидно, что творчество Мейчена следует рассматривать в русле английского неоромантизма. Ранние рассказы явно подражательные, и подражал он прежде всего Р. Л. Стивенсону. В качестве примера исследователи обычно указывают на историю под названием «Исчезнувший клуб», но следы такого «влияния» можно отыскать и в

других ранних новеллах. Первый успех пришел к писателю с публикацией уже вполне самостоятельной повести «Великий бог Пан». Успех книге обеспечили не столько ее несомненные художественные достоинства, сколько яростные нападки консервативной прессы, которая сочла книгу неприличной. Вскоре автор добился еще более широкого признания, выпустив небольшой роман в новеллах под названием «Три самозванца». Эта книга считается одной из лучших в творчестве Мейчена. Несколькими месяцами позднее он выпустил продолжение, детективно-мистическую повесть «Красная рука». За этими текстами последовали другие произведения, успех следовал за успехом. Очевидно, что большинство лучших произведений — рассказов и повестей — созданы именно в 1890-е гг.

Внезапная смерть жены (в 1899 году) погружает Мейчена в жестокую депрессию, он ищет утешение в оккультизме и (подобно А. Блэквуду) присоединяется к пресловутому мистическому «Ордену Золотой Зари». «К жизни» (в том числе литературной) его возвращает Дороти Хэдлстон, которая стала верным спутником до конца дней. Однако семейная жизнь и появившиеся дети заставляют писателя искать постоянную работу:

с 1910 года на полтора десятка лет он становится сотрудником газеты “Evening News”. Журналистика обеспечивает стабильность и необходимый заработок, но напряженная работа почти не дает возможности для творчества. Мейчен публикует ряд рассказов, но едва ли их можно отнести к числу успехов. Пожалуй, только повесть «Великое возвращение» (1915), в которой школьник в валлийской глуши находит Священный Грааль, и мистический детектив «Террор» (1917) можно считать действительно удачными.

Необходимо признать: наиболее известен Мейчен своей ранней фантастической мифологической прозой с элементами ужаса. Именно этот корпус текстов и сформировал репутацию писателя, восхищал и учил Г. Ф. Лавкрафта, стал источником сюжетов для многих фантастов XX века.

А. Б. Танасейчук

Красная рука

I. Проблема рыболовных крючков

— Не может быть никаких сомнений, — сказал мистер Филипс, — что моя теория верна: эти предметы из кремня — доисторические рыболовные крючки.

— Позвольте заметить, что вам известно, как велика вероятность, что эти штуки были изготовлены вчера при помощи дверного ключа!

— Чепуха! — фыркнул Филипс. — Я питаю некоторое уважение к вашим литературным способностям, Дайсон, но ваши знания по этнологии скудны — точнее, вовсе отсутствуют. Эти рыболовные крючки пройдут любую проверку — они абсолютно подлинные.

— Возможно, но, как я только что сказал, вы подходите к делу не с того конца. Вы пренебрегаете возможностями очевидными, ожидающими, подстерегающими вас на каждом углу; вы прямо-таки отшатываетесь от шанса встретить первобытного человека в этом кипучем, полном тайн городе и часами скучаете в вашем приятном

убежище на Ред-Лайон-сквер[30], возясь с кусочками кремня, которые, как я сказал, скорее всего являются банальными подделками.

Филипс взял один из осколков и высоко поднял его, не скрывая раздражения.

— Взгляните на эту кромку! Вы когда-нибудь видели такую кромку на подделках?

Дайсон что-то буркнул и разжег свою трубку; так они сидели, покуривая, храня полное смысла молчание и наблюдая через открытое окно за детьми, которые носились по скверу туда-сюда в слабом свете фонарей, неуловимые, как летучие мыши на опушке темного леса.

— Да, — сказал наконец Филипс, — вы и в самом деле давно уже меня не навещали. Вы, наверно, работали над прежней задачей?

— Именно, — ответил Дайсон, — охотился за фразами. Состарюсь на этой охоте. Однако я нахожу большое утешение в том факте, что во всей Англии не отыщется и десятка людей, знающих, что такое стиль.

— Согласен; да, кстати, и изучение этнологии также отнюдь не популярно. А сколько тут трудностей! Первобытный человек слабо различим

---

[30] Примечания: 30

О топографии места действия рассказа см. комментарий переводчика в конце текста.

сквозь туман разделяющих нас веков. — Помолчав, он добавил: — Между прочим, на что это вы недавно намекали касательно отказа от шанса встретить в этом кипучем, полном тайн городе первобытного человека за углом, или что-то в этом духе? Конечно, и в наши дни встречаются люди с совершенно первобытными понятиями.

— Мне жаль, Филипс, что вы пытаетесь рационализировать мои сентенции. Я точно помню, что намекал на ваше нежелание поискать первобытного человека в этом кипучем, полном тайн городе, и имел в виду именно то, что сказал. Может ли кто-то определить пределы выживания? Весьма вероятно, что обитатели пещер и озер, а может, и представители еще более древних племен прячутся где-то среди нас, бок о бок с одетыми в сюртуки и изящно задрапированными современными индивидуумами, лелея в душе волчьи аппетиты и темные страсти, зародившиеся в болотах и во тьме пещер. То и дело, гуляя по Холборну или по Флит-стрит, я замечаю лица, к которым прилагаю эпитет «омерзительный», и все же не могу объяснить, почему они вызывают у меня дрожь отвращения.

— Мой дорогой Дайсон, я отказываюсь присоединиться к вашей мастерской литературных

«примерок». Я знаю, что пережитки существуют, но у любого явления есть предел, и ваши измышления абсурдны. Изловите троглодита и доставьте ко мне, тогда я в него поверю.

— Готов согласиться от всего сердца, — Дайсон хихикнул, довольный тем, как легко ему удалось «зацепить» Филипса. — Лучшего и не пожелаешь. Сегодня отличный вечер для прогулки, — добавил он, взявшись за шляпу.

— Что за чушь вы городите, Дайсон! — воскликнул Филипс. — Однако я не прочь прогуляться с вами — вы правы, вечер приятный.

— Тогда пойдем, — сказал Дайсон усмехнувшись, — но не забудьте о нашем уговоре!

Приятели вышли на площадь и, свернув в один из узких переулков, отходящих от нее, зашагали на северо-восток под мерцающими фонарями по мощеной дороге. В промежутках между выкриками детей и торжественными органными аккордами гимна Gloria[31] до них доносился глухой гул Холборна и стук экипажей — неумолчные звуки, словно эхо вечно вращающихся колес. Дайсон, поглядывая налево и направо, выбирал дорогу,

[31] Примечания: 31

Gloria in excelsis Deo (Слава в вышних Богу), или Глория — древний богослужебный гимн, входящий в состав и католической мессы, и англиканской литургии.

и вскоре они вошли в более спокойный квартал, с пустынными площадями и тихими улицами, темными, как полночь. Филипс напрочь сбился с направления, но, видя, что из района выцветшей респектабельности они переместились в область нищеты, где грязная штукатурка оскорбляла глаз утонченного наблюдателя, он позволил себе заметить, что никогда еще не видал более неприятного и притом более банального места.

— Более таинственного, вы хотели сказать, — возразил Дайсон. — Предупреждаю, Филипс, мы идем по горячему следу!

Они нырнули еще глубже в лабиринт кирпичных стен; пересекли с востока на запад шумный перекресток, и теперь их окружала разномастная застройка без определенных черт: тут приличный особнячок, и даже с садом; там — унылая площадь, а дальше — фабрики, окруженные высокими, глухими стенами, тупики и темные углы; но все это было плохо освещено, пустынно и погружено в тяжелую тишину.

Наконец, когда они шли по заброшенной улице двухэтажных домишек, Дайсон обратил внимание на темный и странный поворот.

— Мне это нравится, — заявил он, — место кажется многообещающим.

У поворота горел фонарь, а другой едва поблескивал на дальнем конце. Под фонарем, на мостовой, видимо, творил днем уличный художник, потому что камни были измазаны пятнами кричащих цветов, наложенных вперемешку, а у стены дома валялись огрызки мелков.

— Видите, люди здесь все-таки бывают, — заметил Дайсон, указав на остатки затертых картинок. — Признаюсь, я не думал, что это возможно. Пойдемте разведаем, что тут и как.

С одной стороны этого проулка находился большой дровяной склад, штабеля древесины размытыми контурами виднелись над оградой; с другой стороны, за высокой стеной, вероятно, был сад — там угадывались тени деревьев, и слабый шорох листвы нарушал тишину. Ночь была безлунная, облака, сгустившиеся после заката, потемнели, и посередине между слабо горящими фонарями проезд был непроницаемо темен; когда друзья остановились и прислушались, отрывистое эхо их шагов утихло, а издалека, будто из-за гор, донесся слабый отголосок ропота Лондона. Филипс собирался с духом, чтобы заявить, что вполне доволен экскурсией и с него хватит, но тут раздался громкий вскрик Дайсона:

— Стойте, стойте, бога ради, не то наступите!

Это тут! Почти у вас под ногами!

Филипс глянул вниз и увидел какую-то темную, обрамленную ночной тьмой фигуру, лежащую в странной позе на мостовой; когда Дайсон зажег спичку, на мгновение мелькнул белый манжет — и снова стало темно.

— Этот человек пьян, — сказал Филипс ледяным тоном.

— Этот человек убит, — сказал Дайсон и заорал во всю глотку, призывая полицию. Вскоре издалека послышался, нарастая, топот бегущих ног, и эхо подхватило громкие крики.

Первым появился полисмен.

— Что тут случилось? — спросил он, остановившись и переводя дыхание. — Что-то пропало? — Он еще не разглядел фигуру на мостовой.

— Гляньте! — сказал Дайсон, почти невидимый во мраке. — Вон туда поглядите! Мы с другом проходили здесь три минуты назад и вот что нашли!

Полисмен посветил своим фонарем на лежащего человека и воскликнул:

— Да это убийство! Здесь повсюду кровь, и вон там в канаве целая лужа. И умер он недавно. Ага! Вот и рана! На шее…

Дайсон склонился над лежащим. Он увидел

зажиточного джентльмена, в хорошо сшитом и отглаженном костюме. Аккуратные бакенбарды были подернуты сединой — час назад ему было лет сорок пять; из кармана его жилета выскользнули красивые золотые часы. А на шее, между подбородком и ухом, зияла большая рана, разрез ровный, но покрытый сгустками подсыхающей крови, и белые щеки словно светились над красной полосой.

Дайсон повернулся и с любопытством осмотрелся; мертвец лежал поперек дороги, головой в сторону стены, кровь из раны стекла на мостовую и, как верно заметил полисмен, образовала темную лужу в сточной канаве.

Между тем пришли еще два полисмена; со всех сторон собралась толпа, и удерживать гомонящих зевак на расстоянии офицерам было нелегко. Все трое ходили туда-сюда в поисках других улик, подсвечивая себе фонарями; на свету одного из них Дайсон разглядел лежащий на дороге предмет и подозвал ближайшего полисмена. Когда тот подошел и поднял находку, Дайсон сказал:

— Гляньте-ка, Филипс, гляньте, — эта штука, кажется, по вашей части!

Это был камень, обломок кремня, поблескивающий как обсидиан, в форме широкого лезвия,

схожего с теслом. С одного конца камень был шероховатый, и его легко было зажать в руке; весь он был в длину не более пяти дюймов. Кромка лезвия была вся в крови.

— Что это, Филипс? — спросил Дайсон, и Филипс внимательно осмотрел орудие убийства.

— Это кремневый нож первобытного человека, — сказал он. — Сделан около десяти тысяч лет назад. Такой же точно был найден близ Авбери, в Уилтшире[32], и все специалисты сошлись на этой дате.

Полисмен оторопел от такого поворота событий; Филипс сам ужаснулся тому, что сказал. Но Дайсон, казалось, позабыл о ноже. Только что прибывший инспектор слушал краткий доклад о происшествии, держа фонарь над головой убитого человека. Дайсон же с болезненным любопытством смотрел на стену, — что-то он там увидел, прямо над тем местом, где этот человек лежал; это были какие-то знаки, коряво нацарапанные красным мелком.

— Темное дело, — сказал наконец инспектор. — Кто-нибудь знает его?

Из толпы выступил какой-то мужчина.

---

[32] Примечания: 32

Авбери в графстве Уилтшир — деревня, рядом с которой располагается комплекс памятников бронзового века.

— Я знаю, начальник, — сказал он, — это большой человек, доктор, а звать его сэр Томас Вивиэн; был я в больничке этак с полгода назад, так он туда приходил часто; добрый очень был человек.

— Господи, — воскликнул инспектор, — это и впрямь скверная история! Ведь сэр Томас Вивиэн пользует королевское семейство! А в кармане у него часы ценой в сотню гиней[33], так что это не ограбление.

Дайсон и Филипс дали офицеру свои визитные карточки и удалились, с трудом пробившись через толпу, которая все росла и росла; улочка, только что пустынная и заброшенная, быстро заполнялась роем зевак: белые лица, выпученные глаза и жужжание голосов, полных изумления и ужаса, прерываемых окриками полицейских. Вырвавшись из этого круга праздного любопытства, друзья быстро зашагали прочь; в течение двадцати минут они не проронили ни слова.

— Филипс, — сказал Дайсон с жаром, когда они вышли на узкую, но приветливую улочку, чистую и ярко освещенную, — Филипс, я должен

---

[33] Примечания: 33

Гинея с 1663 по 1817 г. была основной золотой монетой Великобритании. Впервые ее отчеканили из золота, привезенного из Гвинеи, отсюда и ее неофициальное название. После 1813 г. чеканка гиней прекратилась, но в них до сих пор исчисляют стоимость дорогих товаров в качестве расчетной единицы, равной 1,05 фунта стерлингов.

извиниться перед вами. Я был неправ, затеяв тот разговор сегодня. Какая-то инфернальная вышла шутка — можно подумать, у меня не нашлось бы других, здоровых тем для шуток… Я чувствую себя так, словно пробудил злого духа.

— Ради всего святого, помолчите, — сказал Филипс, с видимым усилием подавляя дрожь ужаса. — Вы сегодня сказали мне правду: троглодиты действительно еще бродят по земле, прямо по этим улицам, среди нас, убивая просто ради жажды крови!

— Я зайду к вам ненадолго, — сказал Дайсон, когда они добрались до Ред-Лайон-сквер, — мне нужно кое-что спросить у вас. Думаю, между нами в любом случае не должно остаться ничего недосказанного.

Филипс хмуро кивнул, и они поднялись в квартиру, где все вещи виднелись смутными силуэтами в слабом свете, проникающем снаружи. Когда была зажжена свеча, они сели друг напротив друга, и Дайсон заговорил.

— Возможно, — начал он, — вы не заметили, как я рассматривал стену прямо над головой убитого. Фонарь инспектора ярко освещал ее, я увидел нечто странное и пригляделся повнимательнее. Там кто-то начертил красным мелом грубый

контур руки — человеческой руки. Однако меня поразило необычное расположение пальцев; оно было вот такое… — Он взял карандаш, лист бумаги, сделал беглый набросок и подал его Филипсу. Это был грубый абрис тыльной стороны ладони, со стиснутыми в кулак пальцами; кончик большого пальца торчал между указательным и средним и был обращен книзу, как бы указывая на что-то.

— Что-то в этом роде, — сказал Дайсон, видя, что Филипс побледнел еще сильнее. — Большой палец как бы указывал на труп; жуткий жест, и казалось, будто рука живая. А чуть ниже виднелась маленькая метка, присыпанная меловой пылью, — как если бы кто-то начал чертить, но мелок сломался в его руке. Обломок мелка лежал на земле. Что вы об этом думаете?

— Это ужасный древний символ, — сказал Филипс, — один из самых ужасных знаков, связанных с верой в дурной глаз. Он распространен ныне в Италии, но можно не сомневаться, что был известен с глубокой древности. Это — один из пережитков; его возникновение мы должны отнести к тем темным топям, из которых произошел человек.

Дайсон взял свою шляпу и собрался уходить.

— Я думаю, без всяких шуток, — сказал он, — что свое обещание выполнил, и мы действительно идем по горячему следу. Получается, что я на самом деле показал вам первобытного человека или, во всяком случае, образчик его творчества.

II. Инцидент с письмом

Примерно через месяц после невероятного и таинственного убийства сэра Томаса Вивиэна, известного и всеми уважаемого специалиста по сердечным болезням, Дайсон снова навестил своего друга Филипса, которого застал, против обыкновения, не погруженным в серьезные исследования, но развалившимся в большом уютном кресле в расслабленной позе. Он сердечно приветствовал Дайсона.

— Я очень рад, что вы пришли, — начал он. — Я уже подумывал сам зайти к вам. В нашем деле не осталось больше ни тени сомнения.

— Вы имеете в виду дело сэра Томаса Вивиэна?

— О нет, вовсе нет. Я говорю о проблеме рыболовных крючков. Откровенно говоря, при нашей предыдущей встрече моя уверенность была не вполне обоснованной, но с того момента появились новые факты; только вчера я получил письмо от прославленного члена Королевского

общества[34], которое все разъяснило. Теперь я размышляю над тем, за какую новую задачу взяться; я склоняюсь к тому, что еще многое можно сделать в области так называемых нерасшифрованных надписей.

— Ваш выбор мне нравится, — сказал Дайсон, — думаю, такое исследование будет полезным. Но сейчас мне представляется более таинственным дело об убийстве сэра Томаса Вивиэна.

— Вряд ли, по-моему. В ту ночь я позволил себе испугаться; но теперь вижу, что факты допускают вполне тривиальное объяснение.

— Да неужели? Какова же ваша теория?

— Ну, я полагаю, что Вивиэн в ранний период своей жизни оказался замешанным в не слишком благовидное приключение, и его убил из мести какой-то итальянец, которому он причинил ущерб.

— Итальянец? Почему?

— Потому что у нас имеется знак руки, по-итальянски mano in fica. Этот жест в наше время используют только итальянцы. Вот почему факт,

---

[34] Примечания: 34

Королевское общество — ведущее научное общество Великобритании, одно из старейших в мире (создано в 1660 году), основной принцип которого — полагаться в исследованиях только на научные свидетельства, точные факты. Для англичанина-ученого — высший авторитет.

который казался нам самым неясным, вносит теперь полную ясность в данное дело.

— Да, выходит так. А кремневый нож?

— Это совсем просто. Тот человек нашел его в Италии или, возможно, украл из какого-нибудь музея. Следуйте по линии наименьшего сопротивления, дорогой друг, и вы увидите, что нам незачем вытаскивать первобытного человека из его прадавней могилы под холмом.

— В ваших словах есть доля истины, — признал Дайсон. — Значит, если я правильно понял, этот ваш итальянец, убив Вивиэна, любезно предоставил Скотленд-Ярду полезную улику, нарисовав мелом эту руку?

— Почему бы и нет? Вспомните: убийца всегда психически ненормален. Он может разработать сложную схему и продумать девять десятых ее деталей с проницательностью и точностью игрока в шахматы или математика; но в какой-то момент разум оставляет его, и он поступает как глупец. Вы также должны принять во внимание безмерную гордыню или тщеславие преступника; ему нравится оставлять какие-нибудь знаки, наподобие своей подписи.

— Что же, ваша версия весьма изобретательна; но читали ли вы отчеты о расследовании?

— Ни слова. Я только дал свои показания, вышел из здания суда и выбросил эту тему из головы.

— Понятно. Тогда, если не возражаете, я хотел бы посвятить вас в подробности дела. Я изучил его внимательно и, признаюсь, сильно заинтересовался.

— Очень хорошо. Но предупреждаю: с тайнами покончено. Отныне мы должны придерживаться фактов!

— Да-да, именно факты я и хочу вам предоставить. И первым будет вот такой факт: когда полицейские перевернули тело сэра Томаса Вивиэна, под ним нашли раскрытый складной нож. Это та уродливая штука, которую носят моряки; на клинок такого ножа достаточно нажать, чтобы он жестко зафиксировался и орудие было приведено в готовность. Обнаженный клинок блестел, но на нем не было следов крови, и осмотр показал, что он совсем новый, им еще ни разу не пользовались. На первый взгляд, у вашего гипотетического итальянца вполне мог быть такой нож. Но рассудите: вероятно ли, чтобы он купил новый нож специально для совершения убийства? И потом: если у него был этот нож, почему он пустил в ход не его, а этот кусок старого

кремня?

Теперь подумайте вот о чем. По-вашему, убийца нарисовал руку после преступления в качестве мелодраматического «знака итальянского убийцы». Не касаясь вопроса, свойственно ли настоящим преступникам такое поведение, я хотел бы подчеркнуть, что, по свидетельству медиков, сэр Томас Вивиэн умер не более чем за час до того, как мы его нашли. Соответственно, удар был нанесен примерно без четверти десять, а вы помните, что в 9.30, когда мы вышли из дому, было уже совершенно темно. Улица же была особенно сумрачной и плохо освещенной, а рука нарисована хотя и грубо, но правильно, без кривых штрихов и изломов, неизбежных при попытке рисовать в темноте или с закрытыми глазами. Вы сперва попробуйте нарисовать такую простую фигуру как квадрат, не глядя на бумагу, а потом предложите мне вообразить вашего итальянца, рискующего попасть на виселицу, который изображает руку на стене так уверенно и верно, в черной тени этого переулка. Это немыслимо. Соответственно, руку нарисовали ранним вечером, задолго до совершения убийства; либо, — заметьте, Филипс, — рисовал кто-то, для кого темнота привычна и знакома;

кто-то, кому неведом страх перед виселицей!

Далее: в кармане сэра Томаса Вивиэна была найдена любопытная записка. Конверт и бумага стандартные, штемпель и марка Западного Центрального отделения. О содержании скажу позже, но сейчас отмечу особенности почерка. Адрес на конверте аккуратно написан мелким, четким почерком, но текст заставляет подумать о персе, изучившем английскую грамоту. Почерк прямой, буквы странно искривлены, наклонные черточки и петли нарочито удлинены, все в целом действительно напоминает арабскую рукопись, хотя и вполне читабельно. Но — и здесь начинается головоломка — при осмотре убитого в кармане жилета нашли маленькую записную книжку; она была почти сплошь исчеркана карандашными пометками. Они в основном относились не к профессиональной деятельности сэра Томаса, а к частным делам; назначенные встречи с друзьями, заметки о театральных премьерах, адрес хорошего отеля в Туре, заголовок нового романа, но ничего более интимного. И все это написано рукой, почти идентичной почерку записки, найденной в кармане мертвеца! Различий было все-таки достаточно, чтобы эксперт счел оба документа написанными разными

лицами. Сейчас я прочту вам отрывок из показаний леди Вивиэн касательно почерка; у меня с собой печатная копия. Вот что тут говорится: «Я вступила в брак с моим покойным мужем семь лет назад; я никогда не видела адресованных ему писем с почерком, похожим на тот, что на предъявленном мне конверте, равно как не видела и подобного тексту письма. Я никогда не видела, чтобы мой покойный муж пользовался данной записной книжкой, но уверена, что записи сделаны все-таки им; я уверена в этом потому, что в прошлом мае мы останавливались в отеле «Фазан» на Королевской улице в Туре, адрес которого имеется в книжке; я также помню, что он купил роман «Страж» около полутора месяцев назад. Сэр Томас Вивиэн не любил пропускать театральные премьеры. Его обычный почерк совершенно не похож на записи в книжке».

И наконец мы возвращаемся к самой записке. Вот ее факсимильная копия. Я получил ее благодаря любезности инспектора Клива, которому приятна моя дилетантская любознательность. Прочтите ее, Филипс; вы говорите, что любите нерасшифрованные надписи, — так попробуйте расшифровать это!

Филипс, невольно увлеченный странными

обстоятельствами, изложенными Дайсоном, взял листок бумаги и внимательно изучил. Почерк был и в самом деле крайне чудной и, как заметил Дайсон, имел некоторое общее сходство с персидской вязью, но читался легко.

— Прочтите вслух, — сказал Дайсон, и Филипс подчинился.

— «Рука указывает не случайно. Указания звезд более не темны. Как ни странно, черный небосвод исчез или был украден вчера, но это совершенно неважно, поскольку у меня есть небесный глобус. Наша старая орбита остается неизменной; вы не забыли число моего знака — или назначите какой-либо иной дом? Я побывал на другой стороне луны и могу принести кое-что показать вам».

— И как вам это? — спросил Дайсон.

— Мне это кажется полной несуразицей, — сказал Филипс. — А вы думаете, это что-то значит?

— О, разумеется! Записка была отправлена за три дня до убийства; ее нашли в кармане убитого человека; она написана фантастическим почерком, которым сам убитый пользовался для личных заметок. Здесь кроется какая-то цель, и мне чудится в подоплеке дела сэра Томаса Вивиэна что-то весьма некрасивое.

— Ну, и какую теорию выдвигаете вы?

— О, что до теории, я пока на ранней стадии разработки; переходить к выводам еще не время. Но вашего итальянца я, пожалуй, сокрушил. Повторяю, Филипс: эта история представляется мне нечистой. Я не могу, как вы, отсиживаться за чугунной оградой утверждений, что то-то или то-то не может случиться, ибо никогда не случалось. Вы видели, что первое слово в записке — «рука». Свяжите этот факт со всем, что мы знаем: знак руки на стене, сам по себе многозначительный, и то, что вы рассказали мне об истории и значении этого символа, о его связи с древними как мир верованиями и мифами темных веков. Как по мне, все это в любом случае отдает злым умыслом. Посему я не отрекаюсь от того, что сказал вам полушутя тогда вечером, перед тем как мы вышли из дому. Вокруг нас творятся таинства и злые, и добрые, и я убежден, что мы живем и действуем в неразведанном мире, где есть тени, и пещеры, и твари, водящиеся в сумерках. Человек может иногда возвращаться вспять по пути эволюции, и я верю, что ужасные обычаи прошлого не изжиты.

— Я не могу уследить за ходом вашей мысли, — сказал Филипс. — Ваш интерес к делу кажется мне странным. Что вы предлагаете сделать?

— Мой дорогой Филипс, — ответил Дайсон, перейдя на более легкомысленный тон, — боюсь, что мне придется ненадолго погрузиться в гущу жизни. Мне предстоят визиты к ростовщикам, нельзя также пренебречь трактирщиками. Придется выработать вкус к дурному элю; что касается крепкого табака, его я уже люблю и ценю от всей души.

III. В поисках исчезнувшего небосвода

В течение многих дней после беседы с Филипсом Дайсон решительно следовал по пути, намеченному им. Страстная любознательность и врожденная тяга к таинственному были сильными стимулами, но смерть сэра Томаса Вивиэна (Дайсон теперь немного побаивался слова «убийство») особенно увлекла его; в этом случае, казалось ему, присутствовали элементы не просто любопытные. Знак красной руки на стене, кремневое орудие, причинившее смерть, близкое сходство почерков в записке и записной книжке, фантастический шрифт, употребляемый доктором не для каких-нибудь сакральных целей, а для пустяковых заметок, — все эти разрозненные и разнообразные нити сплетались в сознании Дайсона в странную и туманную картину, в которой

господствовали сущности жуткие, смертельно опасные — и все же нечеткие, как огромные фигуры на старинном гобелене. Он полагал, что обладает ключом к содержанию записки, и, полный решимости отыскать давно исчезнувший «черный небосвод», так неутомимо курсировал по темным улицам и закоулкам центрального Лондона, что стал знакомцем ростовщиков и завсегдатаем самых убогих кабаков.

Долго ему не везло, и он содрогался при мысли, что «черные небеса» могут быть скрыты в потаенных углах Пекхэма или таятся в отдаленном Уилздене, но наконец принцип невероятности, на который он всецело полагался, пришел ему на выручку.

Был темный и дождливый вечер, в резких, тревожных порывах ветра чувствовалось дыхание наступающей зимы, и Дайсон, шедший по узкой улице неподалеку от Грейз-Инн-роуд, укрылся в чрезвычайно грязном пабе и потребовал пива, забыв на время о своих заботах и думая лишь о ветре, выметающем сор с черепичных крыш, и шелесте дождя в черном, вихрящемся воздухе. У стойки бара собралась обычная компания: растрепанные женщины и мужчины в поношенных черных костюмах; одни, казалось, о чем-то шеп-

чутся, другие вели бесконечный спор, а несколько более робких посетителей держались поодаль, смакуя свою дозу пойла, и все там пропахло затхлым и едким духом дешевого алкоголя.

Дайсон с удивлением наблюдал за этим тихим весельем, как вдруг спокойствие было нарушено. Створки двери распахнулись, и в заведение вломилась женщина средних лет; пошатываясь, она добралась до стойки и уцепилась за ее край, словно пассажир на палубе в свирепый шторм. Дайсон внимательно рассмотрел ее как приятный образчик определенного класса: приличное черное платье, черная, несколько потертая кожаная сумочка, и все очевидные признаки опьянения, притом далеко зашедшего. Она явно не могла бы устоять на ногах, не держась за стойку, и бармен, глядевший на нее с неприязнью, отрицательно покачал головой в ответ на ее хриплое требование. Женщина окинула его злобным взглядом, в мгновение ока превратилась в фурию с налитыми кровью глазами и разразилась потоком проклятий, ругани и древнеанглийских фразеологизмов.

— Довольно! — сказал бармен. — Заткнись и проваливай, не то пошлю за полицией!

— Полиция, ах ты!.. — заорала женщина. —

Ладно, сейчас получишь такое, чтобы не зря полицию звать!

Сунув руку в свою сумку, она выхватила какой-то предмет и яростно швырнула в голову бармена.

Тот быстро пригнулся, и снаряд, пролетев над его головой, вдребезги разбил одну из бутылок на полке, а женщина, разразившись ужасным смехом, метнулась к двери, и снаружи донесся быстрый топот ее ног по мокрой мостовой.

Бармен печально огляделся.

— Бесполезно гнаться за ней, — вздохнул он, — хотя, боюсь, эта штука бутылки виски не окупит. — Он разгреб осколки стекла и поднял с пола что-то темное, вроде квадратного камня. — Ценная штуковина, — сказал он, — господа желают приобрести?

Этот волнующий инцидент прошел мимо внимания завсегдатаев; они не оторвались от своих кружек и стаканов, и только звук бьющегося стекла заставил их на минутку подозрительно уставиться на стойку; на том все и кончилось, шепот доверительных рассказов, пререкания спорщиков возобновились, робкие одиночки по-прежнему потягивали свое пойло, наслаждаясь прогорклым ароматом спиртного.

Дайсон быстро взглянул на предмет, который показывал бармен.

— Не позволите ли поглядеть поближе? — сказал он. — Этакая чудная старинная штука, верно?

Это была маленькая черная табличка, вырезанная из камня, около четырех дюймов в длину, двух в ширину и толщиной в полдюйма[35]; взяв ее, Дайсон скорее ощутил, чем увидел, что прикоснулся к глубокой древности. На поверхности были вырезаны какие-то фигуры, и самая заметная из них заставила сердце Дайсона дрогнуть.

— Я бы, пожалуй, взял ее, — сказал он спокойно. — Двух шиллингов достаточно?

— Пусть будет полдоллара, — согласился бармен, и сделка была совершена. Дайсон допил свою кружку (пиво показалось ему превосходным), закурил трубку и вскоре неторопливо вышел. Придя домой, он запер дверь, положил табличку на письменный стол и уселся в кресло с решимостью армии, засевшей в траншеях перед штурмом осажденного города. Свеча с абажуром хорошо освещала табличку, и Дайсон тщательно осмотрел ее; прежде всего в глаза бросался знак

---

[35] Примечания: 35
10 х 5 х 1,2 см

руки с большим пальцем, торчащим между указательным и средним, он был вырезан тонкими и уверенными линиями на матово-черной поверхности камня, и большой палец указывал на изображения, расположенные ниже.

— Это просто орнамент, — сказал Дайсон вслух, — вероятно, символический орнамент, но точно не надпись и не обозначение слов, кем-либо слышанных.

Рука указывала на ряд вычурных фигур, спиралей и завитков, вырезанных изящными, тончайшими линиями; они заполняли, с небольшими промежутками, всю остальную поверхность таблички. Эти узоры были столь же замысловаты и почти столь же бессмысленны, как отпечаток большого пальца на стекле.

— Может, это узор естественного происхождения? — размышлял Дайсон. — На камнях бывают странные узоры, подобия зверей и цветов, не сотворенные человеческой рукой.

Взяв лупу, он склонился над табличкой и убедился, что никакая причуда природы не могла создать эти разнообразные линейные лабиринты. Завитки были разного размера, некоторые меньше двенадцатой части дюйма в диаметре, самый большой был чуть меньше шестипенсовой

монеты, и под увеличительным стеклом правильность и аккуратность резьбы стали очевидны; расстояние между витками меньших спиралей составляло сотую долю дюйма. Все в целом производило восхитительное и фантастическое впечатление, и Дайсон, глядя на таинственные завитки под знаком руки, ощущал присутствие множества отдаленных веков и некоего живого существа, которое нанесло на камень загадочные образы еще до рождения гор, когда твердые породы были еще пылающей лавой.

— «Черный небосвод» вновь найден, — сказал он, — но значение звезд, похоже, останется неведомым навеки, насколько я могу судить.

Лондон затих, по комнате потянуло холодным сквозняком, а Дайсон все сидел, уставившись на табличку, тускло поблескивающую в круге света; наконец он спрятал древний камень в стол, но его интерес к делу сэра Томаса Вивиэна возрос десятикратно, и мысли о хорошо одетом, благополучном джентльмене, лежащем под знаком руки, таинственно убитом, не отпускали его, и все сильнее становилось невыносимое убеждение, что между смертью модного вест-эндского доктора и диковинными спиралями таблички существуют тайные, невообразимые связи.

Дни напролет просиживал он за своим столом, уставившись на табличку, не в силах сопротивляться очарованию кремня и не надеясь даже понять смысл таинственных начертаний. В конце концов, отчаявшись, он пригласил Филипса для консультации и коротко ознакомил его с историей своей находки.

— Вот это да! — сказал Филипс. — Это чрезвычайно интересно; вы сделали замечательную находку. Право, на мой взгляд, она древнее даже хеттских печатей[36]. Признаюсь, что этот тип — если это тип вообще — мне совершенно незнаком. Эти завитки воистину весьма оригинальны.

— О да, но я хочу знать, что они значат. Вспомните, что эта табличка — тот самый «черный небосвод» из письма, найденного в кармане сэра Томаса Вивиэна; она напрямую связана с его гибелью.

— О нет, нет, это чепуха! Табличка, без сомнения, чрезвычайно древняя, ее, видимо, украли из чьей-то коллекции. Знак руки совпадает, вер-

---

[36] Примечания: 36

Хетты — индоевропейский народ бронзового века в Малой Азии. В XIX веке ученые заинтересовались могущественным народом, упомянутым в Библии и жившим к северу от «земли обетованной». К 1895 г., когда был написан рассказ, артефакты хеттской цивилизации были еще редки, до дешифровки хеттской письменности и массовых открытий оставалось лет двадцать.

но; это странно, но в конечном счете это лишь совпадение.

— Мой дорогой Филипс, вы — живой пример правильности аксиомы, что крайний скептицизм — это просто легковерие. Но сможете ли вы расшифровать эти знаки?

— Я берусь расшифровывать что угодно, — сказал Филипс. — Не верю в неразрешимость. Знаки необычные, но я не думаю, что они непостижимы.

— Тогда берите эту вещицу и сделайте с ней все, что сможете. Она начала преследовать меня; я чувствую себя так, будто слишком долго глядел в глаза сфинксу.

Филипс спрятал табличку во внутренний карман и отбыл. Он почти не сомневался в успехе, так как лично вывел тридцать семь правил для дешифровки надписей. Однако неделю спустя, когда он наведался к Дайсону, лицо его не выражало никаких признаков торжества. Он застал своего друга в крайнем раздражении, — тот шагал из угла в угол по комнате, как человек, охваченный страстью. Звук открывшейся двери заставил Дайсона вздрогнуть и обернуться.

— Ну, вы это сделали? Что там сказано?

— Мой дорогой коллега, мне очень жаль, но я

вынужден признаться в полном провале. Перепробовал все известные способы — но напрасно. Я даже обратился к знакомому, служащему в музее, он один из лучших специалистов в этой области, но и у него ничего не вышло. Мне представляется, что мы имеем дело с обломком исчезнувшей цивилизации, я готов допустить и его происхождение из иного мира. Я не суеверен, Дайсон, вы знаете, что у меня нет ничего общего даже с самыми благородными заблуждениями, но, откровенно говоря, я хотел бы избавиться от этого квадратного кусочка черноватого камня. Из-за него я пережил скверную неделю; от этой вещицы веет пещерной мерзостью.

Филипс вытащил из кармана табличку и положил на стол перед Дайсоном.

— Кстати, — продолжал он, — так или иначе, в одном я оказался прав: сей артефакт входил в состав чьей-то коллекции. На оборотной стороне есть клочок грязной бумаги — вероятно, этикетка.

— Да, я его заметил, — сказал Дайсон, впавший в глубочайшее разочарование. — Эта бумажка — без сомнения, этикетка. Но меня мало беспокоит, откуда табличка взялась, я только хочу знать, что она значит, и потому не обратил внимания

на бумажку. По-моему, эта штука — безнадежная головоломка, и все же она явно содержит нечто чрезвычайно важное.

Филипс вскоре ушел, и Дайсон, все еще в подавленном настроении, взял табличку в руки и бездумно перевернул. Этикетка была так запачкана, что выглядела как тусклое пятно, но по мере того как Дайсон лениво и все же внимательно разглядывал ее, он заметил следы карандашной записи и уже с интересом посмотрел на нее сквозь лупу. С огорчением он обнаружил, что часть бумажки оторвана, и ему с трудом удавалось разобрать лишь разрозненные слова и обрывки слов. Сперва он прочел что-то вроде «инроуд», затем, ниже — «ха…камен…серд…», а дальше все было оборвано. Но решение нашлось мгновенно, и он тихо рассмеялся с великим удовольствием.

— Ну разумеется, — вслух сказал он, — во всем Лондоне не найдешь такого квартала, не только весьма очаровательного, но также и весьма удобного! И вот я здесь, на высокой башне, готовый наблюдать за происшествиями в сокрытых от взглядов переулках.

Он с торжествующим видом выглянул из окна; на другой стороне улицы возвышались ворота Британского музея, а чуть подальше, под огра-

дой этого почтенного института, расположился «мазила» — уличный художник с цветными мелками, украшавший своими блестящими творениями мостовую, а прохожие, и веселые, и серьезные, платили одобрительными репликами и медными монетками.

— Это зрелище более чем приятно! — сказал Дайсон. — Для моей руки нашелся художник.

IV. Уличный художник

Несмотря на все свои заверения, Филипс, хоть и любил похвалиться высокими стенами и обширностью возведенной им крепости разума, в глубине души был сильно заинтересован делом сэра Томаса Вивиэна. Перед Дайсоном он храбрился, но не мог рациональными рассуждениями опровергнуть вывод своего друга о том, что в этой истории сочетаются уродство и тайна. Как возразить против наличия доисторического орудия, пронзившего шейные вены, красной руки — символа отвратительных верований, — указывающей на убитого человека, и таблички, которую Дайсон рассчитывал найти и действительно нашел, с тем же символом проклинающей руки и знаками, по сравнению с которыми древнейшая клинопись — лишь вче-

рашнее изобретение? Были и другие мучительно неясные моменты. Как объяснить находку раскрытого, но не запятнанного кровью ножа под телом? А предположение, что красную руку на стене нарисовал кто-то, чья жизнь прошла в темноте, вызывало в его сознании образы бесконечно смутные и ужасные. По всему этому он на самом деле очень хотел узнать, что будет дальше, и, выждав десять дней после возвращения таблички, снова посетил «мастера по тайнам», как он мысленно окрестил своего друга.

Войдя в солидную и просторную квартиру на Грейт-Рассел-стрит, он обнаружил, что атмосфера здесь переменилась. Возбуждение Дайсона улетучилось, морщинки на лбу разгладились, и он с умиротворенным видом сидел у стола рядом с окном, уставившись на улицу; лицо его выражало хмурое удовольствие, а на груду книг и бумаг, лежащих перед ним, он не обращал внимания.

— Мой дорогой Филипс, как я рад видеть вас! Пожалуйста, извините, что не встаю. Подвиньте стул сюда, к столу, и попробуйте этот восхитительно грубый табак.

— Спасибо, — сказал Филипс, — судя по запаху дыма, для меня он немного крепковат. Но скажите на милость, что у вас тут делается? Куда вы

смотрите?

— Я караулю на своей сторожевой башне. Уверяю вас, что в созерцании этой приятной улицы и классической красоты портика Музея время летит незаметно.

— Меня потрясает ваша способность заниматься ерундой, — парировал Филипс, — но что насчет таблички? Вы ее расшифровали? Мне интересно узнать.

— В последнее время я не уделял особого внимания табличке, — сказал Дайсон. — Думаю, спиральные значки могут подождать.

— Да неужели! А как же убийство Вивиэна?

— Ах, так вас все-таки зацепила эта история? Ну, в общем, мы не можем отрицать, что история странная. Но не слишком ли грубое слово «убийство»? Можете считать меня чуточку декадентом, но я не могу отказаться от убеждения, что, например, великолепное слово «жертва» гораздо изящнее.

— Я блуждаю в потемках, — сказал Филипс. — Я даже не представляю, по какому следу вы движетесь в этом лабиринте.

— Думаю, что уже довольно скоро дело станет намного яснее для нас обоих, но сомневаюсь, что разъяснение вам понравится.

Дайсон раскурил почти погасшую трубку и откинулся на спинку кресла, однако не прерывая наблюдения за улицей. Последовала довольно долгая пауза, но вдруг он, напугав Филипса, испустил громкий вздох облегчения, поднялся с кресла и принялся ходить по комнате.

— На сегодня все, — сказал он, — в конце концов, и от этого устаешь.

Филипс с недоумением выглянул наружу. Вечерние сумерки уже сгущались, и контуры громады Музея расплывались — фонари еще не зажигали, но оживленное движение на тротуарах и мостовых еще не прекратилось. Художник напротив дома собирал свои инструменты, потом принялся затирать созданные за день яркие картинки, а чуть дальше кто-то с грохотом опустил железную штору магазина. Филипс не увидел ничего, что могло бы побудить Дайсона внезапно оставить наблюдательный пост, и все эти новые загадки начали его раздражать.

— Знаете, Филипс, — сказал Дайсон, неспешно прохаживаясь по комнате, — мне, пожалуй, стоит объяснить вам, как я работаю. Я опираюсь на теорию невероятности. Вам она неизвестна? Сейчас объясню. Предположим, я стою на ступенях у собора Святого Павла и жду, когда мимо

меня пройдет слепой человек, хромающий на левую ногу; очевидно, что такое событие весьма маловероятно, если я буду ждать его в течение одного часа. Если я буду ждать два часа, невероятность уменьшается, но остается высокой, и даже целый день ожидания вряд ли приведет к успеху. Но если занимать ту же позицию день за днем, неделю за неделей — вы понимаете, что невероятность будет постоянно уменьшаться, падать день за днем. Неужели вам не ясно, что две непараллельные линии мало-помалу будут сходиться все ближе и ближе к точке пересечения и наконец сойдутся, а невероятность сведется к нулю. Этим способом я нашел черную табличку: мне помогла теория невероятности. Это единственный известный мне научный принцип, который позволяет найти незнакомого человека среди пяти миллионов.

— И вы рассчитываете с помощью этого метода отыскать того, кто сможет интерпретировать знаки черной таблички?

— Именно так.

— А убийство сэра Томаса Вивиэна?

— Да, я надеюсь, что лицо, виновное в гибели сэра Томаса Вивиэна, попадется мне в руки точно таким же способом.

После ухода Филипса Дайсон посвятил остаток вечера гулянью по улицам, а позже, когда настала ночь, уделил время своим литературным трудам, или охоте за фразами, как он это называл. Наутро он снова занял свой наблюдательный пост у окна. Еду ему подавали на тот же стол, и он ел, не сводя глаз с улицы. Время от времени он неохотно прерывал это занятие на несколько минут, и так просиживал весь день; только в сумерках, когда закрывались ставни и «мазила» начинал безжалостно стирать все, что сотворил за день, перед тем, как газовые фонари зажигались и разгоняли тени, Дайсон давал себе волю оставить пост. Бесконечное разглядывание улицы продолжалось ежедневно, и квартирная хозяйка была сперва озадачена, а потом и напугана этим бесплодным упорством.

Но наконец однажды вечером, когда игра света и теней едва началась, а безоблачное небо и прозрачный воздух придавали всем предметам блеск и отчетливость, наступил долгожданный момент. Человек средних лет, бородатый и сутулый, с проседью на висках, медленно шел по северной стороне Грейт-Рассел-стрит с ее восточного конца. Проходя мимо Музея, он бросил на здание беглый взгляд, а потом невольно оглянул-

ся на меловые картинки и на самого художника, который сидел рядом с ними со шляпой в руке. Бородатый прохожий на мгновение застыл на месте, чуть покачиваясь, как бы в задумчивости, и Дайсон увидел, что кулаки его стиснуты, спина содрогается, а видимая сторона его лица сморщилась и исказилась гримасой мучительной боли, как перед эпилептическим припадком. Дайсон выхватил из кармана мягкую шапку, распахнул дверь и бегом скатился по лестнице.

Когда он выскочил на улицу, человек, который только что проявлял такие признаки волнения, уже развернулся и, не замечая, что за ним следят, помчался как бешеный в другую сторону, к Блумсбери-сквер. Дайсон подошел к художнику, дал ему денег и тихо произнес:

— Этот предмет рисовать больше не нужно.

Затем он также развернулся и не спеша пошел по улице в направлении, противоположном тому, которое избрал беглец. Соответственно, расстояние между Дайсоном и человеком с опущенной головой стало увеличиваться.

V. История дома сокровищ

— Я предпочел провести встречу в вашей квартире, а не у себя, по нескольким причинам.

Пожалуй, в первую очередь — потому что, по-моему, этому человеку будет легче на нейтральной территории.

— Признаюсь, Дайсон, — сказал Филипс, — что меня снедают и нетерпение, и неловкость. Вы знаете мой принцип: твердая почва фактов, материализм, если угодно, в его наиболее жесткой форме. Но в деле Вивиэна есть какие-то оттенки, которые немного смущают меня. Как же вы уговорили того человека прийти?

— У него преувеличенное представление о моих способностях. Помните, как я рассказал вам о теории невероятности? Когда она срабатывает, результаты сильно впечатляют тех, кто в нее не посвящен. Кажется, пробило восемь, верно? А вот и колокольчик звенит!

На лестнице послышались шаги, дверь отворилась и вошел, опустив голову, пожилой человек, бородатый, с обильной проседью на висках. Взглянув на него, Филипс прочел на его лице выражение ужаса.

— Входите, мистер Селби, — сказал Дайсон. — Это мистер Филипс, мой близкий друг, на сегодняшний вечер мы у него в гостях. Желаете что-то выпить? Нет? Тогда нам, наверно, лучше сразу выслушать вашу историю — я уверен, что она

весьма необычна.

Гость заговорил глухим, слегка дрожащим голосом; неподвижный взгляд его, казалось, не мог оторваться от некоего ужасного зрелища, стоявшего перед ним и днем и ночью всю жизнь.

— Думаю, вы меня простите, если я обойдусь без предисловий, — начал он. — Мою историю лучше рассказать поскорее. Итак, я родился в отдаленной местности на западе Англии, где сами очертания лесов и холмов, изгибы потоков в долинах способны настроить на мистический лад всякого человека, одаренного сильным воображением. Я был еще малым ребенком, а уже вид некоторых огромных, закругленных холмов, лесных чащоб на крутых склонах, потаенных долин, огражденных бастионами гор, порождал в моей душе фантазии, не поддающиеся рациональному выражению. Став постарше, я стал заглядывать в отцовские книги, и интуиция вела меня, как пчелу к нектару, ко всему, что может питать фантазию.

Таким образом, чтение устарелых и оккультных сочинений, вкупе с дикими преданиями, в которые до сих пор тайно верят старики, привело меня к твердому убеждению, что где-то под холмами спрятан клад, сокровища, принадле-

жавшие племени, вымершему много веков назад, и все мои мысли были направлены на поиски груд золота, лежавших, как мне чудилось, под несколькими футами зеленого дерна. Особенно меня манил, будто по волшебству, один курган, памятка позабытого народа, купол которого венчал вершину обширного горного хребта; я часто сиживал там летними вечерами, на большой глыбе известняка, на самой вершине, и глядел на желтеющие волны моря и дальнее побережье Девоншира за ними.

Однажды я случайно копнул наконечником моей трости нарост мха и лишайника, затянувший камень, и мне на глаза попался узор, скрытый под ними: изогнутая линия и знаки явно не природного происхождения. Поначалу я подумал, что нашел какое-то редкое ископаемое, поэтому взялся соскребать мох ножом и расчистил около квадратного фута поверхности. Тогда я увидел два знака, потрясшие меня: первый — рука, сложенная в кулак и указывающая вниз, с большим пальцем, выступающим между указательным и средним, а под рукой — завиток или спираль, прочерченная с изумительной точностью в твердой породе. Я тут же убедил себя, что нашел ключ к великой тайне, но сразу остыл, вспомнив, что

любители древностей уже изрыли курган тоннелями вдоль и поперек, однако, к великому своему изумлению, не нашли там даже ни единого наконечника стрелы. Мне стало ясно, что знаки на известняковой плите не привязаны к данной местности, и я решил расширить круг поисков.

По чистой случайности мои старания были частично вознаграждены. Проходя как-то мимо одного коттеджа, я увидел детей, играющих у дороги; один держал какой-то предмет в высоко поднятой руке, а другие крутились вокруг него, увлеченные одной из тех фантазий, которые являются главной тайной детства. Вещь, которую держал маленький мальчик, чем-то привлекла мое внимание, и я попросил его дать мне посмотреть. Игрушкой этим детям служила продолговатая табличка из черного камня; на ней я увидел ту же руку, указующую вниз, что и на камне у кургана, а ниже — несколько завитков и спиралей, разбросанных по табличке и вырезанных, как мне показалось, с величайшей тщательностью и тонкостью. Я купил эту вещицу за пару шиллингов; хозяйка дома рассказала, что она лежала у них несколько лет; ее муж вроде бы нашел табличку в ручье, протекавшем рядом с коттеджем: это было жарким летом, ручей почти

пересох, и муж увидел ее среди камней на дне.

В тот же день я прошел вверх по течению ручья до истока — родника с холодной и прозрачной водой в верховье укромной долины среди гор. Это было двадцать лет назад, а расшифровать таинственную надпись мне удалось лишь в прошлом августе. Не буду беспокоить вас несущественными подробностями моей жизни; достаточно упомянуть, как я был вынужден, подобно многим другим людям, покинуть свой старый дом и перебраться в Лондон. Денег у меня было в обрез, и я был рад найти дешевую комнату на убогой улице вблизи Грейз-Инн-роуд. Ныне покойный сэр Томас Вивиэн был тогда еще беднее и несчастнее меня, снимал мансарду в том же доме, и спустя несколько месяцев мы сделались близкими друзьями, так что я открыл ему цель всей моей жизни. Поначалу мне стоило больших трудов убедить его, что я не напрасно трачу дни и ночи на изыскания безнадежные и химерические; но уж когда он переубедился, то увлекся пуще меня самого, загорелся мыслью о богатстве, которое должно было стать наградой за находчивость и старание. Этот человек мне очень нравился, я сочувствовал его неудачам: он мечтал посвятить себя медицине, но не имел средств даже на

малейшие расходы и порой — не раз и не два, а часто — оказывался на грани голодания.

Я искренне, торжественно пообещал, что в любых условиях, как только я обрету свои горы сокровищ, то поделюсь с ним, и это обещание стало сильнейшим стимулом для человека, который всегда был беден, но жаждал богатства и наслаждений со страстью, мне неведомой. Он с головой погрузился в поиски решения, прилагая свой острый ум и неутомимое терпение к разгадке смысла таблички. Как и многие изобретательные молодые люди, я увлекался вопросами почерка и придумал фантастический шрифт, на основе реального, которым иногда пользовался; Вивиэну он так понравился, что тот научился подражать ему. Мы условились: если когда-либо нам придется расстаться и потребуется сообщить что-то о деле столь близком нашим сердцам, мы будем писать этим шрифтом; для той же цели мы придумали условные выражения, наподобие шифра.

Время шло, мы доводили себя до изнеможения попытками проникнуть в тайну, и года через два я заметил, что Вивиэну начинает надоедать наше предприятие; однажды ночью он сгоряча признался мне, что боится, как бы мы не потра-

тили весь свой век на пустые и безнадежные усилия. Спустя несколько месяцев ему посчастливилось: он получил значительное наследство от престарелого отдаленного родственника, о чьем существовании почти забыл; имея счет в банке, он сразу же отдалился от меня. Квалификационные экзамены он сдал уже много лет назад, и теперь решил поступить на службу в госпиталь Св. Томаса, а потому, сказал он мне, должен подыскать себе более комфортабельное жилье. На прощанье я напомнил ему о своем обещании и торжественно подтвердил его; но Вивиэн, поблагодарив, рассмеялся, его лицо и голос выражали смесь жалости и презрения. Не буду описывать свою долгую борьбу и беды моей дальнейшей жизни, ставшей вдвойне одинокой; однако я не уставал и не отчаивался, веря в конечный успех; табличка лежала на моем столе, и каждый божий день я брался за работу, и лишь в сумерках выходил погулять, предпочитая Оксфорд-стрит, которая, я думаю, привлекала меня шумом, оживлением и яркими огнями.

Эти прогулки вошли у меня в привычку; ежевечерне, в любую погоду, я пересекал Грейз-Инн-роуд и двигался в западном направлении, но иногда выбирал северное — по Юстон-роуд и Тоттенх-

эм-Корт-роуд, а порой проходил через Холборн, захаживал и на Грейт-Рассел-стрит. Каждый вечер я проводил около часа на Оксфорд-стрит, шагая туда и сюда по северной стороне улицы, и рассказы Де Квинси[37], а также данное им этой улице прозвище «мачеха с каменным сердцем» часто приходили мне на ум. Потом я возвращался в свое мрачное логово и проводил еще несколько часов в бесконечном анализе своей загадки.

Однажды ночью, несколько недель тому назад, ответ пришел ко мне; он мгновенно вспыхнул в моем мозгу, и я прочел надпись — и увидел, что все-таки не напрасно растрачивал свои дни. «Место дома сокровищ тех, кто живет внизу» — таковы были первые прочитанные мной слова, а далее следовали подробные указания на местность в моем родном краю, где были сложены на вечное хранение великие творения из золота. Нужно было идти по такой-то тропе, там-то обойти ловушку; тут проход узок, почти как лисья нора, а дальше расширяется, и так наконец можно достичь камеры с кладом. Я решил, не

[37] Примечания: 37

Де Квинси Томас (De Quincey, 1785–1859) — английский писатель, более всего известный благодаря автобиографической книге «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум» (1821), в которой он рассказывает о своей зависимости и ее влиянии на его жизнь.

теряя времени, проверить свою догадку — не то чтобы я усомнился в ту великую минуту, но хотел устранить даже малейшую вероятность разочарования для моего старого друга Вивиэна, ныне ставшего богатым, благополучным человеком.

Я сел в поезд, идущий на запад, добрался до нужного места и однажды ночью, с картой в руке, прошел весь путь по горам и зашел так далеко, что разглядел впереди блеск золота. Я не пошел дальше; я решил, что должен взять с собой Вивиэна, и потому унес только странный кремневый нож, найденный на тропе, в подтверждение истинности своих слов. Вернувшись в Лондон, я был сильно раздосадован тем, что каменная табличка из моей комнаты исчезла. Хозяйка квартиры, закоренелая пьяница, уверяла, что ничего не знает, но я не сомневаюсь, что она украла табличку, надеясь получить за нее стакан виски. Впрочем, содержание таблички я знал наизусть, а также сделал факсимильную копию знаков, так что потеря не была тяжелой. Смущало меня лишь одно: после приобретения таблички я наклеил на ее обороте этикетку и записал дату и место находки, а позже, поддавшись сентиментальности, нацарапал карандашом еще несколько слов — название своей улицы и еще кое-что, как дорогую

память о тех днях, когда надежда была, казалось, утрачена: я думал, что эти записи послужат мне в будущем памяткой о том, как я хранил надежду вопреки отчаянию.

Однако я сразу же написал сэру Томасу Вивиэну, тем нашим особенным шрифтом, с применением условных выражений. Я сообщил ему о своем успехе, упомянул об утере таблички и о том, что снял копию надписи, напомнил о своем обещании и попросил написать или зайти ко мне. Он ответил, что хочет встретиться со мной в некоем переулке в Кларкенуэлле, хорошо знакомом нам обоим в прежние времена, и в назначенный день, в семь часов вечера, я отправился на встречу. Прохаживаясь на углу этого переулка, я заметил стертые картинки уличного художника и машинально подобрал обломок мелка, оброненный им. Я ходил туда и обратно по переулку, гадая, как вы можете себе представить, с каким человеком мне предстоит встретиться, после стольких лет разлуки, и мысли об утекшем безвозвратно времени одолевали меня; поэтому я шагал, не отрывая взгляда от земли.

Мою задумчивость спугнул сердитый возглас и грубый вопрос, почему я не держусь правой стороны тротуара. Подняв голову, я увидел, что

едва не столкнулся с важным, хорошо одетым джентльменом, лицо которого при виде моей убогой внешности выразило большое неудовольствие и презрение. Сразу же узнав своего старого товарища, я напомнил ему, кто я; тогда он извинился, даже выказал некоторое сожаление, и принялся благодарить меня за доброту, но с оттенком неуверенности, как если бы он остерегался слишком увлечься и, как я заметил, сомневался в моем здравомыслии.

Поначалу я хотел пуститься в воспоминания о нашей дружбе, но оказалось, что у сэра Томаса те дни теплых чувств не вызывают, и, вежливо отвечая на мои слова, он неукоснительно сворачивал на «деловые вопросы», по его выражению. Я сменил тему и рассказал ему со всеми подробностями то, что сейчас поведал вам. Его поведение внезапно изменилось; когда я показал ему кремневый нож, чтобы доказать реальность моего путешествия «на другую сторону луны», как мы называли это между собою, его охватило лихорадочное возбуждение, черты его исказились, и мне показалось, что сперва он содрогнулся от ужаса, потом исполнился твердой решимости, а потом сделал усилие, чтобы казаться спокойным; эти быстрые перемены сильно озадачили меня.

Я счел необходимым уточнить некоторые детали и, поскольку было еще довольно светло, вспомнил о кусочке красного мела в моем кармане и нарисовал знак руки на стене. «Вот, поглядите, это наша рука, — сказал я, объяснив подлинное значение знака, — отметьте, где именно большой палец выступает между указательным и средним». Я собирался продолжить и уже коснулся мелком стены, чтобы дорисовать свою схему, но тут он, к моему великому удивлению, ударил меня по руке. «Нет-нет, — сказал он, — мне все это не нужно. К тому же это место недостаточно уединенно; давайте пройдемся, и вы объясните мне все досконально».

Я охотно согласился, и он повел меня по самым пустынным улочкам, а я принялся слово за словом описывать план сокрытого хранилища. Один или два раза, поднимая голову, я замечал, что Вивиэн как-то странно поглядывал по сторонам; казалось, что он бросает беглый взгляд то вверх, то вниз и посматривает на дома; его уклончивость и тревожность не понравились мне. «Пойдем к северу, — сказал он наконец, — найдем какое-нибудь приятное местечко, где сможем спокойно обсудить наше дело. Часы моего ночного досуга в вашем распоряжении». Я

отказался под предлогом, что не могу обойтись без прогулки по Оксфорд-стрит, и продолжал свой рассказ, пока он не усвоил все изгибы и повороты дороги, все до малейшей детали, не хуже, чем я сам. Мы пошли обратно тем же путем и остановились в том же темном переулке, где я нарисовал красную руку на стене, — я понял это, разглядев смутные очертания деревьев, ветви которых нависали над нами. «Мы вернулись к исходной точке, — сказал я. — Думаю, что смог бы указать пальцем на руку, которую тут нарисовал на стене. И я уверен, что вы точно так же сможете коснуться своим пальцем таинственной руки на горном хребте. Помните: держаться между ручьем и камнем!»

Я нагнулся, пытаясь разглядеть свой рисунок, но вдруг услышал свистящий вздох, разогнулся и увидел Вивиэна; в поднятой руке его был обнаженный клинок, а в глазах — смертельная угроза. В слепом страхе, защищая свою жизнь, я выхватил из кармана кремневый нож и набросился на него. Мгновение спустя он пал мертвым на мостовую… — Селби помолчал, потом добавил: — Ну вот, я думаю, это все, и мне остается только сказать вам, мистер Дайсон, что не понимаю, каким способом вы смогли выследить меня.

— Я пользовался многими подсказками, — сказал Дайсон, — и должен отклонить похвалы моей проницательности, ибо допустил несколько грубых ошибок. Впрочем, ваш архаический небесный шифр особого труда мне не доставил; я сразу уловил, что астрономические термины заменяют обычные слова и выражения. Вы потеряли что-то черное, или что-то черное у вас украли; небесный глобус — это копия небес, значит, у вас осталась копия потерянного. Из этого с очевидностью следовало, что потеряли вы предмет черного цвета с написанными на нем буквами или символами, поскольку этот предмет несомненно содержал некую ценную информацию, которая должна быть выражена либо письмом, либо в картинках. «Наша старая орбита остается неизменной» — здесь, видимо, речь идет о каком-то старом намерении или договоре. «Число моего знака» должно обозначать номер дома, с аллюзией на знаки зодиака. Не стоит объяснять, что «другая сторона луны» не может быть ничем кроме какого-то места, где никто еще не бывал; а «какой-либо иной дом» — это какое-то иное место встречи, если учесть, что словом «дом» в древней астрономии обозначали «небесные дома». Разобравшись во всем этом, я приступил

к поискам украденных «черных небес»; и после утомительных трудов преуспел.

— Вы добыли табличку?

— Разумеется. А на ее обороте, на бумажной этикетке, упомянутой вами, я прочел «инроуд», и это сильно меня озадачило, пока я не вспомнил о Грейз-Инн-роуд; вы пропустили вторую букву «н». Словосочетание «ха… камен… серд…» сразу же напомнило ту фразу Де Квинси, которую вы сейчас упомянули; и я наугад предположил — но угадал верно, — что искомый человек должен проживать на Грейз-Инн-роуд или где-то рядом и имеет привычку гулять по Оксфорд-стрит, ибо вы помните, что курильщик опиума описывает свои утомительные прогулки по этому шумному проспекту.

Основываясь на теории невероятности, которую я объяснил вот этому моему другу, я сделал вывод, что рано или поздно, однако обязательно, вы изберете маршрут по Гилфорд-стрит, Рассел-сквер и Грейт-Рассел-стрит, и я знал, что если буду наблюдать достаточно долго, то увижу вас. Но как я мог бы распознать своего искомого человека? Заметив уличного художника напротив своей квартиры, я договорился с ним, что он будет ежедневно рисовать большую руку, в том виде,

который всем нам так хорошо известен, на стене над своим рабочим местом. Я рассчитывал, что незнакомец, проходя мимо и внезапно увидев знак, которого так страшится, обязательно выдаст свои чувства. Остальное вы знаете. Ах, поймать вас всего лишь часом позже — это было, признаюсь, мастерски сделано! Исходя из того, что вы занимали одну и ту же квартиру много лет, хотя в этих кварталах жильцы весьма часто меняются, я решил, что вы человек устойчивых привычек, и не сомневался, что, придя в себя после испуга, вы возобновите прогулку по Оксфорд-стрит. Вы так и сделали, пройдя по Нью-Оксфорд-стрит, а я поджидал вас на углу.

— Ваша логика великолепна, — сказал Селби. — Могу добавить, что я прошелся по Оксфорд-стрит и в ту ночь, когда умер сэр Томас Вивиэн. Думаю, мне больше сказать нечего.

— Совсем чуть-чуть, — напомнил Дайсон. — Как насчет сокровищ?

— Я бы предпочел не затрагивать эту тему, — сказал Селби, и лоб его у висков побелел.

— О, это нелепо, сэр, мы не шантажисты. Кроме того, вы же в нашей власти, не забывайте!

— Раз уж вы так настроены, мистер Дайсон, я должен сообщить, что вернулся на то место в

горах и прошел немного дальше.

Он запнулся; его рот приоткрылся, губы искривились, он тяжело задышал, всхлипывая.

— Ну-ну, — сказал Дайсон, — я позволю себе предположить, что вы преуспели.

— Преуспел, — сделав усилие над собою, продолжил Селби, — да, я так преуспел, что адское пламя будет вовеки жечь мою душу. Из того ужасного дома под горой я унес лишь одну вещь; она лежала чуть дальше того места, где я нашел кремневый нож.

— Почему же вы не взяли больше?

Все тело несчастного явственно съежилось, осело; лицо пожелтело как воск, испарина выступила над бровями. Зрелище было и потрясающее, и ужасное, а голос зазвучал как шипение змеи.

— Потому что хранители клада все еще там, и я видел их, а еще из-за этого, — он извлек из кармана и показал странное золотое изделие.

— Вот, — сказал он, — это — Муки Козы.

Филипс и Дайсон разом вскрикнули от ужаса, разглядев отвратительную непристойность фигурки.

— Уберите это, спрячьте, бога ради!

— Это все, что я оттуда унес, — сказал Селби. — Вас не удивляет, что я не задержался надолго

там, где обитают существа, недалеко ушедшие от животных, и где хранятся вещи в тысячу раз худшие, чем эта?

— Возьмите и это, — сказал Дайсон, — я взял ее с собой, думал, может пригодиться. — Он достал черную табличку и вручил трясущемуся, мерзкому пришельцу. — А теперь, — сказал Дайсон, — не изволите ли выйти вон?

Двое друзей некоторое время сидели молча, глядя друг на друга с тревогой в глазах, с трясущимися губами.

— Хочу признаться, что поверил ему, — сказал Филипс.

— Мой дорогой Филипс, — откликнулся Дайсон, подойдя к окну и широко раскрыв его. — Я теперь не знаю, насколько были, в конечном счете, абсурдны мои ошибки в этом странном деле.

Перевод Алины Немировой

Комментарии переводчика

Персонажам рассказа пришлось немало походить по улицам «таинственного» Лондона, но их маршруты хорошо известны всякому, кто там живал. Как ни удивительно, местом действия послужили отнюдь не какие-нибудь трущобы.

Чтобы дать читателю понятие о контрасте между фоном и событиями рассказа, ниже мы приводим краткие сведения о топографии Лондона.

Практически все упомянутые улицы относятся к району в центральной части города — Блумсбери. Хотя с начала XIX века район утратил престижность среди высшего общества, он вскоре стал и доныне традиционно является центром интеллектуальной жизни столицы. На его территории находятся:

— Блумсбери-сквер. Площадь с озеленением; к северу от нее проходит Грейт-Рассел-стрит (см. ниже).

— Грейз-Инн-роуд (Grays Inn Road). Центр юридической деятельности, здесь располагается одна из четырех коллегий профессиональных юристов Лондона. Тут же — несколько высших учебных заведений, в 1895 г. все они уже существовали.

— Грейт-Рассел-стрит (Great Russell Street). На этой улице находится упоминаемый в тексте Музей — подразумевается прославленный Британский музей, главный историко-археологический музей Великобритании и один из крупнейших музеев мира. На западе она примыкает к Тоттенхэм-Корт-роуд (см. ниже).

— Гилфорд-стрит (Guildford Street), названная

по имени политического деятеля графа Гилфорда. Ведет к северо-востоку от Рассел-сквер до Грейз-Инн-роуд.

— Рассел-сквер (Russell Square) — большая, почти квадратная площадь с садом. Рядом с ней располагаются главные корпуса Лондонского университета и Британский музей.

Другая важная локация — Холборн, на юго-востоке. Это старинная улица с прилегающими к ней кварталами, которая названа по речке, ныне не существующей. Западная часть Холборна служит границей района Блумсбери. Отсюда на запад проходит Нью-Оксфорд-стрит.

— Ред-Лайон-сквер (Red Lion Square) — маленькая площадь в Холборне, называется в память о гостинице Red Lion («Красный лев»), некогда тут существовавшей. Начиная с 1860-х годов уже не считалась фешенебельным местом жительства.

— Тоттенхэм-Корт-роуд (Tottenham Court Road) — очередной реликт истории, бывшая дорога к королевскому поместью, считается восточной границей Блумсбери. Еще в 1877 году здесь были фермы с коровниками, ныне — важная деловая и торговая магистраль. Доходит до Оксфорд-стрит.

— Юстон-роуд (Euston Road) — прозаического

происхождения, служила для перегонки скота на городской рынок в обход территории центра. Пересекается с северной оконечностью Тоттенхэм-Корт-роуд.

Оксфорд-стрит, по которой так любил гулять мистер Селби, относится к другому району — это одна из основных улиц Вестминстера. Отсюда она ведет на восток, в сторону Холборна. Изначально — часть древнеримской дороги, в настоящее время — самая оживленная торговая улица Европы, известная главным образом своими разнообразными и богатыми магазинами. На каждое Рождество улица украшается праздничными огнями.

Все перечисленные выше места входят в более крупный район, Вест-Энд (West End) — это западная часть центра Лондона, в которой сосредоточены театральная и концертная жизнь, музеи, правительственные учреждения, университеты и колледжи, а также элитная недвижимость и магазины. Наличие квартиры или офиса в Вест-Энде считается залогом успешности и респектабельности.

Вне Вест-Энда располагаются лишь несколько точек, упомянутых в тексте:

— Кларкенуэлл (Clerkenwell, «Колодец кли-

риков») — древний пригород, сейчас — округ в юго-западной части Лондона. Колодец, давший ему название, отыскали в 1924 г. Образует западную границу Холборна.

— Пекхэм (Peckham) почти до конца XIX века был маленькой, тихой деревушкой, окруженной полями. Почтовую карету до Лондона даже сопровождала охрана, — были возможны нападения грабителей!

— Уилзден (Willesden) — действительно отдаленное селение на северо-западе от Лондона, пригород, заселенный в основном «средним классом»; официально вошел в состав столицы только в 1933 г.

— Госпиталь Св. Томаса был основан монахами-августинцами в 1106 г. Носит имя Томаса Бекета, архиепископа Кентерберийского. За века не раз менял помещение, ныне это огромное здание в самом центре Лондона на берегу Темзы. Здание, в котором работал д-р Вивиэн, начали строить в 1868 г., первый камень фундамента был заложен лично королевой Викторией.

Белые люди

Пролог

— Колдовство и святость, — сказал Амброуз, — только они реальны. То и другое — экстаз, побег от обычной жизни.

Котгрейв заинтересованно слушал. Старый друг привел его в этот обветшалый дом в северном предместье и провел через старый сад в ту комнату, где Амброуз Отшельник дремал и мечтал над своими книгами.

— Да, — продолжал Амброуз, — колдовство живет в своих детях. Многие, я полагаю, едят сухие корки и пьют воду с радостью бесконечно более острой, чем та, какую когда-либо испытывал подлинный гурман.

— Вы говорите о святых?

— И о грешниках тоже. Думаю, вы впадаете в очень распространенное заблуждение, ограничивая духовный мир высшим благом, — высшее зло тоже имеет в нем свою долю. Простой плотский, чувственный человек может быть великим грешником не больше, чем великим святым. Большинство из нас просто равнодушные, за-

путанные существа; мы блуждаем по миру, не понимая значения и внутреннего смысла вещей, — следовательно, наше зло и наше добро одинаково второсортны и незначительны.

— И вы считаете, что великий грешник столь же аскетичен, как и великий святой?

— Великие люди всех мастей отказываются от несовершенных копий и обращаются к совершенным оригиналам. Я не сомневаюсь, что многие из самых высоких святых никогда не совершали «доброго дела» — если использовать эти слова в их обычном смысле. И, с другой стороны, были такие, которые прощупали самую глубину греха, за всю свою жизнь ни разу не сделав «дурного дела».

Он вышел из комнаты на минуту, и Котгрейв в восторге повернулся к своему другу и поблагодарил его за это знакомство.

— Он грандиозен, — сказал Котгрейв. — Никогда прежде не видел подобных сумасшедших.

Амброуз вернулся с виски и щедро налил обоим. Он яростно хулил трезвенников, сам держа в руках бутыль сельтерской воды, и собирался продолжать монолог, налив себе стакан, но его перебил Котгрейв.

— Это невыносимо, знаете ли, — сказал он. —

Ваши парадоксы слишком чудовищны. Человек может быть великим грешником и тем не менее никогда не сделать ничего грешного? Полно!

— Вы очень ошибаетесь, — ответил Амброуз. — Я никогда не создаю парадоксов. Хотел бы я... Я лишь говорю, что человек может иметь изысканное пристрастие к Romanée Conti[38], и тем не менее никогда даже не нюхать дешевого эля. Вот и все, и это больше похоже на банальность, чем на парадокс, не так ли? Ваше удивление моему замечанию связано с тем, что вы не поняли, что такое грех. О да, есть какая-то связь между Грехом с большой буквы и действиями, которые обыкновенно называются греховными: убийство, воровство, прелюбодеяние и тому подобные. Почти такая же связь существует между алфавитом и изящной литературой. Но я полагаю, что это заблуждение — почти всеобщее — возникает в значительной степени из-за того, что мы смотрим на вещи через социальные очки. Мы думаем, что человек, делающий зло нам и своим ближним, должен быть очень злым. Таков он с социальной точки зрения; но неужели вы не понимаете, что Зло по сути своей есть вещь одинокая, это страсть

[38] Примечания: 38

Romanee Conti — величайшее вино Бургундии; когда-то предназначалось для королевского стола.

одинокой, единоличной души? В самом деле, рядовой убийца вовсе не грешник в истинном смысле этого слова. Он просто дикий зверь, от которого мы должны избавиться, чтобы спасти свою шею от его ножа. Я бы скорее причислил его к тиграм, чем к грешникам.

— Это кажется немного странным.

— Я так не думаю. Убийца убивает не из-за активных качеств, а из-за отсутствующих; ему не хватает чего-то, чем обладают не убийцы. А вот Зло, конечно же, всецело активно, просто оно не на той стороне. Вы можете поверить мне, что грех в его собственном смысле очень редок; вполне вероятно, что грешников было гораздо меньше, чем святых. Да, ваша точка зрения очень хороша для практических, общественных целей; мы естественно склонны думать, что очень неприятный нам человек должен быть очень большим грешником! Крайне неприятно, когда обчищают карманы, — и мы объявляем вора великим грешником. По правде же говоря, он просто неразвитый человек. Он, конечно, не может быть святым; но он может быть и часто является бесконечно лучшим созданием, чем тысячи людей, которые никогда не нарушали ни одной заповеди. Я признаю, что он доставляет нам большие

неприятности (и мы очень правильно запираем его, если поймаем); но связь между его причиняющими беспокойство антиобщественными действиями и злом — о, очень слабая.

Становилось уже поздно. Человек, который привел Котгрейва, должно быть, уже не раз слышал все это, поскольку кивал с вежливой и ироничной улыбкой, но в глазах Котгрейва «сумасшедший» начал превращаться в мудреца.

— Знаете, — сказал он, — вы меня чрезвычайно заинтересовали! Выходит, вы считаете, будто мы не понимаем реальной природы зла?

— Да, не думаю, что понимаем. Мы переоцениваем его и недооцениваем. Мы берем очень многочисленные нарушения наших социальных «уставов» — очень необходимых и очень верных правил, на которых держится человеческое общество, — и пугаемся распространенности «греха» и «зла». Но это действительно ерунда. Взять, к примеру, кражу. Испытываете ли вы ужас при мысли о Робине Гуде, о хайлендских катеранах семнадцатого века, о солдатах Мосса, о руководстве финансовых компаний наших дней?

С другой стороны, мы недооцениваем зло. Мы придаем такое огромное значение «греху» вмешательства в наши карманы (и карманы наших

жен), что совершенно забыли об ужасах настоящего греха.

— А что такое грех? — спросил Котгрейв.

— Думаю, я должен ответить вопросом на вопрос. Что бы вы почувствовали на самом деле, если бы ваша кошка или собака начали говорить и спорить с вами человеческим языком? Вас бы охватил ужас. Я уверен в этом. И если бы розы в вашем саду запели странную песню, вы бы сошли с ума. А если бы камни на дороге стали вздуваться и расти на ваших глазах? Если бы галька, которую вы увидели вечером, утром расцвела каменными цветами? Думаю, эти примеры могут дать вам некоторое представление о том, что такое грех на самом деле.

— Послушайте, — сказал третий присутствующий, до сих пор хранивший молчание, — вы двое, кажется, совсем завелись. Но мне пора домой. Я и так уже опоздал на свой трамвай, и мне придется идти пешком.

Когда он исчез в туманном раннем утре и бледном свете ламп, Амброуз и Котгрейв, казалось, углубились в обсуждение еще сильнее.

— Вы меня удивляете, — сказал Котгрейв. — Я никогда об этом не думал. Если это действительно так, то все переворачивается с ног на голову.

Тогда сущность греха на самом деле…

— В том, чтобы брать небо штурмом, — прервал его Амброуз. — Для меня это лишь попытка попасть в иную, высшую сферу запретным путем. Вы понимаете, почему это встречается столь редко. Действительно, немногие желают проникать в другие сферы, высшие или низшие, разрешенными или запрещенными путями. Люди в большинстве своем вполне довольны той жизнью, которую ведут. Поэтому святых мало, а грешников (в правильном смысле слова) еще меньше; редки и гениальные люди, обладающие качествами и тех и других. Да, в целом, пожалуй, труднее быть великим грешником, чем великим святым.

— Есть что-то глубоко противоестественное в грехе? Это то, что вы имеете в виду?

— Именно. Святость требует столь же сильных, или почти столь же сильных, стараний, но работает в тех направлениях, которые были естественными; это попытка воссоздать экстаз до грехопадения. Но грех есть стремление обрести экстаз и знание, присущие лишь ангелам, и, пытаясь это сделать, человек становится демоном. Я говорил, что простой убийца, таким образом, не грешник; но грешник иногда бывает убийцей.

Жиль де Рэ[39] тому пример. Итак, вы видите: хотя и добро, и зло неестественны для современного человека — для человека общественного, цивилизованного существа, — зло противоестественно в гораздо более глубоком смысле, чем добро. Святой пытается вернуть утраченный дар; грешник пытается получить то, что никогда ему не принадлежало. Проще говоря, он повторяет грехопадение.

— Но вы верующий? — уточнил Котгрейв.

— Да, я принадлежу к гонимой Англиканской церкви[40].

— Тогда что насчет текстов, определяющих как грех то, что вы обозначили не более чем тривиальным упущением?

— В них в подобном же предложении упомянуты «колдуны», не так ли? Для меня это задает тон. Вдумайтесь: можете ли вы представить на мгновение, что ложное утверждение, спасающее жизнь невиновному человеку, является грехом?

---

[39] Примечания: 39

Жиль де Монморанси-Лаваль, барон де Ре — прототип Синей Бороды: французский барон, маршал, алхимик, арестованный и казненный по обвинению в серийных убийствах.

[40] Примечания: 40

Поскольку Англиканская церковь является государственной, Амброуз хочет сказать, что принадлежит к ее «гонимому меньшинству», сохранившему подлинно христианские принципы.

Нет? Очень хорошо. Выходит, эти слова исключают не простого лжеца, а прежде всего «колдунов», которые используют материальную жизнь и присущие ей недостатки как инструменты для достижения своих бесконечно злых целей. И вот что я вам скажу: наши высшие чувства настолько притуплены, мы так пропитаны материализмом, что, вероятно, не распознали бы настоящее зло, если бы столкнулись с ним.

— Но разве мы не должны испытывать определенный ужас — такой же ужас, какой, как вы намекали, мы бы испытали, если бы розовое дерево запело, — от одного лишь присутствия злого человека?

— Должны, будь мы естественны: дети и женщины чувствуют ужас, о котором вы говорите, даже животные ощущают его. Но большинству из нас условности, цивилизация, образование затемнили и оглушили естественный разум. Нет, иногда мы можем узнать зло по его ненависти к добру — не нужно большой проницательности, чтобы догадаться о влиянии, которое совершенно бессознательно продиктовало «Блэквудскую» ре-

цензию на Китса[41], — но это чистая случайность; и, как правило, я подозреваю, что служители Тофета[42] остаются совершенно незамеченными — или, возможно, иногда их принимают за хороших, но заблуждающихся людей.

— Но вы только что употребили слово «бессознательно» в отношении рецензентов Китса. Всегда ли зло бессознательно?

— Всегда. Так и должно быть. Как святость и гениальность в этом и во многом другом; это некое блаженство или экстаз души, сверхъестественная попытка превзойти границы обычного. И так, превосходя их, оно превосходит и понимание, способность замечать то, что ему предшествует. Нет, человек может быть бесконечно злым и даже не подозревать об этом. Но зло в таком конкретном и истинном смысле встречается редко и, думаю, становится все реже.

---

[41] Примечания: 41

Джон Китс (1795–1821) — поэт младшего поколения английских романтиков. Величайшие произведения Китса были написаны, когда ему было 23 года. В августе 1818 года в журнале «Блэквуд» вышла разгромная статья о творчестве Джона Китса. Долгое время считалось, что она стала причиной ранней смерти поэта — он умер в возрасте 25 лет.

[42] Примечания: 42

Тофет — известное из Библии место на юге Иерусалима в долине сынов Еннома (в Новом Завете — Геенна), где идолопоклонники Молоха и Ваала приносили в жертву детей. В иудейской и христианской теологии — символ ада.

— Я пытаюсь уложить все это в голове, — сказал Котгрейв. — Из сказанного вами я понял, что истинное зло отличается по своей сути от того, что мы называем злом…

— Именно так. Между ними, без сомнения, есть сходство; такое же сходство, как то, что позволяет нам вполне правомерно использовать такие термины, как «подножие горы» и «ножка стола». И иногда, конечно, оба, так сказать, говорят на одном языке. Грубый шахтер или пудлинговщик[43], неотесанный, неразвитый «человек-тигр», разогревшись квартой-другой сверх своей обычной меры, приходит домой и до смерти забивает свою раздражающую и неблагоразумную жену. Он убийца. И Жиль де Рэ был убийцей.

Но вы видите пропасть, которая разделяет их? Название совпадает в обоих случаях, но значение совершенно различно. Смешение этих двух слов — это вопиющий «Хобсон-Джобсон»[44], или, скажем так, это как если бы предполагалось, что

---

[43] Примечания: 43

Пудлингование (англ. puddling) — способ переработки чугуна в железо.

[44] Примечания: 44

«Хобсон-Джобсон» — классический глоссарий разговорных англо-индийских слов и фраз.

Джаггернаут и аргонавты[45] этимологически чем-то связаны друг с другом. Без сомнения, такое же слабое сходство проходит между всеми «общественными» грехами и настоящими духовными грехами, и в некоторых случаях, может быть, меньшие могут быть «учителями», чтобы вести к большим — из тени к реальности. Если вы хоть немного богослов, вы поймете важность всего этого.

— К сожалению, — заметил Котгрейв, — я очень мало времени посвящал богословию. Действительно, я часто задавался вопросом, на каком основании богословы претендуют на звание служителей Науки Наук для любимых ими исследований — поскольку «богословские» книги, которые я просматривал, всегда казались мне посвященными слабому и очевидному благочестию или царям Израиля и Иудеи. Я не желаю слышать об этих царях.

Амброуз усмехнулся.

— Нам следует избегать богословских дискуссий, — сказал он. — Подозреваю, вы были бы ожесточенным оппонентом. Но возможно, упомянутые вами цари имеют такое же отношение

---

[45] Примечания: 45

В английском языке оба этих слова оканчиваются на слог — *naut*.

к богословию, как и шахтер-убийца — ко злу.

— Тогда, возвращаясь к нашей основной теме, вы думаете, что грех — это нечто эзотерическое, оккультное?

— Да. Это адское чудо, как святость — божественное. Время от времени грех возносится на столь недосягаемую высоту, что мы совершенно не подозреваем о его существовании; это похоже на ноту большой педальной трубы органа, которая настолько низка, что мы ее не слышим. В других случаях зло может привести к сумасшедшему дому или к еще более странным проблемам. Но вы никогда не должны путать его с простым социальным проступком. Вспомните, как апостол, говоря о «другой стороне», различает «благотворительные действия» и благотворительность. Можно отдать все свое имущество бедным, но все же не иметь милосердия; так же можно избежать всякого преступления и все же остаться грешником.

— Эта логика кажется странной для меня, — сказал Котгрейв, — но, признаюсь, она мне нравится. Полагаю, из ваших посылок можно сделать вывод, что настоящий грешник вполне может показаться наблюдателю достаточно безобидным персонажем?

— Безусловно; ибо истинное зло не имеет ничего общего ни с общественной жизнью, ни с общественными законами — а если и имеет, то только несущественно и случайно. Это одинокая страсть души — или страсть одинокой души, как хотите. Если мы случайно поймем его и осознаем все его значение, то, действительно, оно наполнит нас ужасом и трепетом. Но это чувство сильно отличается от страха и отвращения, с которыми мы относимся к обычному преступнику, — те в значительной степени или полностью основаны на нашей заботе о собственной шкуре или кошельке. Мы ненавидим убийцу, потому что знаем, что должны ненавидеть возможность быть убитыми или лишиться того, кого мы любим. Итак, с «той стороны» мы почитаем святых, но не любим их так, как любим своих друзей. Можете ли вы убедить себя, что вы «наслаждались» бы компанией Святого Павла? Вы думаете, что мы с вами «поладили» бы с сэром Галахадом?

С грешниками то же самое, что и со святыми. Если бы вы встретили очень злого человека и узнали его зло, он, без сомнения, наполнил бы вас ужасом и трепетом; но нет никаких причин «не любить» его. Наоборот, вполне возможно, что, если бы вам удалось забыть о грехе, вы могли

бы найти превосходной компанию грешника и спустя некоторое время вам пришлось бы напомнить себе, что он отвратителен… И все же это было бы ужасно, если бы розы и лилии вдруг запели этим наступающим утром; если бы мебель начала двигаться процессией, как в сказке де Мопассана!

— Я рад, что вы вернулись к этому сравнению, — сказал Котгрейв, — потому что хотел спросить вас, что в человечестве соответствует этим воображаемым подвигам неодушевленных предметов. Одним словом, что такое грех? Вы дали мне, я помню, абстрактное определение, но мне хотелось бы конкретный пример.

— Я же говорил вам, что это бывает очень редко, — сказал Амброуз, который, казалось, хотел уклониться от прямого ответа. — Материализм нашего времени, который много сделал для подавления святости, возможно, еще больше сделал для подавления зла. Мы находим землю настолько удобной, что у нас нет склонности ни к восхождениям, ни к спускам. Это похоже на то, как если бы ученый, решивший «специализироваться» на Тофете, ограничился чисто антикварными исследованиями. Ни один палеонтолог не может показать вам живого птеродактиля.

— И все же, я думаю, вы «специализировались», и полагаю, что ваши исследования дошли до наших дней.

— Вижу, вы действительно заинтересованы. Что ж, признаюсь, я немного баловался этим. Если хотите, могу показать вам кое-что имеющее отношение к очень любопытному предмету, который мы обсуждали.

Амброуз взял свечу и ушел в дальний, темный угол комнаты. Котгрейв увидел, как он открыл стоявший там почтенный письменный стол, извлек из какой-то тайной ниши сверток и вернулся к окну, где они сидели.

Амброуз развязал обертку и достал небольшую зеленую книгу.

— Берегите ее, — попросил он. — Не оставляйте где ни попадя. Это одна из лучших вещей в моей коллекции, было бы очень жаль потерять ее.

Он погладил выцветший переплет.

— Я знал девушку, написавшую эту книгу, — сказал он. — Когда вы прочтете, вы увидите, как она иллюстрирует наш сегодняшний разговор. Есть и продолжение, но я не буду говорить о нем… Несколько месяцев назад в одном из обзоров была странная статья, — начал он снова с видом человека, который меняет тему. — Написанная

доктором Корином — кажется, так его звали. Он рассказывает, что одна дама, наблюдая за своей маленькой дочкой, играющей у окна в гостиной, вдруг увидела, как тяжелая створка упала на пальцы ребенка. Дама потеряла сознание, я полагаю; был вызван доктор. Когда он перевязал израненные, покалеченные пальцы ребенка, его вызвали к матери. Она стонала от боли, и оказалось, что три пальца ее руки, соответствующие тем, которые были повреждены на руке ребенка, опухли и покраснели, а позже, говоря языком врача, началось гнойное воспаление.

Амброуз все еще бережно держал в руках зеленый томик.

— Что ж, держите, — наконец произнес он, казалось, с трудом расставаясь со своим сокровищем. — Принесите ее обратно сразу же, как прочитаете, — сказал он, когда они вышли в коридор, а оттуда прошли в старый сад, напоенный приторным ароматом белых лилий.

На востоке пылала широкая алая полоса. Когда Котгрейв повернулся, чтобы уйти, с возвышенности, где он стоял, он мог созерцать величественное зрелище спящего Лондона.

Зеленая книга

Сафьяновый переплет книги выцвел, краска потускнела, но ни пятен, ни потертостей на нем не было. Книга выглядела так, как будто ее купили «во время поездки в Лондон» лет семьдесят или восемьдесят назад, а потом спрятали подальше и забыли. От нее исходил старый, нежный, стойкий запах наподобие того, который иногда обитает внутри старинного предмета мебели возрастом более века. Форзацы были причудливо украшены цветными узорами и поблекшим золотом. Книга выглядела маленькой и была напечатана на хорошей бумаге. Внутри было много листочков, плотно исписанных мелкими, болезненной формы буквами.

«…Я нашла эту книгу (так начиналась рукопись) в ящике старого комода, стоящего на лестничной площадке. Весь день шел дождь, и я не могла выйти на улицу, поэтому взяла свечу и стала рыться в комоде. Почти все ящики были забиты старыми платьями, но один из маленьких ящичков оказался пустым, и лишь в дальнем углу я нашла эту книгу. Я хотела себе такую, вот и взяла ее, чтобы в ней писать. Она полна секретов. У меня есть много других написанных мной книг

с секретами, спрятанных в надежном месте, и я собираюсь записать здесь много старых тайн и несколько новых; но есть такие, которые я вообще не буду записывать. Я не должна записывать ни настоящие названия дней и месяцев, которые узнала год назад, ни письмена Акло[46], ни язык Чиан, ни великие прекрасные круги, ни игры Мао, ни главные песни. Я могу написать обо всех этих вещах, но не о том, как их сделать, — по особым причинам. И я не должна говорить, кто такие Нимфы, или Долы, или Джило, или что означают вуалы. Все это самые сокровенные тайны, и я радуюсь, когда вспоминаю о них и о том, сколько прекрасных языков я знаю. Но есть такие вещи, которые я называю самыми тайными из всех тайных тайн и не смею о них думать, пока не останусь совершенно одна. И тогда я закрываю глаза ладонями и шепчу слова — и приходит Алала. Я делаю это только ночью в своей комнате или в надежных лесах, которых я не должна описывать, потому что они секретны. Еще есть Обряды; они все важны, но некоторые

[46] Примечания: 46

Акло — название вымышленного языка. С момента его первого упоминания в 1899 году на страницах этого рассказа название использовалось многими авторами. Считается, что этот язык обладает мистической силой.

из них более сладостны, чем другие, — есть Белые Обряды, Зеленые Обряды и Алые Обряды. Алые Обряды самые лучшие, но есть только одно место, где их можно провести должным образом (хотя даже имитация, которую я делала в других местах, прекрасна). Кроме того, у меня есть и танцы, и Комедия, и я иногда ставила Комедию, когда другие смотрели, но они ничего не понимали в ней. Я была очень маленькой, когда впервые узнала об этих вещах.

Когда я была совсем мала и мама была жива, я помнила о вещах, происходивших до этого, но только все смешалось в голове. Когда мне было пять или шесть, помню, как говорили обо мне, думая, что я не слышу. Говорили, какой странной я была год или два назад, и как няня позвала маму, чтобы она пришла и послушала, как я разговариваю сама с собой, а я говорила слова, которых никто не мог понять. Я говорила на языке Сюй, но помню только несколько слов, — это был язык маленьких белых лиц, смотревших на меня, когда я лежала в колыбели. И они разговаривали со мной, и я выучила их язык и говорила с ними о каком-то большом белом месте, где они жили, — с белыми травой и деревьями, белыми холмами высотой до луны и холодным ветром. Потом мне

часто снилось это место, но лица исчезли, когда я была еще совсем маленькой. Одна удивительная вещь случилась, когда мне было около пяти. Моя няня несла меня на руках через поле желтой кукурузы, было очень жарко. Потом мы свернули на лесную тропинку, и нас догнал высокий человек и шел с нами, пока мы не пришли к пруду, где было темно и тенисто. Няня уложила меня на мягкий мох под деревом и сказала: «Так она не доберется до пруда». И они оставили меня там, и я сидела совершенно неподвижно и смотрела вокруг, а из воды и из леса вышли два чудесных белых человека, и они начали играть, танцевать и петь. Они были кремово-белыми, как старые фигурки из слоновой кости в нашей в гостиной. Одна была красивая дама с добрыми темными глазами, серьезным лицом и длинными черными волосами, и она улыбнулась такой странной грустной улыбкой другому, и тот засмеялся и подошел к ней. И они вместе играли, и танцевали вокруг пруда, и пели песни, пока я не заснула. Вернувшаяся няня разбудила меня, и она так походила на эту даму, что я рассказала ей о происшедшем и спросила, почему она так выглядит. Сначала она вскрикнула, а потом побледнела и ее лицо исказилось от страха. Она поставила

меня на траву, пристально посмотрела в глаза, и я видела, что она вся дрожит. Тогда она сказала, что это был сон, но я знала, что это не так. И она заставила меня пообещать, что я никому ни слова об этом не скажу, а если скажу, то буду брошена в черную яму. Но я совершенно не испугалась, хотя няня и была напугана. Я никогда не забывала этого, ведь стоило мне закрыть глаза в тишине и в одиночестве, как я снова видела их — очень бледных и далеких, но очень прекрасных, и отзвуки их песни звучали у меня в голове, но повторить их я не могла.

Мне было тринадцать, почти четырнадцать, когда со мной произошло очень необычное происшествие, настолько странное, что день, в который это случилось, навсегда получил имя Белый День. Уже больше года прошло со смерти мамы, и по утрам у меня были уроки, но в обед мне разрешали пойти на прогулку. И в тот день я пошла новым путем, и маленький ручеек привел меня в новое место. Но по пути я изорвала свое платье, пробираясь через заросли, потому что ручеек бежал среди множества кустов, и под низко опущенными ветвями деревьев, и вверх через колючки на холмах, и через темный лес, полный ползучих шипов. И это был долгий, долгий путь.

Казалось, я иду целую вечность, и в одном месте мне пришлось ползти — это было что-то вроде туннеля, где, должно быть, раньше тек ручей, но пересох, и от него осталось каменистое русло, а кусты росли так густо, что их переплетенные ветви заслоняли свет. И я ползла и ползла через этот темный тоннель, это был долгий-долгий путь, который привел меня к холму, каких я прежде не видела. Я оказалась среди мрачных зарослей, полных кривых черных ветвей, которые царапали меня, пока я продиралась сквозь них. Я вскрикивала, испытывая жгучую боль все время, пока шла, а потом обнаружила, что карабкаюсь все выше и выше — очень долго, пока наконец-то заросли не закончились и я с плачем не выбралась наружу, прямо к большой проплешине на вершине холма, где вокруг на траве валялись уродливые серые камни и то тут, то там из-под них торчали маленькие скрюченные и чахлые деревца, напоминавшие змей. Я поднялась на самую вершину и шла долго-долго. Я никогда прежде не видела настолько больших и уродливых камней. Одни из них торчали из земли, другие выглядели так, словно их прикатили откуда-то, и эти камни простирались докуда хватало глаз, далеко-далеко вокруг. Я оглядела местность, но она была

странной. Была зима, и повсюду с холмов свисали уродливые черные деревья, словно черные занавески в большой комнате, и деревьев такой формы я никогда прежде не видела. Мне стало страшно. Дальше за лесами простирались другие холмы — кругами, словно огромное кольцо, — но я никогда прежде не видела ничего подобного. Все они казались черными и принадлежащими вурам[47]. Вокруг царили тишина и спокойствие, тяжелое хмурое серое небо нависало над землей, словно зловещий купол вуров в Бездне Дендо[48]. Я брела среди ужасных камней. Их были сотни и сотни. Некоторые выглядели как ухмыляющиеся отвратительные люди, я видела их лица — они словно готовы были выпрыгнуть на меня из камней, схватить и утащить внутрь, чтобы я тоже навечно была заперта в камне. Были и другие, напоминавшие животных, ужасных пресмыкающихся зверей, высовывающих языки, и такие, которых я не могу описать, и такие, что выглядели словно мертвые тела, лежащие на траве. Я шла меж ними, хоть они и пугали меня, и в моем сердце роились злые песни, навеянные ими. Мне

[47] Примечания: 47
Вымышленный волшебный народ.

[48] Примечания: 48
Вымышленная подземная страна вуров.

хотелось гримасничать и корчиться так же, как они, и я шла так долго, что под конец мне начали нравиться эти камни, и они больше уже не пугали меня. И я пела песни, приходившие мне в голову, — песни, полные слов, которые нельзя ни произносить, ни записывать. Потом я начала изображать гримасы, такие же, как на камнях, и корчилась, как те из них, что были скорченными, и ложилась на траву, как те, что напоминали мертвых, а к одному из ухмыляющихся подошла и обняла его. И так я шла среди камней, пока не вышла к каменному кургану, стоявшему среди них. Он был выше холма, почти такой же высоты, как наш дом, и напоминал огромную миску, перевернутую вверх ногами, весь гладкий, круглый и зеленый, с единственным камнем, как на посту стоявшим на вершине. Я попыталась взобраться по нему, но склон был таким крутым, что мне пришлось остановиться, иначе бы я скатилась вниз, ударилась о камни внизу и разбилась. Но мне так хотелось взобраться наверх, что я легла лицом вниз и начала потихоньку подтягиваться, цепляясь за траву, пока не доползла до вершины. Тогда я села на камень в центре и огляделась. Мне казалось, я проделала столь невероятно долгий путь, что ушла на сотни миль от дома — или

в другую страну, или в одно из тех странных мест, о которых я читала в «Сказках о джинне» или «Арабской ночи», или попала за море, далеко-далеко, шла много лет и нашла другой мир, о котором прежде никто даже не слышал, или каким-то образом взлетела к небесам и упала на одну из звезд, о которых я читала, где все мертво, холодно и серо и нет ни воздуха, ни ветра. И я сидела на камне и оглядывала всю местность, раскинувшуюся внизу. Я словно сидела на вершине башни в центре огромного пустого города, потому что ничего не могла разглядеть, кроме серых камней на земле. Я больше не различала их форму, но могла видеть, что они простираются далеко-далеко. Когда я смотрела на них, то казалось, что они складываются в узоры, формы и фигуры. Я знала, что это невозможно, ведь я видела, что многие из них торчат из земли, соединенные со скалой глубоко внизу, так что я вгляделась снова, но снова не увидела ничего, кроме кругов, маленьких и больших, вокруг того места, где я сидела. И чем больше я смотрела, тем больше видела огромных колец из камней, которые становились все больше и больше, и я вглядывалась в них так долго, что мне показалось, будто они движутся и вертятся, словно гигантский вихрь,

и я в центре начала вращаться вместе с ними. У меня сильно закружилась голова, все затуманилось, и очертания предметов расплылись, перед глазами у меня замелькали голубые огоньки, и казалось, что камни вокруг пляшут и прыгают, продолжая крутиться, крутиться, крутиться. Я перепугалась и вскрикнула, вскочила с камня, на котором сидела, и упала. Когда я поднялась на ноги, к счастью, все вновь выглядело неподвижным. Сев на землю, я соскользнула с вершины и продолжила свой путь. Я шла и танцевала тем же особым образом, как камни, когда мне стало плохо, и я была рада, что у меня получается довольно хорошо, так что я танцевала и танцевала — и пела необыкновенные песни, которые приходили мне в голову. Наконец я пришла к краю этого огромного пологого холма, и там уже не было камней, а дорога вела меня вновь через черные колючие заросли в лощину. Пройти через них было не проще, чем через те, среди которых я карабкалась наверх, но меня это не волновало, потому что я была счастлива, что видела эти странные танцы и могла им подражать. Я спустилась вниз, пробираясь сквозь ветви, и, хотя высокая крапива жалила мои ноги и зло их обжигала, а ветки и колючки кололи меня, в ответ

я лишь смеялась и пела. Заросли привели меня к скрытой лощине — маленькому укромному месту, о котором никто не знает, потому что оно очень узкое, а лес вокруг непроходим. С крутого берега свешивались деревья, и, хотя папоротник на холмах порыжел и завял, здесь он оставался зеленым всю зиму и пах так сладко и насыщенно, словно еловая смола. По дну лощины бежал маленький ручеек — настолько крошечный, что я легко могла перешагнуть через него. Я набрала воды в ладони, чтобы напиться, и она оказалась на вкус как яркое желтое вино[49]. Она искрилась и бурлила, журча по прекрасным красным, желтым и зеленым камням, так что казалась живой и разноцветной. Я пила и пила ее, зачерпывая руками, но все не могла напиться, поэтому легла на землю и стала пить прямо из ручья. Так пить было еще вкуснее, и маленькие волны касались моих губ, словно целуя, так что я рассмеялась и стала пить снова, представляя, что в ручье живет нимфа — такая же, как на старых картинах дома, и это она меня целует. Наклонившись к воде, я нежно коснулась ее губами и шепотом пообещала, что еще вернусь. Я была уверена, что это была

---

[49] Примечания: 49

Vin jaune (франц.) — досл.: желтое вино. Особый сорт белого вина.

не просто вода, и счастье переполняло меня, когда я встала и пошла дальше. Я снова танцевала, идя вверх по лощине, среди нависающих надо мной холмов. И когда я поднялась к вершине, передо мной воздвиглась стена земли, высокая и отвесная, и осталась только зеленая земля и небо. Я вспомнила: «Во веки веков, мир без конца. Аминь»[50], — и подумала, что я, наверное, на самом деле нашла конец мира, потому что казалось: здесь кончается все, как будто за этими пределами не могло быть вообще ничего, кроме королевства Вур, куда уходят погасший свет и вода, испарившаяся на солнце. Я начала размышлять обо всем сразу: о долгом пути, который я проделала, как я нашла ручей и последовала за ним и дальше через кусты, колючие заросли и темный лес, полный ползучих шипов. Как потом я ползла через тоннель под деревьями, и карабкалась через заросли, и видела серые камни, и сидела на кургане, а они кружились вокруг, и как затем я прошла сквозь серые камни и пришла к подножию холма, через жгучие кусты к темной лощине и какой это был долгий, долгий путь. Я гадала, смогу ли вернуться домой, найду

[50] Примечания: 50

Молитва «Слава тебе» в наиболее распространенном англиканском употреблении.

ли дорогу и существует ли еще мой дом — или он и все, кто был в нем, превратились в серые камни, как в «Арабской ночи». Сев на траву, я задумалась, что теперь делать. Я устала, мои ноги горели от постоянной ходьбы, но, когда я огляделась вокруг, я увидела чудесный водоем прямо под высокой отвесной стеной травы. Вся земля вокруг была покрыта ярким зеленым влажным мхом. Какого только мха здесь не было: похожий на крошечные папоротники, на пальмы и пихты, и весь он сверкал, словно драгоценные камни, а капли воды блестели, как бриллианты. И среди мха был большой водоем, глубокий, сияющий, красивый и такой чистый, что казалось, будто я могу дотронуться до красного песка на дне, хотя он был далеко внизу. Я стояла и смотрела в него, как в зеркало. На дне, в самом центре, красные песчинки все время шевелились и перемешивались, и я видела, как вода пузырилась, но наверху она была совсем гладкая и неподвижная, хоть и наполняла его до краев. Это был прекрасный водоем, огромный, словно ванна, а сверкающий и переливающийся зеленый мох вокруг него делал его похожим на большой бриллиант, окруженный зелеными изумрудами. Мои ноги так сильно горели от усталости, что я сняла ботинки и чулки

и опустила ступни в воду. Она была мягкой и прохладной, и когда я встала, то от усталости не осталось и следа, и я почувствовала, что должна продолжить путь, все дальше и дальше, и увидеть, что по ту сторону стены. Я взобралась по ней, очень медленно, все время меняя направление, и когда я добралась до вершины и взглянула вниз, я увидела самое странное место, которое когда-либо попадалось мне на глаза, — даже более странное, чем холм с серыми камнями. Оно выглядело так, словно здесь дети-великаны играли, как в песочнице: повсюду были холмы и овраги, и замки из земли, поросшие травой. Еще там были два кургана, похожие на огромные ульи, круглые, величественные и мрачные, и пустые котлованы, и крутая стена, похожая на ту, что я видела однажды у моря, с солдатами и большими пушками. Я почти свалилась в одну из круглых ям — так внезапно она оказалась у моих ног — и скорее побежала по склону и только на самом дне остановилась и оглянулась. Вокруг было так странно и мрачно. Ничего не осталось, кроме тяжелого серого неба и стен ямы, все остальное исчезло, и яма затмила весь мир, и я подумала, что по ночам, когда луна освещает ее до самого дна в полной тьме и ветер завывает вокруг, она,

должно быть, полна призраков, движущихся теней и белых духов. Яма казалась опустевшим храмом мертвых языческих богов: таинственная, величественная и пустынная. Она напомнила мне сказку, которую няня рассказывала, когда я была совсем мала, — та же няня, которая принесла меня в лес, где я увидела прекрасных белых людей. И я вспомнила, как однажды зимней ночью, когда ветер, который заставлял деревья скрести ветвями по стене, плакал и стонал в камине, она рассказала мне историю. Она сказала, что есть такая пустая яма, бог его знает где — точно такая же, как та, в которой я стояла теперь, — и все боялись даже подойти к ней, настолько это было плохое место. Но однажды давным-давно жила-была бедная девушка, которая решила спуститься в яму, и все пытались остановить ее, но она все равно пошла. Она спустилась вниз в яму, и вернулась обратно смеясь, и сказала, что в ней нет ничего, кроме зеленой травы, красных камней, белых камней и желтых цветов. Но на другой день люди заметили, что она носит самые прекрасные на свете изумрудные серьги, и начали спрашивать, откуда девушка их взяла, ведь она и ее мать очень бедны. Но девушка засмеялась и сказала, что ее серьги сделаны вовсе

не из изумрудов, но из зеленой травы. На другой день она надела на грудь самый алый на свете рубин, он был огромным, размером с куриное яйцо, сверкал и искрился, словно сгусток пламени. Люди стали спрашивать, где девушка взяла его, ведь она и ее мать очень бедны. Но девушка засмеялась и сказала, что это вовсе не рубин, а простой красный камень. На другой день она надела на шею самое очаровательное на свете ожерелье, гораздо лучше, чем самое прекрасное из королевских ожерелий, сделанное из сотен огромных ярких бриллиантов, сверкающих, как все июньские звезды разом. Люди стали спрашивать, где девушка взяла его, ведь она и ее мать очень бедны. Но девушка засмеялась и сказала, что это вовсе не бриллианты, а простые белые камни. На другой день она пришла ко дворцу, и ее голову венчала корона из чистейшего золота ангелов, как сказала няня, и она сверкала, точно солнце, и была даже великолепнее, чем корона самого короля. В ее ушах блестели изумруды, на груди алела рубиновая брошь, и прекрасное бриллиантовое ожерелье искрилось на шее. Король и королева решили, что это какая-то великая принцесса из далекой страны. Они спустились со своих тронов и подошли поприветствовать ее, но

кто-то рассказал королю, кто она на самом деле и что она очень бедна. Король спросил, почему на ее голове золотая корона и где девушка взяла ее, ведь она и ее мать очень бедны. Но девушка засмеялась и сказала, что это вовсе не золотая корона, а всего лишь несколько желтых цветов, которые она вплела в волосы. Король решил, что это очень странно, и приказал ей остаться во дворце, чтобы увидеть, что будет дальше. Она была столь очаровательной, что все согласились, что ее глаза зеленее, чем изумруды, губы алее, чем рубин, кожа белее бриллиантов, а волосы сверкают ярче, чем золотая корона. Королевский сын захотел жениться на ней, и король разрешил ему. Священник обвенчал их, и в их честь был устроен роскошный пир, а после королевский сын отправился в спальню жены. Но стоило ему лишь дотронуться до двери, как он увидел высокого черного человека с внушающим ужас лицом, стоявшего перед дверью, и голос произнес:

Не стоит жизнью рисковать,
Мою жену своею звать.

И королевский сын замертво упал у его ног. Люди пришли и попытались попасть в комнату, но никак не могли, и стали рубить дверь топо-

рами, но дерево стало тверже железа; наконец все убежали прочь, напуганные криком, смехом, визгом и рыданиями, доносившимися из комнаты. Только на следующий день дверь отворилась, но в комнате никого не было, кроме черного дыма, потому что черный человек унес девушку. И лишь на кровати лежали два пучка высохшей травы, красный камень, несколько белых камушков и увядшие желтые цветы. Я вспомнила эту нянину сказку, стоя на дне глубокой ямы, и она была такой странной и пустынной, что мне стало страшно. Вокруг я не видела ни камней, ни цветов, но мне было так страшно унести их, не зная об этом, что я решила прочесть заклинание, пришедшее мне в голову, чтобы отпугнуть черного человека. Я встала в самом центре ямы, убедилась в том, что на мне нет ничего из перечисленных в сказке вещей, обошла это место кругом, прикоснулась особым образом к глазам, губам и волосам и прошептала несколько причудливых слов, которым меня научила няня, чтобы отпугивать зло. После этого я почувствовала себя защищенной, выбралась из ямы и продолжила путь среди курганов, ям и стен, пока не дошла до конца этой странной местности. Поднявшись наверх, я увидела, что все эти земляные сооружения

тоже складываются в определенный рисунок, как и серые камни, только совсем другой. Было уже поздно, и землю заволокло туманом, но с того места, где я стояла, казалось, что на траве лежат две огромные человеческие фигуры. Я продолжила идти и наконец нашла тайную рощу, которая слишком тайная, чтобы ее можно было описать. Никто не знает, как в нее пройти, я сама нашла дорогу очень необычно: какой-то маленький зверек прошмыгнул между деревьями и затерялся в роще. Так что я пошла за ним через очень узкий темный проход между ветвями и колючками, и было уже темно, когда я вышла на что-то вроде поляны посреди рощи. И здесь мне явилось самое великолепное видение, какое я только видела. Но длилось оно не больше минуты, потому что я сразу же бросилась прочь со всех ног, напуганная тем, насколько чарующим, странным и прекрасным оно было. Но я хотела подумать о нем, добравшись домой, и понятия не имела, что бы случилось, останься я в роще. Я вся горела и дрожала, сердце колотилось, и странные крики непроизвольно вырывались у меня изо рта, пока я бежала прочь. К счастью, большая белая луна вышла из-за круглого холма и указала мне путь, так что я бежала обратно среди курганов и ям,

и вниз через лощину, и вверх через заросли к месту с серыми камнями, и наконец я вернулась домой. Отец был занят, и слуги не сказали ему, что меня до сих пор нет дома, хотя сами были напуганы и не могли понять, что делать. Я не позволила им выяснить, где на самом деле я была, сказав лишь, что заблудилась. Я легла в кровать и пролежала без сна всю ночь, размышляя о том, что видела. Когда я вышла на поляну из узкого прохода, она сияла, хотя уже стемнело, и все казалось таким отчетливым, что всю дорогу до дома я была совершенно уверена в том, что видела, и хотела остаться одна в своей комнате, чтобы в полной мере насладиться видением, закрыть глаза и представить, что оно здесь, и сделать все то, что я могла бы, если бы не была столь напугана. Но когда я закрыла глаза, видение не вернулось. Я снова начала размышлять обо всем моем приключении и вспомнила, каким темным и странным все было под конец, и мне стало страшно, что все это ошибка, потому что казалось невозможным, чтобы это случилось на самом деле. Мое приключение напоминало одну из няниных сказок, в которые я по-настоящему никогда не верила, — хотя и испугалась, стоя на дне ямы, и мне вспомнились все те истории, которые

она рассказывала мне, когда я была маленькой. И я стала гадать, на самом ли деле со мной все это случилось, или это было давным-давно в одной из сказок. Это было так странно, я лежала без сна в своей комнате в задней части дома, и луна освещала реку с другой стороны, так что свет не проникал сквозь окно. В доме царила тишина. Я слышала, как отец поднялся по лестнице, и сразу после этого часы пробили двенадцать и в доме стало так пусто и тихо, словно в нем не осталось ни одной живой души. И хотя в моей комнате было темно и сумрачно, через белые шторы пробивался бледный мерцающий свет. Когда я встала и выглянула в окно, то увидела большую черную тень от дома, накрывшую сад, так что он стал похож на тюрьму с повешенными людьми; а дальше за ним все было белым — и даже лес сиял белым с черными провалами между деревьями. Тихо, светло, и на небе ни облака. Я хотела подумать о том, что я видела, но не могла, и тогда я начала думать о тех сказках, которые няня рассказывала мне так давно, что я считала, что позабыла их, но все они вернулись ко мне, переплетаясь в моих мыслях с зарослями, серыми камнями, ямами в земле и тайной рощей, пока я не перестала понимать, что было сегодня, а

что давно, или же все это было лишь сном. И еще я вспомнила тот жаркий летний день много лет назад, когда няня оставила меня в тени под деревом и белые люди вышли из воды и леса, играли, танцевали и пели, и я вообразила, будто няня прежде говорила мне о чем-то подобном, до того, как я их увидела, только я не могла вспомнить, что именно. Тогда я задумалась, не могла ли она быть той белой дамой, потому что мне помнилось, что она была точно такой же белой и красивой, с такими же черными глазами и волосами, и иногда она улыбалась и выглядела точь-в-точь как та дама, когда рассказывала мне свои сказки, начинающиеся с «Давным-давно…» или «В далекие волшебные времена…». Но я думала, что она не могла быть той дамой, потому что, кажется, она ушла в лес в другом направлении, и вряд ли мужчина, который шел с нами, мог быть тем вторым — иначе я бы не увидела тот чудесный секрет в тайной роще. Я думала, что, может, дело в луне, но она появилась позже, когда я была посреди пустоши с огромными земляными фигурами, — вокруг были стены, загадочные ямы и гладкие круглые курганы, когда луна вышла из-за высокого круглого холма. Я размышляла обо всем этом, пока мне не стало со-

всем страшно, потому что я боялась, что со мной что-то случилось, и я снова вспомнила нянину сказку про бедную девушку, которая спустилась в пустую яму и ее в конце концов забрал черный человек. Я знала, что тоже попала в пустую яму, и возможно, она была та самая и я сделала что-то ужасное. Так что я снова повторила заклинание, прикоснулась особым жестом к глазам, губам и волосам и произнесла старые слова на языке фей, чтобы убедиться, что меня никто не утащит. Я снова попыталась восстановить в памяти тайную рощу и, пробравшись по узкому проходу, увидеть то, что я в ней увидела, но почему-то не могла перестать думать о няниных сказках. Мне вспомнилась одна — про юношу, который однажды давным-давно отправился на охоту, и весь день его гончие выслеживали добычу, они переплывали реки, обошли все леса, бродили по болотам, но не могли найти никакой дичи, и они охотились весь день, пока солнце не покинуло небосвод, опускаясь за горы. Юноша злился из-за того, что не нашел никого, и собирался повернуть обратно, но в тот миг, когда солнце коснулось гребня гор, он увидел, как из чащи перед ним вышел прекрасный белый олень. «Ату!» — крикнул он собакам, но те заскулили и не двинулись с

места. Он пришпорил лошадь, но она задрожала и не пошла, и тогда юноша спрыгнул с лошади и сам погнался за прекрасным белым оленем в одиночестве. Скоро совсем стемнело, небо стало черным, ни одна звезда не озаряла его свод, а олень все бежал во тьме. И хотя у юноши было ружье, он не сделал ни выстрела, потому что он хотел схватить оленя голыми руками и боялся, что потеряет его в темноте. Но он так и следовал за ним, хотя небеса были так темны и воздух непроглядно темен, а олень все бежал и бежал, пока юноша не перестал понимать, где он находится. Они бежали через огромные леса, полные шепота, где мертвенно-бледный свет лежащих на земле гнилушек озарял все вокруг, и стоило юноше решить, что он потерял оленя, как он видел его, белого и сияющего, прямо перед собой — и бросался бежать быстрее, чтобы схватить его, но олень тоже прибавлял скорости, и юноша ни разу его не коснулся. Олень бежал через огромные леса, переплывал реки, пробирался через болота, где земля пузырилась под ногами, а в воздухе горели блуждающие огни, и через узкие каменистые лощины, пахнущие подземельем, а юноша бежал за ним. И так они бежали через горную гряду, где завывал ветер: олень впереди, а юноша

— за ним вслед. Наконец взошло солнце, и юноша понял, что он попал в совершенно незнакомое ему место. Это была прекрасная долина, по дну которой струился поток, а в центре ее был огромный круглый холм. Олень спустился в долину и поскакал к холму, и казалось, что от усталости он бежит все медленнее, и, хотя юноша тоже устал, он побежал быстрее, поверив, что наконец сможет его поймать. Но когда они приблизились к подножию холма и юноша уже протянул руки, чтобы схватить оленя, тот исчез, скрывшись в земле. Юноша заплакал, ему было так жаль потерять оленя после этой бесконечной погони. Но сквозь слезы он заметил дверь в холме, прямо перед ним, и вошел в нее, и, хотя за дверью было очень темно, он пошел вперед, надеясь найти белого оленя. И вдруг на него обрушился свет — и он увидел небо, и сияющее солнце, и птиц, поющих на деревьях, и прекрасный фонтан. А у фонтана сидела очаровательная дама, оказавшаяся королевой фей, и она рассказала юноше, что нарочно обернулась оленем, чтобы заманить его сюда, потому что без ума в него влюбилась. Она принесла из своего дворца большую золотую чашу, покрытую драгоценными камнями, и предложила юноше вина. И чем больше он пил, тем

больше ему хотелось еще, потому что вино было зачарованным. Юноша поцеловал прекрасную даму, и она стала его женой, и он весь день и всю ночь был с ней в том холме, который был ее домом, а проснувшись, обнаружил, что лежит на земле неподалеку от того места, где впервые увидел оленя, и его лошадь и собаки ждут его; он оглянулся и увидел, как солнце скрывается за горами. Юноша вернулся домой и прожил долгую жизнь, но ни разу с тех пор не поцеловал ни одну даму — ведь сама королева фей дарила ему поцелуи, и никогда не пил больше простого вина — ведь ему довелось испить зачарованного.

Иногда няня рассказывала мне сказки, услышанные от своей прабабушки, которая была очень старой и жила в домике на горе совсем одна, и большинство этих сказок были о холме, где давным-давно люди собирались по ночам, играли во всякие странные игры и делали необыкновенные вещи — так говорила няня, но я не могла понять, — а теперь, говорила она, все, кроме ее прабабушки, забыли обо всем этом и никто не знал, где был этот холм, даже ее прабабушка. Я вспомнила одну из тех странных историй и вздрогнула. Она рассказывала, что люди всегда приходили туда летом, в самую жару, и им надо

было много танцевать. Они дожидались темноты, причем деревья, которые там росли, еще сильнее затеняли все вокруг, и люди приходили один за другим с разных сторон по тайному проходу, о котором больше никто не знал. И двое оставались сторожить проход, а те, кто приходил снова, показывали очень необычный жест — няня показала мне его как могла, но сказала, что не может показать его как следует. Приходили самые разные люди, благородные и простолюдины, старики и дети, и даже совсем малыши, которые сидели и смотрели. И когда они приходили, внутри было темно, лишь в одном углу виднелись пылающие угли и вверх поднимался алый дым, сладкий и сильный запах которого заставлял людей смеяться. И так они все заходили внутрь, и когда входил последний — дверь исчезала и никто больше не мог попасть внутрь, даже если и знал, что внутри что-то есть. Однажды один странствующий господин, который ехал издалека, сбился с пути в темноте, и его лошадь завела его вглубь одичалой пустоши, где все было перевернутым, простирались ужасные болота и повсюду были огромные серые камни, и ямы под ногами, и деревья, похожие на виселицы, протягивавшие к нему свои длинные черные руки. И этот странствующий

господин очень испугался, и его лошадь начала дрожать с головы до пят — и наконец остановилась и ни в какую не желала тронуться с места. Тогда господин спешился и попытался повести лошадь под уздцы, но она все равно не тронулась с места, вся покрывшись пеной, будто мертвая. Тогда господин продолжил идти один, все дальше углубляясь в одичалую пустошь, пока не пришел в темное место, где он услышал крики, пение и плач, каких прежде никогда не слышал. Все эти звуки были совсем рядом, но он не мог никого найти, и тогда он начал кричать, и пока он кричал, что-то пронеслось позади него — и в одно мгновение его рот был заткнут, руки и ноги связаны, и он потерял сознание. А когда очнулся, оказалось, что он лежит у дороги, именно там, где в самом начале сбился с пути, под мертвым дубом с черным стволом, и лошадь его привязана рядом. Этот господин поехал в город и рассказал там об увиденном, и некоторые люди были удивлены, но другие поняли, что это было. Так что, когда все были внутри, дверь исчезала и никто больше не мог войти. И когда все были внутри, выстроившись в круг, прикасаясь друг к другу, кто-то первым начинал петь во тьме, а кто-то еще грохотать специальным инструментом, и

среди ясной ночи люди могли слышать громовые раскаты далеко за дикой пустошью, и те из них, кто полагал, будто знает, что это, чертили защитные знаки на груди, проснувшись в своей постели среди ночи от этого ужасного громкого звука, словно лавина сошла в горах. Шум и пение продолжались долго-долго, и люди, стоя по кругу, раскачивались из стороны в сторону и пели на очень старом языке, который теперь никто не знает, и напев этот звучал странно. Няня сказала, что ее прабабушка, когда была еще совсем маленькой, знала одного человека, кто немного помнил эту песню. Няня пыталась напеть мне ее, и это был столь странный напев, что я вся похолодела, как если бы коснулась мертвеца. Иногда пел мужчина, иногда женщина, и иногда они делали это так хорошо, что два-три человека падали на землю, крича и царапая себя. Пение продолжалось, и люди в круге раскачивались из стороны в сторону долго-долго, пока наконец луна не всходила над местом, которое они звали Толе Деол, освещая их, поющих и раскачивающихся из стороны в сторону, окутанных сладким дымом, исходящим от пылающих углей. Затем они ужинали. Девочка и мальчик подносили им еду: мальчик нес огромную чашу вина, а девочка

— хлеб, и люди передавали хлеб и вино по кругу, но на вкус они были совсем не такие, как обычные хлеб и вино, и навсегда меняли вкусивших их. После все они вставали и начинали танцевать, и тайные вещи вынимались из тайников, и они играли в необыкновенные игры, и кружились, кружились, кружились в танце в свете луны, и иногда люди внезапно исчезали — и больше никто никогда не слышал о них и не знал, что с ними происходило. И они снова пили вино, и делали идолов, которым поклонялись, и няня мне однажды показала, как делать идолов, когда на прогулке мы проходили мимо места, где было много влажной глины. Тогда няня спросила, не хочу ли я узнать, как выглядели те вещи, которые делали на холме, и я сказала да. Тогда она заставила меня пообещать, что я никому ни слова об этом не скажу, а если нарушу обещание, то меня бросят в черную яму с мертвецами, и я пообещала, что не скажу, а она трижды повторила то же самое — и я трижды обещала не говорить никому. Она взяла мою деревянную лопатку, накопала глины, сложила ее в мое жестяное ведерко и велела, если мы кого-нибудь встретим, говорить, что я напеку пирогов, когда вернусь домой. Мы прошли еще немного, пока не поравнялись с

небольшой рощицей у дороги. Тогда няня остановилась, огляделась по сторонам, заглянула за живую изгородь, за которой простирались поля на другой стороне, а потом велела: «Быстро!», и мы бросились в чащу и пробрались между кустами, пока не ушли достаточно далеко от дороги. Тогда мы уселись под кустом, и я очень хотела узнать, что няня собирается сделать с глиной, но сперва она заставила меня снова пообещать, что я никому не скажу ни слова, встала и осмотрелась сквозь заросли со всех сторон, хотя тропинка, по которой мы пришли, была такой маленькой и заросшей, что мало кто смог бы сюда пройти. И вот мы сели, няня достала из ведерка глину и начала месить ее руками, делать с ней странные вещи и переворачивать. Она спрятала ее под большим листом щавеля на минуту или две, а потом снова достала. Она вставала и садилась, и ходила особым образом вокруг глины, все время тихо напевая какой-то стишок, и лицо ее раскраснелось. Наконец она снова села, взяла глину в руки и начала лепить из нее что-то вроде куклы, но совсем не такую, как те, что были у меня дома. Из одной только влажной глины она сделала самую странную куклу, какую я только видела, и спрятала ее под кустом, чтобы она высохла и

затвердела, и все время, пока лепила, она продолжала напевать этот стишок себе под нос, а лицо ее краснело сильнее и сильнее. Мы оставили куклу там, спрятанную в кустах, где никто не смог бы ее найти. А спустя несколько дней мы снова пошли на прогулку, и когда подошли к небольшой темной роще, где кусты подступали к дороге, няня снова заставила меня пообещать все то же самое и так же огляделась по сторонам, и мы пробрались через заросли до того места, где среди зелени был спрятан глиняный человечек. Я так хорошо все это помню, хотя мне тогда было восемь лет, и восемь лет прошло с тех пор. Небо было глубокого фиолетово-синего цвета, и в центре рощи, где мы сидели, росла большая бузина, покрытая цветами, а на другой стороне — заросли таволги, и когда я думаю о том дне, запах бузины и таволги словно наполняет комнату, и, закрыв глаза, я могу увидеть сияющее синее небо с проплывающими по нему белоснежными облачками и сидящую напротив няню, давно уже ушедшую, и она выглядит точь-в-точь как та белая дама из леса. Итак, мы сели, и няня достала глиняную куклу из потайного места, где она была спрятана, и сказала, что мы должны «почтить» ее, — она покажет, что делать, а я должна смотреть, не отводя

глаз. Она продела всевозможные странные вещи с глиняным человечком, и я заметила, что она вся обливалась по́том, хотя мы шли очень медленно, а после она сказала мне «почтить» куклу, и я повторила все то, что делала она, потому что няня нравилась мне, а эта игра была такой необычной. Она сказала, что этот человечек поможет, если кого-то сильно полюбишь, — надо проделать с ним определенные обряды; если кого-то сильно возненавидишь, он тоже поможет, только обряды должны быть другими. Мы играли с ним долго-долго, придумывая всевозможные вещи. Няня сказала, что это ее прабабушка поведала ей о таких фигурках, но то, что мы делаем, никому не вредит, это всего лишь игра. Но история, которую она рассказала, сильно меня напугала, и я вспомнила ее в ту ночь, когда лежала без сна в своей комнате в бледной пустой темноте, размышляя о том, что я видела в тайной роще.

Няня рассказала, что когда-то в большом замке жила молодая леди из высшего дворянства. И она была так красива, что все джентльмены хотели жениться на ней, потому что она была самой красивой дамой, которую кто-либо когда-либо видел, и она была добра ко всем, и все думали, что она очень хорошая. Но хотя она и была вежлива

со всеми джентльменами, желающими на ней жениться, она отвергала их и говорила, что не может решить и не уверена, что вообще хочет замуж. И ее отец, который был очень знатным лордом, рассердился, хотя и сильно любил ее, и спросил ее, почему бы ей не выбрать хоть одного из тех красивых молодых людей, которые пришли в замок. Но она сказала только, что не любит никого из них настолько сильно и что она должна подождать, а если они будут настаивать, то она пострижется в монахини. Тогда джентльмены сказали, что они уйдут на год и один день, а когда год и один день пройдут, они вернутся и спросят, за кого из них она выйдет замуж. Итак, день был назначен, и они все покинули замок, а леди пообещала, что через год и один день будет ее свадьба с одним из них. Но на самом деле она была королевой тех людей, что танцевали на холме летними ночами, и в положенные ночи она запирала дверь своей комнаты, и вместе со своей служанкой тайком ускользала из замка по проходу, о котором знали только они, и уходила на холм в одичалой пустоши. И она знала о тайных вещах больше, чем кто-либо другой, и больше, чем кто-либо знал до или после, потому что она никому не открывала самых сокровен-

ных тайн. Она знала, как делать ужасные вещи, как уничтожить юношу, как проклясть человека — и многое другое, чего я не могла понять. И хотя ее настоящее имя было леди Эвелин, танцующие люди звали ее Кассап — это значит «кто-то очень мудрый» на одном из древних языков. И была она белее их всех и выше, и глаза ее сияли в темноте, как горящие рубины; и она могла петь песни, которые никто другой не мог петь, и когда она пела, все падали ниц и поклонялись ей. И она умела делать то, что они называли шиб-шоу, — самое чудесное заклинание. Она говорила знатному лорду, своему отцу, что хочет пойти в лес собирать цветы, и он отпускал ее, и она со своей служанкой шла в лес, куда никто не ходил, а служанка караулила ее. Тогда леди Эвелин ложилась под деревья и начинала петь определенную песню, и она протягивала руки, и со всех концов леса сползались огромные змеи, шипя и скользя между деревьями, и, выпуская свои раздвоенные языки, подползали к ней. И все они приползали и обвивались вокруг нее, вокруг ее тела, и ее рук, и ее шеи, пока извивающиеся змеи не покрывали ее полностью, так что оставалась видна только ее голова. И она говорила с ними, и пела им, и они извивались вокруг и вокруг, все быстрее и

быстрее, пока она не приказывала им уйти. И все они тотчас уползали обратно в свои норы, а на груди у нее оставался самый необычный красивый камень, по форме напоминающий яйцо и окрашенный в синий и красный, желтый и зеленый, с отметинами, похожими на змеиную чешую. Его называли «глейм-камень», и с ним можно было творить всякие чудеса, и няня сказала, что ее прабабушка видела собственными глазами глейм-камень, и он блестел ярче всего в мире и был покрыт чешуей, как змея. И эта леди могла делать очень много подобного, но она твердо решила, что не выйдет замуж. И было очень много джентльменов, которые хотели на ней жениться, но самыми главными были пятеро из них: сэр Саймон, сэр Джон, сэр Оливер, сэр Ричард и сэр Роланд. Все поверили, что леди сказала правду и действительно выберет одного из них себе в мужья спустя год и один день, и только сэр Саймон, очень умный, заподозрил, что она обманывает их, и поклялся следить за ней и попытаться вызнать правду. Он притворился, что, как и остальные, не станет возвращаться в замок год и один день, и заявил, что отправляется далеко за море, в другие страны. Но на самом деле он отъехал совсем недалеко — и вернулся в

замок, переодевшись в служанку, и был принят посудомойкой (хотя он был мудр не по годам, его молодое гладкое лицо походило на девичье). И он ждал и смотрел, слушал и молчал, прятался в темных углах и вставал среди ночи — и был настороже. И он слышал и видел такие вещи, которые показались ему весьма странными. И так он был хитер, что открылся горничной, сказав, будто бы переоделся в девушку, потому что любит ее и хочет быть с ней рядом, и польщенная горничная выдала ему множество секретов, и он больше прежнего уверился в том, что леди Эвелин обманывает его и всех остальных. И так он был умен, и так хитроумно лгал горничной, что однажды сумел спрятаться в спальне леди Эвелин за занавесками. И он стоял тихо и неподвижно — и наконец дождался ее появления. Она наклонилась, приподняла камень под кроватью и из тайника под ним достала восковую куклу, точь-в-точь такую, как мы с няней делали в чаще. И все это время глаза леди горели как рубины. Она достала маленькую восковую куклу и прижала ее к груди, она шептала и бормотала, и она брала ее и клала обратно, поднимала вверх и опускала вниз, и снова клала обратно. И она сказала: «Блажен тот, кто породил епископа,

который рукоположил священника, который обвенчал мужчину, который женился на женщине, которая сделала улей, в котором поселилась пчела, которая собрала воск, из которого сделан мой истинный возлюбленный». И она достала из шкафа большую золотую чашу, принесла большой кувшин вина из кладовой, налила немного в чашу — и с огромной нежностью положила куколку в вино и обмыла ее со всех сторон. Затем она открыла буфет, достала маленький круглый пирог и приложила его к губам куколки, а затем бережно отнесла ее на кровать и накрыла одеялом. И хотя сэр Саймон был ужасно напуган, он смотрел не отрываясь — и видел, как леди поклонилась и протянула руки, шепча и напевая, и как рядом с ней появился прекрасный юноша, который поцеловал ее в губы. И они вместе пили вино из золотой чаши и вместе ели пирог. Но когда поднялось солнце, юноша исчез; осталась лишь маленькая восковая кукла, и леди снова спрятала ее в тайник под кроватью. Итак, сэр Саймон прекрасно знал, что представляет собой эта леди, и ждал и наблюдал, пока время, которое она назвала, почти не истекло и через неделю исполнился бы год и один день. И однажды ночью, спрятавшись за занавесками в ее комнате, он

увидел, как она сделала еще пять восковых кукол и спрятала их. А на следующую ночь она достала одну из них, наполнила золотую чашу водой и, взяв куклу за шею, держала ее под водой. А после произнесла:

Сэр Дикон, твой век сочтен,
Спишь на дне ты вечным сном.

И на следующий день в замок принесли весть, что сэр Ричард утонул, переправляясь через реку. А ночью она достала другую куклу и повесила ее на гвоздь, повязав на шею фиолетовый шнурок. А после произнесла:

Сэр Роланд, твой пришел конец:
Висит на дереве мертвец.

И на следующий день в замок принесли весть, что сэр Роланд был повешен грабителями в лесу. А ночью она достала другую куклу и вонзила ей кинжал прямо в сердце. А после произнесла:

Сэр Нолл, сэр Нолл, кончайте жить,
Кинжал вам в грудь пора всадить.

И на следующий день в замок принесли весть, что сэра Оливера незнакомец заколол ножом во время драки в таверне. А ночью она достала

другую куклу, держала ее над горящими углями, пока та не расплавилась. А после произнесла:

Сэр Джон, вернись, стань прахом вновь,
Пусть жар твою иссушит кровь.

И на следующий день в замок принесли весть, что сэр Джон неожиданно скончался от лихорадки. Тогда сэр Саймон покинул замок, оседлал лошадь и поскакал к епископу — и рассказал ему все. Епископ послал своих людей, и они схватили леди Эвелин, и открылось все то, что она совершила. И когда истекли год и один день, в тот день, когда она должна была выйти замуж, ее протащили через весь город в одной рубашке, привязали к большому столбу на рыночной площади и живьем сожгли перед лицом епископа, вместе с восковой куклой, висевшей у нее на шее. И люди говорили, что восковой человечек кричал, сгорая в пламени. И я думала об этом снова и снова, пока лежала без сна в своей кровати, и мне казалось, что я вижу леди Эвелин на рыночной площади и вижу, как желтые языки пламени пожирают ее прекрасное белое тело. И я думала об этом так долго, что словно бы сама попала в эту историю, и представляла, что я и есть леди и что за мной пришли, чтобы сжечь заживо на

глазах у всех жителей города. И я гадала, было ли ей страшно после всех тех странных вещей, которые она делала, и насколько больно сгореть у столба. Я снова и снова пыталась забыть нянину сказку и вспомнить тот секрет, что открылся мне днем, и что было в тайной роще, но я могла лишь видеть темноту и сияние в темноте, а затем я убегала и видела лишь, как я бегу, а большая луна восходит над темным круглым холмом. Потом мне вспомнились все старые сказки и странные песенки, которые пела мне няня; и была среди них одна, начинающаяся с «Холзи прекрасная, Хелен ужасная», которую она очень тихо напевала, когда хотела, чтобы я заснула. И я начала напевать ее себе в голове — и уснула.

На следующее утро я была очень сонная и уставшая, и толком не могла заниматься, и очень обрадовалась, когда уроки закончились и пришло время обедать, потому что я хотела пойти на прогулку и остаться одна. Был теплый день, и я пошла на красивый холм, покрытый дерном, и села на старую мамину шаль, которую специально взяла с собой. Как и вчера, небо было серым, но сквозь облака просачивалось белое сияние, и с того места, где я сидела, я могла видеть весь город — тихий, спокойный и белый, словно на-

рисованный. Я вспомнила, что на этом холме няня научила меня играть в одну старую игру под названием «Троя», в которой надо танцевать и извиваться особым образом в траве, и если протанцевать так достаточно долго, то будешь отвечать на заданные тебе вопросы, хочешь того или нет, и, что бы тебе ни сказали делать, ты будешь вынужден исполнить. Няня говорила, что раньше много было подобных игр, о которых немногие знали, и была такая, при помощи которой можно было превращаться в кого угодно, и ее прабабушка, когда была маленькой, видела одного старика, который знал девушку, превратившуюся в большую змею. А еще была другая очень старая игра, где надо было танцевать, извиваться и переворачиваться; с помощью этой игры можно было забрать у человека душу и не возвращать так долго, как захочешь, а его тело будет ходить пустым и бесчувственным. Но я пришла сюда подумать о том, что произошло вчера, и о тайной роще. С того места, где я сидела, я могла видеть далеко вокруг, даже расщелину за городом, которую я нашла, — там маленький ручеек привел меня в неизведанную местность. Я представила, будто я снова иду вдоль него, и прошла в голове весь путь, и наконец нашла

рощу, и пробралась в нее сквозь кусты, и тогда в сумерках я увидела то, отчего словно бы наполнилась огнем изнутри, словно я хотела танцевать, и петь, и взлететь в воздух — от того, как я изменилась и стала необыкновенной. Но мое видение нисколько не изменилось и не потускнело, и я снова и снова гадала, как такое могло произойти. Неужели нянины сказки были правдивы, потому что днем на открытом воздухе все казалось совсем не таким, как ночью, когда я была напугана и думала, что меня сожгут заживо? Я однажды рассказала папе одну из ее сказок — ту, что была о привидении, — и спросила, правда ли это, а он ответил, что это полная чушь и только простые необразованные люди могут верить в подобный вздор. Он очень разозлился на няню за то, что она рассказала мне эту сказку, и отчитал ее, а после я поклялась ей, что никогда ни слова не скажу никому о том, что она мне рассказывает, а если нарушу обещание, то пусть меня искусает большая черная змея, живущая в лесном пруду. И в полном одиночестве на холме я гадала, что же было реальным. Я видела что-то совершенно необыкновенное и невероятно прекрасное, я знала такую сказку, и если я на самом деле это видела, а не придумала, насмотревшись на темноту,

черные ветки и сияние, озаряющее небо из-за большого круглого холма, но видела по правде — значит, и все остальные чудесные, прекрасные и ужасные вещи существуют, и от этой мысли я замирала и дрожала и меня бросало то в жар, то в холод. И я смотрела вниз на город, такой тихий и спокойный, будто маленькая белая картинка, и думала снова и снова, может ли это быть правдой. Я долго ничего не могла решить; странный трепет в моем сердце, казалось, все время нашептывал, что это вовсе не выдумка, — и все же это казалось настолько невозможным, и я знала, что отец и все остальные сказали бы, что это ужасный вздор. Мне и в голову не пришло сказать ни ему, ни кому-то другому хоть слово об этом, потому что я знала, что это бесполезно — надо мной только посмеются или наругают, — так что я долго ходила тихая и задумчивая, и по ночам мне часто снились удивительные вещи, и иногда я просыпалась утром и в слезах протягивала к ним руки. Но мне было и страшно тоже, потому что повсюду таились опасности и со мной могло случиться что-то ужасное, если я не буду очень осторожна, если верить сказкам. Эти старые сказки постоянно вертелись у меня в голове, ночью и утром, я вспоминала их и рассказывала самой

себе снова и снова, и ходила гулять в те места, где няня мне их рассказывала; и, сидя у огня в детской по вечерам, я представляла, что няня сидит в кресле и рассказывает мне сказку тихим голосом, боясь, как бы кто не подслушал. Но чаще всего она рассказывала мне об этих вещах, когда мы были на прогулке, далеко от дома, потому что она говорила, что это очень тайные вещи, а у стен есть уши. А когда няня хотела рассказать что-то еще более тайное, мы прятались в роще или в лесу, и мне казалось очень веселым осторожно пробираться вдоль живой изгороди, а когда нас точно никто не видит, неожиданно прятаться в кустах или убегать в лес. Так мы могли не сомневаться, что наши секреты останутся только нашими и никто другой их не узнает. Время от времени, когда мы так прятались, она показывала мне самые разные странные вещи. Помню, однажды мы были в орешнике возле ручья, и там было очень уютно и тепло, хотя на дворе стоял апрель. Солнце уже пригревало, и свежие листочки начали распускаться. Няня сказала, что покажет мне одну забавную вещь, которая меня развеселит, и, как и обещала, показала, как перевернуть вверх дном весь дом, да так, чтобы никто не догадался, что это твоя работа, и чайник

и чашки будут кружиться в танце, от фарфора останутся лишь осколки, а стулья сами собой начнут кувыркаться. Однажды я испробовала этот способ на кухне и обнаружила, что у меня неплохо получается, ведь с комода упала целая стопка тарелок, а маленький рабочий столик кухарки наклонился и перевернулся «прямо у нее на глазах», как она говорила, но она так испугалась и так побелела, что я больше этого не делала, ведь она мне нравилась. Там же, в зарослях орешника, где няня научила меня, как заставить вещи кувыркаться, она показала мне, как вызвать стуки и поскрипывания, и этому я тоже научилась. Еще она научила, какие стихи произносить в одних случаях и какие делать знаки в других, и другим вещам, которым ее научила прабабушка, когда няня сама была маленькой девочкой.

И обо всех этих вещах я думала в те дни после своей странной прогулки, на которой, как мне казалось, я увидела великую тайну, и мне хотелось, чтобы няня была рядом и я могла бы расспросить ее об этом, но она ушла больше двух лет назад, и никто не знал, куда и что с ней сталось. Но я буду всегда помнить те дни, как бы долго я ни прожила, потому что я все время чувствовала себя настолько странно, неуверенной

и полной сомнений — а потом вдруг приходила уверенность и все вставало на свои места, но после я снова думала, что такого не могло быть в реальности, — и все начиналось снова. Но я была очень осторожна и не делала тех вещей, которые могли быть опасными. И так я ждала и гадала очень долго, и, хотя ни в чем не была уверена, я так и не осмелилась проверить. Но однажды я полностью уверилась в том, что все рассказанное няней — правда, и я была одна, когда поняла это. Я вся задрожала от радости и ужаса, и бросилась бежать со всех ног к старой чаще, куда мы раньше ходили, той самой, у дороги, где няня слепила из глины человечка, и я прибежала туда, пробралась сквозь заросли, и когда дошла до бузины, то закрыла глаза ладонями и легла плашмя на траву, и лежала так без движения два часа, шепча самой себе сладостные и ужасные вещи и произнося определенные слова снова и снова. Все было на самом деле, чудесное и великолепное, и, когда я вспомнила ту сказку и что я видела на самом деле, меня бросило в жар и в холод и воздух, казалось, наполнился ароматом цветов и пением. Первым делом я захотела сделать глиняного человечка, как няня много лет назад, и мне надо было все спланировать и продумать, быть

осторожной и предусмотрительной, потому что ни одна живая душа не должна была догадаться о том, что я делала или собиралась делать, а я была уже слишком взрослой, чтобы носить глину в жестяном ведерке. Наконец я придумала план, и принесла в рощу влажной глины, и сделала все так же, как няня, только вот мой человечек получился куда симпатичнее, чем тот, которого сделала она. Когда все было готово, я проделала все, что только могла вообразить, — намного больше, чем няня, потому что это было подобие чего-то большего. А несколько дней спустя, когда я закончила уроки раньше обычного, я снова пошла тем путем, которым маленький ручеек привел меня в странную местность. И я прошла вдоль ручья, и сквозь кусты, и под низко вися-щими ветвями деревьев, и вверх через колючие заросли на холме, и через темный лес, полный ползучих шипов, — долгий-долгий путь. После я пробралась через темный тоннель, где было пе-ресохшее русло ручья и земля была каменистой, пока я не пришла к зарослям, взбирающимся на холм, и, хотя листья уже начали распускаться на деревьях, все выглядело почти таким же черным, как в первый раз. И заросли были точно такими же, и я медленно пробиралась среди них, пока

не вышла на большую проплешину на вершине холма, и пошла мимо необычных камней. Я снова видела повсюду следы вуров; хотя небо и было ярче, кольцо холмов осталось столь же темным, и свисающие деревья выглядели черными и страшными, и странные камни ничуть не стали светлее; и когда я взглянула на них, сидя на камне на вершине большого кургана, я снова увидела, как они складываются в необыкновенные круги и круги внутри кругов, и, сидя совершенно неподвижно, я смотрела, как они начинают вращаться вокруг меня и приплясывать на месте — все быстрее и быстрее, словно гигантский вихрь среди звезд, и я слышала, как они свистят в воздухе. И я спустилась к камням, чтобы танцевать с ними и петь необыкновенные песни, и прошла через другие заросли, и пила из сияющего потока, протекающего по дну лощины, опуская губы в бурлящую воду; а после дошла до глубокого, полного до краев водоема среди сверкающего мха и села рядом. Передо мной темнела тайная лощина, а позади была огромная стена травы, и меня окружали висячие леса, делавшие лощину столь таинственным местом. Я знала, что здесь нет никого, кроме меня, и никто меня не увидит. Так что я сняла башмаки и чулки и

опустила ступни в воду, произнося известные мне слова. И неожиданно для меня она оказалась совсем не холодной, но теплой и очень приятной, и струилась по моим ногам, словно тончайший шелк или словно губы нимфы, ласкающие кожу. Насладившись этим, я произнесла другие слова и сделала знаки, и после вытерла ноги полотенцем, которое специально взяла с собой, надела чулки и башмаки. После я взобралась на крутую стену и спустилась в пустошь, где были ямы, и два прекрасных кургана, и земляные валы, и все столь странной формы. Я не стала в этот раз спускаться в яму, но, пройдя до конца, обернулась — и, поскольку было светлее, отчетливо увидела фигуры и вспомнила, что в той сказке, которую я почти забыла, эти фигуры звались Адам и Ева, и лишь те, кто знал эту сказку, понимали, что они означают. И так я шла и шла, пока не пришла к тайной роще, которую нельзя описывать, и пробралась внутрь тем путем, который нашла в прошлый раз. Пройдя половину пути, я остановилась, развернулась и подготовилась к тому, что ждало впереди, завязав глаза старым шелковым платком, красным с большими желтыми пятнами. Мне пришлось дважды обернуть его вокруг головы, чтобы я ничего не смогла увидеть:

ни ветки, ни листика, ни неба. Затем я пошла дальше — очень медленно, шаг за шагом. Мое сердце билось все быстрее, и комок подступал к горлу и душил меня, и мне хотелось кричать, но я сжала губы и шла дальше. Я шла, и ветки дергали меня за волосы, а колючки впивались в тело, но я дошла до конца пути. Тогда я остановилась, протянула руки и поклонилась, и я обошла на ощупь это место по кругу, но ничего не нашла. Тогда я обошла его на ощупь по кругу второй раз, но ничего не нашла. Тогда я пошла по кругу на ощупь в третий раз, и сказка оказалась правдивой, и мне хотелось, чтобы не было этих лет, этого долгого времени, пока я ждала своего беспредельного счастья.

Няня, наверное, была пророком, как те, о которых написано в Библии. Все, что она рассказывала, начало сбываться, и с тех пор произошло еще много того, о чем она говорила. Так я выяснила, что все ее истории были правдой и я не выдумала все эти тайны.

Но было еще кое-что, что случилось в тот день. Я вернулась в таинственную лощину. И когда я склонилась над глубоким, полным до краев водоемом среди сверкающего мха, мне открылось, кто та белая леди, которую я видела выходящей

из пруда в лесу, когда была совсем маленькой. И я вся задрожала, потому что это знание открыло мне и другие вещи. Тогда я вспомнила, как некоторое время спустя после того, как я видела белых людей в лесу, няня расспрашивала меня про них, и я снова все ей рассказала, а она выслушала и долго-долго молчала, а потом наконец сказала: «Ты ее еще увидишь». Так я поняла, что произошло и что произойдет. Я поняла, кто такие нимфы, и что их можно встретить повсюду, и они всегда придут мне на помощь, и я всегда должна искать их и находить в самых странных фигурах и обличьях. И без нимф я бы никогда не смогла найти эту тайну, и ничего другого бы не случилось. Няня рассказывала мне о них давным-давно, но она иначе их называла, и я не понимала, что она имеет в виду и что означали сказки про них, и они казались мне очень странными. Есть два вида нимф, светлые и темные, и те и другие очень красивые и чудесные, и некоторые люди видят только светлых, а другие только темных, но есть те, кто видит и тех и других. Но обычно первыми появляются темные, а уже после приходят светлые, и есть необыкновенные сказки о них. Прошел день или два с тех пор, как я вернулась из тайного места, где я впервые узнала

о нимфах. Няня показывала мне, как позвать их, и я пробовала, но не понимала, что она имела в виду, и думала, что это все глупости. Но я решила попробовать снова — и отправилась в лес, к тому пруду, где я видела белых людей, и я позвала. Пришла темная нимфа Аланна и превратила воду в пруду в огонь…»

Эпилог

— Очень странная история, — сказал Котгрейв, возвращая зеленую книгу отшельнику Амброузу. — Я вижу общее направление, но есть много вещей, которых я совсем не понимаю. На последней странице, например, что она имеет в виду под «нимфами»?

— Полагаю, в рукописи есть отсылки на определенные «методики», которые передавались в традиции из уст в уста через века. Некоторые из этих методик только начинают попадать в поле зрения науки, которая подошла к ним — или, вернее, к тем ступеням, которые к ним ведут — совсем другими путями. Я истолковал ссылку на «нимф» как ссылку на одну из этих методик.

— И вы верите, что такие вещи существуют?

— О, думаю да. Да, я полагаю, что мог бы дать вам убедительные доказательства на этот счет.

Боюсь, вы пренебрегли изучением алхимии? Жаль. Ее символика, несмотря ни на что, очень красива; кроме того, если бы вы были знакомы с некоторыми книгами по этому предмету, я мог бы напомнить вам отрывки, многое объясняющие в рукописи, которую вы прочли.

— Да, но я хотел бы знать, действительно ли вы думаете, что под этими фантазиями есть какая-то фактическая основа. Разве это не удел поэзии — странные мечтания, которыми тешит себя человек?

— Могу лишь сказать, что большинству людей, без сомнения, лучше считать это мечтаниями. Но если вы спросите о том, во что я на самом деле верю, то это совсем другое дело. Нет; я бы сказал не верю, а скорее знаю. Могу вас заверить, что мне известны случаи, когда люди совершенно случайно натыкались на некоторые из этих «методик» и были поражены абсолютно неожиданными результатами. В случаях, о которых я говорю, не могло быть никакой возможности внушения или подсознательного действия любого рода. С тем же успехом можно было бы предположить, что школьник «внушает» себе существование Эсхила, механически перебирая склонения… Но вы заметили недомолвки, — продолжал Амбро-

уз, — и в данном конкретном случае они, должно быть, продиктованы инстинктом, поскольку писательница никогда не думала, что ее рукописи попадут в чужие руки. Но сама практика повсеместна по самым убедительным причинам. Сильнодействующие и наиболее эффективные лекарства, которые неизбежно являются и сильнодействующими ядами, хранятся в запертом шкафу. Ребенок может случайно найти ключ и отравиться; но в большинстве случаев поиск ведется целенаправленно, и для того, кто терпеливо создает свой ключ, склянки полны чудодейственных эликсиров.

— Вы не хотите вдаваться в подробности?

— Нет, честно говоря, не хочу. Лучше продолжайте сомневаться. Но вы поняли, как рукопись иллюстрирует нашу беседу на прошлой неделе?

— Эта девушка еще жива?

— Нет. Я был среди тех, кто нашел ее. Я хорошо знал ее отца; он был юристом и не слишком-то ею занимался. Он не думал ни о чем, кроме купчих и арендных договоров, и это стало для него ужасной неожиданностью. Однажды утром она пропала. Полагаю, это произошло примерно через год после того, как она написала то, что вы прочли. Позвали слуг, и те рассказали многое,

придав всему понятную им интерпретацию — совершенно ошибочную. Где-то в ее комнате нашли зеленую книгу, и в том месте, которое она с таким трепетом описывала, я и нашел ее распростертой перед идолом.

— Перед идолом?

— Да, он был скрыт среди шипов и густого подлеска, окруживших его. Это была дикая, пустынная местность; но вы читали ее описание, хотя, конечно, понимаете, что она сгустила краски. Детское воображение всегда делает горы круче, а ямы глубже, чем на самом деле, а она, к ее несчастью, обладала чем-то бóльшим, чем простое воображение. Картина, которую она описала при помощи слов, могла бы явиться талантливому художнику. Но это действительно странная, пустынная местность.

— И она была мертва?

— Да. Она отравилась — и вовремя. Нет, в обычном смысле ее упрекнуть не в чем. Возможно, вы помните историю, которую я рассказал вам на днях: о даме, которая увидела, как оконная рама раздавила пальцы ее ребенка.

— А что это была за статуя?

— Это было изваяние римской работы, камень с веками не почернел, а, наоборот, стал белым и си-

яющим. Вокруг него выросла чаща и скрыла его, и в Средние века последователи очень древней традиции знали, как использовать его в своих целях. На самом деле оно было частью чудовищной мифологии ведьминского шабаша. Вы ведь заметили, что те, кто случайно или, скорее, по кажущейся случайности удостоился созерцания этой сияющей белизны, должны были завязывать себе глаза, приходя к ней во второй раз. Это очень важно.

— Идол все еще там?

— Я послал за инструментами, и мы разбили его на мелкие кусочки… Меня совершенно не удивляет живучесть традиции, — продолжил Амброуз после паузы. — Я мог бы назвать много английских приходов, где традиции, о которых эта девочка слушала в детстве, все еще существуют — хоть и тайно, но неизменно. Нет, для меня странной и величественной является сама история, а не ее продолжение, потому что я всегда верил, что чудо рождается в душе.

Перевод Марии Таировой(под редакцией Григория Панченко)



Фитц-Джеймс О’Брайен



Фитц-Джеймс О’Брайен (Fitz-James O'Brien, 1828–1862) был ирландским и американским автором, который творил в жанре мистики и такой фантастики, которая в его время считалась научной… но сейчас с этим согласятся немногие. Он погиб, сражаясь в Гражданской войне за Север против рабовладельческих штатов. В Ирландии О’Брайен вел «жизнь джентльмена», а карьеру писателя (очень успешную) начал после того, как растратил доставшуюся ему долю семейного капитала. Несмотря на краткий срок литературной работы, О’Брайен внес огромный вклад в развитие сразу нескольких молодых и перспективных направлений, поскольку его творчество находилось на стыке между традиционными «сказками» и современными «короткими рассказами». Его совершенно оригинальные истории включали в себя загадочных персонажей, страстных рассказчиков, а порой (хотя, возможно, об этом не стоит сейчас говорить) — эротические фантазии, более смелые, чем позволяли себе большинство литераторов той эпохи. Наиболее известные рассказы О’Брайена: «Алмазная линза» (1858), «Что это было?» (1859) и «Загадочный кузнец» (1859).

Фитц-Джеймс О’Брайен был (и считал себя) прежде всего поэтом, но в историю англоязыч-

ной литературы вошел главным образом как новеллист, автор уникальных в своем роде фантастических и «страшных» историй. Более того, некоторые исследователи считают его чуть ли не родоначальником современной научной фантастики. С этим тезисом можно спорить, но отрицать тот факт, что некоторые из расхожих фантастических сюжетов восходят именно к его рассказам, не стоит.

Писатель, ирландец по крови и происхождению, родился в городе Корк на юге Ирландии, но своей родиной считал графство Лимерик в центральной части страны. Его отец был юристом, дед — крупным торговцем, семья была состоятельной, и будущий литератор получил хорошее образование — сначала домашнее, затем поступил в Дублинский университет (знаменитый Колледж Святой Троицы). Судя по всему, в семье его баловали, рос он ребенком капризным и своенравным. В то же время был очень общительным, легко сходился с людьми. Стихи начал сочинять подростком и довольно рано уверовал в свой поэтический дар. В университете оказался в кругу таких же, как и он, «непризнанных дарований», сочинял (и публиковал) стихи, вел богемный образ жизни и (увы!) пристрастился

к алкоголю. Окончание университета совпало с совершеннолетием, изрядным наследством (8000 фунтов — огромные по тем временам деньги!) и переездом в Лондон. В столице империи О'Брайен продолжил богемное существование, состояние быстро улетучилось, и ему пришлось «заняться делом» — стать журналистом и театральным критиком. Но особых лавров не снискал, едва сводил концы с концами и, отчаявшись, решился на эмиграцию в Соединенные Штаты. Наслушавшись заманчивых историй, он отправился на Дальний Запад, в Калифорнию, где в самом разгаре была «золотая лихорадка». Но увы, вопреки слухам, золотые самородки вовсе не валялись под ногами — извлечь их на поверхность требовало большой удачи, изрядной физической силы и немалого трудолюбия. Пришлось О'Брайену свернуть на знакомую стезю — вернуться к журналистике. К сожалению, и тут он не преуспел: рафинированному британцу (так он воспринимал себя сам и виделся калифорнийцам; кстати, именно здесь «обычный» Джеймс превратился в аристократического Фитц-Джеймса) грубые местные нравы (в том числе в журналистике) претили, и вскоре он перебрался на Восток, обосновавшись в Нью-Йорке. Этот период хорошо известен благодаря книге

нью-йоркского друга писателя Уильяма Винтера, собравшего не только его стихотворения и рассказы, но и воспоминания тех, кто был с ним тогда близок[51]. Позднее — уже в 1960-е — специальную главу писателю посвятила Эмили Хан в своей «Неформальной истории богемы в Америке»[52]. В Нью-Йорке пробил «звездный час» Фитц-Джеймса О'Брайена: он много печатался в ведущих литературных журналах того времени (включая респектабельные *Harper's Magazine, Vanity Fair u Atlantic Monthly*), относительно безбедно существуя на литературные доходы, и вел тот образ жизни, к которому привык еще в Лондоне. Хотя фантастические рассказы он начал сочинять еще в Англии, главные свои тексты создал в Нью-Йорке, во второй половине 1850-х — начале 1860-х гг., в том числе и так восхищавшие Г. Ф. Лавкрафта новеллы «Алмазная линза» и «Что это было?».

Когда в 1861 году в США началась Гражданская война Севера и Юга, О'Брайен немедленно

---

[51] Примечания: 51

Winter W. The Poems and Stories of Fitz-James O'Brien. Boston: James R. Osgood and Co., 1881. P. 15–74.

[52] Примечания: 52

Hahn E. Romantic Rebels. An Informal History of Bohemianism in America. Boston: Houghton Mifflin Co., 1967. P. 30–36.

откликнулся на призыв А. Линкольна к добровольцам и вступил в армию. Как человека образованного, к тому же литератора, его назначили адъютантом при штабе бригады генерала Ф. Ландера и присвоили офицерское звание 2-го лейтенанта. О войне писатель имел самые поверхностные представления и рвался в бой. В случайной стычке с конфедератами в феврале 1962 года он был ранен в плечо. Рана не была тяжелой, но оказалась инфицированной. Спасти не смогли — он скончался в апреле того же года в госпитале.

Подданный королевы Виктории ирландский джентльмен Майкл О'Брайен за 33 года своей жизни и американский писатель Фитц Джеймс О'Брайен (в которого превратился Майкл после эмиграции) за десять лет своей литературной карьеры совместно успели не так уж много в количественном отношении; но в качественном они, безусловно, обогнали свое время. Достаточно сказать, что «Что это было?» — не только рассказ в жанре ужасов и неведомого, но вообще первая в мире история о невидимости: до «Человека-невидимки» Уэллса целых 38 лет! А ведь есть у О'Брайена еще и рассказ «Алмазная линза», с описанием микроскопических разумных существ,

видимых только через усовершенствованный объектив микроскопа (в 1858 г.!), и «Чудесный кузнец», повествующий о такой современной теме, как бунт машин (в 1859 г.!)… Словом, можно только гадать, каких вершин достиг бы этот совершенно необычный автор, если бы в 1862 г. не погиб, сражаясь за Северные штаты в американской Гражданской войне.

А. Б. Танасейчук

Что это было?

Признаюсь, я испытываю изрядное волнение, начиная сей странный рассказ. События, о которых я намереваюсь поведать, имеют столь исключительный и неслыханный характер, что я готов встретить величайшей степени недоверие и вызвать насмешки. Я принимаю их заблаговременно и надеюсь, что обладаю словесной храбростью для встречи со скептицизмом. После тщательного обдумывания я решился описать в предельно простой и открытой форме некоторые факты, которым я явился свидетелем в июле сего года и которые не имеют подобия в анналах естественных наук.

Я живу в доме №*** по Двадцать шестой улице, в этом городе. Дом этот в некотором отношении любопытен. В последние два года он пользовался репутацией здания, населенного призраками. Огромный и представительный, некогда он был окружен садом, теперь же возле него лишь зеленый дворик, в котором занимаются отбеливанием одежды. Пересохшая чаша находившегося здесь прежде фонтана и несколько неухоженных фруктовых деревьев свидетельствуют о том, что

в былые дни это место представляло собой приятное тенистое убежище, где росли фрукты, цветы и слышалось журчание воды.

Сам дом весьма просторен. Холл выдающихся размеров ведет к широкой винтовой лестнице, закручивающейся вокруг своей оси; покои также имеют внушительные площади. Он был построен пятнадцать — двадцать лет тому назад мистером А***, широко известным нью-йоркским предпринимателем, уже пять лет как оставившим мир коммерции в судорогах грандиозных банковских махинаций. Мистер А***, как все слышали, сбежал в Европу и вскоре скончался от сердечной болезни. После того как весть о его кончине достигла страны и получила подтверждение, по Двадцать шестой улице мгновенно распространилась молва о том, будто в доме №*** живет призрак. Суд лишил собственности вдову бывшего владельца, и теперь в доме жил лишь смотритель с женой, нанятый жилищным агентом, в чьи руки дом перешел для сдачи в аренду или продажи. Эти люди заявили, что их беспокоили неестественные шумы. Двери открывались без какого-либо видимого воздействия. Оставшиеся в доме предметы мебели, поставленные в разных комнатах, за ночь оказывались сваленными в ку-

чу неведомыми силами. А в светлое время суток по лестнице вверх-вниз ходили невидимые ноги, их шаги сопровождались шорохом недоступных взору шелковых одежд и скольжением незримых рук по массивной балюстраде. Смотритель и его жена заявили, что не останутся здесь долее. Жилищный агент посмеялся, уволил их и заселил на их место других людей. Шумы и сверхъестественные проявления продолжились. История распространилась по округе, и дом оставался незаселенным следующие три года. Некоторые господа собирались его купить, но всякий раз до совершения сделки им каким-то образом становилось известно о неприятной молве, и они отказывались вести дальнейшие дела.

Обстоятельства сложились таким образом, что моя домовладелица, которая держала в то время пансион на Бликер-стрит и желала переехать в более отдаленные жилые кварталы, возымела смелую идею арендовать дом №*** на Двадцать шестой улице. Имея у себя жильцов отважных и уравновешенных, она изложила перед нами свои намерения, откровенно рассказав обо всем, что слышала касательно призраков дома, в который собиралась нас переселить. За исключением двух робких господ — капитана дальнего плавания

и калифорнийца, тут же уведомивших о своем уходе, — все постояльцы миссис Моффат заявили, что сопроводят ее в благородном посягательстве на это обиталище духов.

Наш переезд состоялся в мае, и мы были очарованы новым местом жительства. Часть Двадцать шестой улицы, где располагается дом — между Седьмой и Восьмой авеню, — относится к числу приятнейших мест Нью-Йорка. Сады возле домов, простирающиеся почти до Хадсона, летом образовывают превосходную зеленую аллею. Чистый и бодрящий воздух мчит прямо через реку с Вихокен-Хайтс. И даже неровный сад, примыкающий к дому с двух сторон, пусть в дни стирки сквозь него и просматривается вывешенная одежда, все же предоставлял нам приятную лужайку. В летние деньки мы находили здесь прохладное убежище, где курили сигары на закате и смотрели на светлячков, зажигающих свои фонарики в высокой траве.

Конечно, не успев должным образом устроиться в №***, мы стали дожидаться привидений, чье появление предвкушали с совершенным нетерпением. За ужином мы говорили о сверхъестественном. Один из квартирантов, приобретший для себя «Темную сторону Природы» Катерины

Кро, стал всеобщим врагом по причине того, что не купил сразу пару десятков экземпляров. Его жизнь была глубоко несчастной, когда он читал этот том. Мы наладили разведку, постановив его своим объектом. Если он неосторожно оставлял книгу и выходил из комнаты, ее немедленно хватали, и самые потаенные места зачитывались вслух для немногих избранных. Сам же я оказался человеком колоссального значения. Обнаружилось, что я неплохо разбираюсь в истории супернатурализма и однажды даже написал историю о призраке под названием «Горшок с тюльпанами» для журнала «Харперс Мантли». Если столу или стенной панели случалось отклониться от нормы, когда мы собирались в просторной гостиной, мгновенно наступала тишина и каждый был готов к немедленному лязгу цепей или явлению спектральной формы.

После месяца душевных волнений величайшей досадой для нас стало осознание того, что не произошло ничего, хотя бы в отдаленной степени походившего на проявление сверхъестественного. Однажды слуга-негр стал утверждать, что его свеча погасла от некоего невидимого воздействия, когда он раздевался перед сном, но я не раз видел этого цветного джентльмена в состоянии,

в котором вместо одной свечи он мог увидеть две. Поэтому я предположил, что, выпив больше обычного, он мог получить обратный эффект: не заметить ни одной свечи, в то время как перед ним находилась одна.

Так продолжалось до поры, когда случился инцидент столь ужасный и непостижимый, что я вздрагиваю лишь от воспоминания о нем. Это произошло десятого июля. После ужина я отправился в сад вместе с моим другом доктором Хаммондом, чтобы выкурить вечернюю трубку. Мы находились в необычайно метафизическом расположении духа. Мы зажгли наши большие трубки, наполненные хорошим турецким табаком, и беседовали, прогуливаясь взад-вперед. Странная испорченность преобладала в течении наших мыслей. Они не прошли бы залитыми солнцем каналами, в которые мы старались направить их. По какой-то непостижимой причине они уверенно клонились к темному и унылому дну, где неизменно правил мрак. Напрасно мы со своей старомодностью перенеслись в страны Востока и говорили о пестрых базарах, роскоши времен Харуна, гаремах и золотых дворцах. Черные ифриты снова и снова восставали из глубин нашей беседы, раздавались ввысь и вширь, будто

освобожденные рыбаками из медных сосудов, и затемняли все светлое в нашем поле зрения. Мы незаметно сдались сверхъестественной силе, охватившей нас, и предались мрачным размышлениям. Какое-то время мы говорили о склонности людского ума к мистицизму и почти всеобщей любви к Ужасному. Тогда Хаммонд внезапно сказал:

— Что ты полагаешь важнейшей первоосновой Ужаса?

Признаюсь, этот вопрос меня озадачил. Я знал многие жуткие вещи, как то: наткнуться на мертвеца во тьме или увидеть, как это случилось со мной однажды, женщину, тонущую в быстрой и глубокой реке, с отчаянно поднятыми руками и искаженным лицом; погружаясь, она издавала разрывающие сердце вопли, в то время как мы, свидетели, застывшие у окна в шестидесяти футах над рекой, не в силах спасти ее, лишь безмолвно наблюдали за ее агонией и исчезновением. Если столкнуться в океане с безвольно плывущей разбитой развалиной, не подающей признаков жизни, она покажется кошмарным объектом, несущим ужас сокрытых масштабов. Теперь я впервые понял, что должно существовать единое величайшее воплощение страха — Король Ужаса,

пред которым все прочие должны преклониться. Но чем бы оно могло быть? Какая вереница обстоятельств могла бы его создать?

— Признаю, Хаммонд, — ответил я другу, — я никогда прежде об этом не думал. О том, что существует Нечто, более страшное, чем что-либо иное. Я это чувствую, но все же не могу и пытаться дать хотя бы самое общее определение.

— Как и ты, Гарри, — ответил он, — я чувствую в себе способность испытать страх больший, чем тот, что когда-либо постигал человеческий разум, — некое страшное и неестественное сочетание элементов, прежде считавшихся несовместимыми. Пусть голоса в романе Брокден Брауна «Виланд» или Страж Порога в «Занони» Бульвер-Литтона внушают страх. Но, — добавил он, мрачно качая головой, — все же есть кое-что более ужасное.

— Послушай, Хаммонд, — возразил я, — ради бога, давай оставим этот разговор!

— Не знаю, что на меня сегодня нашло, — ответил он, — но мой разум занят лишь мыслями обо всем странном и жутком. Кажется, будь я мастером литературного слога, я сумел бы написать сегодня историю в духе Гофмана.

— Так, если мы собираемся и дальше изъяс-

няться на манер Гофмана, то я ухожу спать. Как же здесь душно! Спокойной ночи, Хаммонд!

— Спокойной ночи, Гарри! Приятных тебе снов.

— А тебе — злобных тварей, ифритов, нежити и колдунов.

Мы расстались, и каждый направился в свою комнату. Я быстро разделся и залез на постель, прихватив, по своему обычаю, книгу, которую читаю перед сном. Я положил голову на подушку и открыл томик, но тут же отбросил его на другую сторону комнаты. Это оказалась «История чудовищ» Гудона — любопытный французский труд, который я недавно заказал из Парижа. Однако в теперешнем моем состоянии он совершенно не подходил для чтения. Я решил лечь спать сейчас же. Я подкрутил газовую лампу, оставив только голубую светящуюся точку, и начал засыпать.

Комната была погружена в абсолютную темноту. Все еще горящий крошечный свет доставал не далее чем на три дюйма от рожка. Я в отчаянии закрыл глаза рукой, словно оградившись от тьмы, и пытался ни о чем не думать. Но это было бесполезно. Я не мог выкинуть из головы сумбурные мысли, высказанные Хаммондом в саду. Я боролся, возводя против них валы в воображаемой

пустоте разума, но они продолжали охватывать меня. Пока я лежал неподвижно, как мертвец, надеясь, что полной физической бездеятельностью смогу ускорить приход сна, произошел ужасный случай. Нечто, будто с потолка, свалилось прямо на мою грудь, и в следующее мгновение я ощутил пару костлявых рук, обхвативших мое горло и старавшихся задушить меня.

Я не отношусь к числу трусов и обладаю большой физической силой. Неожиданность нападения, вместо того чтобы ошеломить меня, предельно напрягла каждый мой нерв. Тело следовало инстинктам, прежде чем разум успел осознать весь ужас моего положения. В одно мгновение я крепко обвил существо двумя руками и решительно, со всей силой сдавил его на уровне своей груди. Через несколько секунд костлявые руки, сжимавшие мое горло, ослабили хватку, и я снова смог дышать. Затем разразилась напряженная борьба. Окутанный полнейшей тьмой, я был полностью несведущ в природе существа, столь внезапно атаковавшего меня. Моя хватка постоянно норовила соскользнуть из-за, как мне показалось, совершенной наготы противника. Он кусал меня острыми зубами за плечи, шею, грудь, и я был вынужден каждую секунду защищать

горло от жестких проворных рук, которые не мог сдержать никакими усилиями. Для того чтобы победить, мне потребовались все силы, умения и мужество, коими я обладал.

Наконец после немой, беспощадной, обессиливающей борьбы я невероятными усилиями одержал верх над соперником. Прижав колено, предположительно, к его груди, я понял, что победил. С минуту я переводил дыхание и слышал, как существо задыхалось во тьме, чувствовал безумное биение его сердца. Оно, очевидно, было столь же истощено, сколь и я, и это меня успокаивало. Тогда я припомнил, что, ложась спать, обычно кладу на ночь под подушку большой желтый карманный платок. Я сразу нащупал его, а через несколько секунд связал существу руки.

Теперь я чувствовал себя в относительной безопасности. Мне не оставалось ничего, кроме как зажечь свет и посмотреть, что собой представлял мой ночной враг, после чего разбудить домашних. Признаюсь, мои действия диктовались гордостью, не позволяющей поднимать тревогу раньше времени: я хотел совершить поимку в одиночку и без чьей-либо помощи.

Ни на миг не отпуская захват, я соскочил с кровати на пол, волоча пленника за собой. Нужно

было пройти пару шагов, чтобы зажечь лампу; их я делал с величайшей осторожностью, держа существо железной хваткой. Наконец я мог дотянуться до крапинки голубого света, сообщавшей мне местонахождение газового рожка. Молниеносным движением руки я впустил в комнату полный поток света. Затем повернулся, чтобы взглянуть на пленника.

Не могу даже попытаться дать какое-либо определение своим чувствам, испытанным в миг, когда я включил лампу. Полагаю, я завопил от ужаса, поскольку менее чем через минуту моя комната заполнилась жильцами дома. Я и теперь вздрагиваю, вспоминая это кошмарное мгновение. Я не увидел ничего! Одной рукой я крепко охватывал задыхающуюся телесную форму, а другой — со всей силой держал горло, теплое и такое же плотское, как мое собственное; и все же — несмотря на эту живую сущность в моей хватке, чье тело было прижато к моему, и яркий свет газового рожка — я не увидел совершенно ничего! Ни контура — словно это была иллюзия!

Даже теперь я не осознаю всей ситуации, в которой оказался тогда. Не могу я припомнить и ее детали. Воображение тщетно пытается объяснить ужасный парадокс.

Оно дышало. Я чувствовал его теплое дыхание на своей щеке. Оно отчаянно сопротивлялось. У него были руки, которыми оно вцепилось в меня. Его кожа была такой же гладкой, как моя. Оно прижималось ко мне, твердое, как камень, — и все же оставалось совершенно невидимым!

Не знаю, не испытал ли я в тот миг обморок или умопомрачение. Должно быть, меня спас некий чудесный инстинкт. Вместо того чтобы отпустить нашу кошмарную загадку, я будто получил дополнительные силы в минуту ужаса и сжал ее еще крепче с такой необычайной силой, что почувствовал, как создание задергалось в агонии.

Лишь тогда Хаммонд ступил в комнату во главе всех домашних. Едва увидев мое лицо — что, полагаю, представляло собой кошмарное зрелище, — он бросился вперед с криком:

— О господи! Гарри, что случилось?

— Хаммонд! Хаммонд! — вопил я. — Подойди. Это кошмарно! На меня что-то напало в постели. Теперь я держу его, но не вижу! Я его не вижу!

Хаммонд, явно пораженный неподдельным ужасом, выраженным на моем лице, с тревогой и изумлением сделал один или два шага вперед. У остальных вошедших вырвалось хихиканье, хорошо мной расслышанное. Этот сдержанный

смех привел меня в ярость. Смех над человеком в моем положении! Это было наихудшее проявление жестокости. Лишь теперь я понимаю, отчего вид мужчины, яростно сражающегося, как им показалось, с воздухом и зовущего на помощь в борьбе с видением, представлялся смехотворным. Но тогда ярость к осмеивающей меня толпе была столь сильной, что, будь у меня возможность, я бы забил их на месте.

— Хаммонд! Хаммонд! — снова завопил я в отчаянии. — Бога ради подойди ко мне. Я держу это… Нечто, но это ненадолго. Оно пересиливает меня. Помоги мне! Помоги мне!

— Гарри, — прошептал Хаммонд, подходя ко мне, — ты слишком много куришь.

— Клянусь, Хаммонд, мне это не чудится, — так же тихо ответил я. — Разве не видишь, как оно трясет меня всего, когда сопротивляется? Если не веришь мне, убедись сам. Почувствуй его — потрогай.

Хаммонд приблизился и положил руку на указанное мной место. У него вырвался дикий вопль ужаса. Он почувствовал его!

Он моментально отыскал где-то в моей комнате длинную веревку и в следующее мгновение обмотал ею и связал тело незримого существа,

сжимаемого мною в руках.

— Гарри, — сказал он хриплым, возбужденным голосом, ибо он, хоть и сохранил присутствие духа, был глубоко тронут, — Гарри, теперь мы в безопасности. Можешь отпустить, друг мой, ты же устал. Оно не двинется.

Я был полностью изнурен и охотно убрал руки.

Хаммонд держал концы веревки, связывающей Невидимого, обвив ее вокруг своей руки. Она зависла перед ним, а он смотрел на нее, натянутую вокруг пустого пространства. Я никогда не видел человека, столь пораженного ужасом. И все же на лице его выражалось то мужество и решимость, коими, знал я, он обладал. Его побелевшие губы сжались так решительно, что, глядя на них, казалось: пусть он и испытывал страх, но не потерял самообладание.

Замешательство, наступившее в рядах постояльцев, ставших свидетелями удивительной сцены между мной и Хаммондом, — видевших пантомиму связывания и борьбы с Неведомым, видевших меня ослабевшим от физического утомления, когда мой пленник был повергнут, — замешательство и ужас, овладевшие зрителями, узревшими все это, не поддавались описанию. Самые слабые убежали прочь из комнаты. Нем-

ногие, кто остался, сбились в кучу у двери и не могли заставить себя приблизиться к Хаммонду и его Подопечному. И все же сквозь их страх пробивалось недоверие. Им не хватало храбрости убедиться самим, и они продолжали сомневаться. Напрасно я просил некоторых мужчин подойти ближе и удостовериться, дотронувшись до невидимого существа. Они не верили, но и не решались выйти из своего заблуждения и лишь вопрошали, как же твердое, живое, дышащее тело могло быть невидимым. Я ответил следующим. Дал знак Хаммонду, и мы оба, превозмогая боязливое отвращение, дотронулись до создания, подняли его, связанное, с пола и поднесли к моей кровати. Оно весило, как мальчик лет четырнадцати.

— Сейчас, друзья мои, — сказал я, когда мы с Хаммондом занесли его над кроватью, — я дам вам бесспорное доказательство того, что перед вами твердое, осязаемое тело, которого вы, тем не менее, не видите. Внимательно следите за постелью.

Я так спокойно действовал в этих странных обстоятельствах, что изумился собственной смелости. Оправившись от первого ужаса, я ощущал нечто вроде научной гордости, которая преобла-

дала над всеми остальными чувствами.

Взгляды зрителей немедленно приковались к моей постели. Мы с Хаммондом по сигналу отпустили создание. Раздался глухой звук падения тяжелого тела на мягкую поверхность. Деревянная кровать скрипнула. На подушке и постели отчетливо виднелся глубокий отпечаток. Толпа зрителей со всеобщим негромким воплем бросилась прочь из комнаты. Мы с Хаммондом остались наедине с нашей находкой.

Какое-то время мы молчали, слушая тихое, неравномерное дыхание существа на кровати и наблюдая шевеление постели, когда оно беспомощно пыталось освободиться от уз. Затем Хаммонд заговорил:

— Гарри, это отвратительно.

— Да уж, отвратительно.

— Но постижимо.

— Постижимо? Ты о чем? Такого не случалось с самого начала времен. Не знаю, что тут думать, Хаммонд. Господь свидетель, я не сошел с ума! И это не безумная фантазия!

— Давай немного подумаем, Гарри. Перед нами твердое тело. Мы можем его потрогать, но не можем увидеть. Этот факт столь необычен, что приводит нас в ужас. Но разве этот феномен не

имеет подобий? Возьмем чистое стекло. Оно осязаемо, но прозрачно. Совершенно прозрачным, чтобы его не было видно, ему не позволяет быть определенная шероховатость. Заметь, теоретически возможно создать стекло, которое не будет отражать лучи света, — настолько чистое и однородное, что солнечные лучи будут проходить через него, как проходят через воздух, преломляясь, но не отражаясь. Мы не видим воздух, но мы чувствуем его.

— Это верно, Хаммонд, однако все это неодушевленные формы. Стекло не дышит, воздух не дышит. А у этого существа есть сердце, которое бьется, воля, которая движет им, и легкие, которые вдыхают и выдыхают.

— Ты забываешь о странном феномене, о котором мы в последнее время так часто слышали, — серьезно заметил доктор. — На встречах, которые мы называем «спиритическими кругами», за руки сидевших за столом брались невидимые руки — теплые, плотские руки, в которых билась земная жизнь.

— Что? Ты считаешь, что это существо…

— Мне неведомо, что это за существо, — важно ответил он, — но, дай бог, с твоей помощью я это выясню.

Мы выкурили много трубок за ночь, наблюдая у кровати за неземным созданием, которое пыхтело и ворочалось, пока не истомилось окончательно. Затем по спокойному и ровному дыханию мы поняли, что оно уснуло.

Наутро весь дом был в волнении. Жильцы собрались на лестничной площадке перед моей комнатой, и мы с Хаммондом получили все их внимание. Нам пришлось ответить на тысячи вопросов о состоянии нашего сверхъестественного пленника. Однако никто из домашних, кроме нас самих, не пожелал входить в комнату.

Существо уже проснулось. Об этом свидетельствовали судорожные шевеления постели, вызванные его попытками к бегству. Воистину отвратительно было видеть эти признаки его страшных извиваний и невидимой, но яростной борьбы за свободу.

Мы с Хаммондом всю ночь напряженно продумывали средства, которыми можно выяснить его форму и внешний вид. Насколько мы ощущали, проводя руками по телу создания, его очертания представлялись нам человеческими. У него был рот, круглая гладкая голова, лишенная волос, нос, немного возвышающийся над щеками, а руки и ступни походили на мальчишечьи. Сначала мы

думали поставить его на гладкую поверхность и обвести мелом его контур, как сапожник обводит контур ног. Но от этого плана отказались, сочтя его бесполезным: такой контур не дал бы нам ни малейшего понятия о его форме.

Тогда меня осенила счастливая мысль снять с него гипсовую форму. Это могло дать нам твердую фигуру и удовлетворить наше любопытство. Но как это сделать? Движения создания нарушили бы схватывание гипса и исказили бы результат. Тогда другой идеей стало применение хлороформа. У него были органы дыхания — оно ведь дышало. Введя его в бессознательное состояние, мы могли сделать все необходимое. Мы послали за доктором К***, и заслуженный врач, оправившись от шока, выдал хлороформ. В следующие три минуты мы смогли снять узы с тела существа, и известный в городе лепщик стал обмазывать невидимую форму влажной глиной. Через пять минут у нас уже была форма, и до наступления вечера мы получили примерное представление о создании. По форме оно напоминало человека — искаженного, грубого, ужасного, но все же человека. Небольшого роста в четыре с небольшим фута, с превосходным мышечным развитием. Лицо превосходило всю мерзость, какую я когда-

либо видел. Гюстав Доре, Жак Калло или Тони Жоанно никогда не смогли бы вообразить нечто столь же отвратительное. Такое лицо напоминало иллюстрации последнего к «Путешествию куда вам будет угодно» — они были несколько близки к выражению лица создания, но все же уступали ему. Такое лицо, казалось мне, могло быть только у нежити. Судя по виду, оно могло питаться лишь человеческой плотью.

Удовлетворив свое любопытство и связав тайной всех домашних, мы встали перед вопросом, что же делать с ним дальше. Невозможно было держать такой ужас в доме; равносильно невозможно было выпустить столь отвратительное существо на волю. Признаюсь, я бы с удовольствием приговорил его к уничтожению. Но кто бы взял на себя убийство этого мерзкого подобия человека? День за днем мы серьезно обдумывали этот вопрос. Все жильцы съехали. Миссис Моффат впала в отчаяние и грозила нам с Хаммондом всеми возможными штрафами, если мы не избавимся от него. Мы же отвечали:

— Мы съедем, если вы сочтете это необходимым, но отказываемся забирать с собой создание. Избавляйтесь от него сами, если желаете. Оно появилось в вашем доме и находится в вашей

ответственности.

У нее, конечно, не находилось ответа. Миссис Моффат ни уговорами, ни деньгами не могла никого заставить даже приблизиться к твари.

Удивительнее всего было то, что мы пребывали в совершенном неведении относительно того, чем существо питалось. Ни к чему, что мы полагали подходящей для него пищей и ставили перед ним, оно не прикасалось. Невыносимо было день за днем находиться рядом, видеть, как мнется постель, слышать тяжелое дыхание и знать, что оно изнемогает от голода.

Прошло десять дней, двенадцать, две недели, а оно все жило. Биение сердца, однако, с каждым днем становилось слабее и почти прекратилось. Было очевидно, что создание погибает от голода. Пока эта отвратительная борьба за жизнь продолжалась, я чувствовал себя несчастным и не мог спать ночами. Каким бы ужасным ни казалось это существо, печально было думать о его муках.

Наконец оно умерло. Одним утром мы с Хаммондом нашли его в постели холодным и окоченевшим. Сердце перестало биться, легкие не дышали. Мы поспешили похоронить его в саду. Это были странные похороны: в сырую яму лег невидимый труп. Слепок его тела я отдал доктору

К***, и он хранит его в музее на Десятой улице.

И теперь, накануне долгого путешествия, из которого могу уже не возвратиться, я составил сей рассказ о случае самом необычайном из всех мне известных.

Примечание

Поговаривали, что собственники известного музея этого города заключили договор с доктором К*** о представлении публике диковинного слепка, данного ему на хранение мистером Эскоттом, — столь выдающегося, что его история не может не привлечь всеобщего внимания.

Перевод Артема Агеева

Алмазная линза

I

С самых ранних дней моей жизни все мои увлечения были сосредоточены вокруг исследований с помощью микроскопа. Когда мне было не больше десяти лет, один далекий родственник, надеясь изумить меня, еще столь неопытного, сделал простой микроскоп, просверлив в медном диске небольшое отверстие, в котором капля чистой воды удерживалась благодаря капиллярному притяжению. Этот крайне примитивный аппарат, дающий увеличение приблизительно в пятьдесят раз, по правде говоря, позволял увидеть лишь смутные и несовершенные формы, но их очарования было достаточно, чтобы привести мое воображение в сверхъестественное состояние восторга. Увидев, что я настолько заинтересован в этом грубом инструменте, мой кузен объяснил мне все, что знал о принципах работы микроскопа, рассказал о нескольких чудесах, совершенных с его помощью, и закончил обещанием прислать мне один настоящий прибор сразу же по возвращении в город. С этого момента

я считал дни, часы, минуты до его отъезда.

Но это время я провел не праздно. Я с энтузиазмом хватался за любую прозрачную субстанцию, имеющую отдаленное сходство с линзой, и использовал, тщетно пытаясь создать инструмент, о конструкции которого пока имел лишь смутное представление. Все оконные стекла, содержащие сплющенные сферические узлы, более известные как «бычьи глаза», были безжалостно уничтожены в надежде получить линзы непревзойденной силы. Я дошел даже до извлечения прозрачного секрета из глаз рыб и зверей, пытаясь поставить его на службу делу микроскопа. Я признаю себя виновным в том, что украл стекла из очков моей тети Агаты, смутно надеясь превратить их в линзы с прекрасными увеличивающими свойствами, — стоит ли говорить, что эта попытка потерпела сокрушительный провал?

Наконец прибыл обещанный инструмент. Это была та модель, которую обычно называли простым микроскопом Филда, и она стоила, наверное, около пятнадцати долларов. Если говорить об образовательном предназначении, то лучшего прибора нельзя было выбрать. К нему прилагался небольшой трактат о микроскопе: его история, применение и открытия. Тогда я

впервые понял смысл «Тысячи и одной ночи». Казалось, скучная завеса обычного существования, скрывавшая весь мир, внезапно была сорвана, и моему взору явилась волшебная страна. По отношению к своим товарищам я испытывал то же чувство, которое провидец испытывает к обычным людям. Я говорил с природой на том языке, который они не могли понять. Я каждый день встречался с такими чудесами, которые они не могли представить и в самых диких фантазиях, я проникал за покров, скрывающий суть вещей, и скитался среди святынь. Там, где они видели лишь каплю дождя, стекающую по стеклу, я видел вселенную живых существ, наделенных всеми страстями, свойственными физической жизни, и сотрясающих свою крошечную планету столь же пылкой и затяжной борьбой, что и человечество. В обычных пятнах плесени, которые моя мать, как хорошая хозяйка, яростно вычерпывала из всех банок с вареньем, для меня обитали полные очарования сады с лесистыми лощинами и аллеями с самой густой и изумительно зеленой листвой, где среди причудливых ветвей этих микроскопических лесов висели странные фрукты, сверкающие зеленой, серебряной и золотой красками.

Тогда мой разум заполняла не жажда научного познания. Это было чистое наслаждение поэта, которому открылся мир чудес. Я ни с кем не говорил о своем увлечении. В полном одиночестве я портил глаза за микроскопом, день за днем, ночь за ночью рассматривая те чудеса, которые он мне раскрывал. Словно тот, кто, обнаружив древний Эдем, все еще существующий во всем его первозданном великолепии, должен был решиться наслаждаться им в одиночестве и никогда не раскрывать смертным место его расположения. Направление моей жизни переменилось. Своим предназначением я избрал профессию микроскописта.

Конечно, как и всякий новичок, я мнил себя первооткрывателем. В то время я ничего не знал о тысячах умнейших людей, занятых теми же исследованиями, что и я сам, и вооруженных инструментами в тысячу раз более сильными, чем мой. Имена Левенгука, Уильямсона, Спенсера, Эренберга, Шульца, Дюжардена, Шакта и Шлейдена были мне абсолютно незнакомы — или, даже зная их, я не представлял их настойчивых и изумительных исследований. Я верил, что в

каждом новом образце криптогама[53], который я помещал на предметное стекло своего микроскопа, открываю прежде неведомые миру чудеса. Я хорошо помню охвативший меня трепет восторга и восхищения, когда впервые обнаружил обыкновенную коловратку (*Rotifera vulgaris*), расправляющую и сжимающую свои гибкие спицы и словно бы вращающуюся в воде. Увы! Став старше, я приобрел несколько работ, посвященных моему любимому занятию, и обнаружил, что стоял лишь на пороге той науки, изучению которой величайшие люди эпохи посвятили всю свою жизнь и интеллект.

По мере того как я взрослел, мои родители, не видевшие вероятности хоть какого-то практического применения разглядывания кусочков мха и капель воды через медную трубку и кусочек стекла, настаивали, что я должен выбрать профессию. Они мечтали о том, чтобы я устроился в контору моего дяди Итана Блейка, преуспевающего торговца, ведущего дела в Нью-Йорке. Но это предложение я решительно отверг. У меня не было склонности к торговле, я лишь потерпел бы

[53] Примечания: 53

Криптогамы, или тайнобрачные растения — устаревшее название всех нецветковых растений, процесс размножения которых был непонятен исследователям.

неудачу, и я отказался быть торговцем. Но мне необходимо было выбрать какое-то занятие. Мои родители были благочестивыми гражданами Новой Англии и настаивали на необходимости трудиться. Благодаря завещанию моей бедной тети Агаты, я, достигнув совершеннолетия, унаследовал бы небольшое состояние, достаточное для того, чтобы не знать нужды, — но было решено, что я не стану просто дожидаться совершеннолетия, а сыграю более благородную роль и проведу предшествующие ему годы в обретении независимости. После долгих размышлений я подчинился желанию семьи и выбрал профессию. Я принял решение изучать медицину в Академии Нью-Йорка. Такой вариант будущего меня устраивал. Переехав от родственников, я мог бы распоряжаться своим временем так, как сам этого пожелаю, не боясь, что это обнаружится. Покуда я платил за обучение в Академии, я мог при желании пропускать лекции; поскольку я был далек от желания сдавать экзамены, не было опасности, что меня «завалят». Кроме того, большой город подходил мне. Здесь я мог найти превосходные инструменты, новейшие публикации, знакомства с людьми, чьи интересы и стремления были схожи с моими, — проще гово-

ря, все то, что было необходимо, чтобы посвятить всю свою жизнь моей обожаемой науке. У меня было много денег и мало желаний, не связанных с моим осветительным зеркалом с одной стороны и приборным стеклом с другой, так что же могло помешать мне стать знаменитым исследователем потаенного мира? Полный самых радужных надежд, я покинул свой дом в Новой Англии и обосновался в Нью-Йорке.

II

Моим первым шагом, естественно, было найти подходящие апартаменты. Спустя четыре дня я нашел их на Четвертой Авеню: очень красивый второй этаж, без мебели, с гостиной, спальней и небольшой комнатой, которую я собирался переоборудовать в лабораторию. Я обставил свое жилье простой, но весьма элегантной мебелью и затем посвятил все силы украшению храма той религии, которой поклонялся. Я посетил знаменитого оптика Пайка и подверг осмотру его великолепную коллекцию микроскопов: составной микроскоп Филда, микроскопы Хингема, Спенсера, бинокулярный микроскоп Начета (основанный на принципах стереоскопии) и стоявший выше их всех цапфовый микроскоп

Спенсера, сочетающий в себе величайшее количество усовершенствований, практически свободный от тремора. Вместе с тем я приобрел всевозможные аксессуары: тубусы, микрометры, камеру-лючиду, рычаг для предметного стекла, ахроматические конденсаторы, белый облачный осветитель, призмы, параболические конденсаторы, поляризационный аппарат, щипцы, водные боксы, накладные трубки, а также множество других вещей, которые были бы весьма полезны в руках опытного микроскописта, но, как я позже обнаружил, в настоящее время не имели для меня никакой ценности. Годы практики требовались, чтобы понять, как пользоваться сложным микроскопом. Пока я совершал эти дорогостоящие покупки, оптик смотрел на меня с подозрением. Очевидно, он был не уверен, считать ли меня научной знаменитостью или сумасшедшим. Думаю, склонялся к последнему. Наверное, я и был сумасшедшим. Любой гений сходит с ума по тому предмету, в котором он гениален. Неудачливый же сумасшедший получает прозвание полоумного и бесчестье.

Сумасшедший или нет, я принялся за работу с таким усердием, которым во все времена могли похвастаться лишь немногие студенты-исследо-

ватели. У меня было все для того, чтобы изучить ту тонкую науку, которая меня захватила. Науку, требующую самого серьезного терпения, самых глубоких аналитических способностей, самой твердой руки, самого неутомимого глаза, самых изощренных и искусных манипуляций. Долгое время половина приборов просто лежала на полках лаборатории, которая теперь была оснащена всевозможными приспособлениями для усовершенствования моих исследований. Причина была в том, что я не знал, как использовать некоторые из этих принадлежностей, поскольку никогда не учился микроскопии, а те инструменты, предназначение которых теоретически понимал, были мне мало полезны до тех пор, пока на практике я не смог достичь необходимой тонкости в обращении с ними. И все же мои амбиции были столь неистовы, таким непреклонным было упорство моих экспериментов, что, как ни сложно в это поверить, в течение года я стал искусным микроскопистом — как в теории, так и на практике. В процессе этой работы, подвергая образцы всех попадавшихся мне на глаза субстанций воздействию линз микроскопа, я стал первооткрывателем — в весьма скромном смысле, это правда, ведь я был очень

неопытен, но все же — первооткрывателем. Это я разрушил теорию Эренберга о том, что *Volvox globator*[54] — животное, и доказал, что его «монады» с желудками и глазами были лишь фазами развития растительной клетки и, достигнув взрослого состояния, были не способны совокупляться или размножаться каким-либо образом, без чего ни один организм, стоящий на ступени развития выше, чем овощ, не может считаться полноценным. Именно я решил своеобразную проблему вращения клеток и щетинок растений в мерцательном сцеплении, несмотря на утверждения Уэнема и прочих, что мое объяснение было результатом оптического обмана.

Но, невзирая на эти открытия, ставшие результатом кропотливого и мучительного труда, я испытывал ужасную досаду. На каждом шагу я обнаруживал, что меня тормозит несовершенство инструментов. Как и все микроскописты, я давал волю своему воображению. Несомненно, это обычная жалоба многих исследователей относительно того, что они искупают изъяны своих инструментов собственными измышлениями. Я представлял необъятные глубины природы,

---

[54] Примечания: 54
Volvox globator — вид зеленых водорослей.

которые ограниченные возможности моих линз не позволяли мне исследовать. По ночам я лежал без сна, конструируя воображаемый микроскоп безмерной силы, представляя, как с его помощью проникаю сквозь все оболочки материи до первоначального атома. Как я проклинал те несовершенные средства, которые мне приходилось использовать из-за нужды и невежества! Как стремился раскрыть секрет идеальной линзы, чья увеличительная сила была бы ограничена лишь разрешающей способностью объекта и которая в то же время была бы избавлена от сферических и хроматических искажений, — одним словом, от всех тех препятствий, о которые постоянно спотыкается несчастный микроскопист! Я был убежден, что можно построить простой микроскоп с единственной, но сильной и совершенной линзой. Пытаться довести до подобного совершенства составной микроскоп было бы ошибкой, ведь он со своей стороны был лишь частично успешной попыткой исправить упомянутые недостатки простого микроскопа, победив которые больше нечего было бы и желать. Мысля таким образом, я стал микроскопистом-конструктором.

Спустя год, посвященный этому новому за-

нятию, экспериментам со всеми мыслимыми веществами: стеклами, драгоценными камнями, кремнем, кристаллами и искусственными кристаллами из сплавов различных стекол, — проще говоря, испробовав столько же вариантов линз, сколько глаз у Аргуса[55], я обнаружил, что нисколько не продвинулся к цели, если не считать обширных познаний в области производства стекла. Я умирал от отчаяния. Мои родители были весьма удивлены полным отсутствием прогресса в моих занятиях медициной (с тех пор, как я приехал в город, я не посетил ни одной лекции), а расходы на мое безумное увлечение были настолько велики, что серьезно меня обременяли.

Я пребывал в этом подавленном состоянии духа, экспериментируя в лаборатории с маленьким алмазом — этот драгоценный камень, благодаря своей способности к преломлению, всегда занимал меня больше других, — когда юноша из Франции, живший этажом выше и имевший привычку заглядывать ко мне время от времени, вошел в комнату.

Мне кажется, Жюль Симон был евреем. У него было много иудейских черт характера: любовь к

---

[55] Примечания: 55
Аргус — многоглазый великан в древнегреческой мифологии.

драгоценностям, к красивой одежде, к хорошей жизни. В нем было что-то таинственное. Он всегда пытался что-то продавать — и тем не менее был вхож в высшее общество. Впрочем, его сделки обычно сводились к продаже чего-то одного, например картины, или резной вещицы из слоновой кости, или пары дуэльных пистолетов, или костюма мексиканского кабальеро. Когда я только обставлял свои комнаты, он нанес мне визит, который закончился тем, что я приобрел антикварную серебряную лампу работы Челлини, как он утверждал — настолько красивую, что в это можно было поверить, — и несколько других безделушек для гостиной. Не представляю, зачем Симону было торговать этой мелочовкой. Было очевидно, что он весьма богат и вхож в лучшие дома города. Впрочем, я полагаю, он позаботился о том, чтобы его сделки не пересекали незримую черту, окружающую верхушку общества. В итоге я пришел к заключению, что эта торговля была не более чем прикрытием для чего-то большего, и зашел так далеко, что начал верить в причастность моего юного знакомого к работорговле. Впрочем, меня это не касалось.

Теперь же Симон вошел в мою комнату в сильном волнении.

— Ах! Mon ami![56] — воскликнул он, прежде чем я успел поприветствовать его. — Мне посчастливилось стать свидетелем самой изумительной вещи в мире! Я прогуливался до дома мадам… Как называется этот маленький зверек — le renard[57] — по латыни?

— Vulpes, — ответил я.

— Ах да, Vulpes. Я прогуливался до дома мадам Вульпес.

— Спиритического медиума?

— Да, великого медиума. Пресвятые небеса! Что за женщина! Я писать на листе бумаги множество вопросов, касающихся дел самых секретных, дел, скрывающихся в самых глубоких безднах моего сердца, и гляди, что, например, происходит! Этот дьявол в обличье женщины давать мне самые верные на них ответы! Что я должен думать? Я приземленный человек!

— Следует ли так понимать, мистер Симон, что эта миссис Вульпес ответила на вопросы, которые ты записал втайне от нее, и на вопросы, связанные с тем, что известно лишь тебе?

— Ах, более того! Более того! — ответил он с

---

[56] Примечания: 56
Мой друг (фр.).

[57] Примечания: 57
Лиса (фр.).

некоторой тревогой. — Она открыла мне… Но, — добавил он после паузы и совершенно в иной манере, — зачем забивать свой голова этими глупостями? Это все только биология, без сомнений. Само собой разумеется, я в это не поверить. Но почему мы до сих пор здесь, mon ami? Мне посчастливилось раздобыть самую прекрасную вещь, какую только можно представить: вазу с зелеными ящерицами работы великого Бернара Палисси. Она в моей квартире, давайте поднимемся. Я показать тебе ее.

Я механически последовал за Симоном, но мои мысли были далеки от Палисси и его эмалей, хотя, как и он, я блуждал во тьме в поисках великого открытия. Это непреднамеренное упоминание спиритиста, мадам Вульпес, направило мои мысли на новый путь. Что, если, пообщавшись с более тонкими материями, я смогу одним махом достигнуть той цели, для исполнения которой иначе мне не хватит и целой жизни, полной мучительного труда?

Покупая вазу работы Палисси у своего друга Симона, мысленно я уже планировал визит к мадам Вульпес.

III

Спустя два вечера, благодаря письменной договоренности и обещанию щедрого вознаграждения, мадам Вульпес в одиночестве ждала меня в своей резиденции. Это была женщина с грубыми чертами лица, с пронзительными и весьма злыми темными глазами и невероятно чувственным ртом и нижней челюстью. Она приняла меня в полной тишине в скудно обставленных апартаментах на первом этаже. В центре комнаты стоял обычный круглый стол из красного дерева, за которым сидела мадам Вульпес. Если бы я пришел прочистить камин, она и то не могла бы встретить меня более равнодушно. Никаких попыток внушить посетителю благоговение. Все подавалось просто и практично. Для мадам Вульпес общение с миром духов, очевидно, было столь же обыденным занятием, как поедание ужина или поездка на омнибусе.

— Вы пришли, чтобы установить связь, мистер Линли? — спросила медиум сухо и по-деловому.

— Как было условлено, да.

— Какого рода связь вы желаете установить — письменную?

— Да, письменную.

— С каким-то определенным духом?

— Да.

— Встречали ли вы его когда-нибудь при жизни?

— Никогда. Он умер задолго до моего рождения. Я лишь хочу спросить его о том, что он должен знать лучше, чем кто-либо другой.

— Не могли бы вы сесть за стол, мистер Линли, — произнесла медиум, — и положить на него руки?

Я подчинился. Мадам Вульпес сидела напротив меня, положив руки на стол. Так мы провели примерно полторы минуты, а потом неистовая череда ударов обрушилась на стол, спинку моего кресла, на пол прямо у меня под ногами и даже на оконные стекла. Мадам Вульпес сдержанно улыбнулась.

— Они сегодня очень сильны, — заметила она. — Вам везет.

Затем она продолжила:

— Будут ли духи общаться с этим джентльменом?

Энергичное подтверждение.

— Будет ли общаться тот дух, с которым он желает говорить?

За этим вопросом последовал весьма сбивчи-

вый стук.

— Я знаю, что они имеют в виду, — сказала мадам Вульпес, обращаясь ко мне, — они хотят, чтобы вы написали имя того духа, с которым жаждете побеседовать. Все верно? — теперь она обращалась к своим невидимым гостям.

Все было верно, судя по многочисленным подтверждающим ответам. Пока это продолжалось, я вырвал лист из своей записной книжки и под столом нацарапал на нем имя.

— Будет ли этот дух письменно общаться с этим джентльменом? — снова спросила медиум.

После минутной паузы ее руку охватила дрожь, такая сильная, что завибрировал весь стол. Она сказала, что дух овладел ее рукой, чтобы писать. Я подал ей несколько листов бумаги и карандаш, лежавшие на столе. Карандаш она свободно держала в руке, которая теперь начала двигаться по бумаге, словно бы непроизвольно и своевольно. Спустя несколько мгновений она подала мне бумагу, на которой я обнаружил написанные крупным неумелым почерком слова: «Его здесь нет, но за ним послали». Последовала минутная пауза, во время которой мадам Вульпес хранила молчание, но удары следовали один за другим через равные промежутки времени. Когда минута

истекла, руку медиума вновь охватила конвульсивная дрожь, и она написала несколько слов на бумаге, которую протянула мне. Написано было следующее: «Я здесь. Спрашивай. Левенгук».

Я был потрясен. Имя было то самое, которое я написал под столом и аккуратно хранил спрятанным. Кроме того, было невозможно, чтобы столь необразованная женщина, как мадам Вульпес, знала имя величайшего отца микроскопии. Я написал на моем листе, все еще спрятанном от мадам Вульпес, ряд вопросов, которые, чтобы не утомлять читателя, приведу вместе с ответами в том порядке, в котором они давались.

Я: Возможно ли довести микроскоп до совершенства?

Дух: Да.

Я: Суждено ли мне выполнить эту великую задачу?

Дух: Да.

Я: Я хочу знать, что делать, чтобы достичь этой цели. Помоги мне, ради любви к науке!

Дух: Если алмаз в сто сорок карат подвергнуть долговременному воздействию электромагнитных токов, в нем начнется перестройка атомной структуры, и из этого камня ты создашь всевидящую линзу.

Я: Поможет ли использование этой линзы совершить великие открытия?

Дух: Настолько великие, что все прежние превратятся в ничто.

Я: Но преломляющая способность алмаза настолько велика, что изображение будет формироваться внутри линзы. Как можно преодолеть эту проблему?

Дух: Пронзите ось линзы, и проблема будет решена. Изображение будет формироваться в проколотом пространстве, которое само станет трубкой для просмотра. Теперь меня зовут. Прощайте.

Я абсолютно не способен описать то воздействие, которое оказало на меня это невероятное общение. Я был совершенно сбит с толку. Ни одна биологическая теория не могла объяснить откровение о линзе. Посредством биологической связи с моим мозгом медиум могла прочесть мои вопросы и соответственно на них отвечать. Но никакая биология не могла позволить ей узнать о магнитных токах, которые настолько изменят кристаллическую решетку алмаза, что он избавится от своих прежних недостатков и сможет превратиться в совершенную линзу. Похожие теории проскальзывали в моих мыслях,

это верно, но, если и так, я забыл о них. В том возбужденном состоянии разума невозможно было не превратиться в новообращенного, и, покидая дом медиума в тот вечер, я находился в самой болезненной нервной экзальтации. Медиум проводила меня до двери, выразив надежду, что я удовлетворен. Постукивание сопровождало нас, пока мы пересекали холл, проявляясь на балясинах, на полу и даже дверных петлях. Я наскоро выразил свою благодарность и поспешно сбежал в холодный ночной воздух.

Я шел домой во власти одной-единственной мысли: как заполучить алмаз необходимого размера. Всех моих средств, даже умноженных на сто, не хватило бы для его покупки. Кроме того, такие огромные камни — большая редкость, они входят в историю. Я мог найти нечто подобное только в регалиях восточных или европейских монархов.

IV

Когда я вернулся домой, в комнатах Симона горел свет. Повинуясь смутному импульсу, я решил нанести ему визит. Я без предупреждения открыл дверь в его гостиную и увидел, что Симон стоит, повернувшись ко мне спиной и склонившись к

карселю[58], и, очевидно, внимательно изучает какой-то предмет у себя в руках. Когда я вошел, он внезапно вздрогнул, засунул руку в нагрудный карман и повернулся ко мне с покрасневшим от волнения лицом.

— Что?! — вскричал я. — Разглядываешь портрет какой-нибудь прекрасной леди? Ну не красней так, я не стану просить посмотреть.

Симон довольно неловко рассмеялся, но не стал протестовать, как принято в таких случаях. Он предложил мне сесть.

— Симон, — сказал я, — я только что пришел от мадам Вульпес.

На этот раз Симон побелел, как простыня, и, казалось, остолбенел, словно его поразила молния. Он пробормотал что-то бессвязное и торопливо прошел к небольшому шкафчику, в котором обычно хранил алкоголь. Хотя меня и поразили его эмоции, я был слишком захвачен собственными мыслями, чтобы обращать внимание на что-либо еще.

— Ты был прав, когда называл мадам Вульпес дьяволом, — продолжал я. — Симон, она сегодня сказала мне удивительные вещи, или, вернее,

---

[58] Примечания: 58

Карсель — лампа с системой подачи масла, основанной на работе часового механизма.

она была тем способом, с помощью которого мне сказали удивительные вещи. Ах, если бы я только мог получить алмаз в сто сорок карат!

Едва лишь эта фраза сорвалась с моих губ, как Симон со зверским выражением на лице бросил на меня дикий взгляд и, кинувшись к камину, над которым на стене висело разное иностранное оружие, схватил малайский кинжал и начал яростно размахивать им перед собой.

— Нет! — закричал он на французском, на который всегда переходил в моменты волнения. — Нет! Ты его не получишь! Ты предатель! Ты посоветовался с дьяволом и возжелал мое сокровище! Я прежде умру! Я храбр! Ты не напугаешь меня!

Все это, произнесенное громким голосом, дрожащим от волнения, поразило меня. Я моментально понял, что случайно подошел вплотную к тайне Симона, какой бы она ни была. Необходимо было успокоить его.

— Мой дорогой Симон, — сказал я, — я совершенно не понимаю, о чем ты говоришь. Я пошел к мадам Вульпес проконсультироваться насчет одной научной проблемы, для решения которой, как оказалось, необходим алмаз того размера, о котором я говорил. О тебе никто не упоминал за

весь вечер и, насколько я могу быть уверен, даже не думал. В чем смысл этой вспышки? Если тебе посчастливилось иметь ценный алмаз, не стоит меня бояться. У тебя не может быть такого алмаза, который мне нужен, иначе ты бы здесь не жил.

Что-то в моем тоне, должно быть, полностью убедило Симона, поскольку его выражение лица сменилось на несколько натянутое оживление, однако оно сочеталось с некоторой подозрительностью к моим движениям. Он рассмеялся и сказал, что я должен простить его, что в определенные моменты он подвержен приступам вертиго, и это проявляется в бессвязных речах, которые проходят так же быстро, как начинаются.

Во время этого объяснения он отложил оружие и попытался принять более веселый вид, что ему отчасти удалось. Все это нисколько меня не обмануло. Я слишком привык к постоянной аналитической работе, чтобы быть одураченным столь неубедительным враньем. Я решил разгадать эту загадку.

— Симон, — весело сказал я, — давай забудем обо всем этом за бутылкой Бургунди. У меня есть ящик «Кло де Вужо» с богатым ароматом и полного сияния солнца «Кот-д'Ор». Давай же откроем пару бутылок. Что скажешь?

— С огромным удовольствием, — улыбаясь ответил Симон.

Я принес вино, и мы расположились с бокалами. Это было знаменитое винтажное вино 1848 года — года, в который одновременно буйно росли война и вино, и этот чистый, но сильный коктейль, казалось, придал всему новую жизненную силу. К тому времени, как мы наполовину прикончили вторую бутылку, Симон уже плохо себя контролировал, тогда как я оставался, как обычно, спокоен, и каждый глоток лишь посылал прилив сил к моим конечностям. Речь Симона становилась все более бессвязной. Он начал петь французские песни не самого приличного содержания. В конце очередного куплета я резко поднялся из-за стола и, глядя прямо на него, сказал со спокойной улыбкой:

— Симон, я обманул тебя. Этим вечером я узнал твой секрет. Ты можешь быть откровенен со мной. Мадам Вульпес или, скорее, один из ее духов все мне рассказал.

Он задрожал от ужаса. На мгновение казалось, что он протрезвел и потянулся к оружию, которое отложил незадолго до этого. Я удержал его.

— Чудовище! — горячо воскликнул он. — Я уничтожен! Что мне делать? Ты никогда его не

получишь! Клянусь моей матерью!

— Он мне не нужен, — сказал я, — успокойся, но будь честен со мной. Расскажи мне все.

Опьянение начало к нему возвращаться. С пьяной серьезностью он уверял меня, что я ужасно ошибся, что я был одурманен; затем попросил поклясться хранить эту тайну вечно и пообещал открыть свой секрет. Конечно же, я поклялся. С тревогой в глазах и трясущимися от алкоголя и волнения руками он достал из нагрудного кармана маленький футляр и открыл его.

Пресвятые небеса! Как мягкий свет лампы разбивался на тысячу призматических стрел, падая на огромный розовый алмаз, сиявший в этом футляре! Я не слишком-то разбираюсь в алмазах, но с первого взгляда понял, что это был камень редкого размера и чистоты. Я взглянул на Симона с удивлением и — должен ли я признаться? — завистью.

Как он мог заполучить такое сокровище? Из его пьяных ответов (примерно половина из них была весьма бессвязна) на мои вопросы я сумел понять, что он надзирал за рабами, занимавшимися промывкой алмазов в Бразилии. Он заметил, как один из них спрятал алмаз, — но не рассказал об этом своим нанимателям, а тайно следил за

негром, пока не увидел, как тот закопал свое сокровище. Симон выкопал его и сбежал, но до сих пор боялся открыто им распорядиться — столь ценный камень несомненно привлечет слишком много внимания к прошлому его владельца — и не мог найти ни один из тех тайных каналов, при помощи которых можно было безопасно решить этот вопрос. Он также добавил, что в соответствии с восточной традицией дал алмазу вычурное имя Око Утра.

Пока Симон рассказывал все это, я внимательно рассматривал алмаз. Никогда прежде я не встречал ничего прекраснее. Казалось, все великолепие света, какое только можно вообразить или описать, пульсировало в его кристаллических гранях. Его масса, как я узнал от Симона, была ровно сто сорок карат — потрясающее совпадение, в котором виделась рука судьбы. В тот же самый вечер, когда дух Левенгука поведал мне величайший секрет микроскопа, бесценное средство, на которое он указал, оказалось прямо передо мной! Взвесив все самым тщательным образом, я принял решение завладеть алмазом Симона.

Сидя напротив него, пока он качал головой над своим стаканом, я хладнокровно обдумы-

вал, как это провернуть. Я ни на мгновение не задумался о столь глупом поступке, как обычная кража, которая, безусловно, была бы раскрыта или по меньшей мере потребовала бы сбежать и затаиться, нарушая мои научные планы. Был лишь один путь — убить Симона. В конце концов, что значила жизнь одного жалкого еврея по сравнению с интересами науки? Из тюрем ежедневно забирали приговоренных заключенных для хирургических экспериментов. Этот человек, Симон, по его собственному признанию, был грабителем, он заслуживал смерть так же, как любой преступник, осужденный законом, — так почему, подобно правительству, я не мог покарать его во имя прогресса человеческого знания?

Средство достичь всего, что я желал, лежало прямо передо мной.

На каминной полке стояла полупустая бутылка французской настойки опия.

Симон был так занят своим алмазом, который я возвратил ему, что не составило никакого труда подлить настойку ему в бокал. Через четверть часа он уснул беспробудным сном. Я расстегнул его жилет, достал алмаз из внутреннего кармана и перенес Симона на постель, положив так, чтобы ноги свешивались с края. Взяв в одну руку

малайский кинжал, другой я по пульсации как можно точнее определил расположение его сердца. Было очень важно, чтобы все обстоятельства его смерти наводили на мысль о самоубийстве.

Я вычислил точный угол, под которым оружие могло бы войти в грудь Симона, если бы он направлял его собственной рукой, затем одним мощным движением втолкнул его по рукоять в то самое место, в которое стремился попасть. Конвульсивная дрожь сотрясла конечности Симона. Я услышал, как из его горла вырвался глухой звук, словно лопнул, достигнув поверхности воды, большой пузырь воздуха, выпущенный ныряльщиком; он наполовину провернулся вокруг себя, и, словно желая еще больше помочь моим планам, его правая рука, ведомая не более чем спазматическим импульсом, сжала рукоять кинжала с невероятным мышечным напряжением. Других движений не последовало: полагаю, настойка опия парализовала обычную нервную активность. Должно быть, он умер мгновенно.

Но это был еще не конец. Для полной уверенности, что подозрения в совершенном не падут ни на кого из жильцов дома, кроме самого Симона, было необходимо, чтобы утром его дверь нашли запертой изнутри. Как это сделать и потом уйти

самому? Не через окно, это физически невозможно. Кроме того, я хотел, чтобы окна тоже были закрыты. Решение оказалось довольно простым. Я тихо спустился в свою комнату за особым инструментом, который использовал, чтобы держать маленькие скользкие субстанции, такие как мельчайшие стеклянные шарики. Этот инструмент представлял из себя не более чем длинный тонкий ручной зажим с весьма мощной хваткой и большим рычагом, конец которого естественно переходил в рукоятку. Не было ничего проще, чем, вставив ключ в замок, захватить его в этот зажим снаружи через замочную скважину и таким образом закрыть дверь. Но перед тем, как это сделать, я сжег в камине многочисленные бумаги Симона. Самоубийцы почти всегда сжигают бумаги, прежде чем покончить с собой. Также я вылил еще немного настойки опия в бокал Симона, перед этим удалив из него все следы вина, очистил второй бокал и унес с собой бутылки. Если бы в комнате нашли следы двух пивших вино людей, естественно, возник бы вопрос, кто был вторым. Кроме того, бутылки вина могли опознать как принадлежащие мне. Остатки настойки я вылил, чтобы объяснить ее присутствие в желудке в случае посмертного вскрытия. Мож-

но было заключить, что он сначала намеревался отравить себя, но, проглотив немного наркотика, либо почувствовал отвращение ко вкусу, либо передумал по другой причине и предпочел кинжал. Приняв все эти меры предосторожности, я вышел, оставив газ гореть, запер дверь зажимом и лег в постель. Смерть Симона обнаружилась лишь в три пополудни. Служанка, удивленная тем, что у него горит газ — свет просачивался на темную лестницу из-под двери, — заглянула в замочную скважину и увидела Симона на кровати.

Она подняла тревогу. Дверь взломали, и весь район пришел в лихорадочное возбуждение.

Все жильцы были арестованы, включая меня. Велось следствие, но оно не обнаружило никаких улик, указывающих на то, что это было не самоубийство. Довольно забавно, что Симон на прошлой неделе в разговорах с друзьями несколько раз говорил вещи, указывающие на намерение покончить с собой. Один джентльмен клялся, что Симон в его присутствии заявлял, что «устал от жизни». Арендодатель же подтвердил, что Симон, внося плату за последний месяц, заметил, что ему «недолго осталось платить за аренду». Все остальные признаки соответствовали: запертая изнутри дверь, положение тела, сожженные

бумаги. Как я и предполагал, никто не знал, что у Симона был алмаз, так что мотива для убийства не нашли. Присяжные после длительного разбирательства вынесли соответствующий вердикт, и район снова вернулся к привычному спокойствию.

V

В течение трех последующих месяцев все дни и ночи я посвящал своей алмазной линзе. Я сконструировал огромную гальваническую батарею, состоявшую из почти двух тысяч пар пластин: большую мощность я не решился использовать, чтобы не сжечь алмаз. При помощи этого гигантского орудия я мог непрерывно пропускать мощный электрический ток сквозь мой великолепный алмаз, который, как мне казалось, с каждым днем сиял все сильнее. Спустя месяц я начал вытачивать и полировать линзу. Эта работа требовала напряженных усилий и совершенной тонкости. Огромная плотность камня и осторожность, необходимая для искривления поверхности линзы, сделали этот труд самым тяжелым и изнурительным в моей жизни.

Наконец наступил знаменательный момент: линза была готова. Я с трепетом стоял на пороге

новых миров. Воплощение знаменитого желания Александра было передо мной. Линза лежала на столе, готовая к установке на платформу. Моя рука ощутимо дрожала, когда я покрыл каплю воды тонкой пленкой скипидара, подготавливая ее к исследованию, — этот процесс был необходим, чтобы предотвратить ее быстрое испарение. Теперь я поместил каплю на тонкое предметное стекло под линзой и, направив на нее мощный поток света при помощи призмы и зеркала, прижался глазом к крошечному отверстию, просверленному через ось линзы. В первое мгновение я не увидел ничего, кроме хаотичного скопления огней в огромной, сияющей бездне. Чистый белый свет, безоблачный, безмятежный и, казалось, безграничный, как само пространство, стал моим первым впечатлением. Аккуратно и с величайшей осторожностью я сдвинул линзу вниз на долю миллиметра. Чудесное сияние никуда не исчезло, но, когда линза приблизилась к объекту, моему взору открылась сцена неописуемой красоты.

Казалось, я смотрю на огромное пространство, границы которого лежат далеко за пределами моего видения. Все поле зрения пронизывала атмосфера магического сияния. Я был поражен,

не увидев ни следа живых организмов. Ни одно живое существо, судя по всему, не обитало в этом ослепительном раздолье. Я сразу понял, что благодаря неимоверной силе моей линзы проник за макроскопические частицы водной материи, за границы царства инфузорий и простейших, к первоначальной газовой глобуле и смотрел в ее сияющее внутреннее пространство, напоминающее безграничный купол, полный сверхъестественного света.

И все же я видел не только сияющую пустоту. Со всех сторон я замечал прекрасные неорганические образования неизвестной структуры, окрашенные в самые чарующие цвета. Эти образования представляли из себя, если можно так выразиться из-за отсутствия более точного определения, максимально разреженные слоистые облака; они расплывались и превращались в растительные образования таких благородных оттенков, что сравнивать с ними позолоту наших осенних лесов — это словно ставить рядом окалину и золото. Далеко в безграничное пространство тянулись аллеи этих газообразных лесов, полупрозрачных и окрашенных призматическими цветами невообразимой яркости. Свисающие ветви раскачивались над изменчи-

выми прогалинами, пока не начинало казаться, что каждая аллея превратилась в ряды наполовину просвечивающих разноцветных свисающих шелковистых флагов. Нечто, напоминающее одновременно фрукты или цветы, расцвеченные тысячами оттенков, сверкающих и постоянно меняющихся, пузырилось среди крон этой волшебной листвы. Ни холмов, ни озер, ни рек, ни живых или неживых форм не было видно, только эти огромные сияющие рощи безмолвно парили в тишине, а листья, фрукты и цветы переливались огнями, которые невозможно вообразить.

Как странно, подумал я, что эта сфера вот так обречена на одиночество. Я надеялся по крайней мере обнаружить новую форму животной жизни — возможно, классом ниже, чем все те, которые были известны на данный момент, но все же живые организмы. Мой новый мир, если можно так выразиться, оказался прекрасной разноцветной пустыней.

Размышляя над удивительным устройством природы, которое так часто разбивает на атомы наши самые стройные теории, мне показалось, что я заметил нечто, движущееся по прогалине одного из призматических лесов. Я пригляделся и обнаружил, что не ошибся. Ни одно слово не спо-

собно описать то волнение, с которым я ожидал приближения этого таинственного объекта. Было ли это просто какое-то неодушевленное образование, находящееся в напряжении в разреженной атмосфере глобулы, или животное, наделенное жизненной силой и способностью двигаться? Оно приблизилось, мелькая за тонкими разноцветными завесами облачной листвы, то появляясь на миг, то исчезая. Наконец фиолетовые флаги, свисающие ближе всего ко мне, задрожали; их мягко отодвинули, и создание явилось на свет.

Оно имело форму человеческой женщины. Когда я говорю «человеческой», я имею в виду, что оно обладало очертаниями человека, но на этом сходство заканчивалось. Восхитительная красота превозносила это создание на безграничную высоту по сравнению с самой прекрасной из дочерей Адама.

Я не могу, я не смею даже пытаться описать обворожительность этого божественного откровения совершенной красоты. Эти глаза таинственного фиолетового цвета, ясные, с влажным блеском, не поддаются описанию. Ее длинные блестящие волосы, ниспадающие с прекрасной головы золотой волной, словно след, оставленный в небесах падающей звездой, превосходят

своим великолепием любые приходящие мне в голову эпитеты. Если бы все пчелы Хиблы[59] сели на мои губы, они все равно продолжили бы, хоть и хрипло, воспевать невероятную гармонию ее очертаний.

Сквозь радужные занавеси облачной листвы она вышла на ясное море света, лежавшее выше. Она двигалась как грациозная наяда, рассекающая простым усилием воли чистые гладкие воды, заполняющие морские покои. Она проплыла дальше с безмятежной грацией тончайшего мыльного пузыря, поднимающегося ввысь в напоенной спокойствием атмосфере июньского дня. Идеальные округлости ее тела образовывали плавные и пленительные изгибы. Смотреть на нее было словно слушать самую возвышенную симфонию божественного Бетховена, словно наблюдать гармоничное течение линий. Это действительно было бесценное удовольствие. Что с того, что я заплатил за проход к вратам этого чуда кровью другого? Я бы отдал свою, чтобы испытать один лишь момент этого опьянения и восторга.

Затаив дыхание от созерцания этого прекрасного чуда, забыв на мгновение обо всем, кроме

---

[59] Примечания: 59

Хибла — гора в Сицилии, известная в древности обилием диких пчел.

ее существования, я нетерпеливо оторвал глаз от микроскопа. Увы! Когда мой взгляд упал на тонкое стекло, лежавшее под моим инструментом, я увидел лишь сверкающую в лучах света от зеркала и призмы бесцветную каплю воды! Там, в этой крошечной бусинке росы, было навечно заточено это прекрасное создание. Планета Нептун была не дальше от меня, чем она. Я поспешил снова приникнуть к микроскопу.

Анимула (позвольте мне называть ее этим драгоценным именем, которое я позже даровал ей) изменила свою позицию. Она вернулась в чудесный лес и пристально смотрела вверх. Вскоре одно из деревьев, как мне стоит их называть, развернуло длинный ресничный отросток, схватило им один из сверкающих фруктов, блестевших на его макушке, и, медленно опустившись, поднесло Анимуле. Сильфида взяла его своей изящной ручкой и начала есть. Мое внимание было полностью поглощено ею, и я не мог заставить себя выяснить, было ли это единственное растение, наделенное собственной волей, или нет.

Пока Анимула ела, я наблюдал за ней с самым пристальным вниманием. Плавность ее движений заставляла все мое тело дрожать от восторга; мое сердце колотилось, как сумасшедшее, ко-

гда она обратила свои прекрасные глаза в том направлении, где находился я. Я бы все отдал за возможность низвергнуться в этот сияющий океан и плыть с ней сквозь пурпурные и золотые облака! Пока я затаив дыхание следовал взглядом за каждым ее движением, она внезапно вздрогнула, казалось, прислушалась на мгновение, и затем словно вспышка рассекла сверкающий эфир, в котором она плавала, пронзила насквозь опаловый лес и исчезла.

Неожиданно меня охватило множество самых странных ощущений. Словно бы я внезапно ослеп. Сияющая сфера все еще была передо мной, но дневной свет для меня померк. Что вызвало столь неожиданное исчезновение? Был ли у нее муж или любовник? Да, это был ответ! Какой-то сигнал от удачливого собрата прозвучал сквозь лесные аллеи, и она повиновалась призыву.

Агония, которую я испытал, придя к этому заключению, поразила меня. Я пытался отрицать заключение, которое навязывал мне мой разум. Я сопротивлялся этому фатальному убеждению, но тщетно. Все было так. Мне не сбежать от этого. Я любил микроорганизм.

Правда в том, что благодаря потрясающей силе моего микроскопа она предстала передо мной

в человеческих пропорциях. Вместо того чтобы выглядеть так же отвратительно, как те грубые существа, которые живут, борются и умирают в более легко различимых частицах водных капель, она была чиста, нежна и исключительно красива. Но какая была от этого польза? Каждый раз, отводя взгляд от микроскопа, я видел жалкую каплю воды, внутри которой, как мне посчастливилось узнать, обитало все то, что могло сделать прекрасной мою жизнь.

Если бы она могла хоть раз меня увидеть! Если бы я мог хоть на мгновение прорваться сквозь мистические стены, столь непреодолимо нас разделявшие, и нашептать все то, чем полнилась моя душа, я бы до конца своей жизни был бы счастлив знать, что она испытывает ко мне отдаленную симпатию.

Это могло бы хоть немного связать нас: знание, что время от времени, скитаясь по этим зачарованным полянам, она может подумать об удивительном незнакомце, нарушившем монотонность ее жизни своим присутствием и оставившем нежное воспоминание в ее сердце!

Но это было невозможно. Ни одно изобретение, на которое был способен человеческий разум, не могло пробить барьеры, воздвигнутые природой.

Я мог тешить свою душу ее чудесной красотой, но сама она должна была навечно остаться в неведении об обожающих глазах, днем и ночью смотрящих на нее, и даже когда они были закрыты, продолжавших видеть ее во сне. С горьким мучительным криком я выбежал из комнаты, бросился на кровать и, нарыдавшись, уснул как младенец.

VI

На следующее утро я встал почти на рассвете и бросился к моему микроскопу. Дрожа, я искал сверкающий мир, в котором была заключена вся моя жизнь. Анимула была здесь. Я оставил зажженной газовую лампу, окруженную рассеивателями, когда пошел спать предыдущей ночью. Я нашел сильфиду словно купающейся в сиянии света, окружавшем ее, с выражением удовольствия, которое оживляло ее черты. Она отбросила блестящие золотые волосы на плечи с невинным кокетством. Она лежала, вытянувшись, в просвечивающем веществе, в котором легко удерживала себя, и плескалась с очаровательной грацией — подобную грацию могла бы продемонстрировать нимфа Салмация, пытаясь соблазнить скромного Гермафродита. Я попы-

тался провести эксперимент, чтобы выяснить, насколько развита ее способность к рефлексии. Я значительно уменьшил свет лампы. В оставшемся тусклом свете я мог видеть выражение боли, появившееся на ее лице. Она внезапно посмотрела вверх и свела брови. Я вновь залил предметное стекло микроскопа мощным потоком света, и весь ее облик изменился. Она прыгала так, словно вовсе была лишена веса. Ее глаза сияли, а губы двигались. Ах, если бы у науки был способ выводить и усиливать звук так же, как и свет, какие счастливые песни могли бы достигнуть моих ушей! Какие ликующие гимны Адонису сотрясли бы подсвеченный воздух!

Теперь я понимал, почему граф де Габалис населил свой мистический мир сильфами — прекрасными созданиями, чье дыхание жизни было сверкающими огнями и которые вечно резвились в сферах чистейшего эфира и чистейшего света. Розенкрейцеры предвидели чудо, которое я доказал на практике. Я едва ли способен оценить, как долго продолжалось мое поклонение этому удивительному божеству. Я потерял всякое чувство времени. Весь день, с первых лучей солнца и до глубокой ночи, меня можно было найти смотрящим через эту невероятную линзу. Я никого

не видел, никуда не ходил и с трудом позволял себе потратить немного времени на еду. Вся моя жизнь была поглощена созерцанием столь же восторженным, как у любого из римских святых. Каждый час, проведенный за разглядыванием божественного создания, усиливал мою страсть — страсть, навсегда омраченную сводящим с ума знанием, что, хотя я могу смотреть на нее сколько угодно, она никогда, никогда не увидит меня!

В конце концов я стал настолько бледным и истощенным из-за нехватки отдыха и постоянных размышлений о моей безумной любви и ее жестоких обстоятельствах, что решил предпринять некоторые усилия, чтобы отвлечься от нее. «Слушай, — сказал я себе, — пусть и лучшая в мире, но это фантазия. Твое воображение наделило Анимулу обворожительностью, которой она на самом деле не обладает. Изоляция от женского общества породила это болезненное состояние рассудка. Сравни ее с прекрасными женщинами своего собственного мира, и это фальшивое очарование исчезнет».

Мой взгляд случайно упал на газеты. Я увидел рекламу знаменитой танцовщицы, каждую ночь выступавшей у Нибло. Сеньорита Карадольче имела репутацию самой прекрасной и самой

изящной женщины в мире. Я немедленно оделся и отправился в театр.

Занавес поднялся. Полукруг из фей в белом муслине, стоящих на пуантах на правой ноге, окружал украшенный цветами зеленый склон, на котором спал застигнутый ночью принц. Неожиданно слышится флейта. Феи начинают танцевать. Деревья раздвигаются, все феи замирают на пуантах на левой ноге, и входит королева.

Это была Сеньорита. Под гром аплодисментов она устремилась вперед и, оттолкнувшись одной ногой, взмыла в воздух. Пресвятые небеса! И это была прелестница, к ногам которой падали короли? Эти тяжелые, мускулистые конечности, эти толстые щиколотки, впалые глаза, неживая улыбка, грубо раскрашенные щеки! Где же алый румянец, влажные, выразительные глаза, гармоничные очертания Анимулы?

Сеньорита танцевала. Какие грубые, неизящные движения! Игра ее конечностей была насквозь фальшивой и искусственной. Ее прыжки были болезненными атлетическими усилиями, ее позы были угловатыми и не радовали глаз. Я не мог этого больше выносить; с возгласом отвращения, обратившим на меня все взоры, я поднялся из своего кресла в самой середине

pas-de-fascination Синьориты и торопливо покинул театр.

Я поспешил домой, чтобы снова усладить свой взор прекрасными очертаниями моей сильфиды. Я чувствовал, что отныне бороться с этой страстью будет невозможно. Я припал к линзе. Анимула была здесь, но что случилось? Какие-то ужасные изменения произошли, пока я отсутствовал. Казалось, какое-то скрытое горе омрачило ее черты. Ее лицо стало худым и изможденным, ее конечности тяжело повисли, чудесное сияние ее волос померкло. Она была больна — больна, и я ничем не мог ей помочь! В тот момент, полагаю, я бы отверг все притязания на право быть человеком, если бы только мог уменьшиться до размера микроорганизма и облегчить страдания той, с которой судьба навечно меня разделила.

Я ломал голову над разгадкой этой тайны. Что так мучило сильфиду? Она, казалось, страдала от сильной боли. Черты ее лица исказились, она даже скорчилась, словно в агонии. Чудесный лес, похоже, тоже потерял половину своей красоты. Его цвета потускнели, а местами полностью исчезли. Часами я наблюдал за Анимулой с болью в сердце, и она угасала у меня на глазах. Внезапно я вспомнил, что не смотрел на каплю воды

уже несколько дней. На самом деле я ненавидел смотреть на нее, ведь она напоминала мне о природном барьере между мной и Анимулой. Я торопливо посмотрел вниз на подставку. Предметное стекло было здесь. Но, пресвятые небеса! Капля исчезла! Кошмарная правда обрушилась на меня: она испарялась, пока не сделалась настолько крошечной, что ее стало невозможно увидеть невооруженным глазом. Я смотрел на ее последний атом, тот самый, в котором была Анимула, — и она умирала!

Я вновь бросился к линзе и посмотрел сквозь нее. Увы! Ее сотрясала последняя агония. Все радужные леса растаяли, и Анимула слабо билась в том, что казалось пятном тусклого света. Ах, это было ужасное зрелище! Конечности, когда-то столь округлые и изящные, съеживались, превращаясь в ничто; глаза, те глаза, которые сияли, словно небеса, рассыпались в черную пыль; блестящие золотые волосы стали жидкими и бесцветными. Наступила агония. Я увидел это последнее усилие чернеющей фигуры — и потерял сознание.

Очнувшись от многочасового транса, я обнаружил, что лежу среди осколков своего инструмента, такой же разбитый, душевно и физически,

как и он. Я едва дополз до кровати, с которой не вставал многие месяцы.

Они теперь говорят, что я сумасшедший, но они ошибаются. Я беден, потому что во мне нет ни страсти, ни желания работать. Все мои деньги потрачены, и я живу на милостыню. Ассоциация молодых людей любит в шутку приглашать меня прочесть им лекцию по оптике, они платят мне за это и смеются, пока я читаю лекцию.

«Линли, безумный микроскопист» — вот имя, под которым я известен. Полагаю, я говорю бессвязно во время лекций. Кто мог бы говорить складно, когда его мозг обуревают столь ужасные воспоминания, когда то и дело среди призраков смерти я вижу сияющую фигуру моей потерянной Анимулы!

Перевод Марии Таировой



Эдгар Аллан По



В России Эдгара Аллана По (1809–1849) любят, и любят давно. На русском его начали читать уже в 40-е годы XIX века. Им восхищался Ф. М. Достоевский, о нем писали русские критики-демократы, он был одной из «культовых» фигур отечественного Серебряного века. Все известные к настоящему времени произведения великого американского романтика переведены (большинство неоднократно) на русский язык. Поэт и прозаик, незаурядный литературный критик и философ, он оставил небольшое по объему, но весьма разнообразное литературное наследие. Можно спорить о том, что «страшный» рассказ («новелла ужасов») является наиболее значимой частью творческого наследия художника, но то, что это одна из наиболее ярких его составляющих, оспорить невозможно.

Эдгар По начинал как поэт и уже к концу 1820-х гг. состоялся как одно из ярчайших явлений поэзии Америки. Обращение к прозе поначалу носило вынужденный характер, в котором материальные соображения, столь важные для поэта, существовавшего исключительно на литературные доходы, играли не последнюю роль. Молодая национальная словесность активно осваивала малые прозаические жанры. Очерки, рассказы

заполняли страницы в изобилии издававшихся тогда литературных журналов и альманахов. Не последнее место среди них занимали так называемые рассказы «немецкой школы» — или, как нередко их еще называли в Америке, «рассказы впечатлений». Их отличительной чертой был «готический» колорит — нагромождение невероятного и ужасного, всевозможные замки, привидения, таинственные и загадочные преступления. Они пользовались огромной популярностью и приносили хороший доход их авторам и издателям. Эдгар По был литератором-профессионалом и, конечно, не мог остаться в стороне от этого явления.

Ранние опыты писателя в сфере «ужасной» прозы несли отчетливый пародийный оттенок, да и задумывались изначально прежде всего как пародии на популярный жанр. В этом нетрудно убедиться, обратившись к самым первым его новеллам «Как написать рассказ для “Блэквуда”» и «Трагическое положение», опубликованным в начале 1830-х гг. Довольно скоро По отказался от пародийно-ироничной интонации. Великий американец первым увидел потенциальные возможности жанра, а затем попытался превратить его в высокое искусство. На базе «страшного»

рассказа он сформировал теорию тотального эмоционального воздействия на читателя, научился заранее прогнозировать эмоциональный эффект текста, «конструировать» и скрупулезно выстраивать его. В «Философии творчества» и в «Новеллистике Натаниэля Готорна» он сформулировал основные принципы своей теории, ставшие впоследствии «альфой и омегой» любого, кто берется за сочинение короткой «страшной» (да и не только «страшной») прозы. Трудно не согласиться с авторами всемирно известной «Теории литературы» Р. Уэллеком и О. Уорреном, которые утверждали, что По «видел себя литератором-инженером, способным управлять чужими душами». «Инженерная», рассудочная составляющая — ключ к пониманию и верному восприятию рассказов американского художника. В то же время Э. По был романтиком, отвергавшим прозаическое существование буржуа, лишенное какого бы то ни было намека на чудесное и загадочное. Поэтому его обращение к «страшному» было и своего рода эскейпизмом, бегством от вызывающей отвращение действительности. Он верил в созидающую и облагораживающую силу искусства, считал художника творцом, почти равным богу, к которому неприменимы мирские

законы и установления. Вероятно, всем этим он и был близок Г. Лавкрафту, который в своем эссе «Ужас и сверхъестественное в литературе» писал: «Рассказы По обладают почти абсолютным совершенством художественной формы, что делает их подлинными маяками в жанре краткой прозы. По мог придать своей прозе истинно поэтический оттенок, используя тот архаичный и ориенталистский стиль, с фразами, сверкающими драгоценностями слов, почти библейскими повторами и рефренами, которые столь удачно перешли затем к писателям более позднего времени». В том числе и к автору приведенных строк.

А. Б. Танасейчук

Падение дома Эшер

Son coeur est un luth suspendu,
Sitôt qu'on le touche il résonne.
***De Béranger*[60]**

Весь тот день — серый, темный, тихий осенний день — под низко нависшими свинцовыми тучами я ехал верхом по необычайно пустынной местности и наконец, когда вечерние тени легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Эшера. Не знаю почему, но при первом взгляде на нее невыносимая тоска проникла мне в душу. Я говорю: невыносимая, потому что она не смягчалась тем грустным, но сладостным чувством поэзии, которое вызывают в душе человеческой даже самые безнадежные картины природы. Я смотрел на запустелую усадьбу, на одинокий дом, на мрачные стены, на зияющие впадины выбитых окон, на чахлую осоку, на седые стволы дряхлых деревьев с чувством гнетущим, которое могу

---

[60] Примечания: 60

Его сердце – висящая лютня,
Лишь дотронуться – она зазвучит.

(Беранже)
(Здесь и далее по тексту — прим. переводчика.)

сравнить только с пробуждением курильщика опиума, с горьким возвращением к обыденной жизни, когда завеса спадает с глаз, и презренная действительность обнажается во всем своем безобразии.

То была леденящая, ноющая, сосущая боль сердца, безотрадная пустота в мыслях, полное бессилие воображения настроить душу на более возвышенный лад.

«Что же именно, — подумал я, — что именно так удручает меня в Доме Эшера?»

Я не мог разрешить этой тайны, не мог разобраться в тумане смутных впечатлений. Пришлось удовольствоваться ничего не объясняющим заключением, что известные сочетания весьма естественных предметов могут влиять на нас таким образом, но исследовать это влияние — задача, непосильная для нашего ума.

«Возможно, — думал я, — что простая перестановка, иное расположение мелочей, подробностей картины изменит или уничтожит это гнетущее впечатление».

Под влиянием этой мысли я подъехал к самому краю обрыва над черным мрачным прудом, неподвижная гладь которого раскинулась под самой усадьбой, и содрогнулся еще сильнее, увидав в

повторенном и обратном изображении чахлую осоку, седые стволы деревьев, пустые впадины окон.

Тем не менее я намеревался провести несколько недель в этом угрюмом жилище. Владелец его, Родерик Эшер, был моим другом детства, но много воды утекло с тех пор, как мы виделись в последний раз. И вот недавно я получил от него письмо, очень странное, настойчивое, требовавшее личного свидания. Письмо свидетельствовало о сильном нервном возбуждении. Эшер говорил о жестоких физических страданиях, об угнетавшем его душевном расстройстве и хотел непременно видеть меня, своего лучшего, даже единственного друга, общество которого облегчит его мучения. Тон письма, его очевидная сердечность заставили меня принять приглашение без всяких колебаний, хотя оно казалось мне все-таки странным.

Несмотря на нашу тесную дружбу в детские годы, я знал о моем друге очень мало. Он всегда был сдержан. Мне было известно, однако, что он принадлежал к очень древней фамилии, представители которой с незапамятных времен отличались особенной чувствительностью характера, выражавшейся в течение многих

веков в различных произведениях искусства, всегда носивших отпечаток восторженности, а позднее — в щедрой, но отнюдь не навязчивой благотворительности и страстной любви к музыке, скорее к трудностям, чем к признанным и легко доступным красотам. Мне известен также замечательный факт, что эта фамилия, при всей своей древности, не породила ни одной боковой ветви, сколько-нибудь живучей; иными словами, все члены рода, за весьма немногими и кратковременными уклонениями, были связаны родством по прямой линии. Когда я раздумывал о замечательном соответствии между характером поместья и характером его владельцев и о возможном влиянии первого на второй в течение многих столетий, мне часто приходило в голову, не это ли отсутствие боковой линии и неизменная передача от отца к сыну имени и поместья так соединили эти последние, что первоначальное название усадьбы заменилось странным и двусмысленным прозвищем «Эшерового Дома», под которым местное население подразумевало как самих владельцев, так и их родовую собственность.

Я сказал, что моя довольно ребяческая попытка изменить настроение, заглянув в пруд, только

усилила тяжесть первого впечатления. Не сомневаюсь, что сознание своего суеверия — почему не употребить это слово? — усиливало его действие. Таков — я давно убедился в этом — противоречивый закон всех душевных движений, в основе которых лежит чувство ужаса.

Быть может, только этим и объясняется странная фантазия, явившаяся у меня, когда я перевел взгляд от отражения в пруде к самой усадьбе, — фантазия просто смешная, так что и упоминать бы о ней не стоило, если бы она не показывала силу осаждавших меня впечатлений. Мне показалось, будто дом и вся усадьба окутаны совершенно особенным, только им присущим воздухом, совсем не похожим на окружающий вольный воздух, — воздухом, исходящим от гнилых деревьев, ветхой стены, молчаливого пруда, — тяжким, сонным, зараженным… и таинственным.

Стряхнув с души впечатление, которое, должно быть, являлось бредом, я стал рассматривать дом. Главной, особенной чертой его была глубокая древность. Века наложили на него неизгладимую печать. Лишаи покрывали его почти сплошь, свешиваясь тонкими косматыми прядями по краям крыши. Но больше всего бросались в глаза

признаки тления. Ни одна часть дома не обвалилась, но тем более поражало несоответствие общей, сохранившейся во всех частях, постройки с обветшалым видом отдельных камней. Такой вид имеет иногда старинная деревянная работа, изъеденная годами в каком-нибудь заброшенном помещении, куда не проникает внешний воздух. Впрочем, кроме этих признаков ветхости, не было заметно ничего, грозящего разрушением. Разве, быть может, внимательный наблюдатель заметил бы легкую, чуть видную трещину, которая, начинаясь под крышей на фасаде здания, шла по стене зигзагами, исчезая в мутных водах пруда.

Заметив все это, я подъехал к дому. Слуга принял мою лошадь, и я вошел через готический подъезд в приемную. Отсюда лакей неслышными шагами провел меня по темным и извилистым коридорам в кабинет своего господина. Многое из того, что встречалось мне по пути, усиливало смутное впечатление, о котором я говорил выше. Хотя окружающие предметы — резьба на потолках, темные обои на стенах, полы, окрашенные черной краской, фантастические воинские доспехи, звеневшие, когда я проходил мимо, — были мне знакомы с детства, хотя я сразу узнал все это, но странно: эти знакомые предметы возбуждали

во мне ощущения, совершенно незнакомые. На одной из лестниц я встретил домашнего доктора Эшеров. Лицо его, как мне показалось, выражало смесь смущения и низкой хитрости. Он торопливо поздоровался со мной и прошел мимо. Наконец лакей распахнул дверь и доложил о моем приходе.

Я очутился в высокой и просторной комнате. Длинные узкие стрельчатые окна помещались на такой высоте от черного дубового пола, что были совершенно недоступны изнутри. Тусклый красноватый свет проникал сквозь решетчатые окна, так что большие предметы обрисовывались довольно ясно; но глаз тщетно старался проникнуть в отдаленные углы комнаты и сводчатого расписного потолка. Темные завесы свешивались по стенам. Мебель была старинная, неудобная и ветхая. Разбросанные всюду книги и музыкальные инструменты не оживляли комнату. Воздух напоен был тоскою. Унылая, бесконечная, безнадежная, висела она над всеми, пронизывала все.

Когда я вошел, Эшер встал с дивана, на котором лежал, вытянувшись во всю длину, и приветствовал меня с радостью, которая показалась мне несколько преувеличенной. Но, взглянув на него, я убедился в ее искренности. Мы сели;

с минуту я глядел на него со смешанным чувством тревоги и жалости. Без сомнения, никогда еще человек не изменялся так страшно в такой короткий срок, как Родерик Эшер! Я едва мог признать в этом изможденном существе друга моих детских игр. А между тем наружность его была замечательна. Трупный цвет кожи, огромные светлые с невыразимым влажным блеском глаза; тонкие, бледные, но удивительно красиво очерченные губы; изящный еврейский нос, однако с чересчур широкими ноздрями; красиво очерченный подбородок, очень мало выдающийся (признак душевной слабости); волосы мягкие, тонкие-тонкие, паутинные; лоб, необычайно широкий в висках, — такую наружность трудно забыть. Особенные черты лица его и свойственное им выражение теперь выступили еще резче — но именно это обстоятельство изменяло его до неузнаваемости, так что я сомневался, точно ли это мой старый друг. Больше всего меня поразили — даже испугали! — призрачная бледность лица его и волшебный блеск глаз. Паутина волос, очевидно, давно уже не знавшая ножниц, обрамляя лицо почти воздушными прядями, тоже придавала ему какой-то нездешний вид.

В движениях моего друга прежде всего бро-

силась в глаза какая-то неровность, невыдержанность — следствие, как я вскоре убедился, постоянной, но слабой и тщетной борьбы с крайним нервным возбуждением. Я ожидал чего-нибудь подобного не только по письму, но и по воспоминаниям о некоторых особенностях его характера, проявлявшихся в детстве, да и по всему, что я знал о его физическом состоянии и темпераменте. Он то и дело переходил от оживления к унынию. Голос его также мгновенно изменялся: дрожь нерешительности (когда жизненные силы, по-видимому, совершенно исчезали) сменялась звуком стремительной уверенности, отрывистым, резким, не терпящим возражений, грубоватым звуком, тем веским, мерным, горловым говором, какой бывает у горького пьяницы или записного курильщика опиума в минуты сильнейшего возбуждения.

Так говорил он о цели моего посещения, о своем горячем желании видеть меня, об утешении, которое доставил ему мой приезд. Затем, как будто не совсем охотно, перешел к своей болезни. Это был, по его словам, наследственный семейный недуг, против которого, кажется, нет лекарства…

— Чисто нервное расстройство, — прибавил он поспешно, — которое, вероятно, пройдет само

собою.

Оно выражалось в различных болезненных ощущениях. Некоторые из них заинтересовали и поразили меня, хотя, быть может, при этом воздействовали звуки голоса и слова рассказа. Он жестоко страдал от чрезмерной остроты чувств, принимал только самую безвкусную пищу, носил только известные ткани, не терпел запаха цветов. Самый слабый свет раздражал его глаза, и только немногие звуки, исключительно струнных инструментов, не внушали ему ужаса.

Оказалось также, что он подвержен беспричинному неестественному страху.

— Я погибну, — говорил он, — я должен погибнуть от этого жалкого безумия. Так, так, а не иначе, суждено мне погибнуть. Я страшусь будущих событий, не их самих, а их последствий. Дрожу при мысли о самых обыденных происшествиях, потому что они могут повлиять на это невыносимое возбуждение. Боюсь не столько самой опасности, сколько ее неизбежного следствия — ужаса. Чувствую, что это развинченное, это жалкое состояние рано или поздно кончится потерей рассудка и жизни в борьбе со зловещим призраком — страхом!

Я подметил также в его неясных и двусмыс-

ленных намеках другую любопытную черту болезненного душевного состояния. Его преследовали суеверные представления о жилище, в котором он прожил безвыездно столько лет, мысль о каком-то влиянии, сущность которого трудно было понять из его неясных слов.

Судя по ним, некоторые особенности его родовой усадьбы мало-помалу, в течение долгих лет приобрели странную власть над его душою; вещи чисто физические — серые стены и башенки, темный пруд, в котором они отражались, влияли на духовную сторону его существования.

Впрочем, он соглашался, хотя и не без колебаний, что та особенная тоска, о которой он говорил, может быть следствием гораздо более естественной и осязаемой причины: тяжелой и долгой болезни и, несомненно, близкой кончины нежно любимой сестры, его друга и товарища в течение многих лет, единственного родного существа, которое у него оставалось в этом мире.

— После смерти ее, — заметил он с горечью, которая произвела на меня впечатление неизгладимое, — я, хилый и больной, без надежды на потомство, останусь последним в древнем роде Эшер.

Когда он говорил это, леди Магдалина (так

звали сестру его) медленно прошла в глубине комнаты и скрылась, не заметив моего присутствия. Я смотрел на нее с удивлением, к которому примешивалось чувство страха. Почему? Я сам не могу объяснить. Что-то давило меня, пока я следил за ней глазами. Когда она исчезла за дверью, я невольно украдкой взглянул на моего друга, но он закрыл лицо руками, и я заметил только ужасающую худобу его пальцев, сквозь которые блестели слезы.

Болезнь леди Магдалины давно уже сбивала с толку врачей. Постоянная апатия, истощение, частые, хотя кратковременные, явления каталептического характера — таковы были главные признаки этого странного недуга. Впрочем, леди Магдалина упорно боролась с ним, ни за что не хотела лечь в постель; но вечером после моего приезда слегла (ее брат с невыразимым волнением сообщил мне об этом ночью) — так что я, по всей вероятности, видел ее в последний раз.

В течение нескольких дней имя ее не упоминалось ни Эшером, ни мною. Я всеми силами старался рассеять тоску моего друга. Мы вместе рисовали и читали, или я слушал, как во сне, его дикие импровизации на гитаре. Но чем теснее и ближе мы сходились, чем глубже я проникал в

душу его, тем очевиднее становилась для меня безнадежность всяких попыток развеселить этот скорбный дух, бросавший мрачную тень на все явления духовного и вещественного мира.

Я вечно буду хранить в своей памяти многие торжественные часы, проведенные мною наедине с хозяином Эшерова дома. Но вряд ли мне удастся дать точное представление о наших занятиях. Необузданный идеализм Эшера озарял все каким-то фосфорическим светом. Его мрачные импровизации врезались мне в душу. Помню, между прочим, болезненную, странную вариацию на дикий мотив последнего вальса Вебера. Живопись, создаваемая его изысканным воображением, в которой с каждой чертой выступало что-то смутное, заставлявшее меня вздрагивать тем сильнее, что я не понимал причины подобного впечатления, — эти картины (хотя я точно вижу их перед собою) решительно не поддаются описанию. Они поражали и приковывали внимание своей совершенной простотой, обнаженностью рисунка. Если когда-нибудь человек живописал мысль, то этот человек был Родерик Эшер. На меня — по крайней мере, при обстоятельствах, в которых я находился, — чистые отвлеченности, которые этот ипохондрик

набрасывал на полотно, производили впечатление невыносимо зловещее, какого я никогда не испытывал, рассматривая яркие, но слишком определенные фантазии Фюзели.

Одно из сказочных созданий моего друга, не такое отвлеченное, как остальные, я попытаюсь описать, хотя слова дадут о нем лишь слабое представление. Небольшая картина изображала внутренность бесконечно длинного прямоугольного свода или подземного хода, с низкими стенами, гладкими, белыми, без всяких перерывов или выступов. Некоторые подробности рисунка ясно показывали, что ход был на огромной глубине под землею. Он не сообщался с поверхностью посредством какого-либо выхода; не было заметно ни факела, ни другого источника искусственного света, а между тем поток ярких лучей затоплял все зловещим неестественным светом.

Я уже упоминал о болезненном состоянии слухового нерва, благодаря которому мой друг не выносил никакой музыки, кроме некоторых струнных инструментов. Быть может, эта необходимость суживать себя тесными пределами гитары в значительной мере обусловливала фантастическое свойство его импровизаций. Но легкость его impromptus не объясняется этим

обстоятельством. Музыка и слова его диких фантазий (он нередко сопровождал свою игру рифмованными импровизациями) были, по всей вероятности, следствием самоуглубления и сосредоточенности, которые, как я уже говорил, замечаются в известные минуты чрезвычайного искусственного возбуждения. Я запомнил слова одной из его песен. Быть может, она поразила меня сильнее, чем другие, вследствие истолкования, которое я дал ее таинственному смыслу. Мне казалось, будто Эшер вполне ясно сознает, что его возвышенный ум колеблется на своем престоле. Передаю эту песнь, если не вполне, то почти точно.

I

В зеленой долине, жилище светлых ангелов, возвышался когда-то прекрасный, гордый, лучезарный замок. Там стоял он во владениях властелина Мысли! Никогда серафим не простирал своих крыльев над столь прекрасным зданием.

II

Пышные златотканые знамена развевались на

кровле его (все это было, все это было в старые, давно минувшие годы); ветерок, порхая по стенам дворца, уносился, напоенный благоуханием.

III

Путник, проходя счастливой долиной, видел в ярко освещенные окна, как духи плавно двигались под мерные звуки лютни вокруг престола, на котором восседал в блеске славы своей порфирородный властитель.

IV

Жемчугами и рубинами горели пышные двери, из них вылетали, кружась и сверкая, толпы Эхо, воспевавшие голосами невыразимо сладостными мудрость своего повелителя.

V

Но злые призраки в черных одеждах осадили дворец великого царя (ах, пожалеем о нем: солнце уже никогда не взойдет для него, безнадежного!), и ныне царственная слава дома его — только сказание древности полузабытое.

VI

И ныне путник, проходя по долине, видит сквозь озаренные багровым светом окна, как безобразные призраки теснятся под звуки нестройной мелодии, а из бледных дверей, подобно зловещему потоку, вылетают толпы отвратительных чудовищ и смеются, но никогда не улыбаются.

* * *

Я помню, что в разговоре по поводу этой баллады Эшер высказал мнение, которое я отмечаю не вследствие его новизны (многие высказывали то же самое[61]), а потому, что он защищал его с большим упорством. Сущность этого мнения в том, что растительные организмы обладают чувствительностью. Но его воображение придало этой идее еще более смелый характер, перенеся ее до некоторой степени в царство неорганическое.

Не знаю, какими словами выразить степень или *размах* его убеждения. Оно имело связь (как я уже намекал) с серыми камнями дома

---

[61] Примечания: 61

Ватсон, д-р Перенваль, Спалланцани и в особенности епископ Ландафф. См. “Chemycal essays”, vol. V.

его предков. Условия этой чувствительности он усматривал в самом размещении камней — в порядке их сочетания, в изобильных мхах, разросшихся на их поверхности, в старых деревьях, стоявших вокруг, — а главное в том, что они так долго оставались в одном и том же положении, ничем не потревоженные, и удвоялись в спокойных водах пруда.

— Доказательством этой чувствительности, — прибавил он, — может служить особенный воздух (я невольно вздрогнул при этих словах), сгустившийся вокруг стен и пруда.

О том же свидетельствует безмолвное, но неотразимое и страшное влияние усадьбы на характер его предков и *на него самого*, так как именно это влияние сделало его таким, каков он теперь. Подобные мнения не нуждаются в истолкованиях, и потому я удержусь от них.

Книги, составлявшие в течение многих лет духовную пищу больного, были подобны видениям его. Мы вместе читали «Вер-вер» и «Шартрезу» Грессе; «Бельфегора» Макиавелли; «Рай и Ад» Сведенборга; «Подземное путешествие Николая Клима» Гольберга; Хиромантии Роберта Флюда, Жана Д'Эндажинэ, Делашамбра; «Путешествие в Голубую даль» Тика; «Город Солнца» Кампанел-

лы. Нашим любимым чтением было маленькое, в восьмушку, издание “Directorium Inquisitorium” доминиканца Эймерика де Жиронн и отрывки из Помпония Мелы об африканских сатирах и эгипанах, над которыми Эшер раздумывал по целым часам.

Но с наибольшим увлечением перечитывал он чрезвычайно редкий и любопытный готический in quarto служебник одной забытой церкви — *Vigiliae Mortuorum Secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae*[62].

Я вспомнил о диких обрядах, описанных в этой книге, и о ее вероятном влиянии на ипохондрика, когда однажды вечером он отрывисто сообщил мне, что леди Магдалины нет более в живых и что он намерен поместить ее тело на две недели (до окончательного погребения) в одном из многочисленных склепов здания. Я не счел возможным оспаривать это странное решение ввиду его побудительной причины. По словам Эшера, его побуждали к этому необычайный характер болезни, странные и назойливые заявления доктора и отдаленность фамильного кладбища. Признаюсь, когда я вспомнил зловещую фигуру, с которой

[62] Примечания: 62

Бдения по усопшим согласно хору магунтинской церкви (лат.). Перевод Норы Галь.

повстречался на лестнице в день приезда, мне и в голову не пришло оспаривать эту, во всяком случае, безвредную предосторожность.

По просьбе Эшера я помог ему устроить это временное погребение. Уложив тело в гроб, мы вдвоем перенесли его в место упокоения. Склеп, избранный для этой цели (он так долго не отворялся, что наши факелы чуть мерцали в сгущенном воздухе), был маленьким сырым погребом, куда свет не проникал, так как он помещался на большой глубине в той части здания, где находилась моя спальня. Без сомнения, в средневековые времена он служил для каких-нибудь тайных целей, а позднее в нем был устроен склад пороха или другого легко воспламеняющегося вещества, так как часть его пола и длинный коридор были тщательно обшиты медью. Массивная железная дверь тяжело поворачивалась на петлях, издавая странный пронзительный визг.

Сложив печальную ношу в этом царстве ужаса, мы приподняли крышку гроба и взглянули в лицо покойницы. Поразительное сходство брата и сестры бросилось мне в глаза. Быть может, угадав мои мысли, Эшер пробормотал несколько слов, из которых я понял только, что они были близнецы и что между ними всегда существовала

почти непонятная симпатия. Впрочем, мы скоро опустили крышку, так как не могли смотреть без ужаса в лицо покойницы. Болезнь, сгубившая ее во цвете лет, оставила следы, отличительные во всех вообще каталептических болезнях: слабый румянец на щеках и ту особенную томную улыбку, которая так пугает на лице покойника. Мы завинтили гроб, замкнули железную дверь и со стесненным сердцем вернулись в верхнюю часть дома, которая, впрочем, казалась немногим веселее.

Прошло несколько унылых дней, в течение которых телесное и душевное состояние моего друга сильно изменились. Его прежнее настроение исчезло. Обычные занятия были оставлены и забыты. Он бродил из комнаты в комнату бесцельными торопливыми нетвердыми шагами. Бледное лицо его приняло, если возможно, еще более зловещий оттенок, но блеск его глаз померк. Голос окончательно утратил решительные резкие звуки: в нем слышалась дрожь ужаса. По временам мне казалось, что его волнует какая-то гнетущая тайна, открыть которую не хватает смелости. А иногда я приписывал все эти странности необъяснимым причудам сумасшествия, замечая, что он по целым часам сидит недвижимо,

уставившись в пространство и точно прислушиваясь к какому-то воображаемому звуку. Мудрено ли, что это настроение пугало, даже заражало меня. Я чувствовал, что влияние его суеверных грез сказывается и на мне — медленно, но неотразимо.

На седьмой или восьмой день после погребения леди Магдалины, когда я ложился спать поздно вечером, эти ощущения нахлынули на меня с особенною силой.

Проходил час за часом, но сон бежал от глаз моих. Я старался стряхнуть с себя это болезненное настроение, старался убедить себя, что оно всецело или по крайней мере в значительной степени зависит от мрачной обстановки: темных, ветхих занавесей, которые колебались и шелестели по стенам и вокруг кровати. Но все было тщетно. Неодолимый страх глубже и глубже проникал мне в душу, и наконец демон беспричинной тревоги сжал мне сердце. Я с усилием стряхнул его, приподнялся на постели и, вглядываясь в ночную темноту, прислушивался, сам не знаю зачем, побуждаемый каким-то внутренним голосом, к тихим неясным звукам, доносившимся неведомо откуда в редкие промежутки затишья, когда ослабевала буря, завывавшая вокруг усадьбы. По-

бежденный невыносимым, хотя и безотчетным ужасом, я кое-как надел платье (чувствуя, что в эту ночь не придется спать) и попытался отогнать это жалкое малодушие, расхаживая взад и вперед по комнате.

Сделав два-три круга, я остановился, услыхав легкие шаги на лестнице. Я тотчас узнал походку Эшера. Минуту спустя он слегка постучал в дверь и вошел с лампой в руках. Его наружность, как всегда, напоминала труп, но на этот раз безумное веселье светилось в глазах его — очевидно, он был в припадке истерии. Вид его поразил меня, но я предпочел бы какое угодно общество своему томительному одиночеству, так что даже обрадовался его приходу.

— А, вы еще не видали *этого*? — сказал он отрывисто после довольно продолжительного молчания. — Не видали? Так вот посмотрите.

С этими словами он поставил лампу в сторонку и, подбежав к окну, разом распахнул его.

Буря, ворвавшаяся в комнату, едва не сбила нас с ног. Ночь была действительно великолепная в своем мрачном величии. По-видимому, средоточие урагана приходилось как раз в усадьбе: ветер то и дело менялся; густые тучи, нависшие над замком (так низко, что казалось, будто они

касаются башенок), мчались туда и сюда с неимоверной быстротой, сталкиваясь друг с другом, но не удаляясь на значительное расстояние.

Несмотря на то что тучи нависли сплошной черной громадой, мы видели их движение, хотя луны не было и молния не озаряла их своим блеском. Но с нижней поверхности туч и от всех окружающих предметов исходили светящиеся газообразные испарения, окутывавшие постройку.

— Вы не должны, вы не будете смотреть на это! — сказал я Эшеру, отведя его от окна с ласковым насилием. — Явления, которые так смущают вас, довольно обыкновенные электрические явления, или, быть может, они порождены тяжелыми испарениями пруда. Закроем окно: холодный воздух вреден для вас. У меня один из ваших любимых романов. Я буду читать, а вы слушайте; и так мы скоротаем эту ужасную ночь.

Книга, о которой я говорил, была “Mad Trist” сэра Ланселота Каннинга, но назвать ее любимым романом Эшера можно было разве в насмешку; ее неуклюжее и вялое многословие совсем не подходило к возвышенному идеализму моего друга. Как бы то ни было, никакой другой книги не случилось под рукою, и я принялся за чтение со смутной надеждой, что возбуждение ипохондри-

ка найдет облегчение в самом избытке безумия, о котором я буду читать (история умственных расстройств представляет много подобных странностей). И точно, судя по напряженному вниманию, с которым он прислушивался или делал вид, что прислушивается, к рассказу, я мог поздравить себя с полным успехом.

Я дошел до того места, когда Этельред, видя, что его не пускают добром в жилище отшельника, решается войти силой. Если припомнит читатель, эта сцена описывается так:

«Этельред, который по природе был смел, да к тому же еще находился под влиянием вина, не стал терять времени на разговоры с отшельником, но, чувствуя капли дождя и опасаясь, что буря вот-вот разразится, поднял свою палицу и живо проломил в двери отверстие, а затем, схватившись рукой, одетой в железную перчатку, за доски, так рванул их, что глухой треск ломающегося дерева отдался по всему лесу».

Окончив этот период, я вздрогнул и остановился. Мне почудилось (впрочем, я тотчас решил, что это только обман расстроенного воображения), будто из какой-то отдаленной части дома раздалось глухое, неясное эхо того самого треска, который так обстоятельно описан у сэра

Ланселота. Без сомнения, только это случайное совпадение остановило мое внимание, так как сам по себе этот звук был слишком слаб, чтобы заметить его среди рева и свиста бури. Я продолжал:

«Но, войдя в дверь, славный витязь Этельред был изумлен и взбешен, увидав, что лукавый отшельник исчез, а вместо него оказался огромный, покрытый чешуею дракон с огненным языком, сидевший на страже перед золотым за́мком с серебряными дверями, на стене которого висел блестящий медный щит с надписью:

Кто в дверь сию войдет – тот за́мок покорит;

Дракона кто убьет, получит славный щит.

Тогда Этельред замахнулся палицей и ударил дракона по голове так, что тот упал и мгновенно испустил свой нечистый дух с таким ужасным пронзительным визгом, что витязь поскорее заткнул уши, чтобы не слышать этого адского звука».

Тут я снова остановился — на этот раз с чувством ужаса и изумления, так как услышал совершенно ясно (хотя и не мог разобрать, в

каком именно направлении) слабый, отдаленный, не резкий, протяжный, визгливый звук, совершенно подобный неестественному визгу, который чудился моему воображению, когда я читал сцену смерти дракона.

Подавленный при этом вторичном и необычайном совпадении наплывом самых разнородных ощущений, над которыми господствовали изумление и ужас, я тем не менее сохранил присутствие духа настолько, что удержался от всяких замечаний, которые могли бы усилить нервное возбуждение моего друга. Я отнюдь не был уверен, что он слышал эти звуки, хотя заметил в нем странную перемену. Сначала он сидел ко мне лицом, но мало-помалу повернулся к двери, так что я не мог разглядеть лица его, хотя и заметил, что губы его дрожат и как будто шепчут что-то беззвучно. Голова опустилась на грудь, однако он не спал: я видел в профиль, что глаза его широко раскрыты. К тому же он не сидел неподвижно, а тихонько покачивался из стороны в сторону. Окинув его беглым взглядом, я продолжал рассказ сэра Ланселота:

«Избежав свирепости дракона, витязь хотел овладеть щитом и разрушить чары, тяготевшие над ним, для чего отбросил труп чудовища в

сторону и смело пошел по серебряной мостовой к стене, на которой висел щит; однако последний не дождался его приближения, а упал и покатился к ногам Этельреда с громким и страшным звоном».

Не успел я выговорить эти слова, как раздался отдаленный, но тем не менее ясный, звонкий металлический звук, точно и впрямь в эту самую минуту медный щит грохнулся на серебряную мостовую. Потеряв всякое самообладание, я вскочил, но Эшер сидел по-прежнему, мерно раскачиваясь на стуле. Я бросился к нему. Он как будто окоченел, неподвижно уставившись в пространство. Но, когда я дотронулся до его плеча, сильная дрожь пробежала по телу его, жалобная улыбка появилась на губах, и он забормотал тихим, торопливым, дрожащим голосом, по-видимому, не замечая моего присутствия. Я наклонился к нему и понял наконец его безумную речь.

— Не слышу?.. Да, я слышу… *Я слышал*. Долго… долго… долго… Много минут, много часов, много дней слышал я это, но не смел — о горе мне, несчастному! — не смел… не смел сказать! *Мы похоронили ее живою*! Не говорил ли я, что мои чувства изощренны? Теперь говорю вам, что я

слышал ее первые слабые движения в гробу. Я слышал их… Много, много дней тому назад… Но не смел… *не смел сказать*. А теперь… Сейчас… Этельред… Ха, ха!.. Треск двери в приюте отшельника, предсмертный крик дракона, звон щита! Скажите лучше: треск гроба, визг железной двери и судорожная борьба ее в медной арке коридора. О, куда мне бежать? Разве она не явится сейчас? Разве она не спешит сюда укорять меня за мою поспешность? Разве я не слышу ее шагов на лестнице? Не различаю тяжелых и страшных биений сердца ее? Безумец! — тут он вскочил в бешенстве и крикнул таким ужасным голосом, как будто бы душа его улетала вместе с этим криком: — *Безумец! Говорю вам, что она стоит теперь за дверями!*

И, как будто нечеловеческая сила этих слов имела силу заклинания, высокая старинная дверь медленно распахнула свои тяжкие черные челюсти. Это могло быть действием порыва ветра — но в дверях стояла высокая, одетая саваном фигура леди Магдалины Эшер. Белая одежда ее была залита кровью, изможденное тело обнаруживало признаки отчаянной борьбы. С минуту она стояла, дрожа и шатаясь на пороге; потом с глухим жалобным криком шагнула в комнату,

тяжко рухнула на грудь брата и в судорожной, на этот раз последней, агонии увлекла за собою на пол бездыханное тело жертвы ужаса, предугаданного им заранее.

Я бежал из этой комнаты, из этого дома. Буря свирепствовала по-прежнему, когда я спустился с ветхого крыльца. Внезапно передо мной мелькнул на тропинке какой-то странный свет; я обернулся посмотреть, откуда он, так как за мной находилось только темное здание усадьбы. Оказалось, что он исходил от полной кроваво-красной луны, светившей сквозь трещину, о которой я упоминал выше, простиравшуюся зигзагом от кровли до основания дома. На моих глазах трещина быстро расширилась; налетел сильный порыв урагана; полный лунный круг внезапно засверкал перед моими глазами; мощные стены распались и рухнули; раздался гул, точно от тысячи водопадов, и глубокий черный пруд безмолвно и угрюмо сомкнулся над развалинами Дома Эшер.

Перевод Михаила Энгельгардта

Овальный портрет

Провести ночь на открытом воздухе в том крайне болезненном состоянии, в котором я находился, было слишком опасно для здоровья. Мой слуга знал об этом и, вероятно, потому, не испросив у меня разрешения, бесцеремонно вторгся в оставленный хозяевами замок. Замок, или шато, как обычно называют строения подобного типа, являл одну из тех величественных громадин, пышных и одновременно унылых, что встречаются в Апеннинах почти так же часто, как и в воображении миссис Радклиф. Судя по всему, покинут он был совсем недавно. Хозяева уезжали в спешке, но не навсегда.

Мы постарались отыскать апартаменты поменьше и попроще. Их удалось найти в одной из дальних башен замка. Покои, в коих мы расположились, были богаты, но порядком состарились и обветшали. Стены были задрапированы гобеленами и украшены разнообразным оружием и доспехами. Тут же висели картины, — живописные полотна современного письма были заключены в богатые, резные, золоченые рамы, их было слишком много. Они висели везде — не

только на стенах, но и в многочисленных углах и нишах этого необычной архитектуры здания.

Конечно, причиной тому мог быть и начинающийся у меня жар, но я испытывал живейший интерес к картинам. Я попросил Педро замкнуть тяжелые ставни и, поскольку вечер уже давно наступил, зажечь все свечи высокого канделябра, что стоял в головах моей кровати. По моей просьбе он также пошире распахнул тяжелый расшитый полог из черного бархата. Эти приготовления понадобились мне, чтобы отдаться созерцанию картин и чтению изящного томика, обнаруженного мной на подушке и содержащего подробный разбор и описание каждой.

Я долго, очень долго читал и очень пристально смотрел на картины. Быстро летели часы, и наступила полночь. Мне не нравилось, как стоит канделябр, и, с трудом протянув руку, чтобы не потревожить спящего слугу, я подвинул канделябр так, чтобы отбрасываемый им свет лучше освещал книгу.

Но мое действие произвело эффект совершенно неожиданный. Лучи множества свечей (а их, действительно, было очень много) внезапно высветили нишу комнаты, до той поры погруженную в глубокую тень от одного из столбов

балдахина. В ярком свете я вдруг увидел картину, прежде совершенно не заметную. Это был портрет молодой девушки, едва вступившей в пору цветущей женственности. Я едва посмотрел на портрет и закрыл глаза. Почему я так поступил, вначале было неясно и мне самому. Но, пока мои веки оставались сомкнуты, в сознании своем я отыскал причину. То был подспудный импульс: мне было нужно выиграть время для размышлений, чтобы удостовериться, что чувства мои меня не подвели, и обуздать, подчинить фантазию для более трезвого и беспристрастного взгляда. Прошло несколько мгновений, я вновь открыл глаза и пристально посмотрел на картину.

Теперь я мог не сомневаться, что вижу правильно; как только первый отблеск света свечей упал на холст, словно пелена спала, и прошло оцепенение, сковывавшее мои чувства, сразу возвратив меня к бодрствованию.

Портрет, как я уже сказал, изображал молодую девушку. На холсте художник запечатлел только голову и плечи в так называемой виньеточной манере; по стилю изображение напоминало наиболее удачные из работ Салли. Руки, грудь и даже ниспадающие волны мерцающих волос, казалось, растворялись в неясной, но глубокой

тени, формировавшей фон картины. Рама была овальной, щедро раззолоченная и украшенная густой резьбой в мавританском стиле. Как произведение искусства портрет вызывал глубочайшее восхищение. Однако ни его исполнение, ни нетленная красота образа не могли так внезапно и так сильно взволновать меня. Наконец, не мог я, даже если учесть воспаленность моего сознания, принять изображение за живую женщину. Особенности рисунка, живописная манера, рама — я это увидел сразу — заставили бы меня тотчас отвергнуть саму мысль об этом, ни на единый миг не дали мне поверить в это. Быть может, целый час, опершись на подушки, я пребывал в глубоком раздумье, не отрывая пристального взгляда от портрета. Прошла словно вечность, но наконец я постиг сущность таинственного воздействия картины и, обессиленный, упал на кровать.

Я понял, что волшебная сила портрета заключается в абсолютном жизнеподобии выражения, которое сначала поразило, потом смутило и, наконец, полностью подчинило и испугало меня. С благоговением и трепетом я вернул канделябр на прежнее место. Теперь то, что так глубоко взволновало меня, было недоступно моему взгляду, и я

с нетерпением взял книгу, в которой содержалось описание картин и их история. Найдя номер, под которым числилось описание овального портрета, я прочитал нечто смутное, непонятное, но завораживающее. Вот эти слова:

«Она была девушкой редчайшей красоты; но ее очарование было равно веселости ее нрава. Злой рок дал ей час, когда она увидела и полюбила живописца и стала женой его. Он, одержимый, упорный и суровый, был давно обручен с Искусством живописи; она, чья поразительная красота была равна лишь ее жизнерадостности — вся свет, вся улыбка, грациозная, как молодая лань, — она ненавидела одну лишь Живопись, что была ее соперницей. Она боялась только палитры, кистей и прочих орудий живописца, что отбирают у нее возлюбленного. И даже трудно представить, какой ужас испытала она, когда услышала из уст любимого о его желании написать ее портрет. Впрочем, она была послушна и много недель смиренно сидела в мрачной, высокой башне, куда свет едва проникал снаружи, падая сверху на бледный холст. Но он, художник, жил и творил в упоении труда своего, и так проходил час за часом, день за днем. И поскольку он был одержим и погружен без остатка в свои грезы, то

не видел, как в тусклом свете таяли и здоровье, и душевные силы его молодой жены; она увядала, и это видели все, кроме него. Но она продолжала улыбаться и не роптала, потому что видела, что художник (а он был очень знаменит, и повсюду) наслаждался своей работой и увлеченно трудился и днем и ночью, чтобы запечатлеть ту, которая так любила его, но с каждым прошедшим днем становилась все слабее и слабее. А те, кто видел портрет, шепотом говорили друг другу о сходстве, о великом даровании живописца и еще о том, что дар его равен глубокой любви к той, кого он изобразил так безумно талантливо. Наконец, когда труд его стал близиться к завершению, в башню перестали пускать кого бы то ни было. Художник впал в исступление в горячности труда своего и почти не отрывал глаз от полотна картины — даже для того, чтобы взглянуть на жену. Он не видел, что мазки, которые он наносил на холст, — это краски ланит той, что сидит перед ним. И, когда уже миновали многие недели и осталось сделать совсем немного: один мазок положить на уста и еще полутон на зрачок, тогда вдруг какой-то внутренний свет вновь озарил прекрасную женщину — подобно тому, как иной раз вспыхивает пламя свечи. И кисть ожила, и

нужный мазок был положен, и полутон нанесен; и тогда художник застыл на мгновение перед своей работой, пораженный тем, что он создал; но следом, смертельно побледнев, он воскликнул во весь голос:

“Да это воистину сама Жизнь!” — и повернулся внезапно к своей возлюбленной.

Она была мертва!»

Перевод Андрея Танасейчука

Лигейя

Тут воля, которая не умирает. Кто познал тайны воли и ее силу?
Сам Бог – великая всепроникающая воля.
Человек не уступил бы ангелам и самой смерти, если бы не слабость его воли!

Джозеф Гленвилл

Клянусь душою, я не могу припомнить, как, когда или даже где я впервые познакомился с леди Лигейей. Много лет прошло с тех пор, и память моя ослабела от перенесенных мною страданий. Или, быть может, я потому не могу теперь вспомнить этого, что характер моей возлюбленной, ее редкие познания, ее особенная и ясная красота, упоительное красноречие ее сладкозвучного голоса так упорно и нечувствительно закрадывались в мое сердце, что я сам того не замечал и не сознавал. Кажется, впервые я встретил ее и часто потом встречал в каком-то большом, старинном, ветшающем городе на Рейне. Она, конечно, говорила мне о своей семье. Древность ее происхождения не подлежит сомнению. Лигейя!

Лигейя! Погруженный в занятия, которые по самой природе своей как нельзя более способны заглушить все впечатления внешнего мира, я одним этим словом — Лигейя — вызываю перед моими глазами образ той, которой уже нет. И теперь, когда я пишу, у меня вспыхивает воспоминание о том, что я никогда не знал родового имени той, которая была моим другом и невестой, участницей моих занятий и, наконец, моей возлюбленной женой. Было ли то прихотью моей Лигейи или доказательством силы моей страсти, не интересовавшейся этим вопросом? Или, наконец, моим собственным капризом, романтическим жертвоприношением на алтарь страстного обожания? Я лишь смутно припоминаю самый факт, мудрено ли, что я забыл, какие обстоятельства породили или сопровождали его? И если правда, что дух, называемый Возвышенным, если бледная, с туманными крылами, Аштофет языческого Египта председательствовала на свадьбах, сопровождавшихся зловещими предзнаменованиями, то, без всякого сомнения, она председательствовала и на моей.

Есть, однако, нечто дорогое, относительно чего моя память не ошибается. Это наружность Лигейи. Она была высокого роста, стройна, а

впоследствии даже несколько худощава. Тщетны были бы попытки описать ее величавую осанку, спокойную вольность движений, неизъяснимую стройность и мягкость походки. Она являлась и исчезала как тень. Когда она входила в мой кабинет, я узнавал о ее появлении только по сладкой музыке нежного грудного голоса ее или по прикосновению к моему плечу мраморной руки ее. Прелестью лица никакая девушка не могла бы сравниться с нею. Это было лучезарное сновидение, рожденное опиумом; воздушное и возвышающее душу сновидение, исполненное более волшебной красоты, чем сказочные сны, реявшие над дремотными душами дочерей Делоса. Но черты лица ее не представляли той условной соразмерности, которой мы совершенно напрасно приучились восхищаться в древних изваяниях язычников. «Нет красоты изысканной, — говорит Бэкон, лорд Веруламский, в своих совершенно справедливых рассуждениях о различных видах и родах красоты, — без некоторой странности в пропорциях». Но хотя я видел, что черты Лигейи не представляют классической правильности, хотя я сознавал, что ее красота действительно «изысканная», и чувствовал, что в ней много «странного», однако я тщетно пы-

тался найти эту неправильность и определить свое собственное представление о «странном». Я всматривался в очертания высокого бледного лба ее — он был безупречен; как холодно звучит это слово в применении к такому божественному величию! Кожа, не уступающая белизной чистейшей слоновой кости, величавая широта и безмятежность, легкие выступы над висками, и волосы, черные как вороново крыло, блестящие, рассыпавшиеся густыми, роскошными кольцами, к которым вполне подходил гомеровский эпитет «гиацинтовые»! Я всматривался в тонкие очертания носа ее — нигде, кроме изящных еврейских медальонов, не видал я такого совершенства. Та же изумительно гладкая поверхность, тот же едва заметный намек на орлиный профиль, те же гармонически изогнутые ноздри — признак свободы духа. Я вглядывался в нежный рот ее. Вот где было истинное торжество небесной прелести — в великолепном изгибе короткой верхней губы, в сладострастной дремоте нижней, в смеющихся ямочках, в игре красок, которая говорила без слов, в зубах, отражавших с почти нестерпимым блеском каждый луч света, падавший на них, когда они открывались в спокойной и ясной, но лучезарнейшей из всех улыбок. Я вглядывался в

подбородок ее — и находил эллинскую прелесть, нежность и величавость, полноту духовности… тот облик, который бог Аполлон только во сне открыл Клеомену, сыну Клеоменову, афинянину. Наконец, устремлял я взор в глубину огромных глаз ее.

Для глаз не нахожу я образца и в глубочайшей древности. Может быть, в глазах моей возлюбленной и скрывалась тайна, на которую намекает лорд Веруламский. Кажется, они были гораздо больше обыкновенных глаз человеческих, с более совершенным разрезом, чем у газелей долин Нурджахада. Но только иногда, в минуты возбуждения крайнего, особенность эта становилась поразительной. В эти-то минуты красота ее — по крайней мере, в пламенном воображении моем — была красотою сказочных гурий. Зрачки черно-блестящие оттенялись агатовыми ресницами длиннейшими под бровями слегка неправильного очерка, такого же черного цвета. Но «странность», которую я находил в глазах ее, таилась не в очертании, не в цвете, не в блеске, а только в выражении. О, слово бессмысленное! Звук пустой! Неопределенность, за которою прячется наше непонимание духовности. Выражение глаз ее! Сколько долгих часов я

размышлял о нем! Сколько летних ночей провел без сна, стараясь измерить их глубину. Что же такое, более глубокое, чем колодец Демокрита, таилось в глазах моей возлюбленной? Что это? Я томился желанием разгадать эту тайну. Глаза ее! Эти огромные, сияющие, божественные зрачки! Они сделались для меня близнецами созвездия Леды, а я для них — звездочетом набожным.

Среди многих непонятнейших странностей в науке о духе нет более непонятной, более захватывающей, чем то, что, кажется, еще не отмечено школьным знанием: стараясь вспомнить что-либо давно забытое, мы часто находимся на самом краю воспоминания — и все-таки не можем вспомнить. Так и я: сколько раз, в упорных усилиях мысли, я чувствовал, что вот-вот откроется мне тайна глаз ее, вот-вот откроется — но не открывалась и наконец совсем закрылась! И (странная, о, самая странная из тайн!) нередко я находил в обыкновеннейших явлениях сходство с этими глазами. Я хочу сказать, что после того, как прелесть Лигейи проникла в душу мою и Лигейя воцарилась в ней, как в святилище, многие явления мира величественного вызывали во мне то же чувство, которое я всегда испытывал при виде ее широких, светлых зрачков. И тем не менее я

не могу определить это чувство, или понять его, или исследовать. Но я испытывал его, глядя на быстро растущую виноградную лозу, на бабочку, на мотылька, на куколку, на струи водопада. Я чувствовал его в океане, в падении метеора. Во взглядах людей, достигших глубочайшей старости. Также одна или две звезды (особенно одна, шестой величины, двойная и переменная, близ большой звезды в созвездии Лиры) пробуждали во мне то же чувство, когда я рассматривал их в телескоп. Оно охватывало меня при известном сочетании звуков струнных инструментов и при чтении книг. Среди бесчисленных примеров помню одно место в книге Джозефа Гленвилла, которое (быть может, вследствие странности своей) всегда вызывало во мне это чувство: «Тут — воля, которая не умирает. Кто познал тайны воли и силу ее? Сам Бог есть великая всепроникающая воля. Человек не уступил бы ангелам и самой смерти, если бы не слабость воли его».

Годы раздумий дали мне возможность установить отдаленную связь между этим замечанием английского мыслителя и некоторыми свойствами Лигейи. Может быть, напряженность мыслей ее, действий, слов была следствием или, по крайней мере, свидетельством той исполинской воли,

которая во время наших долгих отношений не успела проявиться в чем-нибудь более действительном. Из всех женщин, которых я знал, она, Лигейя, такая спокойная и невозмутимая, была добычей самых безжалостных коршунов самой лютой страсти. Но силу этой страсти я мог измерить только по чудесному расширению глаз ее, пугавших и восхищавших меня, по небесной музыке, ясности, тихости глубокого голоса ее и по дикой силе странных слов, еще удвоенной противоречием с тихостью голоса.

Я упомянул о познаниях Лигейи; они были огромны, и таких я никогда не встречал в женщине. Она в совершенстве изучила древние языки, и я никогда не мог заметить у нее пробелов по части языков современных, насколько я сам с ними знаком. Да и в какой отрасли знаний, даже самых сложных и потому наиболее уважаемых школьной ученостью, замечал я пробелы у Лигейи? Как странно, как поражающе действовала на меня в последнее время именно эта черта в характере жены моей. Я сказал, что мне не случалось встречать женщину с такими познаниями, но где тот мужчина, который с успехом овладел всеми обширными сферами моральных, физических и математических знаний? Я не замечал

в то время того, что вижу теперь ясно, — что познания Лигейи были огромны, изумительны; но чувствовал ее превосходство настолько, что подчинился с детской доверчивостью ее руководству в хаосе метафизических исследований, которыми усердно занимался в первые годы после нашей свадьбы. С каким торжеством, с каким жадным восторгом, с какой небесной надеждой я чувствовал — в то время, как она наклонялась надо мною при моих попытках проникнуть в область слишком мало затронутую, слишком мало исследованную, — что восхитительные дали мало-помалу открываются мне, что, устремившись по этому долгому, неизвестному пути, я достигну наконец высшей мудрости, слишком божественной, слишком драгоценной, чтобы не быть запретной!

И как язвительна была моя скорбь, когда спустя несколько лет увидел я, что мои надежды рассеялись. Без Лигейи я был ребенок, блуждающий во мраке ощупью. Только ее присутствие, ее толкование проливали свет жизни на тайны запредельных знаний, в которые мы углублялись. Не озаренная лучезарным блеском глаз ее, вся эта книжная мудрость, казавшаяся раньше светлой, как золото, становилась тусклой и тяжелой,

как свинец. А глаза эти все реже и реже сияли над страницами, которые я изучал. Лигейя была больна. Странные глаза блестели слишком ярким блеском; в бледных пальцах была восковая прозрачность — цвет смерти, — и голубые жилки на высоком лбу бились при малейшем волнении. Я видел, что она должна умереть, и отчаянно боролся в душе с жестоким Азраилом. К моему удивлению, борьба ее была еще отчаянней. Сила духа ее позволяла мне надеяться, что смерть придет к ней без ужасов своих, но не то оказалось на деле. Слова не могут выразить, как свирепо боролась она с Тенью. Я стонал при виде этого жалкого зрелища. Пытался утешать, убеждать, но для ее неутолимого желания жить, жить — только жить! — все утешения, все доводы разума были верхом безумия. И до последней минуты, в борениях и судорогах дикого духа ее, лицо ее сохраняло безмятежное спокойствие. Слова ее звучали все нежнее, все тише и тише, но я не смел задумываться над странным значением этих спокойно сказанных слов. Голова моя кружилась, когда я в восторге внимал этой сверхчеловеческой музыке, этим дерзновениям и чаяниям, которых никогда еще не ведали смертные.

В ее любви не сомневался я, а любовь такой

женщины не могла быть обычной страстью. Но только смерть открыла мне всю бесконечность этой любви. Целыми часами, рука об руку, она изливала предо мной избыток сердца своего, полного страстью боготворящею. Чем заслужил я блаженство слушать такие признания? Чем заслужил я проклятие, отнимавшее у меня мою возлюбленную в минуту таких признаний? Но я не в силах говорить об этом. Скажу только, что в слишком женской страсти Лигейи — страсти, мной не заслуженной, увы, дарованной мне, недостойному, — я усмотрел наконец причину ее безумного сожаления о жизни, убегавшей так быстро. Это дикое алкание, это лютое желание жизни — только жизни — я не в состоянии описать, не в силах выразить.

В глубокую полночь — в ночь ее кончины — она подозвала меня и велела прочесть стихи, сочиненные ею несколько дней назад. Я прочел. Вот они:

«Вот он! Последний праздник! Толпа крылатых ангелов в трауре, в слезах, собралась в театр, посмотреть на игру надежд и страха, меж тем как оркестр исполняет музыку сфер.

Скоморохи, носящие образ вышнего Бога, ворчат и бормочут, снуют туда и сюда; это простые

куклы, они приходят и уходят по повелению безликих существ, что реют над сценой, разливая со своих орлиных крыльев невидимое горе.

Жалкая драма! О, будь уверен, она не забудется! За ее призраком вечно будет гнаться толпа, никогда не овладевая им, в безвыходном кругу, который вечно возвращается на старое место; много безумия и еще более греха и ужаса в этой трагедии.

Но взгляни: в толпу гаеров крадется что-то ползучее, что-то красное — извивается, корчится, грызет и пожирает гаеров, — и серафимы рыдают, видя, как червь упивается человеческою кровью.

Гаснут… гаснут… гаснут… огни! И на дрожащие образы падает занавес, погребальный саван, и ангелы встают, бледные, истомленные, и говорят, что зрелище это — трагедия “Человек”, а герой — “Победитель Червь”».

— Боже, — воскликнула Лигейя, вставая и поднимая руки с судорожным усилием. — Боже! Отец Небесный! Неужели это будет длиться вечно? Неужели червь победитель не будет побежден? Разве мы не часть Твоя? Кто, кто познал тайны воли и силу ее? Человек не уступил бы ангелам и самой смерти, если бы не слабость воли его.

И, как будто изнеможенная этим усилием,

она опустила свои белые руки и торжественно вернулась на ложе смерти; когда она испускала последний вздох, он сливался с тихим шепотом уст ее. Я наклонил к ним ухо и снова услышал слова Гленвилла: «Человек не уступил бы ангелам и самой смерти, если бы не слабость воли его».

Она умерла, а я, раздавленный горем, не мог выносить угрюмого одиночества в доме моем, в старом, разрушающемся городе на Рейне. У меня не было недостатка в том, что люди называют богатством. Лигейя принесла мне больше, гораздо больше, чем обыкновенно выпадает на долю смертных. После нескольких месяцев тоскливого и бесцельного шатания я купил аббатство в одном из самых диких и безлюдных уголков веселой Англии. Угрюмое и холодное величие здания, полудикий вид местности, мрачные легенды, связанные с тем и другим, согласовались с безотрадным чувством, загнавшим меня в эту глухую пустыню. Оставив в прежнем виде наружный облик этого ветхого здания, поросшего мхом и травами, я с ребяческим своенравием и, может быть, с тайной надеждою рассеять тоску свою принялся убирать внутренность дома с царственной роскошью. Я еще в детстве питал страсть к таким причудам, теперь она возродилась во мне,

точно я поглупел от горя. Увы, я чувствую, какие ясные признаки начинающегося безумия можно было открыть в этих пышных и сказочных завесах, в торжественных египетских изваяниях, в причудливых карнизах и мебели, в нелепых узорах затканных золотом ковров! Я стал рабом опиума, и мои распоряжения и занятия приняли окраску грез моих. Но не стану говорить об этих безумствах. Скажу только о той комнате, куда в минуту затмения мыслей я привел от алтаря мою молодую жену — преемницу незабвенной Лигейи, — золотокудрую и голубоглазую леди Ровену Тревенион Тремен.

Вижу как сейчас эту свадебную комнату со всеми ее мелочами, со всеми украшениями. Куда девался рассудок вельможных родителей жены моей, когда, ослепленные блеском золота, они позволили ей, своей любимой дочери, переступить порог комнаты с таким убранством? Я сказал, что помню до мельчайших подробностей эту комнату, хотя крайне забывчив на вещи гораздо большей важности, а в этой фантастической обстановке не было никакого порядка, никакой системы, которая могла бы удержаться в памяти. Комната в высокой башне аббатства, выстроенного в виде замка, была пятиугольной

формы и обширных размеров. Вся южная сторона пятиугольника занята окном, состоявшим из одного огромного цельного венецианского стекла свинцовой окраски; так что лучи солнца и луны, проникая сквозь него, озаряли комнату зловещим, странным светом. Над верхней частью этого высокого окна вилась старая виноградная лоза, взбиравшаяся по массивным стенам башни. Потолок из темного дуба поднимался высоким сводом и был украшен причудливой резьбой полуготического, полудруидического стиля. В центре этого мрачного свода висела на золотой цепи, с длинными кольцами, кадильница, из того же металла, с мавританским узором и многочисленными отверстиями, расположенными так, что разноцветные огни беспрерывно выскальзывали, как змеи, то из одного, то из другого.

Оттоманки и золотые канделябры в восточном вкусе помещались в разных углах комнаты; здесь же находилось брачное ложе — в индийском стиле, низкое, черного дерева, резной работы, с балдахином, напоминавшим погребальный покров. Но главная фантазия заключалась, увы, в драпировках комнаты. Высокие, гигантские, даже непропорциональные стены были сплошь обиты плотной, тяжелой тканью, падавшей ши-

рокими складками. Из той же ткани был ковер, обивка кровати и оттоманок, балдахин и роскошные занавеси, отчасти закрывавшие окно. Ткань, богато затканная золотом, испещрена была арабесками в виде агатово-черных фигур, беспорядочно разбросанных. Но эти фигуры казались арабесками, только когда их рассматривали с известной точки. С помощью приспособления, ныне очень распространенного, которое можно проследить до глубокой древности, они были сделаны так, что постоянно меняли свой вид. Тому, кто входил в комнату, они казались в первую минуту просто уродливым узором, но впечатление это скоро исчезало, и, подвигаясь дальше, посетитель видел вокруг себя бесконечное шествие зловещих образов, подобных тем, которые зарождались в норманнских суевериях или в грешном сне монахов. Это сказочное действие усиливалось током воздуха, постоянно колебавшим завесы и придававшим всему отвратительную, беспокойную живость.

Вот в каком помещении, в каком брачном чертоге проводил я с леди Тремен счастливые первые месяцы нашего брака, проводил без всякой тревоги. Я не мог не заметить, что жена моя опасалась бурных порывов моего нервного харак-

тера, избегала меня и не питала ко мне особенно нежной страсти, но это доставляло мне скорее удовольствие, чем огорчение. Я сам ненавидел ее адской, нечеловеческой ненавистью. Мои воспоминания уносились назад (о, с каким глубоким раскаянием), к Лигейе, к ней, возлюбленной, святой, прекрасной, погребенной. Я забывался в воспоминаниях о чистоте ее, мудрости, возвышенности, о небесной природе ее и страстной, боготворящей любви. Теперь мой дух пылал еще сильнейшим пламенем, чем дух Лигейи.

В горячке грез, порожденных опиумом (так как я почти постоянно находился под его влиянием), я громко призывал ее в ночной тиши или днем в уединенных долинах, точно дикая страсть, возвышенная сила чувства, пожирающий жар моей тоски по усопшей могли вернуть ее на жизненный путь, покинутый… о, ужели навсегда ею покинутый?

Спустя месяц после нашей свадьбы леди Ровена поражена была внезапной болезнью, от которой оправлялась очень медленно. Лихорадка не давала ей покоя по ночам, и в тревожном полусне своем она говорила о звуках и шорохах в комнате, что я приписывал ее расстроенному воображению или, быть может, влиянию сказочной

обстановки. Наконец она стала выздоравливать — и выздоровела. Но скоро новый, еще более сильный приступ болезни заставил ее вернуться на ложе страданий, и после этого нового приступа слабое тело ее уже никогда не могло вполне оправиться.

С течением времени припадки ее и неожиданное возвращение их приняли угрожающий характер, как бы издеваясь над знаниями и опытностью врачей. С усилением этой вернувшейся болезни, укоренившейся в теле ее так прочно, что человеческое искусство, по-видимому, не могло изгнать ее, нрав ее также заметно изменился: усилились раздражительность и боязливость. Теперь она еще чаще говорила о звуках, слабых звуках и странных движениях среди драпировок комнаты.

Однажды ночью, в конце сентября, настойчивее, чем обыкновенно, старалась она обратить мое внимание на этот докучный предмет. Она только что очнулась от беспокойного сна, и я с чувством тревоги и смутного страха следил за ее исхудалым лицом. Я сидел подле постели на индийской оттоманке. Она приподнялась и говорила шепотом, с выражением глубокого убеждения, о звуках, которые она теперь слышит,

и о движениях, которые она теперь видит, а я не вижу. Ветер шелестел в завесах, и я старался убедить ее (но признаюсь, и сам не вполне верил этому), что эти чуть слышные вздохи и легкие изменения фигур на стенах — естественное следствие движения воздуха. Но смертная бледность, покрывшая лицо ее, доказала бесплодность усилий моих. По-видимому, она готова была лишиться чувств, а поблизости не было слуг. Вспомнив, где стоит графин с легким вином, которое ей прописали врачи, я бросился за ним через комнату. Но когда я вступил в полосу света, падавшего от кадильницы, два поразительных обстоятельства привлекли внимание мое. Я почувствовал, что кто-то невидимый, но осязаемый прошел мимо меня, и заметил на освещенном пространстве золототканого ковра тень, легкую, неясную тень ангела, как бы тень тени. Находясь под влиянием неумеренной дозы опиума, я не обратил внимания на эти явления и ни слова не сказал о них Ровене. Отыскав вино, я вернулся к постели и, наполнив бокал, поднес его к губам изнемогавшей леди.

Впрочем, она уже оправилась и приняла от меня бокал, а я опустился на оттоманку, не спуская глаз с лица ее. В эту минуту услышал я легкие

шаги по ковру близ кровати, и мгновение спустя, когда Ровена подносила бокал к губам, я увидел (или мне померещилось), что в него упали, точно из невидимого источника в воздухе, три или четыре крупные капли сверкающей рубиново-красной жидкости. Я видел это, Ровена не видела. Она не задумываясь выпила вино, а я не стал говорить ей об этом странном явлении, решив, что оно было простым бредом моего расстроенного воображения, возбужденного ужасом больной, опиумом и поздним часом.

Но я не мог не заметить, что вслед за падением рубиновых капель состояние жены моей стало быстро ухудшаться, так что на третью ночь слуги уже приготовляли к погребению тело ее, а на четвертую я сидел перед окутанным в саван трупом в той же сказочной комнате, которая принимала новобрачную. Дикие, рожденные опиумом видения, подобно теням, реяли в глазах моих. Беспокойным взором смотрел я на саркофаги по углам, на изменчивые фигуры завес, на разноцветные огни кадильницы над головой моей. Потом, вспомнив о странных явлениях той ночи, опустил глаза на освещенное пространство, где заметил легкие очертания тени. Теперь ее не было, и, вздохнув с облегчением, я устремил глаза

на бледную окоченелую фигуру, лежавшую на постели. Тут нахлынули на меня воспоминания о Лигейе, и в сердце моем пробудилась с неудержимою силой бурного потока несказанная скорбь, терзавшая меня, когда я увидел ее в саване. Часы летели, а я, с сердцем, полным горьких воспоминаний о бесконечно любимой, все сидел, не сводя глаз с тела Ровены.

Около полуночи, а может быть, и раньше или позже, потому что я не следил за временем, тихое, слабое, но явственно слышное рыдание пробудило меня от моей задумчивости. Я чувствовал, что оно доносилось с ложа — с ложа смерти. Я прислушался в агонии суеверного ужаса, но звук не повторился. Я напрягал зрение, стараясь уловить хотя бы малейшее движение тела, но оно не шевелилось. А между тем я не мог ошибаться. Я слышал звук, хотя слабый, и душа моя встрепенулась от этого звука. Я решительно и упорно уставился на тело. Прошло несколько минут, но не случилось ничего, что могло бы разъяснить эту загадку. Наконец ясно увидел я, что на щеках трупа и вдоль жилок опущенных век выступила краска — легкая, бледная, чуть зримая. В припадке несказанного ужаса, для которого нет слов в языке человеческом, я почувствовал, что сердце

мое перестало биться и члены отнялись.

Но чувство долга вернуло мне самообладание. Я не мог более сомневаться, что мы слишком поторопились: Ровена жива. Необходимо было немедленно принять какие-нибудь меры, но башня находилась в части замка, удаленной от помещения слуг, мне некого было кликнуть, пришлось бы оставить комнату на несколько минут, а на это я не мог решиться. Я попробовал один привести ее в чувство. Вскоре, однако, признаки жизни снова исчезли, румянец на щеках и на веках угас, уступив место мраморной бледности, губы еще более сжались и исказились зловещей гримасой смерти, кожа приобрела отвратительную ледяную скользкость, и снова труп окоченел. Я с ужасом отшатнулся от ложа и вновь предался страстным мечтам о Лигейе.

Прошел час, и опять — Боже великий! возможно ли это? — опять услыхал я слабый звук, исходивший от ложа. Я прислушался, вне себя от ужаса. Звук повторился; то был вздох. Бросившись к телу, я увидел — ясно увидел, — что губы его дрожат. Минуту спустя они разомкнулись, обнажив блестящий ряд жемчужных зубов. Теперь изумление боролось в душе моей с ужасом, который один переполнял ее раньше. Я чувствовал,

что в глазах моих темнеет, рассудок мешается, и только страшным усилием воли я принудил себя взяться за дело, к которому призывал меня долг. Румянец появился на щеках, на лбу, на шее Ровены; теплота разлилась по всему телу; я чувствовал даже слабое биение сердца. Леди была жива, и я с удвоенной решимостью принялся приводить ее в чувство. Я тер и смачивал виски и руки ее, применял все меры, какие мог подсказать мне опыт и основательное знакомство с врачебной наукой. Все было тщетно. Внезапно румянец исчез, сердце перестало биться, губы приняли выражение, свойственное мертвому, и спустя мгновение труп оледенел, посинел и скорчился. Я снова предался мечтам о Лигейе, и снова — мудрено ли, что я дрожу, вспоминая об этом? — снова легкое рыдание донеслось до слуха моего. Но зачем подробно описывать ужасы этой ночи? Зачем рассказывать, как снова и снова, до самого рассвета, повторялась эта чудовищная игра оживления; как всякий возврат к жизни кончался возвратом к еще более жестокой и неодолимой смерти; как всякий раз агония имела вид борьбы с каким-то невидимым врагом и как после каждой их схватки вид трупа странно изменялся. Тороплюсь кончить.

Ночь уже почти прошла, и мертвая снова зашевелилась — и сильнее, чем прежде, хотя перед этим состояние трупа казалось еще более безнадежным, чем раньше. Я давно уже перестал бороться и двигаться и сидел, прикованный к оттоманке, — беспомощная жертва вихря бешеных чувств, среди которых чувство невыразимого страха было, пожалуй, наименее ужасным, наименее потрясающим. Повторяю, тело зашевелилось, и сильнее, чем прежде. Румянец жизни вспыхнул еще ярче на лице, члены ожили, и, если бы не опущенные веки, не саван, придававший телу мертвенный вид, я мог бы подумать, что Ровена стряхнула наконец узы смерти. Но если я все еще сомневался, то всякое сомнение исчезло, когда, поднявшись с ложа, шатаясь, шагами нетвердыми, с закрытыми глазами и с видом лунатика, существо, закутанное в саван, вышло на середину комнаты.

Я не вздрогнул, не пошевелился, потому что рой неизъяснимых впечатлений, связанных с наружностью, ростом, осанкой этого видения, сразил меня, превратил в камень. Я не шевелился, я смотрел на видение, не спуская глаз. Бессвязные, безумные мысли роились в уме моем. Неужели это живая Ровена была предо мною? Неужели

это Ровена? Златокудрая, голубоокая леди Ровена Тревенион Тремен? Почему же, почему я сомневался в этом? Тяжелая повязка давила губы ее — разве это не губы леди Тремен? А щеки — на них цвели розы, как в полдень жизни ее — да, без сомнения, эти щеки могли быть щеками леди Тремен. А подбородок с ямочками, как во дни ее здоровья, — отчего бы ему не быть ее подбородком? — да, но, значит, она выросла со времени своей болезни? Какое несказанное безумие овладело мной при этой мысли! Одним прыжком я очутился у ног ее! Она отшатнулась, освободила голову от страшного савана, который окутывал ее, и в веющем воздухе комнаты разметались густыми прядями длинные-длинные волосы; они были чернее вороновых крыльев полночи! И медленно-медленно открылись глаза ее.

— Так вот они, наконец! — воскликнул я громким голосом. — Теперь я уже не могу ошибиться: вот они, огромные, черные, дикие глаза моей погибшей любви — леди Лигейи!

Перевод Михаила Энгельгардта

Метценгерштейн

Pestis eram vivus – moriens tua mors ero[63].

Martin Luther

Ужас и рок блуждали по земле во все века. К чему же указывать время, к которому относится мой рассказ? Ограничусь замечанием, что в эпоху, о которой я говорю, в глубине Венгрии существовала твердая, хотя скрываемая вера в учение о переселении душ. О самом учении, то есть о его лживости или вероятности, я ничего не скажу. Утверждаю, впрочем, что наше недоверие в значительной мере “vient de ne pouvoir être seuls” (как говорит Ла-Брюйер о несчастье) [Мерсье в “L’an deux mille quatre cent quarante” серьезно защищает доктрину Метампсихоза, а И. Д. Израэли говорит, что «из всех систем это самая простая и наиболее легко воспринимаемая рассудком»].

Но в этих венгерских суевериях были пункты, положительно граничившие с абсурдом. Венгры расходились со своими восточными автори-

[63] Примечания: 63
При жизни я был для тебя чумой; умирая, стану твоей смертью (лат.).

тетами в очень существенных вещах. «Душа — говорят первые (я цитирую слова одного остроумного и интеллигентного парижанина) — ne demeure qu'un seul fois dans un corps sensible. Ainsi — un cheval, un chien, un homme même, n'est que la ressemblance illusoire de ces êtres[64]».

Фамилии Берлифитцингов и Метценгерштейнов враждовали из века в век. Никогда еще два столь знаменитых дома не питали друг к другу такой смертельной вражды. Происхождение этой вражды, кажется, нужно искать в словах древнего пророчества: «Страшное падение постигнет высокое имя, когда, как всадник над лошадью, смертность Метценгерштейнов восторжествует над бессмертием Берлифитцингов».

Без сомнения, слова эти сами по себе почти или вовсе лишены смысла. Но и более вздорные причины приводили, и не так давно еще, к столь же значительным последствиям. К тому же оба владения, будучи смежными, издавна соперничали в делах управления страной. Далее, близкие соседи редко бывают друзьями, а

[64] Примечания: 64

Душа живет только однажды в теле, одаренном чувствительностью. Таким образом, лошадь, собака, даже человек являются ничем иным, как обманчивым подобием этих существ (франц.). Перевод К. Д. Бальмонта.

обитатели замка Берлифитцинг могли заглянуть из своих высоких башен прямо в окна дворца Метценгерштейн. А более чем феодальное великолепие, усматриваемое за этими окнами, отнюдь не могло укротить раздражительные чувства менее древних и менее богатых Берлифитцингов. Что же удивительного, если слова пророчества, хотя и глупые, успели поселить и поддерживать вражду между двумя фамилиями, уже предрасположенными к распрям наследственным соперничеством. Пророчество, по-видимому, сулило — если только оно сулило что-нибудь — торжество уже упомянутому более могущественному дому и, конечно, возбуждало этим сильнейшее ожесточение в представителях более слабого и менее влиятельного.

Вильгельм, граф Берлифитцинг, несмотря на свое высокое происхождение, был в эпоху нашего рассказа дряхлым и слабоумным стариком, замечательным только своей упорной и непомерной антипатией к семье соперника и такой страстью к лошадям и охоте, что ни преклонный возраст, ни телесная слабость, ни расстройство ума не могли удержать его от ежедневных и опасных охотничьих подвигов.

Фредерик, барон Метценгерштейн, был еще

не старый человек. Его отец, министр Г., умер в молодых летах. Мать, леди Мария, вскоре последовала за ним. Фредерику исполнилось в это время восемнадцать лет. В городе восемнадцать лет не долгий период; но в глуши — в такой великолепной глуши, какую представляло из себя старое поместье, маятник качается гораздо степеннее.

В силу некоторых особых обстоятельств молодой барон тотчас после кончины своего родителя вступил во владение его обширными имениями. Такое состояние редко доставалось венгерскому магнату. Замкам его счета не было. Главный из них по великолепию и размерам был «Дворец Метценгерштейн». Границы этих владений никогда не определялись точно, но главный парк его занимал пространство в пятьдесят миль.

Зная характер молодого наследника, нетрудно было догадаться, как он распорядится своим колоссальным состоянием. Действительно, не прошло и трех дней, как его подвиги уже превзошли ожидания его самых восторженных поклонников. Бесстыдный разврат, гнусные предательства, неслыханные жестокости живо убедили дрожащих вассалов, что ни их рабская угодливость, ни его укоры совести не в силах обез-

опасить их от когтей маленького Калигулы. На четвертый день, вечером, загорелись конюшни замка Берлифитцинг — и единодушное мнение соседей прибавило поджог к безобразному списку преступлений и гнусностей барона.

Но во время суматохи, произведенной этим событием, юный магнат сидел, по-видимому, погруженный в глубокие размышления, в обширной и угрюмой верхней зале фамильного дворца Метценгерштейн. Великолепные, хотя и поблекшие ткани, угрюмо свешивавшиеся по стенам, представляли бесконечную вереницу туманных и величавых образов — его знаменитых предков. Здесь прелаты и кардиналы в горностаевых мантиях, в кругу властителей и суверенов, налагающие veto[65] на желания земного короля или удерживающие верховным fiat[66] папы мятежный скипетр князя тьмы. Там мрачные, рослые фигуры князей Метценгерштейн, попирающих копытами боевых коней вражеские трупы, поражали самые крепкие нервы своим грозным видом; а тут роскошные лебединые фигуры дам былого времени уносились в вихре призрачного

---

[65] Примечания: 65
Запрещаю (лат.).

[66] Примечания: 66
Да свершится (лат.).

танца под звуки воображаемой мелодии.

Пока барон прислушивался (или делал вид, что прислушивается) к возрастающему шуму в конюшнях Берлифитцинга, а может быть, придумывал новую и еще более смелую пакость, взор его нечаянно упал на изображение громадной лошади небывалой масти, принадлежавшей будто бы сарацину — родоначальнику дома его соперника. Сама лошадь, на переднем плане картины, стояла неподвижно, как статуя, а ее выбитый из седла всадник погибал от меча Метценгерштейна.

Дьявольская улыбка мелькнула на губах Фредерика, когда он заметил картину, на которой бессознательно остановился его взор. Но он не отвел от нее глаз. Какое-то непонятное для него самого беспокойство окутало его, точно саваном. Он испытывал что-то странное, какой-то кошмар наяву. Чем дольше он смотрел, тем сильнее охватывали его эти чары, тем труднее ему было отвести взгляд от околдовавшего его ковра. Но суматоха снаружи все возрастала, и он судорожным усилием оторвался от картины и взглянул на багровое зарево, видневшееся из окна. Это, однако, удалось ему лишь на мгновение — в ту же минуту взор его машинально вернулся к

картине. К своему крайнему изумлению и ужасу, он убедился, что голова гигантского коня изменила свое положение. Шея животного, раньше нагнувшаяся, как бы в горести, над поверженным господином, теперь вытянулась по направлению к барону. Глаза, раньше невидимые, приняли человеческое выражение и налились кровью, а губы очевидно взбешенного коня раздвигались, обнаруживая ряд безобразных зубов.

Пораженный ужасом, молодой магнат попятился к двери. Когда он распахнул ее, полоса багрового света ворвалась в комнату, тень барона упала на ковер; и он содрогнулся, заметив, что она пришлась как раз на изображение беспощадного и торжествующего убийцы сарацина Берлифитцинга.

Чтобы избавиться от кошмара, барон вышел на воздух. У главных ворот замка он встретил трех конюхов. С большим трудом, с явною опасностью для жизни они удерживали бешено рвавшегося гигантского коня.

— Что за лошадь? Куда вы ее ведете? — сердито спросил юноша, тотчас заметив, что это бешеное животное — двойник фантастической лошади на ковре.

— Эта ваша собственность, господин, — отве-

чал один из конюхов, — по крайней мере, никто не заявил на нее прав. Мы поймали ее, когда она мчалась, вся в пене, от горящих конюшен замка Берлифитцинг. Предполагая, что это лошадь старого графа, мы отвели ее в замок, но там сказали, что у них никогда не было такой. Это тем более странно, что, как видно по следам на ее теле, она выбежала из огня.

— А на лбу у нее выжжены буквы В. Ф. Б., — заметил другой конюх, — я думал, что это начальные буквы Вильгельм фон Берлифитцинг; но все в замке говорят, что им неизвестна эта лошадь.

— В высшей степени странно! — задумчиво произнес молодой барон, очевидно, не сознавая своих слов. — Вы правду говорите: лошадь замечательная, чудная лошадь! Хотя, как вы справедливо заметили, дикого и неукротимого характера… Пусть же она будет моею, — прибавил он после непродолжительной паузы, — быть может, такой наездник, как Фредерик Метценгерштейн, справится и с чертом из конюшен Берлифитцинга.

— Вы ошибаетесь, господин; лошадь не из конюшен графа. Если б это было так, мы бы не осмелились привести ее представителю вашей фамилии.

— Правда! — отрывисто заметил барон, и в эту самую минуту из замка выбежал паж, раскрасневшийся и запыхавшийся. Он шепотом сообщил барону о внезапном исчезновении куска драпировки из комнаты, которую назвал, прибавив при этом какие-то подробности; но они разговаривали так тихо, что любопытство конюхов осталось неудовлетворенным.

В течение этого разговора юный Фредерик, по-видимому, волновался под наплывом разнородных чувств. Впрочем, он скоро оправился и со злобной решимостью приказал немедленно запереть комнату, о которой шла речь, и принести ему ключ.

— Слышали вы о смерти старого охотника Берлифитцинга? — спросил барона один из вассалов, когда, после ухода пажа, гигантская лошадь, которую присвоил магнат, с удвоенным бешенством устремилась по узкой аллее, соединявшей дворец с конюшнями Метценгерштейнов.

— Нет, — сказал барон, быстро обернувшись к вассалу, — умер, говоришь?

— Умер, господин; для представителя вашей фамилии такая весть, я полагаю, не будет неприятной.

Улыбка мелькнула на лице барона.

— Как же он умер?

— Стараясь спасти своих любимых лошадей, сам погиб в огне.

— Да-а-а! — протянул барон, точно пораженный внезапно какой-то странной мыслью.

— Да, — повторил вассал.

— Ужасно! — хладнокровно сказал барон и спокойно вернулся во дворец.

С этого дня странная перемена произошла в поведении распутного юноши, барона Фредерика фон Метценгерштейн. В самом деле, оно обмануло всеобщие ожидания и совсем не соответствовало планам многих маменек, обладавших дочерьми-невестами; теперь привычки и образ жизни барона еще сильнее, чем прежде, расходились с нравами соседней аристократии. Он не показывался за пределами своих владений и избегал общения, оставаясь один-одинешенек, — если только эта странная, бешеная, огненной масти лошадь, на которой он с тех пор постоянно ездил, не приобрела каким-то таинственным путем права называться его другом.

Как бы то ни было, он периодически получал многочисленные приглашения от соседей. «Не соблаговолит ли барон почтить своим присутствием наш праздник?», «Не угодно ли барону

принять участие в охоте на кабана?» — «Метценгерштейн не охотится», «Метценгерштейна не будет» — таковы были высокомерные и лаконические ответы на эти приглашения.

Таких оскорблений не могла вынести гордая аристократия. Приглашения становились все холоднее, присылались все реже и наконец совсем прекратились. Вдова несчастного графа Берлифитцинга даже выразилась в том духе, что «пренебрегая обществом себе равных, барон остается дома, когда не хочет сидеть дома; и, предпочитая общество лошади, ездит верхом, когда не хочет кататься верхом». Разумеется, это была очень глупая вспышка наследственной вражды, которая только лишний раз доказала, какую замечательную бессмыслицу можем мы изрекать, когда вздумаем выразиться поэнергичнее.

Сострадательные люди приписывали перемену в поведении юного магната естественной горести сына о безвременной кончине отца, забывая его жестокое и бессовестное поведение в течение короткого периода, непосредственно следовавшего за этой потерей. Иные намекали на слишком высокое мнение барона о своих достоинствах. Иные, наконец (в том числе и домашний врач барона), толковали о черной меланхолии и наследствен-

ном недуге, сопровождая свои рассуждения темными намеками более двусмысленного свойства, которые толпа обсуждала на свой лад.

В самом деле, неестественная привязанность барона к своему новому коню, по-видимому, возраставшая после каждого нового проявления бешеной и дьявольской натуры животного, приняла, наконец, отвратительный и противоестественный характер, по мнению всех здравомыслящих людей. При свете луны, в мертвую полночь, в бурю и в ясную погоду, здоровый или больной — Метценгерштейн, точно прикованный к седлу, не разлучался с колоссальным конем, неукротимый пыл которого так гармонировал с его духом.

К тому же некоторые обстоятельства, связанные с последними событиями, придавали неестественный и чудовищный характер мании наездника и силе коня. Пространство, преодолеваемое одним прыжком, было тщательно измерено и, как оказалось, превосходило самую дикую фантазию. Далее, барон не дал коню никакого имени, хотя все остальные его лошади носили характерные названия. Конюшня новой лошади была устроена отдельно от других; при ней не было конюха, и никто, кроме самого баро-

на, не смел ухаживать за конем и даже входить в конюшню. Замечено было также, что хотя три конюха, поймавшие коня, когда он мчался из пылающей усадьбы Берлифитцинга, успели остановить его с помощью металлической узды и аркана, но ни один из них не мог припомнить, чтобы ему удалось во время этой опасной борьбы коснуться тела животного. Замечательная понятливость благородного и породистого коня не могла, конечно, возбуждать чрезмерного удивления, но некоторые особенности в его характере изумляли самых флегматических скептиков; бывали, говорят, случаи, когда толпа, собравшаяся поглазеть на него, отступала в ужасе, пораженная странным, загадочным смыслом его бешеных порывов, — и сам юный Метценгерштейн бледнел, отворачивался, не вынося его пристального, пытливого, человеческого взгляда.

Впрочем, никто из дворни барона не сомневался в искренней и необычайной привязанности молодого магната к его гордому коню; никто, кроме разве одного ничтожного и уродливого пажа, безобразие которого бросалось в глаза и мнения которого не могли идти в счет. Он (если только стоит упоминать о его словах) нахально утверждал, будто его господин никогда не садится на

коня без дрожи — правда, едва приметной; а когда возвращается из своих ежедневных поездок, то каждый мускул его лица дрожит от злобного торжества.

В одну бурную ночь Метценгерштейн, очнувшись от тяжелого сна, как бешеный выбежал из спальни, вскочил в седло и умчался в лес. Никто не обратил внимания на эту выходку, так как подобные происшествия случались и раньше, но с тем бóльшим беспокойством дожидались его возвращения, когда, несколько часов спустя, колоссальные и великолепные постройки дворца Метценгерштейнов затрещали и поколебались до самого основания, объятые чудовищной массой багрового неукротимого пламени.

Когда пожар разбушевался до того, что исчезла всякая надежда отстоять хоть часть здания, соседи столпились вокруг дворца в безмолвном, почти апатическом удивлении. Но вскоре новое и страшное зрелище приковало внимание толпы, доказав, насколько впечатление человеческой агонии сильнее и поразительнее самого потрясающего явления неорганической природы. На длинной дубовой аллее, простиравшейся от главных ворот замка к лесу, показался всадник — без шляпы, растерзанный — на гигантском

коне, который мчался, точно гонимый самим демоном бури.

Очевидно, всадник не в силах был справиться с лошадью. Его искаженное лицо, судорожная борьба свидетельствовали о нечеловеческом напряжении сил; но только однажды отрывистый крик вырвался из его истерзанных губ, искусанных в припадке ужаса. На мгновение топот копыт звонко, резко раздался сквозь рев пламени и завывания ветра — еще мгновение, и, перемахнув одним прыжком ров и ворота замка, конь взлетел по шатающейся лестнице и вместе со всадником исчез в вихре хаотического пламени.

Буря мгновенно утихла, и наступило мертвое затишье. Белое пламя по-прежнему окутывало дворец подобно савану, далеко отбрасывая зловещее зарево, — а клубы дыма, тяжело расплываясь над зданием, приняли ясные очертания колоссальной лошади.

Перевод Михаила Энгельгардта

Маска Красной смерти

Красная смерть давно уже опустошала страну. Не бывало еще моровой язвы столь отвратительной и роковой. Кровь была ее знаменем и печатью — ужасный багрянец крови. Острая боль, внезапное головокружение, затем кровавый пот изо всех пор — и разложение тела. Багровые пятна на теле, а в особенности на лице, были печатью отвержения, которая лишала жертву всякой помощи и участия со стороны ближних; болезнь наступала, развивалась и заканчивалась в какие-нибудь полчаса.

Но принц Просперо был счастлив, отважен и изобретателен. Когда язва наполовину опустошила его владения, он собрал вокруг себя тысячу храбрых и беспечных друзей, придворных кавалеров и дам и вместе с ними затворился от мира в одном из своих укрепленных владений. Это было огромное и великолепное здание, выстроенное по странному, но величественному плану самого принца. Высокая крепкая стена с железными воротами окружала его. Вступив в замок, придворные тотчас же взялись за паяльники и крепкие молотки и наглухо запаяли все засовы.

Они решились уничтожить всякую возможность отчаянного вторжения извне или безумной попытки к выходу из замка. Это владение было в изобилии снабжено припасами. Благодаря этим предосторожностям придворные могли смеяться над чумой. Пусть внешний мир сам о себе заботится. В такое время было бы безумием размышлять и горевать. Принц запасся всеми средствами к увеселениям. Не было недостатка в шутах, импровизаторах, танцовщицах, музыкантах, красавицах, вине. Все это и безопасность соединились в замке. Снаружи свирепствовала Красная смерть.

В конце пятого или шестого месяца этой замкнутой жизни, когда чума бушевала с небывалым бешенством, принц Просперо устроил для своих друзей маскарад, обставленный с неслыханным великолепием.

Роскошную сцену представлял собой маскарад! Но сначала позвольте мне описать залы, в которых он происходил. Их было семь — царственная анфилада! Во многих дворцах подобные анфилады устраиваются в один ряд, так что, когда распахнутся двери, весь ряд можно окинуть одним взглядом. Здесь было совершенно иное, как и следовало ожидать от принца с его пристра-

стием к необычайному. Комнаты расположены были так неправильно, что нельзя было окинуть взглядом более одной сразу. Через каждые двадцать или тридцать ярдов — крутой поворот, и при каждом повороте — новое зрелище. Направо и налево в середине каждой стены высокое и узкое готическое окно выходило в крытый коридор, окаймлявший анфиладу по всей ее длине. Стекла этих окон совпадали по цвету с преобладающей окраской убранства каждой залы. Например, зала на восточном конце здания была обита голубым — и стекла были ярко-голубого цвета. Во второй зале, с пурпурными коврами и завесами, стекла были тоже пурпурные. В третьей, зеленой, — зеленые. Четвертая, оранжевая, освещалась желтыми окнами, пятая — белыми, шестая — фиолетовыми. Седьмая зала была убрана черными бархатными завесами, одевавшими потолок, стены и ниспадавшими тяжелыми складками на такой же черный ковер. Но здесь цвет стекол не соответствовал убранству. Он был ярко-красный — цвета крови. Ни в одной из семи зал нельзя было заметить люстры или канделябра среди множества золотых украшений, рассеянных повсюду, свешивавшихся с потолков. Во всей анфиладе не было ни одной лампы или

свечи; но в окаймлявшем ее коридоре против каждого окна возвышался тяжелый треножник, на котором пылал огонь, ярко озарявший залы сквозь цветные стекла. Это производило поразительный, фантастический эффект. Но в западной черной комнате костер, струивший потоки света сквозь кроваво-красные окна, производил такое зловещее впечатление и придавал лицам присутствовавших такое дикое выражение, что лишь немногие решались входить в эту комнату.

В этой же зале стояли у западной стены огромные часы из черного дерева. Маятник качался взад и вперед с глухим, унылым, однообразным звуком, а когда минутная стрелка делала полный круг и часы начинали бить, из медных легких машины вылетал чистый, громкий звук, необыкновенно певучий, но такой странный и сильный, что оркестр замолкал, танцоры прекращали танец; смущение овладевало веселой компанией, и, пока раздавался бой, самые беспечные бледнели, а старейшие и благоразумнейшие проводили рукой по лбу, точно отгоняя смутную мысль или грезу. Но бой замолкал, и веселье снова охватывало всех. Музыканты переглядывались с улыбкой, как бы сами смеясь над своей глупою тревогою, и шепотом обещали друг другу, что следующий

бой не произведет на них такого впечатления. И снова по прошествии шестидесяти минут (что составляет три тысячи шестьсот секунд быстролетного времени) раздавался бой часов, и снова смущение, дрожь и задумчивость овладевали собранием.

При этом праздник все равно казался веселым и великолепным. Вкусы принца отличались странностью. Он был тонким знатоком красок и эффектов, но презирал условные *decora*[67]. Планы его были смелы и дерзки, замыслы полны варварским великолепием. Иные сочли бы его сумасшедшим, но его приближенные чувствовали, что это не так. Необходимо было видеть, слышать и знать его лично, чтобы быть уверенным в этом.

Он сам распоряжался убранством семи зал для этой величественной *fête*[68]; по его же указаниям были сшиты костюмы. Понятно, что они отличались причудливостью. Много тут было блеска, пышности, оригинальности и фантастичности, что впоследствии можно было видеть в «Эрнани». Были причудливые фигуры вроде арабесок,

---

[67] Примечания: 67
Красивости (франц.).

[68] Примечания: 68
Празднество (франц.).

с нелепо вывороченными, непропорциональными членами. Были безумные фантастические привидения, подобные грезам сумасшедшего. Было много прекрасного, много щегольского, много *bizarre*[69]; было кое-что страшное и немало отвратительного. Толпы призраков сновали по залам, мелькали и корчились, меняя оттенок в зависимости от убранства залы, и дикая музыка оркестра казалась отголоском их шагов. Время от времени раздается бой часов в бархатной зале — и на мгновение все стихает и воцаряется безмолвие. Призраки застывают в оцепенении. Но замирают отголоски последнего удара — и легкий смех напутствует их; и снова гремит музыка, привидения оживают и реют туда и сюда, озаренные пламенем костров, льющих потоки света сквозь разноцветные стекла. Но в самую западную из семи зал никто из ряженых не смеет войти, потому что ночь надвигается, и багровый свет льется сквозь кроваво-красные окна на зловещие траурные стены, и глухой голос часов слишком торжественно отдается в ушах того, кто ступает по черному ковру.

Зато в остальных залах кипела жизнь. Празд-

---

[69] Примечания: 69
Странное (франц.).

ник был в полном разгаре, когда часы начали бить полночь. Опять, как и раньше, музыка смолкла, танцоры остановились, и наступила зловещая тишина. Теперь часы били двенадцать, и, может быть потому, что бой продолжался дольше, чем прежде, — сильнее задумались наиболее серьезные из присутствовавших. Быть может, по той же причине, прежде чем замер в безмолвии последний отголосок последнего удара, многие в толпе успели заметить присутствие маски, которая раньше не привлекала ничьего внимания. Слух о появлении нового лица быстро распространился, сначала шепотом, потом послышался гул и ропот удивления, негодования — наконец, страха, ужаса и отвращения.

В таком фантастическом сборище появление обыкновенной маски не могло бы возбудить удивления. В эту ночь маскарадная свобода была почти не ограничена; но вновь появившаяся маска переступала границы того снисходительного приличия, которые признавал даже принц. В сердце самых беспечных таятся струны, до которых нельзя дотрагиваться. Самые отчаянные головы, для которых нет ничего святого, не решатся шутить над иными вещами. По-видимому, все общество почувствовало, что наряд и пове-

дение незнакомца не остроумны и неуместны. Это была высокая тощая фигура, с ног до головы одетая в саван. Маска, скрывавшая лицо, до того походила на окоченевшее лицо трупа, что самый пристальный взор затруднился бы обнаружить подделку. Все бы ничего — обезумевшее от разгула общество, быть может, одобрило бы даже такую выходку, — но ряженый зашел дальше, олицетворив образ Красной смерти. Одежда его была испачкана *кровью*, на широком лбу и по всему лицу выступали ужасные багровые пятна.

Когда принц Просперо увидел привидение, которое прогуливалось взад и вперед среди танцующих медленным и торжественным шагом, точно желая лучше выдержать роль свою, он содрогнулся от ужаса и отвращения, но тотчас затем лицо его побагровело от гнева.

— Кто смеет, — спросил он хриплым голосом у окружающих, — кто смеет оскорблять нас такой богохульной насмешкой? Схватите его и сорвите маску, чтобы мы знали, кого повесить на восходе солнца на стене замка.

В эту минуту принц Просперо находился в восточной — голубой — зале. Слова громко и звучно отдались по всем семи залам, потому что принц был высокий и сильный мужчина, а музыка

умолкла по мановению руки его.

Принц Просперо стоял в голубой зале, окруженный побледневшими придворными. Слова его вызвали легкое движение — казалось, толпа хотела броситься на неизвестного, который в эту минуту находился совсем рядом и спокойными твердыми шагами приближался к принцу. Но под влиянием неизъяснимой робости, внушенной безумным поведением ряженого, никто не осмелился наложить на него руку, так что он свободно прошел мимо принца и тем же мерным торжественным шагом продолжал свой путь среди расступавшейся толпы из голубой залы в пурпурную, из пурпурной в зеленую, из зеленой в оранжевую, потом в белую и, наконец, в фиолетовую. До сих пор никто не решился остановить его, но тут принц Просперо, обезумев от бешенства и стыдясь своей минутной трусости, бросился за ним через все шесть зал один, потому что все остальные были окованы смертельным ужасом. Он потрясал обнаженной шпагой и находился уже в трех или четырех шагах от незнакомца, когда тот, достигнув конца фиолетовой залы, внезапно обернулся и встретил лицом к лицу своего врага. Раздался пронзительный крик, и шпага, блеснув в воздухе, упала на траурный ковер, на

котором мгновение спустя лежал бездыханный принц Просперо. Тогда с диким мужеством отчаяния толпа гуляк ринулась в черную залу и, схватив незнакомца, высокая фигура которого стояла прямо и неподвижно в тени огромных часов, замерла от невыразимого ужаса, не найдя под могильной одеждой и маской трупа никакой осязаемой формы.

Тогда-то для всех стало очевидно присутствие Красной смерти. Она подкралась, как вор, ночью; и гуляки падали один за другим в залитых кровью палатах, где кипела их оргия; и жизнь эбеновых часов иссякла с жизнью последнего из веселых собутыльников; и тьма, разрушение и Красная смерть воцарились здесь невозбранно и безгранично.

Перевод Михаила Энгельгардта

Лафкадио Хирн



Прозаик и поэт, журналист и переводчик, гражданин США, житель Японии и японский патриот, сын ирландца и гречанки, родившийся на одном из островов Ионического архипелага и большую часть своей жизни проживший в Америке, — все это один человек, автор историй о волшебстве, духах и привидениях Лафкадио Хирн.

Хирн прожил недолгую жизнь и едва ли был счастлив. Неудачи преследовали его почти постоянно. Во многом они были следствием личных обстоятельств. Он был не уверен в себе, мнителен, скрытен, более готов к поражениям, чем к победам. Дитя мезальянса (как в национальном, так и в социальном смысле), он родился на острове Левкас, в греческой транскрипции — Лафкадиа. От греческого названия острова происходит и его необычное имя — Лафкадио. Впрочем, до двадцати пяти лет его чаще называли Патриком — именем, которое дал ему отец. Последнего звали Чарльзом Хирном, он был военным врачом, офицером Британской армии, и оказался на архипелаге волею обстоятельств. Чем он покорил красавицу гречанку по имени Роза — неизвестно, но она родила ему трех сыновей и уехала с ним на его родину, в Ирландию. В Дублине жили родители и многочисленная родня мужа. Здесь он

оставил молодую жену и детей на попечение родственников и отправился на Крымскую войну. Потомственный дворянин и талантливый хирург, он тем не менее был человеком невысокой морали, не способным на настоящие, глубокие чувства. Когда он вернулся из России, то любил уже другую женщину. Роза страдала в Ирландии — и от климата, и от одиночества; по-английски она почти не понимала и разговаривать не умела. Муж был всегда далеко — то на одной войне, то на другой; к тому же он совсем не любил ее. Она отпросилась погостить на родину, чтобы не возвращаться обратно. Там она вскоре заболела, впала в глубокую депрессию, а потом оказалась в сумасшедшем доме, где через несколько лет и умерла.

Будущий писатель навсегда расстался с матерью в возрасте шести лет и почти не помнил ее. Родителей заменила тетя отца — женщина очень мягкая и добрая, искренне любившая и жалевшая Патрика. Ребенку с экзотической «южной» внешностью и выговором жить среди англосаксов и кельтов было нелегко. Домашний мальчик, он не имел друзей, физически не был крепок и часто просто не мог постоять за себя, к тому же в результате несчастного случая полностью ослеп

на один глаз и очень страдал от своего «уродства». Его отправили в хорошую школу, но окончить ее ему не довелось — денег у тети было совсем мало. Без образования и специальности, без протекции надежд реализовать себя на Британских островах у него не было. В девятнадцать он перебрался в Америку к дальним ирландским родственникам и поселился в Цинциннати, штат Огайо. Учился на печатника, но стал журналистом. Писать начал почти случайно, отчаянно нуждаясь в дополнительном заработке. Газета была небольшой, и получал он совсем немного, но с самого начала своей карьеры выделялся: писал совсем не так, как другие, — рассказывал красиво, порой вычурно о вещах прозаических, обыденных, даже грубых и жестоких. Здесь, в Огайо, Патрик Хирн окончательно превратился в Лафкадио Хирна. Провинциальная пуританская Америка не могла оценить своеобразия его дарования. В 27 лет он уехал на Юг, в Луизиану, в «экзотический» Новый Орлеан. Переезд стал попыткой убежать от приземленной меркантильности буржуа в мир мечты.

В Новом Орлеане он сформировался как художник, начал писать рассказы, опубликовал первую повесть о трагедии острова, смытого штормовы-

ми волнами вместе с обитателями в море. Здесь открылась еще одна грань его дарования — переводческая. Он хорошо знал французский и любил французскую литературу. Первая общенациональная известность пришла к Хирну благодаря его переводам произведений Готье, Флобера, Ж. де Нерваля, Золя и, главное, Ги де Мопассана, в рассказы которого был влюблен. Он первым познакомил американцев с миром великого француза. Здесь, в краю креолов и французской речи, обращение к романской словесности было естественно и вполне объяснимо.

Хирн всегда много читал — и в детстве, и в зрелые годы. Французская литература для него значила многое, но все-таки образцом художника стал для него Эдгар Аллан По. Увлечение жанром «страшного рассказа» состоялось во многом благодаря творческому опыту предшественника. Рассказы «о привидениях» тогда в Америке писали многие. Но у Хирна была своя цель — не развлечь читателя, пощекотав ему нервы, а заставить ощутить, что жизнь не сводится исключительно к погоне за деньгами, а полна таинственного, загадочного и прекрасного. Хотя его рассказы заметил и стал публиковать один из ведущих американских журналов того времени,

Хирн отчетливо понимал, что в Америке они не нужны. Приглашение поработать в Японии в качестве преподавателя английского языка и литературы оказалось выходом из затянувшейся тяжелой депрессии.

В Японию Хирн переехал весной 1890 года и до конца дней, безвыездно, лишь время от времени меняя японские адреса, жил в Стране восходящего солнца. Хирн был космополитом, любой дом был для него чужим — так повелось с младенчества. Может быть, поэтому переезд из «неформальной» Америки в предельно ритуализированную Японию дался ему так легко. Здесь он преподавал в школах и в университете и преуспел в этом.

Похоже, он с самого начала знал, что приехал в Японию не в гости, а навсегда. Будучи преподавателем, он одновременно и сам был студентом, изучая язык, впитывая обычаи и культуру, дух Японии. Он вжился в эту действительность. Принял японское подданство, женился, взял японское имя — теперь его стали звать Якумо Коидзуми. Здесь началась подлинная литературная жизнь Хирна. Он писал не для денег, а для удовольствия. Впитав японский мистицизм, он избрал для себя традиционный японский жанр — волшебную сказку о привидениях и злых духах. Такие ис-

тории сочиняли в Средние века, сочиняли их и современники Коидзуми. Он писал по-английски, и его аудитория была совсем невелика — читатели единственной в Японии англоязычной газеты, большей частью такие же экспатрианты, не вписавшиеся в западную жизнь, как и он сам.

Он сам как личность, а еще в большей степени его необычная проза были очень популярны на Западе на рубеже XIX–XX вв. В Европе первыми его «узнали» французы. В этом факте была своя логика — в свое время молодой Хирн с энтузиазмом «открывал» французскую литературу американцам и другим англоязычным читателям. Затем с его прозой познакомились Италия, Германия, Австрия. О нем с восторгом писали Гуго фон Гофмансталь, немецкие символисты.

Якумо Коидзуми умер внезапно, скончавшись от сердечного приступа. Случилось это накануне начала русско-японской войны, но, конечно, никак с этим событием не было связано. В наши дни Лафкадио Хирн занимает прочное и видное место в истории англоязычной литературы как один из наиболее оригинальных авторов «страшного» рассказа.

А. Б. Танасейчук

Кровавый обряд

Любовь с первого взгляда в Японии случается редко. Во всяком случае, куда реже, чем у европейцев. Возможно, это связано с особенностями восточной ментальности. А может быть, причиной тому ранние браки, традиционные для Японии. Их устраивают родители жениха и невесты. Потому трагедии, вызванные внезапно вспыхнувшим чувством, довольно редки. Однако самоубийства на любовной почве случаются. Обычно они двойные и происходят чаще всего потому, что с самого начала в отношениях влюбленных было что-то неправильное, а иногда и порочное. Речь идет о горожанах. В деревнях же бывает наоборот: порой даже чистые и возвышенные отношения приводят к трагедии. В ее основе нередко лежит любовь глубокая и искренняя, корни которой — в многолетней преданной дружбе между мальчиком и девочкой с самого раннего детства. Но даже в этом случае обнаруживается любопытная разница между западным двойным суицидом и японским *джоши*. Второе — никогда не результат исступления, слепого отчаяния. Оно готовится, и готовится не просто методично: оно сакрально.

Это — супружество, а смерть его удостоверяет. Перед богами пара клянется друг другу, они пишут прощальные письма — и умирают. Никакая клятва не может быть нерушимей и священней, нежели эта. Но бывает и так, что вмешиваются обстоятельства: искусство врачей или нечто иное вырывает одного из влюбленных из лап смерти. В таком случае выживший все равно — при первом удобном случае — довершит задуманное и расстанется с жизнью, поскольку связан обязательствами любви и чести, а они нерушимы. Конечно, если спасены оба, тогда финал может быть счастливым. Однако считается, что лучше совершить какое-нибудь ужасное преступление и отправиться на полсотни лет в тюрьму, нежели прослыть человеком, который, дав клятву умереть вместе с девушкой, нарушил ее и отправил возлюбленную в последнее путешествие в одиночестве. Если такое случилось с женщиной, она еще может рассчитывать на снисхождение. Может быть, со временем ее даже простят. Но мужчина, выживший в *джоши* — пусть даже и не по своей воле, — на всю оставшуюся жизнь покроет себя несмываемым позором. В глазах японцев он всегда — клятвопреступник, убийца, презренный трус, ошибка природы. Известен

мне один такой случай… Но рассказывать о нем нехорошо. Лучше я поведаю историю о возвышенной и чистой любви. Она случилась в одной из деревень на востоке страны.

I

Деревня эта стоит на берегу широкой, но неглубокой реки. У нее каменистое русло, но полноводной она бывает только в сезон дождей, а в иное время воды в ней немного, ведь ее влагой питаются огромные рисовые поля, что простираются до самого горизонта к северу и югу. Вдалеке, на западе, тесной грядой голубеют горы, а на востоке речную долину ограничивает цепь лесистых холмов. Холмы эти начинаются совсем недалеко от деревни — до них едва ли больше полумили рисовых полей. На ближайшем к деревне холме стоит храм, посвященный Будде Одиннадцатиликому.

Деревня уединенная, но отнюдь не заброшенная. Напротив, ее можно назвать процветающей. Несколько сотен ее домов, крытых, по обычаю, соломой, разбросаны в некотором беспорядке, но посредине деревню разрезает центральная улица — здесь уже приятные глазу двухэтажные дома под черепицей, гостиницы, лавки и магазины. Есть и очень живописный храм, по-

священный местной уджигами[70], и еще один — приходской: синтоистский и весьма примечательный, он укрылся в роще из тутовых деревьев — обиталище божества, покровительствующего ремесленникам, выделывающим шелковую нить.

И вот в этой деревне, в семье красильщика по имени Юкида, на восьмой год эпохи Мэйдзи родился мальчик, которого назвали Таро. Его появление на свет пришлось на несчастливый день *аку-ничи*. В переводе с японского это слово буквально и означает: «несчастливый день». По древнему лунному календарю он всегда выпадает на седьмой день восьмого месяца. Родители мальчика, люди суеверные, упомянутым обстоятельством были весьма огорчены и встревожены. Их тревога не укрылась от соседей. Но те как могли старались утешить родителей, особенно напирая на то, что с наступлением новой эры молодой император поменял календарь — теперь, согласно ему, злополучный день стал называться совсем по-другому: *китсу-ничи*, что в переводе, напротив, означает «счастливый день». Их речи, конечно, несколько успокоили родителей, но,

---

[70] Примечания: 70
Божество, покровительствующее роду.

разумеется, не окончательно. Потому они сначала отнесли ребенка в храм местной уджигами и там вознесли необходимые молитвы, сделали богатые подношения, в том числе и большой бумажный фонарь, — все для того, чтобы зло не коснулось их мальчика. А потом отправились в приходской храм, и здесь священник *каннуси* долго молился за ребенка, повторяя древние сутры, и махал жезлом *гохэй* с полосками бумаги[71] над бритой головкой младенца, а затем приготовил специальный амулет, который надел на шею малыша. После этого родители отправились еще и в дальний храм, что стоит на холме, и там возносили молитвы и совершали необходимые ритуалы, прося Будду защитить их первенца.

II

Когда Таро исполнилось шесть лет, родители решили отправить его в школу, которую недавно

---

[71] Примечания: 71

Каннуси (яп.) — священник синтоистского храма, отвечающий за религиозные церемонии; гохэй (яп.) — деревянные жезлы, украшенные двумя бумажными (белыми, серебряными или золотыми) лентами. Гохэй используют для благословения или освящения в различных ритуалах. Основным назначением этих жезлов является очищение святых мест, а также очищение или изгнание любых объектов, рассматриваемых как наполненные негативной энергией и вредные для человека.

возвели на холме рядом с деревней. Дедушка купил для Таро письменные принадлежности: кисточки и дощечку для письма, бумагу, учебник, и однажды ранним утром отвел внука за руку в школу. Таро был совершенно счастлив, потому что ему очень нравилась и дощечка, и другие вещи — он радовался им, словно новым игрушкам. К тому же все уверяли его, что школа — чудесное место и там у него будет много времени для игры. Более того, на прощание мама обещала ему испечь пирожные к его возвращению.

Когда дед и внук дошли до школы — большого двухэтажного здания с окнами из стекла, — служитель проводил их в помещение, где за столом сидел весьма серьезного вида мужчина. Дедушка низко поклонился этому человеку и, называя его «сенсей», смиренно попросил взять малыша на учебу. В ответ «сенсей» встал, поклонился и беседовал со стариком вежливо и почтительно. Подошел он и к Таро, положил руку ему на голову и говорил разные приятные вещи. Но Таро внезапно испугался. Когда дедушка стал прощаться с ним, он испугался еще сильнее, и ему захотелось тут же бежать следом и очутиться у себя дома. Но учитель взял новичка за руку и отвел в большую светлую комнату с высоким потолком. В ней

было много девочек и мальчиков, они сидели на скамейках. Учитель показал скамью и сказал, что Таро должен сесть туда. Все девочки и мальчики обернулись к нему и зашептались, а потом засмеялись. Таро показалось, что все смеются над ним, и он почувствовал себя совершенно несчастным. А затем прозвенел звонок, и он звучал громко и тревожно.

На другом конце комнаты находилось возвышение — небольшая платформа. Учитель взошел на нее и потребовал тишины. И голос его звучал так пронзительно и строго, что мальчик совсем оробел. Таро подумал, что учитель говорит ужасные вещи. Он не сказал, что школа замечательное место. Напротив, он очень просто произнес: «Школа не место для игры; школа — это место, где нужно много и упорно трудиться». А еще он сказал, что учеба — тяжелое дело. Она может причинять боль. Но дети должны учиться, превозмогая и боль, и трудности. Он рассказал о правилах, что заведены в школе, и о том, что их необходимо соблюдать; сообщил и о наказаниях для тех, кто не соблюдает правил — по неосторожности или с умыслом. Все испугались и притихли. Но едва это произошло, голос учителя изменился разительно, он заговорил совсем по-другому, и речь его стала

такой, будто теперь отец заговорил со своим чадом: в ней звучали любовь и доброта. Он стал рассказывать о школе, о том, как она была построена; о монаршей воле, о том, что Его Величество Император повелел учредить школы по всей стране, чтобы подданные смогли стать мудрыми мужчинами и добропорядочными женщинами; и как горячо они должны любить своего благородного Императора; и какое счастье должны испытывать, когда у них появится возможность отдать за него свою жизнь. Также он говорил, что дети должны любить родителей, которым приходится тяжко трудиться, чтобы иметь возможность отправить сыновей и дочерей в школу, и каким неблагодарным и испорченным должен быть тот, кто попусту тратит время, предназначенное для учебы. Затем он начал выкликать каждого из учеников по имени и задавать им вопросы о том, что рассказывал.

Таро слушал учителя, но услышать смог только часть из того, что тот говорил. Его детский ум был охвачен одной мыслью — первым впечатлением: как все посмотрели на него и как все мальчики и девочки смеялись над ним, когда он вошел в класс. Почему так? Неразрешимая эта загадка причиняла такую боль и так мучила, что он едва

мог думать о чем-то ином и потому оказался совершенно не готов ответить на вопрос, когда очередь дошла до него и учитель назвал его имя:

— Юкида Таро, что ты любишь больше всего на свете?

Таро вскочил с места, на мгновение замер, а затем тихо произнес:

— Пирожные…

Все мальчики и девочки немедленно обернулись к нему и расхохотались. А учитель посмотрел на него и с упреком спросил:

— Юкида Таро, разве ты любишь пирожные больше, чем своих родителей? Юкида Таро, неужели ты любишь пирожные больше, чем Его Величество нашего Императора?

Таро понял, что он совершил какую-то ошибку. И ошибка его велика. Кровь ударила ему в голову, ему стало очень жарко, и он заплакал. От этого ученики захохотали только сильнее; они все смеялись и смеялись — до тех пор, пока учитель не окоротил их, возвысив голос. Когда установилась тишина, учитель задал тот же вопрос следующему, и тот ответил как подобает. А Таро закрыл лицо ладошками и зарыдал.

Прозвенел звонок. Учитель сказал:

— Дети! Следующим у вас будет урок письма.

Его проведет другой учитель. А теперь — перерыв. Можете выйти во двор и поиграть немного.

С этими словами он покинул комнату; следом за ним вон из класса устремились мальчики и девочки; все они гурьбой высыпали на двор, не обращая ни малейшего внимания на Таро. То, что теперь все игнорируют его, обескуражило ребенка больше недавнего всеобщего внимания. За все время никто, кроме учителя, не сказал ему и слова; а теперь даже учитель, казалось, вообще забыл о его существовании. Мальчуган снова уселся на свою скамеечку и залился слезами. Так он плакал и плакал. Но старался, чтобы получалось потише, поскольку боялся, что дети вернутся и снова начнут над ним смеяться.

Неожиданно чья-то рука коснулась его плеча. И он услышал голос — чудесный голос, обращавшийся к нему. Повернув голову, он увидел пару глаз — таких ласковых, каких прежде он еще никогда не видел. Эти глаза принадлежали девочке. Она была постарше его, но не слишком — от силы на год.

— Что с тобой? — спросила она нежно.

Таро не сразу перестал плакать, но, посопев немного, смог-таки ответить:

— Мне здесь не нравится. Я хочу назад — до-

мой.

— Почему? — спросила девочка и обняла его рукой за шею.

— Здесь все ненавидят меня. Никто не разговаривает и не играет со мной.

— Да нет же! — воскликнула девочка. — Никто к тебе плохо не относится. Вовсе нет! Просто ты новенький, и тебя еще никто не знает. Когда в прошлом году я впервые пришла в школу, со мной было то же самое. Не мучайся этим.

— Но все другие играют, а я должен сидеть здесь, — возразил Таро.

— Да нет, совсем не должен. Можешь идти и играть. Можешь поиграть со мной. Давай мы с тобой поиграем! Идем!

В ответ Таро вновь зарыдал — теперь уже в полный голос. Жалость к себе, благодарность за участие и восхищение новой знакомой переполнили его маленькое сердце и выплеснулись наружу — и потому он оказался совершенно не способен управлять собственными чувствами. Это было так приятно — ты плачешь, а тебя жалеют и гладят.

Девочка засмеялась, схватила его за руку и потащила прочь из комнаты. Она была маленькой, но материнское чувство уже обитало в ней, и она

понимала, что нужно маленькому мальчику, и знала, что делать.

— Если ты хочешь плакать — плачь себе, пожалуйста, — сказала она, — но и играть ты должен тоже!

И они стали играть. И так замечательно все у них получалось!

Но, когда уроки закончились и за Таро пришел дедушка, мальчик снова расплакался. Но теперь по другому поводу: ему так не хотелось расставаться со своей новой подружкой!

Дедушка рассмеялся и воскликнул:

— Ну что ты! Это же малышка Йоши — Мийяхара Йоши! Йоши может пойти вместе с нами и даже зайдет к нам — ведь правда? Ей по дороге!

Так они и оказались в доме у Таро. Там их ждали обещанные мамой пирожные, и они ели их вместе. А когда лакомства закончились, маленькая О-Йоши, подражая голосу учителя, строго спросила:

— Юкида Таро, ну что, пирожные тебе нравятся больше, чем я?

III

Отец О-Йоши был человеком имущим: ему принадлежало несколько рисовых полей, а еще

он владел небольшой лавкой на главной улице деревни. Ее мама была из самурайского рода. В семью Мийяхара она вошла, когда феодальный уклад рушился и прежнюю клановую систему упразднили. Она родила своему мужу несколько детей. О-Йоши оказалась ее последним ребенком, но остальные умерли — выжила только девочка. Мама умерла, когда О-Йоши была еще младенцем. Мийяхара был уже немолод, но женился вновь. В жены он взял дочь одного из своих арендаторов. Та была еще совсем молодой. Звали ее Ито О-Тама. Она была очень красива: смуглая, крепкая, высокая, сильная и очень энергичная. Тем не менее выбор Мийяхары многих озадачил: О-Тама была из крестьянской семьи, к тому же не умела ни читать, ни писать. Вскоре, правда, изумление уступило место шуткам, потому что, водворившись в доме, молодая супруга прибрала к рукам власть в семье. Но и шутки поутихли, когда соседи и знакомые получше узнали О-Тама. Покорность Мийяхары молодой супруге объяснялась просто: интересы семейства она блюла куда лучше, чем хозяин, и делала это с большим тактом. А спустя два года смешки смолкли вовсе, так как стало известно, что доходы хозяйства выросли вдвое. Все сочли, что Мийяхара заполучил себе

жену, которая обязательно сделает его богачом. Да и как к мачехе претензий к ней не было. Даже родив собственного ребенка, она была добра к падчерице, заботилась о ней и не препятствовала тому, чтобы та регулярно посещала школу.

Пока дети учились, вокруг происходили удивительные вещи. К ним в долину пришли странные высокие люди — бледнолицые, рыжеволосые и бородатые. Это были иностранцы — люди с Запада. С собой они принесли диковинные инструменты и привели много японских рабочих, а потом построили железную дорогу. Она прошла у подножья холмов — за рисовыми полями и тутовой рощей, совсем рядом с селом, — пересекая под прямым углом дорогу, что вела к храму на вершине холма. На пересечении построили станцию и платформу, а на платформе установили особую табличку, на которой черным по белому красивыми китайскими иероглифами написали название деревни. Чуть позже параллельно железной дороге вкопали столбы, протянули провода, и пришла телеграфная связь. Совсем скоро пошли поезда, загудели и засвистели паровозы, разрывая привычную тишину, — и статуи Будды на старом храмовом кладбище раскачивались и шатались, едва не падая со своих древних по-

стаментов.

Двойные железные линии мерцали загадочно и тускло. Они разбегались на юг и на север и исчезали за горизонтом где-то в таинственной дали, поражая детское воображение не меньше, чем поезда и паровозы, изрыгающие искры и дым, словно огнедышащие драконы. Поезда проносились мимо и сотрясали землю. Впрочем, страх перед ними быстро сменился интересом; он усилился после того, как один из школьных учителей объяснил, сопровождая свой рассказ рисунками на доске, как устроены вагоны и тянущий состав локомотив, что из себя представляет и как устроен двигатель. Учитель рассказал, что железная дорога связала новую и старую столицы страны: теперь путь до Киото занимает менее двух дней. Но еще больший интерес и удивление вызвала история о чудесной работе телеграфа — о том, что сообщения теперь можно отправлять по проводам и новости из столицы империи достигают окраин всего за несколько мгновений.

Таро и О-Йоши крепко подружились и стали почти неразлучны: они вместе учились, вместе играли, ходили друг к другу в гости. Но в одиннадцать лет О-Йоши забрали из школы, чтобы та помогала мачехе по хозяйству, и теперь дети ста-

ли видеться редко. Свою учебу мальчик закончил в четырнадцать и принялся обучаться наследственному ремеслу. А потом наступили дни скорби. Родив ему маленького братика, умерла мама. Следом за ней в мир иной ушел любимый дедушка — тот самый, что привел Таро за руку в школу. После этого все вокруг как-то померкло, краски мира поблекли. Так и шла жизнь, не меняясь, пока Таро не сравнялось семнадцать. Иногда он заходил в дом к О-Йоши, — когда ему хотелось с нею поговорить. Она изменилась. Выросла. Превратилась в стройную красивую девушку. Но для него она продолжала быть все той же подружкой веселых и беззаботных дней детства.

IV

Стоял тихий и теплый весенний день. Таро вдруг почувствовал себя таким одиноким! Юноша подумал: «Как было бы хорошо повидаться сейчас с О-Йоши!» Видимо, глубоко укоренилась в нем память о том самом первом дне в школе, когда он подружился с девочкой. Во всяком случае, нечто внутри него — возможно, любовь к покойной матери, а может быть, к дедушке или другим умершим людям, что любили его, память о тепле и нежности, что шла от них, — подтолкнули его

к решению повидаться с О-Йоши, вероятно, в подспудной надежде на ту нежность, что она дарила ему в детстве. И потому он направился к лавке, которой владела семья Мийяхара. Когда подошел, то услышал смех девушки — он звучал восхитительно! Потом он увидел ее: она обслуживала какого-то старого крестьянина. Тот был словоохотлив — говорил, шутил, — и Таро пришлось ждать. Впрочем, это было весьма кстати, потому что юноша вдруг понял, что не сможет именно сейчас заговорить с О-Йоши. Но ему было хорошо: он стоял рядом и чувствовал себя немного счастливее. И смотрел на нее — смотрел долго, не отрываясь, а потом внезапно подумал: почему прежде никогда не задумывался над тем, какая она красивая? Она и в самом деле была очень красива — куда красивее любой девушки в деревне. Таро смотрел на подругу, и чем дольше это продолжалось, тем красивее она казалась ему. Это было странно — то, что с ним сейчас происходило. Но и О-Йоши — тоже в первый раз — вдруг зарделась под его открытым взглядом. И тогда Таро окончательно понял, что она красивее всех в целом свете, и замечательнее, и лучше, и захотел сказать ей об этом, сразу обозлившись на старика, который все говорил и говорил, — как

будто О-Йоши самая обычная девушка!

Так, в несколько минут, вся жизнь Таро вдруг переменилась, а он даже не догадался об этом. Он только знал: с той поры, когда он последний раз видел О-Йоши, она превратилась в богиню. И как только старик ушел, юноша немедля открыл ей свое глупое сердце. А она открыла ему свое. И оба поразились: настолько совпали их чувства и мысли. И это стало началом большой трагедии.

V

Пожилой крестьянин, с которым Таро столкнулся в лавке семьи Мийяхара, оказался там не случайно и не был простым покупателем. Это был профессиональный накодо, которого пригласил состоятельный торговец рисом по имени Окадзаки Яичиро. Человеку Запада трудно понять, что такое накодо. Предельно упрощая, накодо — это некая разновидность частного детектива и свахи одновременно. К нему обращаются, когда нужны сведения о девушке, на которой хотят жениться. Но накодо не копается в «грязном белье» объекта, а собирает информацию — о семье, предках, имуществе и т. д. Главная его задача — составить психологический портрет, дать заключение — будет она хорошей женой или нет. И если будет

решено, что объект достойный, то накодо поручаются и переговоры с семьей невесты. Окадзаки, увидев однажды О-Йоши, положил на нее глаз, а потому и нанял упомянутого господина.

Надо сказать, торговца рисом не любили. Не только крестьяне, но и ближайшие соседи по деревне. Был он человек уже пожилой, большой телом, грузный, с громким голосом; выделялся высокомерием и грубыми манерами. К тому же, говорили, отличался злокозненностью. Когда был голод, он спекулировал рисом и нажил капитал. В крестьянской среде такое считается за преступление и не прощается. Он был чужим в деревне: обосновался тут около двадцати лет назад — с женой и ребенком пришел в эти места откуда-то с запада. Жена его умерла два года назад. Единственный сын, с которым он, говорят, обращался жестоко, сбежал из дома и где теперь он — никто не ведал. Да и другие неприятные истории ходили об этом человеке. Якобы из той западной деревни он ушел не по своей воле — его изгнали. Что стало причиной — неведомо, но однажды разъяренная толпа подошла к дому, вышвырнула хозяина и имущество на улицу, а дом разрушила, наказав не возвращаться под страхом смерти. А еще шептались, что он обща-

ется с духами мертвых.

Несмотря на то, что был немолод, Окадзаки вознамерился побаловать себя молодой красивой женой. Но, хотя и был он богат, осуществить задуманное оказалось не так-то просто. Семьи, в которые он обращался с предложением выдать дочь за него замуж, отвергали его с ходу или выдвигали такие условия, которые выполнить он не мог. Собственно, они были завуалированной формой отказа. А староста деревни, к которому он обратился с аналогичным предложением, сказал откровенно, что скорее отдаст свою дочь о́ни — то есть демону, — нежели ему. Потому торговцу рисом только и оставалось, что искать себе жену где-нибудь в другом месте. Так, после всех неудач, видно, и случилось бы, не повстречай он однажды О-Йоши. Девушка ему чрезвычайно понравилась. Он решил: поскольку красавица из небогатой семьи, то щедрые дары помогут ему заполучить ее. Окадзаки принялся готовить почву, наняв накодо, — тот должен был начать переговоры с семейством избранницы.

Мачеха О-Йоши, хотя и была женщиной совершенно необразованной, отнюдь не являлась простушкой. Она никогда не любила падчерицу, но была слишком умна, чтобы быть жестокой к

ней без причины. К тому же существование О-Йоши совершенно не мешало ее планам: интересы их не пересекались. Девушка была работящей, исполнительной, обладала мягким характером, а потому очень полезной в доме. Та же холодная проницательность, с какой мачеха оценивала личные качества падчерицы, помогла ей прикинуть и ее стоимость на брачном рынке. Окадзаки, разумеется, даже и подозревать не мог, что на этом рынке соперничать ему придется с человеком куда хитрее и рассудочнее его. О-Тама знала о нем многое. Она знала, насколько он богат. Известно ей было и о неудачных попытках старика подыскать себе жену — как в деревне, так и вне ее. Она подозревала, что юная свежесть О-Йоши могла вызвать страсть и вожделение, а страсть и вожделение старика обычно можно использовать с очень большой выгодой. К тому же она справедливо полагала, что, хотя ее падчерица едва ли наделена прямо-таки неземной красотой, тем не менее очень хороша собой — миловидна и грациозна. Чтобы найти такую, Окадзаки придется немало попутешествовать по округе — да и то, найдет ли он нечто подобное? Если он хочет заполучить ее — ему придется хорошенько заплатить. А коли начнет жадничать — что ж, О-Тама

знала, что сказать: найдутся, мол, и помоложе, и, возможно, пощедрее. Так что у Окадзаки имелись шансы завладеть девушкой, но, конечно, не на льготных условиях!

Первые авансы, таким образом, были сделаны с обеих сторон. Но затем дело застопорилось, и Окадзаки на время отступил. Он не хотел, чтобы та сторона поняла, насколько глубока его страсть, — иначе ему придется заплатить много больше, нежели любому другому в округе. А потому важно было не обнажать истинных чувств. И разумеется, О-Йоши знать ничего не должна. Поскольку репутация накодо зависит от того, насколько скрытно и ненавязчиво протекает вся процедура, с его стороны Окадзаки опасаться было нечего.

Позиция семьи была выработана в процессе консультаций между отцом О-Йоши и ее мачехой. Разумеется, старый Мийяхара ни в коем случае и так не стал бы противоречить своей супруге и разрушать ее планы. Но она была женщиной мудрой, а потому прежде всего предприняла необходимые меры предосторожности и постаралась убедить мужа, что планируемый брак будет отвечать интересам его дочери. В первую очередь она обсудила с ним возможные финансовые пре-

имущества союза. Не скрыла и того, что, учитывая репутацию жениха, существуют и неприятные риски. Но их, утверждала она, можно избежать, оговорив некоторые пункты договора, и настоять, чтобы Окадзаки согласился с ними. Объяснила мужу и его роль. В ожидании переговоров О-Тама решила, что следует поощрять и визиты Таро. Разумеется, взаимная симпатия между юношей и девушкой не укрылась от проницательной мачехи. Она посчитала, что ее следует использовать должным образом: когда Окадзаки узнает о существовании молодого соперника, это должно только раззадорить его и приблизить желаемую развязку.

О симпатии сына знал и его отец. Поэтому, когда Таро впервые заговорил о женитьбе на О-Йоши, это не стало неожиданностью. Но родитель тем не менее возражал: девушка была старше на целый год. Действительно, сие считалось не в обычае. Впрочем, препятствие это было слабым, да отец и сам понимал его незначительность.

Именно в это время «на арене» появился нанятый Окадзаки накодо. Но дело он повел так издалека — возможно, впрочем, в этом заключалась часть его стратегии, — что Мийяхара не смог даже толком понять, о чем эта сваха в мужском

обличье толкует. Возможно, отец делал вид, а может быть, действительно не понимал суть маневров накодо. Но так продолжалось до тех пор, пока не вмешался теряющий терпение Окадзаки. Он встретился с Мийяхарой и рассказал о своих планах жениться на О-Йоши. Тот провозгласил, что снимает с себя всякую ответственность, — пусть решает супруга, а уж он согласится с любым ее мнением.

Торговец обратился к супруге. О-Тама немедленно и весьма решительно отвергла предложение Окадзаки выдать за него О-Йоши, вполне достоверно изобразив презрительное удивление. Более того, она рассказала ему притчу. «Жил да был, — рассказывала она, — некогда один мужчина. И захотел он жениться. Но на женщине, на которую не придется тратиться. И вот наконец нашел такую. Женщина была очень красивой и утверждала, что ей достаточно двух рисовых зерен в день — и она сыта. Мужчина обрадовался и женился на ней. И действительно: она ела один раз в день, и ей всегда хватало двух рисовых зернышек. Муж был счастлив. Но вот однажды ночью, возвращаясь домой после какой-то поездки, он решил не заходить в дом сразу, а понаблюдать за женой сквозь отверстие

в крыше. И вот что он увидел: она ела, и ела не просто много — чудовищно много, уничтожая целые горы провизии: рис, рыбу, мясо… Но ела не ртом, а отправляла пищу в отверстие на голове, раздвигая свои густые волосы. Тогда он понял, что женился не на женщине, а на Яма-омба — демоне в женском обличье».

О-Тама ожидала реакции целый месяц. И была совершенно уверена: ценность того, чем она обладала, только увеличивается, поскольку чем труднее — тем ценнее. И ожидала не напрасно — накодо объявился вновь. На этот раз разговор пошел по-другому: к данным прежде обещаниям жених присовокупил новые, куда более щедрые. Теперь мачеха знала: Окадзаки в ее власти. Разработанный план не был сложен, он был основан на инстинктивном, но глубоком и верном знании уродливой человеческой натуры. И женщина чувствовала уверенность в успехе. Обещания ей были не нужны. Обещания — ловушка для дураков. Она хотела заключить полноценный договор, по которому некая часть имущества Окадзаки перейдет в ее собственность еще до того, как он получит О-Йоши.

VI

Отец Таро искренне желал, чтобы сын женился на О-Йоши, и потому делал все, что полагается в таких случаях. Поэтому его очень удивило, когда он не смог получить вразумительного ответа от Мийяхары. Он был простым, бесхитростным человеком, но вовсе не лишен дара интуиции, а потому его не смогло обмануть преувеличенное радушие О-Тама, которое ей было совершенно не свойственно (к тому же он ее вообще недолюбливал). Он стал догадываться, что надеяться им с сыном, похоже, не на что. Отец подумал, будет лучше, если своими подозрениями он поделится с Таро. Увы, результат был печальным: от огорчения юноша свалился в жестокой лихорадке. Но в планы мачехи О-Йоши, разумеется, не входило, чтобы ее истинные намерения раскрылись преждевременно, а потому она не хотела, чтобы Таро предавался отчаянию. Узнав о болезни юноши, она стала посылать ласковые записки с пожеланиями выздоровления, а к одной из них присовокупила и письмо от О-Йоши. Последнее произвело необходимый эффект, возродив надежды молодого человека. Он выздоровел — и отправился в лавку Мийяхары. Девушка была

тоже там, помогая отцу. Тот не возражал, чтобы влюбленные поговорили. Впрочем, о переговорах, что вел отец Таро, не было сказано и слова.

Однако молодые люди могли видеться довольно часто. Встречи обычно происходили у храма местной уджигами, куда О-Йоши приходила с маленьким сводным братом — сыном мачехи. Даже среди толпы нянек, детишек и молодых матерей они всегда могли перебросится несколькими словами, не опасаясь возможных пересудов.

Очередной удар по их надеждам О-Тама нанесла через месяц: она встретилась с отцом Таро и выдвинула условие, выполнение которого обеспечит брак между детьми. Она потребовала выплаты отступного. Но сумма, запрошенная ею, была так высока, что собрать ее не стоило и пытаться. Таким образом, она приподняла краешек своей маски. И сделала это потому, что Окадзаки бился ожесточенно, пытаясь снизить цену. Но по этой самой ожесточенности было понятно, что в той паутине, что сплетена вокруг него, он увяз окончательно и теперь не выберется: конец близок, необходимо только дожать жертву. О-Йоши, разумеется, ничего не ведала об этой скрытой борьбе. Но у нее появились причины опасаться, что ее никогда не отдадут в жены Таро.

Она переживала. Похудела, побледнела, тени залегли на лице.

Однажды утром Таро, взяв с собой маленького братика, отправился к храму уджигами в надежде встретиться и поговорить с О-Йоши. Они встретились, и он сказал, что напуган. Он обнаружил, что деревянный амулет, который надела ему на шею мать, когда он был совсем маленький, сломался.

— Ну что ты, — сказала ему О-Йоши, — ничего страшного! Это просто знак свыше — он говорит о том, что боги охраняют тебя. Смотри, в деревне был мор, многие заболели. Заболел и ты. Но, в отличие от многих, ты выздоровел. Твой талисман хранил тебя — потому он и сломался. Сходи к каннуси. Прямо сегодня. Он даст тебе другой.

Поскольку они очень любили друг друга и никогда никому не желали зла, но чувствовали себя несчастными, то принялись рассуждать о высшей справедливости.

Таро сказал:

— Может быть, в одной из прошлых жизней мы ненавидели друг друга? Возможно, я сделал тебе что-нибудь плохое? Или ты мне? И это нам наказание… Во всяком случае, так говорят священники.

О-Йоши была веселой девушкой и даже в такой

ситуации не смогла удержаться от игры:

— В предыдущей жизни я была мужчиной, а ты — женщиной. Я так любил тебя! Очень, очень, очень сильно! А ты отвергла мою любовь. Я это очень хорошо помню!

— Ты — не Босацу, — отвечал Таро. Несмотря на печаль, он не мог удержаться от улыбки, слушая свою подругу. — А потому ничего помнить ты не можешь. К тому же у Босацу целых десять уровней, но только в самом первом они помнят прошлые воплощения.

— А как ты можешь знать, что я не Босацу?

— Ты женщина. А женщина не может быть Босацу.

— Но разве Куандзеон Босацу — не женщина?

— Да, это правда… Но ведь ты говоришь, что любишь меня, а Босацу не может любить никого, кроме Кайе.

— А разве у Шака не было жены и ребенка? Он что — не любил их?

— Ну конечно любил. Но ты же знаешь — он должен был оставить их.

— Это очень плохо, даже если это сделал Шака. Но я не верю во все эти истории… А что же, ты сможешь оставить меня, если я стану твоей?

Так мило они пререкались, теоретизировали и

время от времени смеялись: им было так хорошо вместе! Но внезапно девушка вновь стала серьезной и сказала:

— Послушай!.. Прошлой ночью приснился мне сон. Я видела реку — странную реку и море. Я стояла… стояла, думаю, у реки — очень близко к тому месту, где она впадает в море. И я испугалась. Очень сильно испугалась. И не знаю — почему. Я смотрела на реку, смотрела на море. Но ни в реке, ни в море не было воды — только кости. И они двигались, колыхались, вздымались — как морские и речные воды…

После короткой паузы она продолжала:

— А потом мне привиделось, что я очутилась дома, а ты подарил мне очень красивую шелковую ткань, чтобы я сшила себе кимоно. И кимоно сшили. И я надела его. Поначалу мне казалось, что оно все такое разноцветное, яркое, а когда надела, оказалось, что оно белое. Я надела его и завязала, но почему-то на левую сторону — так, как завязывают кимоно на мертвецах. А потом я пошла по домам своих родных и знакомых и со всеми прощалась: я говорила им, что ухожу в Царство Мертвых — в Мейдо. И все спрашивали меня: почему? А я ничего не могла им ответить.

— Но это хорошо, — отвечал Таро, — большая

удача — видеть во сне мертвых. Может быть, это знак, что скоро мы станем мужем и женой?

Но девушка ему не ответила и даже не улыбнулась.

Таро помолчал, а затем добавил:

— Йоши, если ты думаешь, что это нехороший сон, пойди в сад, найди самое старое дерево и нашепчи ему все, что ты увидела во сне. И тогда ничего из того, что привиделось, не сбудется.

Но вечером того же дня отец Таро сообщил сыну, что Мийяхара О-Йоши назначена в жены Окадзаки Яичиро и выйдет за него замуж.

VII

О-Тама и в самом деле была очень умной женщиной. Она никогда не совершала серьезных ошибок и была одним из тех отлично организованных существ, что с легкостью преуспевают в жизни. Но только в среде таких же, как она, — существ примитивных и грубых. Ее изощренный, но неразвитый ум впитал весь опыт человека от сохи, крестьянина со свойственными ему хитростью и лукавством, умением долго выжидать и пользоваться случаем, считать копейку, искать и находить максимальную выгоду. Вся эта нехитрая машинерия безотказно работает

в той среде, которая ее породила; она — производная от того человеческого материала, что ее созидает: крестьянства. Но существовала и иная человеческая субстанция, о которой О-Тама, по сути, ничего не знала — этот код отсутствовал в ее многообразном, но ограниченном опыте. Ей была неведома разница между ментальностью простолюдина и самурая. Она полагала, что разницы этой нет и никогда не было. Да, по закону одни обладали привилегиями, доходами, были господами — другие им подчинялись. Таков был обычай. Но это был плохой обычай. И плохие законы. Более того, О-Тама видела, что в новых условиях самураи — эти прежние господа — беспомощны и глупы. А потому втайне презирала всех *сидзоку*[72]. Все изменения происходили на ее глазах: она видела, как по причине полной неспособности к напряженному труду и совершенного незнания обыденной жизни бывшие господа и богатеи превратились в нищих. Она видела, как выделенные правительством пенсионные облигации, призванные обеспечить достойную жизнь бывшим самураям, самым вульгарным

[72] Примечания: 72

Сидзоку (яп.) — буквально: «семьи воинов». Так в эпоху Мэйдзи (1868–1912 гг.) стали официально называть тех, кто прежде принадлежал к сословию самураев.

образом стали предметом спекуляции и утекли из рук наивных владельцев в лапы ростовщиков и мошенников. Она презирала слабость, презирала непрактичность и неприспособленность. И потому последний зеленщик стоял в ее личной табели о рангах куда выше бывших самураев, что вынуждены теперь просить милостыню у тех, кто недавно был счастлив пасть лицом в грязь при виде гордого господина, шествующего мимо.

Мачеха не считала достоинством самурайское происхождение матери О-Йоши. Девушка отличалась деликатностью, но это качество О-Тама приписывала как раз происхождению и полагала недостатком. Все же остальное в характере падчерицы она не воспринимала как нечто особенное, шедшее от предков матери. Напротив, ее трудолюбие, доброта — эти качества О-Тама полагала обычными. Они не требовали исправления, и потому не было нужды быть жестокой к девочке. Но у О-Йоши имелись и другие свойства, которые мачеха рассмотреть была не способна: глубокое, хотя и неявное чувство нетерпимости к любой нравственной несправедливости, неистребимое самоуважение и скрытая, но исключительная сила воли, способная одержать победу над любой болью физической. А потому реакция О-Йоши,

когда ей сказали, что она станет женой Окадзаки, обманула мачеху. Та ожидала восстания и готова была подавить его. Но она ошиблась.

Сначала девушка смертельно побледнела. Но в следующий момент малиновый румянец густо залил ее щеки, и она низко поклонилась родителям. Это приятно удивило старого Мийяхару, поскольку на формальном языке такое поведение означало полную готовность дочери покориться родительской воле. Внешне она не выказала никакого недовольства, и это очень обрадовало мачеху. А потому О-Тама даже сочла возможным поделиться некоторыми деталями того, как умело она заманила Окадзаки в ловушку. Посмеиваясь, поведала о комедии переговоров, рассказала, какие уловки применяла и на какие жертвы был вынужден пойти старик, как глуп он был, клюнув на те приманки, что для него приготовили. Ее речь была вполне банальна: то был один из способов, проверенных веками, — когда молоденькую девушку, без ее согласия, обручают со стариком. Неизменной составляющей этого ритуала были и советы, как управлять пожилым мужем. И О-Тама дала такой — действительно, ценный — совет. Во всем этом разговоре имя Таро даже не было упомянуто. Изящными поклонами О-Йоши

поблагодарила мачеху. Совет и в самом деле был замечательный. Любая разумная крестьянская девушка, следуя тому, что сказала О-Тама, могла легко «крутить» пожилым мужем и жить в свое удовольствие. Но О-Йоши только наполовину была крестьянкой. Ее внезапная бледность при неожиданном известии об уготованной судьбе, а потом и малиновый румянец были вызваны двумя эмоциями, природу которых О-Тама постичь, конечно, не могла. Они были быстрыми, но сложными — куда сложнее тех расчетов, что когда-либо вела О-Тама.

Первым был шок ужаса — от него О-Йоши смертельно побледнела. Девушка поняла, что ее мачеха — существо совершенно бесчувственное и лишенное морали; спорить и бороться с ней бесполезно. Следствием будет только еще больший позор — сделка все равно состоится, дочь продадут безобразному старику. Но почти мгновенно на смену ужасу пришло иное — отчетливое ощущение необходимости силы и мужества, чтобы противостоять злу. А еще осознание, что играть собственную роль нужно очень тонко — только так можно одолеть грубость и хитрость. И тогда она улыбнулась. В этот момент молодая воля обрела силу стали, такую силу, что

дана мечу самурая, с легкостью разрубающему железные доспехи. Девушка сразу поняла, что должна делать, — кровь поколений самураев, что текла в ней, подсказала это. Необходимы были только время и удобный случай. И тут же она ощутила такую уверенность в том, что исполнит задуманное, что пришлось сделать над собой изрядное усилие, чтобы не рассмеяться в голос. Свет, вспыхнувший в ее глазах, обманул мачеху. Та смогла разглядеть только то, что мог вообразить ее ограниченный ум: удовлетворение от осознания того, что несет с собой обретенное богатство и возможность им распоряжаться.

…Случилось все это на пятнадцатый день девятого месяца. Свадьбу назначили на шестой день десятого. Через три дня О-Тама, поднявшись по обыкновению на рассвете, обнаружила, что падчерицы нет дома. Юкида Таро тоже исчез — со второй половины предшествующего дня отец его не видел. Но через несколько часов от обоих пришли письма.

VIII

Утренний поезд из Киото прибыл на станцию, и тотчас платформу затопили шум и суматоха: стук деревянных гэта, обрывки разговоров,

выкрики деревенских мальчишек, продающих пирожные и завтраки. Длилось это недолго: пять минут — и стихли гэта, перестали хлопать двери вагонов, смолкли мальчишки, засвистел гудок, поезд тряхнуло, и он поехал. Его грохот отдалялся и отдалялся, пока совершенно не стих вдали, на севере. Полицейский закрыл калитку, что вела на платформу, и принялся расхаживать взад и вперед, безучастно обозревая панораму рисовых полей.

Пришла осень — время Большого Света. Солнце стало светить по-другому — его лучи стали белее, тени — гуще, а очертания всех предметов обрели отчетливую форму. Проступили мхи на деревьях, почти невидимые летом, да и сама зелень стала как-то ярче и виднее на черной вулканической почве. Сосновые рощицы сделались гуще и звучать стали по-другому: их стволы и ветви скрипели и терлись друг о друга, как-то по-особенному вибрируя на воздухе. Прежде незаметные канавы и канавки, прорезающие рисовые поля, теперь яркими бликами и сполохами молний поблескивали на солнце, а над ними кружились стрекозы, расцвечивая пространство лазурью, изумрудами и тусклой сталью ажурных крыльев. Может быть, связано это было с особой чистотой

и прозрачностью утреннего воздуха…

Вдруг полицейский, что стоял на платформе, уловил какое-то движение на железнодорожных путях к северу от станции. Он приложил руку к глазам, чтобы рассмотреть детали, а потом поглядел на часы…

Об увиденном деревенский страж впоследствии доложил в отчете. Что же это было? Вдалеке, почти в миле к северу от платформы, он разглядел человеческие фигуры. Они направлялись к колеям железной дороги. Их было двое. Скорее всего, пара шла не от деревни, а откуда-то с северо-запада — вероятно, из одинокой крестьянской хижины, что разбросаны среди рисовых полей. Одна из фигур была женской. Причем, судя по кимоно яркой расцветки и поясу, это была очень молодая девушка. Через несколько минут должен был подойти утренний скорый из Токио. Стоя на платформе, полицейский уже видел дым, поднимающийся из трубы локомотива. Сам поезд еще не показался. Те двое вдруг побежали вдоль путей навстречу приближающемуся составу и через мгновение исчезли из вида — как и линия железной дороги, что изгибалась в том месте.

Эти двое, о которых идет речь, были Таро и О-Йоши. Они бежали быстро. Отчасти потому,

что хотели, чтобы их не было видно с платформы, а еще затем, чтобы встретить экспресс из Токио как можно дальше от станции. Когда они добежали до поворота, то поняли, что с платформы их уже не видно, и перешли на шаг. А когда вдалеке показался поезд, они отошли от полотна, чтобы не нервировать машиниста, и остановились, держась за руки. Прошла минута. Поезд приближался, гул нарастал и давил на уши. Еще мгновение — и они поняли: время пришло. Они шагнули вперед и оказались на путях. Затем, крепко обнявшись, легли между рельсами, — прижавшись щека к щеке и к полотну рельса, вибрировавшему и звеневшему от чудовищного давления приближающегося состава…

Юноша улыбался. Девушка, обвив руками его шею, шептала ему на ухо:

«На две грядущих жизни и еще на три, я — ваша жена, а вы — мой муж, Таро-сама…»

Таро не успел ничего ответить, потому что в то самое мгновение колеса локомотива наехали на обоих, разрезав тела словно огромными ножницами. Машинист отчаянно пытался затормозить, но влюбленные оказались на путях, когда до паровоза оставалось всего сто метров, а потому экстренное торможение, разумеется, не помогло.

IX

Их похоронили в одной могиле, и надгробие у них общее — одно на двоих. На нем стоят сосуды из бамбука, а в них цветы. Их приносят жители деревни. А еще там зажигают ароматные свечи и молятся. Это не по правилам, потому что буддийская доктрина не одобряет джоши. Но Таро и О-Йоши похоронили на буддийском кладбище. И в этом есть религиозный смысл, а религия достойна глубокого уважения.

Вы спросите: зачем и почему люди молятся у этой могилы? Ну, не все молятся за них. Но влюбленные — молятся. Особенно те, кто несчастен в любви. Другие только украшают надгробие и шепчут обычные молитвы. А любящие молятся горячо и искренне, прося о помощи в сохранении глубокой и истинной любви.

Перевод Андрея Танасейчука

История Айоажи

В эру Буммеи (1469–1486) один молодой самурай, по имени Томотадо, находился на службе у великого даймио Ноты.

Томотадо родился в Екизене, но еще ребенком был взят в качестве пажа во дворец даймио. Этот принц воспитал его так, что он мог избрать военную карьеру. Томотадо слыл прилежным учеником, а затем хорошим солдатом. Он продолжал находиться в милости у своего повелителя. Любезный, красноречивый, очень красивый собой, он был любим и всеми своими товарищами.

Когда молодой самурай достиг 20 лет, его избрали для исполнения очень важного поручения к великому даймио Киото. Так как ему приказано было ехать через Екизен, Томотадо и спросил разрешения заехать к своей матери, которая продолжала жить в этом городе.

* * *

Когда он пустился в путь, было очень холодно и земля была покрыта снегом. Хотя его конь был выносливи силен, ему все-таки пришлось дви-

гаться чуть не шагом. Дорога шла по гористой местности, где селенья встречались очень редко, на далеком друг от друга расстоянии. На второй день путешествия, после утомительной и долгой езды, Томотадо с досадой убедился, что до места, где был назначен ночлег, ему не добраться очень долго, а на дворе разыгрывалась метель и вьюга. Лошадь его насилу передвигала ноги.

Вдруг на откосе горы, под группой плакучих ив, Томотадо заметил маленькую хижину. Он заставил коня добраться до дверей скромного жилища и начал стучаться в закрытые от непогоды ставни.

Дверь отворила старая женщина, которая при виде красивого незнакомца воскликнула:

— Ах! Какая жалость видеть молодого человека, обязанного путешествовать в такую непогоду! Потрудитесь войти, господин!

Томотадо сошел с лошади и отвел ее под навес сзади хижины. Потом он вошел под гостеприимный кров и увидал в хижине старика и девушку, гревшихся у очага, где пылали ветви бамбука. Его почтительно пригласили к огню, и старики хозяева принялись приготовлять ему что-нибудь на ужин.

Девушка исчезла за ширмой, но Томотадо успел

заметить, что она очень хороша собой, несмотря на беспорядок ее одежды. Он был очень удивлен, что такая красавица жила в таком убогом, нищенском месте.

Старик ему сказал:

— Почтенный господин, снег падает обильно, а до ближайшей деревушки еще далеко. Ветер силен, а дорога очень плоха. Было бы очень неблагоразумно продолжать ваш путь сегодня. Хотя эта хижина недостойное вас жилище и мы не можем доставить вам никаких удобств, но, может быть, будет благоразумнее остаться на эту ночь под этим скромным кровом? О лошади вашей мы позаботимся как можно лучше!

Томотадо с живостью согласился на это скромное предложение. В душе он очень желал еще раз взглянуть на девушку.

Перед ним поставили простую, но питательную пищу, и молодая красавица появилась, чтобы угостить его вином. Она надела платье из грубой шерсти, но чистое и опрятное и привела в порядок прическу из своих густых, длинных волос. Когда она склонилась к самураю, чтобы налить ему вина, он убедился, что она несравненно красивее всех женщин, каких ему удавалось когда-либо видеть!.. Все ее движения и жесты были полны

грации, производившей на него чарующее впечатление. Старики спешили извиняться за дочь:

— Господин, наше дитя Айоажи[73] воспитывалась среди этих пустынных гор и не привыкла прислуживать знатным господам. Просим вас извинить ее неловкость и неумение!

Томотадо отвечал, что он считает за честь пользоваться услугами такой красивой особы.

Он почти ничего не ел, все любуясь девушкой, красневшей под его восхищенным взором.

Мать тогда ему сказала:

— Добрый господин, надеюсь, что вы попытаетесь что-нибудь скушать и выпить, хотя пища наша проста и груба. Но ведь вы, вероятно, промерзли под ледяным дыханием бури?

Тогда, чтобы доставить удовольствие своим хозяевам, Томотадо постарался отдать честь их скромному угощению, но он совершенно подпал под чары Айоажи.

Он с ней заговорил и убедился, что ее речь была так же мелодична, как нежно было ее лицо. Хотя она была воспитана среди гор, ее родители, вероятно, принадлежали прежде к высокому роду, так как у нее был тон и манеры благородной де-

---

[73] Примечания: 73

Зеленая ива — имя, часто даваемое в Японии.

вушки. И вдруг он обратился к ней под влиянием наполнявшего его сердце радостного чувства со стихотворением, где заключался в то же время и вопрос:

– Путешествуя, чтобы повидать мать,
Я встретил девушку прекраснее цветка.
И я из-за нее здесь остался!
Красавица, зачем краснеть без отблеска зари?
Неужели эта краска выдает вашу любовь?

Нисколько не теряясь, она ему отвечала:

— А если рукавом я скрою бледные лучи восходящего солнца, быть может, это удержит тебя здесь при наступлении утра, мой господин?

Томотадо понял из этих слов, что она не отвергала его поклонение. Он изумился, как искусно слагала она стихи и выражала в них свое чувство, а обещание, заключавшееся в них, привело его в восторг.

Он был убежден, что не может даже надеяться встретить, а тем более заинтересовать девушку, которая была бы красивее и умнее этой поселянки. Внутренний голос, казалось, говорил ему:

«Не упускай счастья, что боги послали тебе на твоем пути!»

Словом, он был до такой степени очарован, что, без дальних предисловий, обратился к старикам с просьбой выдать за него дочь замуж, сообщив при этом свое имя и свое положение при дворе даймио в Ното. Старики распростерлись перед ним, испуская возгласы изумления и благодарности, но затем, после некоторого колебания, старик отец проговорил:

— Достопочтенный господин, вы занимаете высокое положение и, без сомнения, в дальнейшем возвыситесь еще больше. Милость, которую вы нам оказываете, неизмеримо велика, и мы не находим слов, как вас за нее благодарить. Но наша дочь — поселянка самого низкого состояния, она не получила никакого воспитания; совершенно неприлично, чтобы она сделалась женой благородного самурая! Об этом не может быть и речи! Но если действительно наша дочь вам нравится и вы готовы извинить ее неловкие и неумелые манеры, то мы с радостью отдадим вам ее в качестве верной служанки. С этой минуты вы полный над ней господин; что ваша милость захочет, то и может от нее требовать.

К утру буря стихла, и небо было ясно и безоб-

лачно. Томотадо не мог дольше мешкать, если бы даже действительно Айоажи закрыла от него солнце рукавом.

Но он не мог решиться на разлуку с прелестной девушкой и, покончив с приготовлениями к отъезду, обратился к ее родителям со следующими словами:

— Хотя после того, что было мною получено, моя просьба может показаться неблагодарностью, я все-таки умоляю вас отдать мне вашу дочь в жены. Для меня невозможна теперь разлука с ней, и так как и она хочет за мной следовать, то я хочу сейчас же ее с собой увезти, если вы мне это разрешите. Согласитесь на мою просьбу, и я буду любить вас как родителей. А пока, во всяком случае, примите этот скромный подарок, взамен вашего гостеприимного приема.

И, говоря эти слова, он положил перед хозяином кошелек с золотом.

Старик оттолкнул кошелек и проговорил:

— Добрый господин, это золото нам здесь не послужит ни к чему, а вам в дороге может пригодиться! Путь ваш и длинен, и труден. А мы никогда ничего не покупаем — нам негде здесь тратить деньги. Что же касается дочери, то мы вам ее уже отдали… Пусть же она и будет ваша! И

вам вовсе не надо нашего согласия, чтобы увезти ее с собою. Она нам уже сказала, что надеется последовать за вами и жить при вас в качестве смиренной служанки, пока вам ее присутствие будет приятно. Мы очень счастливы, что вы взяли на себя заботу о ее судьбе: здесь мы не могли ей предоставить ни платья, ни приличного приданого. Кроме того, мы так стары, что все равно не долго можем прожить с ней. Поэтому мы счастливы, что вы ее с собой берете…

Напрасно Томотадо настаивал, чтобы старики взяли от него хоть малейший подарок. Он убедился, что они вовсе не дорожат богатствами и сердечно рады, что могут ему доверить судьбу и счастье своей дочери. Поэтому он решился им не противоречить и взял девушку к себе на седло.

Затем он простился со стариками, выражая им свою глубокую признательность за доверие.

— Достопочтенный господин, — снова начал уверять старик, — это мы должны вас благодарить. Мы уверены, что вы будете добры к нашей дочери, и мы можем быть совершенно спокойны насчет ее участи. [*Здесь в японской рукописи является странный перерыв. Ничего больше не говорится ни о матери Томотадо, ни о родных Айоажи, ни о даймио Ното. Вероятно, автор же-*

лал как можно скорее перейти к поразительному и страшному заключению этой истории.]

Самурай не имел права жениться без разрешения своего господина, а получить это разрешение Томотадо надеялся только после того, как завершит свою миссию.

А между тем он боялся, что исключительная красота девушки будет слишком привлекать внимание и может кому-нибудь внушить мысль ее у него похитить.

Прибыв в Киото, он старался ее держать дома и не подвергать нескромным взорам. Но однажды один из придворных даймио Киото увидел ее нечаянно и разузнал, в каких отношениях она состоит с Томотадо.

Он доложил об этом своему господину, а так как даймио был молод и любил хорошенькие личики, то он и приказал привести в его дворец Айоажи. Без всякой церемонии ее схватили и привели во дворец.

Томотадо был очень огорчен, но знал, что бессилен против воли правителя. Он являлся только скромным посланником находящегося вдали даймио и был во власти гораздо более сильного господина, противоречить желанию которого было невозможно. Кроме того, Томотадо понял, что

он поступил неосторожно и сам навлек на себя несчастье тем, что завел себе втайне подругу, хотя это строго запрещалось военными законами.

У него оставалась одна надежда, что Айоажи согласится с ним бежать. После многих размышлений Томотадо решился послать ей письмо. Но это было очень опасно, так как всякое послание, адресованное на имя девушки, могло попасть в руки даймио. Сама попытка написать любовное письмо обитательнице дворца являлась непростительным преступлением. Но он все-таки решился рискнуть.

Он составил письмо в виде китайской поэмы и начал придумывать средства, как ее передать. Поэма была очень короткая, но в ней выражалась вся глубокая грусть, какую испытывал Томотадо, потерявший свою возлюбленную:

Молодой принц преследует очаровательную деву!

И слезы красавицы смачивают все платья девицы.

Но могущественный властелин полюбил прекрасную,

И любовь его так же глубока, как море!

И я остался один, обреченный на одинокое мученье!

В тот день, когда Томотадо передал свою поэму, поздним вечером потребовали его во дворец даймио. И молодой человек догадался, что его письмо перехвачено и прочитано.

Он не мог ничего ждать, кроме казни.

«Меня приговорят к смерти, — подумал он, — но я вовсе не дорожу жизнью, если мне не возвратят Айоажи! И если я буду приговорен к смерти, я по крайней мере попытаюсь убить даймио!»

И с этими мыслями он сунул за пояс свою саблю и поспешил в княжеский дворец.

Войдя в залу аудиенций, Томотадо увидал даймио сидящим на троне и окруженным самураями высоких рангов, одетыми в свои парадные одежды. Все они стояли неподвижно, как статуи… Томотадо приблизился, чтобы простереться перед троном, и это глубокое безмолвие показалось ему затишьем перед великой грозой.

Но вдруг даймио спустился с трона и, положив руку на плечо Томотадо, проговорил первые слова поэмы: «Молодой принц преследует очаровательную деву!..»

И самурай, подняв голову, увидал, что глаза принца полны слез, а выражение лица вполне

доброжелательно.

И даймио сказал:

— Поскольку вы так глубоко любите друг друга, я взял на себя обязанность заменить моего родственника даймио Ноты и вместо него разрешаю вам сочетаться браком. Ваша свадьба произойдет здесь, в моем присутствии… гости уже собрались, и подарки готовы!

По знаку даймио были отодвинуты ширмы, скрывавшие соседнюю комнату, и Томотадо увидал там Айоажи, ожидавшую его в кругу знатных лиц, в брачной одежде!

Так была она ему возвращена.

Свадьба была пышная и веселая, и богатейшие подарки были сделаны молодым правителем Киото и его бесчисленными придворными.

* * *

Томотадо и Айоажи прожили вместе в полном счастье в течение четырех лет. Но однажды утром, разговаривая с мужем о каких-то хозяйственных делах, молодая женщина вдруг громко и болезненно вскрикнула — и сделалась бледна и неподвижна.

Через несколько минут она сказала своему испуганному молодому супругу:

— Простите меня, что я так громко закричала. Я знаю, что это было очень невежливо, но я не могла удержаться… Боль была так сильна и неожиданна… Дорогой мой муж, наша встреча произошла, вероятно, благодаря каким-нибудь сношениям между нами в нашей предыдущей жизни. И я уверена, что мы будем соединены в будущей нашей жизни! Но что касается нашего теперешнего существования, я знаю, что наша связь порвана. Мы скоро должны будем расстаться!.. Прошу вас прочитать надо мной молитву Нембутсу. Я умираю…

— Какая странная, безумная мысль! — воскликнул испуганный Томотадо. — Моя возлюбленная, вы находитесь под влиянием какой-то болезненной фантазии! Лягте, попробуйте отдохнуть, и все ваши воображаемые болезни пройдут!

— Нет, — отвечала молодая женщина. — Нет! Я умираю! Это не фантазия… не химера! Я знаю это!.. Теперь бесполезно дольше скрывать от вас истину… Я не человеческое существо. Моя душа — это душа дерева, моя кровь — это сок, который течет и питает плакучую иву!.. И в эту минуту, в эту ужасную минуту кто-то рубит мое дерево!.. Вот почему я и должна умереть!.. слезы меня утомляют… Ах! Я умираю, скорее, скорее читайте

молитву для умирающих, скорее… Ах!.. Ах!..

И, испустив последний крик отчаяния, она отклонила головку и старалась скрыть лицо широким рукавом. И в то же время вся ее фигурка точно таяла, сокращалась самым необыкновенным образом, и ее силуэт склонялся к полу!.. Томотадо хотел ее поддержать, но поддерживать было некого. Он обнимал пустоту…

А на полу лежала пустая одежда молодой женщины и украшения с ее головы… Само же тело исчезло, как будто его никогда и не бывало!

* * *

Томотадо обрил голову, сделался буддистом и превратился в странствующего монаха.

Он бродил по всей стране; когда достигал какого-нибудь святого места, он всюду заказывал молитвы за упокой души Айоажи.

Проходя во время своего благочестивого путешествия в Екизен, он решился отыскать жилище родителей своей возлюбленной жены.

Но, когда он достиг того места, где когда-то среди гор приютилась их хижина, он ее не нашел. Ничто даже не указывало на то, что она когда-либо здесь стояла. Только оставались три срубленные ствола плакучей ивы. Два от старых,

больших деревьев, а один от совсем молодой ивы.

Деревья были срублены некоторое время назад.

И у подножья этих стволов Томотадо велел воздвигнуть превосходный памятник, на котором были начертаны священные тексты.

И много было совершено им здесь буддистских обрядов и служб за упокой душ Айоажи и ее родителей!

Перевод Елены Ильиной

Легенда о Мими-Наши-Гойши

Несколько столетий тому назад в городе Шимоносеки жил один слепец, по имени Гойши. Он был известен во всей стране по своему умению играть на *biwa* — инструменте, похожем на лютню с четырьмя струнами. С самого раннего детства он изучал музыкальное искусство и искусство декламации и очень скоро превзошел своих учителей. Он был особенно знаменит своими песнями и сказаниями о вражде между племенами Гейке и Женжи, и, когда он пел жалобную песнь Дан-но-ура, «сами тени их не могли сдержать рыданий!».

В начале своей карьеры Гойши был знаком с бедностью, но затем один друг пришел к нему на помощь. Случилось так, что заведующий храмом Амидажи очень ценил поэзию и музыку; он часто призывал Гойши в свое жилище, чтобы послушать его легенды и трагические поэмы. Однажды, глубоко тронутый талантом молодого музыканта, он предложил ему жить при храме, где он мог получить и приют, и пищу. Взамен этого Гойши, при отсутствии других приглашений, должен был в свободное время утешать его пени-

ем и музыкой. Слепой, конечно, с благодарностью принял его предложение и поселился в храме.

В один жаркий летний вечер добрый священник был приглашен в дом одного из своих прихожан, только что скончавшегося, для совершения положенных религиозных служб. Он ушел со своим помощником, и Гойши остался один. Так как было очень жарко, Гойши пошел на веранду, находившуюся с задней стороны храма и выходившую в сад, чтобы освежиться перед сном. Он терпеливо ожидал возвращения своего благодетеля и для развлечения начал что-то играть на своей лютне.

Наступила полночь, а жрец все еще не возвращался. Но Гойши решил ждать его возвращения на веранде, где было не так душно.

Вдруг он услыхал, что к решетке, окружающей сад, приближаются чьи-то шаги. Кто-то быстро прошел через сад к веранде и остановился перед слепым.

Это был не жрец!

Раздался звонкий голос, назвавший слепца по имени, голос властный, как говорил бы самурай с кем-нибудь из низших.

— Гойши!..

Испуганный слепец ничего не отвечал.

И голос снова повелительно кликнул:

— Гойши!..

— Но я слеп!.. — проговорил испуганный музыкант. — Я не вижу! Я не знаю, кто меня зовет!

— Нечего бояться, — возразил голос более ласковым тоном, — меня послали к вам с поручением. Мой господин, человек очень высокого рода, остановился в Шимоносеки со своими вассалами, желая увидать место, где сражался Дан-но-ура. Отправившись туда сегодня, он услыхал о вашем таланте воспевать великую битву и пожелал вас послушать. Возьмите же вашу лютню и следуйте за мной туда, где вас ждет высокое общество.

* * *

В те времена было плохо противоречить малейшему желанию самурая! Гойши надел сандалии, взял лютню и последовал за посланным, который очень ловко вел слепца и только требовал поспешной ходьбы. Рука, державшая руку Гойши, была закована в кольчугу, а бряцание сабли показывало, что посланный был в полном вооружении. Несомненно, это был кто-нибудь из дворцовой стражи.

Когда первый страх Гойши слегка рассеялся, он вспомнил фразу своего проводника:

— Мой господин — особа высокого ранга!

И слепой невольно порадовался своему успеху. Он решил, что, вероятно, это какой-нибудь даймио.

Через несколько времени самурай остановился, и Гойши убедился, что они пришли к широким решетчатым воротам. Это его очень удивило, так как во всем городе он не помнил таких ворот, кроме как у главного входа в храм.

— Каймон![74] — воскликнул самурай.

Послышался стук железа, как будто снимали железные запоры, и Гойши снова двинулся дальше. Пройдя через сад, как думал Гойши, они остановились опять перед какой-то дверью, и самурай закричал:

— Гей! Эй, вы там! Я привел Гойши.

Послышались торопливые шаги, шум скользящих ширм, открывающихся дверей, голоса женщин.

Из их разговоров Гойши понял, что это служанки какого-то важного дома. Но ему не дали времени долго раздумывать. Заставив подняться по нескольким ступеням, его попросили снять сандалии. Затем его руку взяла рука женщины,

---

[74] Примечания: 74

Почтительный возглас, с которым обращаются к стражам у ворот знатных особ.

которая повела его через бесконечные переходы и повороты в большую залу. Гойши догадался, что там собралось очень много народа, — это слышно было по шороху шелковых одежд. Слышались голоса и разные придворные разговоры.

* * *

Гойши сказали, что он не должен ничего опасаться. Он опустился на колени на подушку и настроил свой инструмент. Затем женский голос — вероятно, голос ройи[75] — ему сказал:

— Вам повелевают пропеть сказание о Гейке под аккомпанемент вашей лютни.

Так как поэма о Гейке требовала нескольких часов сряду, Гойши позволил себе вопрос:

— Вся поэма слишком длинна. Какую ее часть желало бы выслушать благородное собрание?

И голос матроны ему отвечал:

— Скажите нам историю битвы Дан-но-ура, это самая печальная и трогательная часть сказания.

Гойши запел жалобную песнь о битве на горьких водах. Его струны подражали звукам весел быстрых поворотов пироги, свисту стрел, крикам

---

[75] Примечания: 75

Так называются старшие прислужницы женской половины в доме важных господ.

воинов, ударам сабель по каскам, шуму тяжелого падения тела в волны океана…

Когда он замолк, то услыхал кругом гул похвал.

— Какой удивительный артист! — говорили одни.

— Гойши несравним! Никогда, никогда у нас в провинции мы не слыхали ничего подобного этой музыке! — восхищались другие.

Тогда слепец почувствовал прилив новых сил и запел еще лучше, чем раньше. И кругом царила почтительная тишина, но, когда он начал описывать судьбу женщин и детей, преследуемых Женжи, когда он передавал о том, как бросилась в море кормилица императора Нии-но-ама, с юным императором на руках, его слушатели стали испускать такие крики отчаяния, послышались такие безумные рыдания, что сам певец испугался этого взрыва горя.

Еще несколько минут продолжались слезы и жалобы, но мало-помалу они стали затихать, и снова послышался голос той, кого он принимал за ройю.

Она сказала:

— Хотя мы и слышали о вашем искусстве в игре на лютне, но такого удивительного таланта,

какой вы проявили, мы все-таки не ожидали. Нашему господину благоугодно было выразить, что он был бы счастлив вознаградить вас. Но он желает, чтобы вы являлись сюда с вашей музыкой и пением в течение следующих шести ночей. Вероятно, после этого промежутка времени он предпримет обратное путешествие. Но завтра вы должны быть здесь в то же время. Воин, который привел вас сегодня, будет и дальше вашим проводником. Но мне приказано передать вам просьбу о том, чтобы вы никому не говорили о ваших посещениях, пока наш великий господин находится в Шимоносеки. Так как он путешествует инкогнито, он вам приказывает хранить молчание. А теперь вы свободны и можете вернуться в свой храм!

Поблагодарив за приглашение, Гойши дал себя проводить до ворот, где его уже ждал самурай, который и довел его до храма.

Там он попрощался и покинул его.

* * *

Уже начинало светать, когда Гойши вернулся к себе. Его отсутствие не было замечено. Священник вернулся очень поздно и, вероятно, подумал, что его друг уже почивает.

На другой день Гойши отдохнул, но никому ни слова не сказал о своем приключении. Среди ночи самурай снова за ним пришел, как и в предыдущий вечер, и свел его туда, где его ждало высокое собрание. Он имел такой же успех, как и накануне, но дома его отсутствие было замечено. Когда он вернулся на рассвете, священник позвал его к себе и сказал тоном ласкового упрека:

— Мы очень тревожились о вас, друг Гойши, потому что с вашей слепотой выходить одному ночью слишком опасно. Почему вы меня не предупредили? Я дал бы вам в провожатые моего слугу… Куда вы ходили?

Гойши отвечал уклончиво:

— Простите меня, мой добрый друг! Я должен был закончить очень важное личное дело. И вчера настал срок, когда я мог наконец прийти к его заключению…

Священник был больше изумлен, чем огорчен словами Гойши. Он видел, что его ответ был не искренен, и подумал, что тут таится нечто странное. Больше вопросов он не задавал, но приказал двум служителям наблюдать за слепым и, если он вздумает вечером уйти, проследить за ним.

На следующую ночь подсмотрели, что Гойши снова покинул храм. Служители торопливо за-

жгли свои фонари и последовали за ним. Шел дождь, и было так темно, что прежде, чем они могли его догнать, Гойши скрылся из вида. Он должен был для этого идти очень быстро, что для слепого было прямо удивительно.

Служители обошли все улицы, спрашивали у всех ворот, не видал ли кто слепого музыканта. Никто его не видал!

Наконец, когда они возвращались уже берегом домой, до них донеслись звуки лютни, раздававшиеся с кладбища. Лютня звучала с такой горячей страстностью, что они даже испугались!.. Во мраке ночи были видны лишь блуждающие огоньки, но это не помешало служителям ускорить шаги и поспешить к обители мертвецов… Там, при свете своих фонарей, они увидели Гойши, сидящего в одиночестве перед могильным памятником молодого императора Антеко-Тенну!

Слепой бешено ударял по струнам и декламировал поэму о сражении Дан-но-ура! И вокруг него, над могилами, летали, сверкая, блуждающие огни!.. Никто никогда не видал такого количества этих «демонических огней»!

— Гойши-сан! Гойши-сан! — закричали пришедшие в ужас люди. — Гойши-сан, вы зачарованы, вас околдовали!

Но слепой их не слыхал. Он как безумный заставлял петь свою лютню и со все возраставшим жаром воспевал жалобную песнь о великой битве.

Служители в ужасе ухватили его за одежды и начали кричать еще громче:

— Гойши-сан! Гойши-сан! Сейчас же пойдемте домой с нами!

Тогда он им возразил с упреком:

— Нельзя меня так прерывать перед столь высоким собранием!

При этих словах служители, несмотря на обуявший их страх, не могли удержаться от смеха. Уверенные, что Гойши являлся жертвой колдовства, они заставили его встать и силой потащили назад к храму.

Священник приказал прежде всего снять с него мокрые одежды и дать ему выпить и поесть. Затем он позвал его к себе и потребовал объяснения его странного поведения.

* * *

Долго колебался Гойши, прежде чем заговорить, но наконец, сознавая, как встревожило священника все с ним случившееся, он рассказал, как было дело.

Когда он окончил, священник ему сказал:

— Гойши! Мой бедный друг! Вы находитесь в большой опасности! Ваш дивный талант принесет вам много горя! Вы должны теперь увериться, что эти три ночи вы играли совсем не в высоком собрании знатных людей, а провели их на кладбище между могилами Гейки! Сегодня вечером мои люди нашли вас сидящего под дождем перед памятником Антеко-Тенну!..

Все, чему вы слепо поверили, были только иллюзии… все, кроме призыва мертвецов! Повиновавшись этому призыву, вы отдали себя им во власть.

Если после того, что случилось, вы снова последуете их призыву, они вас живого не выпустят, они разорвут вас в клочки! Впрочем, этим бы все равно кончилось ваше приключение… Завтра я, к несчастью, не могу остаться с вами: меня позвали к умирающему… Но, прежде чем удалиться, я защищу ваше тело, начертав на нем священные стихи.

* * *

Незадолго до захода солнца священник с помощью своего помощника раздел Гойши, и тонкими кистями они начертили на его спине, груди, го-

лове, шее, на лице и на конечностях — словом, по всему телу — священные слова сутры, называемой Гониа-Шин-Кио. Когда они покончили с этой работой, жрец сказал слепцу:

— Сегодня вечером, когда я уйду, садитесь на веранду и ждите. Вас будут звать, но вы не отвечайте, что бы ни происходило. Даже не двигайтесь! Оставайтесь безучастны, как бы углубившись в размышления. Не шевелитесь и не производите шума, иначе вас разорвут в клочки! Но бояться вам нечего и призывать на помощь некого — никто не может в таком случае вам помочь. Если вы в точности исполните все, что я вам сказал, опасность минует, и в дальнейшем вам бояться будет нечего.

* * *

Наступила ночь. Священник ушел, куда его призывала его обязанность. Гойши уселся на веранде, как он ему приказывал. Лютню он положил рядом с собой и, приняв позу человека, углубленного в размышления, он сидел неподвижно, стараясь не кашлять и даже сдерживая дыхание.

Так он оставался в течение нескольких часов. Наконец он услыхал приближающиеся шаги…

Они пересекли сад и остановились у веранды, очень близко от него.

— Гойши! — послышался звонкий призыв самурая.

Слепой старался не дышать и не двигаться.

— Гойши! — снова раздался голос, но уже более грозный.

И наконец в третий раз слово «Гойши!» прозвучало уже яростно.

Слепец замер.

Голос прошептал:

— Это так не пройдет! Я должен увидать, где он!

Тяжелые шаги в железной обуви застучали по ступенькам террасы, приблизились и замолкли возле слепого. Затем в течение долгих минут — причем Гойши казалось, что он слышит биение своего сердца, — царила глубокая тишина.

И вдруг совсем рядом с ним грубый голос проговорил:

— Вот лютня! Но музыканта я не вижу!.. Я вижу только два уха!.. Это мне объясняет, почему он мне не отвечал: не имея рта, ему говорить было нечем. От него остались только два уха!.. Я их снесу моему господину в доказательство того, что я исполнил, насколько мог, его приказание!

И в ту же минуту Гойши почувствовал, что его уши были грубо схвачены железными пальцами и оторваны от его головы!.. Несмотря на адскую боль, он все же не испустил ни одного крика. Шаги стали удаляться, прошли через сад и затихли вдали. С обеих сторон лица чувствовал слепой страшную боль, горячая густая кровь лилась обильно, но он не смел поднять руки.

Незадолго перед рассветом вернулся священник и поспешил на веранду. Его ноги поскользнулись на чем-то клейком. Он с криком отступил… При свете фонаря он увидал неподвижно сидящего Гойши, между тем как кровь сочилась из его ран.

— Мой бедный Гойши! — воскликнул священник. — Что с вами случилось?

Услыхав голос друга, слепой понял, что он спасен. Он зарыдал и сообщил все, что с ним произошло.

— Бедный, бедный Гойши! — с сожалением проговорил его друг. — И подумать, что вы должны были перенести такое страдание по моей вине! Я на всем вашем теле написал заклинания, а уши-то и пропустил! Я думал, что мой помощник сделал это! Но мне надо было удостовериться самому… Теперь остается только постараться вас

вылечить. Утешьтесь, друг мой: все-таки самая большая опасность прошла, вас никогда больше не потревожат ночные посетители!

* * *

Благодаря прекрасному уходу знающего врача раны Гойши зажили. Слух о его необыкновенном приключении разошелся по всей стране, и он сделался знаменитостью. Много знатных и богатых господ приезжали в Шимоносеки, чтобы послушать его песни, и щедро его вознаграждали крупными суммами денег. Скоро он сделался богатым человеком…

Но с той поры его все звали Мими-Наши-Гойши, что значило Гойши-Безухий!

Перевод Елены Ильиной

Кимико

Желание быть забытой возлюбленным душе гораздо труднее, нежели старание самой не забыть…

Из стихотворения Кимико

На бумажном фонаре у входа в один из домов Улицы гейш написано ее имя. Ночью эта улица производит фантастическое впечатление: узкая, как коридор, с глухими фасадами из темного полированного дерева, напоминающими пароходные каюты первого класса; в маленьких раздвижных дверях — оконца, затянутые бумагой, похожей на узорчатое стекло. Здание в несколько этажей, но в безлунную ночь этого и не заметишь: освещены только нижние помещения до спущенных маркиз, — все остальное, вверх, темно. Сквозь узенькие бумажные окна светятся лампы изнутри; светятся фонари, висящие снаружи, по одному у каждой двери. Смотришь вдоль улицы, между двумя рядами таких фонарей, сливающихся в перспективе в неподвижную массу желтого света. Фонари — яйцеобразные и цилиндрические, четырех- и шестиугольные — с

японскими надписями, в красивых иероглифах.

Улица безмолвствует, как выставка после ухода посетителей. Обитательницы ее упорхнули и украшают своим присутствием банкеты и пиршества; как ночные бабочки, они живут только ночью.

Если идти с севера на юг, то на первом фонаре слева читаешь «Кинойя: ухи О-Ката» — то есть «золотой дом, в котором живет Оката».

Фонарь справа повествует о доме Нишимура и о девушке Миутсуру, о «пышном аисте». Следующий дом слева — дом Каиты с Коханой-цветочком и Хиканой-куколкой. Напротив возвышается дом Нагайэ, где живут Кимика и Кимико… С полмили тянутся эти параллельные линии светящихся имен.

Хозяйка и владетельница последнего дома — Кимика. Она последовательно воспитала двух гейш, назвав обеих одним и тем же именем: Кимико первую — «Ихи-дай-мо», а ныне существующую Кимико — «Ни-дай-мэ», то есть «Кимико номер второй». Очевидно, Кимико-Ихи-дай-мэ в свое время пользовалась большой известностью, так как имена обыкновенных гейш никогда не переходят на их преемниц.

Может быть, случай занесет вас когда-либо в

этот дом; раздвинув дверь, вы услышите звук гонга, возвещающего о вашем посещении, и увидите Кимику, если только она со своей маленькой труппой не приглашена в этот вечер куда-нибудь. Кимика очень интеллигентная особа, с которой стоит поговорить. Если она в настроении, то порасскажет вам много интересного, почерпнутого непосредственно из живой жизни, из наблюдений над природой людской, — ведь Улица гейш полна преданий: трагических, комических, мелодраматических. Кимике все известны.

В каждом доме свои воспоминания — страшные, смешные и такие, над которыми невольно задумаешься. Такова повесть первой Кимико: не то чтобы она была необычайной, но во всяком случае она доступнее других нашему западному пониманию.

Ихи-дай-мо-Кимико нет больше в доме Нагайэ; о ней осталось лишь одно воспоминание. Кимика была еще очень молода, когда Кимико стала ее товаркой по профессии.

«Необыкновенная девушка», — отзывается Кимика о ней.

Чтобы стать известной, гейша должна быть или красива, или умна, — а лучше, если в ней соединено и то и другое. При выборе девочек-подростков,

будущих гейш, воспитатели их обращают на это особенное внимание. Даже от гейш второго и третьего разряда требуют в юности известной прелести, хотя бы beauté du diable, породившей японскую поговорку, что «в восемнадцать лет и черт красив, в двадцать — дракон!»

Но Кимико была не просто хороша собой, — в ней как бы воплотился японский идеал красоты, который среди тысяч женщин редко находишь в одной.

Она была не просто умна, — она была талантлива: писала изящные стихи, с изысканным вкусом все вокруг себя украшала цветами, безукоризненно проводила чайные церемонии, прекрасно вышивала и делала шелковую мозаику[76]; одним словом — она была совершенство.

В Киото с первого же выхода ее она произвела сенсацию; ее успех сразу был обеспечен, и началось победоносное шествие. Подготовка у нее была прекрасная, она справлялась со всеми положениями, не терялась ни при каких обстоятельствах. А то, чего она еще не знала, — то ведала Кимика: власть красоты и слабость под влиянием страстей, цену обещаний и муку рав-

---

[76] Примечания: 76
Картины из кусочков шелка.

нодушия, все безумие, всю низость, царящую в сердцах мужчин. Руководимая ею, Кимико редко ошибалась и мало проливала слез. Со временем она стала немного опасной, чего Кимика и желала, — опасной, как горящая лампа для ночных бабочек, не более того; иначе ее могли бы и потушить. Лампа должна освещать то, что приятно для глаз; страдать же она никого не заставляет, — так и Кимико никого не заставляла страдать; она была не слишком опасной. Заботливые, почтенные родители скоро убедились, что она и не думает вторгаться в их семьи; она даже романтических приключений не искала. Но юношам, подписывающим договоры собственной кровью, требующим от гейш отрезанного мизинчика в знак вечной верности, — им она спуску не давала и исцеляла их безумие жестокостью. Так же безжалостна она была и по отношению к богатым поклонникам, желавшим купить ее ценою домов и имений. Один из них был так великодушен, что предложил за ее свободу сумму, которая сделала бы ее сразу богатой женщиной. Кимико сердечно поблагодарила, но осталась гейшей. Отказывая, она не обижала, и отчаяние почти всегда умела врачевать. Были, конечно, и исключения. Пожилой господин, вообразивший, что жить без

Кимико не может, пригласил ее однажды на пирушку и предложил ей выпить с ним вместе вина. Но опытная Кимика, по лицу читающая в душах людских, сразу смекнула, в чем дело, быстро заменила вино в бокале девушки чаем и спасла таким образом ее драгоценную жизнь. А душа старого влюбленного глупца несколько минут спустя одна отправилась в путь, вероятно очень удивленная и разочарованная своим одиночеством.

С тех пор Кимика оберегала Кимико, как дикая кошка — своего котенка.

«Котенок» стал баловнем высшего света, злобой дня, местной знаменитостью.

Один из ее поклонников, заграничный принц, до сих пор помнящий ее имя, посылал ей бриллианты, которых она никогда не носила; счастливцы, имеющие возможность доставлять ей удовольствие, засыпали ее драгоценными подарками; пользоваться ее благосклонностью хотя бы в течение одного дня было мечтой «золотой молодежи». Но она никому не давала предпочтения и слышать не хотела о вечной верности. На мольбы и клятвы она неизменно отвечала, что знает свое место и назначение. Даже светские дамы снисходительно отзывались о ней, так как

она никогда не бывала причиной семейной драмы. Она действительно знала свое место. Время, казалось, щадило ее; она с годами становилась все лучше. Появлялись другие гейши, достигали славы, но не было равной ей. Фабрикант, приобретший право пользоваться ее фотографией на своих ярлыках, составил себе на том состояние.

Но вдруг распространилась изумительная весть: неприступное сердце Кимико сдалось! Она распростилась с Кимикой и ушла к возлюбленному, богатому и щедрому. Говорили также, что он хотел изменить ее социальное положение, восстановить ее репутацию, зажать рот сплетникам, всех заставить забыть о ее прошлом. Он готов был тысячу раз умереть за нее, хотя уже и так был еле жив от любви.

По рассказам Кимики, Кимико сжалилась над безумцем, покушавшимся из любви к ней на самоубийство, и ухаживала за больным, пока вместе со здоровьем не вернулось и прежнее безумие его…

Тайко Хидейоши сказал, что боится только безумцев и темных ночей. Кимика тоже боялась безумцев, — и к такому безумцу ушла ее Кимико. Со слезами, не лишенными эгоизма, Кимика уверяла, что Кимико ушла навсегда: ведь взаимная

любовь столь велика, что переживет несколько человеческих жизней.

Но, несмотря на всю свою проницательность, Кимика ошибалась: если бы ей дано было проникнуть в самый тайник души своей воспитанницы, она громко вскрикнула бы от удивления.

Кимико отличалась от других танцовщиц еще и своим знатным происхождением. Кимико было профессиональным именем, а раньше ее звали Аи. Смотря по начертанию, имя это означает то «любовь», то «страдание». Судьба Аи действительно сплелась из любви и страдания. Она получила хорошее воспитание, училась в частной школе, которой заведовал старый самурай. На корточках сидели девочки на своих подушках за низенькими двенадцатидюймовыми пюпитрами и прилежно учились; обучение было бесплатное. (Нынче, когда учителя получают больше жалованья, нежели другие чиновники, обучение не так интересно и не так основательно, как было раньше.) Служанка провожала девочку в школу и домой, неся за нею подушку, тетради и столик.

После этого Аи поступила в общественную начальную школу. Первые «модные учебники» только что появились. Это были переводы на японский язык английских, французских и

немецких рассказов о чести, долге и геройстве — чудесные сборники с наивными маленькими картинками, изображающими людей Запада в таких костюмах, которых никто на свете никогда не носил и не видел. Эти трогательные книжечки теперь стали редкостью; их давно вытеснили другие, составленные с большей претензией и меньшей любовью.

Аи училась с большой легкостью. Раз в год во время экзаменов в школу приезжал знатный сановник; он отечески разговаривал с девочками и, раздавая награды, ласково гладил их по шелковистым головкам. Потом он достиг высших чинов, удалился от общественной жизни и, конечно, забыл об Аи. В наши дни не так нежно обращаются с маленькими ученицами и не радуют наградами их сердечек.

Но произошли общественные перевороты; именитые семьи лишались положения и имущества. Аи должна была оставить школу. Непрерывной цепью сливалось одно горе с другим. Девочка осталась без поддержки, без помощи, одна с матерью и маленькой сестрой. Мать и Аи умели ткать, но это приносило так мало, что скоро пришлось распродавать имущество, оставляя только самое необходимое; сначала продали дом

и землю, затем одну за другою хозяйственные принадлежности, драгоценности, богатую одежду, гравированные и лакированные вещицы. За полцены все это переходило в руки тех, чье благосостояние построено на несчастии других, чье богатство в народе называется слезными деньгами. От живых нечего было ждать поддержки: большинство родственников самураев находились в таком же безотрадном положении. Когда же все источники истощились, когда все было распродано — даже учебники Аи, — тогда прибегли к помощи мертвых…

Вспомнили, что дедушка Аи был похоронен с драгоценным, в золотой оправе мечом, подарком даймио. Раскрыли могилу, заменили драгоценную рукоятку простой и сняли украшение с лакированных ножен. Лезвие же оставили, — оно могло понадобиться воину. Аи увидела высокую фигуру в красной глиняной урне, употребляемой по старинному обычаю вместо гроба при погребении знатных самураев. Долго пролежал он в могиле, но черты его лица еще можно было узнать; и когда ему возвратили меч, Аи показалось, что по лицу его пробежала свирепая, но одобрительная улыбка.

Но наступили черные дни: мать Аи все слабела

и не могла больше работать за ткацким станком; золото мертвеца истощилось. Тогда Аи решительно сказала:

— Мама, исход один: я продам себя, пойду в танцовщицы.

Мать молча рыдала; Аи не плакала и одна вышла из дома.

Она вспомнила свободную гейшу по имени Кимика, часто бывавшую на пирах в доме ее отца и всегда ласкавшую ее. К ней-то она и направилась.

— Купи меня, — сказала Аи, входя, — мне очень много денег нужно.

Кимика улыбнулась, приласкала, накормила девочку и выслушала печальную повесть ее.

— Дитя мое, — сказала Кимика, — много я дать тебе не могу, у меня самой денег мало. Но обещаю тебе заботиться о твоей матери; это лучше, чем дать ей в руки большую сумму. Мать твоя, дитя мое, была знатной дамой; она не умеет обращаться с деньгами. Попроси ее подписать договор, по которому ты обязуешься остаться у меня до двадцатичетырехлетнего возраста или до тех пор, пока не уплатишь своего долга. А то, чем я сейчас могу поделиться, возьми с собой как подарок.

Таким образом Аи стала гейшей; Кимика назва-

ла ее Кимико и сдержала обещание относительно матери и маленькой сестры.

Кимико еще не достигла славы, когда мать ее умерла; сестрицу отдали в школу, затем произошло то, о чем рассказано выше.

Молодой человек, покушавшийся на самоубийство из-за любви к гейше, был достоин лучшей участи. Он был единственным сыном богатых, уважаемых людей, готовых ради него на всякую жертву, готовых даже гейшу признать невесткой, так трогала их ее любовь.

Незадолго до ухода от Кимики, Кимико выдала замуж сестру, Умэ, только что окончившую школу. Пользуясь своим знанием людей, Кимико сама ей выбрала мужа — прямого, честного купца старого закала, решительно не способного ни на что дурное.

Умэ беспрекословно и радостно приняла выбор сестры, и брак в самом деле оказался очень счастливым.

В четвертом месяце года Кимико ввели в новый, приготовленный для нее дом. Великолепие его могло изгладить из памяти все тяжелые воспоминания: это был волшебный замок в зачарованном молчании больших тенистых садов. Ей показалось, что боги перенесли ее за добрые дела

в царство хораи. Но прошла весна, наступило лето, а Кимико все еще не решалась на последний шаг. По необъяснимым причинам она уже трижды откладывала день свадьбы.

Прошло еще несколько месяцев. Настроение Кимико омрачалось все больше, и в один прекрасный день она кротко, но решительно изложила причину своего отказа:

«Пора высказать то, что я так долго таю в себе. Из любви к матери, давшей мне жизнь, из любви к сестрице я жила как в аду… Все это миновало, но позорное клеймо осталось на мне, и ничто в мире не смоет его. Не может такая, как я, войти в вашу семью, стать матерью вашего сына, устроить вам уютный родной уголок. Не перебивайте меня, — дайте высказать… В познании зла я много, много опытнее вас… Не могу я стать вашей женою, не хочу опозорить вас, — нет, никогда… Я лишь подруга ваша, товарищ ваших игр, мимолетная гостья — бескорыстная, свободная… Нам должно расстаться; когда я буду далеко, вы все поймете. Я всегда буду вам дорога, но чувства ваши изменятся: не будет больше слепого безумства, которым вы охвачены теперь. Слова эти вытекают из недр души моей, — вы со временем вспомните их… Для вас выберут прелестную невесту из знатной

семьи, и она станет матерью ваших детей; быть может, я увижу их, но супругой вашей мне не быть и материнских радостей мне не знать никогда… Дорогой мой, ведь я — только безумие ваше, иллюзия, греза, легкая тень: промелькнула в вашей жизни и снова исчезла… Может быть когда-нибудь я буду бóльшим для вас, но супругой вашей — нет, никогда… Не уговаривайте меня, иначе я сейчас же покину вас…»

С наступлением шестого месяца Кимико вдруг скрылась неожиданно и бесследно.

Никто не знал, как и когда она ушла. Даже соседи не заметили ее ухода. Сначала надеялись на ее скорое возвращение, так как из всех своих вещей, роскошных и красивых, она ничего не взяла с собою — ни платья, ни драгоценностей, ни даже подарков, стоивших целое состояние. Но проходила неделя за неделей, а она все не возвращалась. Уж стали опасаться несчастного случая. Отводили реки, обыскивали колодцы, — все было напрасно. Наводили справки письменно и по телеграфу. Во все концы за нею рассылали верных слуг. Назначили награду за ее нахождение; Кимике же обещали золотые горы, хотя она так любила девушку, что была бы счастлива найти ее и без всякой надежды на награду… Тайна так

и осталась тайной. Обращаться же к властям было бы напрасно: ведь беглянка не совершила преступления, не нарушила закона, а ради страсти и прихоти влюбленного юноши нельзя было приводить в движение сложный полицейский механизм.

Проходили месяцы, проходили годы; ни Кимика, ни юная сестра в Киото, ни бывшие поклонники прекрасной гейши — никто никогда не видел ее больше.

Кимико была права: время — великий целитель — осушило слезы, залечило раны; дважды по той же причине не покушаются на самоубийство, даже в Японии. Ее друг стал ее забывать, успокоился, женился на премилой девушке и стал отцом прелестного мальчугана.

Прошло несколько лет. Счастье и довольство царили в волшебном замке, где некогда жила Кимико.

В один прекрасный день к дому подошла странствующая монахиня, будто за милостыней. Услышав ее буддийский возглас «Ха-и, Ха-и», ребенок подбежал к воротам. Служанка, следовавшая за ним с обычным подаянием, рисом, увидела с изумлением, что монахиня ласкает ребенка и шепотом разговаривает с ним. Увидев

служанку, мальчик воскликнул:

— Я подам ей!

И из-под фаты, спускавшейся с широкополой соломенной шляпы, раздался голос монахини:

— Прошу вас, исполните его просьбу!

Ребенок высыпал рис в чашечку монахини; поблагодарив, она сказала:

— Повтори мои слова!

Мальчик тихо произнес:

— Отец, та, которую в этом мире ты никогда не увидишь, говорит, что сердце ее преисполнено радостью, потому что она видела сына твоего!

Монахиня кротко улыбнулась, еще раз приласкала мальчика и поспешно удалилась.

Служанка с удивлением смотрела ей вслед, а ребенок, подбежав к отцу, исполнил поручение таинственной посетительницы.

Услышав нежданную весть, отец склонился к головке ребенка и тихо заплакал. Он один только знал, кто подходил к его воротам; он постиг глубину жертвы, руководившей всей жизнью ее.

С тех пор он часто сидит, погруженный в глубокие скрытые думы. Он знает, что легче сойтись светилам небесным, чем ему с этой женщиной, так много любившей его. Он знает, что напрасно было бы искать, где — в далеком ли городе среди

безличной, пестрой толпы или в темном, безвестном убогом храме — она ждет наступления мрака, предтечу необъятного, вечного света… В этом свете лик Учителя с улыбкой склонится над ней, и голос его, слаще голоса земной любви, коснется уха ее: «О дочь моя, — скажет Он, — верный путь избрала ты: ты поверила и проникла в самую глубину истины; привет тебе, приди ко мне».

Перевод Софии Лорие

И ничего не случилось!

Казнь должна была происходить в «яз-хики». Осужденного туда и привели. Его заставили встать на колени на обширном месте, усыпанном песком и разделенным рядом *тоби-иши*, что значит «плоский камень».

Руки ему завязали назад. Наемные служители принесли ведра, наполненные водой. Стоявшего на коленях человека они окружили мешками, наполненными камнями, так что он не мог больше пошевелиться. Хозяин пришел посмотреть на эти приготовления и, найдя все в порядке, не сделал ни одного замечания.

И вдруг обреченный на смерть повернул к нему голову и закричал:

— Почтенный господин, выслушайте меня! Я не по своей охоте совершил проступок, за который меня сейчас убьют. Я совершил его только благодаря моей великой глупости. Вы дурно поступаете, казня человека только за то, что у него не хватает ума! Это вам отзовется… Я непременно вам отомщу! Месть родится от того чувства злобы, какое вы возбуждаете во мне! И за зло воздастся злом!..

А известно было: если человек умрет во гневе, его призрак может затем отомстить виновнику его смерти. Самурай знал это и потому отвечал тихо, почти нежно и ласково:

— Мы разрешаем тебе пугать нас сколько захочешь после смерти… Но на слово поверить тебе нам трудно… Не попытаешься ли ты дать образец твоей ярости после того, как тебе отрубят голову?

— Несомненно! — отвечал приговоренный.

— Тогда, — объявил самурай, вынимая длинную саблю, я сейчас отрублю твою голову… И вот перед тобой ряд *тоби-иши*. Пусть твоя голова, отделившись от туловища, укусит один из этих камней. Если твоему гневному духу удастся это сделать, мы, быть может, поверим в твои угрозы! Попытаешься ты укусить этот камень?

— Я его укушу!.. — бешено воскликнул пришедший в ярость человек. — Я его укушу!.. Уку…

Что-то сверкнуло, свистнуло и тяжело стукнуло. Тело казненного склонилось на мешки. Два потока крови хлынули из его шеи… Голова покатилась к *тоби-иши*. И вдруг подпрыгнула, схватила зубами за выдавшийся край камня и на секунду отчаянно в него вцепилась… Затем упала на песок.

Никто не произнес ни слова. Слуги с ужасом смотрели на своего господина, а тот казался совершенно спокойным. Он протянул саблю ближайшему из слуг, и тот обмыл ее водой и вытер сталь шелковой бумагой.

…И этим окончилась вся церемония казни.

В течение многих месяцев слуги самурая жили в вечном страхе и тревоге. Они боялись увидать призрак.

Никто из них не сомневался, что обещанная месть проявится ужасным образом, и в своем страхе видели и слышали то, что существовало только в их воображении!.. Они ужасались свисту ветра, жалобно стонавшего в бамбуках, и трепетали при виде колеблющихся теней между деревьями сада.

Наконец, когда страх стал им больше невыносим, они собрались на совещание и стали умолять хозяина отслужить «Сегаки»[77] для успокоения мстительного духа.

— Этого совсем не нужно! — объявил самурай, когда старший слуга передал ему просьбу товарищей. — Я понимаю, что можно страшиться, когда последнее желание умирающего полно злобы и

---

[77] Примечания: 77

Особая молитва буддистов о душах людей, попавших в разряд «гаки» — голодных духов.

ненависти. Но в нашем случае нечего бояться!

Слуга с изумлением на него посмотрел. Он стоял молча, потому что не осмеливался просить хозяина объяснить ему его слова.

— Объясняется это очень просто, — продолжал самурай, угадавший сомнение своего слуги. — Нам могла быть опасна только самая его последняя мысль!.. Но я его отвлек от нее, вопросив дать доказательство его ярости. Он умирал только с одной мыслью: непременно укусить камень. И он привел эту мысль в исполнение — и больше ничего… Об остальном он забыл! Поэтому вы можете не бояться его угроз.

И действительно, покойник никого не потревожил.

И ничего не случилось!

Перевод Елены Ильиной

Монахиня в храме Амиды

Супруг О-Тойо, дальний родственник, взятый в семью, был вызван вассальной службой в столицу. Эта первая разлука после свадьбы не тревожила О-Тойо; только тихая грусть опустилась в сердце ее. Но с ней оставались мать и отец, у нее был сынок, которого она любила больше всего на свете, в чем еле сознавалась даже самой себе. Кроме того, она была весь день занята: то хозяйничала, то ткала шелковые и бумажные ткани для платьев.

Раз в день она приготовляла на изящном лакированном подносике миниатюрную трапезу для далекого мужа, какие готовят духам предков и богам.

Подносик она ставила перед подушкой супруга к восточной стене комнаты, потому что он отправился на восток. Убирая кушанье, О-Тойо поднимала крышку мисочки, чтобы убедиться, осел ли внутри пар. Такова примета: пока родимый на чужбине здоров, на внутренней стороне крышки оседает пар; если же крышка суха, значит — умер, и одна душа прилетала за пищей. Но лакированная крышка всегда была сплошь

покрыта каплями влаги.

Мальчик был ее неизменной радостью. Ему минуло три года, и он задавал вопросы, на которые могли бы ответить лишь боги. Если ему хотелось играть, она откладывала работу и играла с ним; когда же он был настроен сидеть смирно, она сидела рядом, рассказывая ему волшебные сказки, или на свой лад, красиво и благочестиво, объясняла ему чудесное и непонятное. По вечерам, когда пред алтарями и священными изображениями зажигались лампочки, она учила его детским молитвам; уложивши спать, садилась с работой у постельки, любуясь мирной прелестью его личика. Когда он во сне улыбался, она знала, что божественная Куаннон забавляет его играми из царства теней; и она шептала буддийское заклинание, взывая к Деве, «всегда милостиво склоняющейся на звуки молитвы».

В ясные дни она поднималась на гору Дакейяма со своим мальчиком на спине. Эти прогулки доставляли ему большое удовольствие; он жадно вслушивался и всматривался во все, что происходило вокруг него. Дорога постепенно поднималась в гору, шла чрез леса и рощицы, по цветущим лугам, между утесами, где в цветах жили сказки, а в старых деревьях ютились духи.

Раздавался крик диких голубей: «коруп-коруп», и страстно нежное воркование ручных: «о-вао, о-вао». А цикады трещали, жужжали и пели…

Кто с тоской ожидает возвращения издалека любимого человека, тот идет на гору Дакейяма, с вершины которой открывается вид на несколько провинций. На этой вершине — камень, величиной и формой напоминающий человека; множество камешков разбросаны вокруг него и на нем. А рядом — синтоистский храм, посвященный духу некой принцессы. Она с тоской смотрела вдаль с этой вершины, ожидая далекого возлюбленного; но тот не вернулся, и с горя она умерла, навеки окаменев. Народ же на этом месте воздвигнул храм; в нем до сих пор молятся о счастливом возвращении с чужбины близких людей. Уходя, каждый молельщик берет с собою камешек; когда же желанный вернется, камешек нужно положить на прежнее место, вместе с несколькими новыми, в знак памяти и благодарности.

Когда О-Тойо возвращалась с такой прогулки домой, густые сумерки уже спускались на землю, окутывая город и рисовые поля; путь был далек, и шла она медленным шагом. Сверху ее путь освещали звезды, а снизу — светлячки. Когда на небе

показалась луна, О-Тойо пела детскую песенку:

Ноно-сан, луна златая,
сколько времени тебе?
«Тринадцать, тринадцать и девять мне дней!»
Как ты молода еще!
Потому и опоясана
ты красивым красным кушаком.
Отдай его лошадке! —
«Нет, не отдам!»
Отдай его коровке! —
«Нет, не отдам!»

А с серых необъятных полей поднимался и улетал в синий мрак ночи невидимый хор, будто голос самой матери земли; то лягушки заливались, а О-Тойо говорила ребенку: «Слышишь лягушек? Они кричат “Мэ Кайюи, Мэ Кайюи, — глаза мои смыкаются, я спать хочу!”» То были счастливые и светлые дни!

Но роковые силы, по законам, для нас, смертных, вечно неразгаданным, повергли ее внезапно в великое горе.

Она узнала, что добрый супруг, о возвращении которого она так часто молилась, никогда не

вернется, что он снова стал прахом, из которого создано все земное. Вскоре и мальчик ее заснул сном непробудным, перед которым бессильна даже мудрость китайских врачей.

Редкие мучительные вспышки сознания рассеивали мрак, царивший в ее душе, — мрак беспамятства, в который сострадательные боги погружают души людские.

Все проходит. Мрак рассеялся. Она вдруг очутилась во власти злого врага: во власти воспоминания. В присутствии других она могла улыбаться, могла быть спокойной и ясной, как в прежние дни; но оставшись одна, она теряла всю силу. Она разбиралась в игрушках, раскладывала перед собой на циновке детские платьица, ласкала их, шепотом разговаривала с ними, тихо улыбаясь. Но улыбка всегда переходила в громкое судорожное рыдание; она бросалась на пол, билась головой о землю и забрасывала богов безумными вопросами.

Тогда она решила искать утешения в таинственном обряде, известном в народе под именем «Торитсу-Банаши» — заклинание мертвых. Отчего не вызвать мальчика, хотя бы на мгновение?! Ради любимой матери душа его радостно примет страдание, сопряженное с возвращением в мир

живых.

Чтобы вызвать умерших из царства теней, надо пойти к буддийскому или синтоистскому жрецу, знакомому с обрядом заклинания, и передать ему «ихаи» — дощечку с именем умершего.

Производятся очистительные церемонии, перед «ихаи» зажигают свечи и курение, читают молитвы или отрывки из сутр, приносят жертвы цветами и рисом, но только сырым.

Окончив церемонии, жрец берет левой рукой дугообразный инструмент, правой ударяет в него, громко произнося имя умершего и слова: «Китацо-йо, Китацо-йо! Я пришел, я пришел».

Но постепенно голос заклинателя странно меняется и переходит в голос умершего, дух которого вселился в жреца.

Дух быстро отвечает на вопросы, беспрестанно восклицая: «Спеши, спеши, мучительно мое возвращение из царства теней, я не могу долго здесь оставаться».

По окончании беседы дух отлетает, а жрец падает на пол без чувств.

Но вызывать умерших нехорошо — им этим вредишь: возвращаясь в царство теней, они должны занимать места ниже покинутых.

Теперь эти обряды запрещены законом. Когда-

то они утешали скорбящих, но закон справедлив, потому что находились люди, злоупотреблявшие им, глумившиеся над божественным в человеке.

Однажды ночью в одиноком маленьком храме на окраине города О-Тойо стояла на коленях перед «ихаи» своего мальчика н вслушивалась в таинственное заклинание. И вдруг из уст жреца заговорил голос родной, самый дорогой и близкий ей; но голосок был тоненький, тихий, как вздох ветерка: «Спрашивай, мама, скорее, скорее, — молвил он, — передо мною далекий, темный путь; я должен скоро уйти».

Мать с трепетом вопрошала:

— За что я томлюсь и страдаю в тоске по тебе? Где справедливость богов?

— Не тоскуй так по мне, мама, — раздалось в ответ. — Я умер, чтобы избавить от смерти тебя: то был год болезней и печали; я знал, что тебе суждено умереть, но боги вняли моей молитве, — мне дано было умереть за тебя. О мама, не плачь! Горевать по умершим не надо. Безмолвный, безгласный путь ведет их через потоки слез; но от слез матерей поток растет и бушует, и не может душа достигнуть дальнего берега, а тревожно носится взад и вперед. И поэтому, мама, прошу тебя: брось печаль; только изредка давай мне

водицы…

С той поры она перестала плакать. Спокойно, безмолвно, как в прежние дни, она исполняла смиренные дочерние обязанности.

Время шло, и отец начал думать о втором замужестве для нее.

— Было бы счастьем для нашей дочери и для нас, — сказал он жене, — если бы у нее родился еще сын.

Но мать была проницательнее и ответила мужу:

— Она перестала страдать; о вторичном браке не может быть и речи: она превратилась в ребенка — без забот и без греха.

И правда, она перестала страдать. В ней стала проявляться странная привязанность ко всему маленькому. Сначала ей показалась велика ее постель; может быть, это было ощущение пустоты, потому что умер ребенок. А потом и все остальное начало казаться ей слишком большим: дом, комнаты, ниша с большими цветочными вазами и даже кухонная посуда. Рис она пожелала есть маленькими детскими палочками из крошечных мисочек. Этим невинным затеям никто не мешал, а других причуд у нее не было.

Часто родители толковали между собою о ней.

— Тяжело будет дочери нашей, — говорил отец, — жить с чужими людьми; мы же так стары, что скоро придется расстаться с ней. Лучше всего ей стать монахиней; мы построим ей маленький храм.

На следующий день мать спросила О-Тойо:

— Не хочешь ли стать святой монахиней и жить в маленьком-маленьком храме с крошечным алтариком и миниатюрными изображениями Будды? Мы всегда оставались бы вблизи тебя. Если ты согласна, то мы попросим жреца научить тебя сутрам.

О-Тойо с радостью согласилась и просила сделать ей маленькое монашеское платьице.

Но добрая мать возразила:

— У хорошей монахини все может быть мало, за исключением одеяния. Платье ее должно быть широко и длинно — так повелевает Будда, наш Учитель.

Тогда О-Тойо согласилась одеться, как другие монахини.

В пустой ограде, где некогда стоял большой храм Амиды-йи, построили маленькую монашескую обитель и посвятили Амиде Ниорайю и другим Буддам.

Обитель украсили маленьким алтариком и

миниатюрной утварью. На крошечном пюпитре лежал изящный экземпляр сутры, вокруг стояли ширмочки, висели колокольчики и какемоно.

Родители О-Тойо умерли, а она все жила в своей тихой обители. Ее прозвали «Амида-йи-но-Бикшуни», то есть «монахиня храма Амиды».

Перед храмом возвышалась статуя Джизо — друга больных детей. Молящиеся о выздоровлении больного ребенка приносили к его ногам рисовые лепешки — столько, сколько ребенку было лет. Обыкновенно у подножья статуи лежали две-три лепешки, редко от семи до десяти. Амида-йи-Бикшуни заботилась о статуе, зажигала перед ней благовонное куренье и украшала ее цветами из своего садика.

После утреннего обхода за милостыней она обыкновенно садилась за крошечный ткацкий станок. Несмотря на то что ее ткани были слишком узки для употребления, купцы, знавшие печальную повесть ее, всегда брали ее работу, даря ей взамен чашечки, вазы и карликовые деревья для ее садика.

Лучше всего она чувствовала себя с детьми, которых вокруг нее всегда было много: японские ребятишки играют целыми днями за оградами храмов. Много счастливых детских лет протекло

в храме Амиды-йи; матери, живущие по соседству, охотно посылали туда своих малышей, запрещая им смеяться над Бикшуни-сан:

— Она странная, — говорили они, — но это потому, что умер ее сынок и душа ее не вынесла этого горя. Будьте же добры и почтительны к ней.

Дети были очень добры и ласковы, но не совсем почтительны в обычном смысле этого слова. Они называли ее Бикшуни-сан и ласково здоровались, но обращались с нею как с равной себе. Они вместе играли, а она поила их чаем из крошечных чашек, угощала самодельными рисовыми лепешечками, величиною с горошину, дарила шелковые н бумажные ткани для кукол.

Малютки полюбили ее, как добрую старшую сестру.

Так проходили дни за днями, проходили годы; детки, вырастая, постепенно покидали двор храма Амиды. Суровый жизненный труд сменял их детские игры; они становились отцами и, в свою очередь, посылали детей играть за оградою храма Амиды. Любовь к Бикшуни-сан переходила от родителей к детям н внукам.

Народ заботился о ее нуждах, принося ей больше чем вдоволь. Излишком она щедро делилась с детьми и зверюшками. Птицы гнездились в

храме ее, покидая прежние жилища на головах статуй Будды.

Но вот Бикшуни-сан умерла. После ее похорон толпа детей прибежала ко мне. Девочка лет десяти от имени всех обратилась ко мне с такими словами:

— Господин, пожертвуйте что-нибудь для умершей вчера Бикшуни-сан! Ей поставили большой памятник, «хака», красивый, богатый. Нам же хочется подарить ей крошечный «хака» — такой, о котором она говорила, когда была еще с нами. Каменотес обещал нам сделать такой, если мы принесем ему денег. Не соблаговолите ли и вы пожертвовать что-нибудь?

— С удовольствием, — сказал я, — а где же вы теперь будете играть?

— Да все там же, — ответила девочка с улыбкой. — Ведь там Бикшуни-сан похоронена; ей будет радостно слушать, как мы играем.

Перевод Софии Лорие

Роберт Уильям Чемберс



Роберт Уильям Чемберс (Robert William Chambers, 1865–1933) — американский писатель, автор знаменитого сборника страшных фантастических рассказов «Король в желтом» (1895). Несмотря на то что он вполне справедливо считается одним из самых успешных беллетристов первой четверти XX века (его книги, главным образом исторические и авантюрные романы, издавались регулярно и большими тиражами), в историю мировой литературы он вошел прежде всего как автор упомянутого сборника. Полагают, что именно эта книга стала главным источником появления мифологического мира Лавкрафта. Популярность не пережила автора — с его уходом она быстро сошла на нет, больше чем на полстолетия о нем прочно забыли, но теперь, в XXI веке, автор «возвращается», его книги переиздают — в первую очередь фантастические и страшные рассказы.

Р. Чемберс родился в Нью-Йорке, в состоятельной семье; его отец был известным адвокатом. Роберт получил прекрасное образование, юношей увлекся живописью и в будущем видел себя художником. С 1886-го по 1893 г. жил в Мюнхене и Париже, учился в Школе Изящных Искусств (École des Beaux-Arts), выставлял свои работы.

По возвращении в Нью-Йорк вполне успешно сотрудничал в журналах «Лайф» (Life) и «Вог» (Vogue) как иллюстратор, но по какой-то причине оставил изобразительное искусство и целиком переключился на беллетристику.

За сорок с лишним лет Роберт Чемберс написал и опубликовал более восьмидесяти (!) романов (при жизни автора большинство из них неоднократно переиздавались), несколько повестей и девять сборников рассказов. Большую часть фантастических и страшных новелл писатель сочинил на рубеже столетий (в 1890—1900-е гг.). Именно эти произведения более востребованы современным читателем. В данном факте нет ничего удивительного: художественный мир его фантастики изыскан и причудлив, его сюжеты пугают — и приносят настоящее эстетическое наслаждение: Чемберс знал толк в прекрасном и сумел передать это чувство в своих восхитительно-утонченных сюжетах.

А. Б. Танасейчук

Желтый знак

Пусть уж заря укажет ясно,
Что делать нам в последний час,
Когда свет синих звезд угаснет
И алый свет окружит нас.

Уильям Блисс Кармен

I

Как много есть вещей, которые невозможно объяснить! Почему некоторые аккорды музыки заставляют меня думать о бурых и золотых оттенках осенней листвы? Почему месса святой Цецилии[78] отправляет мои мысли под своды пещер, на стенах которых сверкают ветвистые сростки самородного серебра? Что было в шуме и сумятице Бродвея, в шесть вечера похожего на всплывшую перед моими глазами картину

---

[78] Примечания: 78

Святая Цецилия — со Средних веков считается покровительницей музыкантов. В тексте упомянута «Месса в честь Святой Цецилии» — произведение французского композитора Шарля Гуно. Это его самая известная работа помимо опер.

тихого бретонского леса, залитого солнечным светом сквозь сетку весенней листвы, где Сильвия склонилась, с любопытством и нежностью, над зеленой ящеркой и пробормотала: «Подумать только, и эта малютка — тоже под опекой Господа!»

Когда я впервые увидел сторожа, он стоял спиной ко мне. Я равнодушно глядел на него, пока он не вошел в церковь. Я обратил на него не больше внимания, чем на всех прочих, кто слонялся по Вашингтон-Сквер[79] в то утро, и когда я закрыл окно и повернулся лицом к своей студии, то забыл про него. После полудня стало жарко, я снова поднял раму окна и высунулся, чтобы подышать воздухом. Какой-то человек стоял во дворе церкви, и я отметил это со столь

---

[79] Примечания: 79

Место действия рассказа — вполне реальная локация. Вашингтон-Сквер (правильнее Вашингтон-Сквер-парк) — общественный парк в районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене, Нью-Йорк. От парка берет начало знаменитая Пятая авеню. Фонтан, памятник Гарибальди, герою борьбы за независимость Италии, арка, посвященная столетию инаугурации Джорджа Вашингтона, установленная в 1895 году (когда и был написан цикл рассказов, к которому относится наш текст), — все это конкретные и существующие в наше время приметы местности. Вокруг Вашингтон-Сквер действительно были выстроены фешенебельные многоквартирные комплексы, хотя о «квартирах Гамильтона» (Hamilton Apartment House) мы сведений не нашли. А вот такой протестантской церкви, которую можно было бы видеть из окон описанной квартиры одновременно с территорией парка, в природе, видимо, никогда не существовало. Некогда на месте парка имелось кладбище, однако оно было закрыто еще в 1825 г. Неясно также, какой

храм автор именует Мемориальной церковью (Memorial church). Католический собор Святого Патрика на Пятой авеню — единственный храм относительно недалеко от данной местности.

же малым интересом, как и утром. Я поглядел на площадь, в ту сторону, где играл фонтан, а потом, насытив сознание смутными впечатлениями от деревьев, асфальтовых дорожек, гуляющих нянь с колясками и экскурсантов, вернулся к своему мольберту. Когда я отвернулся, в моей зрительной памяти остался мужчина на церковном дворе. Он стоял теперь лицом ко мне, и совершенно непроизвольным движением я нагнулся, чтобы его разглядеть. В тот же момент он поднял голову и взглянул на меня. Я мгновенно подумал о могильном черве. Что в этом человеке вызвало мое отвращение, я не знал, но образ пухлого белого червя был настолько ярким и тошнотворным, что, видимо, это отразилось на моем лице, потому что он отвернул свое пухлое лицо движением, которое заставило меня подумать о вспугнутой гусенице на каштане.

Я вернулся к мольберту и велел натурщице занять прежнюю позу. Поработав немного, я обнаружил, что занимаюсь порчей уже сделанного, притом весьма быстро, и, взяв мастихин, стал соскребать нанесенную краску. Телесные тона выглядели тусклыми и нездоровыми, и я не понимал, как мог написать в таком колорите этюд, который только что так и светился здоровьем.

Я посмотрел на Тесси. Она не изменилась, и чистый здоровый румянец тронул ее шею и щеки, когда я нахмурился.

— Я сделала что-то не так? — спросила она.

— Нет, это я испортил тут руку, и будь я неладен, если понимаю, как я мог наляпать такую грязь на холст! — ответил я.

— Ну, может, я плохо позирую? — допытывалась она.

— Конечно же, прекрасно.

— Так я в этом не виновата?

— Нет. Я сам оплошал.

— Мне очень жаль, — вздохнула она.

Я сказал, что она может отдохнуть, пока я пройдусь тряпкой с терпентином по запорченному месту на холсте, и она вышла в другую комнату выкурить сигарету и посмотреть картинки в “Courrier Français”[80].

---

[80] Примечания: 80

“Courrier Français” («Французский курьер») — богато иллюстрированный еженедельный журнал, выходивший в 1884–1914 гг., самое представительное сатирическое издание той эпохи. К 1895 г. журнал отличался легкомысленным и саркастическим духом, характерным для Парижа fin-de-siècle («конца века»), но в нем работали иллюстраторами многие выдающиеся художники-графики, работы которых поражали публику своей смелостью.

То ли терпентин[81] был некачественный, то ли на холсте оказался какой-то дефект, но чем больше я тер, тем сильнее расползалось мерзкое пятно. Я трудился как бобр, но язва поражала все новые части этюда у меня на глазах. Обеспокоенный, я пытался это остановить, но вдруг изменились цвета на груди, а там и вся фигура стала как будто пропитываться заразой, как губка водой. Я энергично орудовал мастихином, и терпентином, и скребком, продумывая, какой séance устрою Дювалю, у которого покупал холсты; но вскоре я понял, что причина не в качестве холста или красок от Эдварда. «Наверно, все дело в терпентине, — думал я сердито, — или у меня так помутилось в глазах от дневного света, что четкость зрения нарушилась». Я позвал Тесси, свою натурщицу. Она пришла и, пуская в воздух кольца дыма, перегнулась через спинку моего стула.

— Что ты натворил? — воскликнула она.

— Ничего, — проворчал я, — похоже, терпентин

---

[81] Примечания: 81

Терпентин — иначе терпентинное масло или попросту скипидар — жидкость на основе эфирных масел, которой разбавляют масляные краски и лаки; ее также используют для смывки старой краски. Качество этого продукта действительно зависит от того, используют скипидар в чистом виде либо в смеси с другими растворителями, а также от состава: терпентин лучшего качества делают из отборного сырья (например, из хвои сосны, из древесины можжевельника и т. п.).

негодный!

— Ужасный цвет получился, — продолжала она. — Ты что же думаешь, мое тело похоже на зеленый сыр?

— Нет, не думаю, — буркнул я сердито, — ты разве когда-нибудь видела у меня такой колорит?

— Если честно, не видела!

— Ну и что тогда, скажи!

— Тогда и в самом деле терпентин испортился… или что-то в этом роде, — признала она.

Тесси накинула японский халатик и подошла к окну. Я скреб и протирал, пока не выдохся, и наконец, собрав свои кисти, швырнул их прямо в холст с крепким выражением, интонация которого достигла слуха девушки.

Она тут же завелась:

— Вот-вот! Ругаться, делать глупости и ломать кисти! Ты три недели корпел над этим этюдом, а теперь погляди! Зачем рвать холст? Что за создания эти художники!

Мне стало порядком стыдно, как всегда после подобных вспышек, и я отставил загубленный холст лицом к стенке. Тесси помогла мне отчистить кисти, а потом, приплясывая, отправилась одеваться. Из-за ширмы она одаряла меня советами касательно полной или частичной потери

самообладания, пока, вероятно решив, что уже достаточно меня помучила, не вышла, чтобы попросить меня застегнуть ее блузку на плече, куда она не могла достать.

— Все пошло вкривь и вкось после того, как ты отошел от окна и рассказал о том мерзком человечке на церковном дворе, — заявила она.

— Да, не иначе как он заколдовал картину, — сказал я зевнув и посмотрел на часы.

— Уже после шести, я знаю, — сказала Тесси, прилаживая свою шляпку перед зеркалом.

— Да, — ответил я, — я не хотел так задерживать тебя.

Я высунулся из окна, но с отвращением отпрянул, потому что молодчик с мучнистым лицом снова стоял у входа в церковь. Тесси заметила мое неудовольствие и тоже выглянула в окно.

— Это тот тип, который тебе не нравится? — прошептала она.

Я кивнул.

— Лица его я не вижу, но он и впрямь выглядит жирным и мягким. Он чем-то напомнил мне один сон, — добавила она, повернувшись ко мне, — жуткий сон. А может, — задумчиво произнесла она, разглядывая свои хорошенькие туфельки, — это был вовсе и не сон?

— Откуда мне знать? — улыбнулся я.

Тесси улыбнулась в ответ.

— Ты там был, так что должен что-то знать про это.

— Тесси! Тесси! — возмутился я. — Не вздумай мне льстить, уверяя, будто видишь сны обо мне!

— Но я вижу, — настаивала она. — Хочешь, расскажу?

— Давай, — ответил я, закуривая сигарету.

Тесси прислонилась спиной к подоконнику и начала с полной серьезностью:

— Однажды ночью, прошлой зимой, я лежала в постели, думая о том о сем. В тот день я позировала тебе и здорово устала, и все же уснуть не могла. Я слышала, как колокола в городе отбили десять, одиннадцать, потом полночь. Около полуночи я, наверно, уснула, потому что не помню, слышала ли я дальше звон колоколов. Мне казалось, что я едва глаза сомкнула, когда вдруг что-то во сне заставило меня подойти к окну. Я встала, подняла раму окна и выглянула. Двадцать Пятая улица была пустынна, насколько я могла видеть. Мне отчего-то стало страшно; снаружи все выглядело таким… таким черным и неуютным. Потом издалека донесся звук колес, и мне показалось, что именно этого я должна дождаться. Колеса

приближались очень медленно, и наконец я разглядела экипаж, едущий по улице. Он был все ближе и ближе, и когда он проехал под моим окном, я увидела, что это катафалк. Меня затрясло от страха, и тут возница обернулся и поглядел прямо на меня. Проснувшись, я обнаружила, что стою у открытого окна, дрожа от холода, но и катафалк с черными перьями, и возница исчезли. То же самое приснилось мне снова в прошлом марте, и опять я проснулась у открытого окна. Прошлой ночью сон повторился. Ты помнишь, какой вчера шел дождь; когда я проснулась, то увидела, что стою у открытого окна и моя ночная рубашка насквозь промокла.

— Но где же там появился я?

— Ты… ты был в гробу; но ты не был мертвым.

— В гробу?

— Да!

— А откуда ты узнала? Ты смогла меня разглядеть?

— Нет, я просто знала, что ты там.

— Слушай, ты случайно не ела на ужин гренки

по-валлийски[82] или салат с омаром? — начал я смеясь, но девушка перебила меня испуганным вскриком.

— Эй! Что с тобой? — сказал я, когда она отступила в оконную нишу.

— Тот… тот тип внизу, у церкви… это он правил катафалком!

— Чепуха, — сказал я, но глаза Тесси округлились от ужаса. Я подошел к окну и выглянул. Тот человек ушел. — Ладно, Тесси, — примирительно предложил я, — не будь дурочкой. Ты слишком долго позировала и разнервничалась.

— Думаешь, я могу забыть это лицо? — пробормотала она. — Три раза я видела, как катафалк проезжает под моим окном, и каждый раз возница оборачивался и глядел на меня. Ох, это лицо было такое белое и… и мягкое, да? Он казался неживым… Ну, как будто он давно уже умер.

Я уговорил девушку присесть и выпить стаканчик марсалы. Потом сел рядом с нею и попытался дать ей совет.

— Слушай, Тесси, — сказал я, — поезжай-ка

---

[82] Примечания: 82

Гренки по-валлийски (Welsh rarebits) — калорийное блюдо из поджаренного хлеба с намазкой из тертого сыра, сливочного масла и яиц. Считалось, что есть сыр перед сном вредно, так как он возбуждает нервы. Такое же воздействие приписывали блюдам из морепродуктов.

ты в деревню на недельку-другую, и катафалки больше тебе сниться не будут. Ты позируешь дни напролет, и к вечеру твои нервы сдают. Так нельзя. И еще, вместо того, чтобы после рабочего дня лечь спать, ты бегаешь по пикникам в Зульцер-парк, или в Эльдорадо, или на Кони-Айленд[83], и когда приходишь сюда наутро, то уже вымотана. Никакого катафалка не было. Был просто сон после жареных крабов.

Она слабо улыбнулась.

— Ну, а как насчет того типа во дворе церкви?

— А это просто обычный, нездоровый, заурядный тип.

— Я клянусь вам, мистер Скотт, так же верно, как то, что меня зовут Тесси Ридон: лицо того типа во дворе церкви — это лицо человека, кото-

---

[83] Примечания: 83

Героиня рассказа явно предавалась самым разнообразным, но пристойным развлечениям. Перечислим их все в по порядку их упоминания в тексте.

Зульцер-Парк — основанный в 1885 г. выходцами из Германии «пивной сад» в Гарлеме, разросшийся в большой развлекательный комплекс с казино и каруселью, полюбившейся публике благодаря искусно сделанным фигурам животных и яркой раскраске; там же находился и тир, и танцевальный зал, и театр, и спортивные площадки. Всевозможные сообщества часто арендовали здесь помещения для своих мероприятий.

Эльдорадо — видимо, аналогичное заведение, также не сохранившееся до нашего времени.

Кони-Айленд — полуостров, ранее остров, расположенный в районе Бруклин. Издавна и ныне любимое место увеселений небогатых горо-

жан с музыкой, парком аттракционов и прогулками по берегу океана. Аквариум в Бэттери-парке — Нью-Йоркский аквариум, в 1895 г. был свежайшей новинкой (официально открылся год спустя), в настоящее время — самый старый непрерывно действующий океанариум в США. Бэттери-парк — парковая зона на южной оконечности острова Манхэттен.

рый правил катафалком!

— Ну и что? — сказал я. — Это честное ремесло.

— Значит, ты признаешь, что я действительно видела катафалк?

— Ох, — сказал я дипломатично, — если ты действительно его видела, почему бы типу, служащему в церкви, не править им? В этом нет ничего странного.

Тесси встала, развернула свой надушенный платочек, вытащила из завязанного на краю узелка кусочек жевательной резинки и сунула в рот. Затем она натянула перчатки, подала мне руку, дружески пожелала: «Доброй ночи, мистер Скотт», и удалилась.

II

На следующее утро Томас, мой посыльный, принес мне свежий номер «Геральд»[84] и кое-какие новости. Оказалось, что церковь по соседству продана. Я возблагодарил за это небеса — не потому что, будучи католиком, питал отвращение к конгрегации протестантов, но на мои нервы сокрушительно действовал тамошний громо-

[84] Примечания: 84

Имеется в виду многотиражная газета «Нью-Йорк Геральд» (The New York Herald), которая издавалась с 1835 по 1924 гг.

гласный проповедник, каждое слово которого, усиленное эхом под сводом церкви, как бы звучало прямо у меня в квартире; он упорно нажимал на звук «р», да еще и гнусавил, возмущая все мои инстинкты. Далее, там имелся органист, враг в облике человеческом, который отбарабанивал прекрасные старые гимны в собственной интерпретации, и я жаждал крови субъекта, который ухитрялся играть заключительное славословие, искажая минорные аккорды так, как способны только квартеты очень молодых студентов. Я верю, что пастор был человек хороший, но, когда он, бывало, рявкал: «И рррречет Господь Моисею, Господь муж брррани; творррец имя ему. Гнев мой ррразгорится и убью я тебя мечом!»[85] — я задумывался, сколько столетий чистилища будет ему назначено во искупление этого греха.

— А кто ее купил? — спросил я у Томаса.

— Никто, кого бы я знал, сэр. Ну, болтают, будто тот господинчик, хозяин этих самых квартир Хмильтона на нее глаз пложил. Можт, новые студии построит.

---

[85] Примечания: 85

Автор вводит в речь пастора цитаты из библейской книги Исход, глава 15, но цитирует неточно, притом в соответствующих строках на русском языке звук «р» отсутствует (например, Lorrrd — это Господь, sworrrrd — это меч), поэтому мы, чтобы передать нужный эффект, создали свой вариант.

Я подошел к окну. Молодой человек с нездоровым лицом стоял у ворот церковного двора, и при первом же взгляде на него меня снова одолело сильнейшее отвращение.

— Кстати, Томас, — сказал я, — кто тот парень там внизу?

— Этот червяк, сэр? — Томас фыркнул. — Да то ночной сторож при церкви, сэр. Уж я умаялся глядеть, как он всю ночь высижвает на тех ступеньках и как уставится, так вроде как обругал. Я б ему голову пробил, ей-ей, сэр, уж простите…

— Давай дальше, Томас.

— Как-то вечером идем мы домой с Хэрри, другим англичанином, и вижу — сдит на тех ступеньках. Молли и Джен были с нами, сэр, две девчонки, официантки, а тот зыркает на нас этак обидно, вот я гварю: «Ты куда пялишься, жирный slug?» — уж не взыщите, сэр, но так я и сказанул, сэр. А тот млчит, и я гварю: «Иди сюда, я твою башку проткну как пудинг». И открваю я врота и вхожу, но он млчит, только пялится обидно. Ну, дал ему раза, но, ффу… глава его ткая холодная и мягкая, что и коснуться тошно!

— Что он потом сделал? — спросил я с любопытством.

— Этот? Ничего.

— А ты, Томас?

Парнишка покраснел от смущения и неловко улыбнулся.

— Мистер Скотт, сэр, я ж вроде не трус, ну вот не могу я сообразить, почму удрал. Я ж служил в Пятом стрелковм плку трубачом, сэр, был в деле при Телль-эль-Кебире, ранен у колодцев![86]

— Ты хочешь сказать, что убежал?

— Да, сэр; я убжал от него.

— Почему?

— Так это ж я как раз и хтел бы знать, сэр. Хватаю я Молли да бегу, и остальные напугались, как и я.

— Но что их так испугало?

Томас поначалу отказывался отвечать, но мое любопытство касательно неприятного молодчика было уже возбуждено, и я стал настаивать. Трехлетнее пребывание в Америке не только

---

[86] Примечания: 86

Телль-эль-Кебир — холм в Египте, в 110 км к северу от Каира, на краю пустыни. Здесь 13 сентября 1882 г. произошло сражение, принесшее победу британской армии и ставшее решающим для исхода англо-египетской войны. Схватка у колодцев в этих условиях была важным моментом. Если время действия рассказа — 1895 г., то Томасу не меньше 30 лет, и художник, называя его «пареньком», демонстрирует свое пренебрежение к плебею.

изменило диалект кокни[87], на котором Томас изъяснялся, но и привило ему страх американцев показаться смешным.

— Вы, наверно, не поверите мне, мистер Скотт, сэр?

— Поверю.

— Смеяться надо мной будьте, сэр?

— Чепуха!

Он все еще колебался.

— Ну, сэр, бгом клянусь, как стукнул я его, он меня за руки ухватил, сэр, а я давай расцеплять его клаки, мягкие такие, сырые, и тут один его палец у меня в руке остался!

Крайнее отвращение и ужас на лице Томаса, видимо, отразились и на моем, потому что он добавил:

— Жутко это, вот я тперь как увижу его, так и ухжу. Я от него хирею.

Когда Томас ушел, я снова подошел к окну. Тот тип стоял у ограды церкви, держась за решетку ворот обеими руками, но я поспешно отступил

---

[87] Примечания: 87

Ко́кни — не диалект, а самый известный вариант просторечия, свойственный жителям английской столицы, названный по пренебрежительно-насмешливому прозвищу уроженцев Лондона из средних и низших слоев. Кокни искажают фонетику родного языка до почти полной неузнаваемости. Передать эти искажения средствами русского языка невозможно, поэтому мы даем условное представление о речи Томаса, пропуская отдельные гласные.

к мольберту, борясь с тошнотой и испугом, ибо заметил, что средний палец на его правой руке отсутствует.

В девять утра явилась Тесси, исчезла за ширмой и на ходу весело бросила: «Доброе утро, мистер Скотт!» Когда она оттуда вышла и стала в позу на подиуме, я начал новый холст, к ее большому удовольствию. Она помалкивала, пока я наносил контуры рисунка, но, как только шуршание угля прекратилось и я взялся за баллончик с фиксативом, принялась болтать.

— Ах, я так чудесно провела время вчера вечером! Мы ходили в театр Тони Пастора[88].

— Кто это «мы»? — поинтересовался я.

— Ну, Мэгги, ты ее знаешь, натурщица Уайта, Рыжик Мак-Кормик — мы зовем ее Рыжиком, потому что у нее роскошные рыжие волосы, от которых вы, художники в восторге, — и Лиззи Берк.

— И что дальше? — сказал я, распыляя фиксатив по холсту.

— Мы встретили Келли, и Беби Барнс, которая

---

[88] Примечания: 88

ТонРи Пастор (1837–1908) — артист, импресарио и владелец театров варьете, который сумел удвоить свои доходы, убрав из шоу непристойности, ранее привлекавшие исключительно мужскую публику; это открыло доступ в его театры женщинам и детям среднего класса. Упоминая, что Тесси бывала там, автор подчеркивает ее более высокий, чем у богемной среды в целом, моральный уровень.

танцует с юбками[89], и… и всю компанию. Я пофлиртовала.

— Значит, ты меня предала, Тесси?

Она рассмеялась и помотала головой.

— Это Эд, брат Лиззи Берк. Он правильный джентльмен.

Я счел себя обязанным по-отцовски дать ей несколько советов касательно ухажеров, которые она выслушала с веселой улыбкой.

— О, я умею отшить тех, которые пристают, — сказала она, осматривая свою жевательную резинку, — но Эд не такой. Лиззи моя лучшая подруга.

Потом она рассказала, что Эд работал на чулочной фабрике в Лоуэлле, Массачусетс, вернулся и удивился, что они с Лиззи выросли, и какой он благовоспитанный юноша, и как не поскупился промотать полдоллара на мороженое и устрицы, чтобы отпраздновать свое поступление на должность клерка в отдел шерстяных тканей у

---

[89] Примечания: 89

Танец с юбками — популярный в Европе и Америке 1890-х годов номер, исполнявшийся в театрах типа бурлеск и водевиль. Суть номера заключалась в том, что танцовщицы в длинных, многослойных юбках взбивали их руками, создавая текучие изгибы и сложные завихрения ткани, что воспринималось как эротический намек, менее откровенный, чем в канкане. Для изготовления таких юбок требовались десятки метров ткани.

Мэйси[90]. Не дожидаясь конца болтовни, я начал писать, и девушка снова стала в позу, улыбаясь и чирикая как воробей. К полудню я прилично проработал этюд, и Тесси подошла взглянуть на него.

— Так-то лучше, — сказала она.

Я тоже так думал, и потому съел свой ланч с приятным чувством, что все идет хорошо. Тесси развернула свой пакет с завтраком на письменном столе напротив меня, а кларет мы пили из одной бутылки и сигареты зажигали от одной спички.

Я был сильно привязан к Тесси. Я наблюдал за тем, как она превращалась из хрупкого, неуклюжего ребенка в нежную, но великолепно сложенную женщину. Она позировала мне уже три года, и среди всех моих натурщиц она была моей любимицей. Я бы очень огорчился, если бы она стала «крутой» или «бесшабашной», как принято говорить, но манеры ее до сих пор оставались безупречными, и я чувствовал в глубине

---

[90] Примечания: 90

Эдди Берк нашел действительно весьма приличную работу. Фирма Мэйси — одна из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США. Основана в 1858 году. В частности, огромный универмаг Мэйси был в то время открыт на 34-й улице в Манхэттене, работает до сих пор и считается одной из самых притягательных для туристов достопримечательностей Нью-Йорка.

души, что с нею все в порядке. Вопросы морали мы никогда не обсуждали, и я не собирался начинать сейчас — отчасти потому, что сам не следовал правилам, а еще потому, что знал: она будет делать что захочет, невзирая на мои поучения.

Однако я все же надеялся, что она сумеет лавировать, не попадая на рифы неприятностей, так как желал ей добра, а кроме того эгоистично желал сохранить при себе свою лучшую натурщицу. Я знал, что флирт, как она это называла, не имеет никакого значения для девушек типа Тесси и что в Америке такие отношения ничуть не напоминают то же самое в Париже. Но я всегда смотрел на жизнь открытыми глазами и понимал, что однажды кто-то уведет Тесси, так или иначе, и хотя я всегда был убежден, что брак — дело бессмысленное, но искренне надеялся, что в данном случае где-то конце пути все-таки появится священник.

Я — католик. Когда я слушаю мессу, когда осеняю себя крестным знамением, то чувствую, что мир вокруг становится веселее, да и я тоже, а когда исповедуюсь, это идет мне на пользу. Должен же человек, живущий как я — по сути, одиноко, — исповедоваться кому-то. И Сильвия, между

прочим, была католичкой, и для меня этой причины было достаточно. Но если говорить о Тесси, тут дело другое. Тесси также была католичкой, и притом гораздо более набожной, чем я, так что в целом я мог не беспокоиться за свою хорошенькую натурщицу, пока она не влюбилась всерьез. Но я понимал, что тогда будущее девушки будет зависеть лишь от произвола судьбы, и мысленно молился, чтобы судьба держала ее подальше от таких мужчин как я и устраивала ее встречи только с подобными Эду Берку и Джимми Мак-Кормику, благослови Господь ее милую головку!

Тесси сидела, выдувая колечки дыма под потолок и позвякивая кусочком льда в своем бокале.

— А знаешь, я прошлой ночью тоже видел сон…

— Неужто про того человека? — засмеялась она.

— Именно. Сон почти как твой, только намного хуже. — С моей стороны было глупо и легкомысленно говорить так, но вы же знаете, что в среднем художники тактом не отличаются.

— Я заснул, видимо, около десяти часов, — продолжал я, — и вскоре мне приснилось, что я проснулся. Я так отчетливо слышал полуночные колокола, шум ветра в ветвях деревьев, гудки па-

роходов в заливе, что даже сейчас с трудом могу поверить, что все это было не наяву. Похоже, что я лежал в каком-то ящике со стеклянной крышкой. Смутно различал я свет уличных фонарей, как бы проплывающих мимо, ибо должен сказать, Тесси, что ящик, в котором я лежал, был установлен на подушках экипажа, трясшегося по камням мостовой. Вскоре мне надоело, и я попытался пошевелиться, но ящик был слишком узок. Мои руки были скрещены на груди, поэтому я не мог поднять их, чтобы оттолкнуться. Прислушавшись, я попытался позвать на помощь. Но голос у меня пропал. Я слышал топот лошадей, везущих повозку, и даже дыхание возницы. Затем моего слуха достиг новый звук — как будто раскрыли оконную раму. Мне удалось немного повернуть голову, и тогда я смог посмотреть не только через стеклянную крышку, но и через стеклянные вставки в стенках крытой повозки. Я увидел дома, пустые и молчаливые, — ни признаков жизни, ни света, кроме одного из них. На втором этаже его было открыто окно, и в нем виднелась фигура в белом, выглядывающая на улицу. Это была ты.

Тесси отвернулась от меня и оперлась локтем о стол.

— Я мог видеть твое лицо, — закончил я, — и

оно показалось мне таким скорбным… А потом мы проехали и свернули в узкий темный переулок. Лошади остановились. Я ждал и ждал, закрыв глаза от страха и нетерпения, но все было тихо, как в могиле. Казалось, прошли часы, и мне стало тревожно. Ощущение, что ко мне кто-то приблизился, заставило меня раскрыть глаза. И я увидел белое лицо возницы катафалка, глядящего на меня сквозь крышку гроба…

Рыдания Тесси прервали мою речь. Она дрожала как лист. Я понял, что сморозил глупость, и попытался устранить ущерб.

— Послушай, Тесс, — сказал я, — мне только хотелось показать тебе, как твоя история могла повлиять на сны другого человека. Ведь ты же не думаешь, что я в самом деле лежал в гробу, верно? Отчего ты дрожишь? Неужели ты не понимаешь, что твой сон и мое непонятное отвращение к тому безобидному сторожу просто настроили мой мозг, и это сказалось, когда я заснул?

Она уронила голову на руки и зарыдала так, словно ее сердце вот-вот разорвется. Чудесно я справился: осел, втройне осел! Но я готовился превзойти свой рекорд. Я подошел к девушке и обнял ее за плечи.

— Тесси, дорогая, прости меня, — сказал я. — Я

не должен был пугать тебя такой чушью. Ты очень чувствительная, но доброй католичке не следует верить в сны.

Она сжала мою руку и уронила голову мне на плечо, все еще дрожа; я ласкал и утешал ее.

— Ну же, Тесс, открой глаза и улыбнись!

Ее глаза раскрылись медленно, томно и обратились ко мне, но выражение их было таким странным, что я поспешно стал и дальше ее уговаривать.

— Это все вздор, Тесси; ты, конечно же, не боишься, что из-за этого с тобой случится что-то плохое.

— Нет, — сказала она, но ее алые губы задрожали.

— Тогда в чем же дело? Чего ты боишься?

— Я боюсь не за себя.

— Значит, за меня? — весело спросил я.

— За тебя, — пробормотала она едва слышно. — Ты… ты мне дорог.

Сперва я было засмеялся, но когда до меня дошло, от потрясения я сел и застыл, словно окаменел. Это был коронный номер моего идиотизма. За мгновение между ее словами и моим ответом я мысленно перебрал тысячу возможных откликов на это невинное признание. Я мог

бы встретить его смехом и забыть, мог притвориться, что не понял, и уверить девушку в моем полном здравии, мог просто заметить, что она никак не может полюбить меня. Но моя реакция опередила мысли; я мог думать и думать сколько угодно, однако было уже поздно, потому что я поцеловал ее в губы.

В тот вечер я вышел, как обычно, прогуляться по парку на Вашингтон-Сквер, размышляя над событиями дня. Я крепко влип. Пути назад не оставалось, и я смотрел будущему прямо в лицо. Я не добрый человек, даже не совестливый, но я не хотел обманывать ни себя, ни Тесси. Единственная страсть мой жизни сокрыта в залитых солнцем лесах Бретани. Навсегда ли она сокрыта? Надежда кричала «Нет!». Три года прислушивался я к голосу Надежды, три года ждал, когда знакомые шаги послышатся на моем пороге. Неужели Сильвия забыла? «Нет!» — кричала Надежда.

Я сказал, что добрым меня не назовешь. Это правда, но все-таки я не был настоящим опереточным злодеем. Я вел рассеянную, беспечную жизнь, поддаваясь всем соблазнам, потом оплакивая это, а порой горько сожалея о последствиях. Только к живописи своей я относился серьезно — да еще к тому, что лежало скрытое, если не

потерянное, в бретонских лесах.

Сожалеть о том, что случилось днем, было уже поздно. Что бы ни привело к этому — жалость, внезапный прилив нежности, вызванный горем девушки, или более грубое чувство удовлетворенного тщеславия, — теперь мне было все равно, и если я не намеревался ранить невинное сердце, то передо мной открывался лишь один путь. Огонь и сила, глубинная страсть любви, какой я в себе даже не подозревал, при всем своем воображаемом жизненном опыте, — на все это я должен был ответить, либо поддержав связь, либо отослав девушку прочь. То ли я слишком труслив, чтобы причинять боль другим, то ли что-то во мне осталось от угрюмых пуритан, не знаю, но я не пробовал уклониться от ответственности за тот бездумный поцелуй, да и не было у меня времени на это до того, как врата ее души раскрылись и эмоции пролились.

Те люди, которые привыкли исполнять свой долг и находят мрачное удовлетворение в том, что делают несчастными и себя, и всех остальных, наверно, сумели бы устоять. Я не сумел. Не осмелился. После того как душевная буря приутихла, я все-таки сказал Тесси, что ей было бы лучше полюбить Эда Берка и носить простое

золотое кольцо, но она и слышать об этом не пожелала, и я подумал, что, раз уж она решила полюбить кого-то, за кого не может выйти замуж, пусть это буду я. Уж я-то, по меньшей мере, смогу обращаться с нею с интеллигентной мягкостью, и как только это увлечение станет для нее утомительным, она сможет уйти без ущерба. Так я постановил, хотя знал, что это будет нелегко.

Я помнил, чем обычно заканчиваются платонические романы, и рассказы о них всегда оставляли у меня неприятный осадок. Я знал, что берусь за дело, весьма трудное для такого бессовестного человека как я, но мечтал о будущем и ни на миг не сомневался, что со мною она будет в безопасности. Будь на месте Тесси любая другая девица, я не стал бы маяться совестью. Но принести в жертву Тесси, как я принес бы светскую женщину, мне и в голову не пришло. Трезво глядя в будущее, я предвидел несколько возможных развязок этой истории. Девушка либо устанет, либо станет такой несчастной, что мне придется жениться — или уйти от нее. Если мы поженимся, то будем несчастны оба. Я с женой, которая не подходит мне, и она с мужем, который не подходит ни одной женщине. Ибо мое прошлое никак не подготовило меня к браку. Если я уйду, она

может заболеть, выздороветь и выйти замуж за какого-нибудь Эдди Берка, но может и учудить какую-нибудь глупость, в расстройстве чувств или сознательно. С другой стороны, если она от меня устанет, то жизнь откроет перед ней прекрасные горизонты, с Эдди Берками, обручальными кольцами, и близнецами, и квартиркой в Гарлеме, и бог знает с чем еще.

Прогуливаясь под деревьями у арки Вашингтона, я решил, что в любом случае должен стать Тесси надежным другом, а в будущем она сможет сама позаботиться о себе. Засим я вернулся домой и переоделся в вечерний костюм, так как обнаружил у себя на туалетном столике слегка надушенную записочку, гласившую: «Будь с кэбом у служебного выхода в одиннадцать», подписанную так: «Эдит Кармайкл, театр Метрополитен».

В тот вечер я поужинал — вернее, мы с мисс Кармайкл поужинали — у Солари, потом я отвез Эдит в Брансуик[91], и уже на заре, когда первые лучи позолотили крест Мемориальной церкви, я вернулся на Вашингтон-Сквер. В парке не было

[91] Примечания: 91

РБрансуик (Brunswick) — небольшой поселок, в конце XIX века — еще за городской чертой Нью-Йорка; почему мистер Скотт поехал с актрисой именно туда, сейчас уже непонятно.

ни души; я прошел по аллее под деревьями и свернул на дорожку, ведущую от памятника Гарибальди к дому Гамильтона, но, проходя мимо церкви, увидел человека, сидевшего на каменных ступенях.

Увидев это белое мятое лицо, я почувствовал холодок между лопатками и невольно ускорил шаги. Сторож что-то сказал, то ли обращаясь ко мне, то ли бормоча себе под нос, но меня вдруг одолел яростный гнев: как посмело это существо обращаться ко мне? На миг я ощутил желание развернуться и обрушить свою трость на его голову, но прошел мимо и вскоре вошел в свою квартиру. Потом я долго ворочался в постели, пытаясь вытряхнуть из ушей звук его голоса, но у меня не получалось. Он заполнял мою голову, этот бормочущий звук, подобно густому маслянистому дыму от салотопного котла или вони разложения. И пока я так лежал, крутясь с боку на бок, звук, казалось, становился более отчетливым, и я начал разбирать слова. Они проявлялись медленно, как будто нечто забытое, и наконец обрели некий смысл. Вот что я услышал:

«Ты нашел Желтый знак?»

«Ты нашел Желтый Знак?»

«Ты нашел Желтый Знак?»

Я кипел от ярости. Что это значило? Наконец, всячески обругав молодчика, я завернулся в одеяло и заснул, но когда пробудился утром, выглядел бледным и осунувшимся, потому что мне приснился тот же сон, что и прошлой ночью, и это обеспокоило меня больше, чем я хотел показать.

Одевшись, я спустился в студию. Тесси сидела у окна, но поднялась мне навстречу и, обняв руками за шею, подарила невинный поцелуй. Она выглядела так мило и элегантно, что я поцеловал ее еще раз и затем сел к мольберту.

— Вот тебе и на! А где этюд, что я начал вчера? — спросил я.

Тесси смутилась, но не ответила. Я принялся рыться в завалах холстов, сказав Тесси: «Поторопись, приготовься — нам нужно воспользоваться утренним освещением».

Когда наконец я бросил пересматривать холсты и стал оглядываться в поисках затерявшегося этюда, я обнаружил, что Тесси стоит у ширмы, еще не раздетая.

— В чем дело? — спросил я. — Ты себя плохо чувствуешь?

— Нет.

— Тогда поторопись.

— Ты хочешь, чтобы я позировала, как… как

раньше?

До меня дошло. У нас начались сложности. Разумеется, я потерял самую лучшую обнаженную натуру за всю мою жизнь. Я посмотрел на Тесси. Ее лицо пылало. Увы! Увы! Мы вкусили от древа познания, и Эдем и врожденная невинность стали снами о прошлом — для нее, конечно.

Видимо, Тесси заметила по моему лицу, что я разочарован, так как она сказала:

— Если хочешь, я буду позировать. Этюд за ширмой, я его туда поставила.

— Нет, — сказал я, — мы начнем кое-что новенькое.

Я подошел к своему шкафу и вытащил мавританский костюм, весь искрящийся от мишуры. Костюм был настоящий, и очарованная Тесси тут же утащила его за ширму. Когда она вышла оттуда, я был ошеломлен. Ее длинные черные волосы были скреплены повыше лба обручем с бирюзой, а вьющиеся кончики лежали на блестящем поясе. Ножки были обуты в расшитые остроносые туфельки без задников, а юбка длиной до щиколоток была украшена замысловатыми узорами, вышитыми серебряной нитью. И жилет глубокого синего цвета с металлическим отливом, тоже шитый серебром, и короткая мавританская коф-

точка, усеянная блестками и бирюзой, чудесно подошли ей. Она подошла ко мне и подняла голову, улыбаясь. Я сунул руку в карман, вытащил золотую цепочку с крестиком и надел ее Тесси на шею.

— Это тебе, Тесси.

— Мне? — смутилась она.

— Тебе. А теперь пора позировать.

Тут она, сияя улыбкой, забежала за ширму и вернулась, неся маленькую коробочку с моим именем, написанным на крышке.

— Хотела вручить ее тебе нынче вечером перед уходом, — сказала она, — но при такой оказии не могу ждать!

Я открыл коробочку. На подушечке из розовой ваты лежала заколка из черного оникса, с золотой инкрустацией в виде странного то ли символа, то ли буквы. Она не была ни арабской, ни китайской, а позже я выяснил, что такой буквы нет ни в одном из человеческих алфавитов.

— Я хотела подарить это тебе на память, — робко сказала она.

Я смутился, но заверил, что весьма высоко ценю ее дар, и пообещал всегда носить эту штуку. Тесс нацепила заколку на лацкан моего пиджака.

— Глупышка, стоило ли искать и покупать

такую красивую вещь для меня? — сказал я.

Девушка засмеялась:

— Я ее не покупала!

— Где же ты ее взяла?

Она рассказала мне, что однажды нашла эту вещь, возвращаясь из Аквариума в Бэттери-парке, потом дала объявление в газеты и ждала отклика, но в конце концов оставила надежду найти владельца.

— Это было прошлой зимой, — сказала она, — как раз в тот день, когда мне впервые приснился тот жуткий сон про катафалк.

Сон, виденный мною накануне ночью, я не забыл, но ничего не сказал, и вскоре мой уголек уже летал по новому холсту, а Тесси стояла неподвижно на своем подиуме.

III

На следующий день со мной случилась беда. При переноске рамы с холстом с одного мольберта на другой я поскользнулся на натертом воском полу и упал всем своим весом на обе руки. Заработал таким образом сильное растяжение связок, так что нечего было и пробовать взяться за кисть; пришлось мне слоняться по студии, сердито поглядывая на незаконченные рисунки и наброски,

пока отчаяние не завладело мной совсем; тогда я сел, закурил и от злости принялся крутить большими пальцами. Дождь заливал окна и стучал по крыше церкви, доводя мои нервы до срыва своим бесконечным тарахтением. Тесси сидела у окна с шитьем, то и дело поднимая голову и глядя на меня с таким невинным сочувствием, что мне стало стыдно за свое раздражение, и я попытался чем-то заняться. Я уже давно прочитал все свои газеты и книги, но нужно же было что-то делать, и я добрался до книжных шкафов и стал открывать их локтем. Я знал каждый том по цвету и рассматривал их все по очереди, неспешно обходя библиотеку и посвистывая ради бодрости. Я уже собирался уйти в столовую, когда на глаза мне попалась книга в переплете из змеиной кожи, стоящая в уголке верхней полки последнего шкафа. Я такой не помнил, и с уровня пола не мог разобрать полустертую надпись на корешке; тогда я вернулся в курительную комнату и позвал Тесси. Она пришла из студии и забралась на стул, чтобы добыть книгу.

— Что это? — спросил я.

— «Король в желтом».

Я оторопел. Кто поставил ее сюда? Как она попала в мою квартиру? Давным-давно я постановил,

что никогда не раскрою эту книгу, и ничто не могло заставить меня ее купить. Любопытство могло соблазнить меня раскрыть ее, и потому я даже не глядел в ее сторону в книжных магазинах. Если когда-то мне и было любопытно прочитать ее, ужасная трагедия молодого Кастэня, которого я знал, удержала меня от прикосновения к этим нечестивым страницам. Я всегда отказывался даже слушать изложение текста книги, да по сути никто и не рисковал вслух обсуждать ее вторую часть, поэтому я и понятия не имел, что скрывают эти страницы. Я уставился на ядовито-пеструю обложку, будто на живую змею.

— Не трогай ее, Тесси, — сказал я. — Слазь!

Разумеется, мой призыв возбудил девичье любопытство, и не успел я предупредить ее, как она схватила книгу и, смеясь, пританцовывая, умчалась с нею в студию. Я окликнул ее, но она ускользнула, напомнив мне дразнящей улыбкой о моем увечье, и я с некоторым нетерпением пошел за нею следом.

— Тесси! — крикнул я, войдя в библиотеку. — Слушай, я не шучу. Брось эту книгу. Я не хочу, чтобы ты раскрывала ее!

Библиотека была пуста. Я обошел обе гостиных, спальни, прачечную, кухню, наконец вернулся

в библиотеку и приступил к систематическому поиску. Тесси спряталась так хорошо, что лишь через полчаса я нашел ее в кладовке наверху. Она сидела скорчившись у зарешеченного окна, белая и молчаливая. С первого взгляда я понял, что она поплатилась за свою глупую шалость. «Король в желтом» валялся у ее ног, но книга была раскрыта на второй части. Я смотрел на Тесси, зная, что опоздал. Она успела заглянуть в «Короля в желтом».

Я взял ее за руку и увел в студию. Она словно оледенела; когда я велел ей лечь на диван, подчинилась без единого слова. Немного спустя она закрыла глаза, дыхание ее стало ровным и глубоким, но я не мог определить, спит ли она. Долго сидел я рядом с нею, храня молчание, но она не шевелилась и не произнесла ни слова; наконец я встал, вернулся в пустую кладовку и поднял книгу той рукой, которая была меньше повреждена. Книга казалась тяжелой, как свинец, но я кое-как донес ее до студии, опустился на ковер возле дивана, раскрыл ее и прочел от корки до корки.

Задыхаясь от избытка эмоций, я уронил томик на пол и в изнеможении прислонился к дивану, но в этот момент Тесси открыла глаза и посмотрела на меня…

Какое-то время мы говорили тусклыми, монотонными голосами, пока я осознал, что мы обсуждаем «Короля в желтом». Великий грех — писать такие слова: слова прозрачные, как кристалл, ясные и музыкальные, как журчание родника, блестящие и искрящиеся, как отравленные бриллианты Медичи! О порочность, о безнадежное проклятие души, способной завораживать и парализовать человека такими словами, — понятными и невеждам, и мудрецам, более драгоценными, чем самоцветы, более утешающими, чем музыка, более ужасными, чем смерть!..

Мы все говорили, не обращая внимания на сгущающиеся тени, и она просила меня снять и выбросить заколку из черного оникса со странной инкрустацией — мы знали теперь, что это Желтый Знак. Я уже никогда не узнаю, почему отказался; даже сейчас, когда я пишу свою исповедь здесь, у себя в спальне, я был бы рад узнать, что именно не позволило мне сорвать Желтый Знак со своей груди и швырнуть его в огонь. Я уверен, что хотел это сделать, и все же Тесси умоляла меня напрасно. Наступила ночь. Часы тянулись, но мы все бормотали друг другу про Короля и Бледную маску, а полуночный звон уже слетел со

шпилей, невидимых в тумане, окутавшем город. Мы говорили о Хастуре и Касильде, а снаружи туман клубился в мутных оконных проемах, как клубятся и рвутся волны облаков над берегами Хали.

В доме теперь было очень тихо, и с туманных улиц не доносилось ни звука. Тесси лежала среди подушек, ее лицо виднелось во мраке серым пятном, но я держал ее руки в своих и знал, что она знает и читает мои мысли, как я читаю ее, ибо мы постигли тайну Гиад и Фантом истины был воплощен. Затем, пока мы так обменивались ответами-мыслями, быстро, молча, тени во мраке вокруг нас зашевелились, где-то далеко на улицах зародился звук. Он слышался все ближе и ближе, унылый скрип колес; и еще, и еще ближе, и вот он прекратился у самой двери дома; я дотащился до окна и увидел катафалк, украшенный черными перьями. Ворота внизу открылись и закрылись. Шатаясь, я прокрался к своей двери и запер ее на засов, но я знал, что никакой замок или засов не остановит ту тварь, что пришла за Желтым Знаком.

И вот я услышал, как он очень тихо движется по вестибюлю. Вот он уже у двери, и запоры проржавели от его прикосновения. Вот он вошел. Глаза

мои едва не вылезли из орбит, так я вглядывался в темноту, — но не увидел, как он вошел в комнату. Только почувствовав, как он охватывает меня своими мягкими холодными объятиями, я закричал и стал вырываться с отчаянной яростью, но руки мои были бессильны, и он сорвал ониксовую заколку с моего пиджака и сильно ударил меня в лицо. Падая, я услышал тихий вскрик Тесси, и ее душа отлетела; меня скрутило от тоски, потому что я не мог последовать за нею, ибо Король в желтом распростер свою потрепанную мантию, и мне оставалось только воззвать к Господу.

Я мог бы рассказать больше, но не вижу, поможет это людям или нет. А я сам уже за пределами мирской помощи и надежды. Лежа здесь, я пишу, и мне безразлично, умру ли я прежде, чем успею дописать, — я вижу, как доктор собирает свои порошки и склянки, и мне понятен смысл его неопределенного жеста, обращенного к доброму пастырю, сидящему рядом со мной.

Многим будет любопытно узнать о трагедии — тем, кто живет в мире, где пишут книги и печатают миллионы газет, — но я писать больше не буду, и на последние мои слова отец-исповедник наложит печать освящения, когда закончит ритуал. Те, принадлежащие наружному миру, может,

и посылают своих присных в дома, потерпевшие крушение, к очагам, погашенным смертью, и их газеты будут жиреть на крови и слезах, но ко мне их лазутчики не доберутся: им придется остановиться перед исповедальней. Они знают, что Тесси умерла и я умираю. Они знают, что соседи по дому, разбуженные адским воплем, ворвались в комнату и нашли одного живого и двух мертвых, но они не узнают того, что я сейчас сообщу; они не узнают, что сказал доктор, указывая на жуткую кучку разложившихся останков на полу — мерзкий труп церковного сторожа: «У меня нет никакой теории, нет объяснения. Но этот человек умер, должно быть, несколько месяцев назад!»

Думаю, мой черед настал, я умираю. Жаль, что священник не…

Перевод Алины Немировой

Случай с мистером Хельмером

Ему не стоило ехать: он чувствовал себя совсем больным. Сырая атмосфера мастерской, нервное напряжение, продолжительная работа — все это тяжело на нем отразилось. Однако, несмотря на лихорадочное состояние и жар, лежать в постели он не мог. Кроме того, ему не хотелось огорчать хозяйку дома, куда он был приглашен. Кое-как он оделся, послал за экипажем и поехал. Холодный ночной воздух и снег, падавший через открытое окно кареты, освежили его разгоряченную голову. Но когда он приехал, ему было по-прежнему нехорошо. Его встретили, как всегда, радушно и ласково.

Лучше ему не стало, но Катарина была ему рада. Вдобавок за обедом ему пришлось поухаживать за чьей-то женой, но он и эту обязанность исполнил с обычной галантностью.

Когда дамы встали из-за стола, мужчины закурили сигары, и разговор завертелся между общественными проблемами и веселыми анекдотами. Хельмер отложил оставшуюся нетронутой сигару на стол и, нагнувшись, тронул хозяина дома за рукав.

— В чем дело, Филипп? — любезно спросил тот.

Хельмер, понизив голос, задал вопрос, который мучил его с начала обеда. Хозяин дома ответил:

— О какой женщине ты говоришь? — и близко к нему наклонился.

— О той, в черном платье, с плечами и руками цвета слоновой кости и глазами Афродиты.

— Где же сидело это чудо?

— Рядом с полковником Фарраром.

— Рядом с полковником? Подумаем! — Он задумчиво нахмурил брови, потом покачал головой: — Не могу вспомнить. Сейчас мы встанем, ты можешь ее отыскать, и я…

Смех и шум вокруг заглушили его последние слова. Он рассеянно кивнул Хельмеру. Его внимание привлекли другие, а когда вышел из-за стола, совсем забыл о женщине в черном.

Хельмер вместе с другими двинулся к гостиной. У него было множество знакомых; приходилось говорить без умолку, хотя лихорадочное состояние все усиливалось, и он едва слышал собственные слова. Очевидно, ему не следовало дольше оставаться в гостях…

«Найти хозяйку дома, спросить у нее имя женщины в черном и уйти», — решил он.

В роскошных комнатах было жарко и людно

до тесноты. Отправившись разыскивать хозяйку, Хельмер столкнулся с полковником Фарраром и пошел вместе с ним.

— Кто эта дама в черном, полковник? — спросил он. — Я говорю про ту, которую вы вели к столу.

— Дама в черном? Я такой не видел.

— Она сидела рядом с вами.

— Рядом со мной?!

Полковник остановился и удивленно поглядел на своего собеседника.

— Она здесь? Вы ее видите? — спросил он.

— Нет, — отвечал Хельмер.

Некоторое время они молчали, затем отошли друг от друга, чтобы дать дорогу китайскому посланнику — любезному господину, одетому в старинные шелка, с улыбкой, сиявшей на его лице, казалось, целое тысячелетие.

Посланник прошел с каким-то важным генералом, который сделал знак полковнику Фаррару присоединиться к ним.

И Хельмер снова побрел по комнатам, как вдруг чей-то голос явственно произнес его имя, и перед ним очутилась хозяйка дома, окруженная блестящим обществом.

— Что случилось, Филипп? Вы, должно быть, серьезно нездоровы?

— Ничего, это пустяки. Здесь просто немного душно… — Он подошел ближе и прошептал: — Катарина, кто эта дама в черном?

— Какая дама?

— Которая сидела за столом рядом с полковником Фарраром.

— Вы говорите про мадам Ван-Циклен? Да ведь она в белом!

— Нет, я говорю про даму в черном.

Хозяйка молча наклонила свою хорошенькую головку и нахмурилась, стараясь собраться с мыслями.

— Было столько народу, — бормотала она. — Дайте подумать. Странно, что я не могу припомнить… Вы убеждены, что она была в черном? Убеждены, что она сидела рядом с полковником Фарраром?

— Минуту назад я был в этом уверен… Все равно, Катарина, я постараюсь разыскать ее.

Занятая толпой, которая окружала ее, хозяйка весело кивнула ему в ответ.

Хельмер пошел по направлению к зимнему саду, лихорадочно вглядываясь в его прохладную полутьму. В саду он встретил несколько человек. Его окликнули и потребовали не только его общества, но и внимания.

— Не объясните ли вы нам, Хельмер, что означает ваше последнее произведение? — с улыбкой произнесла какая-то молодая особа.

По-видимому, говорили о его недавно законченной группе, сделанной для нового фасада Национального музея.

Газеты и публика очень горячо ее комментировали. Критики ссорились из-за толкования смысла этого странного творения. Мраморная группа производила впечатление чего-то отталкивающего — и в то же время необыкновенно прекрасного. Она представляла следующее. Среди скал лежит умирающий пастух. За ним, подперши подбородок рукою, сидит прелестное крылатое создание и спокойно смотрит на умирающего. Ясно, что смерть близка, — ее дыхание уже запечатлелось на изможденном лице пастуха. И все-таки лицо умирающего не выражает ни мучений, ни ужаса; в нем читается только удивление перед прекрасным крылатым существом, которое пристально глядит на него.

— Быть может, — заметила одна хорошенькая девица, — художник согласится с тем, что в его произведении видно много ума, но понять его трудно.

— Я готов это признать, — отвечал Хельмер,

проводя рукою по воспаленным глазам, и, улыбнувшись, двинулся к выходу.

Но громко выраженный протест помешал его отступлению. Его заставили сесть в кресло среди пальм и папоротников и говорить.

— Здесь выражена одна мысль, — объяснил он добродушно, — которая так настойчиво меня преследовала, что я, дабы от нее отвязаться, решил заключить ее в мрамор.

— В этом видно влияние чего-то таинственного! — заметил какой-то очень молодой человек, любитель декадентской литературы.

— Нисколько! — возразил Хельмер, улыбаясь. — Идея преследовала меня до тех пор, пока я не придал ей ясного выражения. Теперь она больше меня не тревожит.

— Расскажите нам о ней, — проговорила хорошенькая девушка.

К маленькому кружку слушателей присоединилось еще несколько человек, заинтересованных разговором.

— Моя идея неясна, — с трудом проговорил Хельмер. — В ней нет ничего достойного вашего внимания. Я только…

Он остановился. Невдалеке сидела женщина в черном и внимательно за ним следила. Встретив

его взгляд, она ласково кивнула ему головой, встала, отошла назад и жестом попросила продолжать рассказ. В продолжение минуты они пристально смотрели друг на друга.

— Идея, постоянно меня привлекавшая, неясна и, по-видимому, противоречит действительности. Вот она: я всегда думал, что, когда человек умирает, он не остается в одиночестве. Мы умираем — или по крайней мере предполагаем умереть — в окружении живых. Так умирают солдаты на поле сражения, так умирает огромное большинство людей. Но как же умирают люди, искавшие уединения, оторванные от обычной жизни? Одинокий пастух, которого нашли бездыханным среди огромной степи; первопроходец, на чьи кости случайно натыкаются запоздалые посланники цивилизации? Как умирают люди близко от нас, здесь, в городе, люди, которых находят на заброшенных улицах, пригородных пустырях?..

Женщина в черном стояла неподвижно, с напряжением следя за Хельмером.

— И хочется верить, — продолжал он, — что ни одно живое существо не умирает, оставаясь в полном одиночестве. Мне думается, что, когда человек погибает, например, в пустыне и на спасение нет надежды, какой-нибудь крылатый его

хранитель слетает из страны загадочной Вечности и садится подле этого человека, чтобы он не умер в одиночестве…

Все вокруг молчали. По-прежнему глядя на женщину в черном, Хельмер продолжал:

— Быть может, для погибающих среди мрачных скал, в пустыне, в морских волнах смерть под охраной существ, невидимых для всего мира, кроме самих обреченных, не так страшна… Вот какую мысль выразил я в мраморе. Не правда ли, она кажется вам дикой?

В тишине кто-то тяжело вздохнул; затем, как будто очнувшись, все задвигались, заговорили, раздался смех…

Но Хельмер уже скрылся; он пробирался в полутьме по направлению к женщине, которая медленно двигалась там, где густо ложились тени от листвы. Раз она оглянулась, и он пошел за ней, раздвигая тяжелые ветви папоротников, пальм и кусты влажных цветов. Вдруг он очутился подле нее… Она словно ждала.

— В этом доме нет никого, кто оказал бы милость представить меня вам, — начал он.

— Я вас ждала.

— Вы, значит, хотели познакомиться со мной?

— Зачем же я здесь, наедине с вами? — спроси-

ла она, склоняясь над пахучей массой цветов.

В голубоватом сумраке белели плечи незнакомки. Прозрачная тень покрывала очертания ее лица и шеи.

— За обедом, — проговорил он, — я старался не смотреть на вас пристально, но не мог отвести взгляда от ваших глаз.

— Это намек на то, что мой взгляд был направлен на вас?

Она тихо рассмеялась, и смех ее прозвучал так сладостно, точно он был рожден таинственным сумраком и благоухающей тишиной.

— Будем друзьями, — сказала она и долгим пожатием задержала его руку в своей. Затем ее рука ласково опустилась на массу цветов, в которой ее пальцы, белые, как сами цветы, наполовину утонули. — Вы уверены, что меня не знаете?

— Я? Как? Откуда? — произнес он запинаясь. — Если бы я вас знал, то неужели думаете, что я мог вас позабыть?

— Вы меня не забыли, — сказала она, глядя на него смеющимися глазами, — не забыли. Воспоминание обо мне есть в крылатой фигуре, которую вы высекли из мрамора. Сходство не в чертах лица, не в формах тела, но в глазах. Кто, кроме таких, как вы, может прочесть, что говорят

эти глаза?

— Вы смеетесь надо мною?

— Отвечайте: кто единственный на свете может разгадать и объяснить выражение этих глаз?

— Вы можете? — спросил он, странно встревоженный.

— Да. Я могу, и может умирающий человек, изображенный в мраморе.

— Что же вы в них читаете?

— Прощение. Вы бессознательно символически изобразили воскресение души, запечатлели его в мраморе. В этом одном весь смысл вашего произведения.

Хельмер молча стоял и думал, стараясь разобраться в мыслях.

— Глаза умирающего человека — это ваши глаза, — сказала она. — Разве неправда?

Он продолжал думать, как будто ощупью пробираясь через темные и забытые уголки мысли к неясному воспоминанию, едва различимому в колеблющемся сумраке прошлого.

— Поговорим о вашей работе, — сказала она, словно кутаясь в густую листву, — о ваших успехах и о том, какое все это имеет для вас значение.

Он смущенно глядел на нее лихорадочно горя-

щим взором.

— В моем мраморе вам чудится угроза ада? — спросил он.

— Нет, я в нем не вижу разрушения. Он говорит мне только о воскресении и о надежде на рай. Смотрите на меня внимательнее…

— Кто ты? — прошептал он, закрыв глаза, чтобы привести в порядок спутанные мысли. — Когда мы встречались?

— Ты был очень молод, — тихо проговорила она, — а я еще моложе. От долгих дождей река вышла из берегов; волны бурлили и шумели. Я не могла перейти на другой берег…

Наступила минута тяжелого молчания. Затем ее голос зазвучал вновь:

— Я ничего не сказала, ни слова благодарности… Я не была слишком тяжелой ношей… Ты быстро перенес меня… Это было очень давно.

Следя за Хельмером лучистыми глазами, она продолжала:

— В один день, там, на берегах реки, залитой солнцем, ты узнал язык моей любви. За каждый поцелуй, которыми мы дарили друг друга, нужно свести счеты, за каждый, даже за последний… Ты воздвиг памятник нам обоим, проповедуя воскресение души. Любовь так мимолетна!.. А

наша длилась целый день! Ты помнишь? Хотя создавший Любовь хотел, чтобы она длилась целую жизнь. Только тот, кому суждено погибнуть, переживает это.

Она пододвинулась ближе.

— Скажи мне: ты, проповедующий воскрешение умерших душ, ты боишься умереть?

Ее тихий голос умолк. Среди зеленой листвы засветились огни: большие стеклянные двери в бальную залу открылись, и хлынул поток света, в котором фонтан засверкал серебром. Сквозь звуки музыки и смеха раздался ясный, но негромкий голос:

— Françoise!

— Françoise! Françoise! — повторил голос уже ближе. Женщина медленно обернулась и посмотрела в пространство.

— Кто это звал? — спросил он хриплым голосом.

— Моя мать, — отвечала она, прислушиваясь. — Ты будешь ждать меня?

Она наклонилась и взяла его за руки.

— Где? — спросил он; губы у него пересохли. — Мы не можем говорить здесь о том, что должно быть высказано.

— Жди меня в своей студии, — прошептала

она.

— Ты знаешь, где она?

— Я приду. Через несколько минут я буду у тебя!

Их руки на мгновение сплелись… Затем женщина скрылась в толпе.

Хельмер с опущенной головой вошел в зал, ослепленный ярким светом.

— Ты болен, Филипп, — сказал хозяин дома, заметив его. — У тебя такое же лицо, как у умирающего пастуха на твоей скульптуре. Клянусь тебе, ты похож на него!

— Нашли вы свою женщину в черном? — спросила с любопытством хозяйка.

— Да, — отвечал он. — Спокойной ночи!

Когда он вышел, воздух показался ему холодным, как сама смерть. Тяжелая дверь подъезда захлопнулась за ним, и замерли отдаленные звуки музыки. Фонари карет мелькали перед глазами, пока он спускался по засыпанным снегом ступенькам. Весь дрожа, он пошел вперед. Перед ним был грязный бульвар под вибрирующей железной аркой: приближался поезд воздушной железной дороги. С грохотом пронеслись вагоны. Он поднял глаза и заметил освещенный циферблат башенных часов. От охватившего жара все

ему виделось в искаженном виде — даже кривая, извилистая улица, в которую он свернул, задыхаясь и ловя ртом воздух, точно тяжелораненый.

— Что за безумие! — громко проговорил он, останавливаясь в темноте. — Все это бред. Откуда ей знать, куда нужно идти?

На перекрестке двух глухих переулков он снова остановился, нервно теребя пальто.

— Это жар, бред! Ее там не было.

На улице было темно, только на углу горел красный фонарь, да слабо мерцал свет в маленьком старом ресторане через дорогу. Но ему чудилось, что мелькают огоньки, которые освещают дорогу к глухому переулку. Старые дома безмолвно глядели друг на друга и как будто поджидали его. Наконец он открыл какую-то дверь и вошел в темный коридор. Бледные колеблющиеся огни, рождавшиеся в незримой глубине ночи, продолжали освещать ему путь.

— Ее там не было! — с трудом проговорил он, запирая дверь и опускаясь на пол.

Он поднял глаза и увидел, что в большой комнате все светлело от колеблющихся огней.

— Все будет гореть так, как горю я! — громко произнес он.

Призрачные огоньки проникли в его тело.

Вдруг он рассмеялся. Пустая студия ответила ему эхом.

— Что это? — зашептал он, внимательно прислушиваясь. — Кто это стучал?

Кто-то стоял за дверью. Кое-как ему удалось подняться и повернуть ключ.

— Ты? — прошептал он в то время, как женщина быстро вошла.

Волосы ее были в беспорядке, черное платье засыпано снегом.

— Кто же мог прийти, кроме меня? — проговорила она, задержав дыхание. — Слушай! Ты слышишь, как моя мать опять зовет меня? Слишком поздно… Но она была со мною до конца…

В тишине, из бесконечной дали, донесся крик отчаяния:

— Françoise!

Хельмер упал в кресло, и маленькие огоньки окутали его, так что комната начала снова наполняться бледным сиянием. Сквозь него он наблюдал за женщиной.

Часы сменялись часами, время шло… Она сидела подле него молча, не дыша.

Словно огненный вихрь, охватили его дремота и грезы. То ли он погрузился в сон, то ли лежал без сознания, продолжая глядеть на гостью ничего не

видящими глазами. И так час за часом… Бледное сияние стало угасать и перешло в мерцание.

Хельмер очнулся среди полного мрака. Сознание его было совершенно ясно, и он тихим голосом произнес ее имя: «Françoise!»

— Да, я здесь, — ответила она.

— Это смерть? — кротко спросил он, закрывая глаза.

— Да. Смотри на меня, Филипп.

Глаза его раскрылись. На изменившемся лице застыло глубокое удивление: перед ним на коленях стояло крылатое существо и внимательно смотрело на него…

Перевод Андрея Танасейчука

